

ДЖАВАХАРЛАЛ
НЕРУ

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

АВТОБИОГРАФИЯ

Перевод с английского

И * Л

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1955



JAWAHARLAL NEHRU

AN AUTOBIOGRAPHY

LONDON

1953



Д Ж А В А Х А Р Л А Л Н Е Р У

*Камале,
которой уже нет.*

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Около шести месяцев назад я написал предисловие к русскому изданию моей книги «Открытие Индии». Вскоре после этого мне посчастливилось посетить Советский Союз. Я провел там пятнадцать дней и увез с собой живые воспоминания об этой великой стране и ее народе. Моя поездка, при всей ее кратковременности, дала мне значительно лучшее представление о великом прогрессе, достигнутом Советским Союзом, о теплоте, дружелюбности и любви советского народа к миру. Эти воспоминания надолго сохранятся в моей памяти.

Я был счастлив узнать, что моя книга встретила в Советском Союзе хороший прием и что у нее нашлось много читателей. Как автор, я, естественно, горжусь этим. Но, помимо этого, я надеялся, что моя книга поможет русскому народу лучше узнать мою страну.

Теперь меня попросили написать предисловие к русскому изданию другой моей книги — «Автобиография». Я делаю это с радостью. Однако мне хотелось бы обратить внимание на то, что эта автобиография была написана мною двадцать лет назад. Как и первая книга, она была написана в тюрьме. В книге изложены вопросы, имевшие для меня в то время первостепенную важность, но теперь, пожалуй, не имеющие уже большого значения. Однако эта книга позволяет также заглянуть в душу Индии того времени и в особенности в душу тех, кто вел борьбу за нашу свободу. Много событий произошло с тех пор, и многие из нас, разумеется, выросли и в какой-то мере переменились.

Я надеюсь, что эта книга будет также содействовать лучшему взаимопониманию между советским и индийским народами.

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ.

*Дели,
9 ноября 1955 года.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга — если не считать постскрипума и некоторых внесенных позднее незначительных изменений — была целиком написана в тюрьме в период с июня 1934 года по февраль 1935 года. Главной целью, которую я ставил перед собой, приступая к написанию этой книги, было занять себя определенным делом, столь необходимым в долгом одиночестве тюремной жизни, а также бросить взгляд на прошлые события в Индии, с которыми я был связан, с тем чтобы самому лучше разобраться в них.

Я начал работу, готовый подвергнуть себя самоанализу, и это настроение в значительной мере сохранялось у меня до конца. Я писал не для какого-либо определенного круга читателей; если и думал о какой-либо публике, то это были мои соотечественники и соотечественницы. Для иностранных читателей я, по всей вероятности, писал бы иначе или делал бы упор на другом, подчеркивая некоторые моменты, которые лишь слегка затрагиваются в этом повествовании, и упоминая лишь вскользь о некоторых других моментах, которым я уделил здесь довольно много места. Многие из этих последних моментов могут оказаться неинтересными для не индийского читателя или же он может счесть их несущественными или слишком очевидными, чтобы говорить и спорить по поводу них. Но я считал, что для сегодняшней Индии они имеют определенное значение. Ряд замечаний, касающихся нашей внутренней политики и отдельных лиц, быть может, также представит мало интереса для посторонних.

Читатель, я надеюсь, примет во внимание, что эта книга была написана мною в особенно тяжелый период моей жизни. И это явственно сказалось на ней. Если бы я писал ее в более нормальных условиях, она была бы иной и местами, возможно, более сдержанной. Однако я решил оставить ее такой, как она есть, ибо в таком виде книга может представить для читателей некоторый интерес, поскольку она отражает те чувства, которые я испытывал в период ее создания.

Я не пытался дать обзор современной истории Индии, а хотел проследить, насколько возможно, историю моего собствен-

ного духовного развития. То обстоятельство, что этот рассказ внешне напоминает такой обзор, может ввести в заблуждение читателя и заставить его придать ему большее значение, чем он того заслуживает. Я должен поэтому предостеречь его, что этот рассказ является исключительно односторонним и неизбежно субъективным: многие важные события в нем совершенно опущены, а многие видные лица, оказавшие решающее влияние на ход событий, едва упомянуты. В настоящем обзоре прошлых событий это было бы непростительно, но обзор, носящий личный характер, может рассчитывать на снисхождение. Тем, кто хочет по-настоящему изучить наше недавнее прошлое, придется обратиться к другим источникам. Однако этот личный рассказ и другие подобные ему книги, быть может, помогут им заполнить некоторые пробелы и снабдят фактическим материалом для изучения действительности.

Я откровенно высказываю свое мнение о некоторых из моих коллег, с которыми мне выпала честь работать в течение многих лет и к которым я питаю величайшее уважение и привязанность; я критикую также некоторые группы и отдельных лиц — подчас, возможно, довольно сурово. Критика не умаляет моего уважения ко многим из них. Но я считаю, что те, кто занимается общественными делами, должны быть откровенны друг с другом и с публикой, которой они, по их утверждению, служат. Внешняя вежливость и уклонение от вопросов, ставящих в затруднительное положение, а порой причиняющих огорчение, не содействуют достижению подлинного взаимного понимания или понимания стоящих перед нами проблем. Истинное сотрудничество должно основываться на учете как общих точек зрения, так и разногласий и на признании фактов, сколь бы неприятны они ни были. Я надеюсь, однако, что ни в чем из написанного мною нет и следа злобы или недоброжелательства по отношению к кому бы то ни было.

Я намеренно избегал касаться спорных проблем современной Индии — разве лишь в общих чертах и косвенным образом. Находясь в тюрьме, я не был в состоянии сколько-нибудь детально разобраться в них или хотя бы решить для себя самого, что надлежит предпринять. Даже и после моего освобождения я не счел нужным внести какие-либо добавления на этот счет. Они, казалось мне, не будут увязаны с тем, что уже было мной написано. Итак, это «автобиографическое повествование» остается отрывочным, субъективным и неполным рассказом о прошлом, вплотную подходящим к настоящему, но тщательно избегающим соприкосновения с ним.

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ.

*Баденвейлер,
2 января 1936 года.*

Глава первая

ВЫХОДЦЫ ИЗ КАШМИРА

Писать о самом себе — дело трудное и щекотливое: сердце человека возмущается против того, чтобы говорить о себе что-нибудь плохое, когда же автор хвалит себя, это режет слух читателю.

Авраам Коули.

Единственному сыну состоятельных родителей свойственно быть избалованным, особенно в Индии. Если же ему случится к тому же на протяжении первых одиннадцати лет своего существования быть единственным ребенком в семье, он почти наверняка станет баловнем. Мои две сестры значительно моложе меня, между всеми нами большая разница в возрасте. Таким образом, я рос и проводил свои детские годы довольно одиноким ребенком, не знавшим общества сверстников. У меня не было даже школьных товарищей, так как я никогда не посещал ни детского сада, ни начальной школы. Мое воспитание было поручено гувернанткам и домашним учителям.

В доме у нас было многолюдно, ибо там жили под одной крышей многочисленные двоюродные братья и другие близкие родственники, как это принято в индусских семьях. Но все мои двоюродные братья были намного старше меня — они уже учились в средней школе или университете — и считали, что я слишком мал, чтобы участвовать в их занятиях или играх. Поэтому в окружении этой большой семьи я чувствовал себя довольно одиноко и большей частью предавался мечтам и играл наедине с собой.

Мы — кашмирцы. Более двухсот лет назад, в начале XVIII столетия, наш предок спустился из этой горной долины на поиски славы и счастья на богатых равнинах, простиравшихся внизу. Это был период упадка империи Моголов после смерти Аурангзеба, когда императором был Фаррухсиар. Нашего предка звали Радж Каул. Он приобрел славу в Кашмире как знаток санскрита и персидского языка и обратил на себя внимание Фаррухсиара, когда тот посетил Кашмир. Вероятно по настоянию императора, его семья около 1716 года перебра-

лась в столицу империи Дели. Раджу Каулу было пожаловано поместье — *джагир* — с домом, расположенным на берегу канала. По этой причине к его имени стали прибавлять «Неру» (от *нэкер*, что значит «канал»). Каул было фамильным именем, оно превратилось в Каул-Неру, а впоследствии «Каул» отпало и нас стали называть просто Неру.

В настулившие затем неустойчивые времена семья испытала множество превратностей судьбы; джагир все сокращался в размерах и наконец исчез вовсе. Мой прадед, Лакшми Нараян Неру, стал первым *вакилом* «Компани Саркар» при призрачном дворе императора Дели. Мой дед, Ганга Дхар Неру, в течение некоторого времени перед великим восстанием 1857 года был *котвалом* Дели. Он умер молодым, в возрасте тридцати четырех лет, в 1861 году.

Восстание 1857 года положило конец связям нашей семьи с Дели, и именно в это время были уничтожены все наши старые семейные бумаги и документы. Лишившись почти всего своего достояния, наша семья присоединилась к многочисленным беженцам, покидавшим старую имперскую столицу, и отправилась в Агру. Отца в то время еще не было на свете, но два моих дяди уже были молодыми людьми. Они в какой-то мере владели английским языком. Это обстоятельство спасло младшего из них, а также нескольких других членов семьи от неожиданного и бесславного конца. Дядя ехал из Дели вместе с несколькими родственниками, среди которых была его младшая сестра. Это была маленькая девочка, очень белокурая, какими бываюи иногда кашмирские дети. По пути им встретилось несколько английских солдат. Они заподозрили, что маленькая моя тетя — английская девочка, и обвинили дядю в том, что он будто бы похитил ее. Обвинение, суд и расправа вершились в те дни в несколько минут, и дядя вместе с другими членами семьи вполне мог оказаться вздернутым на ближайшем дереве. К счастью для них, познания моего дяди в английском языке несколько задержали ход событий, а затем случилось так, что мимо проходил кто-то из знавших его, и он спас дядю и остальных.

Семья наша жила несколько лет в Агре, и именно здесь 6 мая 1861 года родился мой отец¹. Это был ребенок, появившийся на свет после смерти отца, ибо мой дед умер за три месяца до его рождения. На сохранившемся у нас небольшом портрете дед мой изображен в одежде могольского придворного, с кривым мечом в руке, и его вполне можно принять за могольского аристократа, хотя черты лица у него типичные для кашмирца.

¹ Интересное совпадение: поэт Рабиндранат Тагор родился в тот же самый день того же месяца и года

Все заботы по содержанию семьи легли теперь на плечи моих двух дядей, которые были намного старше моего отца. Старший дядя, Банси Дхар Неру, в скором времени поступил на службу в юридический департамент английского правительственного в Индии. Его то и дело назначали в различные районы страны, и поэтому он оказался до некоторой степени оторванным от остальной семьи. Младший дядя, Нанд Лал Неру, поступил на службу в одном из индийских княжеств; в течение десяти лет он был *диваном* княжества Кхетри в Раджпутане. Впоследствии он изучил право и обосновался в Агре в качестве практикующего адвоката. Мой отец рос под его заботливым присмотром. Они были сильно привязаны друг к другу, и их отношения представляли собой странную смесь братских и отцовско-сыновних отношений. Мой отец, как самый младший, естественно, был любимцем своей матери. Это была пожилая дама, обладавшая огромной волей и не привыкшая к тому, чтобы с ней не считались. Вот уже почти полвека, как ее нет в живых, а старые кашмирские дамы и сейчас вспоминают о ней как о женщине чрезвычайно властной: если кто-либо осмеливался нарушить ее волю, это вызывало настоящую грозу.

Дядя поступил на службу во вновь учрежденный Верховный суд, и когда этот суд переехал из Агры в Аллахабад, наша семья обосновалась там. В Аллахабаде и появился я на свет много лет спустя. Постепенно дядя приобрел обширную практику и стал одним из ведущих юристов адвокатуры Верховного суда. Тем временем мой отец учился в школе, а затем в колледже в Канпуре и Аллахабаде. Сначала его обучали только персидскому и арабскому языкам, когда же ему исполнилось тринадцать лет, он начал изучать и английский язык. В этом возрасте он считался уже большим знатоком персидского языка, неплохо владел также арабским и своими познаниями завоевал уважение людей значительно старше себя. Но, несмотря на это раннее развитие, годы его пребывания в школе и колледже более памятливы его многочисленными выходками и проказами. Он отнюдь не был примерным учеником. Игры и романы приключений привлекали его больше, чем занятия, и в колледже на него смотрели как на одного из предводителей озорников. Он стал носить европейское платье и усвоил многое из западного образа жизни еще в то время, когда это не было принято среди индийцев нигде, кроме больших городов, как Калькутта и Бомбей. Несмотря на его довольно-таки буйное поведение, английские наставники любили его и нередко выручали из беды. Им нравился его характер, к тому же он был понятлив и при некотором подстегивании неплохо учился. Впоследствии, много лет спустя, он часто с любовью говорил нам об одном из своих наставников, Гаррисоне, директоре Центрального колледжа Муир в Аллахабаде, и бережно хранил его письмо как память о тех далеких студенческих годах.

Университетские экзамены он сдал без особых отличий, и вот наступила очередь экзамена на получение степени бакалавра искусств. Он не потрудился как следует подготовиться к этому экзамену и остался очень недоволен тем, как справился с первым заданием. Уже не рассчитывая выдержать, так как считал, что первая его работа испортила все дело, он решил не являться на остальные экзамены и вместо этого проводил время в Тадж Махале (университетские экзамены происходили в то время в Агре). Позднее его профессор посылал за ним и очень на него сердился, ибо, по его словам, отец справился с первым заданием довольно хорошо и сделал глупость, не явившись на остальные экзамены. Так или иначе, на этом университетская карьера моего отца закончилась. Он так никогда и не получил степени.

Ему хотелось преуспеть в жизни и утвердиться в какой-нибудь профессии. Взоры его, естественно, обратились к праву, так как это была в то время единственная профессия в Индии, дававшая какое-то применение таланту и сулившая награду удачнику. К тому же перед глазами у него был пример брата. Отец явился экзаменоваться на должность вакила Верховного суда и не только выдержал экзамен, но оказался первым и получил золотую медаль. Профессия пришла к нему по душе, вернее, он горячо стремился достигнуть успеха в избранной им деятельности.

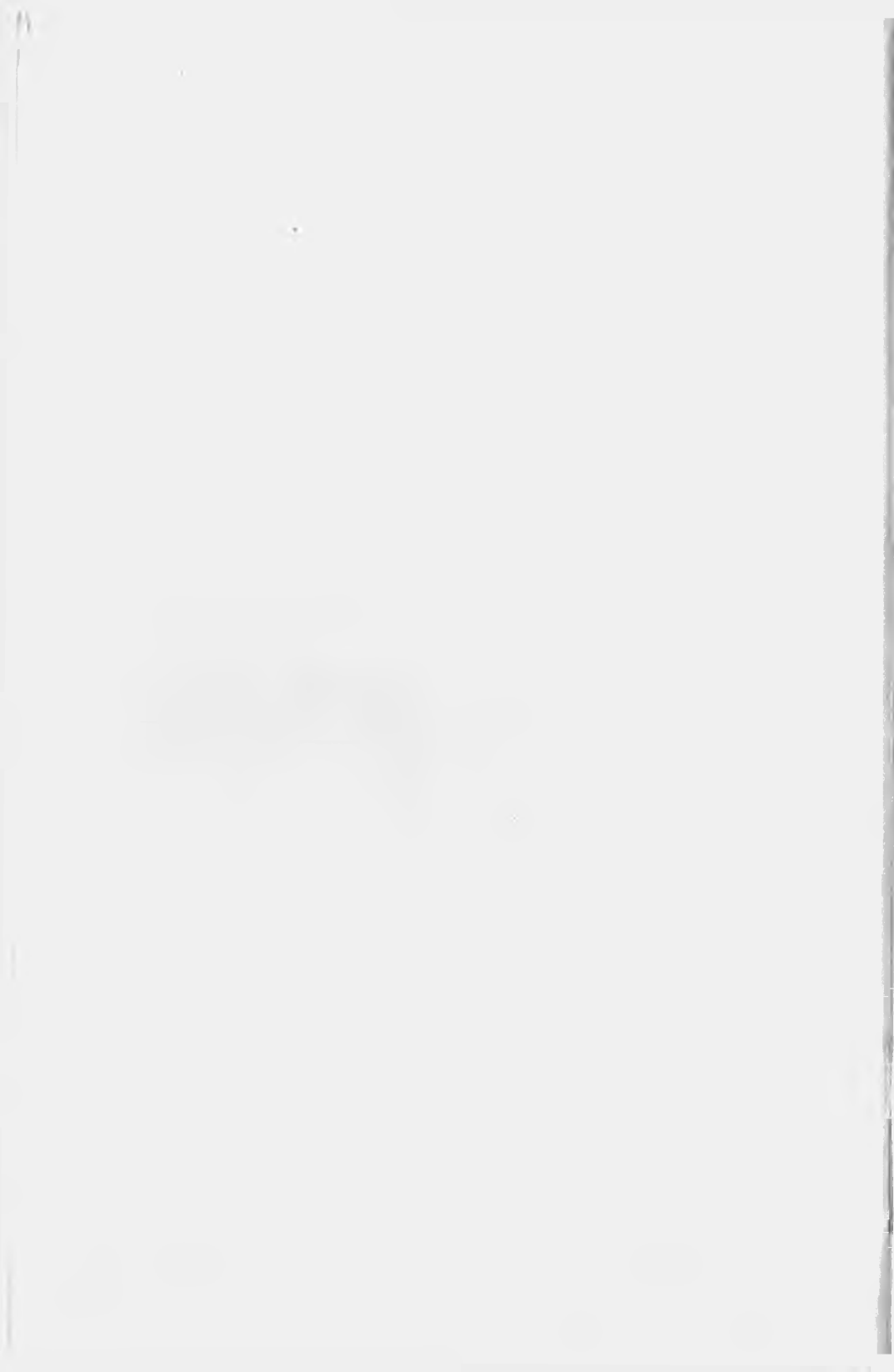
Он начал практику в окружных судах Канпура и, вдохновляемый стремлением к успеху, много работал, так что вскоре ему удалось продвинуться. Однако он сохранил свою любовь к играм и прочим забавам и развлечениям, которые попрежнему отнимали часть его времени. Особенный интерес он проявлял к борьбе и *дансалам*. В те дни Канпур славился публичными состязаниями борцов.

Отбыв трехлетнюю практику в Канпуре, отец переехал в Аллахабад и стал работать в Верховном суде. Вскоре после этого внезапно скончался его брат, паидит Нанд Лал. Это было тяжелым ударом для моего отца. Он потерял горячо любимого брата, бывшего для него почти отцом. В то же время это была утрата главного кормильца семьи. С тех пор бремя содержания большой семьи легло в основном на его молодые плечи.

Полный решимости добиться успеха, он ушел с головой в работу и на много месяцев выключил себя из всего остального. Почти все дела дяди перешли к моему отцу, и так как ему удалось хорошо с ними справиться, к нему скоро пришел профессиональный успех, которого он так горячо желал, успех, принесший с собой новую работу и деньги. Еще в молодом возрасте отец зарекомендовал себя как удачливый адвокат, но ему пришлось заплатить за это дорогой ценой: он все больше и больше становился рабом своей ревливой возлюбленной — юриспруденции, — и у него не оставалось времени для какой бы то ни было



ПАНДИТ МОТИЛАЛ НЕРУ,
отец автора



другой общественной или частной деятельности; даже отпуска и праздничные дни отдавал он адвокатской практике. Как раз в это время внимание средних классов, владевших английским языком, начал привлекать к себе Национальный конгресс. Отец посещал некоторые из его первых съездов и теоретически разделял его взгляды. Однако в те дни он не проявлял большого интереса к его работе. Он был слишком занят своей профессией. К тому же у него не было сложившихся твердых воззрений по политическим и общественным вопросам, до сих пор он не уделял этим вопросам большого внимания и слабо в них разбирался. Он не желал присоединяться к какому бы то ни было движению или организации, где ему пришлось бы играть вторую скрипку. Напористость, отличавшая его в детстве и юности, внешне была обуздана, но она вылилась в новую форму — в стремление утвердить свое влияние. Будучи примененной в его профессиональной области, она принесла успех и увеличила его гордость и веру в себя. Он любил борьбу, преодоление трудностей, и все же, как это ни странно, в те дни он сторонился политической арены. Правда, в то время в политике Национального конгресса дух борьбы был выражен весьма слабо. Как бы то ни было, это была незнакомая область, а ум его был поглощен упорной работой, связанной с его профессией. Он крепко ухватился за лестницу успеха и ступенька за ступенькой взбирался все выше, сознавая, что обязан этим не чьей-либо милости, не чужой помощи, а лишь собственной воле и уму.

Отец, разумеется, был националистом, в несколько расплывчатом значении этого слова, но он восхищался англичанами и их образом жизни. Он считал, что его соотечественники опустились и едва ли не заслужили все то, что выпало на их долю. В душе он слегка презирал политиканов, которые только говорят и говорят, ничего не делая. Впрочем, он и сам не имел ясного представления о том, что могли бы они делать. Гордость своим собственным успехом навела его также на мысль, что многие из тех, кто занялся политикой — хотя и не все, конечно, — были неудачниками в жизни.

Систематическое увеличение доходов внесло много изменений в уклад нашей жизни, ибо возрастание доходов означало и возрастание расходов. Всякая мысль о накоплении денег казалась моему отцу проявлением неверия в его способность в любое время заработать столько, сколько он пожелает. Склонный к забавам, любитель хорошо пожить, он без труда тратил заработанное. Наш образ жизни постепенно все более и более европеизировался.

Таков был наш дом в годы моего раннего детства¹.

¹ Я родился в Аллахабаде 14 ноября 1889 года, а по Самватскому календарю — 7 Маргширш Бади 1946 года.

Глава вторая

ДЕТСТВО

Таким образом, детство мое можно назвать обеспеченным и лишенным событий. Я прислушивался к разговорам моих взрослых двоюродных братьев, хотя подчас и не все понимал. Нередко они говорили о деспотическом характере и оскорбительном поведении англичан, а также евразийцев¹ по отношению к индийцам и о том, что долг каждого индийца — не мириться с этим и сопротивляться. Столкновения между властями и подвластными были обычным явлением, и такие случаи широко обсуждались. Было общеизвестно, что всякий раз, когда англичанин убивает индийца, суд, состоящий из соотечественников убийцы, оправдывает его. В поездах для европейцев были отведены специальные купе, и как бы ни был переполнен поезд — а поезда бывали обычно страшно переполнены, — ни одному индийцу не разрешалось ехать в этих купе, хотя бы они и оставались незанятыми. Англичанин же мог занять в поезде любое купе и не допускать туда ни одного индийца. В парках и других общественных местах для европейцев также были отведены специальные стулья и скамьи. Я негодовал на чужеземных властителей моей родины, возмущался их поведением, и всякий раз, когда кто-либо из индийцев давал им сдачи, меня это радовало. Нередко один из моих двоюродных братьев или кто-либо из их друзей сам оказывался участником такого столкновения, и в таких случаях все мы, разумеется, чрезвычайно волновались по этому поводу. Один из двоюродных братьев, считавшийся в нашей семье силачом, не упускал случая затеять ссору с англичанином или, что бывало чаще, с евразийцем. Надо сказать, что евразийцы, быть может из желания подчеркнуть свою принадлежность к господствующей расе, часто вели себя еще оскорбительнее, чем какой-нибудь английский чиновник или купец. Такие ссоры чаще всего вспыхивали во время поездок по железной дороге.

Но при всем том возмущении, которое начали вызывать у меня присутствие и поведение чужеземных властителей, я

¹ Евразийцами в Индии обычно называют метисов, происходящих от смешанных браков между англичанами и индийцами. — *Прим. ред.*

не ощущал, насколько помню, никакой вражды к отдельным англичанам. У меня были английские гувернантки, и я иногда встречался с англичанами — друзьями моего отца, приходившими к нему в гости. В душе я даже восхищался ими.

По вечерам, когда отец отдыхал после напряженного дня, его обычно навещали многочисленные друзья, и дом оглашался его громовым смехом. Смех его был знаменит в Аллахабаде. Иногда я подглядывал за ним и его друзьями из-за занавеса, пытаюсь понять, о чем говорят между собой эти взрослые люди. Если я бывал пойман за этим занятием, меня вытаскивали и, порядком напуганного, оставляли посидеть на отцовских коленях. Однажды я увидел, как он пил кларет или какое-то другое красное вино. Виски я знал. Я часто видел, как он и его друзья пили виски. Но незнакомая красная жидкость привела меня в ужас, и я бросился к матери сказать, что отец пьет кровь.

Я безмерно восхищался отцом. Он в моих глазах был воплощением силы, мужества и ума и стоял гораздо выше всех других мужчин, которых я знал; я лелеял надежду, что, когда вырасту, буду походить на него. Но при всем моем восхищении и любви к нему я его боялся. Мне случалось видеть его в гневе, когда он обрушивался на слуг и других людей. В такие моменты он возбуждал во мне такой ужас, что я трясся от страха. Порою этот страх смешивался у меня с возмущением, когда я наблюдал, как отец обходится со слугой. Гнев его был истинно страшен, и даже в позднейшие годы мне, пожалуй, не приходилось сталкиваться с чем-либо подобным. К счастью, отец обладал также развитым чувством юмора и железной волей и почти всегда мог во-время себя сдержать. С годами эта способность владеть собой усилилась в нем, и ему все реже случалось впасть в ярость, сколько-нибудь напоминавшую былые вспышки.

Одно из наиболее ранних моих воспоминаний — это как раз воспоминание о такой вспышке гнева, ибо я сам явился жертвой ее. Вероятно, мне было в то время лет пять или шесть. Однажды в его рабочем кабинете на столе я увидел две ручки, на которые давно взирал с вожделением. Я рассудил, что отцу никак не могут понадобиться обе они одновременно, и поэтому одну из них взял. Однако вскоре пропажа была обнаружена. Начались усиленные поиски. Я ужаснулся содеянного мной, но не признался. Ручка все же была у меня обнаружена, и о моей вине довели до всеобщего сведения. Отец очень рассердился и задал мне здоровую порку. Почти ослепнув от боли и обиды, я кинулся к матери, и в течение нескольких дней мое страдающее от боли, дрожащее маленькое тело смазывали всевозможными кремами и мазями.

Не помню, чтобы я затаил недоброе чувство к отцу из-за этого наказания. Видимо, я сознавал, что наказан по заслугам, хотя, может быть, и чересчур сурово. Но если мое восхищение и любовь к нему были сильны попрежнему, теперь к этим чувст-

вам примешивался страх. Мое отношение к матери было совсем иное. Я не боялся ее, ибо знал, что она простит все, что бы я ни натворил, и, пользуясь этой чрезмерной и всепрощающей любовью моей матери, я иногда делал попытки командовать ею. Я проводил с нею гораздо больше времени, чем с отцом, она казалась мне более близкой, и я поверял ей свои тайны, которые мне никогда и в голову не пришло бы доверить отцу. Она была миниатюрна, скоро я почти сравнялся с ней ростом и почувствовал себя почти равным ей. Я восхищался ее красотой и любил ее удивительно маленькие и красивые руки и ноги. Она принадлежала к семье выходцев из Кашмира, покинувшей родину позже нашей семьи, всего два поколения назад.

Другим наперсником моего детства был *мунши* моего отца, мунши Мубарак Али. Он происходил из состоятельной бадаунской семьи. Восстание 1857 года разорило его семью, а английские солдаты почти всех их истребили. Это несчастье сделало его мягким и снисходительным ко всем, а особенно к детям, и для меня он служил надежным прибежищем всякий раз, когда мне было плохо или когда я попадал в беду. Со своей прекрасной седой бородой он рисовался моему детскому воображению ветхим старцем, хранителем древних преданий. Примостившись возле него, я бывало часами внимал, широко раскрыв глаза, его бесчисленным историям — старым сказкам из «Тысячи и одной ночи» и других книг или рассказам о событиях 1857 и 1858 годов. Муншиджи умер много позже, когда я был уже взрослым, и я бережно храню в душе память о нем.

Слушал я в те годы и другие рассказы, почерпнутые из древней индусской мифологии, из эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата», которые рассказывали нам моя мать и тетя. Моя тетя, вдова пандита Нанда Лала, была начитана в древней индийской литературе и обладала неистощимым запасом таких рассказов, так что мои познания в индийской мифологии и фольклоре были довольно значительными.

О религии у меня были весьма смутные представления. Она казалась мне женским занятием. Отец и старшие из моих двоюродных братьев относились к этому вопросу юмористически, отказываясь принимать его всерьез. Но женщины в нашей семье время от времени отправляли различные церемонии и *пуджу*, которые нравились мне, хотя я и пытался до некоторой степени подражать небрежному отношению мужчин. Иногда я сопровождал мать или тетку на берег Ганга для омовения, иной раз мы посещали храмы в Аллахабаде, Бенаресе и других местах или ходили повидать *саньяси*, пользовавшегося репутацией святого. Но все это не оставило заметного следа в моем сознании.

Надо упомянуть также о днях больших праздников: о *Холи*, когда во всем городе царил дух шумного веселья и мы могли обливаться друг друга водой; *Дивали*, празднике света, когда



СВАРУП РАНИ НЕРУ,
мать автора



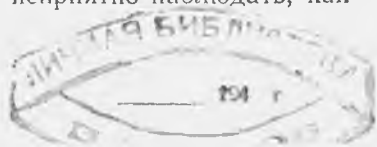
все дома были освещены тысячами тусклых огоньков, горевших в глиняных сосудах; *Джанмаштами*, празднике в честь Кришны, родившегося в тюрьме в полночь (нам очень трудно было бодрствовать до столь позднего часа); *Дасера* и *Рам Лила*, когда в живых картинах и шествиях, смотреть которые собирались огромные толпы, воспроизводилась древняя история *Рамачандры* и завоевание им *Ланки* (о. Цейлона). Все дети ходили также смотреть шествие *Мохаррам* с шелковыми *аламами* и скорбным поминовением трагической судьбы Гасана и Гусейна в далекой Аравии. А когда наступал двухдневный праздник *Ид*, Муншиджи одевался в свое лучшее платье и отправлялся молиться в большую мечеть, а потом я шел к нему в гости и поглощал сладкую вермишель и другие лакомства. Огмечались и менее крупные праздники, которых очень много в индусском календаре: *Ракишабандхан*, *Бхайя дудж* и другие.

У нас и у других кашмирцев имелись также некоторые особые праздники, которых не справляло большинство индусов. Главным из них был *Нюороз* — день Нового года по Самватскому календарю. Для нас это был знаменательный день, ибо все мы надевали новую одежду, а молодежь получала небольшие денежные подарки.

Но больше, чем всеми этими праздниками, я интересовался одним ежегодным событием, в котором сам играл центральную роль, — празднованием дня моего рождения. Это был волнующий день для меня. Рано утром меня взвешивали на больших весах, причем гирями служили мешки с пшеницей и другие предметы, которые затем раздавали беднякам. Потом я облачался в новое платье и получал подарки, а позднее являлись гости. Я чувствовал себя героем дня. Меня весьма огорчало то, что дни рождения бывают так редко. Я даже пытался повести агитацию, чтобы день рождения праздновали почаще. Я не знал тогда, что наступит время, когда день рождения станет неприятным напоминанием о прибавляющихся годах.

Иногда мы отправлялись всей семьей в какой-нибудь отдаленный город на свадьбу кого-либо из моих двоюродных братьев, или более дальних родственников, или друзей. Для нас, детей, это были увлекательные путешествия, ибо в дни свадебных торжеств все ограничения ослаблялись и мы пользовались почти полной свободой. Многие семьи обычно жили все вместе в *шади-хане* — доме, где происходила свадьба. Там было множество детей, мальчиков и девочек, и уже нельзя было пожаловаться на одиночество. Мы резвились и озорничали, за что иной раз получали нагоняй от старших.

О непомерной расточительности на индийских свадьбах как в богатых, так и в бедных семьях было сказано немало осуждающих слов. Все это справедливо. Не говоря уже о расточительности как таковой, чрезвычайно неприятно наблюдать, как



вульгарно выставляются напоказ богатства, хотя бы они и не имели никакой художественной или эстетической ценности. (Бывают, разумеется, и исключения.) По-настоящему во всем этом виноваты средние классы. Бедные также допускают излишества, идя ради этого на обременительные долги, но верх нелепости утверждать, как делают некоторые, что бедность сама является результатом обычаев. При этом часто забывают, что жизнь бедняков тускла и мопотонна до ужаса, и когда время от времени происходит свадебное празднество с его пирами и песнями, для них это все равно, что оазис в пустыле изнурительного труда, унылого домоседства и будничной жизни. У кого хватит духу лишить этого утешения людей, которым так редко выпадает случай повеселиться? Пожалуйста, положите конец расточительству, умерьте излишества (хотя это слишком сильные и неуместные слова для того скромного развлечения, которое бедняки могут позволить себе в своей бедности!), но не старайтесь сделать их жизнь еще более унылой и монотонной, чем она есть.

То же относится и к средним классам. Если не говорить о расточительстве и излишествах, эти свадьбы являются крупными общественными собраниями, на которых встречаются после долгой разлуки дальние родственники и старые друзья. Индия — большая страна, и друзьям не так-то просто встречаться, а встретиться большому числу людей одновременно еще труднее. Отсюда и популярность свадебных празднеств. Единственным их соперником, уже превосходящим их во многих отношениях и даже в качестве общественного собрания, являются политические собрания — различные конференции или съезды Конгресса.

У кашмирцев было одно преимущество перед многими другими народами Индии, особенно на севере страны. У них никогда не существовало *парды*, то есть затворничества женщин. Найдя этот обычай господствующим на индийских равнинах, куда они спустились с гор, они восприняли его только частично, поскольку это касалось их отношений с другими, не кашмирцами. В Северной Индии, где осталось жить большинство кашмирцев, этот обычай считался в то время обязательным признаком определенного положения в обществе. Но в собственной среде они поддерживали свободное общение между мужчинами и женщинами, и всякий кашмирец имел свободный доступ в любой кашмирский дом. На кашмирских праздниках и церемониях мужчины и женщины встречались и сидели рядом, хотя часто женщины держались обособленно. Мальчики и девочки встречались на более или менее равных началах, хотя, конечно, без той свободы, какая существует на современном Западе.

Так проходило мое раннее детство. Порою случались домашние ссоры, что неизбежно в большой семье. Если эти ссоры слишком разрастались, они доходили до ушей моего отца. Он

сердился и, повидимому, считал, что все подобные случаи вызваны глупостью женщины. Я не понимал толком, что произошло, но чувствовал — что-то неладно, ибо люди, казалось, разговаривали друг с другом как-то недружелюбно или избегали друг друга. Я чувствовал себя очень несчастным. Вмешательство отца, когда оно имело место, встряхивало всех нас.

В моей памяти ясно запечатлелось одно маленькое событие, относящееся к годам раннего детства. Мне было в ту пору, должно быть, лет семь или восемь. Я имел обыкновение ежедневно совершать прогулку верхом в сопровождении *савара* из кавалерийской части, стоявшей тогда в Аллахабаде. Однажды вечером во время такой прогулки я упал и мой пони — красивое животное с примесью арабской крови — вернулся домой без меня. У отца были гости, собравшиеся поиграть в теннис. Все было охвачено ужасом. Возглавляемые моим отцом, гости целой процессией в различных экипажах отправились на понски. Увидев меня на дороге невредным, они устроили мне такую встречу, словно я совершил какой-то героический поступок!

Глава третья

ТЕОСОФИЯ

Когда мне исполнилось десять лет, мы переехали в новый дом, который был гораздо просторнее прежнего. Отец назвал его «Ананд Бхаван» («Обитель радости»). При доме имелся большой сад, был бассейн для плавания, и я то и дело совершал различные волновавшие меня открытия. Возле дома возводились служебные постройки; рабочие копали землю, строили, — и я очень любил наблюдать за их работой.

В доме был большой бассейн для плавания. Я скоро научился плавать и чувствовал себя очень уверенно в воде и под водой. В долгие жаркие летние дни я часто ходил туда купаться. По вечерам у бассейна собиравались многочисленные друзья моего отца. Бассейн был новшеством. Нововведением, неизвестным в Аллахабаде в те времена, был и электрический свет, проведенный около бассейна и в доме. Я очень полюбил купанье, и моим постоянным развлечением было пугать не умеющих плавать, толкая или втаскивая их в воду. Мне вспоминается, в частности, доктор Тедж Бахадур Сапру, бывший в то время младшим адвокатом аллахабадской адвокатуры. Он не умел плавать и не пробовал научиться. Он имел обыкновение сидеть на верхней ступеньке бассейна, где уровень воды не превышал пятнадцати дюймов, и категорически отказывался двинуться дальше хотя бы на одну ступеньку, а если кто-нибудь пытался подтолкнуть его, он поднимал крик. Мой отец тоже не был пловцом, но все же мог, стиснув зубы и напрягши все силы, переплыть бассейн.

В то время происходила бурская война. Я с интересом следил за ней, и все мои симпатии были на стороне буров. Я начал читать газеты, чтобы следить за ходом боев.

Однако внимание мое было отвлечено одним домашним событием, происшедшим как раз в эти дни. Я имею в виду появление на свет моей сестры. Я давно уже втайне горевал, что нет у меня ни брата, ни сестры. Братья и сестры, казалось, были у всех, кого только я знал. И когда мне сказали, что скоро у меня тоже будет маленький братишка или сестренка, я очень обрадовался. Отец находился в то время в Европе. Помню, с какой тревогой ожидал я на веранде этого события. Вышел

один из врачей и сообщил мне, что событие совершилось. При этом он добавил, видимо в шутку, что я должен радоваться, что это не мальчик, который отнял бы у меня часть моего наследства. Помню, как огорчила и рассердила меня мысль, что кто-то мог считать меня способным на столь низкие расчеты.

Поездки отца в Европу вызывали бурю среди членов общины кашмирских брахманов в Индии. Он отказывался по возвращении совершить *праяшчит*, то есть церемонию очищения. Несколькоими годами ранее другой кашмирский брахман, пандит Бишан Нараян Дар, ставший впоследствии председателем Конгресса, отправился в Англию, с тем чтобы получить право заниматься адвокатской практикой. По его возвращении ортодоксальные члены общины отказались иметь с ним что-либо общее, и он превратился в отщепенца, несмотря на то, что совершил церемонию праяшчит. Это привело к расколу общины на две примерно равные части. Многие кашмирские юноши отправлялись впоследствии в Европу учиться и по возвращении примыкали к числу тех, кто выступал за новшества, но лишь после формальной церемонии очищения. Сама по себе эта церемония была не более как фарсом, в ней было очень мало от религии. Она означала лишь формальную верность установленным обычаям и подчинение воле определенной группы. Проведя церемонию, каждый мог затем совершать любые еретические поступки, общаться и есть за одним столом с не брахманами и не индусами.

Отец сделал еще один шаг: отказался совершать какую бы то ни было церемонию и подвергаться, хотя бы внешне и формально, так называемому очищению. Это сильно накалило страсти, особенно ввиду решительной и довольно пренебрежительной позиции, занятой отцом. В конце концов значительное число кашмирцев примкнуло к отцу, и, таким образом, возникла третья группа. Спустя несколько лет все эти группы слились, ибо представления людей изменились и бывшие ограничения отпали. Множество кашмирских юношей и девушек ездило учиться в Европу и Америку, и при этом даже речи не возникало о том, что им следует подвергнуться по возвращении каким бы то ни было церемониям. Ограничения, касающиеся пищи, тоже отпали почти целиком, сохранившись лишь у кучки ортодоксально настроенных людей, преимущественно у старых женщин, и принятие пищи за одним столом с не кашмирцами, мусульманами и не индийцами стало обычным явлением. Затворничество женщин — парда — исчезло среди кашмирцев даже и в их взаимоотношениях с другими общинами. Последним толчком к этому послужили политические события 1930 года. Но браки с представителями разных общин все еще не распространены, хотя примеры таких браков становятся все более частыми. Обе мои сестры вышли замуж за не кашмирцев,

а один из молодых членов нашей семьи женился недавно на венгерке. Возражения против браков с не кашмирцами основаны не на религиозных, а главным образом на расовых соображениях. Многим кашмирцам свойственно стремление сохранить особенности нашей этнической группы и наши характерные арийские черты, и они боятся, что мы утратим их в море индийских и неиндийских племен. Нас мало в этой обширной стране.

Насколько известно, первым кашмирским брахманом, который в новое время посетил западные страны, был мирза Мохан Лал — «Кашмирец», как он себя называл, — живший около ста лет назад. Это был способный и красивый молодой человек, студент миссионерского колледжа в Дели. Он был приглашен сопровождать английскую миссию в Кабул в качестве переводчика с персидского. Впоследствии он объехал всю Центральную Азию и Персию. Всюду, куда бы он ни приезжал, он ухитрялся найти себе новую жену, обычно выбирая ее в высших кругах. Он принял мусульманство и в Персии женился на девушке, принадлежавшей к королевской семье. Отсюда его титул — мирза. Побывал он и в Европе и был представлен молодой королеве Виктории. Он оставил увлекательные мемуары и описания своих путешествий.

Когда мне было около одиннадцати лет, ко мне был приглашен новый домашний учитель — Фердинанд Т. Брукс. У него была примесь ирландской крови (с отцовской стороны), а мать была француженка или бельгийка. Он был ярким теософом, и его рекомендовала моему отцу г-жа Энни Безант. Он пробыл у нас около трех лет и во многом оказал на меня большое влияние. Другим учителем, которого я имел в то время, был милый старый пандит — он должен был обучать меня хинди и санскриту. Но после многолетних усилий ему удалось научить меня очень немногому, столь немногому, что свои жалкие познания в санскрите я могу сравнить лишь с знаниями латыни, которую изучал впоследствии в Харроу. Вина, без сомнения, лежала на мне. У меня нет способностей к языкам, и грамматика не представляла для меня решительно никакого интереса.

Ф. Т. Брукс привил мне любовь к чтению, и я читал массу английских книг, хотя и довольно бессистемно. Я был хорошо знаком с детской литературой и специальной литературой для мальчиков. Моими любимыми книгами были книги Льюиса Керролла, а также «Джунгли» и «Ким» Киплинга. Я был очарован иллюстрациями Гюстава Доре к «Дон Кихоту», а книга «Среди льдов и во мраке полярной ночи» Фритьофа Нансена открыла мне новый мир приключений. Я читал, помнится, многие романы Скотта, Диккенса и Теккерея, сочинения Г. Уэллса, Марка Твена, рассказы о Шерлоке Холмсе. Меня потряс «Зендский узник», а «Трое в одной лодке» Джерома К. Джерома казались мне шедевром юмора. Помнятся мне и другие книги:

«Трильби» Дю Морье и «Петер Иббетсон». Я полюбил также поэзию, и эта любовь в известной степени сохранилась у меня, несмотря на все изменения моих вкусов.

Брукс посвятил меня также в тайны науки. Мы соорудили небольшую лабораторию, и я с увлечением проводил там долгие часы над физическими и химическими опытами.

Помимо моих учебных занятий, Ф. Т. Брукс оказал на меня влияние еще в одной сфере, и это влияние было одно время очень сильным. Я говорю о теософии. Раз в неделю у него собирались теософы. Я присутствовал на этих собраниях и постепенно усваивал теософскую фразеологию и идеи. Там велись метафизические споры, дискуссии о перевоплощении, об астральных и иных сверхъестественных телах, об эманации духа, о доктрине *карма*, причем упоминались не только сочинения г-жи Блаватской и других теософов, но и священные книги индуизма, буддийская «*Дхаммапада*», Пифагор, Аполлоний Тианский, различные философы и мистики. Много из того, что говорилось, я не понимал, но все это звучало очень заманчиво и таинственно, и мне казалось, что здесь-то и скрыт ключ к загадкам мироздания. Впервые я начинал сознательно и сосредоточенно размышлять о религии и об иных мирах. Индустская религия особенно выросла в моих глазах, но не ритуальная, или обрядовая, ее часть, а ее великие книги—«*Упанишады*» и «*Бхагавадгита*». Я их, конечно, не понимал, но они казались мне замечательными. Я видел во сне астральные тела и воображал себя летающим на большие расстояния. Мне снилось, что я лечу высоко в воздухе (без всяких приспособлений), и сон этот впоследствии часто повторялся в течение всей моей жизни; иногда он был очень ярок и реалистичен, и земля внизу представлялась мне в виде широкой панорамы. Не знаю, как современные толкователи снов — Фрейд и другие — истолковали бы этот сон.

Г-жа Энни Безант посетила в те дни Аллахабад и выступила с несколькими речами на теософские темы. Ее краспоречие глубоко трогало меня, и я возвращался после ее выступлений ошеломленным, словно во сне. Я решил вступить в теософское общество, хотя мне было тогда всего тринадцать лет. Когда я пришел к отцу за разрешением, он, смеясь, дал мне его. Он, видимо, не придавал этому шагу большого значения. Я был немного уязвлен его равнодушием. Как ни высоко я ставил его во многих отношениях, он казался мне недостаточно одухотворенным. В действительности он был старым теософом и примкнул к обществу еще в ранний период его существования, когда г-жа Блаватская находилась в Индии. Его влекло к теософам, видимо, больше любопытство, нежели религиозные запросы, и вскоре он вышел из общества, но некоторые из его друзей, вступившие вместе с ним, остались и успели занять высокое положение в духовной иерархии этого общества.

Таким образом, тринадцати лет я стал членом теософского общества, и сама г-жа Безант совершила церемонию моего посвящения, состоявшую из советов и разъяснения мне некоторых таинственных знаков, повидимому уцелевших пережитков масонства. Я был совершенно захвачен всем этим. Я присутствовал на съезде теософов в Бенаресе и видел старого полковника Олкотта с его красивой бородой.

Трудно представить себе, как ты выглядел и что ты чувствовал в отроческие годы, тридцать лет назад. Но у меня сложилось определенное впечатление, что в годы увлечения теософией у меня был вялый и безжизненный вид, который иногда указывает на благочестие и каким часто отличаются теософы, как мужчины, так и женщины. Я сторонился людей, чувствуя себя принадлежащим к числу избранных. В общем я был, должно быть, совершенно неподходящим и нежелательным товарищем для любого мальчика или девочки моего возраста.

Вскоре после того, как Ф. Т. Брукс покинул меня, я потерял всякую связь с теософией, и в удивительно короткий срок (отчасти потому, что я поступил в школу в Англии) теософия совершенно исчезла из моей жизни. Все же я не сомневаюсь, что эти годы, проведенные с Ф. Т. Бруксом, оказали на меня глубокое влияние, и я чувствую себя в долгу перед ним и перед теософией. Однако боюсь, что теософы с тех пор упали в моих глазах. Оказалось, что это не избранные натуры, а весьма заурядные люди, которые любят безопасность больше, чем риск, а выгодную службу — больше, чем долю мученика. Однако к г-же Энни Безант я всегда относился с чувством горячего восхищения.

Следующим важным событием, оказавшим на меня, помнится, большое влияние, была русско-японская война. Победы японцев приводили меня в восторг, и я каждый день с нетерпением ожидал свежих газет, чтобы узнать новости. Я обложил себя множеством книг по Японии и пытался прочесть некоторые из них. Я путался в японской истории, но мне нравились рыцарские повести древней Японии и занимательная проза Лафкадио Хэрна.

В уме моем теснились националистические идеи. Я размышлял об освобождении Индии и об избавлении Азии от европейского ига. Я мечтал о смелых подвигах, о том, как буду с мечом в руке сражаться за Индию и помогу ее освобождению.

Мне было четырнадцать лет. В нашем доме происходили перемены. Старшие из моих двоюродных братьев, приобретя профессию, покинули наш общий дом и поселились отдельно, своими собственными семьями. В моем сознании зарождались какие-то новые мысли и неопределенные мечты, и я начал проявлять несколько больший интерес к противоположному полу.

Я все еще предпочитал общество мальчиков и считал немножко унижительным для себя общаться с девочками. Но иногда на кашмирских вечеринках, где не было недостатка в хорошеньких девушках, или где-нибудь в другом месте я чувствовал волнение от женского взгляда или прикосновения.

В мае 1905 года, когда мне было пятнадцать лет, мы отправились в Англию. Ехали все вместе: отец, мать, моя маленькая сестренка и я.

Глава четвертая

ХАРРОУ И КЕМБРИДЖ

В конце мая мы прибыли в Лондон. В поезде, по пути из Дувра, мы прочли о крупной победе японцев в морском бою под Цусимой. Я был в прекрасном настроении. Следующий день оказался днем дерби, и мы отправились смотреть скачки. Мне вспоминается, что вскоре после нашего прибытия в Лондон мы встретили М. А. Ансари, который был тогда подвижным и умным молодым человеком, уже успевшим проявить себя блестящими успехами в области науки. Он был в то время хирургом одной из лондонских больниц.

Мне удалось поступить в Харроу благодаря некоторому везению, ибо я был немного старше того возраста, который был установлен для поступающих: мне уже исполнилось пятнадцать. Мои родные отправились на континент, а через несколько месяцев вернулись в Индию.

До сих пор я никогда еще не оставался совсем один среди чужих, и я чувствовал себя одиноким и скучал по дому. Но это продолжалось недолго. Я сумел так или иначе включиться в жизнь школы, к тому же учебные занятия и игры поглощали все мое время. Но полностью я там так и не акклиматизировался. У меня всегда было такое чувство, что я им чужой, и, должно быть, это чувствовали и другие. Поэтому я был до некоторой степени предоставлен самому себе. Но в общем я принимал живое участие в играх и хотя не успевал ни в чем особенно, но и не считался тихоней.

Для начала меня определили в один из младших классов ввиду моих слабых познаний в латыни, но вскоре я был переведен в следующий класс, но по многим предметам, а особенно по общему развитию я опередил своих сверстников. Круг моих интересов, безусловно, был шире, и я гораздо больше читал книг и газет, чем большинство моих товарищей по школе. Помните, я писал отцу о том, как скучны в большинстве своем английские мальчики, которые неспособны говорить ни о чем другом, кроме своих игр. Встречались, однако, и исключения, особенно когда я достиг старших классов.

Меня очень интересовали всеобщие выборы, которые происходили, насколько я помню, в конце 1905 года и окончились

крупной победой либералов. В начале 1906 года наш классный наставник спросил нас, что мы знаем о новом правительстве, и, к большому его удивлению, я оказался единственным в классе, кто смог сообщить ему подробные сведения на этот счет и даже назвать поименно почти всех членов кабинета Кэмпбелл-Баннермана.

Другая область, которая захватила меня, помимо политики, были первые шаги авиации. Это были времена братьев Райт и Сантоса-Дюмона (за которыми вскоре последовали Фарман, Латам и Блерио). Охваченный энтузиазмом, я писал отцу из Харроу, что, очевидно, скоро придет время, когда я смогу прилететь к нему в Индию, чтобы провести дома конец недели.

В мое время в Харроу было четыре или пять индийских мальчиков. С теми из них, которые жили в других пансионах, я встречался редко, но в нашем пансионе, который возглавлял сам директор школы, находился один из сыновей *гаеквара* Бароды. Он был намного старше меня и пользовался популярностью как хороший игрок в крикет. Он покинул школу вскоре после моего появления. Позднее к нам поступил старший сын махараджи Капуртхала, Парамджит Сингх, ныне Тикка Сахаб. Он пришелся тут совсем не ко двору, чувствовал себя несчастным и никак не мог сойтись с другими мальчиками, которые то и дело подтрунивали над ним и его привычками. Это сильно его раздражало, и иногда он говорил им, что еще посчитается с ними, если только они явятся в Капуртхалу. Само собой понятно, что положение его от этого не становилось лучше. Ранее он провел некоторое время во Франции и мог бегло говорить по-французски, но, как это ни странно, методы обучения иностранным языкам в английских закрытых школах были таковы, что это почти не отражалось на его успеваемости по французскому языку.

Однажды произошел любопытный инцидент. Среди ночи к нам в комнаты неожиданно явился заведующий пансионом и произвел у всех тщательный обыск. Оказалось, что Парамджит Сингх потерял свою красивую трость с золотым набалдашником. Поиски не дали никаких результатов. Спустя два или три дня в Лорде происходил матч между Итоном и Харроу, и тотчас же после этого трость оказалась на своем месте. Очевидно, кто-то воспользовался ею в Лорде, а затем подбросил ее владельцу.

В нашем и в других пансионах было несколько евреев. Они хорошо учились, но антисемитские настроения здесь всегда давали себя знать. Их называли «проклятыми евреями», и скоро я незаметно для себя привык считать эти настроения вполне естественными. Между тем я никогда не испытывал ни малейшей вражды к евреям, а в более поздние годы нашел среди них немало близких друзей.

Я привык к Харроу и полюбил его и все же чувствовал, что перерос его. Меня влек к себе университет. Как раз в это время, в 1906—1907 годах, меня волновали вести, приходившие из Индии. Из английских газет я мог почерпнуть весьма скудные сведения о происходящем, но и этого было достаточно, чтобы понять, что на моей родине, в Бенгалии, Пенджабе и Махараштре, совершаются великие события. Лала Ладжпат Рай и С. Аджит Сингх были сосланы. Бенгалия была охвачена волнениями. В сообщениях из Пуны часто мелькало имя Тилака; проводились кампании *свадешии* и бойкота иностранных товаров. Все это чрезвычайно волновало меня. В Харроу не было никого, с кем бы я мог поговорить об этом, но в свободные дни я встречался с некоторыми из моих двоюродных братьев или с кем-нибудь из моих индийских друзей, и тут мне представлялся случай облегчить душу.

Однажды в награду за школьные успехи я получил одну из книг Дж. М. Тревельяна о Гарибальди. Я был увлечен ею. Вскоре я достал два остальных тома из той же серии и самым тщательным образом изучил по ним всю историю Гарибальди. Мне представлялись подобные же события в Индии, мужественная борьба за освобождение родины; Индия и Италия причудливо сливались в моем воображении. Теперь Харроу казался мне слишком мал и тесен, хотелось выйти на более широкий простор. Мне удалось убедить отца перевести меня в университет, и я покинул Харроу, пробыв там всего два года, что было значительно меньше обычного срока обучения.

Я покидал Харроу по собственному желанию, и все же мне ясно помнится, что, когда наступил час прощанья, я был растроган и глаза мои наполнились слезами. Я успел полюбить это место, и теперь отъезд отсюда означал конец определенного периода моей жизни. И все же я спрашиваю себя: было ли мне в самом деле жаль покидать Харроу? Не было ли это отчасти вызвано сознанием, что мне надлежит испытывать печаль, как того требовали традиции Харроу и его школьный гимн? Я был восприимчив к этим традициям, ибо сознательно не противостоял им, дабы чувствовать себя в гармонии с окружающим.

Кембридж, колледж св. Троицы, начало октября 1907 года. Мне семнадцать лет, вернее уже почти восемнадцать. Помню, я был в восторге от того, что я студент, пользующийся гораздо большей, чем в школе, свободой, и могу делать все, что хочу. Я освободился от оков отрочества и наконец-то почувствовал себя вправе называться взрослым. С самоуверенным видом я бродил по обширному университетским дворам и узким улицам Кембриджа и был в восторге, если мне встречался кто-нибудь из знакомых.

В Кембридже я провел три года, три тихих года, покой которых почти ничем не нарушался. Они текли медленно, подобно

тихим водам Кема. Это были приятные годы: множество друзей, учебные занятия, игры, постепенное расширение умственного кругозора. Я поступил на отделение естественных наук, оставив свой выбор на трех предметах: химии, геологии и ботанике. Однако мои интересы этим не ограничивались. Многие из тех, с кем я встречался в Кембридже или во время каникул в Лондоне и других местах, с ученым видом вели разговоры о книгах, о литературе, истории, политике и экономике. Вначале я несколько терялся во время этих дилетантских бесед, но, прочитав несколько книг, я скоро добрался до их смысла и мог участвовать в разговоре, не проявляя слишком большого невежества в вопросах, служивших предметом обсуждения. Так, мы говорили о Ницше (им страшно увлекались в то время в Кембридже), о предисловиях Бернарда Шоу и о последней книге Лоуэса Диккинсона. Мы считали себя весьма искусными и с самоуверенным видом рассуждали о проблемах пола и морали, ссылаясь небрежно на Айвана Блока, Хавелока Эллиса, Крафт-Эбинга или Отто Вейнингера. Нам казалось, что в области теории этого вопроса мы знаем все, что надлежит знать не специалисту.

В действительности же, несмотря на все наши храбрые речи, большинство из нас были весьма робки во всем, что касалось взаимоотношения полов. По крайней мере я был таким, и все мои познания на этот счет на протяжении ряда лет, вплоть до окончания Кембриджа, оставались чисто теоретическими. Почему это было так, довольно трудно сказать. Большинство из нас были сильно увлечены проблемами пола, и я сомневаюсь, чтобы кто-либо из нас связывал с этой областью какое-либо представление о грехе. Во всяком случае, у меня таких представлений не было; никаких религиозных запретов для меня также не существовало. Мы не считали эту сферу ни моральной, ни аморальной, находя, что она лежит вне пределов морали. Но, несмотря на это, меня удерживала какая-то застенчивость, а также отвращение из-за обычно применявшихся методов. Ибо в ту пору я был весьма застенчивым юношей, что объяснялось, быть может, моим одиноким детством.

Мои взгляды на жизнь в то время представляли собой нечто напоминавшее гедонизм, что отчасти было естественной данью молодости, а отчасти навеяно Оскаром Уайльдом и Уолтером Пейтером. Так легко и приятно дать стремлению к легкой жизни и удовольствиям длинное греческое наименование! Однако тут было и нечто большее, ибо для меня легкая жизнь не имела особой притягательной силы. Поскольку я не был религиозен и не любил ограничений, налагаемых религией, для меня было естественным искать какие-то другие нормы. Я был поверхностен и ни во что не углублялся. Поэтому мне imponировал эстетический подход к жизни. Достойно прожить жизнь,

не предаваясь вульгарному удовлетворению своих желаний, но все же беря от нее максимум того, что она может дать, и живя полной и разносторонней жизнью,— эта мысль казалась мне весьма привлекательной. Я любил жизнь и не понимал, почему я должен считать ее чем-то греховным. В то же время меня влекли к себе риск, опасности. Подобно своему отцу, я всегда был немножко азартен, но если раньше я играл на деньги, то теперь ставкой в этой игре служили большие проблемы жизни.

В политической жизни Индии в 1907 и 1908 годах совершался переворот. Мне хотелось принять в нем активное участие, а это едва ли сулило легкую жизнь. Все эти смешанные и подчас противоречивые желания породили путаницу в моей голове. Мысли мои были туманными, беспорядочными, но это меня не тревожило, ибо время для принятия какого-то определенного решения было еще далеко. А пока что жизнь была приятна как в физическом, так и в интеллектуальном смысле, взорам нашим открывались все новые горизонты. И так много надо было сделать, так много увидеть, так много разведать новых дорог! Долгими зимними вечерами мы сидели, бывало, у огня и вели неторопливые беседы далеко за полночь, и только когда камин совсем погасал, мы, дрожа от холода, расходились по своим постелям. Иногда во время этих бесед мы сбивались с привычного для нас тона: в горячем споре наши голоса делались громкими и возбужденными. Но все это была игра. С напускной серьезностью играли мы проблемами человеческой жизни, ибо они еще не стали для нас подлинными проблемами и мы еще не были захвачены в сети мирских дел. Мир, окружавший нас, был миром начала XX столетия, кануна мировой войны. Этому миру суждено было в скором времени умереть и уступить свое место другому, который принес молодежи смерть, тоску и страдания. Но все это было скрыто от нас завесой будущего; мы же видели вокруг себя прочный и становящийся все более совершенным порядок, и это было приятно для тех, кто имел возможность наслаждаться им.

Я пишу здесь о гедонизме и тому подобных вещах, а также о различных идеях, оказавших в то время на меня влияние. Но было бы ошибочным полагать, что я имел в то время ясное представление обо всех этих предметах или хотя бы считал необходимым попытаться составить себе о них ясное и определенное представление. Это были всего лишь туманные фантазии, проносившиеся в моем сознании и оставлявшие при этом более или менее заметный отпечаток в нем. Все эти размышления по-настоящему не волновали меня. Жизнь моя была заполнена учением, играми и развлечениями, и единственно, что нарушало подчас мой душевный покой,— это политическая борьба в Индии. Среди книг, оказавших на меня влияние в

политическом смысле в период моего пребывания в Кембридже, была книга Мередит Таунсенда «Азия и Европа».

Начиная с 1907 года Индия на протяжении нескольких лет была охвачена волнениями и беспорядками. Впервые со времени восстания 1857 года Индия поднялась на борьбу, а не подчинялась покорно чужеземному господству. Известия о деятельности Тилака и о его осуждении, об Аравиндо Гхоше и о клятве пародных масс Бенгалии соблюдать свадеши и бойкот наполняли всех нас, индийцев, проживавших в Англии. Почти все мы поголовно были приверженцами Тилака, или экстремистами, как называли сторонников этой новой партии в Индии.

У индийцев в Кембридже было общество, называвшееся «Маджлис». Мы часто обсуждали там политические проблемы, но наши споры были какими-то не настоящими. Усилия тратились не столько на разрешение обсуждаемой проблемы, сколько на копирование стиля и манер ораторов, выступавших в парламенте и университетском союзе. Я часто посещал «Маджлис», но за три года ни разу не выступил там. Я не в силах был преодолеть свою застенчивость и робость. Эти же качества мешали мне и в дискуссионном обществе колледжа, носившем название «Болтуны», где существовало правило, что член общества, ни разу не выступивший в течение целого семестра, подвергается штрафу. Я часто уплачивал штраф.

Мне вспоминается, что «Болтунов» часто посещал Эдвин Монтегю, ставший впоследствии государственным секретарем по делам Индии. Он был воспитанником колледжа св. Троицы, а в то время был членом парламента от Кембриджа. От него я впервые услышал современное определение религии как веры во что-то, что не может, по свидетельству нашего разума, быть истинным, ибо если бы это одобрялось разумом, не было бы места слепой вере. Я находился под впечатлением моих научных занятий в университете и обладал отчасти тем чувством уверенности, которое отличало тогдашнюю науку. Ибо наука XIX и начала XX века в отличие от сегодняшней науки была очень уверена в себе и в мире.

В «Маджлисе» и в частных разговорах индийские студенты при обсуждении политических проблем Индии часто высказывали весьма крайние взгляды. Они даже выражали восхищение актами насилия, которые в то время имели место в Бенгалии. Впоследствии эти же самые люди стали чиновниками Индийской гражданской службы, судьями Верховного суда, очень положительными и трезвыми юристами и так далее. Очень немногие из этих салонных смутьянов в дальнейшем принимали сколько-нибудь активное участие в индийских политических движениях.

В Кембридже нас посещали некоторые видные политические деятели Индии того времени. Мы относились к ним с уважением, но не без оттенка превосходства. Мы чувствовали

себя более культурными и способными более широко смотреть на вещи. В числе тех, кто посетил нас, были Бепин Чандра Пал, Ладжпат Раи и Г. К. Гокхале. Мы принимали Бепина Пала в одной из наших гостиных. Нас было всего несколько человек, но он говорил таким громовым голосом, как будто перед ним была десятитысячная аудитория. Шуму было столько, что я едва мог следить за смыслом того, что он говорил. Лаладжи говорил с нами в более обычной манере, и его речь произвела на меня впечатление. Я написал отцу, что выступление Лаладжи понравилось мне больше, чем выступление Бепина Пала, и ему это было приятно, так как он недолюбливал в те времена бенгальских смутьянов. Гокхале выступил на массовом митинге в Кембридже. Главное, что сохранилось у меня в памяти об этом дне,— это выступление в конце митинга А. М. Хваджа. Он поднялся из глубины зала и стал задавать вопросы. Он все говорил и говорил, так что большинство из нас забыло, с чего он начал и в чем, собственно, суть дела.

Большим уважением среди индийцев пользовался Хар Даял. Незадолго до того, как я переехал в Кембридж, он находился в Оксфорде. В годы моего пребывания в Харроу я встречался с ним раз или два в Лондоне.

Среди индийцев, находившихся в Кембридже одновременно со мной, было несколько человек, которые играли впоследствии видную роль в политической деятельности Индийского Национального конгресса. Дж. М. Сен-Гупта покинул Кембридж вскоре после моего появления там. Сайфулдин Китчлу, Саид Махмуд и Тасаддук Ахмад Шервани были там примерно в одно время со мной. С. М. Сулейман, являющийся ныне председателем Аллахабадского верховного суда, также был в Кембридже в одно время со мной. Остальные из моих сверстников в дальнейшем возвысились до положения министров или чиновников Индийской гражданской службы.

В Лондоне мы часто слышали также о Шнамджи Кришнаварме и его Индийском обществе, но я ни разу не встречался с ним и не посещал это общество. Иногда нам попадал в руки его «Индиян социолоджист». Много времени спустя, в 1926 году, я встретился с Шнамджи в Женеве. Карманы его все еще были набиты старыми номерами «Индиян социолоджист», и почти в каждом индийце, который оказывался вблизи от него, он видел шпиона, подосланного английским правительством.

В Лондоне имелся студенческий центр, созданный Департаментом по делам Индии. Все индийцы не без оснований считали, что эта организация была создана специально для слежки за индийскими студентами. Тем не менее многим индийцам приходилось иметь с ним дело, хотели они того или нет, так как поступить в университет без его рекомендации стало почти невозможно.

Политическая обстановка в Индии побудила моего отца к более активному участию в политической жизни, и это радовало меня, хотя я и не разделял его политических взглядов. Он, естественно, примкнул к умеренным, которых хорошо знал и многие из которых были его коллегами по профессии. Он председательствовал на одной конференции в своей провинции и решительно выступал против экстремистов Бенгалии и Махараштры. Он стал также председателем провинциального комитета Национального конгресса в Соединенных провинциях. Он присутствовал в 1907 году на съезде в Сурате, когда произошел раскол Конгресса, который впоследствии возродился как чисто умеренная группа.

Вскоре после Суратского съезда у него в Аллахабаде гостил некоторое время Х. У. Невинсон, который в своей книге об Индии назвал отца «умеренным во всем, кроме своей щедрости». Это совершенно неверная оценка, ибо отец не был умеренным никогда и ни в чем, кроме политики, а в дальнейшем его натура мало-помалу заставила его отказаться и от этих последних остатков умеренности. Человек больших чувств и больших страстей, наделенный невероятной гордостью и громадной силой воли, он был весьма далек от умеренности. Но при всем том в 1907 и 1908 годах, так же как и в течение нескольких последующих лет, он, без сомнения, был в политике умереннейшим из умеренных и был весьма ожесточен против крайних, хотя я и подозреваю, что к Тилаку он относился с восхищением.

Чем это объяснялось? Для него, воспитанного на принципах права и конституционализма, естественно было подходить к политике с юридической и конституционной точек зрения. Ясный ум привел его к выводу, что смелые и решительные речи ничего не дают, если за ними не следуют соответствующие действия. Между тем он не видел в перспективе возможности каких-либо эффективных действий. Движения свадеши и бойкота, по его мнению, не давали сколько-нибудь существенных результатов. К тому же в основе этих движений лежал религиозный национализм, совершенно чуждый натуре отца. Он отнюдь не стремился к возрождению в Индии старых порядков, ибо не симпатизировал им, не понимал их и глубоко ненавидел многие из старых социальных обычаев, такие, как деление на касты и тому подобное, считая их глубоко реакционными. Взоры его были обращены на Запад; он был сильно увлечен западным прогрессом и думал, что этот прогресс может наступить и в Индии в результате сотрудничества с Англией.

С социальной точки зрения, возрождение индийского национализма в 1907 году было определено реакционным явлением. Новый национализм в Индии, как и повсюду на Востоке, был неизбежно религиозным национализмом. Таким образом, умеренные являлись носителями более передовых социальных

взглядов, но это была малочисленная группа, не имевшая никаких связей с массами. Они мало задумывались о проблемах экономики, если не считать проблем, стоявших перед новой верхушкой средних классов, которую они частично представляли и которая нуждалась в просторе для своего роста. Они выступали также за мелкие социальные реформы, за ослабление кастовой системы и отмену старых социальных обычаев, препятствующих росту.

Но, связав свою судьбу с умеренными, отец занял решительную позицию. Все экстремисты, кроме нескольких руководителей их в Бенгалии и Пуне, были люди молодые, и отца раздражало, что эти юноши осмеливались проявлять самостоятельность. Нетерпимый к какой бы то ни было оппозиции и не выносящий людей, которых считал глупцами, он с радостью набрасывался на них и наносил им удары при всяком удобном случае. Мне вспоминается, как однажды — это было, кажется, после того, как я покинул Кембридж, — я прочел одну его статью, которая меня возмутила. Я послал ему довольно дерзкое письмо, в котором писал, что английское правительство, без сомнения, весьма довольно его политической деятельностью. Это было как раз такого рода утверждение, которое способно было привести его в ярость, и он сильно рассердился. Он подумывал даже о том, чтобы потребовать моего немедленного возвращения из Англии.

Во время моего пребывания в Кембридже встал вопрос, какую карьеру я для себя избираю. Подумывали об Индийской гражданской службе, которая в те дни еще казалась привлекательной, однако ни меня, ни отца эта мысль особенно не увлекла, и она скоро была отброшена. Объяснялось это, думаю, главным образом тем, что я не подходил к ней по возрасту, и, если бы избрал этот путь, мне пришлось бы по окончании университета выжидать еще три или четыре года. К моменту окончания Кембриджского университета мне было двадцать лет, а в Индийскую гражданскую службу принимали лиц не моложе 22—24 лет. Даже в случае удачи мне пришлось бы провести в Англии еще один год. Между тем родных уже стало тяготить мое длительное отсутствие, и они хотели, чтобы я поскорее возвращался на родину. Другая причина, повлиявшая на решение отца, заключалась в том, что в случае моего зачисления чиповником Индийской гражданской службы я получал бы назначения в различные отдаленные от дома пункты, а отцу и матери хотелось, чтобы я пожил с ними после длительного отсутствия. В конце концов мы остановили свой выбор на отцовской профессии, адвокатуре, и я вступил в ассоциацию адвокатов Иннер Темпл в Лондоне.

Любопытно, что, несмотря на все усиливавшуюся радикальность моих политических взглядов, я не имел в то время серьезных возражений против поступления в Индийскую граждан-

скую службу, где должен был превратиться в один из винтиков административной машины английского правительства в Индии. В позднейшие годы подобная мысль показалась бы мне отвратительной.

Я покинул Кембридж в 1910 году, после получения ученой степени. На экзаменах по трем предметам, в которых я специализировался, я имел лишь относительный успех, получив почетный диплом второй степени. В течение двух последующих лет я слонялся по Лондону. Мои занятия юриспруденцией отнимали немного времени, и я сдавал один за другим экзамены на звание адвоката без блеска, но и без провалов. В остальном я попросту плыл по течению, кое-что читал, испытывал неопределенное влечение к фабианцам и к социалистическим идеям и проявлял интерес к политической злобе дня. Особенно меня интересовали Ирландия и женское суфражистское движение. Помню также, как во время моей поездки в Ирландию летом 1910 года я заинтересовался первыми шагами движения синфайнеров¹.

В Лондоне я сошелся с несколькими старыми друзьями по Харроу и, проводя время в их обществе, усвоил легкомысленное отношение к деньгам. Я часто выходил за пределы щедрого содержания, установленного мне отцом, и он очень тревожился, не вступил ли я на скользкий путь. Впрочем, ничего особенного я себе не позволял. Я всего лишь пытался подражать преуспевающему, но довольно-таки пустоголовому англичанину, тому, кого принято именовать «светским человеком». Надо ли говорить, что это приятное, но лишнее существование отнюдь не способствовало выработке моего характера. Мой первоначальный энтузиазм стал ослабевать, и единственное, что, повидимому, продолжало во мне расти, это мое самодовольство.

Во время каникул я иногда совершал поездки по континенту. Летом 1909 года мне с отцом довелось быть в Берлине в тот самый день, когда граф Цеппелин прилетел туда на своем новом воздушном корабле из Фридрихсхафена. Это был, кажется, его первый полет на большое расстояние. По этому случаю была организована пышная демонстрация и получено официальное приветствие кайзера. В Темпельхофе, пригороде Берлина, собралась громадная толпа, численностью от одного до двух миллионов человек. Корабль Цеппелина прибыл вовремя и описал несколько грациозных кругов над толпой. В этот день администрация отеля «Адлон» преподнесла всем проживавшим в отеле красивый портрет графа Цеппелина, который и до сих пор у меня хранится.

Спустя примерно два месяца мы видели в Париже первый аэроплан, который пролетел над городом и сделал несколько

¹ Синфайнеры — ирландские националисты.— *Прим. ред.*

кругов над Эйфелевой башней. Летчика звали, кажется, граф де Ламбер. А спустя восемнадцать лет я оказался в Париже в тот самый день, когда туда прилетел Линдберг, пронесшийся над Атлантическим океаном, подобно сверкающей стреле.

Однажды в Норвегии, куда я отправился в увеселительную поездку в 1910 году, вскоре после окончания Кембриджского университета, я едва не погиб. Мы бродили в горах. Измученные жарой и усталостью, мы достигли наконец цели пути — это была маленькая гостиница — и потребовали ванну. О таких вещах там и не слыхивали, и даже никакого помещения для подобных целей в гостинице не оказалось. Нам сказали, что помыться мы можем в соседнем ручье. Тогда, вооружившись столовыми салфетками или, может быть, маленькими полотенцами, которыми нас щедро снабдили хозяева гостиницы, я и мой спутник, молодой англичанин, отправились к гремящему потоку, который брал свое начало в близлежащем леднике. Я вошел в воду. Там было неглубоко, но вода оказалась холодна, как лед, а дно было ужасно скользким. Я поскользнулся и упал. Ледяная вода сковала меня, члены мои одеревенели, и я утратил всякую способность владеть ими. Я не мог подняться на ноги, и меня подхватил и понес поток. Однако спутник мой, англичанин, сумел выбраться; он бежал за мной по камням, и наконец ему удалось схватить меня за ногу и вытащить. Позже мы узнали, какая опасность нам грозила. Оказалось, что в двухстах или трехстах метрах от этого места поток низвергался в бездонную пропасть, образуя водопад, считавшийся одной из главных достопримечательностей здешних мест.

Летом 1912 года я получил право на адвокатскую практику и осенью того же года вернулся наконец в Индию, пробыв в Англии более семи лет. За эти годы я дважды ездил на родину во время каникул. Но теперь я возвращался окончательно. Боюсь, что в тот день, когда я высадился в Бомбее, я был самонадеянным педантом, о котором можно было сказать мало хорошего.

СНОВА ДОМА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В ИНДИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

К концу 1912 года в Индии наблюдалось политическое за­тишье. Тилак был в тюрьме, экстремисты были обузданы и, лишённые действительного руководства, ничем себя не проявляли; в Бенгалии, после того как план раздела провинции прова­лился, вновь воцарилось спокойствие, а умеренных удалось «подбить» на поддержку плана Минто — Морли¹ о законо­дательных советах в Индии. Некоторый интерес проявлялся к индийцам, живущим за границей, особенно к положению индийцев в Южной Африке. Конгресс представлял собой группу умеренных, которая ежегодно собиралась, выносила малозначительные резолюции и не привлекала к себе особого внимания.

Во время рождественских праздников 1912 года я присут­ствовал в качестве делегата на съезде Конгресса в Банкипуре. Там собрались главным образом представители высших клас­сов, люди, владевшие английским языком и щеголявшие визит­ками и отутюженными брюками. По существу это было свет­ское общество. Никакого политического волнения или напряже­ния здесь не ощущалось. Среди присутствующих был Гокхале, только что вернувшийся из Южной Африки. Он был самой вы­дающейся фигурой на съезде. Возбужденный, полный страсти и первичной энергии, он принадлежал к числу тех немногих участ­ников съезда, которые относились к политике и обществен­ным вопросам серьезно и принимали их близко к сердцу. Он произвел на меня большое впечатление.

При отъезде Гокхале из Банкипура произошел характерный инцидент. Гокхале был в то время членом комиссии по вопро­сам коммунального обслуживания, и это давало ему право на отдельное купе в вагоне первого класса. Он был нездоров, и многолюдное, чуждое ему общество действовало на него угне­тающе. Он любил побыть в одиночестве и после напряжения в дни съезда радовался, что в поезде немного отдохнет. Он получил для себя купе, но все вагоны были переполнены деле­гатами, возвращавшимися в Калькутту. Вскоре к Гокхале

¹ Закон об управлении Индией 1909 года.— *Прим. ред.*

явился Бхупендра Натх Басу, ставший впоследствии членом Индийского совета, и непринужденно спросил, нельзя ли ему расположиться в его купе. Гокхале несколько растерялся, так как Басу был большой говоруни, но, разумеется, дал свое согласие. Через несколько минут Басу снова явился к Гокхале и спросил, не будет ли тот возражать, если его друг также займет место в этом купе. Гокхале снова кротко согласился. Незадолго до отхода поезда Басу небрежно заметил, что ему и его другу было бы очень неудобно спать на верхних полках, а потому не займет ли Гокхале верхнюю полку, с тем чтобы они могли занять две нижние. На этом, кажется, и договорились, и бедный Гокхале вынужден был залезть наверх и провести скверную ночь.

Я занялся юриспруденцией и поступил на службу в Верховный суд. Работа до известной степени меня интересовала. Первые месяцы после моего возвращения из Европы были приятны. Я рад был снова очутиться дома и возобновить старые знакомства. Однако постепенно жизнь, которую вел я и большинство мне подобных, начала утрачивать свою новизну, и я чувствовал, что меня затягивает серая рутинная бессмысленная и бесполезная существование. Я думаю, что это чувство недовольства моим окружением объяснялось тем смешанным или, по крайней мере, неоднородным воспитанием, которое я получил. Привычки и представления, выработавшиеся у меня за семь лет моего пребывания в Англии, не вязались с тем, что окружало меня здесь. К счастью, атмосфера, царившая в нашем доме, в основном отвечала моим запросам, и это было для меня некоторым облегчением, хотя и недостаточным. Помимо этого, были еще библиотека адвокатуры и клуб. Но там я встречал всегда одних и тех же людей, снова и снова обсуждавших все те же старые проблемы, обычно связанные с юридической профессией. Обстановка явно не способствовала пробуждению мысли, и у меня все усиливалось ощущение полнейшей бесцветности жизни. Сколько-нибудь стоящих увеселений или развлечений — и тех не было.

Дж. Лоуэс Диккинсон, как об этом сообщается в недавно вышедшей книге его биографа Е. М. Форстера, однажды сказал об Индии: «*Почему расы не могут найти общий язык? Да просто потому, что индийцы нагоняют на англичан скуку. Это простой и непреложный факт*». Возможно, что подобное чувство испытывает большинство англичан, и в этом нет ничего удивительного. В другой своей книге Форстер указывает, что каждый англичанин в Индии не без основания чувствует и ведет себя так, как если бы он был солдатом оккупационной армии, а при таких условиях между обоими народами не могут, конечно, возникнуть естественные и непринужденные отношения. Англичанин и индеец всегда позируют друг перед другом, и естественно, что они чувствуют себя неуютно в обществе

друг друга. Один нагоняет на другого скуку, и оба торопятся разойтись, чтобы снова свободно дышать и нормально двигаться.

Англичанин обычно имеет дело с одним и тем же кругом индийцев — именно с теми из них, кто связан с официальным миром, и ему редко приходится сталкиваться с действительно интересными людьми, а если он и встретится с ними, ему нелегко вызвать их на откровенность. Английское господство в Индии привело к выдвиганию на первое место, даже в общественной сфере, чиновничьего класса, а люди этого класса, будь то англичане или индийцы, отличаются исключительной серостью и узостью кругозора. Даже способный молодой англичанин по приезде в Индию скоро впадает в своего рода интеллектуальное и культурное оцепенение и оказывается изолированным от всяких живых идей и движений. После дня, проведенного на службе, где ему приходится иметь дело с бесконечным потоком деловых бумаг, он немного занимается спортом, а затем отправляется в свой клуб, где встречается с себе подобными, пьет виски и читает «Панч» и иллюстрированные еженедельники, поступившие из Англии. Он почти не читает книг и в лучшем случае перечитывает в сотый раз какую-нибудь старую, полюбившуюся ему книгу. В этой своей постепенной умственной деградации он будет винить Индию, будет ругать ее климат и проклинать шайку смутьянов, умножающих его неприятности. Он не понимает того, что причина его интеллектуального и культурного упадка коренится в тупой бюрократической и деспотической системе правления, которая процветает в Индии и маленькой частичкой которой он сам является.

Если такова участь английского чиновника, хотя он и пользуется отпусками и каникулами, то индийский чиновник, работающий вместе с ним или под его началом, вряд ли может чувствовать себя лучше, ибо он старается подражать английскому образцу. Трудно придумать что-нибудь более скучное, чем сидеть в обществе высокопоставленных чиновников — все равно, английских или индийских — в Дели, в этом центре империи, и слушать их бесконечные рассуждения о повышении и перемещениях по службе, о порядке предоставления отпусков или мелочные сплетни о служебных дрязгах.

Этот казенный, чиновничий дух почти повсеместно пронизывал и определял собой жизнь индийских средних классов, а в особенности жизнь владеющей английским языком интеллигенции. Исключением до некоторой степени были лишь такие города, как Калькутта и Бомбей. Даже лица свободных профессий — адвокаты, врачи и прочие — все заражены были этим духом, и академические аудитории полугосударственных университетов были также проникнуты им. Все эти люди жили в особом мире, изолированном от масс и даже от низших слоев среднего класса. Политика была исключительно делом этой вер-

хушки. Националистическое движение в Бенгалии в 1906 году впервые нарушило этот порядок и вдохнуло новую жизнь в низшие слои средних классов и даже в какой-то степени в массы. Этому процессу суждено было быстро усилиться в последующие годы, когда во главе движения стал Гандиджи¹. Однако национализм, хотя он и способен вдохнуть новую жизнь, представляет собой узкую доктрину, а борьба за воплощение его принципов поглощает слишком много энергии и внимания, чтобы ее можно было сочетать с какой-либо другой деятельностью.

Поэтому в первые годы после моего возвращения в Индию я был недоволен жизнью. Моя профессия не вызывала у меня искреннего энтузиазма. Политика, означавшая для меня энергичную националистическую деятельность, направленную против чужеземного господства, не открывала широких возможностей для этого. Я вступил в Национальный конгресс и присутствовал на его собраниях, созывавшихся время от времени. Когда представлялся особый случай — как, например, во время кампании против контрактации индийских рабочих для отправки на острова Фиджи или кампании против дискриминации индийцев в Южной Африке, — я с головой уходил в работу и трудился изо всех сил. Но все это было только временным занятием.

Я предавался некоторым развлечениям, таким, например, как *шикар*, однако у меня не было к этому ни особых способностей, ни склонности. Мне нравились прогулки в джунгли, но не доставляло никакого удовольствия убивать, и я пользовался репутацией человека, руки которого никогда не были обогреты кровью, хотя однажды в Кашмире мне довелось случайно убить медведя. Случай с маленькой антилопой окончательно уничтожил во мне и ту небольшую склонность к *шикару*, которую я испытывал. Это безобидное маленькое животное, смертельно

¹ Я всюду в этой книге называю Ганди, или Махатму Ганди, — «Гандиджи», ибо он сам предпочитал эту форму обращения добавлению к его имени слова «Махатма». Однако в книгах и статьях английских авторов мне попадались чрезвычайно странные объяснения этого «джи». Некоторые полагают, что это ласкательная частица и что Гандиджи значит «миленький Ганди»! Это совершенный вздор, свидетельствующий о полном незнании индийской жизни. «Джи» — одна из самых распространенных частиц, добавляемых к именам в Индии. Она применяется к самым различным людям, безразлично, будь то мужчина, женщина, юноша, девушка или ребенок. Она включает в себе оттенок уважения и является своего рода эквивалентом «мистера», «миссис» или «мисс». Язык хиндустани богат вежливыми оборотами, префиксами и суффиксами, добавляемыми к именам, и почетными титулами; «джи» является среди них простейшим и наименее официальным, хотя и совершенно правильным. От моего зятя, Ранджита С. Пандита, я узнал, что это «джи» имеет давнюю и почтенную историю. Оно происходит от санскритского *ария*, что значит аристократ или человек благородного происхождения (не в нацистском значении слова «ариец!»). Это «ария» в пракрите превратилось в *аджа*, а отсюда возникло упрощенное «джи».

ращенное, упало к моим ногам и смотрело на меня снизу вверх своими огромными, полными слез глазами. Этот взгляд потом долгое время преследовал меня.

В те годы меня привлекало созданное Гокхале общество «Слуги Индии». Я никогда не думал о вступлении в это общество, отчасти потому, что его политические принципы были для меня слишком умеренными, отчасти же потому, что в то время у меня не было намерения отказываться от своей профессии. Но члены этого общества, целиком посвятившие себя служению родине и получавшие при этом самое ничтожное вознаграждение, вызывали у меня огромное восхищение. Здесь, по крайней мере, думал я, ведется какая-то честная, целеустремленная и постоянная работа, пусть даже направление ее и не совсем верно.

Однажды меня совершенно ошеломил Сриниваса Састри, хотя дело шло о мелком вопросе, не имевшем связи с политической. Выступая на митинге студентов в Аллахабаде, он заявил им, что они должны уважать и слушаться своих учителей и наставников и тщательно соблюдать все положения и правила, установленные властями. Все эти благонамеренные речи с их упором на авторитаризм не произвели на меня большого впечатления, они казались мне очень плоскими и несколько неуместными. Я подумал, что они навеяны, должно быть, той полуказенной атмосферой, которая царил в Индии. Между тем Састри продолжал свою речь. Он обратился к мальчишкам с призывом немедленно сообщать властям о любом прегрешении товарища. Иными словами, им предлагалось шпионить друг за другом и исполнять функции осведомителей. Састри не произнес вслух этих неприятных слов, но смысл его выступления был ясен, и я был совершенно подавлен, слушая эти дружеские внушения великого лидера. Я только что вернулся из Англии, и урок, который глубже всего запечатлелся в моем сознании за все время пребывания в школе и колледже, состоял в том, что никогда нельзя предавать товарища. Нет худшего прегрешения против канонов добропорядочного поведения, чем ябедничать и доносить, навлекая тем самым на товарища неприятности. Открытое и полное отрицание этого принципа подействовало на меня удручающе. Я чувствовал, что между представлениями о нравственности Састри и теми представлениями, которые были внушены мне, лежит пропасть.

Вскоре наше внимание было поглощено мировой войной. Она шла вдали от нас и на первых порах мало затрагивала нашу жизнь. Индия так никогда и не ощутила полностью ее ужасов. Политическая жизнь в стране совершенно зачухла. Страна находилась в когтях Закона об обороне Индии (эквивалент английского Закона об обороне государства). Начиная со второго года войны до нас стали доходить вести о заговорах

и расстрелах и о применявшихся в Пенджабе насильственных методах вербовки рекрутов.

Несмотря на громкие изъявления лояльности, в стране не слишком сочувствовали англичанам. Как умеренные, так и экстремисты с удовлетворением воспринимали победы немцев. Объяснялось это, разумеется, не любовью к Германии, а лишь желанием видеть наших собственных властителей посрамленными. Таково было представление слабого и беспомощного человека о возмездии. Я думаю, что большинство из нас следило за ходом борьбы со смешанным чувством. Из всех стран, принимавших в ней участие, мои симпатии, пожалуй, более всего привлекала к себе Франция. Непрестанная беззастенчивая пропаганда союзников оказывала на нас некоторое воздействие, хотя, слушая, мы всегда мысленно вносили в нее существенные коррективы.

Постепенно политическая жизнь возродилась. Локаманья Тилак вышел из тюрьмы. Он и г-жа Безант создали лиги борьбы за самоуправление. Я вступил в обе лиги, но особенно много делал для лиги г-жи Безант. Г-жа Безант начинала играть все более видную роль в политической жизни Индии. Ежегодные съезды Конгресса стали более оживленными, а Мусульманская лига решила пойти по пути сотрудничества с Конгрессом. Атмосфера накалилась, и большинство из нас, молодых людей, оживилось и ожидало в ближайшем будущем крупных событий. Арест г-жи Безант еще больше усилил возбуждение интеллигенции и активизировал движение за самоуправление по всей стране. Лиги борьбы за самоуправление привлекли к себе не только всех прежних экстремистов, которые с 1907 года не допускались в Национальный конгресс, но и большое число новичков из среды средних классов. С массами они не соприкасались.

Арест г-жи Безант взволновал даже людей старшего поколения, включая многих лидеров умеренных. Мне вспоминается, как трогали нас незадолго до этого события красноречивые речи Сринивасы Састри, которые мы читали в газетах. И вот как раз перед тем, как г-жа Безант была арестована, или вскоре после этого Састри внезапно замолчал. Он бросил нас в тот момент, когда наступил час действовать, и это его молчание в то время, когда мы больше, чем когда-либо раньше, нуждались в руководстве, вызвало у нас сильное разочарование и возмущение. В эти-то дни и родилось у меня убеждение, что Састри не человек действия и что обстановка кризиса противна его натуре.

Однако некоторые лидеры умеренных сделали шаг вперед, одни — чтобы впоследствии вновь пойти на попятный, другие же — чтобы остаться на новых позициях. Мне вспоминается, что в те дни велись оживленные споры по поводу новых индийских войск обороны, которые правительство формировало из

представителей средних классов по образцу европейских войск обороны в Индии. Обращение с этими индийскими солдатами во многом отличалось от обращения с европейскими войсками, и многие из нас считали, что мы не должны оказывать правительству поддержку до тех пор, пока эти унижительные различия не будут уничтожены. Однако после долгих споров мы все же решили сотрудничать с властями у себя в Соединенных провинциях, ибо считали, что нашей молодежи полезно получить военную подготовку даже при таких условиях. Я послал заявление о зачислении меня в новую армию, и мы создали в Аллахабаде комитет, на который была возложена задача содействовать планам организации индийских войск. Однако как раз в этот момент стало известно об аресте г-жи Безант. В обстановке возбуждения, вызванного этим актом, мне удалось уговорить членов комитета — в него входили мой отец, д-р Тедж Бахадур Салру, К. Я. Чинтамани и другие лидеры умеренных — в знак протеста против действий правительства отменить заседание комитета и прекратить всякую работу, связанную с формированием войск обороны. Соответствующее сообщение было тотчас же опубликовано. Я думаю, что некоторые из подписавшихся под ним впоследствии сожалели об этом вызывающем акте, совершенном в военное время.

Арест г-жи Безант побудил также моего отца и других лидеров умеренных вступить в лигу борьбы за самоуправление. Однако спустя несколько месяцев большинство из этих лидеров вышло из лиги. Мой отец остался в лиге и стал председателем ее отделения в Аллахабаде.

Постепенно отец отходил от ортодоксальной умеренной позиции. Его возмущали чрезмерная покорность и попытки взывать к властям, которые игнорировали нас и относились к нам с презрением. Однако прежние лидеры экстремистов не импонировали ему: его коробил их язык и их методы. Случай с г-жой Безант и последующие события оказали на него большое влияние, однако он все еще не решался занять более последовательную позицию. Он часто говорил в те дни, что тактика умеренных никуда не годится, но что ничего существенного сделать нельзя до тех пор, пока не будет найдено решение индусско-мусульманской проблемы. Если это решение будет найдено, он обещал идти дальше рука об руку с самыми молодыми из нас. Принятие съездом Конгресса в Лакнау в 1916 году плана соглашения между Национальным конгрессом и Мусульманской лигой, который был разработан на заседании Исполнительного комитета Национального конгресса, состоявшемся в нашем доме, сильно обрадовало отца, так как это открывало возможности для объединения усилий, и он в то время был готов идти вперед, даже если бы потребовалось порвать со старыми товарищами из группы умеренных. Они действовали сообща как до прибытия в Индию государствен-

ного секретаря Эдвина Монтегю, так и во время его пребывания в нашей стране.

Разногласия возникли вскоре после опубликования доклада Монтегю — Челмсфорда, а окончательный разрыв произошел в Соединенных провинциях летом 1918 года на чрезвычайной провинциальной конференции в Лакнау, на которой председательствовал мой отец. Умеренные, ожидавшие, что эта конференция решительно выступит против предложений Монтегю — Челмсфорда, бойкотировали ее. Позднее они бойкотировали также чрезвычайный съезд Национального конгресса, созванный для рассмотрения этих предложений. С тех пор они оставались вне рядов Национального конгресса.

Эта практика умеренных, которые норовили тихонько улизнуть и не принимать участия в съездах Конгресса и других общественных собраниях, не заботясь даже о том, чтобы изложить свою точку зрения и отстаивать ее, даже если видели, что против них было большинство, казалась мне совершенно недостойной и не подобающей общественным деятелям. Я полагаю, что такое же чувство было у многих людей в стране, и уверен, что почти полный политический провал умеренных в Индии объясняется отчасти этой их робкой позицией. Единственным лидером умеренных, присутствовавшим на некоторых из первых съездов Национального конгресса, бойкотировавшихся группой умеренных, был, кажется, Састри, который высказывал на этих съездах свою личную точку зрения. Это подняло его в глазах общественного мнения.

Моя собственная политическая и общественная деятельность в первые годы войны была весьма скромной, и я воздерживался от выступлений на публичных собраниях. Я все еще был застенчив и не решался говорить перед публикой. Кроме того, по моему убеждению, нельзя было выступать с речью на английском языке, а я сомневался в своей способности свободно говорить на хиндустанни. Мне вспоминается один случай, происшедший на митинге в Аллахабаде, на котором меня заставили впервые выступить с публичной речью. Это было, кажется, в 1915 году. Впрочем, я вообще плохо запоминаю даты и не совсем ясно помню последовательность событий. Митинг был созван в знак протеста против нового закона, изданного с целью заставить замолчать печать. Я говорил недолго и по-английски. Как только митинг окончился, д-р Тедж Бахадур Сапру, к моему величайшему конфузу, обнял меня и на глазах у присутствующих тут же на трибуне расцеловал. Дело было не в том, что я сказал или как я это сказал. Его бурная радость была вызвана самим фактом моего публичного выступления, означавшим, что еще один рекрут вовлечен в общественную деятельность, ибо эта деятельность практически сводилась в те дни к одним речам.

Мне помнится, что в то время многие из нас, молодых

людей в Аллахабаде, питали слабую надежду на то, что д-р Сапру займет более передовую позицию в политике. Из всей группы умеренных в городе он казался наиболее способным на это, ибо был легко возбудим и подчас мог отдаться порыву чувств. По сравнению с ним мой отец казался воплощением хладнокровия, хотя под этой оболочкой скрывалось немало огня. Однако упрямство отца оставляло нам очень мало надежд, и некоторое время мы гораздо большего ожидали от д-ра Сапру. Нас привлекал к себе, конечно, также паидит Мадан Мохан Малавия, имевший большой опыт общественной деятельности, и мы часто подолгу с ним беседовали, убеждая его смело повести за собой страну.

У нас дома в те годы нельзя было мирно беседовать на политические темы. Каждый раз, когда заходила речь о политике — а это бывало очень часто, — атмосфера мгновенно накалялась. Отец пристально следил за моей растущей склонностью к экстремизму и прислушивался к моей постоянной критике политики многословия и к моим настойчивым призывам к действию. В чем это действие должно заключаться, было не ясно, и отцу иногда казалось, что я почти готов принять ту тактику насилия, которой придерживались некоторые молодые люди в Бенгалии. Это сильно его тревожило. В действительности тактика насилия меня не привлекала. Но мысль, что нельзя мириться с существующим положением и что надо что-то делать, все больше овладевала мною. Успешная деятельность, с национальной точки зрения, представлялась мне отнюдь не легкой, но я считал, что как личная, так и национальная гордость требует от нас занять более наступательную, более боевую позицию по отношению к чужеземным властителям. Отец сам был недоволен философией умеренных, и в душе у него происходила борьба. Он был слишком упрям, чтобы изменить свою позицию, прежде чем окончательно убедиться, что иного выхода нет. Всякий шаг вперед означал для него упорную и тяжелую внутреннюю борьбу, но если он совершал этот шаг после борьбы с самим собой, он уже не отступал. Он действовал не в порыве чувств, а руководствуясь разумом, и если он решался на тот или иной шаг, гордость не позволяла ему оглядываться назад.

Внешние изменения в его политических взглядах произошли примерно к моменту ареста г-жи Безант, и с тех пор он шаг за шагом двигался вперед, оставив далеко позади своих старых коллег умеренных, пока трагические события 1919 года в Пенджабе не побудили его окончательно порвать с прежней жизнью и профессией и связать свою судьбу с новым движением, начатым Гандиджи.

Но все это было еще впереди, а в период между 1915 и 1917 годами он еще не принял какого-либо твердого решения о том, что ему делать, и сомнения, мучившие его, в сочетании с

тревогой за меня не располагали его к мирным беседам о современных общественных проблемах. Наши разговоры часто резко обрывались из-за того, что мы выводили его из себя.

Моя первая встреча с Гандиджи произошла во время съезда Национального конгресса в Лакнау, в дни рождества 1916 года. Все мы восхищались его героической борьбой в Южной Африке, но многим из нас, молодых людей, он казался очень далеким, не похожим на окружающих и аполитичным. Он отказывался в то время участвовать в деятельности Национального конгресса или в каких-либо политических мероприятиях национального значения и ограничивался проблемой индийцев в Южной Африке. Вскоре после этого он вызвал у нас восторг своими смелыми делами и победой в Чампаране, где он возглавил борьбу арендаторов против владельцев плантаций. Мы убедились, что он готов применить свои методы также и в Индии и что они сулят успех.

Мне вспоминается, что в те дни, после съезда Национального конгресса в Лакнау, на меня произвели сильное впечатление несколько ярких выступлений Сароджини Найду в Аллахабаде. Они были глубоко проникнуты национализмом и патриотизмом, а я был чистейшим националистом, ибо мои смутные социалистические идеи периода пребывания в университете отступили на задний план. Я считаю, что в своей замечательной речи, произнесенной на суде в 1916 году, Роджер Кэзмсиг выразил как раз те чувства, которые должен испытывать представитель угнетенной нации. Восстание в дни пасхи в Ирландии привлекало наши симпатии самым фактом своего поражения, ибо разве не истинным мужеством было поведение тех, кто поднялся на борьбу, невзирая на неизбежность поражения, и возвестил всему миру, что никакая физическая сила неспособна сокрушить непобедимый дух народа?

Таковы были мои мысли в то время. Однако новые книги начинали опять ворошить пепел моих былых социалистических идей. Это были весьма расплывчатые идеи, скорее гуманистического и утопического порядка, нежели научного. Моим любимым автором во время войны и в последующие годы был Бертрам Рассел.

Эти мысли и желания рождали в моей душе все разрастающийся конфликт и недовольство профессией адвоката. Я продолжал заниматься практикой, так как не имел какого-либо другого занятия, но все больше убеждался в невозможности сочетать с работой адвоката общественную деятельность, особенно того наступательного типа, который был мне по душе. Дело было не в принципах, а во времени и энергии. Сэр Раш Бехари Гхош, знаменитый калькуттский юрист, по неизвестной мне причине проникшийся ко мне симпатией, дал мне массу полезных советов, как преуспеть в моей профессии. Он особенно рекомендовал мне написать книгу по

какому-либо юридическому вопросу, выбрать который должен и сам, утверждая, что для начинающего юриста это наилучший способ самовоспитания. Он предложил мне свою помощь в обсуждении идей, которые должны лечь в основу книги, а также обещал просмотреть рукопись, когда она будет закончена. Но весь его доброжелательный интерес к моей юридической карьере оказался напрасным. Вряд ли в ту пору что-либо претило мне больше, чем тратить время и силы на писание юридических книг.

Сэр Раш Бехари стал под старость чрезвычайно раздражителен и вспыльчив. Для подчиненных он был грозой. Однако мне он скорее нравился, и сами его недостатки и слабости не лишены были привлекательности. Однажды мы с отцом были у него в гостях в Симле. Это было, кажется, в 1918 году. Тогда только что стало известно о докладе Монтегио — Челмсфорда. Как-то раз вечером он пригласил на обед нескольких друзей, среди которых был старый Кхапарде. После обеда сэр Раш Бехари и Кхапарде начали громкий и резкий спор, ибо они принадлежали к соперничающим между собой политическим направлениям. Сэр Раш Бехари был убежденным умеренным, а Кхапарде тогда считался видным последователем Тилака, хотя в последующие годы он стал кротким, как голубь, и слишком умеренным даже для умеренных. Кхапарде начал критиковать Гокхале (который умер за несколько лет до того), говоря, что тот был английским агентом и шпионил за ним в Лондоне. Это было уже слишком для сэра Раши Бехари, и он начал кричать, что Гокхале был лучшим из людей и его ближайшим другом и что он никому не позволит слова сказать против него. Тогда Кхапарде переключился на Сринивасу Састри. Сэру Рашу Бехари и это не понравилось, но уже не вызвало у него такого возмущения. Видимо, Састри он почитал меньше, чем Гокхале. Раш Бехари заявил, что он оказывал финансовую помощь обществу «Слуги Индии», пока Гокхале был жив, но после его смерти прекратил свою помощь. В ответ на это Кхапарде начал превозносить Тилака. Вот истинно великий человек, говорил он, удивительная личность, святой. «Святой! — возразил сэр Раш Бехари. — Я ненавижу святых и не желаю иметь с ними ничего общего».

Глава шестая

МОЯ ЖЕНИТЬБА И ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ГИМАЛАЯХ

Я женился в 1916 году в городе Дели. Свадьба состоялась в день Васанта Папчами, который считается в Индии провозвестником весны. Летом этого года мы провели несколько месяцев в Кашмире. Я оставил семью в долине и вместе с одним из моих двоюродных братьев несколько недель бродил по горам и поднимался по Ладакхской дороге.

Я впервые знакомился с этими узкими и пустынными долинами, расположенными на огромной высоте, в преддверии Тибетского плато. С вершины перевала Зоджила мы увидели под собой по одну сторону горные склоны, покрытые богатой растительностью, по другую — голые, суровые скалы. Мы поднимались все выше по дну узкой долины. Справа и слева от нас высились горы, вершины которых с одной стороны были покрыты сверкающим снегом; навстречу нам сползали небольшие ледники. Холодный ветер пробирал до костей, но днем сильно припекало, а воздух был так прозрачен, что мы то и дело ошибались, когда пытались определить расстояние до той или иной точки: предметы казались нам гораздо ближе, чем были в действительности. Местность становилась все более дикой и пустынной: ни дерева, ни какой-либо растительности, которая могла бы скрасить наше одиночество, только голые скалы, снег, лед да изредка цветы, которым мы очень радовались. И, однако, дикость природы и безлюдье вызывали у меня чувство какого-то странного удовлетворения. Я был полон энергии и находился в приподнятом настроении.

Во время этого путешествия произошел волнующий эпизод. Вскоре после того, как мы миновали перевал Зоджила (место, где мы находились, помнится, называлось Матаян), мы узнали, что всего в восьми милях от нас находится пещера Амаранатх. Правда, путь к ней преграждала огромная гора, сплошь покрытая льдом и снегом, которую надо было преодолеть, но какое это имело значение? Восемь миль — это казалось так близко! Неопытные, но преисполненные пыла, мы решили попытаться. Покинув свой лагерь (который был расположен на высоте примерно 11,5 тысячи футов), в сопровождении еще нескольких

человек мы стали взбираться на гору. Нашим проводником был местный пастух.

Нам удалось перебраться через несколько ледников, подтягиваясь на веревках, но дальше препятствия все увеличивались и стало труднее дышать. У некоторых из наших носильщиков, хотя они были нагружены не тяжело, пошла кровь из носа. Пошел снег, и идти по льду стало ужасно скользко. Мы выбивались из сил, каждый шаг давался нам с трудом. Но мы все еще упорствовали в своей безрассудной попытке. Мы покинули наш лагерь в четыре часа утра и после двенадцати часов почти непрерывного восхождения были вознаграждены зрелищем громадного ледяного поля. Окруженное снежными пиками наподобие диадемы или амфитеатра богов, оно представляло собой величественное зрелище. Однако начавшийся снег и сгущающийся туман скоро скрыли его от наших глаз. Не знаю точно, на какой высоте мы находились, но думаю, что-нибудь около 15—16 тысяч футов, так как мы были значительно выше пещеры Амаранатх. Нам предстояло теперь пересечь ледяное поле протяжением, вероятно, в полмили, а затем спуститься по другую сторону пещеры. Мы думали, что, поскольку восхождение закончено, главные трудности уже позади. Очень усталые, но в хорошем настроении, мы начали следующий этап нашего путешествия. Но все оказалось не так просто, так как на нашем пути было множество расселин, а только что выпавший снег часто скрывал опасные места. Этот снег чуть не погубил меня: я неосторожно ступил ногой, снег подался под моей тяжестью, и я сорвался вниз, в зияющую расселину. Это была гигантская трещина, и можно было поручиться, что все, что ни попадет в нее, надежно сохранится на многие геологические века. Но веревка выдержала, я уцепился за край расселины, и меня вытащили наверх. Мы были потрясены этим происшествием, но все еще упорствовали и продолжали продвигаться вперед. Однако расселины встречались все чаще и становились все шире, а у нас не было ни необходимого снаряжения, ни приспособлений, чтобы преодолевать их. Измученные и разочарованные, мы в конце концов повернули назад, так и не побывав в пещере Амаранатх.

Высокогорные долины и горы Кашмира так меня очаровали, что я решил при первой возможности вернуться сюда. Я строил множество планов и разрабатывал множество маршрутов. Один из таких планов, приведший меня в восторг, предусматривал посещение Манасаровара — чудесного озера Тибета — и находящихся по соседству с ним покрытых снегом гор Кайлас. Это было восемнадцать лет назад, а я и сегодня все так же далек от Кайласа и Манасаровара. Мне даже не удалось вновь посетить Кашмир, как сильно к этому я ни стремился. Я все больше запутываюсь в сетях политики и общественной деятельности. И вместо того чтобы взбираться на горы или

пересекать моря, я вынужден удовлетворять свою тягу к путешествиям, скитаясь по тюрьмам. Но я все еще строю планы, ибо это радость, которой никто не может меня лишить даже в тюрьме. Да к тому же, что еще остается делать, находясь в заключении? Я мечтаю о том дне, когда буду бродить по Гималаям и, перебравшись через них, дойду до озера и горы, к которым меня так страстно влечет. Но пока что жизнь уходит, юность сменяется зрелым возрастом, а на смену ему придет кое-что и похуже, и иногда мне кажется, что я могу оказаться слишком старым, чтобы пытаться достигнуть Кайласа и Манасаровара. Впрочем, путешествие всегда стоит предпринять, даже если не рассчитываешь добраться до цели.

Да, горы те встают передо мной,
В закате, стелющем пурпуровый покров...
И снова ищет с жадною тоской
Мой взор сиянье девственных снегов.¹

¹ Walter de la Mare.

ПРИХОД ГАНДИ. САТЪЯГРАХА И АМРИТСАР

Окончание мировой войны застигло Индию в состоянии сдержанного возбуждения. Индустриализация распространилась по стране, возросло богатство и влияние класса капиталистов. Эта малочисленная верхушка общества преуспела за годы войны и жаждала увеличить свою власть и получить возможности для вложения своих накоплений, дабы умножить свои богатства. Но огромное большинство народа не было столь удачливо и с нетерпением ожидало облегчения давившего на него бремени. Средние классы ждали великих конституционных перемен, которые могли бы привести к установлению широкого самоуправления и тем самым облегчить участь этих классов и открыть перед ними множество новых возможностей для роста. Политическая агитация, имевшая мирный и вполне конституционный характер, казалось, приносила свои плоды, и люди уверенно толковали о самоопределении и самоуправлении. Некоторое волнение наблюдалось также и среди народных масс, особенно среди крестьянства. В сельских районах Пенджаба жива была горькая память о насильственных методах вербовки в армию, а жестокая расправа над лицами, причастными к делу «Комагата-мару»¹, и другими преданными суду по обвинению в заговоре еще более усилила всеобщее возмущение. Солдаты, возвратившиеся с действительной службы на отдаленных фронтах, уже не были покорными роботами, как прежде. Они духовно выросли, и в их среде проявлялось сильное недовольство.

Среди мусульман царило возмущение в связи с судьбой Турции и халифатским вопросом, и их волнение все усиливалось. Договор с Турцией еще не был подписан, но общая ситуация была зловещей. Волнуясь, они выжидали.

Господствующим настроением во всей Индии было настроенное ожидания и надежды, но к этому примешивалось чувство тревоги и страха. Как раз в это время были опубликованы

¹ «Комагата-мару» — японское судно, арендованное сикхами и направлявшееся в Канаду. Канадское правительство не разрешило им высадиться, и сикхи были отправлены обратно в Индию, где они подверглись преследованию английского правительства в Индии. Многие из них погибли. — *Прим. ред.*

законопроекты Роулетта¹ с их суровыми статьями об арестах и предании суду без какого бы то ни было контроля и формальностей, обычно предусматриваемых законом. Эти законопроекты породили волну возмущения, прокатившуюся по всей стране. Даже умеренные энергично выражали протест. По существу создалась единоподушная оппозиция, объединившая индийцев самых различных политических взглядов. И тем не менее власти протащили эти законопроекты, и они стали законом. Единственная существенная уступка, которая была при этом сделана, сводилась к тому, что срок действия нового закона был ограничен тремя годами.

Весьма поучительно теперь, спустя пятнадцать лет, оглянуться на эти законопроекты и на те волнения, которые были ими вызваны. Хотя законопроекты и получили силу закона, однако, насколько мне известно, к этому закону не прибегли ни разу за все три года его существования, а между тем эти три года были отнюдь не мирными, а, напротив, самыми бурными годами в истории Индии со времен восстания 1857 года. Таким образом, английское правительство в Индии вопреки единоподушному общественному мнению протащило закон, к которому оно само ни разу не решилось прибегнуть впоследствии; принятием этого закона оно само вызвало волнения. Можно подумать, что целью закона и было вызвать беспорядки.

Интересен также следующий факт. Ныне, спустя пятнадцать лет, в нашем своде законов имеется масса повседневно действующих законов, гораздо более суровых, чем законопроекты Роулетта. По сравнению с этими новыми законами и указами, под сенью которых мы ныне наслаждаемся благами английского господства, законопроекты Роулетта могут рассматриваться чуть ли не как хартия вольностей. Правда, теперешнее положение отличается от прошлого: с 1919 года нам была выдана значительная порция того, что именуется самоуправлением, в виде плана Монтегю — Челмсфорда², а сейчас нам говорят, что мы находимся на капуне получения новой большой порции. Мы прогрессируем.

В начале 1919 года Гандиджи перенес тяжелую болезнь. Больной, прикованный к постели, он умолял вице-короля не давать своего согласия на законопроекты Роулетта. Однако это обращение оставили без внимания, как и все остальные. Тогда Гандиджи, почти против своей воли, взял на себя руководство своей первой общеиндийской политической кампанией. Он организовал Сатьяграха сабху, члены которой обязались не повиноваться закону Роулетта, если он будет применен к ним, а в дальнейшем также и другим законам, которые союз признает

¹ Законопроекты Роулетта 1919 года предоставляли полиции и судебным властям большие права в борьбе против национально-освободительного движения.— *Прим. ред.*

² Закон об управлении Индией 1919 года.— *Прим. ред.*

неприемлемыми. Иными словами, они должны были открыто и сознательно обрекать себя на заключение в тюрьмы.

Когда я впервые прочел в газетах об этом предложении, я почувствовал огромное облегчение. Наконец-то появился выход из тупика, найден метод прямого, открытого и, возможно, эффективного действия. Я был охвачен восторгом и решил немедленно вступить в Сатьяграха сабху. Едва ли я думал тогда о последствиях: о нарушении законов, заключении в тюрьму и тому подобном, — а если и думал, это меня не пугало. Но затем пыл мой несколько остыл, и я понял, что не так-то все это просто. Мой отец отнесся неодобрительно к этой новой идее. Он не имел обыкновения давать себя увлечь новыми предложениями; прежде чем решиться на какой-либо новый шаг, он тщательно обдумывал его последствия. И чем больше он размышлял о Сатьяграха сабхе и его программе, тем меньше все это ему нравилось. Какую пользу принесет заключение в тюрьму множества отдельных лиц, какое давление может это оказать на правительство? А помимо этих общих соображений, его особенно волновал чисто личный момент: ему казалось чудовищным, что я могу очутиться в тюрьме. Массовое скитание по тюрьмам тогда еще не началось, и всякая мысль о тюрьме казалась отвратительной. Отец был сильно привязан к своим детям, и хотя он никогда не афишировал своих чувств, но за его сдержанностью скрывалась горячая любовь.

Много дней продолжалась эта внутренняя борьба, и так как мы оба чувствовали, что на каргу поставлено многое и что вся наша жизнь может оказаться нарушенной, мы старались быть возможно внимательнее друг к другу. Мне хотелось по мере сил облегчить его страдания, но в глубине души я не сомневался, что мне надлежит идти путем сатьяграхи. Оба мы переживали тяжелое время. Ночами я не спал и бродил в одиночестве, терзаемый душевными муками и пытаюсь отыскать какой-то выход, а отец, как я узнал впоследствии, даже пробовал спать на голом полу, чтобы узнать, каково это, ибо он думал, что такая участь ждет меня в тюрьме.

По просьбе отца Гандиджи приехал в Аллахабад, и они вели между собой долгие беседы, при которых я не присутствовал. В результате Гандиджи посоветовал мне не опережать событий и не предпринимать ничего такого, что могло бы огорчить отца. Я не был обрадован этим, но в это время в Индии произошли крупные события, которые изменили всю обстановку, и Сатьяграха сабха прекратила свою деятельность.

День сатьяграхи, общендийские *харгалы* и полное прекращение всякой деловой активности, расстрелы, произведенные полицией и армией в Дели и Амритсаре, жертвой которых стало большое число людей, массовые бунты в Амритсаре и Ахмадабаде, резня в Джаллианвала Баге, ужасы и неслыханные унижения, сопутствовавшие длительному военному положе-

нию в Пенджабе... Пенджаб был изолирован, отрезан от остальной Индии, он был как бы отделен плотной завесой, которая скрывала его от посторонних глаз. Оттуда не поступало почти никаких известий, и никто не мог проникнуть в эту провинцию или выехать из нее.

Отдельные лица, которым удавалось вырваться из этого ада, были настолько напуганы, что не могли ни о чем толком рассказать. Мы же, находившиеся за пределами провинции, бессильно и беспомощно ожидали хоть каких-нибудь сведений, и сердца наши ожесточались. Некоторые из нас хотели открыто отправиться в пострадавшие районы Пенджаба, в нарушение правил военного положения. Но нас удержали от этого. Тем временем Национальный конгресс создал крупную организацию, имевшую целью оказать помощь пострадавшим и произвести расследование.

Как только в главных районах провинции было отменено военное положение и туда был разрешен доступ посторонним, в Пенджаб устремились видные члены Национального конгресса и много других лиц, предлагая свои услуги для организации помощи жителям или для проведения расследования. Работой по оказанию помощи руководили в основном пандит Мадан Мохан Малавия и Свами Шраддханаида, а мой отец и Ч. Р. Дас возглавляли работу по расследованию. Гандиджи живо интересовался всей этой работой, и с ним часто советовались. Дешбандху Дас специально взял в свое ведение район Амритсара, и мне было поручено сопровождать его туда и оказывать любую помощь, какая ему может понадобиться. Это был первый случай, когда мне довелось работать с ним и под его руководством; я высоко ценил представившуюся мне возможность, и мое восхищение этим человеком непрерывно росло. Большая часть появившихся впоследствии в отчете Национального конгресса свидетельских показаний, относящихся к Джаллианвала Багу и к той ужасной улице, где человеческие существа вынуждены были ползать на животе, была записана в нашем присутствии. Мы множество раз посетили так называемый Баг и тщательно осмотрели там каждую пядь земли.

Кто-то, кажется Эдвард Томпсон, высказал мнение, что генерал Дайер находился под впечатлением, будто из Бага были и другие выходы, и что именно поэтому он так долго продолжал стрельбу. Но если даже у Дайера и было такое впечатление и какие-то выходы действительно имелись, это едва ли уменьшает его ответственность. Однако то, что у него могло быть такое впечатление, представляется весьма странным. Всякий, кто стоял на возвышенности, где стоял он, имел перед собой ясную картину всей местности и мог видеть, что она со всех сторон замкнута многоэтажными зданиями. Только с одной стороны на протяжении около ста футов не было домов, а про-

ходила низкая, не выше пяти футов, стена. Тысячи людей, не видя иного выхода под косившим их убийственным огнем, бросились к этой стене и пытались перелезть через нее. Тогда огонь, очевидно, был направлен на эту стену (это видно как из собранных нами показаний, так и по бесчисленным следам пуль на самой стене), чтобы люди не могли спастись, перебравшись через нее. И когда все было кончено, то оказалось, что больше всего убитых и раненых было по обе стороны стены.

В конце того же 1919 года я ехал как-то ночным поездом из Амритсара в Дели. В купе, в которое я вошел, все полки, кроме одной верхней, были заняты спящими пассажирами. Я забрался на свободную полку. Утром оказалось, что все мои спутники — офицеры. Они громко переговаривались, и я не мог не слышать, о чем они говорили. Один из них разглагольствовал в вызывающем и торжествующем тоне, и скоро я убедился, что это — Дайер, герой Джалианвала Бага, и что описывает он свои действия в Амритсаре. Он заявил, что весь город был в его власти и у него было желание обратить этот мятежный город в груды пепла, но что он сжалился над ним и воздержался от этого. Он, очевидно, возвращался из Лахора после дачи показаний следственной комиссии Хантера. Меня возмутили его речи и грубые манеры. Он сошел в Дели, одетый в халат, под которым была пижама в яркокрасную полоску.

В дни, когда велось расследование пенджабских событий, я часто видел Гандиджи. Его предложения очень часто поражали наш комитет своей новизной и встречались неодобрительно. Однако ему почти всегда удавалось убедить нас принять эти предложения, а последующие события показывали, насколько мудрыми были его советы. Вера в его политическую прозорливость все более крепла во мне.

Пенджабские события и их расследование произвели глубокое впечатление на моего отца. Они поколебали до основания все его конституционные убеждения и веру в юридические нормы и постепенно подготовили ту перемену в его сознании, которой суждено было совершиться год спустя. Он уже заметно отошел от своей прежней умеренной позиции. Недовольный выходящей в Аллахабаде ведущей газетой умеренных «Лидер», он в начале 1919 года стал издавать в этом городе собственную газету — «Индепендент». Газета имела большой успех, но делу вредило с самого начала совершенно неумелое руководство. Виповаты в этом были почти все, кто был связан с газетой: директора, редакторы и остальной редакционный аппарат. Я сам был одним из ее директоров, хотя и не обладал ни малейшим опытом в этой области, и всевозможные невзгоды и неприятности, связанные с изданием, превратились для меня в настоящий кошмар. Вскоре мы с отцом вынуждены были уехать в Пенджаб. За время нашего длительного отсутствия газета совсем захирела, столкнувшись с финансовыми

трудностями. Она так никогда и не оправилась от них; и хотя в 1920 и 1921 годах у нее были периоды некоторого подъема, она вновь пришла в упадок, как только мы очутились в тюрьме. В начале 1923 года она окончательно прекратила свое существование. Этот опыт с изданием газеты напугал меня, и с тех пор я всегда отказывался брать на себя ответственность в качестве директора какой-либо газеты. Да я и не мог этого сделать, так как или сидел в тюрьме, или был загружен другими делами.

Отец председательствовал на Амритсарском съезде Национального конгресса, происходившем в рождественские дни 1919 года. Он обратился к лидерам умеренных, или к либералам, как они теперь себя называли, с горячим призывом принять участие в этом съезде ввиду новой ситуации, порожденной ужасами военного положения. «Истерзанное сердце Пенджаба» взывает к ним, писал он. Неужели они не откликнутся на этот призыв? Но они не откликнулись на его призыв и отказались присутствовать на съезде. Их взоры были обращены к ожидаемым новым реформам, которые должны были последовать в результате рекомендаций Монтегю — Челмсфорда. Этот отказ оскорбил отца и еще более увеличил пропасть между ним и либералами.

Амритсарский съезд Национального конгресса был первым съездом, в работе которого принял участие Ганди. На съезде присутствовал также Локаманья Тилак, активно участвовавший в его работе, но не было никаких сомнений, что большинство делегатов и в еще большей мере огромные массы людей, следившие за работой съезда со стороны, желали, чтобы руководство взял на себя Ганди. Лозунг «*Махатма Ганди ки джай*»¹ начинал становиться господствующим в политической жизни Индии. Братья Али, недавно освобожденные из тюрьмы, тотчас же примкнули к Национальному конгрессу, и националистическое движение начало принимать новые формы и новое направление.

Мухаммед Али в скором времени отправился в Европу с халифатистской делегацией. В Индии Халифатистский комитет² все более подпадал под влияние Гандиджи и начал заигрывать с его идеями ненасильственного несотрудничества. Мне вспоминается одно из первых собраний руководителей халифатистского движения моулви и улемов в Дели в январе 1920 года. Халифатистская делегация должна была посетить вице-короля, и Гандиджи собирался присоединиться к ней. Однако еще до того, как он прибыл в Дели, черновой вариант предполагаемого обращения, согласно обычаю, был послан вице-королю. Когда Ган-

¹ «Да победят великий Ганди!» (хинди).

² Орган, руководивший халифатистским движением — антанглийским движением индийских мусульман.— *Прим. ред.*

диджи по приезде прочел проект обращения, он резко осудил его и даже сказал, что не сможет принять участие в депутатии, если проект не будет коренным образом изменен. Он указывал, что проект слишком расплывчат и многословен и в то же время не содержит ясного изложения тех абсолютно минимальных требований, на удовлетворении которых мусульмане будут настаивать. Гандиджи заявил, что это несправедливо и по отношению к вице-королю и к английскому правительству, и по отношению к народу, и по отношению к ним самим. Они не должны выдвигать чрезмерных требований, которых и сами не намерены отстаивать, а должны вместо этого ясно, не оставляя никакого места для сомнений, сформулировать свои минимальные требования и отстаивать их до конца. Если они решили действовать всерьез, то это единственно правильный и честный путь.

Такие доводы были новостью для политических, да и для любых других кругов Индии. Мы привыкли к туманным гиперболам и цветистым фразам и всегда при этом подумывали о сделке. Однако Гандиджи настоял на своем и направил личному секретарю вице-короля письмо, в котором отмечал недостатки и расплывчатость посланного проекта обращения и предлагал несколько дополнительных параграфов. В этих параграфах перечислялись минимальные требования. Ответ вице-короля был весьма интересен. Он отказался принять новые параграфы и заявил, что находит первоначальный проект вполне подходящим. Гандиджи считал, что эта переписка достаточно ясно определила его собственную позицию и позицию Халифатистского комитета, а потому он, в конечном итоге, все же принял участие в депутатии.

Было очевидно, что правительство не намерено принять требования Халифатистского комитета и что в результате этого должна возникнуть борьба. Начались продолжительные переговоры с моулви и улемами, в ходе которых обсуждались проблемы ненасилия и несотрудничества, в особенности ненасилия. Гандиджи заявил, что они могут располагать им, но при обязательном условии, что они принимают принцип ненасилия со всеми вытекающими из него выводами. На этот счет не должно допускаться никаких послаблений, никаких колебаний, никаких мысленных оговорок. Моулви нелегко было постигнуть эту идею, но они согласились, дав понять, что делают это лишь из политических, а не из религиозных соображений, ибо их религия не запрещает применение насилия во имя правого дела.

В течение 1920 года политическое и халифатистское движение развивались бок о бок, в одном направлении, и в конце концов с принятием Национальным конгрессом гандистского принципа ненасильственного несотрудничества оба движения слились воедино. Первым принял эту программу Халифатистский комитет, и начало кампании было намечено им на 1 августа.

Несколько ранее этого, в том же году, в Аллахабаде было созвано совещание представителей мусульман (помнится, это было заседание совета Мусульманской лиги) для обсуждения этой программы. Совещание состоялось в доме Саид Раза Али. Мухаммед Али в то время еще находился в Европе, но Шаукат Али присутствовал. Это собрание запомнилось мне потому, что оно полностью меня разочаровало. Шаукат Али, конечно, был полон энтузиазма, но почти все остальные имели несчастный и смущенный вид. У них не хватало мужества заявить о своем несогласии, и в то же время было ясно, что они не собирались торопиться с действиями. Неужели это те люди, думал я, которые призваны возглавить революционное движение и бросить вызов Британской империи? Гандиджи обратился к ним с речью, и после того как они его выслушали, вид у них стал еще более испуганный, чем раньше. Он говорил в своем самом повелительном тоне. Он был скромн, но в то же время непоколебим и тверд, как камень, любезен, но непреклонен и исполнен глубокого убеждения. Взгляд его был мягок и глубок и в то же время сверкал неукротимой энергией и решимостью. Это будет великая борьба, говорил он, борьба с очень сильным противником. Если вы хотите принять в ней участие, вы должны быть готовы потерять все, и вы должны строжайшим образом соблюдать принцип ненасилия и подчиняться дисциплине. Когда объявляется война — вводится военное положение, и если мы хотим победить в нашей ненасильственной борьбе, мы тоже должны установить у себя диктатуру и ввести военное положение. Вы имеете полное право в любой момент прогнать меня, потребовать моей головы или наказать меня. Но пока вы считаете меня своим вождем, вы должны принимать мои условия, вы должны подчиняться диктатуре и дисциплине, вытекающей из военного положения. Однако само существование этой диктатуры всегда будет зависеть от вашей доброй воли, от вашего согласия, от вашего сотрудничества. Как только я вам надоем, гоните меня прочь, топчите меня, и я не стану жаловаться.

Таков примерно был смысл его речи. От его непреклонной серьезности и военной терминологии многих из его слушателей пробирала дрожь. Однако Шаукат Али тут же воздействовал на колеблющихся, и когда наступил момент голосования, подавляющее большинство их смиренно и смущенно проголосовало за это предложение — то есть за войну!

Когда мы возвращались домой с собрания, я сказал Гандиджи: так ли начинают великую борьбу? Я ожидал встретить энтузиазм, горячие речи, сверкающие глаза, а вместо этого мы видели весьма пассивное собрание робких пожилых людей. И все же эти люди голосовали за борьбу, — такова была сила давления народных масс. Разумеется, очень немногие из этих членов Мусульманской лиги приняли впоследствии участие в

борьбе. Многие из них нашли себе надежное убежище на государственной службе. Мусульманская лига ни тогда, ни впоследствии не представляла сколько-нибудь значительную часть мусульманского общественного мнения. Гораздо более влиятельной и авторитетной организацией был Халифатистский комитет 1920 года, и именно этот комитет с энтузиазмом принял участие в борьбе.

Гандиджи установил 1 августа днем начала кампании несотрудничества, хотя Национальный конгресс еще не рассматривал и не принял его предложения. В этот день в Бомбее умер Локаманья Тилак. Утром того же дня Гандиджи прибыл в Бомбей после поездки по Синду. Я был с ним, и мы присоединились к мощной демонстрации, в которой приняло участие едва ли не все миллионное население Бомбея, желавшее почтить великого вождя, к которому оно питало такую горячую любовь.

МОЯ ВЫСЫЛКА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Мои политические взгляды были взглядами моего класса, буржуазии. В сущности в то время (да в значительной мере и ныне) вся активная политическая деятельность велась средними классами; как умеренные, так и экстремисты представляли эти классы и по-своему стремились к улучшению их положения. Умеренные выражали главным образом интересы малочисленной верхушки средних классов, которая так или иначе процветала при английском господстве и не хотела никаких внезапных перемен, которые могли бы поставить под угрозу ее нынешнее положение и интересы. Они были тесно связаны с английским правительством и классом крупных помещиков. Экстремисты представляли интересы низших слоев среднего класса. Промышленные рабочие, численность которых резко возросла за время войны, лишь кое-где имели свои местные организации и не пользовались большим влиянием. Крестьянство же представляло собой слепую, нищую, страдающую массу, покоровшуюся своей жалкой участи, унижаемую и эксплуатируемую всеми, кто вступал с нею в соприкосновение: правительством, помещиками, ростовщиками, мелкими чиновниками, полицией, юристами, духовенством.

Читателю англо-индийских и индийских газет трудно было себе представить, что в Индии существуют огромные массы крестьянства и миллионы рабочих и что они что-то значат. Газеты, издававшиеся англичанами, были заполнены отчетами о деятельности высших чиновников; светская жизнь англичан в больших городах и маленьких горных фортах описывалась во всех подробностях, с ее вечерами, маскарадами и любительскими спектаклями. Они почти не отражали взглядов индийцев на политическую жизнь Индии; и даже о съездах Национального конгресса сообщалось в нескольких строках на последней странице. Это не рассматривалось как интересные новости, разве что какой-нибудь индеец, видный или мало кому известный, поносил или критиковал Национальный конгресс и его притязания. Время от времени появлялось коротенькое сообщение о забастовке, о сельских же районах в печати упоминалось лишь в случае возникновения беспорядков.

Индийские газеты пытались подражать англо-индийским, хотя они и уделяли гораздо больше внимания националистическому движению. Кроме этого, они интересовались назначением индийцев на важные или второстепенные посты, их повышениями или перемещениями по службе, по поводу чего в честь уезжающего чиновника неизменно давался вечер, на котором «царило большое оживление». Во время очередного пересмотра ставок земельного налога в каком-либо сельскохозяйственном районе, что почти всегда приводило к увеличению правительственных доходов, газеты поднимали крик, ибо это сказывалось на помещичьем кармане. О бедном арендаторе никто и не вспоминал. Эти газеты в основном принадлежали помещикам и промышленникам и контролировались ими. Такова была так называемая «националистическая» пресса.

Одним из настоящих требований самого Национального конгресса в первые годы его существования было требование о постоянном обложении земель в тех районах, где это еще не было сделано, с тем чтобы обеспечить таким образом интересы помещиков. Об арендаторе и тут совершенно не упоминалось.

За последние двадцать лет, в связи с ростом националистического движения, обстановка значительно изменилась, и ныне даже газеты, принадлежащие англичанам, вынуждены уделять внимание индийским политическим проблемам, если они хотят сохранить своих индийских читателей. Но они это делают по-своему. У индийских газет несколько более широкий подход к вещам; они в благосклонном тоне отзываются о рабочем и о крестьянине, ибо это модно и среди их читателей наблюдается растущий интерес к промышленным и сельскохозяйственным проблемам. Однако по существу они выражают ныне, как и раньше, интересы своих владельцев — индийских капиталистов и помещиков. Многие из индийских князей также начали вкладывать деньги в эти газеты и следят за тем, чтобы вложения оправдывали себя. Многие из этих газет именуются «конгрессистскими», хотя значительное число лиц, контролирующих их, даже не являются членами Национального конгресса. Конгресс — слово, пользующееся широкой популярностью, и многие личности и целые группы спекулируют на этом. Газетам, которые желают занять более передовые позиции, приходится, конечно, ввиду суровых законов о печати и при существующей цензуре вечно жить под страхом крупных штрафов или даже запрета.

В 1920 году я не имел ни малейшего представления об условиях труда в промышленности и сельском хозяйстве, и мои политические взгляды были всецело буржуазными. Я знал, разумеется, о существовании ужасающей бедности и нищеты и считал, что первейшей задачей политически свободной Индии должно явиться разрешение проблемы бедности. Но мне казалось совершенно очевидным, что ближайшим шагом дол-

жно быть именно достижение политической свободы, которое должно было неизбежно сопровождаться установлением господства среднего класса. После организованных Гандиджи аграрных движений в Чампаране (Бихар) и Кайре (Гуджарат) я стал уделять несколько больше внимания крестьянской проблеме. Однако в 1920 году внимание мое было поглощено политическими событиями и предстоящей кампанией несотрудничества, которая вырисовывалась на горизонте.

И все же именно в эти дни у меня появились новые интересы, которым суждено было сыграть важную роль в последующие годы. Мне пришлось почти помимо моего желания прийти в соприкосновение с крестьянством. Это произошло при любопытных обстоятельствах.

Моя мать и Камала (моя жена) были нездоровы, и в начале мая 1920 года я повез их в Муссури. Мой отец в то время вел крупное дело одного раджи, в котором он выступал против Ч. Р. Даса. В Муссури мы остановились в отеле «Савой». В это время в Муссури происходили мирные переговоры между афганскими и английскими представителями (это было после непродолжительной афганской войны 1919 года, когда на престол взшел Аманулла). Афганские делегаты тоже проживали в отеле «Савой», но держались особняком, не появляясь ни за общим столом, ни в общих комнатах. Они не вызывали у меня особого интереса, и я в течение целого месяца не видел ни одного члена их делегации, а если и видел, то не знал, что это они. Вдруг как-то вечером ко мне явился начальник полиции. Он показал мне письмо от местных властей, в котором ему предлагалось получить от меня обязательство не вступать ни в какие сношения или соприкосновения с афганской делегацией. Это чрезвычайно поразило меня, ибо я за весь месяц даже ни разу не видел их и едва ли мог увидеть. Начальнику полиции это было известно, так как он установил слежку за делегацией и вокруг шныряли целые толпы тайных агентов. Я был возмущен требованием дать какое-то обязательство и сказал об этом ему. Он попросил меня повидаться с окружным магистратом¹, начальником полиции округа Дун, и я побывал у него. Так как я упорствовал в своем отказе дать обязательство, мне был вручен приказ о выезде, предписывавший покинуть округ Дехра-Дун в двадцать четыре часа, что фактически означало, что я должен был выехать из Муссури через несколько часов. Я не хотел оставлять мать и жену, которые были больны, и тем не менее я не считал правильным нарушить предписание. В то время еще не началась кампания гражданского неповиновения. Итак, я покинул Муссури.

Отец был довольно хорошо знаком с сэром Харкортм Бат-

¹ Крупный чиновник, выполняющий административные и судебные функции.— *Прим. ред.*

лером, тогдашним губернатором Соединенных провинций. Он написал ему дружеское письмо, в котором выражал уверенность, что сэр Харкорт не мог издать такой глупый приказ и что его сочинила, должно быть, какая-нибудь умная голова в Симле. Сэр Харкорт ответил, что приказ этот совершенно безобиден и что Джавахарлал вполне может повиноваться ему, ничуть не поступаясь при этом своим достоинством. В своем ответе отец высказал несогласие с этим и добавил, что хотя никто не собирается намеренно нарушать приказ, но если здоровье моей матери или жены того потребует, я, безусловно, вернусь в Муссури, невзирая ни на какие запреты. Состояние здоровья матери действительно ухудшилось, и мы с отцом немедленно выехали в Муссури. Перед самым нашим выездом мы получили телеграмму, отменявшую приказ.

Первым человеком, которого я заметил во дворе отеля на следующее же утро после нашего приезда, был афганец, державший на руках мою дочурку! Мне сказали, что это министр и член афганской делегации. Оказывается, тотчас же после моего изгнания афганцы узнали об этом из газет и были настолько этим заинтересованы, что глава делегации стал ежедневно посылать моей матери корзину с фруктами и цветами.

Позднее мы с отцом виделись с одним или двумя членами делегации и получили любезное приглашение посетить Афганистан. К сожалению, мы не могли воспользоваться этим приглашением, и я не знаю, сохраняет ли оно свою силу при новых порядках в этой стране.

Приказ о выезде из Муссури заставил меня провести около двух недель в Аллахабаде, и именно в этот период, не имея каких-либо занятий, я установил связь с движением *кисанов* (крестьянским движением). Эта связь укрепилась в последующие годы и оказала большое влияние на мои взгляды. Иногда я спрашивал себя, что было бы, если бы я не был подвергнут изгнанию и не оказался именно в то время в Аллахабаде без определенных занятий. Вероятно, рано или поздно я все равно сблизился бы с крестьянами, но, возможно, я подошел бы к ним иначе, и влияние, произведенное на меня этим сближением, также могло оказаться иным.

В начале июня 1920 года (насколько я помню) около двухсот крестьян пришли за пятьдесят миль, из глубинных районов округа Партабгарх, в город Аллахабад с целью обратить внимание местных видных политических деятелей на свое бедственное положение. Их возглавлял человек по имени Рамачандра; сам он не принадлежал к местным крестьянам. Я узнал, что крестьяне расположились лагерем на берегу реки, на одном из *гхатов* Джамны, и вместе с несколькими друзьями отправился к ним. Они рассказали нам о непосильных налогах, взимаемых талукдарами, о бесчеловечном обращении и о том, что положение их стало совершенно невыносимым. Они умоляли нас

сопровождать их на обратном пути, чтобы на месте провести расследование, а также для того, чтобы защитить их от мести талукдаров, которые были рассержены их походом в Аллахабад. Они не желали слушать никаких возражений и буквально цеплялись за нас. В конце концов я обещал посетить их дня через два.

Я отправился туда с несколькими из своих коллег, и мы провели три дня в деревнях, удаленных не только от железной дороги, но даже от шоссеиной дороги. Эта поездка была для меня откровением. Все сельское население было охвачено энтузиазмом и каким-то странным возбуждением. Достаточно было самого краткого устного извещения, чтобы созвать на собрание огромное множество людей. Одна деревня связывалась с другой, та с третьей и так далее, и вот деревни пустели, и всюду через поля спешили к месту собрания мужчины, женщины и дети. Было и другое средство связи, действовавшее еще быстрее: воздух оглашался криками «Сита-Рам — Сита-Ра-а-ам!», — крики эти разносились во всех направлениях и эхом докатывались обратно из других деревень, и тогда люди поспешно выходили из домов и шли или бежали, торопясь изо всех сил. Они были одеты в жалкие лохмотья, эти мужчины и женщины, но лица их были возбуждены, а глаза сверкали, как будто эти люди ожидали каких-то исключительных событий, которые, как по волшебству, положат конец их долгим страданиям.

Они изливали свою любовь к нам и смотрели на нас любящими и полными надежды глазами, как если бы мы были добрыми вестниками, вождями, которые должны привести их в землю обетованную. Глядя на них, видя их страдания и их чрезмерную благодарность, я переполнялся стыдом и скорбью: скорбью — по поводу упадка и ужасающей бедности Индии; стыдом — за свою легкую, окруженную комфортом жизнь и за нашу мелкую политическую деятельность горожан, игнорировавшую эти неисчислимыe массы полуголых сынов и дочерей Индии. Перед моими глазами вставал как бы новый образ Индии — голой, голодной, подавленной и невероятно несчастной. Их вера в нас, случайных гостей из далекого города, смущала меня и возлагала новую ответственность, которая пугала меня.

Я слушал их нескончаемую скорбную повесть о давящем и все усиливающемся бремени арендной платы, о незаконных поборах, о сгоне с земли и из глинобитных хижин, о побоях, повесть о том, как, окруженные со всех сторон терзающими их хищниками — агентами заминдара, ростовщиками, полицией, — они трудятся целыми днями, чтобы потом убедиться, что созданное их трудом не принадлежит им и что их единственное вознаграждение — это пинки, ругань и голодный желудок. Многие из присутствовавших были безземельные крестьяне, согнанные со своих участков помещиками и не имевшие ни земли, ни крова

над головой. Земля была плодородна, но на нее ложилось слишком тяжелое бремя; участки были ничтожно малы, и на каждый приходилось слишком много претендентов. Пользуясь этим земельным голодом, помещики, которые по закону не имели права повышать арендную плату сверх установленного процента, требовали с арендаторов огромные взятки. Арендатор, у которого не оставалось иного выхода, брал деньги в долг у ростовщика и отдавал их помещику, а когда он оказывался не в силах выплатить свой долг или даже арендную плату, его изгоняли — и он терял все, что имел.

Это был давний процесс, и непрерывное обнищание крестьянства происходило уже в течение длительного времени. Что же особенно обострило положение и вызвало возбуждение среди крестьянства? Разумеется, экономические условия, однако эти условия были одинаковы во всем Ауде, а между тем аграрные волнения 1920 и 1921 годов охватили главным образом три округа — Партабгарх, Рае Барели и Файзабад. Частично это объяснялось руководством некоей замечательной личности по имени Рамачандра, или Баба Рамачандра.

Рамачандра происходил из Махараштры в Западной Индии. Он побывал на островах Фиджи в качестве законтрактованного рабочего. По возвращении он постепенно добрался до этих округов Ауда и стал бродить по деревням, пересказывая «Рамаяну» Тулси Даса и прислушиваясь к жалобам арендаторов. Он был малообразованным человеком и до некоторой степени использовал арендаторов в своих личных целях, но проявил замечательные организаторские способности. Он приучил крестьян часто собираться на *сабхи* (митинги) и обсуждать свои невзгоды, воспитывая в них чувство солидарности. Время от времени созывались большие, массовые митинги, которые создавали у крестьян ощущение собственной силы. Сита-Рам — было старым общеизвестным кличем, но он придал ему почти воинственное звучание, превратил его в сигнал, извещающий о чрезвычайных событиях, а также в некий символ связи между различными деревнями. Файзабад, Партабгарх и Рае Барели полны старинных легенд о Рамачандре и Сите (эти округа составляли часть царства Айодхья), и любимой книгой масс является «Рамаяна» Тулси Даса на языке хинди. Многие знали из нее сотни стихов наизусть. Излюбленным методом Рамачандры было читать наизусть отрывки из этой книги и приводить из нее подходящие к случаю цитаты. Организовав в какой-то мере крестьян, он надавал им множество всевозможных обещаний, расплывчатых и неопределенных, но вселивших в их души надежду. У него не было никакой программы, и когда он довел их до крайнего возбуждения, то попытался переложить ответственность на других. Это и побудило его повести группу крестьян в Аллахабад, чтобы вызвать у горожан интерес к движению.

Рамачандра продолжал еще в течение целого года играть видную роль в аграрном движении и два или три раза сидел в тюрьме. Однако впоследствии он оказался весьма безответственным и ненадежным человеком.

Ауд был районом, где особенно назрели аграрные волнения. Он был и остался страной талукдаров — они называют себя «баронами Ауда», — и там процветала система заминдари в ее наихудшем виде. Вымогательства помещиков становились невыносимыми, а число безземельных батраков росло. В этом районе была распространена преимущественно одна форма аренды, и это способствовало единству действий арендаторов.

Индия может быть грубо разделена на две части — район, где преобладает система заминдари с крупными помещиками, и район, где существуют крестьяне-собственники, хотя в известной мере те и другие встречаются в обоих районах. Три провинции — Бенгалия, Бихар и Соединенные провинции Агра и Ауд — составляют район распространения системы заминдари. Крестьяне-собственники сравнительно более обеспечены, хотя и их положение часто является весьма жалким. Крестьянские массы Пенджаба или Гуджарата (где существует система крестьянской земельной собственности) находятся в гораздо лучших условиях, чем арендаторы в районах заминдари. В большинстве районов заминдари существовало множество различных видов аренды — наследственная, непостоянная, субаренда и т. д. Интересы различных арендаторов часто приходят в столкновение, и это затрудняет их объединение. Однако в Ауде не было в 1920 году постоянных или хотя бы пожизненных арендаторов; здесь существовала лишь краткосрочная аренда, ибо арендаторы то и дело сгоняли с земли, а землю получал тот, кто мог заплатить более крупную взятку. Поскольку там получило распространение один вид аренды, арендаторов легче было организовать для совместных действий.

На практике в Ауде не существовало никаких гарантий даже в отношении краткосрочной аренды. Помещик почти никогда не давал расписки в получении арендной платы, он всегда мог заявить, что плата ему не внесена, и поэтому мог согнать с земли арендатора, который не в состоянии был доказать противное. Помимо арендной платы, существовало невероятное множество всевозможных противозаконных поборов. В одном талукке мне рассказали о существовании там пятидесяти различных видов таких поборов. Быть может, эта цифра и была преувеличенной, но общеизвестно, что талукдары часто заставляют своих арендаторов оплачивать каждый свой специальный расход: свадьбу кого-либо из членов семьи, стоимость обучения сына за границей, бал в честь губернатора или какого-нибудь другого высокопоставленного чиновника, покупку автомобиля или слона. Эти поборы имеют даже специальные

наименования: *мотрауна* (налог для покупки автомобиля), *хатхауна* (налог для покупки слона) и т. д.

Не было поэтому ничего удивительного в том, что волнения среди крестьянства получили в Ауде широкое распространение. Но меня тогда поразило то, что все произошло само собой, без всякой помощи города или вмешательства политиканов и им подобных. Аграрное движение было совершенно независимым от Национального конгресса и не имело никакого отношения к начавшемуся движению несотрудничества. Или, пожалуй, правильнее будет сказать, что оба широко распространившихся и могучих движения были порождены одними и теми же основными причинами. Крестьянство, конечно, принимало участие в великих харталах, которые были провозглашены Гандиджи в 1919 году; и впоследствии имя его стало для крестьянина своего рода магическим заклинанием.

Но больше всего поразила меня наша полнейшая неосведомленность об этом большом аграрном движении. Ни одна газета не писала о нем ни строчки; газеты не интересовались сельскими районами. И яснее чем когда-либо я понял, насколько мы, горожане, изолированы от нашего народа, живя, работая и ведя агитацию в своем обособленном от масс мирке.

Глава девятая

СТРАНСТВИЯ СРЕДИ КРЕСТЬЯН

Проведя в деревнях три дня, я вернулся в Аллахабад, а затем снова отправился туда. Во время этих коротких поездок мы бродили из деревни в деревню, ели с крестьянами за одним столом, жили вместе с ними в их глинобитных хижинах, часами беседовали с ними и часто выступали на митингах, как крупных, так и небольших. Вначале мы отправлялись в легковом автомобиле, и крестьяне так были рады нам, что по ночам прокладывали временные дороги через поля, чтобы наш автомобиль мог проникнуть в глубинные районы. Машина часто застревала где-нибудь, и тогда десятки добровольцев вытаскивали ее на руках. Однако в конце концов нам пришлось отказаться от автомобиля; мы решили по возможности передвигаться пешком. Всюду, куда бы мы ни пошли, нас сопровождали полицейские, сыскные агенты и помощник сборщика налогов из Лакнау. А так как мы непрерывно блуждали по полям, им, боюсь, приходилось довольно туго; скоро они устали, и им надоело и мы и крестьяне. Помощник сборщика налогов был довольно изнеженный юноша из Лакнау, носивший лакированные ботинки. Время от времени он умолял нас умерить свой пыл и в конце концов, кажется, вовсе отстал, будучи не в силах поспевать за нами.

Был июнь, самая жаркая пора года, как раз перед наступлением периода муссонов. Солнце жгло и слепило. Я не привык бывать на солнце и со времени своего возвращения из Англии всегда проводил часть лета в горах. Теперь же я целыми днями бродил под палящими лучами, не защищенный даже широкополой шляпой, а попросту обмотав себе голову небольшим полотенцем. Я настолько был полон другим, что совсем забывал о жаре и лишь по возвращении в Аллахабад, заметив, как сильно я загорел, припомнил, что мне пришлось перенести. Я был доволен собой, ибо узнал, что могу выдерживать жару наравне с другими и что совершенно напрасно боялся ее. Я убедился, что могу сравнительно легко выносить не только крайнюю жару, но и сильный холод; и эта способность весьма помогала мне в дальнейшем как в моей работе, так и в периоды моего пребывания в тюрьме. Я, несомненно, был обязан этим своему общему

физическому здоровью, а также привычке к спорту, усвоенной мною от отца, который всегда был немножко спортсменом и почти до конца жизни ежедневно проделывал физические упражнения. Голова его поседела, лицо было изборождено глубокими морщинами и выглядело старым и утомленным размышлениями, но его тело еще за год или два до смерти казалось на двадцать лет моложе.

Еще до моей поездки в Партабгарх в июне 1920 года я часто проезжал через деревни, останавливался там и беседовал с крестьянами. Я видел десятки тысяч их на берегах Ганга во время крупных *мела*; мы пропагандировали среди крестьян нашу идею самоуправления. Но я как-то не вполне понимал, что они собой представляют и что они значат для Индии. Подобно большинству, я принимал их как нечто само собой разумеющееся. Понимание пришло ко мне лишь во время этих поездок в Партабгарх, и с тех пор образ Индии, живущий в моем сознании, неотделим от этой массы голых, голодных людей. То ли атмосфера была тогда насыщена электричеством, то ли сам я находился в каком-то особенно восприимчивом состоянии, но картины, которые я наблюдал, и впечатления, которые я получал в те дни, неизгладимо запали в мое сознание.

Эти крестьяне избавили меня от застенчивости и научили говорить перед массами. До тех пор я почти не выступал на собраниях, меня пугала уже одна мысль об этом, особенно если нужно было говорить на хиндустани, а так почти всегда и бывало. Но я никак не мог уклониться от выступлений на этих крестьянских митингах, да и мог ли я стесняться этих бедных бесхитростных людей? Я не был искушен в ораторском искусстве, и потому я беседовал с ними запросто, поверял им свои мысли и то, что было у меня на сердце. Присутствовало ли на собраниях всего несколько человек или десять тысяч и больше, я все равно придерживался своей разговорной и как бы доверительной манеры и убедился, что при всех возможных ее недостатках она, по крайней мере, не сковывала меня. Я говорил довольно свободно. Быть может, многие из них не понимали значительную часть того, что я говорил. Мой язык и мои мысли были для них недостаточно просты. Если собрание было очень многочисленным, многие меня не слышали, так как голос у меня негромкий. Но все это не имело для них большого значения, коль скоро они прониклись к человеку доверием.

Я снова отправился в Муссури, к моей матери и жене, но все мои мысли были заняты крестьянами и мне не терпелось вернуться обратно. Сразу же по возвращении я возобновил свои посещения деревень, где я мог наблюдать за развитием аграрного движения. Угнетенный крестьянин начал обретать новую веру в себя и выше стал держать голову. Его страх перед агентами помещика и полицией уменьшился, и, если какого-либо арендатора сгоняли с земли, никто из крестьян не хотел арен-

довать этот участок. Случаи физического насилия со стороны слуг заминдаров и незаконные поборы стали редкими, и всякий раз, когда такой случай имел место, о нем немедленно сообщалось и предпринимались попытки расследования. Это сдерживало как агентов заминдаров, так и полицию. Талукдары были напуганы и перешли к обороне, а правительство провинции обещало внести изменения в закон о системе аренды, действовавший в Ауде.

Талукдары и крупные заминдары — владельцы земли, гордо именовавшие себя «прирожденными вождями народа», находились на положении баловней английского правительства в Индии, но этому правительству удалось путем особого образования и воспитания, которое оно дало им или которого оно им не дало, низвести их как класс до состояния полнейшей интеллектуальной немощи. Если в других странах помещики подчас хоть кое-что делали для своих арендаторов, то эти не делали для своих режительно ничего, став в подлинном смысле слова паразитами своей земли и народа. Деятельность их сводилась к стараниям задобрить местных чиновников, без милости которых они не могли бы долго продержаться, и к тому, чтобы непрерывно требовать защиты своих особых интересов и привилегий.

Слово «заминдар» является довольно обманчивым и может навести на мысль, что все заминдары — крупные помещики. Но в провинциях *райотвари* оно обозначает крестьянина-собственника. Даже в типичных провинциях заминдари в это понятие включаются сравнительно немногие крупные помещики, тысячи средних земельных собственников и сотни тысяч людей, живущих в крайней бедности и обеспеченных ничуть не лучше арендаторов. В Соединенных провинциях, насколько мне помнится, к заминдарам отнесено полтора миллиона человек. Из них, пожалуй, более 90 процентов находятся почти на одном уровне с беднейшими арендаторами, а еще 9 процентов могут быть названы лишь сравнительно обеспеченными. Крупных земельных собственников во всей провинции насчитывается не более пяти тысяч, и лишь одна десятая из них может быть названа действительно крупными заминдарами и талукдарами. В некоторых случаях арендаторы более крупных земельных участков являются более состоятельными, нежели разорившиеся мелкие землевладельцы. Эти бедные землевладельцы и средние помещики, хотя и отличаются часто интеллектуальной отсталостью, в общем хорошие люди, и при надлежащем обучении и воспитании из них могут выйти отличные граждане. Они приняли довольно активное участие в националистическом движении. Этого нельзя сказать о талукдарах и крупных заминдарах, если не считать немногих исключений. Они не обладают даже добродетелями аристократии. Они физически и интеллектуально вырождаются и уже пережили себя как класс. Они могут сущест-

зовать, лишь пока их поддерживает внешняя сила вроде английского правительства.

В течение всего 1921 года я продолжал свои поездки по сельским районам, причем сфера моей деятельности расширялась, так что в конце концов в нее вошла вся территория Соединенных провинций. К этому времени движение несотрудничества развернулось уже всерьез и весть о нем достигла самых отдаленных деревень. В каждом округе множество работников Национального конгресса отправилось в сельские районы, распространяя этот новый лозунг, к которому они часто добавляли довольно расплывчатый лозунг об удовлетворении жалоб крестьян. Сварадж был всеобъемлющим понятием, в которое включалось все. Тем не менее оба движения — несотрудничества и аграрное — были совершенно самостоятельными движениями, хотя в нашей провинции они переплетались и оказывали друг на друга большое влияние. В результате пропаганды, развернутой Конгрессом, количество судебных разбирательств резко сократилось и в деревнях были созданы собственные *панчалты* для разрешения возникавших конфликтов. Особенно сильно сказывалось умиротворяющее влияние Конгресса, ибо всюду, где бы ни появлялся представитель Национального конгресса, он особенно подчеркивал новый принцип ненасилия. Быть может, крестьяне и не вполне понимали его суть, но все же он удерживал их от насильственных действий.

Это было немалое достижение. Общеизвестно, что аграрные беспорядки сопровождаются насилиями, приводящими к возникновению крестьянских войн, а крестьяне ряда районов Ауда в своем отчаянии дошли в то время до предела. Одной искры было достаточно, чтобы вспыхнул пожар. Но они оставались удивительно миролюбивыми. Мне вспоминается единственный случай физического насилия в отношении талукдара. Один крестьянин явился к талукдару, когда тот сидел в своем доме, окруженный друзьями, и ударил его по лицу. Причиной послужило то, что талукдар вел себя безнравственно и был невнимателен к собственной жене!

Позднее имел место иного рода случай применения насилия, который привел к конфликту с правительством. Но этот конфликт все равно был неизбежен, ибо правительство не могло примириться с растущей силой объединенного крестьянства. Крестьяне большими группами стали разъезжать по железной дороге без билетов. Чаще всего это бывало в тех случаях, когда им надо было присутствовать на периодически созываемых массовых митингах, на которые иной раз собиралось 60—70 тысяч человек. Их трудно было всех перевезти, и они — неслыханная вещь! — открыто не повиновались железнодорожным властям, заявляя им, что старые времена миновали. Кто натолкнул их на мысль ездить группами, не платя за проезд, я не знаю. Мы им такой идеи не подавали, и для нас это было полной неожидан-

ностью. Впоследствии был установлен более строгий контроль на железных дорогах, положивший конец подобной практике.

Осенью 1920 года (когда я находился в Калькутте на чрезвычайном съезде Национального конгресса) несколько руководителей крестьян были арестованы за какой-то мелкий проступок. Они должны были предстать перед судом в городе Партабгархе. Но в день суда огромные толпы крестьян заполнили всю территорию вокруг здания суда, крестьяне выстроились также вдоль всего пути к тюрьме, где сидели их руководители. Нервы судьи не выдержали, и он отложил суд до следующего дня. Однако толпа росла и почти окружила тюрьму. Крестьяне могут легко продержаться несколько дней, питаясь горсточкой поджаренных зерен. В конце концов руководители крестьян были освобождены, возможно после формальной процедуры суда, состоявшейся в тюрьме. Я не помню, как это произошло, но для крестьян это была большая победа, и они пришли к мысли, что всегда смогут добиться своего, если будут действовать сообща. Для правительства такое положение было нетерпимым. В скором времени произошел подобный же случай, но на этот раз он имел иной конец.

Это было в начале января 1921 года. Я только что вернулся в Аллахабад с Нагпурского съезда Национального конгресса, как вдруг пришла телеграмма из Рае Барели. Меня просили немедленно выехать туда ввиду ожидаемых беспорядков. Я выехал на следующий же день. Оказалось, что несколько дней назад ряд крестьянских лидеров был арестован и заключен в местную тюрьму. Помня о своем успехе в Партабгархе и о примененной ими тогда тактике, крестьяне направились в Рае Барели, чтобы провести там массовую демонстрацию. Но на этот раз правительство не намерено было ее допустить и были вызваны дополнительные отряды полиции и войск, чтобы преградить путь крестьянам. Под самым городом, на противоположном берегу небольшой реки, основная масса крестьян была остановлена. Однако многие из них проникли в город с другой стороны. Прибыв на станцию, я узнал о происшедшем и тотчас направился прямо к реке, где, как мне сказали, солдаты стоят лицом к лицу с крестьянами. На пути мне вручили написанную в спешке записку от окружного магистрата, в которой мне предлагалось вернуться обратно. Я написал ответ на обороте, спрашивая, на основании какого закона и какого параграфа он предлагает мне вернуться. Не дожидаясь ответа от него, я продолжал свой путь. Когда я достиг реки, с другого берега доносились выстрелы. Я был остановлен на мосту солдатами, и, пока стоял там, меня внезапно окружило множество испуганных крестьян, которые прятались в полях на этом берегу реки. Тут же на месте я организовал митинг, в котором приняло участие несколько тысяч крестьян. Я попытался рассеять их страх и умерить их возбуждение. Обстановка была довольно необычная: на

другом берегу небольшой реки, всего лишь на расстоянии броска камня, стреляли в их братьев, и повсюду можно было видеть солдат. Но митинг оказался весьма успешным и ослабил страх крестьян. К этому времени окружной магистрат вернулся с огневых позиций, и по его требованию я отправился вместе с ним к нему в дом. Там он продержал меня под различными предложениями свыше двух часов, видимо, желая изолировать от крестьян и от моих товарищей в городе.

Впоследствии мы узнали, что при стрельбе было убито много людей. Крестьяне отказывались разойтись или вернуться обратно, но в остальном вели себя вполне мирно. Я совершенно убежден, что, если бы я или кто-либо другой, кому они доверяли, находился на месте действия и посоветовал им разойтись, они бы послушались. Но они отказались подчиниться приказу людей, которым не доверяли. Кто-то даже предлагал магистрату подождать меня, но он отказался. Он не мог допустить, чтобы какой-то агитатор добился успеха там, где он сам потерпел неудачу. Это не в привычках чужеземных правителей, придающих престижу столь большое значение.

В округе Рае Барели в то время дважды стреляли в крестьян, а затем началось нечто гораздо худшее — террор против каждого видного деятеля крестьянского движения или члена панчаята. Правительство решило подавить движение. По инициативе Национального конгресса в то время среди крестьян начало распространяться ручное прядение при помощи *чаркхи*. Поэтому чаркха стала символом бунта: ее владелец попадал в беду, а сама чаркха часто сжигалась. Так сотнями арестов и с помощью других методов правительство пыталось подавить как аграрное, так и конгрессиистское движение в сельских районах Рае Барели и в Партабгархе. Большинство виднейших деятелей были участниками обоих движений.

Немного позднее, в 1921 году, в округе Файзабад также широко проводились репрессии. Там беспорядки начались весьма своеобразно. Крестьяне нескольких деревень явились к талукдару и разграбили его имущество. Впоследствии выяснилось, что их подговорили слуги одного заминдара, который враждовал с талукдаром. Бедным, несвежественным крестьянам сказали, будто Махатма Ганди хочет, чтобы они грабили, и они охотно согласились выполнить его приказ, крича при этом: «Махатма Ганди ки джай!»

Услышав об этом, я очень рассердился и спустя день или два после случившегося был уже на месте происшествия, где-то близ Акбарпура, в округе Файзабад. По прибытии я назначил на тот же день митинг, и через несколько часов из многочисленных деревень в радиусе десяти миль собралось пять или шесть тысяч человек. Я в резких выражениях говорил им о том позоре, который они навлекли на себя и на наше движение, и заявил, что виновные должны публично сознаться. (В те дни я был преис-

полнен тем, что казалось мне духом начатого Гандиджи движения сатьяграхи.) Я предложил тем, кто принимал участие в грабеже, поднять руки, и, как это ни странно, здесь, в присутствии многочисленных агентов полиции, более двадцати человек подняли руки. Это означало для них неизбежные неприятности.

Когда я позднее лично беседовал со многими из них и услышал их безыскусственный рассказ о том, как они были введены в заблуждение, мне стало очень жаль их и я начал сожалеть о том, что обрек этих наивных и бесхитростных людей на долгое тюремное заключение. Но пострададо во все не два и не три десятка человек. Случай был слишком удобен, чтобы его упускать, и им воспользовались в полной мере, чтобы подавить аграрное движение в этом округе. Было произведено более тысячи арестов, окружная тюрьма была переполнена, и суд продолжался чуть ли не целый год. Многие умерли в тюрьме во время судебного разбирательства. Многие были приговорены к долгим срокам заключения, и впоследствии, когда я сам очутился в тюрьме, я встретился с некоторыми из них, мальчиками и молодыми людьми, которые проводили свою юность в заключении.

Индийские крестьяне недостаточно стойки, у них не хватает энергии долго сопротивляться. Голод и эпидемии уносят из их среды миллионы. Удивительно, что в течение целого года они упорно сопротивлялись объединенному натиску правительства и помещиков. Но понемногу они начали уставать, а решительное наступление правительства на их движение в конце концов сломало их дух. Однако движение все же продолжалось, хотя и в меньших масштабах. Уже не было таких грандиозных демонстраций, как прежде, но в большинстве деревень сохранились старые лидеры движения, которые не были запуганы и продолжали вести некоторую работу. Следует помнить, что все это происходило до массового движения за добровольное заключение в тюрьму, которое было начато Национальным конгрессом в конце 1921 года. Крестьяне приняли активное участие даже в этом движении, несмотря на все то, что они пережили за предыдущий год.

Напуганное аграрным движением, правительство стало спешить с принятием закона об аренде. Это сулило некоторое облегчение участи крестьян, однако закон был урезан, когда выяснилось, что с движением уже удалось справиться. Основное изменение, которое было внесено вновь принятым законом, заключалось в предоставлении крестьянам Ауда права пожизненной аренды. Для них это звучало заманчиво, однако, как они убедились впоследствии, положение их ничуть не улучшилось.

Аграрные беспорядки в Ауде возникали время от времени и в последующие годы, но уже в меньших масштабах. Однако депрессия, охватившая в 1929 году весь мир, вновь вызвала серьезный кризис в связи с падением цен.

Глава десятая

НЕСОТРУДНИЧЕСТВО

Я потому так подробно остановился на аграрном движении в Ауде, что оно приподняло занавес и раскрыло для меня важную сторону индийской проблемы, которой националисты не уделяли почти никакого внимания. Аграрные беспорядки в различных районах Индии — частое явление. Это симптомы скрытого брожения, и движение किसानов в некоторых районах Ауда в 1920 и 1921 годах было лишь одним из таких симптомов, хотя оно было замечательным в своем роде и весьма показательным. По своему происхождению оно совершенно не было связано с политикой или политическими деятелями, и за все время его существования влияние посторонних элементов и политиков сказывалось на нем в минимальной степени. Но с общеиндийской точки зрения это было событием местного значения, и ему уделялось очень мало внимания. Даже газеты Соединенных провинций, как правило, игнорировали его. Для их редакторов и большинства читателей-горожан действия толп полуголодных крестьян не имели существенного политического или какого-либо иного значения.

В то время в центре внимания были несправедливости, допущенные в Пенджабе и при решении халифатистской проблемы, и всеобщее внимание было поглощено движением несотрудничества, целью которого было попытаться ликвидировать эти несправедливости. Более крупная цель — достижение национальной свободы, или *сварадж*, — в данный момент не подчеркивалась. Гандиджи не любил выдвигать неопределенные и большие задачи, он всегда предпочитал сосредоточивать силы на чем-нибудь конкретном и определенном. Тем не менее о *сварадже* очень много говорили, он занимал большое место в думах народа, и на бесчисленных собраниях и конференциях часто упоминалось о нем.

Осенью 1920 года в Калькутте был созван чрезвычайный съезд Национального конгресса для обсуждения мер, которые надлежало предпринять, и прежде всего для решения вопроса о несотрудничестве. На съезде председательствовал Лала Ладжпат Раи, только что вернувшийся на родину после длительного пребывания в Соединенных Штатах. Ему не

правился новомодный план несотрудничества, и он выступал против него. В политической жизни Индии Раи обычно считали экстремистом, но его взгляды в целом были явно конституционными и умеренными. Он стал союзником Локаманыи Тилака и других экстремистов в начале века исключительно под влиянием обстоятельств, а не по собственному выбору или в силу своих убеждений. Но у него была определенная точка зрения на социальные и экономические вопросы, укрепившаяся в результате его длительного пребывания за границей, и это делало его человеком более широкого кругозора, чем большинство индийских лидеров.

Уилфрид Скавен Блант рассказывает в своих «Дневниках» о своей беседе (около 1909 года) с Гокхале и Лаладжи. Он очень сурово отзывается об обоих, находя их слишком осторожными и боящимися глядеть в лицо действительности. И, тем не менее, именно Лаладжи в гораздо большей степени, нежели большинство индийских лидеров, считался с действительностью. Наблюдения Бланта показывают, на каком низком уровне находились наше политическое движение и наши руководители в то время и как это бросалось в глаза знающему и опытному иностранцу. Однако за десятилетие в этом отношении произошли большие изменения.

Лала Ладжпат Раи был не одинок в своей оппозиции — у него было много влиятельных единомышленников. По существу против предложенной Гандиджи резолюции о несотрудничестве возражала вся старая гвардия Национального конгресса. Ч. Р. Дас возглавлял оппозицию. Он делал это не потому, что не одобрял духа резолюции, — он был готов идти столь же далеко и даже еще дальше, — но главным образом потому, что был против бойкота новых законодательных органов.

Единственным из видных деятелей старшего поколения, поддержавших в то время Гандиджи, был мой отец. Для него это не было легким шагом. Возражения, побуждавшие большинство его старых коллег выступать против, были ему понятны и оказывали на него большое влияние. Он, подобно им, колебался сделать новый шаг в неведомую область, где едва ли можно было сохранить свою прежнюю точку опоры. Однако его неудержимо тянуло к какой-то форме активной деятельности, а данное предложение предусматривало определенную деятельность, хотя и не совсем такого плана, какая мыслилась ему. Ему потребовалось много времени, чтобы принять решение. Он имел долгие беседы с Гандиджи и с Ч. Р. Дасом. В то время Дас и отец встречались довольно часто, ибо они оба участвовали, хотя и на противоположных сторонах, в крупном судебном процессе. Они подходили к проблеме с почти одинаковых позиций, и даже в отношении выводов взгляды их мало чем различались. Однако и незначительного различия оказалось достаточно, чтобы они заняли противоположные позиции при

голосовании основной резолюции на чрезвычайном съезде Национального конгресса. Спустя три месяца они снова встретились на Нагпурском съезде и с тех пор действовали сообща, все более сближаясь друг с другом.

В те дни, перед Калькуттским чрезвычайным съездом Национального конгресса, я очень мало виделся с отцом. Но каждый раз, когда я встречался с ним, я замечал, что он все время бьется над этой проблемой. Помимо общенациональной стороны этого вопроса, существовала еще личная сторона. Несотрудничество означало для него отказ от адвокатской практики; оно означало полный разрыв с его прошлой жизнью и полную перестройку ее — дело нелегкое для человека, находящегося на пороге своего шестидесятилетия. Это был разрыв со старыми коллегами по политической деятельности, со своей профессией, со светской жизнью, к которой он привык, это был также отказ от многих расточительных привычек, которые он приобрел. Ибо финансовая сторона вопроса имела немаловажное значение, и было очевидно, что, лишившись дохода от своей профессии, он вынужден будет резко сократить свои расходы.

Но его разум, сильно развитое в нем чувство собственного достоинства, его гордость — все это шаг за шагом толкало его к тому, чтобы всецело связать свою судьбу с новым движением. Скопившийся в его душе гнев, порожденный цепью событий, кульминационной точкой которых были пенджабская трагедия и ее последствия, ощущение величайшего беззакония и несправедливости, горечь национального унижения — все это требовало какого-то выхода. Но он не давал себя увлечь порыву чувства. Лишь после того как его рассудок, подкрепленный тренированным умом юриста, взвесил все за и против, он принял окончательное решение и примкнул к Гандиджи и его движению.

Его влекло к Гандиджи как к человеку, и это, без сомнения, сыграло свою роль. Ничто не заставило бы его стать близким соратником человека, неприятного ему, ибо он всегда очень резко проявлял свои симпатии и антипатии. Но это было странное сочетание: с одной стороны — святой, стойкий, религиозный человек, который шел по жизни, отвергая все предлагаемые ей дары и физические наслаждения, а с другой — немного эпикуреец, принимающий жизнь, приветствующий ее многочисленные дары, наслаждающийся ими и мало заботящийся о том, что его ждет впереди. Говоря языком психоаналитиков, это была встреча интроверта, человека, сосредоточенного на самом себе, с экстравертом, человеком, живущим внешними впечатлениями бытия. Однако у них были общие узы, общие интересы, которые сближали их и способствовали сохранению тесной дружбы между ними даже в последующие годы, когда их политические взгляды разошлись.

Уолтер Пейтер в одной из своих книг указывает, что святой и эпикуреец, исходящие из противоположных отправных точек

и идущие различными путями, один — проникнутый религиозным духом, другой — враждебный этому духу, но оба резко отличающиеся силой и искренностью своих устремлений от любого человека более слабого темперамента, часто понимают друг друга лучше, чем каждый из них понял бы заурядного человека, а иной раз они даже сближаются.

Чрезвычайный съезд в Калькутте положил начало эре Ганди в политической жизни Национального конгресса, эре, длящейся с тех пор по сегодняшний день, если не считать некоторого периода в 20-х годах, когда он держался на заднем плане, предоставляя ведущую роль партии свараджистов, руководимой Дешбандху Ч. Р. Дасом и моим отцом. Весь облик Национального конгресса изменился: европейская одежда исчезла, и скоро можно было видеть одни только кхадии. Типичным конгрессистом стал новый делегат, выдвигаемый преимущественно низшими слоями средних классов; языком, которым мы пользовались в своей работе, все больше становился хиндустани или иногда язык той провинции, где происходил съезд Конгресса, ибо многие делегаты не знали английского языка, а кроме того, получило распространение все растущее предубеждение против пользования иностранным языком в нашей национальной деятельности; на собраниях Национального конгресса ощущалась новая жизнь, энтузиазм и горячность.

По окончании съезда Гандиджи посетил престарелого редактора газеты «Амрита базар патрика» Сит Мотилала Гхоша, лежавшего на смертном одре. Я сопровождал его. Мотилал Бабу благословил Гандиджи и его движение; что же касается его самого, добавил Мотилал, то он уходит в иной мир, и, где бы этот мир ни был, у него есть одно большое утешение: он будет находиться там, где Британской империи не существует. Наконец-то он будет недосыгаем для этой империи!

На обратном пути с Калькуттского чрезвычайного съезда я сопровождал Гандиджи в Саитиникетан, где мы посетили Рабиндраната Тагора и его обаятельного старшего брата «Боро Дада». Мы провели там несколько дней, и мне помнится, что С. Ф. Эндрюс дал мне несколько книг, которые очень меня заинтересовали и оказали на меня большое влияние. В них говорилось об экономических последствиях империализма в Африке. Одна из этих книг — «Время черного человека» Морелла — произвела на меня огромное впечатление.

Примерно в это время или несколько позже С. Ф. Эндрюс написал брошюру, в которой он призывал предоставить независимость Индии. Насколько мне помнится, брошюра называлась «Независимость — неотложная необходимость». Это было блестящее произведение, основывавшееся на нескольких трудах Сили об Индии, и мне казалось, что оно не только неопровержимо доказывает необходимость независимости, но и выражает самые сокровенные наши чувства. Наши полусознанные жела-

ния, стремления, жившие в глубине наших душ и руководившие нами, казалось, становились отчетливыми, будучи выражены его простыми и искренними словами. В том, что он писал, не было никакой экономической основы, никакого социализма — это был чистейшей воды национализм, понимание угнетенного положения Индии, страстное желание освободить ее от этого гнета и положить конец нашей непрерывной деградации. Поразительно было, что С. Ф. Эндрюс, иностранец, к тому же принадлежавший к господствующей в Индии нации, вторил этому крику, вырывавшемуся из сокровенных глубин нашего существа. Как давно уже заметил Сили, суть несотрудничества заключалась «в той идее, что стыдно помогать чужеземцу в сохранении его господства». И Эндрюс писал, что «единственный путь к возрождению — это некий коренной внутренней сдвиг. Взрывчатая сила, необходимая для того, чтобы вызвать такой сдвиг, должна родиться в душе самой Индии. Эту силу невозможно создать с помощью займов, даров, пожалований, уступок и деклараций извне. Она должна исходить изнутри... Поэтому я испытывал величайшую радость избавления от невыносимого интеллектуального и духовного бремени, наблюдая рождение такой внутренней взрывчатой силы, которое совершилось, когда Махатма Ганди сказал сердцу Индии *мантрам*: «Будь свободной!», «Не будь больше рабой!» И сердце Индии отозвалось, она рванулась, оковы ее начали ослабевать, и перед ней открылась дорога свободы».

Следующие три месяца были свидетелями нарастания движения несотрудничества по всей стране. Призыв к бойкоту выборов в новые законодательные советы оказал поразительное действие. Он не привел и не мог привести к тому, чтобы ни один человек не пошел в эти законодательные органы и чтобы, таким образом, места в них оказались незанятыми. Даже горсточка избирателей могла выбрать депутата или же могли происходить выборы, на которых выдвинутые кандидатуры никем не оспаривались бы. Но подавляющее большинство избирателей не являлось на выборы, а все, кто принимал близко к сердцу столь ясно выраженное настроение родины, воздержалось от выдвижения своих кандидатур. Сэр Валентайн Чирол случайно оказался в Аллахабаде в день выборов, и он решил обойти все пункты для голосования. Вернулся он пораженный эффективностью бойкота. В одном из сельских избирательных пунктов, расположенных на расстоянии около 15 миль от Аллахабада он обнаружил, что на выборы не явился ни один избиратель. Он рассказывает о своих впечатлениях в одной из своих книг об Индии.

Ч. Р. Дас и другие на Калькуттском съезде Национального конгресса выражали сомнения в разумности этого бойкота, но они считались с решением Конгресса. С окончанием выборов этот источник разногласий исчез, и на следующем очередном съезде Национального конгресса — в Нагпуре в декабре

1920 года — многие старые лидеры Конгресса вновь объединились на платформе несотрудничества. Сам успех движения убедил многих сомневающихся и колеблющихся.

Однако несколько старых руководящих деятелей после Калькуттского съезда вышли из состава Национального конгресса, и среди них такая популярная и известная личность, как М. А. Джинна. Сароджини Найдю назвала его «послом индусско-мусульманского единства», и именно он сыграл в прошлом главную роль в сближении Мусульманской лиги с Национальным конгрессом. Однако Джинна решительно не одобрял новое в жизни Конгресса — призыв к несотрудничеству и новый устав Конгресса, делавший его более популярной и массовой организацией. Он не соглашался с этим по политическим мотивам, но главным, что его останавливало, была не политика. В Национальном конгрессе еще оставалось много людей, политически менее передовых, чем он. Но он совершенно не подходил к новому Конгрессу по своему характеру. Он чувствовал себя совершенно чужим среди толпы одетых в кхадии людей, требовавших, чтобы речи произносились на хиндустани. Энтузиазм людей, окружавших место заседаний съезда, казался ему проявлением массовой истерии. Между ним и индийскими массами существовало такое же различие, как между Сэвэйл Роу и Бондстрит и индийской деревней с ее глинобитными хижинами. Однажды он в неофициальной беседе высказал мнение, что в Национальный конгресс должны приниматься лишь лица с университетским образованием. Я не знаю, насколько он был серьезен, высказывая эту мысль, но она вполне согласовалась с его общими взглядами. Так он постепенно отошел от Национального конгресса и стал довольно одинокой фигурой на политической арене Индии. К сожалению, впоследствии прежний посол индусско-мусульманского единства связался с наиболее реакционными элементами в религиозно-общинном движении мусульман.

Умеренные, или либералы, разумеется, не имели с Национальным конгрессом ничего общего. Они не только держались в стороне от него, они вошли в правительство, стали министрами и высокопоставленными чиновниками в рамках новой административной структуры и помогали в борьбе с движением несотрудничества и Национальным конгрессом. Они получили почти все, что хотели, кое-какие реформы были проведены, а потому им не из-за чего было волноваться. В то самое время, когда страна была охвачена возбуждением и становилась все более революционной, они стали откровенными контрреволюционерами, частью самой правительственной машины. Они были совершенно изолированы от народа, и у них появилась привычка, неизменно сохранявшаяся с тех пор, подходить к любому вопросу с официальной точки зрения. Они перестали быть партией в подлинном смысле этого слова и представляли собой не-

большое число лиц, рассеянных в нескольких крупных городах. Сриниваса Састри стал имперским представителем, посещавшим по поручению английского правительства различные британские доминионы, а также Соединенные Штаты Америки и резко критиковавшим Национальный конгресс и своих соотечественников за ту борьбу, которую они вели против этого правительства.

И все же либералы отнюдь не были счастливы. Не так-то приятно быть изолированным от своего собственного народа и ощущать его враждебность, даже если ты не можешь ее видеть или слышать. В периоды, когда массы приходят в движение, они не ласково обходятся с теми, кто не идет с ними. Впрочем, в результате неоднократных предостережений Гандиджи участники движения несотрудничества проявляли гораздо большую мягкость по отношению к своим противникам, чем это было бы при других обстоятельствах. Однако, несмотря на это, сама атмосфера была такова, что она душила противников движения и в то же время воодушевляла и вселяла жизнь и энергию в тех, кто его поддерживал. Перевороты с участием широких масс и истинно революционные движения всегда оказывают это двойственное действие: они ободряют и способствуют проявлению личности тех, кто составляет собой массы, или тех, кто выступает на их стороне, и в то же время они психологически подавляют и душат тех, кто с ними расходится.

Вот почему некоторые жаловались на то, что участники движения несотрудничества нетерпимы и стремятся утвердить мертвящее единообразие мнений и поступков. В этих жалобах была доля истины, но истина заключалась и в том, что несотрудничество являлось массовым движением и его возглавлял человек с властным характером, пользовавшийся глубокой любовью у миллионов индийцев. Еще важнее было влияние этого движения на массы. Оно давало ощущение величайшего облегчения, избавления от громадного бремени, новое сознание свободы. Давивший их страх куда-то отступил, они распрямили спины и выше подняли головы. Даже на базарах в отдаленных местностях простой народ говорил о Национальном конгрессе и сварадже (ибо Чагпурский съезд в конце концов объявил сварадж целью Национального конгресса), о том, что произошло в Пенджабе, и о халифате, хотя слово «халифат» приобрело в большинстве сельских районов весьма странное значение. Народ думал, что оно происходит от слова «хилаф», означающего на языке урду «против», «враждебный», и поэтому решил, что оно значит: враждебный правительству! Простой народ, разумеется, толковал главным образом о своих собственных материальных невзгодах. Бесчисленные митинги и конференции в значительной мере способствовали политическому просвещению масс.

Многие из нас, работавших во имя осуществления программы Национального конгресса, жили на протяжении всего

1921 года в каком-то опьянении. Мы были полны возбуждения, оптимизма и бодрящего энтузиазма. Мы ощущали счастье человека, участвующего в крестовом походе во имя идеи. Нас не тревожили сомнения или колебания, наш путь казался нам ясным, и мы шли вперед, воодушевленные энтузиазмом окружающих и помогая подталкивать вперед других. Мы много работали, больше чем когда-либо раньше, ибо мы знали, что столкновение с правительством близко, и хотели сделать как можно больше, прежде чем нас успеют изолировать.

У нас было прежде всего ощущение свободы и гордости этой свободой. Прежнее чувство уныния и разочарования совершенно исчезло. Мы уже не говорили шепотом, не прибегали к окольной, легальной фразеологии во избежание неприятных столкновений с властями. Мы говорили то, что мы думали, и кричали об этом во всеуслышание. Что нам было за дело до последствий? Тюрьма? Мы были готовы к ней — она еще больше способствовала достижению наших целей. Бесчисленные шпики и агенты тайной полиции, которые обычно окружали нас и всюду следовали за нами, играли довольно жалкую роль, ибо у нас не было никаких секретов, которые они могли бы раскрыть. Все наши карты всегда были выложены на стол.

У нас было не только чувство удовлетворения от сознания, что мы выполняем полезную политическую работу, которая на наших глазах изменяет лицо Индии и, как нам казалось, делает ее освобождение совсем близким, но и приятное сознание своего морального превосходства над нашими противниками как в отношении нашей цели, так и методов. Мы гордились своим вождем и тем несбыточным методом, который он изобрел, и мы часто предавались самодовольству. В самый разгар борьбы, причем мы сами поощряли эту борьбу, у нас было ощущение внутреннего мира.

По мере того как наше моральное состояние повышалось, правительство все более падало духом. Оно не понимало, что происходит. Казалось, что старый мир, который оно привыкло видеть в Индии, рушится. Повсюду ощущалось новое, наступательное настроение, уверенность в себе, бесстрашие, и было очевидно, что важнейшая опора английского господства в Индии — престиж — заметно падает. Мелкие репрессии лишь усиливали движение, и правительство долго колебалось, прежде чем принять меры против видных лидеров. Оно не знало, к каким последствиям это может привести. Надежна ли индийская армия? Будет ли полиция выполнять приказы? Как заявил в декабре 1921 года вице-король лорд Ридинг, они были «озадачены и недоумевали».

Летом 1921 года правительство Соединенных провинций в секретном порядке разослало своим окружным чиновникам весьма любопытный циркуляр. Этот циркуляр, который был впоследствии опубликован в газете, с грустью констатировал,

что «инициатива» всегда на стороне «противника», под которым подразумевался Национальный конгресс, и что это весьма прискорбно. Для возвращения инициативы предлагались далее различные методы, в том числе создание таких смехотворных организаций, как «Аман сабха». Полагали, что подобный метод борьбы с движением несотрудничества был принят по предложению либеральных министров.

У многих английских чиновников нервы начали сдавать. Напряжение было велико. Приходилось иметь дело с непрерывно усиливающейся оппозицией, с этим духом неповиновения, который нависал над официальным миром Индии, подобно огромной муссонной туче, и в то же время ввиду мирных методов этого движения здесь не за что было ухватиться, не к чему придаться, чтобы прибегнуть к мерам насильственного подавления. Средний англичанин не верил в *искренность* тактики ненасилия; он считал, что все это маскировка, прикрывающая какой-то грандиозный тайный замысел, который в один прекрасный день разрешится насильственным переворотом. С детства воспитанный в убеждении, что Восток — это таинственная страна и что на его базарах и узких улицах постоянно замышляются тайные заговоры, англичанин редко способен подходить без предубеждения к тому, что происходит в этих странах, которые он привык считать загадочными. Он никогда даже не пытается понять довольно несложную и совершенно лишнюю всякой загадочности личность человека Востока. Он держится подальше от него и черпает свои представления о нем из сказок, изобилующих шпионами и тайными обществами. Наслушавшись их, он дает волю воображению. Так было в начале апреля 1919 года в Пенджабе, когда власти и все местное английское население внезапно обуял страх, под влиянием которого они всюду видели опасность, массовое восстание, второй мятеж с его ужасной резней; тогда в слепом, инстинктивном стремлении спастись любой ценой они прибегли к тем ужасам, символами и олицетворением которых стали Джаллианвала и Кроулинг Лейн в Амритсаре.

1921 год был весьма напряженным годом. Много было такого, что раздражало и сердило представителей официального мира и лишало их присутствия духа. То, что происходило вокруг, было достаточно скверно, но их воображению рисовалось нечто гораздо худшее. Мне вспоминается один случай, дающий представление об этом разгуле фантазии. Свадьба моей сестры Сваруп, происходившая в Аллахабаде, была назначена на 10 мая 1921 года. Дата была установлена, как это обычно бывает в таких случаях, с помощью Самватского календаря — был выбран благоприятный день. На свадьбу были приглашены Гандиджи и несколько видных деятелей Национального конгресса, в том числе братья Али, и для их удобства примерно на это же время в Аллахабаде было назначено заседание Рабо-

чего комитета Национального конгресса. Местные деятели Конгресса, желая воспользоваться присутствием знаменитых руководителей, созвали массовую окружную конференцию; ожидалось, что на нее прибудет большое число крестьян из ближайших сельских районов.

В связи с этими политическими собраниями в Аллахабаде царили суэта и возбуждение. Это произвело поразительное действие на нервы некоторых людей. Как-то раз один из моих друзей-адвокатов сообщил мне, что многие англичане сильно встревожены и ожидают каких-то внезапных беспорядков в городе. Они не доверяли своим индийским слугам и постоянно носили в карманах револьверы. По секрету передавали даже, что в Аллахабадской крепости все было приготовлено, чтобы в случае нужды английская колония могла найти себе там убежище. Я был очень удивлен и никак не мог понять, как кто-либо мог ожидать восстания в сонном и мирном городе Аллахабаде и притом в тот самый момент, когда туда должен был приехать сам апостол ненасилия. «О! — отвечали на это. — Десятое мая (день, случайно выбранный для свадьбы моей сестры) — это годовщина начала мятежа в Мируте в 1857 году, и ее-то и собираются отмечать!»

Ввиду того значения, которое придавалось халифатистскому движению в 1921 году, большое число моулви и мусульманских религиозных лидеров принимало заметное участие в политической борьбе. Они придавали явно религиозный оттенок движению, что оказало большое влияние на массы мусульман. Многие из европеизировавшихся мусульман, не слишком религиозные по своему складу, начали отращивать бороды, придерживаясь ортодоксальных догматов. Влияние и престиж моулви, падавшие в связи с распространением новых идей и постепенной европеизацией, начали снова расти и утверждаться среди мусульман. Братья Али, сами люди религиозного склада, способствовали этому процессу, так же как и Гандиджи, относившийся с величайшим уважением к моулви и мауланам.

Гандиджи постоянно делал упор на религиозную и духовную сторону движения. Его религия не была догматической, но у него был явно религиозный подход к жизни, что оказало сильное влияние на все движение. Если же говорить о массах, то для них оно приобрело характер движения возрождения. Подавляющее большинство работников Национального конгресса, естественно, старалось подражать своему вождю и даже заимствовало его фразеологию. Тем не менее виднейшие сподвижники Гандиджи по Рабочему комитету Конгресса — мой отец, Дешбандху Дас, Лала Ладжпат Раи и другие — не были религиозными людьми в обычном смысле этого слова и рассматривали политические проблемы в чисто политическом плане. В своих публичных выступлениях они не касались религии. Но что бы они ни говорили, слова их производили гораздо

меньшее впечатление, нежели сила их личного примера: разве не отказались они от многого из того, что так ценит мир, и не перешли к гораздо более простому образу жизни? Уже один этот факт воспринимался как свидетельство их религиозности и содействовал распространению духа возрождения.

Подчас меня беспокоило усиление этого религиозного элемента в нашей политической жизни, наблюдавшееся как у индусов, так и у мусульман. Мне это совсем не нравилось. Многие из того, что заявляли в своих публичных выступлениях моулви и маулань, свами и им подобные, казалось мне совершенно неуместным. Их воззрения в области истории, социологии и экономики представлялись мне глубоко ошибочными, а религиозный оттенок, который придавался всему, мешал сколь-нибудь ясно мыслить. Даже некоторые выражения Гандиджи иной раз действовали мне на нервы, как, например, его частые упоминания о *Рама радже* как о золотом веке, который должен наступить вновь. Но я был бессилен вмешаться и утешал себя мыслью, что Гандиджи употребляет эти слова потому, что они знакомы и понятны массам. У него было удивительное умение проникать в людские сердца.

Впрочем, все эти вопросы не очень волновали меня. Я был слишком увлечен своей работой и успехами нашего движения, чтобы заботиться о подобных мелочах, каковыми я считал эти вопросы в то время. В таком грандиозном движении, как наше, участвовало множество самых различных людей, и пока главное направление его оставалось правильным, незначительные отклонения в ту или иную сторону не имели значения. Что же касается самого Гандиджи, то это был человек, которого очень трудно было понять, и подчас его речи были почти непостижимы для среднего человека нашего времени. Но мы чувствовали, что знаем его достаточно хорошо, чтобы понимать, что это великий и необыкновенный человек и замечательный вождь. Поверив в него, мы предоставили ему почти полную свободу действий, по крайней мере на время. Мы часто толковали между собой о его чудачествах и странностях и говорили полушутя, что, когда наступит сварадж, эти чудачества не надо будет поощрять.

Однако многие из нас находились под слишком сильным его влиянием в политических и иных вопросах, чтобы сохранить полный иммунитет и в сфере религии. Там, где прямой натиск мог оказаться безуспешным, многочисленные окольные подходы в значительной мере подрывали оборону. Внешняя сторона религии не импонировала мне. Больше всего мне не нравилась эксплуатация народа так называемыми служителями религии, и все же я стал относиться к этому терпимее. В 1921 году я был ближе к религиозному образу мыслей, чем когда-либо со времен моего раннего детства. Но и тогда я не подошел к религии особенно близко.

Что меня восхищало — это моральная и этическая сторона нашего движения и движения сатьяграхи. Я не был безоговорочным сторонником доктрины ненасилия и не принимал ее на веки вечные, но она все больше привлекала меня, и во мне крепло убеждение, что при нашем положении в Индии, с нашим прошлым и нашими традициями это было для нас правильным политическим курсом. Одухотворение политики, если употреблять это слово не в его узкорелигиозном смысле, казалось мне прекрасной идеей. Для достижения достойной цели должны применяться достойные средства. Это казалось не только хорошей этической доктриной, но и здравой практической политикой, ибо недостойные средства часто губят цель, которая имеется в виду, порождают новые проблемы и трудности. К тому же опускаться до таких средств, ступать по грязи казалось таким неприличным, таким унижительным для достоинства человека и нации. Как же можно уберечься и не выпачкаться в этой грязи? Каким образом можем мы быстро и с достоинством двигаться вперед, если мы униженно сгибаемся или ползем?

Таковы были мои мысли в то время. Движение несотрудничества дало мне то, чего я хотел, — цель, заключавшуюся в достижении национальной свободы и (как я думал) в прекращении эксплуатации обездоленных, и средства, соответствовавшие моим нравственным представлениям и дававшие мне ощущение личной свободы. Личное удовлетворение было столь велико, что даже возможность неудачи не имела большого значения, ибо такая неудача могла быть лишь временной. Я не понимал метафизической части «Бхагавадгиты» и не чувствовал к ней склонности, но мне нравилось перечитывать стихи, которые ежедневно повторялись в молитвах Гандиджи и в которых говорилось о том, каким должен быть человек: уверенным в своей цели, спокойным и невозмутимым, делающим свое дело и не слишком заботящимся о результатах своих действий. Я полагаю, что этот идеал потому особенно импонировал мне, что сам я был не слишком спокойным и отрешенным.

Глава одиннадцатая

1921 ГОД И МОЙ ПЕРВЫЙ АРЕСТ

1921 год был необычным годом для нас. Он был отмечен странной смесью национализма, политики, религии, мистики и фанатизма. За всем этим стояли аграрные беспорядки, а в крупных городах — поднимающееся движение рабочего класса. Национализм и расплывчатый, но пылкий идеализм, которым была охвачена вся страна, стремились объединить все эти различные и подчас взаимно противоречивые проявления недовольства, и они удивительно преуспели в этом. Однако сам этот национализм представлял собой сложное явление — в нем можно было различить индусский национализм, мусульманский национализм, взоры которого были отчасти устремлены за пределы границ Индии, и, что более соответствовало духу времени, — индийский национализм. Пока что они частично совпадали и все развивались в одном направлении. Повсюду провозглашался лозунг «*Хинду — Мусулман ки джай*»¹. Было удивительно, что Гандиджи, казалось, сумел зачаровать все классы и группы общества, собрав их в одну пеструю толпу, движущуюся в одном направлении. Он поистине стал (пользуясь выражением, примененным к другому вождю) «символическим воплощением разноречивых стремлений народа».

Еще более замечательным был тот факт, что эти стремления и страсти были сравнительно свободны от ненависти к чужеземным властителям, против которых они были направлены. Национализм — это в основе своей антагонистическое чувство, которое питается и поддерживается злобой и ненавистью к другим национальным группам, а в особенности к чужеземным властителям поработенной страны. В Индии в 1921 году, разумеется, существовали эти злоба и ненависть к англичанам, но по сравнению с другими странами, находившимися в таком же положении, они были необычайно слабы. Это, без сомнения, являлось результатом настояния Гандиджи на точном соблюдении принципа ненасилия. Это объяснялось также чувством облегчения и сознания своей силы, которые охватили всю страну с началом движения, и широко распространенным убеждением в

¹ «Да победят индусы и мусульмане!» (*хинди*).

его близком торжестве. Зачем было сердиться и злобствовать, когда мы действовали столь успешно и должны были в скором времени одержать победу? Мы считали, что мы можем себе позволить быть великодушными.

В наших сердцах, однако, не было места великодушию по отношению к горстке наших соотечественников, которые стали нашими противниками и выступали против националистического движения, хотя вели мы себя осмотрительно и вполне подобающим образом. В данном случае их поведение не заслуживало ни ненависти, ни гнева, ибо они не пользовались никаким влиянием, и мы вполне могли их игнорировать. Но мы питали глубокое презрение к ним за их слабость, оппортунизм и измену национальной чести и чувству собственного достоинства.

Итак, мы продолжали идти вперед, еще не ясно видя свой путь, но исполненные рвения и охваченные радостью деятельности. Что касается нашей цели, то мы не имели о ней сколько-нибудь ясного представления. Сейчас кажется удивительным, насколько мы игнорировали теоретическую сторону нашего движения, его философию, насколько мы были невнимательны к выдвиганию какой-либо определенной цели, которой мы должны были руководствоваться в своей деятельности; все мы, разумеется, очень красноречиво рассуждали о сварадже, но каждый из нас, вероятно, толковал это слово по-своему. Для большинства более молодых людей оно означало политическую независимость или нечто вроде этого, а также демократическую форму правления, и мы говорили об этом в наших публичных выступлениях. Многие из нас также думали, что это неизбежно приведет к облегчению бремени, тяготевшего над рабочими и крестьянами. Однако было очевидно, что для большинства наших руководителей сварадж означал нечто гораздо меньшее, чем независимость. Гандиджи высказывался на этот счет удивительно расплывчато и не поощрял никаких уточнений. Однако он всегда, хотя и неопределенно, но решительно, исходил из интересов обездоленных, и это служило большим утешением для многих из нас, хотя в то же время у него всегда были наготове заверения также и для господствующих классов. Гандиджи всегда делал упор не на интеллектуальный подход к проблеме, а на характер и благочестие. Он добился поразительного успеха, выработав у индийского народа крепкий характер и силу духа. Правда, много было таких, у которых не появилось ни крепкого характера, ни силы духа и кто считал, что слабое тело и вялый вид могут служить внешним выражением благочестия.

Именно эта необычайно возросшая стойкость масс придала нам уверенность. Деморализованные, отсталые, отчаявшиеся люди внезапно распрямили спины, подняли головы и приняли участие в организованных совместных действиях в масштабе

всей страны. Мы считали, что сами эти действия придадут массам несокрушимую силу. Мы игнорировали необходимость мысли, на которую должно опираться всякое действие; мы забыли о том, что без сознательной идеологии и определенной цели энергия и энтузиазм масс будут расходоваться по существу впустую. Нас в известной мере поддерживал элемент возрождения, содержащийся в нашем движении, сознание того, что принцип ненасилия как орудие политических или экономических движений или как средство устранения несправедливости является тем новым откровением, которое наш народ должен передать миру. Мы стали жертвой той удивительной иллюзии, свойственной всем народам и всем нациям, что они являются до некоторой степени избранной расой. Ненасилие было моральным эквивалентом войны и всякой насильственной борьбы. Оно не было просто этической альтернативой, оно доказало свою действенность. Очень немногие из нас, как я полагаю, разделяли старые воззрения Гандиджи на машины и современную цивилизацию. Мы думали, что он и сам считал эти воззрения утопическими и в основном неприменимыми к современным условиям. Большинство из нас, разумеется, не считало нужным отказываться от достижений современной цивилизации, хотя мы и находили возможным несколько изменять их применительно к условиям Индии. Меня лично всегда привлекали большие механизмы и быстрые способы передвижения. Нет сомнений, однако, что идеология Гандиджи оказала влияние на многих людей, заставив их критически относиться к машине и ко всем последствиям ее применения. Поэтому в то самое время, когда одни смотрели в будущее, взоры других были обращены назад, в прошлое. Но, как это ни странно, и те и другие считали совместные действия, в которых они участвуют, стоящим делом, и благодаря этому им легче было идти на жертвы и проявлять самоотречение.

Я был всецело поглощен и захвачен движением; то же самое происходило со многими другими. Я отказался от всякого общества и связей, от старых друзей, книг и даже газет, если они не имели прямого отношения к тому делу, которым я был занят. До тех пор я еще уделял какое-то время чтению новейших книг и пытался следить за событиями международной жизни. Теперь времени для этого не было. Несмотря на свою привязанность к семье, я почти забыл своих родных, жену и дочь. Лишь много времени спустя я понял, каким бременем и источником беспокойства я должен был быть для них в те дни и какую парализующую выдержку и терпение проявила по отношению ко мне моя жена. Я проводил целые дни на заседаниях всевозможных комитетов, среди толпы. «Иди в деревню» — таков был лозунг тех дней, и мы прошагали немало миль по полям, посещая отдаленные деревни и выступая на крестьянских митингах. Меня глубоко волновали проявления чувств массы людей,

сознание моей способности воздействовать на массы. Я начал понемногу понимать психологию толпы, видеть различие между городскими массами и крестьянством и чувствовал себя как дома среди пыли, неудобства, толкотни и давки многолюдных собраний, хотя их неорганизованность часто меня раздражала. С тех пор мне иногда приходилось иметь дело с враждебной и озлобленной толпой, доведенной до такого состояния, при котором достаточно искры, чтобы разгорелось пламя, и я убедился, что этот ранний опыт и та уверенность, которую он придал мне, сослужили мне хорошую службу. Я всегда обращался прямо к толпе, доверял ей, и пока что она неизменно отвечала мне расположением и пониманием, даже если между нами не было согласия. Но толпа непостоянна, и в будущем меня ожидает, быть может, нечто совсем иное.

Я полюбил толпу, а толпа полюбила меня, и все же я никогда не растворялся в ней, всегда ощущал себя чем-то отдельным от нее. Я критически смотрел на нее со своей обособленной интеллектуальной позиции, не переставая удивляться тому, каким образом мне, столь не похожему на тысячи окружавших меня людей по своим привычкам, желаниям, умственным и духовным запросам,— каким образом удалось мне завоевать расположение и известное доверие этих людей. Быть может, это объяснялось тем, что они принимали меня не за того, кем я был? Будут ли они так же относиться ко мне, когда узнают меня лучше? Быть может, я завоевал их расположение с помощью притворства? Я старался быть с ними откровенным и честным; иной раз я даже говорил с ними сурово и критиковал многие из наиболее дорогих им верований и обычаев, и все же они терпели меня. Однако я никак не мог отделаться от мысли, что их любовь обращена не ко мне, каков я есть в действительности, а к какому-то воображаемому образу, который сложился в их представлении. Надолго ли сохранится этот обманчивый образ? И надо ли позволять ему сохраняться? А когда он исчезнет и они столкнутся с реальностью — что тогда?

Я во многих отношениях достаточно тщеславен, но что касается этих масс простых людей, то здесь не могло быть и речи о тщеславии. Им были чужды всякое позирование, всякая пошлость, чего нельзя было сказать о многих из нас, представителей средних классов, считавших себя стоящими выше них. Взятые в отдельности, они были, конечно, скучны, неинтересны, но в массе вызывали чувство непреодолимой жалости и ощущение трагичности их судьбы.

Совсем иной характер носили те наши собрания, во время которых на трибуне выступали наши избранные деятели, в том числе и я. В наших пламенных речах было много позирования, не было недостатка и в пошлости. Должно быть, все мы в той или иной степени были повинны в этом, но некоторые



ВЫСТУПЛЕНИЕ НЕРУ НА МИТИНГЕ

из менее видных лидеров халифатистского движения, пожалуй, превосходили в этом отношении остальных. Вести себя естественно на трибуне, перед большой аудиторией — не легкое дело, и лишь немногие из нас имели опыт таких публичных выступлений. Поэтому мы старались иметь такой вид, какой, по нашему мнению, надлежит иметь вождям, — быть глубокомысленными и серьезными, без малейшего намека на ветреность и легкомыслие. Прогуливаясь, разговаривая или улыбаясь, мы постоянно чувствовали тысячи устремленных на нас глаз и ни на минуту не забывали об этом. Наши выступления часто были весьма красноречивыми, но столь же часто удивительно бессодержательными. Трудно видеть себя таким, каким тебя видят другие. Поэтому, будучи не в состоянии видеть себя со стороны, я стал внимательно наблюдать за поведением других, и это занятие доставило мне немало веселых минут. Но туг мне приходила в голову ужасная мысль, что, быть может, и я кажусь другим столь же смешным.

В течение всего 1921 года отдельные работники Национального конгресса подвергались арестам и приговаривались к тюремному заключению, однако массовых арестов не производилось. Братья Али были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за возбуждение недовольства в индийской армии. Их высказывания, за которые они были осуждены, повторялись тысячами людей с сотен трибун. Летом из-за нескольких произнесенных мною речей мне пригрозили привлечением к суду за подстрекательство к мятежу. Однако в то время эта угроза не была приведена в исполнение. В конце года события достигли кульминационной точки. В Индию должен был прибыть принц Уэльский, и Национальный конгресс объявил бойкот всех торжеств, связанных с его визитом. В конце декабря организация добровольцев¹ Национального конгресса в Бенгалии была объявлена вне закона, а вслед за этим аналогичное распоряжение последовало для Соединенных провинций. Деш-бандху Дас обратился к населению Бенгалии с волнующим воззванием: «Я чувствую паручники, сковывающие мои руки, и тяжесть железных кандалов на моем теле. Я испытываю страдания заключенного. Вся Индия — это одна огромная тюрьма. Работа Конгресса должна продолжаться. Какое имеет значение, возьмут меня или оставят на свободе? Какое имеет значение, жив я или мертв?» Мы в Соединенных провинциях откликнулись на этот призыв и не только объявили, что наши конгрессистские добровольцы будут продолжать свою деятельность, но и публиковали списки добровольцев в ежедневных газетах. Первый список открывался фамилией моего отца. Он

¹ Так назывались отряды, создававшиеся из членов Конгресса и сочувствующих для проведения бойкота иностранных товаров, поддержания дисциплины во время демонстраций и т. д. — *Прим. ред.*

не был добровольцем, но примкнул к организации и позволил назвать свое имя просто ради того, чтобы нарушить приказ правительства. В начале декабря, за несколько дней до прибытия принца в нашу провинцию, начались массовые аресты.

Мы поняли, что критический момент наконец настал и что вот-вот должен произойти неизбежный конфликт между Национальным конгрессом и правительством. Тюрьма оставалась для нас пока еще незнакомым местом, а мысль о добровольном заключении была еще непривычной. Однажды, желая закончить свои дела, я до позднего вечера засиделся в канцелярии Национального конгресса в Аллахабаде. Вдруг вошел взволнованный служащий и сообщил мне, что явилась полиция с ордером на производство обыска и что она окружает здание канцелярии. Я был, конечно, тоже немножко взволнован, ибо это был первый подобный случай в моей жизни, но очень сильно было желание порисоваться, показаться абсолютно хладнокровным и спокойным и совершенно равнодушным к действиям полиции. Поэтому я предложил служащему сопровождать офицера полиции во время обыска в помещении канцелярии и настоял на том, чтобы все остальные сотрудники продолжали свою обычную работу, не обращая внимания на полицию. Немного позже в сопровождении полицейского ко мне пришел попроситься один из моих друзей и коллег, который был арестован у самых ворот канцелярии. Я был так полон мыслью, что ко всем этим неприятным событиям следует отнестись как к чему-то повседневному, что обошелся со своим коллегой весьма бесчувственно. Я небрежно попросил его и полицейского подождать, пока я закончу письмо, которое писал в ту минуту. Скоро стало известно и о других арестах в городе. Наконец я решил пойти домой и посмотреть, что там делается. Оказалось, что вездесущая полиция обыскивает часть нашего большого дома, и мне сообщили, что она явилась, чтобы арестовать меня и отца.

Никакие иные действия с нашей стороны не могли бы в такой мере соответствовать нашей программе бойкота приезда принца. Всюду, куда бы его ни привозили, его встречали харталы и опустевшие улицы. Аллахабад, когда принц приехал туда, казался городом мертвых, а несколько дней спустя в Калькутте внезапно прекратилась на время вся жизнедеятельность большого города. Это было жестоко по отношению к принцу Уэльскому, он не был ни в чем виноват, и никто не чувствовал к нему никакой вражды. Но английское правительство в Индии пыталось использовать его для поддержания своего пошатнувшегося престижа.

Началась настоящая оргия арестов и приговоров, особенно в Соединенных провинциях и в Бенгалии. Все видные руководители и работники Национального конгресса в этих провинциях были арестованы, рядовые добровольцы тысячами отправлялись в тюрьмы. Вначале это были в основном горожане, и

количество добровольцев, стремившихся попасть в тюрьму, казалось неисчислимым. Провинциальный комитет Национального конгресса Соединенных провинций был арестован в полном составе (55 членов) в момент заседания комитета. Многие из тех, кто до этого времени не принимал никакого участия в деятельности Национального конгресса и вообще в политической жизни, были подхвачены волной энтузиазма и наставляли на том, чтобы их также арестовали. Случалось, что правительственные служащие, возвращаясь вечером с работы домой, были увлечены этим течением и оказывались вместо своего дома в тюрьме. Юноши и мальчики залезали в полицейские грузовики и отказывались выйти. Находясь в тюрьме, мы каждый вечер могли слышать, как к зданию один за другим подъезжали грузовики,— об этом возвещали голоса, выкрикивавшие наши лозунги. Тюремные камеры были переполнены, и тюремное начальство совершенно растерялось, не зная, что делать в этих необычных условиях. Иногда случалось, что полицейский грузовик доставлял, как значилось в сопроводительном ордере, определенное число заключенных (имена при этом не указывались),— фактически же из машины выходило больше людей, чем было указано в ордере, и тюремные чиновники недоумевали, как им действовать в этой необычной ситуации. В тюремном уставе такие случаи не были предусмотрены.

С течением времени правительство отказалось от политики беспорядочных арестов; стали арестовывать только видных деятелей. Мало-помалу остыла также первая вспышка народного энтузиазма, а в связи с тем, что все испытанные деятели находились в тюрьме, распространилось чувство неуверенности и беспомощности. Однако эти изменения были только поверхностными, гроза все еще не улеглась, атмосфера была накалена и чревата революционными возможностями. Подсчитано, что в течение декабря 1921 и января 1922 года в связи с движением несотрудничества было приговорено к тюремному заключению около 30 тысяч человек. Но, несмотря на то, что большинство видных деятелей находилось в тюрьме, руководитель всей борьбы Махатма Ганди был еще на свободе. Он ежедневно обращался с воззваниями и давал указания, воодушевлявшие народ, а также обуздывал многие нежелательного рода действия. Правительство пока не трогало его, опасаясь последствий и того впечатления, какое это могло произвести на индийскую армию и полицию.

Но внезапно, в начале февраля 1922 года, положение изменилось, и мы, к своему удивлению и ужасу, узнали в тюрьме, что Гандиджи отказался от наступательного характера борьбы и приостановил кампанию гражданского неповиновения. Мы прочли, что это явилось результатом события, происшедшего близ деревни Чаури Чаура, где толпа крестьян, мстя полиции,

подожгла полицейский участок, в котором сгорело несколько полицейских.

Мы негодовали, узнав о прекращении борьбы в тот самый момент, когда мы, казалось, укрепили наши позиции и успешно продвигались на всех фронтах. Но разочарование и гнев, охватившие нас в тюрьме, мало что значили — гражданское неповиновение прекратилось, и несотрудничество сошло на нет. После многих месяцев напряжения и тревоги правительство снова вздохнуло свободно и впервые получило возможность взять инициативу в свои руки. Спустя несколько недель оно арестовало Гандиджи и приговорило его к длительному тюремному заключению.

НЕНАСИЛИЕ И ДОКТРИНА МЕЧА

Внезапное прекращение нашего движения после инцидента в Чаури Чаура возмутило, как я полагаю, почти всех видных лидеров Конгресса, разумеется, кроме Гандиджи. Мой отец (находившийся в это время в тюрьме) был сильно огорчен этим. Представители младшего поколения были, естественно, еще более взволнованны. Такой реакции надо было ожидать, ибо внезапно рухнули наши все возраставшие надежды. Но нас еще больше удручали причины, на которые ссылались в объяснение этого решения, а также выводы, повидимому, вытекавшие из них. Случай в Чаури Чаура мог быть, и действительно был, прискорбным инцидентом, резко противоречащим всему духу движения ненасилия. Но разве допустимо было, чтобы отдаленная деревня и толпа охваченных возбуждением крестьян в каком-то глухом местечке могли положить конец, по крайней мере на какое-то время, нашей национальной борьбе за свободу? Если таково было неизбежное следствие спорадического акта насилия, то ясно, что в философии и практике ненасильственной борьбы имелся какой-то изъян. Ибо нам казалось невозможным гарантировать себя от подобных нежелательных инцидентов. Означало ли это, что для того, чтобы двинуться вперед, мы должны раньше обучить триста с лишним миллионов индийцев теории и практике ненасильственных действий? Да и в этом случае многие ли из нас могли утверждать, что они окажутся способными сохранить полнейшее миролюбие перед лицом грубой провокации со стороны полиции? Но даже если бы нам это удалось, неизвестно, чего можно было ожидать от провокаторов, шпииков и им подобных личностей, проникших в наше движение и совершавших акты насилия или подстрекавших к ним других? Если это было исключительное условие его существования, то ненасильственный метод сопротивления должен был неизменно терпеть неудачу.

Мы приняли этот метод, и Конгресс признал его своим методом потому, что мы верили в его действительность. Гандиджи рекомендовал его народу не только в качестве правильного метода, но и в качестве наиболее эффективного средства достижения нашей цели. Несмотря на его негативное наименование, это

был действенный метод, прямая противоположность покорному подчинению воле тирана. Это не было уклонением от действия, к чему прибегает трус, это было вызовом мужественного человека злу и национальному угнетению. Но что могли сделать храбрейшие и сильнейшие, если каких-нибудь несколько человек — быть может, даже наши враги в обличье друзей — были способны подорвать или погубить наше движение своими неосторожными действиями?

Гандиджи ратовал за принятие метода ненасилия, мирного несотрудничества со всем красноречием и силой убеждения, которыми он обладал в таком избытке. Речь его была проста и безыскусственна, его голос и лицо спокойны, ясны и не выражали никаких эмоций, но под этой наружной ледяной оболочкой таились полыхающее пламя и напряженная страсть, и слова, которые он произносил, проникали в сокровенную глубину наших умов и сердец, вызывая в них странное брожение. Путь, который он указывал, был тяжелым и трудным, но это была дорога храбрых, и она вела, казалось, в обетованную землю свободы. И именно поэтому мы присягнули на верность ему и двигались вперед. В знаменитой статье «Доктрина меча» он писал в 1920 году:

«Я твердо убежден, что, если бы оставался лишь один выбор — между трусостью и насилием, я рекомендовал бы насилие... Я скорее предпочел бы, чтобы Индия прибегла к оружию для защиты своей чести, нежели чтобы она из-за своей трусости оказалась или осталась беспомощной жертвой своего собственного бесчестия. Но я считаю, что ненасилие несравненно выше насилия и что способность прощать благороднее стремления наказывать...

Милосердие украшает солдата. Однако воздержание от насилия является прощением лишь тогда, когда есть сила для наказания. Оно бессмысленно, когда его симулирует беспомощное существо. Мышь едва ли прощает кошку, когда позволяет ей разорвать себя на части... Но я не считаю Индию беспомощной, я не считаю себя беспомощным существом...

Пусть меня не поймут превратно. Сила порождается не физической мощью. Она порождается несокрушимой волей...

Я не фантазер. Я считаю себя практическим идеалистом. Религия ненасилия рассчитана не только на риши и святых. Она рассчитана также на простых людей. Ненасилие является в такой же мере законом для людей, в какой насилие является законом для зверей. В звере дух спит, и он не знает никакого иного закона, кроме закона физической силы. Достоинство человека требует, чтобы он повиновался высшему закону — силе духа.

Поэтому я решил обратить взоры Индии на древний закон самопожертвования. Ибо движение сатьяграхи и его следствия — несотрудничество и гражданское сопротивление — являются не чем иным, как новыми наименованиями закона стра-

дания. Риши, открывшие закон ненасилия в разгар насилия, были более великими гениями, чем Ньютон. Они были более великими воинами, чем Веллингтон. Познакомившись с употреблением оружия, они поняли его бесполезность и стали внушать измученному миру, что его спасение придет не через насилие, а через ненасилие...

Ненасилие в действии означает сознательное страдание. Это не есть покорное подчинение воле злодея, это есть противопоставление всех духовных сил человека воле тирана. Руководствуясь этим законом нашего бытия, один человек может бросить вызов всей мощи незаконно существующей империи и тем самым спасти свою честь, свою религию и свою душу и подготовить условия для падения или перерождения этой империи.

Итак, я призываю Индию придерживаться ненасилия не потому, что она слаба. Я хочу, чтобы она придерживалась ненасилия, отдавая себе отчет в своей силе и мощи... Я хочу, чтобы Индия поняла, что у нее есть душа, которая не может погибнуть и которая может восторжествовать над любой физической слабостью и бросить вызов объединенным физическим силам всего мира...

Я отделяю несотрудничество от движения синфайнеров, ибо несотрудничество в силу своей сущности не может проводиться наряду с насилием. Но я рекомендую даже сторонникам насилия испробовать этот метод мирного несотрудничества. Если он потерпит неудачу, то не в силу какой-либо присущей ему внутренней слабости. Он может потерпеть неудачу, не встретив надлежащего отклика. Тогда возникнет действительная опасность. Благородные люди, неспособные долее мириться с национальным унижением, захотят излить свое возмущение. Они прибегнут к насилию. По моему убеждению, они погибнут, не избавив ни себя, ни свою родину от обид. Если Индия последует доктрине меча, она может одержать временную победу. Но тогда Индия перестанет быть гордостью моего сердца. Я предан Индии потому, что я обязан ей всем. Я абсолютно уверен, что ей предназначена особая миссия в мире».

Эти доводы произвели на нас сильное впечатление, но для нас и для всего Национального конгресса в целом ненасильственный метод не был и не мог быть религией, непогрешимым вероучением или догмой. Он мог быть лишь политической и методом, сулящим определенные результаты, и по этим результатам в конечном итоге и надлежало судить о нем. Отдельные лица могли превратить его в религию или в несокрушимое вероучение, но ни одна политическая организация, пока она оставалась политической организацией, не могла поступать таким образом.

События в Чаури Чаура и их последствия заставили нас проанализировать эти особенности ненасилия как метода. Мы

пришли к выводу, что если те доводы, которыми Гандиджи обосновывал прекращение кампании гражданского неповиновения, были справедливы, то наши противники всегда смогут создать такие условия, при которых мы будем вынуждены отказаться от борьбы. Был ли в этом повинен самый метод ненасилия или вся беда заключалась в том, как интерпретировал его Гандиджи? В конце концов, он ведь был автором и инициатором этого метода, и кто же мог лучше его судить о том, каким ему надлежало и каким не надлежало быть? Да и чего бы стоило наше движение без Гандиджи?

Много лет спустя, перед самым началом кампании гражданского неповиновения 1930 года, Гандиджи, к нашей радости, разъяснил этот пункт. Он заявил, что движение не следует прекращать из-за случающихся спорадических актов насилия. Если ненасильственный метод борьбы не мог применяться из-за подобных, почти неизбежных инцидентов, становилось очевидным, что он не является идеальным методом, пригодным при любых обстоятельствах, а этого он не хотел признавать. С его точки зрения, этот метод, поскольку он был правильным, должен был гондиться в любых обстоятельствах и быть применимым, хотя бы в ограниченной степени, даже во враждебной атмосфере. Отражало ли это толкование, расширявшее сферу ненасильственных действий, какую-либо эволюцию в его собственном сознании, я не знаю.

В действительности самый факт прекращения кампании гражданского неповиновения в феврале 1922 года был вызван, разумеется, не одним только инцидентом в Чаури Чаура, хотя большинство думало, что дело обстоит именно так. Это явилось лишь последней каплей. Гандиджи часто действовал почти инстинктивно. В результате длительного и тесного соприкосновения с массами он, повидимому, развил в себе, как это часто бывает с великими народными вождями, новое чувство, которое подсказывает ему, что чувствуют массы, что они делают и что они способны делать. Он реагирует на это инстинктивное чувство и руководствуется им в своих действиях, и лишь позднее, идя навстречу своим удивленным и недовольным коллегам, пытается облечь свое решение в одежду каких-либо доводов. Эти доводы часто бывают весьма недостаточными, как это оказалось после Чаури Чаура. В то время наше движение, несмотря на его видимую мощь и повсеместный энтузиазм, терпело крах. Всякая организация и дисциплина рушились; почти все наши лучшие люди были в тюрьме, а массы не успели к тому времени получить достаточную подготовку, чтобы действовать самостоятельно. Любая неизвестная личность, стоило ей этого захотеть, могла захватить руководство комитетом Конгресса. И действительно, множество нежелательных лиц, среди которых были и провокаторы, выдвинулись на первый план и даже контролировали некоторые местные конгресси-

ские и халифатистские организации. От них невозможно было уберечься.

В такого рода борьбе подобное явление, разумеется, в известной степени неизбежно. Вожди должны показывать пример, первыми идя в тюрьму и поручая продолжение борьбы другим. Единственное, что можно сделать,— это научить массы некоторым простейшим видам деятельности и, что еще важнее, научить их воздерживаться от некоторых других родов деятельности. К 1930 году мы уже потратили несколько лет на такое обучение, благодаря чему движение гражданского неповиновения в этом году, а также в 1932 году отличалось большей мощью и организованностью. Ничего этого не было в 1921 и 1922 годах, когда наблюдалось лишь возбуждение и волнение народа.

Можно почти не сомневаться, что, если бы движение продолжалось, случаи спорадических актов насилия во многих местах становились бы все более частыми. Правительство прибегало бы к кровавым расправам, и в результате вопарился бы режим террора, который привел бы к окончательной деморализации народа.

Таковы были, вероятно, те доводы и соображения, которые созрели в сознании Гандиджи, и, если исходить из его предпосылок и желательности продолжать практику ненасилия, его решение было правильным. Он должен был приостановить процесс разложения и начать строить сызнова. С другой, совершенно иной точки зрения, его решение можно было считать ошибочным, но эта точка зрения не имела никакого отношения к методу ненасилия. Невозможно было сочетать то и другое. Конечно, попытки кровавой расправы с движением, которые могли быть вызваны такого рода спорадическими действиями, в то время не покончили бы с национальным движением, ибо такие движения обладают способностью возрождаться из пепла. Временные неудачи часто помогают яснее разобраться в спорных вопросах и воспитывают твердость духа. Дело не в неудаче и даже не в явном поражении, а в принципах и идеалах. Если массы способны сохранить эти принципы во всей чистоте, положение будет восстановлено скоро. Но в чем заключались наши принципы и цели в 1921 и 1922 годах? Они сводились к некоему расплывчатому понятию свараджа, не содержащему в себе какой-либо четкой идеологии, и к определенному методу ненасильственной борьбы. Этот последний метод, разумеется, сошел бы на нет, если бы спорадические акты насилия в стране приобрели сколько-нибудь значительные масштабы, что же касается первого, то здесь не на что было опереться. Люди в своей подавляющей массе не были достаточно сильны, чтобы продолжать борьбу в течение долгого времени, и, несмотря на почти всеобщее недовольство чужеземным господством и сочувствие к Конгрессу, у них не было ни достаточной твердости духа, ни организованности. Отсутствовала выдержка. Даже те, кто тол-

пами шел в тюрьмы, делали это под влиянием момента, рассчитывая, что все это продлится очень недолго.

Возможно поэтому, что решение о прекращении кампании гражданского неповиновения в 1922 году было правильным, хотя способ его претворения в жизнь оставлял желать много лучшего и породил известную деморализацию.

Однако эта внезапная приостановка великого движения, возможно, способствовала последующим трагическим событиям в стране. Постепенное скатывание к спорадическим и безрезультатным актам насилия в политической борьбе было приостановлено, но подавленная тяга к насилию должна была найти какой-то выход, и это, возможно, усугубило религиозно-общинные беспорядки в последующие годы. Лидеры различных религиозных общин, в большинстве своем политические реакционеры, были вынуждены притаиться ввиду поддержки массами движений несотрудничества и гражданского неповиновения. Теперь они вышли из своего убежища. В том же направлении действовали и многие другие, в том числе агенты тайной полиции и те, кто стремился угодить властям провоцированием трений между общинами. Восстание мопла¹ и его необычайно жестокое подавление — каким чудовищным деянием было сожжение заживо в железнодорожных вагонах заключенных мопла! — уже дало удобное оружие в руки тех, кто мучил воду с целью вызвать раздоры между общинами. Вполне возможно, что, если бы кампания гражданского неповиновения не была прекращена и движение было бы подавлено правительством, общины питали бы меньшее ожесточение по отношению друг к другу и не осталось бы столько избыточной энергии для последующих религиозно-общинных погромов.

Перед прекращением кампании гражданского неповиновения произошел один инцидент, который мог бы привести к иным последствиям. Первая волна гражданского неповиновения поразила и испугала правительство. Именно тогда вице-король лорд Ридинг заявил в одной из своих публичных речей, что он встревожен и недоумевает. В Индии находился в то время принц Уэльский, и его пребывание в еще большей мере усиливало тяжесть ответственности, лежавшей на правительстве. В декабре 1921 года, вскоре после массовых арестов, происшедших в начале месяца, правительство попыталось прийти к какому-то соглашению с Конгрессом. Это было связано прежде всего с предстоящим визитом принца в Калькутту. Между правительством Бенгалии и Дешбандху Дасом, находившимся в то время в тюрьме, велось что-то вроде неофициальных переговоров. Как будто бы было предложено организовать небольшую конференцию круглого стола с участием представителей правительства

¹ Мопла — мусульмане Малабарского побережья. В 1921 году мопла восстали против английского господства.— *Прим. ред.*

и Конгресса. Это предложение провалилось, видимо, потому, что Гандиджи настаивал, чтобы на конференции присутствовал маулана Мухаммед Али, который находился в то время в тюрьме в Карачи. Правительство на это не соглашалось.

Ч. Р. Дас не одобрял позицию Гандиджи в этом вопросе и впоследствии, выйдя из тюрьмы, публично критиковал его, заявляя, что Гандиджи допустил ошибку. Большинство из нас не знает подробностей того, что происходило в то время (мы находились в тюрьме), а судить о чем бы то ни было, не располагая всеми фактами, очень трудно. Но мне кажется, что на этом этапе конференция не принесла бы большой пользы. Со стороны правительства это было просто попыткой выйти из затруднительного положения на время пребывания принца в Калькутте. Основные проблемы, стоявшие перед нами, остались бы неразрешенными. Девятью годами позже, когда народ и Конгресс были гораздо сильнее, такая конференция была созвана, не принесла сколько-нибудь существенных результатов. Но и помимо этого, мне кажется, что настояния Гандиджи на приглашении Мухаммеда Али были совершенно оправданными. Его присутствие не только как одного из лидеров Конгресса, но и как руководителя халифатистского движения — а халифатистский вопрос занимал видное место в программе Национального конгресса — было необходимо. Никакая политика или маневр не могут быть правильными, если ради них приходится покидать товарища. Уже один тот факт, что правительство не желало освободить его из тюрьмы, свидетельствовал о том, что от конференции вряд ли можно было ожидать каких-либо результатов.

Мой отец и я были приговорены различными судами и на основании разных обвинений к шести месяцам тюремного заключения. Судебное разбирательство носило характер фарса, и мы, как это было принято у нас, не принимали в нем участия. Конечно, в наших речах и другого рода деятельности было трудно найти достаточный материал для признания нас виновными. Однако выбор был сделан смехотворный. Отец был предан суду как член нелегальной организации — конгрессистских добровольцев, а в доказательство его принадлежности к ней был предъявлен бланк с его подписью. Фамилия была написана буквами алфавита хинди. Это действительно была подпись отца, но дело в том, что до этого он вряд ли когда-либо расписывался на языке хинди и очень немногие могли бы опознать его подпись. Тогда был вызван какой-то человек в оборванной одежде, который под присягой опознал подпись. Он был совершенно неграмотен и, рассматривая подпись, держал бланк вверх ногами. Моя дочь, которой было в то время четыре года, впервые познакомилась со скамьей подсудимых во время суда над моим отцом, так как он все это время держал ее на руках.

Мое преступление состояло в распространении извещений о хартале. В то время закон не считал это преступлением, хотя сейчас, кажется, оно признается за таковое, ведь мы быстро продвигаемся по пути к получению статуса доминиона! Тем не менее я был осужден. Через три месяца меня известили в тюрьме, где я находился вместе с отцом и другими, что какой-то представитель судебного надзора пришел к заключению, что я был неправильно осужден и должен быть освобожден. Я был удивлен, так как никто за меня не хлопотал. Очевидно, прекращение кампании гражданского неповиновения побудило работников судебного надзора к активной деятельности. Мне тяжело было выходить на свободу одному, оставляя отца в тюрьме.

Я решил как можно скорее отправиться к Гандиджи в Ахмадабад. Однако прежде чем я прибыл туда, он был арестован, и моя встреча с ним состоялась в тюрьме Сабармати. Я присутствовал на его процессе. Это было знаменательное событие, и те, кто был на суде, вряд ли забудут о нем. Судья англичанин держал себя достойно и участливо. Гандиджи выступил на суде с волнующим заявлением, и мы ушли потрясенные, запечатлев в своей памяти его красочные выражения и яркие образы.

Я вернулся в Аллахабад. Я чувствовал себя несчастным и одиноким на свободе — ведь столько моих друзей и товарищей томилась за тюремными решетками. Я обнаружил, что дела конгрессистской организации обстоят неважно, и пытался наладить их. В частности, я заинтересовался бойкотом привозных тканей. Этот пункт нашей программы еще оставался в силе, несмотря на прекращение кампании гражданского неповиновения. Почти все торговцы текстильными товарами в Аллахабаде обязались не импортировать и не покупать иностранные ткани и с этой целью создали специальную ассоциацию. Устав этой ассоциации предусматривал, что всякое нарушение будет караться штрафом. Я обнаружил, что несколько крупных торговцев нарушили свое обещание и занимаются ввозом иностранных тканей. Это было крайне несправедливо по отношению к тем, кто оставался верным своим обязательствам. Мы пытались увещевать их, но это дало весьма слабые результаты, а ассоциация торговцев текстилем была, казалось, бессильна предпринять какие-либо действия. Тогда мы решили пикетировать магазины этих торговцев. Одного намека на пикетирование оказалось достаточно. Штрафы были уплачены, обязательства вновь подтверждены. Средства, полученные от штрафов, поступили в распоряжение ассоциации торговцев текстилем.

Двумя или тремя днями позднее я был арестован вместе с несколькими моими товарищами, принимавшими участие в переговорах с торговцами. Нас обвинили в запугивании с преступными целями и в вымогательстве! Мне предъявили, кроме того, ряд других обвинений, в том числе обвинение в подстрекатель-

стве к мятежу. Я не защищался, но выступил в суде с простран-
ным заявлением. Я был осужден, по крайней мере, по трем
статьям, включая запугивание и вымогательство, но обвинение
в подстрекательстве не фигурировало, так как, вероятно, было
решено, что я и без того получил по заслугам. Насколько я
помню, было вынесено три приговора, из которых два, совпа-
давшие по срокам,— на полуторагодовой срок. В общей слож-
ности я был приговорен, кажется, к одному году и девяти меся-
цам тюрьмы. Это было мое вторичное заключение. Я вернулся
в тюрьму, пробыв на свободе всего около шести недель.

Глава тринадцатая

ОКРУЖНАЯ ТЮРЬМА В ЛАКНАУ

В 1921 году заключение в тюрьму за политические преступления не было в Индии чем-то новым. После волнений, вызванных разделом Бенгалии¹, число людей, непрерывным потоком направлявшихся в тюрьмы (многие из них были приговорены к очень длительным срокам), особенно увеличилось. Практиковалось также заключение в тюрьму без суда. Величайший индийский вождь того времени Локаманья Тилак на закате своих дней был осужден на шесть лет тюрьмы. Мировая война ускорила этот процесс: увеличилось количество арестов и число заключенных; частыми стали процессы над заговорщиками, обычно оканчивавшиеся вынесением смертного приговора или пожизненным заключением. Среди заключенных в тюрьму во время войны были братья Али и Абулкалам Азад. Военное положение, введенное в Пенджабе вскоре после окончания войны, сильно увеличило число пострадавших, много людей было осуждено в ходе процессов над заговорщиками или решением чрезвычайных судов. Таким образом, заключение в тюрьму по обвинению в политических преступлениях стало довольно частым явлением в Индии, однако до сих пор никто еще не навлекал его на себя сознательно. Оно применялось в результате деятельности данного человека или же вследствие того, что он не нравился тайной полиции, причем на суде использовались все средства защиты, чтобы избежать тюрьмы. Иначе, правда, действовали в Южной Африке Гандиджи и тысячи его последователей в ходе движения сатьяграхи.

При всем том в 1921 году о тюрьме знали еще мало, и очень немногие представляли себе, что происходит по ту сторону мрачных ворот, после того как они проглатывали нового заключенного. Обитатели тюрьмы смутно рисовались нашему воображению отчаянными людьми и опасными преступниками. Это место связывалось в нашем представлении с одиночеством, унижением и страданием, но больше всего здесь было страха перед

¹ В период, когда вице-королем Индии был Керзон, Бенгалия была разделена на две провинции, что вызвало большое возмущение в Индии, особенно среди бенгальцев.— *Прим. ред.*

известным. Частые упоминания о тюрьме начиная с 1920 года и добровольный уход в тюрьму многих наших товарищей постепенно приучили нас к этой мысли и притупили почти инстинктивное чувство отвращения. Но никакая предварительная моральная подготовка не могла избавить от того напряжения и нервного возбуждения, которые охватили нас, когда железные ворота впервые закрылись за нами. Это было тринадцать лет назад; с тех пор, я думаю, по меньшей мере 300 тысяч индийцев, мужчин и женщин, прошло через эти ворота, будучи осуждены за политические преступления, хотя довольно часто им предъявлялось обвинение по какой-либо другой статье уголовного кодекса. Тысячи из них входили и выходили через эти ворота много раз, и они хорошо знали, что их ждет в тюрьме. Они пытались приспособиться к необычным условиям жизни в тюрьме, насколько вообще можно приспособиться к ненормальному существованию, полному томительного страдания и ужасающей монотонности. Мы привыкли к нему — человек привыкает почти ко всему, — и все же каждый раз, когда мы вновь входим в эти ворота, чувствуется что-то похожее на бывшее волнение, какое-то напряжение охватывает нас, сердце начинает биться учащенно. И глаза невольно обращаются назад, чтобы в последний раз хорошенько насмотреться на зелень и широкие просторы, остающиеся по ту сторону ворот, на людей и экипажи, движущиеся по улицам, и на знакомые лица, которые, быть может, не скоро приведется снова увидеть.

Мое первое тюремное заключение, довольно неожиданно закончившееся через три месяца, пришлось на период, чрезвычайно напряженный как для нас, так и для тюремного персонала. Тюремное начальство находилось почти в парализованном состоянии в результате наплыва заключенных нового типа. Уже одно число этих новопришельцев, увеличивавшееся с каждым днем, было совершенно необычным, создавая впечатление потопы, который грозил смыть все старые традиционные уложения. В особенности же сбивал с толку характер этих новопришельцев. Среди них были представители всех классов, но большинство принадлежало к среднему классу. Однако всех их объединяло одно: они совершенно не походили на заключенных обычного типа, и обращаться с ними по-старому было не так-то просто. Власти отдавали себе в этом отчет, но заменить существующие правила было нечем: не было ни подобного прецедента, ни опыта. Заключенный — член Национального конгресса, как правило, не отличался особым смирением и покорностью, и даже в стенах тюрьмы сознание, что таких, как он, много, давало ему ощущение силы. Это ощущение усиливалось возбуждением, наблюдавшимися за воротами тюрьмы, и пробуждавшимся в обществе интересом к тому, что творилось в тюрьмах. Но несмотря на несколько вызывающее поведение, мы в общем придерживались политики сотрудничества с тюрем-

ными властями. Если бы не наша помощь, их положение было бы еще более затруднительным. К нам часто являлся тюремщик и просил посетить тот или иной барак, в котором содержались наши добровольцы, чтобы успокоить их или убедить в чем-нибудь.

Мы очутились в тюрьме по своей собственной воле, причем многие добровольцы проникли туда чуть ли не силой. Поэтому вряд ли приходится говорить о том, что никто из них никогда не пытался бежать. Если он хотел выйти на свободу, он легко мог этого добиться, выразив раскаяние в своих действиях или дав обязательство воздерживаться от подобных действий в будущем. Попытка к бегству могла лишь навлечь на него позор и сама по себе была равносильна отказу от политической деятельности в виде участия в кампании гражданского неповиновения. Смотритель нашей тюрьмы в Лакнау прекрасно понимал это и часто говорил тюремщику (Хану Сахибу), что, если бы он сумел позволить нескольким заключенным — членам Конгресса бежать из тюрьмы, он ходатайствовал бы перед правительством о присвоении ему титула хана бахадура.

Большинство наших товарищей по заключению находилось в огромных бараках во внутреннем дворе тюрьмы. Человек восемнадцать из нас, с которыми, видимо, было решено обращаться получше, содержались в старой ткацкой мастерской, при которой имелся большой открытый участок. Мой отец, два моих двоюродных брата и я помещались в отдельном небольшом сарае площадью примерно 20 футов на 16. Мы довольно свободно ходили из одного барака в другой. Разрешались частые свидания с родственниками, находившимися на свободе. Мы получали газеты, и ежедневные сообщения о новых арестах и различных событиях, связанных с нашей борьбой, поддерживали атмосферу всеобщего возбуждения. Разговоры и споры отнимали массу времени, так что я не мог много читать или заниматься какой-либо другой серьезной работой. По утрам я занимался основательной чисткой и мытьем нашего сарая, стиркой отцовского и своего белья, а также прядением. Была зима, лучшее время года в Северной Индии. В первые недели нам разрешили организовать курсы для наших добровольцев или для тех из них, которые были неграмотными. На этих курсах их обучали хинди и урду, а также другим элементарным предметам. Днем мы играли в волейбол¹.

¹ В печати как-то появился нелепый рассказ, который, несмотря на опровержения, время от времени повторяется. Согласно ему, сэръ Харкорт Батлер, тогдашний губернатор Соединенных провинций, послал моему отцу в тюрьму шампанское. Сэръ Харкорт вообще ничего не посылал моему отцу в тюрьму, и никто не посылал ему ни шампанского, ни каких-либо других алкогольных напитков. Отец вообще перестал употреблять спиртные напитки после того, как Конгресс в 1920 году начал кампанию несотрудничества, и совсем не пил в то время ничего спиртного.

Постепенно строгости начали усиливаться. Нам запрещали выходить за пределы отведенного для нас участка и посещать ту часть тюрьмы, где содержалось большинство наших добровольцев. Занятия на курсах, разумеется, прекратились. Примерно в это время я был освобожден из тюрьмы.

Я вышел на свободу в начале марта, а когда спустя шесть или семь недель, в апреле, вернулся обратно, то оказалось, что условия сильно изменились. Отец был переведен в тюрьму Нанни Тал, и вскоре после его перевода был введен новый распорядок. Все заключенные, помещавшиеся в большой ткацкой мастерской, где раньше находился и я, были переведены во внутреннюю тюрьму. Их разместили в бараках (каждый из них представлял собой одну большую комнату). Каждый барак фактически являлся тюрьмой внутри тюрьмы, и всякая связь между бараками была запрещена. Иметь свидания и получать письма разрешалось теперь не чаще одного раза в месяц. Пища стала значительно грубее, хотя нам позволяли самим пополнять свой рацион за счет продуктов, получаемых извне. В бараке, куда я был помещен, находилось около пятидесяти человек. Жили мы очень скученно; наши постели находились на расстоянии каких-нибудь трех-четырёх футов одна от другой. К счастью, я почти всех знал в этом бараке, и у меня было там много друзей. Но полное отсутствие уединения в течение целого дня и всей ночи все труднее становилось переносить. Все та же масса людей, вечно глядящих на вас, все те же мелкие неприятности и огорчения, и нет никакой возможности скрыться от них в каком-нибудь укромном уголке. Мы мылись на глазах друг у друга, стирали свое белье на глазах друг у друга, бегали вокруг барака, чтобы размяться, беседовали и спорили друг с другом до тех пор, пока каждый из нас не утрачивал способность поддерживать связный разговор. Это была как бы семейная жизнь, неприятные стороны которой увеличились во сто крат, а от привлекательных сторон почти ничего не осталось, причем жить этой жизнью вынуждены были люди самых различных характеров и вкусов. Это сильно действовало на нервы всем нам, и я часто жаждал одиночества. В последующие годы я достаточно вкусил этого одиночества и уединения в тюрьме, когда мне месяцами не доводилось видеть никого, кроме какого-нибудь тюремщика. Я снова пребывал в состоянии нервного напряжения, но на этот раз я жаждал подходящего общества. И тогда я почти с завистью вспоминал о моем многолюдном окружении во время пребывания в тюрьме Лакнау в 1922 году, но все-таки я твердо знал, что из этих двух видов существования я предпочел бы одиночество при условии, чтобы я имел при этом возможность читать и писать.

Но все же я должен сказать, что компания подобралась исключительно порядочная и приятная, и мы прекрасно ладили друг с другом. Однако я полагаю, что временами все мы

немного уставали друг от друга и хотели побыть вдаль от окружающих, хоть немного уединиться. Единственное, что я мог для этого сделать, это выйти из своего барака и посидеть на открытом участке нашей территории. Стоял период муссонов, и облачность обычно давала такую возможность. Я не обращал внимания на жару, а иногда и на дождь и старался проводить как можно больше времени вне барака.

Лежа на земле, я разглядывал небо и облака. Глубже, чем когда-либо прежде, я почувствовал, как изумительно красивы их меняющиеся оттенки:

Хорошо созерцать этот бег облаков,
очертанья меняющих вдруг;
О, как сладко лежать и благословлять
безмятежный досуг.

Для нас досуг не был блаженством, он был скорее бременем. Но время, которое я проводил в наблюдении за этими вечно движущимися муссонными облаками, было наполнено восторгом, ощущением покоя. Я радовался, мне казалось, что я совершил чуть ли не настоящее открытие, и у меня было такое ощущение, как будто я вырвался из заточения. Не знаю, почему именно в тот год период муссонов произвел на меня такое сильное действие, ни раньше, ни впоследствии я не ощущал ничего подобного. Я видел немало восхитительных солнечных восходов и закатов в горах и на море, купался в их красоте и бывал на миг потрясен их великолепием. Но, наблюдая их, я принимал все это почти как нечто само собой разумеющееся и не задерживал на этом свое внимание. В тюрьме же не приходилось наблюдать восходы и закаты, горизонт был от нас скрыт, и лишь к исходу утра горячие солнечные лучи проникали за ограждавшие нас стены. Какие бы то ни было краски отсутствовали, и наше зрение утомлялось и притуплялось оттого, что взорам неизменно представлялась одна и та же тусклая картина — стена грязного цвета и барак. Наши взоры, должно быть, изголодались по свету и теням, по краскам, и, когда муссонные облака весело проплывали мимо, принимая причудливые формы и играя всеми красками, я задыхался от внезапно охватывавшего меня восторга и следил за ними чуть ли не в состоянии экстаза. Иногда облака расходились, и в образовавшемся просвете между ними можно было видеть замечательное явление периода муссонов — кусок темноголубого неба удивительной глубины, кажущийся частицей бесконечности.

Количество ограничений, которым мы подвергались, постепенно увеличивалось, вводились все более строгие правила. Правительство, оценив размах нашего движения, хотело дать нам в полной мере почувствовать свое недовольство нашей дерзостью, выражавшейся в том, что мы осмелились бросить ему вызов. Введение новых правил или же способ, каким они вводи-

лись, вызывали трения между тюремным начальством и политическими заключенными. В течение нескольких месяцев почти все мы — а нас в то время было в этой тюрьме несколько сот человек — отказывались в знак протеста от свиданий. Очевидно, было решено, что среди нас есть несколько смутьянов, и семеро из нас были переведены в отдаленную часть тюрьмы, совершенно отрезанную от главных барачков. Среди изолированных были Пурушоттам Дас Тандон, Махадев Десаи, Джордж Джозеф, Балкришна Шарма, Девадас Гаиди и я.

Нас поместили на меньшем участке, где условия были несколько хуже. Но в общем я был рад этой перемене. Здесь не было скученности, мы могли пользоваться большим покоем и жить в большем уединении. Больше времени было для чтения и для других дел. Мы были совершенно отрезаны от наших товарищей в других частях тюрьмы, так же как и от внешнего мира, ибо теперь все политические заключенные были лишены газет.

Однако, хотя мы не получали газет, кое-какие новости все же просачивались к нам, как это всегда бывает в тюрьме. Наши ежемесячные свидания и письма также служили некоторым источником информации. Мы видели, что наше движение шло на убыль. Волшебный миг миновал, и теперь казалось, что успеха можно ждать лишь в отдаленном будущем. Национальный конгресс раскололся на две группировки — сторонников и противников перемен. Первая из них, возглавлявшаяся Дешбандху Дасом и моим отцом, хотела, чтобы Конгресс принял участие в новых выборах в центральный и провинциальные законодательные органы и по возможности завоевал большинство в этих законодательных органах. Вторая группировка, во главе которой стоял Ч. Раджагопалачари, выступала против какого бы то ни было изменения старой программы несотрудничества. Гандиджи находился в это время в тюрьме. Высокие идеалы нашего движения, силой которых нас несло вперед как бы на гребне волны, были заглушены мелочными дрызгами и интригами, связанными с борьбой за власть. Мы поняли, насколько легче совершать великие и смелые деяния в порыве энтузиазма и душевного подъема, нежели изо дня в день продолжать свое дело, когда пыл уже погас. Вести, приходившие с воли, действовали на нас угнетающе, и все это в сочетании с теми настроениями, которые рождаются в тюрьме, еще более отравляло нашу жизнь. И все же сознание, что мы сохранили свое достоинство и честь и что, невзирая на последствия, мы действовали как подобает, давало нам ощущение внутреннего удовлетворения. Будущее было неясно, но как бы оно ни сложилось, видимо, многим из нас суждено было провести значительную часть своей жизни в тюрьме. Так мы рассуждали между собой. Мне особенно запомнился один разговор с Джорджем Джозефом, в итоге которого мы пришли к такому выводу. С тех пор Джозеф далеко отошел

ст нас и даже стал ретивым критиком наших действий. Хотелось бы знать, вспоминает ли он когда-нибудь о нашей беседе осенним вечером в окружной тюрьме Лакнау?

Мы подчинились однообразному ритму жизни, в которой работа чередовалась с физическими упражнениями. Чтобы размяться, мы обегали по несколько раз наш участок или же вдвоем, как два вола, запряженных в одну упряжку, таскали воду, доставая ее огромным кожаным ведром из колодца в нашем дворе. Этой водой мы поливали маленький огород, который разбили на нашем участке. Большинство из нас ежедневно проводило некоторое время за прялкой. Но главным моим занятием в эти зимние дни и длинные вечера было чтение. Почти всякий раз, когда нас посещал смотритель, он заставал меня за книгой. Эта любовь к чтению, повидимому, немного его раздражала, и он однажды высказался на этот счет, заметив, что сам он фактически покончил с чтением в двенадцатилетнем возрасте! Несомненно, это воздержание помогло сему храброму английскому полковнику избежать докучливых размышлений, а, быть может, впоследствии помогло возвыситься до поста главного инспектора тюрем Соединенных провинций.

Долгие зимние вечера и чистое индийское небо пробудили у нас интерес к звездам, и с помощью нескольких карт мы научились узнавать многие из них. Каждый вечер мы ожидали их появления и радостно приветствовали, как старых знакомых.

Так мы проводили время; и постепенно из дней складывались недели, а недели превращались в месяцы. Мы привыкли к нашему однообразному существованию. Но за стенами тюрьмы тяжелое бремя пало на плечи женщин — наших матерей, жен и сестер. Их истомило долгое ожидание, и сама свобода казалась им упреком, когда близкие их сердцу находились за тюремными решетками.

Вскоре после нашего первого ареста в декабре 1921 года полиция стала часто посещать Ананд Бхаван, наш дом в Аллахабаде. Она являлась, чтобы взыскать штраф, наложенный на отца и меня. Тактика Конгресса предписывала не платить штрафы. Поэтому полицейские приходили ежедневно, описывали и уносили с собой различную мебель. Мою четырехлетнюю дочь Индиру ужасно возмущал этот непрерывный грабеж, она протестовала и выражала полицейским свое сильнейшее неудовольствие. Боюсь, что эти детские впечатления определяют ее будущее отношение к полиции вообще.

В тюрьме принимались все меры к тому, чтобы держать нас подальше от обычных, не политических заключенных. Как правило, для политических существовали специальные тюрьмы. Но полная изоляция была невозможна, и мы часто соприкасались с этими заключенными, узнавая как от них, так и путем непосредственного наблюдения о подлинных условиях, существовавших в то время в тюрьмах. Повсюду царили насилие, взя-

точничество и продажность. Пища была исключительно скверная, я несколько раз ее пробовал и нашел совершенно несъедобной. Персонал был, как правило, плохо обучен и очень низко оплачивался, но у него были все возможности пополнять свои доходы путем вымогательства денег у заключенных или их родных при всяком удобном случае. Тюремный устав возлагал на тюремщика, его помощников и надзирателей такое множество различных обязанностей, что выполнять их добросовестно и надлежащим образом не было никакой возможности.

Задачи, которые ставила перед собой тюремная администрация в Соединенных провинциях (как, вероятно, и в других провинциях), не имели ничего общего с перевоспитанием заключенного, привитием ему хороших навыков, обучением его полезному ремеслу. Назначение труда в тюрьме усматривалось в том, чтобы изводить заключенного¹. Его старались запугать и принудить к слепому повиновению. Идея состояла в том, что он должен унести из тюрьмы ужас и страх перед ней, чтобы избегать в будущем новых преступлений и не возвращаться в тюрьму.

За последние годы кое-что изменилось к лучшему. Несколько улучшились питание, одежда и другие условия. Это явилось в основном результатом той агитации, которую проводили после своего освобождения из тюрем политические заключенные. Но в результате движения несотрудничества было значительно увеличено также жалование надзирателей, что должно было послужить дополнительным стимулом к сохранению их верности *саркару*. В настоящее время предпринимаются некоторые слабые попытки обучать грамоте подростков и молодых заключенных. Но при всей отрадности этих изменений они едва касаются самой поверхности явлений, и старый дух остается в основном неизменным.

Подавляющему большинству политических заключенных приходилось мириться с этими общими условиями, установленными для обычных заключенных. Им не предоставлялось никаких особых привилегий или особого режима, но благодаря тому, что они были сильнее духом и развитее других, их не так

¹ Статья 987 тюремной инструкции Соединенных провинций, изъятая ныне из нового издания, гласила: «Труд в тюрьме должен рассматриваться не только как средство занять заключенного, но главным образом как средство наказания; не следует также придавать большого значения производительности труда, самое главное — это чтобы тюремный труд был утомительным и тяжелым и чтобы он внушал преступникам ужас».

Эти положения небезинтересно сравнить со следующими статьями уголовного кодекса РСФСР: «Статья 9. Меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физического страдания или унижение человеческого достоинства и задачи возмездия и кары себе не ставят».

«Статья 26. Приговор, будучи мерой защиты, должен быть свободен от всяких элементов пытки и не должен причинять преступнику ненужных или чрезмерных страданий».

легко было эксплуатировать или вымогать у них деньги. Тюремный персонал, естественно, недолго любил их за это и при случае всякое нарушение тюремной дисциплины кем-либо из них наказывалось самым жестоким образом. За одно из таких нарушений подросток пятнадцати или шестнадцати лет, называвший себя Азадом, был подвергнут порке. Его раздели и привязали к козлам. С каждым ударом, рассекавшим его тело, он выкрикивал: «Махатма Ганди ки джай!». Этот лозунг повторялся с каждым новым ударом, пока мальчик не потерял сознания. Впоследствии этот мальчик стал одним из руководителей группы террористов в Северной Индии.

Глава четырнадцатая

СНОВА НА СВОБОДЕ

Многого не хватает человеку в тюрьме, но, пожалуй, больше всего не хватает звука женского голоса и детского смеха. Звуки, которые обычно приходится слышать там, не слишком приятны. Голоса — резкие и угрожающие, язык — грубый и состоящий главным образом из ругательств. Однажды, помнится, у меня явилась новая потребность. Я находился в окружной тюрьме Лакнау и вдруг подумал, что я уже семь или восемь месяцев не слышал собачьего лая.

В последний день января 1923 года всех нас, политических заключенных, освободили из тюрьмы Лакнау. В то время там должно было находиться от 100 до 200 заключенных «особого класса». Все те, кто в декабре 1921 или в начале 1922 года были приговорены к одному году тюрьмы или меньше, уже отбыли наказание. Оставались лишь те, кто был приговорен к более длительным срокам или кто попал в тюрьму вторично. Это внезапное освобождение явилось для нас неожиданностью, ибо ничто не предвещало амнистии. Правда, местный провинциальный законодательный совет принял резолюцию, в которой он высказался за политическую амнистию, но исполнительные власти редко считаются с такого рода требованиями. Однако обстановка сложилась таким образом, что правительство сочло момент подходящим для амнистии. Национальный конгресс не предпринимал никаких действий против правительства, а члены Конгресса были поглощены взаимными раздорами. В тюрьме оставалось не много известных деятелей Конгресса, и поэтому было решено сделать этот жест.

Когда выходишь за ворота тюрьмы, всегда испытываешь чувство облегчения и радостного волнения. Свежий воздух, широкие просторы, оживленные улицы, встречи со старыми друзьями — все это как бы бросается в голову и слегка опьяняет. Первая реакция на внешний мир окрашена даже известным налетом истерии. Мы ощущали радостный подъем, но чувство это длилось недолго, ибо состояние дел Конгресса оказалось довольно обескураживающим. Идеалы уступили место интригам; различные клики пытались захватить руководство Конгрессом при помощи обычных в таких случаях приемов, которые

сделали слово «политика» ненавистным для всякого щепетильного человека.

Сам я был решительно против вхождения в законодательные советы, ибо это должно было, как мне казалось, неизбежно привести к тактике компромиссов и к постоянному сужению нашей цели. Однако никакой иной политической программы у страны действительно не было. Противники изменения политики делали упор на «конструктивную программу», которая представляла собой по существу программу социальных реформ и главным достоинством которой было то, что она побудила наших работников к общению с массами. Это не могло удовлетворить тех, кто верил в политическую деятельность, и было очевидно, что волна прямых действий, не увенчавшихся успехом, должна неизбежно смениться периодом парламентской деятельности. Лидеры нового движения, Дешбандху Дас и мой отец, эту деятельность также представляли себе как одну из форм обструкции и неповиновения, а не конструктивного сотрудничества.

Ч. Р. Дас всегда стоял за участие в работе законодательных органов, с тем чтобы использовать и эти органы в целях национальной борьбы. Мой отец придерживался примерно такого же взгляда, и его согласие на бойкот законодательных советов в 1923 году было отчасти результатом подчинения его собственной позиции точке зрения Гандиджи. Он хотел в полной мере участвовать в борьбе, а единственным условием этого в то время было принять формулу Ганди целиком. Воображение многих представителей младшего поколения было захвачено тактикой синфейнеров, которые, завоевав большинство в парламенте, отказались затем занять свои места в палате общин. Я помню, как летом 1920 года я убеждал Гандиджи избрать этот вариант бойкота, но в подобных вопросах он был непреклонен. Мухаммед Али находился в то время в Европе, в составе халифатистской депутации. По возвращении он также выразил сожаление по поводу избранного метода бойкота; он предпочитал метод синфейнеров. Но мнение других на этот счет не имело никакого значения, ибо в конечном итоге все равно должно было восторжествовать мнение Гандиджи. Он был инициатором движения, и поэтому считали необходимым предоставить ему свободу в решении всех вопросов, касающихся деталей этого движения. Его главные возражения против метода синфейнеров (помимо того, что этот метод был связан с насилием) сводились к тому, что массы не поймут его в такой мере, как прямой призыв к бойкоту избирательных участков и выборов. Быть избранными и затем отказаться занять свои места в законодательных советах — значило сбить массы с толку. Кроме того, если наши люди окажутся избранными, их будут тянуть в законодательные советы и им будет трудно оставаться вне их. Наше движение не обладает необходимой дисциплиной и влиянием, чтобы долгое время не позволять им войти в законода-

тельные советы, и в результате возникнет деморализующая тенденция использовать всевозможные прямые и косвенные пути, дабы извлечь выгоду из покровительства, оказываемого законодательным советам властями.

Это были веские доводы, и мы убедились в справедливости многих из них в середине 20-х годов, когда партия свараджистов приняла участие в законодательных советах. И все же не может не возникнуть вопрос, что произошло бы, если бы Конгресс решил в 1920 году захватить в свои руки законодательные органы. Нет никаких сомнений, что при той поддержке, которую оказывал ему Халифатистский комитет, он завоевал бы почти все заполнявшиеся путем выборов места в провинциальных законодательных советах, а также в Центральном законодательном собрании. В настоящее время (август 1934 года) снова ведутся разговоры о том, что Конгресс должен выдвинуть своих кандидатов в Законодательное собрание; создан даже специальный парламентский комитет Конгресса. Но после 1920 года произошло много такого, что углубило трещины в нашем социальном и политическом устройстве, и, каков бы ни был успех Конгресса на предстоящих выборах, он едва ли будет столь велик, как мог бы быть в 1920 году.

По выходе из тюрьмы я вместе с несколькими другими деятелями пытался добиться соглашения между соперничающими группировками. Однако наши усилия не увенчались успехом, я был по горло сыт борьбой сторонников и противников изменения политической программы. Будучи секретарем провинциального комитета Национального конгресса Соединенных провинций, я погрузился в работу конгрессистской организации. После потрясений предыдущего года нужно было сделать очень многое. Я работал напряженно, но не имел ясной цели перед собой. Ум мой оставался незанятым. Однако вскоре передо мной открылось новое поле деятельности. Через несколько недель после освобождения я был назначен на должность председателя аллахабадского муниципалитета. Избрание меня на этот пост явилось совершенно неожиданным. За каких-нибудь сорок пять минут до этого события никто еще не упоминал моего имени и даже не думал обо мне в этой связи. Однако в последний момент руководство Конгресса решило, что я единственный среди них, кто может рассчитывать на верный успех.

В тот год всюду в стране случилось так, что ведущие деятели Конгресса стали председателями муниципалитетов. Ч. Р. Дас стал первым мэром Калькутты, Витхалбхай Патель — председателем бомбейского муниципалитета, Сардар Валлабхбай Патель — ахмадабадского. В Соединенных провинциях большинство крупных муниципалитетов возглавлялось членами Конгресса.

Работа муниципалитета во всех ее разнообразных формах начала интересовать меня, и я уделял ей все больше времени.

Некоторые проблемы особенно захватили мое воображение. Я занялся их изучением, и в итоге у меня родились весьма смелые планы муниципальных реформ. Впоследствии мне пришлось убедиться, что индийские муниципалитеты в том виде, в каком они существуют сегодня, не открывают особенно широких просторов ни для дерзаний, ни для каких-либо грандиозных реформ. Однако они все же открывали простор для работы, для чистки и совершенствования аппарата, и я довольно усердно всем этим занимался. В это же самое время увеличился и объем моей работы в Конгрессе: в добавление к посту секретаря провинциального комитета я был назначен также секретарем Исполнительного комитета Национального конгресса. Эти многочисленные обязанности заставляли меня часто работать по пятнадцать часов в день, и к концу дня я совершенно выбивался из сил.

Первым письмом, которое попало мне на глаза после возвращения из тюрьмы домой, было письмо от сэра Гримвуда Мирса, тогдашнего главного судьи Аллахабадского Верховного суда. Письмо было написано до моего освобождения, но, очевидно, автору его было известно, что я буду освобожден. Я был несколько удивлен сердечностью его тона и приглашением почаще навещать его. Я был с ним едва знаком. Он приехал в Аллахабад в 1919 году, когда я уже начал отходить от адвокатской практики. Мне, кажется, пришлось лишь однажды выступать в суде при нем, и это было мое последнее дело в Верховном суде. По какой-то неизвестной причине он, зная обо мне очень мало, проникся ко мне расположением. У него было впечатление — как он мне сказал впоследствии, — что я пойду далеко, и он желал оказать на меня благотворное влияние, чтобы я мог понять английскую точку зрения. Действовал он весьма тонко. Он придерживался того мнения — и так до сих пор думают многие англичане, — что средний политический деятель «экстремистского» толка в Индии проникся антианглийскими настроениями потому, что англичане плохо обходились с ним в общественной сфере. Это породило недовольство, озлобление и экстремизм. Существует версия, часто повторяемая ответственными лицами, согласно которой моему отцу было отказано в приеме в английский клуб, что и внушило ему антианглийские настроения и сделало экстремистом. Эта версия лишена всякого основания и представляет собой искаженное освещение совершенно иного инцидента¹. Однако для многих англичан подобные случаи, истинные или ложные, служат простым и достаточным объяснением происхождения националистического движения. В действительности же ни у моего отца, ни у меня не было особых поводов для обид такого

¹ Подробный рассказ об этом инциденте см. в примечании к главе тридцать восьмой.

рода. К каждому из нас лично англичане, как правило, относились очень вежливо, и мы прекрасно ладили с ними, хотя, как и все индийцы, мы, разумеется, ощущали свое расовое угнетение и глубоко возмущались им. Я должен признать, что даже сегодня я отлично ладу с англичанином, если только он не оказывается чиновником и не проявляет намерения покровительствовать мне, да и в этом случае наши отношения не лишены оттенка юмора. У меня с ним, пожалуй, больше общего, чем у либералов или других деятелей в Индии, которые сотрудничают с ним в политической области.

Замысел сэра Гримвуда состоял в том, чтобы искоренить эту первоначальную причину ожесточения путем дружественного общения и искреннего и вежливого обхождения. Я виделся с ним несколько раз. Под предлогом несогласия с тем или иным муниципальным налогом он являлся ко мне и заводил разговоры на другие темы. Однажды он прямо-таки напал на индийских либералов — робких, слабовольных оппортунистов, как он их назвал, не обладавших ни характером, ни твердостью духа. Он употреблял весьма сильные и презрительные выражения. «Вы думаете, мы испытываем к ним хоть какое-нибудь уважение?» — говорил он. Я недоумевал, почему он говорит со мной так; возможно, он думал, что такие речи могут доставить мне удовольствие. Затем он перевел разговор на новые законодательные советы и министров и стал говорить о том, какие возможности послужить своей стране открываются перед министрами. Одной из жизненно важных проблем, стоящих перед страной, является просвещение. Разве у министра просвещения, обладающего правом действовать по своему усмотрению, не будет прекрасной возможности влиять на судьбы миллионов, возможности, представляющейся раз в жизни? Предположим, продолжал он, что ведать вопросами просвещения в провинции поручили бы такому человеку, как вы, — умному, с характером, идеалами и необходимой энергией для претворения этих идеалов в жизнь — ведь вы могли бы творить чудеса. И он заверил меня, сославшись на то, что недавно виделся с губернатором, что мне будет предоставлена полная свобода разработать свою собственную программу. Затем, как видно, спохватившись, что зашел слишком далеко, Гримвуд заявил, что он, конечно, не может давать никаких официальных обязательств от чьего-либо имени и что сделанное им предложение исходит только от него лично.

Меня позабавил окольный дипломатический подход сэра Гримвуда к его предложению. Для меня всякая мысль связать себя с правительством, став одним из его министров, была совершенно неприемлемой, больше того, она вызывала во мне отвращение. Но и тогда и в последующие годы я часто жаждал получить возможность заняться какой-либо серьезной созидательной работой. Разрушение, агитация и несотрудничество

едва ли могут считаться нормальной для человека деятельностью. Но уж такова наша участь: мы сможем добиться возможности строить в своей стране, лишь пройдя через пустыни столкновений и разрушения. И, быть может, большинству из нас придется израсходовать нашу энергию и наши жизни на преодоление этих зыбучих песков, а строить придется уже нашим детям или детям наших детей.

Министерские портфели ценились в те дни дешево, по крайней мере в Соединенных провинциях. Два министра-либерала, работавшие на протяжении всего периода несотрудничества, теперь оставили свои посты. Когда движение, организованное Национальным конгрессом, грозило существующему порядку, правительство пыталось использовать министров-либералов для борьбы с Конгрессом. Тогда они пользовались уважением и исполнительные власти окружали их почетом, ибо в те смутные времена имело смысл поддерживать их как сторонников правительства. Они, видимо, думали, что такое уважение и почет принадлежат им по праву, не понимая того, что это было лишь реакцией правительства на широкое наступление со стороны Конгресса. Когда же это наступление было отбито, ценность министров-либералов в глазах правительства резко упала, и внезапно не стало ни уважения, ни почета. Министры негодовали по этому поводу, но это мало помогло, и в скором времени их вынудили подать в отставку. Тогда начались поиски новых министров, не сразу увенчавшиеся успехом. Кучка либералов в совете держалась в стороне из солидарности со своими коллегами, которые были изгнаны столь бесцеремонным образом. Что же касается остальных — это были в большинстве заминдары, — то среди них было очень немного таких, которых можно было бы назвать хоть сколько-нибудь образованными. В связи с тем, что Конгресс бойкотировал законодательные советы, там подобралась весьма своеобразная публика.

Рассказывают об одном человеке в Соединенных провинциях, которому примерно в это время или несколько позднее был предложен министерский портфель. Как передают, он ответил на это предложение, что он не настолько тщеславен, чтобы считать себя необычайно умным человеком, но он все же полагает, что наделен некоторым умом, и, быть может, даже несколько выше среднего, и надеется, что и другие разделяют такое же мнение о нем. Уж не хочет ли правительство, чтобы он согласился занять министерский пост и тем самым признал себя перед всем миром законченным дураком?

Подобные заявления имели известное оправдание. Министры-либералы отличались узким кругозором, отсутствием широкого взгляда на политические и социальные проблемы, но это было результатом бесплодной либеральной доктрины. Как специалисты они, однако, обладали способностями и добросовестно выполняли свою повседневную работу. Некоторые из тех, кто

пришел впоследствии им на смену, происходили из рядов заминдаров. Их образование, даже с формальной точки зрения, было весьма ограниченным. Я думаю, что их можно было назвать только грамотными, но никак не больше. Можно было даже подумать, что губернатор нарочно выбрал этих господ и поставил их на высокие посты, дабы продемонстрировать полную неспособность индийцев. О них вполне можно было сказать:

Ты вознесен судьбой, чтоб убедился свет,
Что для нее ничего невозможного нет.¹

Но были ли они образованными или нет, их поддерживали голоса заминдаров, и, кроме того, они могли устраивать в своих садах великолепные приемы для высших чиновников.

Какое же более полезное применение можно было найти деньгам, которые они получали со своих голодающих арендаторов?

¹Richard Garnett.

СОМНЕНИЯ И КОНФЛИКТЫ

Я занимался самой разнообразной деятельностью, пытаюсь тем самым отвлечься от мучивших меня проблем, но от них не было спасения — невозможно было уйти от вопросов, которые постоянно возникали передо мной и на которые я не мог дать удовлетворительного ответа. Теперь деятельность была для меня отчасти попыткой убежать от самого себя, а не искренним выражением своего я, как это было в 1920 и 1921 годах. Я вылез из раковины, которая защищала меня в то время, и взглянул на то, что творилось в Индии и в окружающем мире. Я обнаружил много перемен, которых не замечал до сих пор, новые идеи, новые конфликты и вместо ясности увидел растущую неразбериху. Вера в Гандиджи как руководителя у меня сохранилась, но я начал более критически относиться к некоторым сторонам его программы. Впрочем, он находился в тюрьме, вне досягаемости для нас, и мы не могли следовать его советам. Ни одна из существовавших в то время в рамках Национального конгресса групп — ни сторонники участия в законодательных органах, ни противники изменения политической программы — не привлекала меня. Первая из них явно сворачивала в сторону реформизма и конституционализма, которые, по моему мнению, могли завести лишь в тупик. Противники перемен считались горячими последователями Махатмы, но, подобно большинству учеников великих людей, они придавали больше значения букве учения, нежели его духу. В них не было активного начала, и на практике большинство из них было безобидными и благочестивыми социал-реформистами. Однако у них было одно преимущество. Они поддерживали связь с крестьянскими массами, в то время как сварджисты в законодательных советах были всецело поглощены парламентской тактикой.

Дешбандху Дас пытался вскоре после моего освобождения из тюрьмы обратить меня в сварджистскую веру. Однако я не поддавался на его уговоры, хотя у меня отнюдь не было ясности насчет того, как мне надлежит действовать. Отец мой, бывший в то время горячим сторонником сварджистской партии, никогда не пытался оказывать на меня давление или как-ни-

будь влиять на меня в этом направлении. Это было страшно и удивительно, но весьма характерно для него. Было совершенно очевидно, что отца очень бы обрадовало, если бы я присоединился к его борьбе, но он относился ко мне с исключительным вниманием и предоставлял мне полную самостоятельность в этом вопросе.

В этот период между моим отцом и Ч. Р. Дасом завязалась тесная дружба. Это было нечто гораздо большее, нежели политическое содружество. Их отношения отличались теплотой и задушевностью, которые немало удивляли меня, ибо интимная дружба, пожалуй, редко возникает в пожилом возрасте. У отца была масса знакомых, и он обладал даром шутить и смеяться с каждым, но он был скуп на дружбу, а в последние годы стал изрядным циником. Но, несмотря на это, между ним и Дешбандху, казалось, рухнули все барьеры и они искренне полюбили друг друга. Мой отец был на девять лет старше, но из них двоих он был, вероятно, сильнее и здоровее физически. Хотя их объединяло полученное в прошлом одинаковое юридическое образование и успешная адвокатская практика, они во многом были совершенно разными людьми. Дас, хотя и юрист по профессии, был в то же время поэтом и обладал поэтическим, эмоциональным складом души. Насколько мне известно, он писал красивые стихи на языке бенгали. Он был оратором и обладал религиозным темпераментом. Мой отец был человеком более практичным и прозаичным; он был прекрасным организатором, и религиозного в нем было очень мало. Он всегда был борцом, готовым как паносить, так и спосить сильные удары. Людей, которых он считал глупыми, он совершенно не выносил или, во всяком случае, выносил с трудом; он совершенно не терпел никакой оппозиции. Это казалось ему вызовом, на который следовало немедленно отвечать метлой. Отец и Дешбандху, при всей их несхожести, в некоторых отношениях прекрасно подходили друг к другу. Они составляли вдвоем замечательное и очень удачное сочетание для руководства партией, ибо каждый из них в какой-то мере восполнял недостатки другого. Они питали друг к другу абсолютное доверие — настолько, что каждый из них предоставил другому право использовать его имя в любом заявлении или декларации без предварительного согласования или консультации.

Этот личный фактор в большой мере содействовал тому, что партия свараджистов прочно закрепилась и приобрела влияние и престиж в стране. В ней с самых первых дней проявлялись раскольнические тенденции, ибо в ее рядах было много карьеристов и оппортунистов, привлеченных возможностями личного выдвижения через законодательные советы. Был в ней и кое-кто из подлинно умеренных, склонных к более тесному сотрудничеству с правительством. Как только эти тенденции ясно проявились после выборов, партийное руководство

заклеймило их. Мой отец объявил, что он не остановится перед тем, чтобы «отсечь большую ветвь» от партии, и действовал соответственно этому принципу.

Начиная с 1923 года я находил много радости и счастья в семейной жизни, хотя я и уделял ей мало времени. Мои отношения в семье сложились счастливо, и в тяжелую минуту она служила мне утешением и прибежищем. Я понял с некоторым стыдом за свое собственное недостойное поведение, сколь многим я обязан жене за ее великолепное поведение в течение всего времени начиная с 1920 года. При всей своей гордости и чувствительности она не только мирилась с моими причудами, но приносила мне утешение и облегчение всякий раз, когда я особенно в них нуждался.

После 1920 года наш уклад жизни несколько изменился. Он стал гораздо проще, значительно уменьшилось число слуг. Однако, несмотря на это, мы имели все необходимые удобства. Отчасти для того, чтобы избавиться от излишеств, а отчасти с целью изыскать средства на текущие расходы многие вещи были распроданы — лошади, экипажи и предметы домашней обстановки, не гармонировавшие с нашим новым укладом жизни. Часть нашей мебели была реквизирована и продана полицией. Из-за недостатка мебели и отсутствия садовников наш дом утратил свой изысканный и опрятный вид, а сад пришел в запустение. На протяжении почти трех лет и дому и саду уделялось очень мало внимания. Привыкнув щедро расходовать деньги, отец не любил экономить. Поэтому он решил в свободное время заняться юридической консультацией на дому, чтобы кое-что заработать. У него было очень мало свободного времени, но, несмотря на это, ему удавалось зарабатывать довольно прилично.

Мне было неловко и немножко неприятно находиться в материальной зависимости от отца. После того как я отказался от адвокатской практики, у меня фактически не было никаких собственных доходов, если не считать лустяковых дивидендов от акций. Мы с женой тратили очень немного. Я был даже поражен, узнав, как мало мы тратим. Это было одним из открытий, сделанных мною в 1921 году и доставивших мне большое удовлетворение. На одежду кхад и поездки в вагонах третьего класса много денег не нужно. Живя с отцом, я не вполне отдавал себе отчет в том, что существует бесчисленное множество других расходов по дому, составляющих в совокупности солидную цифру. Так или иначе, я никогда не мучился страхом остаться без денег; думаю, что в случае необходимости я мог бы заработать достаточно, а мы можем довольствоваться сравнительно малым.

Мы не были слишком тяжелым бременем для отца, и малейший намек такого рода причинил бы ему сильную боль. Однако я тяготился своим положением и на протяжении трех

последующих лет усердно размышлял над этой проблемой, не находя ей разрешения. Я мог бы без особого труда найти хорошо оплачиваемую работу, но заняться такой работой для меня означало отказаться от общественной деятельности или, во всяком случае, ограничить ее. До сих пор я отдавал все свое время работе в Конгрессе и муниципалитете. Мне не хотелось отказываться от этой работы ради заработка. Поэтому я отверг весьма выгодные с финансовой точки зрения предложения крупных промышленных фирм. Они были готовы платить мне большие деньги, вероятно не столько за мои знания, сколько за возможность пользоваться моим именем. Однако я не хотел, чтобы мое имя связывали таким образом с крупным капиталом. Вернуться к профессии юриста — это также для меня исключалось. Мое отвращение к ней непрерывно возрастало.

На сессии Конгресса в 1924 году было внесено предложение, чтобы должность генеральных секретарей партии оплачивалась. Я был в то время одним из секретарей, и я приветствовал это предложение. Мне казалось неправильным требовать от кого бы то ни было, чтобы он отдавал работе все свое время, и не платить ему при этом хотя бы минимальной суммы, необходимой для жизни. В противном случае для этого нужно выбирать человека, обладающего собственными средствами, а подобные господа, располагающие досугом, не всегда могут сказать политически приемлемыми, и на них нельзя возлагать ответственность за работу. Конгресс не мог платить большие деньги, наши членские взносы были довольно низки. Но в Индии существует странное и совершенно неоправданное предубеждение против получения жалованья из общественных фондов (но не от государства), и мой отец был решительно против того, чтобы я это делал. Мой коллега секретарь, сам испытывавший большую нужду в деньгах, также считал ниже своего достоинства получать деньги от Конгресса. Таким образом, я, хотя и не считал это для себя унижительным и вполне был готов получать жалованье, вынужден был обходиться без него.

Я лишь однажды заговорил с отцом по эту тему и дал ему понять, как меня тяготит мысль о моей финансовой зависимости. Я сделал это в максимально мягкой и косвенной форме, стараясь не задеть его. Он указал мне, как глупо было бы с моей стороны тратить все свое время или большую часть его на то, чтобы зарабатывать немного денег вместо того, чтобы заниматься общественной деятельностью. Ему гораздо легче было заработать за несколько дней всю ту сумму, которая требовалась мне и моей жене на целый год. Довод был веским, хотя он и не убедил меня. Тем не менее я продолжал действовать в соответствии с ним.

В этих семейных делах и финансовых тревогах прошло время с начала 1923 до конца 1925 года. Между тем политическая

обстановка менялась; почти против своей воли я оказался втянутым в различные комбинации и вынужден был занять ответственный пост в руководящем органе Конгресса. Положение, сложившееся в 1923 году, было весьма своеобразным. Ч. Р. Дас был председателем предыдущей сессии Конгресса в Гае и по обязанности числился председателем Исполнительного комитета Конгресса на 1923 год. Однако большинство в этом комитете было против него и против политики сваражистов, хотя это большинство было незначительным и обе группировки располагали примерно одинаковыми силами. Развязка наступила в начале лета 1923 года на заседании Исполнительного комитета Конгресса в Бомбее. Дас отказался от поста председателя, появилась небольшая центристская группа, которая образовала новый Рабочий комитет. Эта центристская группа не имела никакой опоры в Исполнительном комитете Конгресса и могла существовать лишь по милости одной из двух основных группировок. Объединившись с одной из них, она могла нанести поражение другой группировке. Новым председателем комитета Конгресса стал д-р Ансари, а я — одним из секретарей.

Вскоре мы столкнулись с трудностями с обеих сторон. Гуджарат, являвшийся цитаделью противников изменения политики Конгресса, отказался выполнить какую-то из директив центра. В конце лета того же года было созвано новое заседание Исполнительного комитета, на этот раз в Нагпуре, где проводилась сатьяграха по поводу национального флага. Здесь наступил конец короткой и бесславной карьере нашего Рабочего комитета, представлявшего незадачливую центристскую группу. Ему пришлось сойти со сцены, так как он никого конкретно не представлял и пытался распоряжаться теми, кому принадлежала действительная власть в конгрессистской организации. Отставка комитета была вызвана провалом попытки объявить порицание Гуджарату за недисциплинированное поведение. Я помню, с какой радостью я послал свое заявление об отставке и какое облегчение я при этом испытывал. Даже кратковременный опыт участия в партийных маневрах был для меня нестерпим, и я был просто потрясен тем, на какие интриги способны были некоторые видные деятели Конгресса.

На этом собрании Ч. Р. Дас обвинил меня в «бесчувственности». Думаю, что он был прав; все зависит от критерия. По сравнению со многими моими друзьями и коллегами я — бесчувственный человек. И все же я всегда боялся, как бы меня не поглотили и не захлестнули слишком сильные чувства, волнения или гнев. Я годами изо всех сил старался стать «бесчувственным», и боюсь, что мои усилия в этом направлении увенчались лишь относительным успехом.

ИНЦИДЕНТ В КНЯЖЕСТВЕ НАБХА

Борьба за преобладание между свараджистами и противниками изменения политики Конгресса продолжалась, и свараджисты постепенно брали верх. Новой вехой, знаменовавшей дальнейшее усиление свараджистов, явилась чрезвычайная сессия Конгресса, состоявшаяся в Дели осенью 1923 года. Сразу же по окончании этой сессии со мной произошло странное и неожиданное приключение.

В Пенджабе постоянно происходили конфликты между сикхами — в особенности *акали* — и правительством. Возникшее среди них движение за возрождение поставило своей целью подвергнуть чистке гурдвары путем изгнания разложившихся махантов¹ и взять в свои руки места богослужения и имущество, принадлежащее им. Правительство вмешалось, и в результате возник конфликт. Это движение явилось отчасти результатом общего оживления, вызванного кампанией несотрудничества, и методы действия акали были заимствованы у движения сатьяграхи. Среди множества инцидентов, происходивших в то время, важнейшим была знаменитая борьба Гуру-ка Баг², когда несколько десятков сикхов, из которых многие были в прошлом солдатами, позволили полиции жестоко избить себя, не защищаясь и не отступая от своей миссии. Индия была поражена столь удивительным проявлением стойкости и мужества. Комитет гурдвара был объявлен правительством вне закона; борьба продолжалась несколько лет и закончилась победой сикхов. Национальный конгресс, естественно, сочувствовал сикхам, и в течение некоторого времени имел в Амритсаре своего специального уполномоченного для поддержания тесной связи с движением акали.

Инцидент, о котором я собираюсь рассказать, имел мало отношения к этому общему сикхскому движению, хотя причиной его, несомненно, послужили эти волнения среди сикхов. Между правителями двух сикхских княжеств в Пенджабе — Патиала и Набха — возникла жестокая личная ссора, которая в конце

¹ Гурдвара — храм, махант — настоятель храма. — *Прим. ред.*

² Гуру-ка Баг (сад вероучителя в Гуру) — одно из главных священных мест сикхов. — *Прим. ред.*

концов привела к смещению махараджи Набхи английским правительством в Индии. Для управления княжеством Набха был назначен английский администратор. Это вызвало недовольство сикхов, которое вылилось в волнение как в Набхе, так и за его пределами. В разгар волнений новый администратор запретил религиозную церемонию, проходившую в местечке Джайто, в княжестве Набха. В знак протеста, а также для того, чтобы продолжить прерванную церемонию, сикхи начали посылать в Джайто *джатхи* (группы людей). Полиция задерживала джатхи, избивала этих людей, арестовывала их и обычно, отведя их в какое-нибудь глухое место в джунглях, оставляла там. Я время от времени читал сообщения об этих избиваниях, и, когда мне стало известно в Дели, сразу же по окончании чрезвычайной сессии Конгресса, что послана новая джатха и меня приглашают поехать и посмотреть, что произойдет, я охотно принял приглашение. Для меня это значило потерять всего лишь один день, так как Джайто находится недалеко от Дели. Меня сопровождали двое моих коллег конгрессистов А. Т. Гидвани и К. Сантанум из Мадраса. Участники джатхи совершали большую часть пути пешком. Было решено, что мы отправимся на ближайшую железнодорожную станцию и затем постараемся по проселочной дороге добраться до границы Набхи близ Джайто как раз ко времени прибытия джатхи. Мы прибыли во-время, в деревенской телеге, и последовали за джатхой, держась в стороне от нее. По прибытии в Джайто джатха была остановлена полицией, а я тотчас же получил предписание за подписью английского администратора, в котором мне предлагалось не вступать на территорию Набхи, а если я уже на нее вступил, немедленно ее покинуть. Аналогичное предписание было вручено Гидвани и Сантануму, но без указания их имен, которых местные власти не знали. Мои коллеги и я заявили офицеру полиции, что мы находимся здесь не в качестве членов джатхи, а как зрители, и что мы не собираемся нарушать какие бы то ни было законы княжества Набха. Кроме того, говорили мы, поскольку мы уже находимся на территории Набхи, предупреждение не вступать на нее теряет смысл, и мы, разумеется, не можем в один миг испариться. Следующий поезд из Джайто, повидимому, пойдет лишь через несколько часов, а до тех пор мы намерены остаться здесь. Нас немедленно арестовали и заключили в камеру. После нашего ареста с джатхой поступили обычным образом.

Нас продержали в камере весь день, а вечером отвели на станцию. Сантанум и я были скованы вместе наручниками — сго левая кисть прикована к моей правой, — а конец цепи от наручников держал полицейский, шедший впереди. Гидвани, также закованный в наручники и кандалы, замыкал процессию. Это наше шествие по улицам города Джайто вызывало у меня представление о собаке, которую ведут на цепи. Вначале это

нас несколько раздражало, но потом мы увидели и смешную сторону ситуации и в общем были довольны приключением. Ночь, однако, не доставила нам ни малейшего удовольствия. Часть ее мы провели в переполненных вагонах третьего класса медленно двигавшихся поездов, кажется с пересадкой в полночь, а часть — в камере полицейского участка в Набхе. Все это время, до утра следующего дня, когда нас наконец доставили в местную тюрьму, на нас оставались наручники с тяжелой цепью. Ни один из нас не мог пошевелиться без помощи другого. Я не хотел бы когда-нибудь снова очутиться в таком положении — быть целую ночь и часть дня прикованным к другому человеку!

В тюрьме Набхи нас всех троих держали в душной и грязной камере. Она была мала и сыра, с низким потолком, который мы почти могли достать рукой. Ночью мы спали на полу и я не раз вздрагивал и в ужасе просыпался от того, что по моему лицу пробегала крыса или мышь.

Через два или три дня нас повели в суд для разбора нашего дела. День за днем там велось какое-то необычное и шутовское разбирательство. Магистрат, или судья, был, повидимому, совершенно не образован. Он, разумеется, не знал английского языка, но я сомневаюсь, умел ли он писать и на урду — языке, на котором велось судопроизводство. Мы наблюдали за ним более недели, и за все это время он ни разу не написал ни строчки. Если ему надо было что-нибудь написать, он просил судейского чтеца сделать это. Мы обращались к нему с различными мелкими заявлениями. При нас он не писал на них никаких резолюций, а оставлял у себя и возвращал лишь на следующий день с резолюцией, написанной чужой рукой. Формально мы не защищали себя. Мы настолько привыкли за время кампании несотрудничества отказываться от защиты в судах, что всякая мысль о защите, даже когда это было явно допустимо, казалась нам почти непристойной. Однако я представил суду странное заявление с изложением фактов, а также моего мнения о порядках в княжестве Набха, особенно под управлением английских властей.

Наше дело, несмотря на всю его простоту, затянулось на много дней, но вдруг однообразие было нарушено. Как-то во второй половине дня, после окончания судебного заседания, нас оставили дожидаться чего-то в помещении суда. Около семи часов вечера нас ввели в другую комнату, где за столом сидел какой-то человек. В комнате находились еще и другие люди. Здесь же оказался наш старый приятель, полицейский офицер, арестовавший нас в Джайто. Он поднялся и начал давать показания. Я осведомился о том, где мы находимся и что происходит. Мне сообщили, что это — зал суда и нас судят за участие в заговоре. Это было совершенно новое дело, не имеющее никакого отношения к тому, по-которому мы до сих пор привлека-

лись и которое заключалось в нарушении приказа, запрещающего вступать на территорию Набхи. Очевидно, решили, что шесть месяцев тюрьмы — максимальный срок, на который мы могли быть осуждены за это преступление, — недостаточное наказание и необходимо предъявить нам более серьезное обвинение. Видимо, сочли, что три человека — это слишком мало для заговора, а потому был арестован и предан суду вместе с нами четвертый, не имевший к нам абсолютно никакого отношения. Мы не знали этого несчастного сикха, но видели его где-то в поле, когда направлялись в Джайто.

Как юрист, я был весьма удивлен той небрежностью, с которой было создано дело о заговоре. Обвинение было ложным от начала до конца, но ради приличия требовалось соблюсти кое-какие формальности. Я заметил судье, что нас никто не поставил в известность о том, что мы привлекаемся к суду, и что мы, возможно, пожелали бы подготовиться к защите. Но это его ничуть не смутило. Таковы были порядки в Набхе. Нам сказали, что, если мы хотим пригласить адвоката для защиты, его можно найти и в Набхе. Когда я выразил желание пригласить адвоката со стороны, мне возразили, что в Набхе это не полагается. Далее нас уведомили об особенностях местного судопроизводства. Возмущенные, мы заявили судье, что он может действовать, как ему угодно, что же касается нас, то мы отказываемся принимать какое-либо участие в судебном разбирательстве. Я оказался не в силах полностью выполнить это решение. Трудно было молчать, выслушивая самую невероятную ложь по нашему адресу, поэтому время от времени мы кратко, но сдко высказывали свое мнение о свидетелях. Мы представили суду также письменное заявление с изложением фактов. Судья, который вел дело о заговоре, был более образованный и толковый, чем первый.

Слушание обоих дел продолжалось, и мы с нетерпением ожидали наших ежедневных визитов в оба зала суда, ибо это означало временное избавление от отвратительной тюремной камеры. Между тем смотритель тюрьмы обратился к нам от имени администратора княжества и заявил, что, если мы принесем извинения и дадим обязательство покинуть Набху, дело против нас будет прекращено. Что касается нас, ответили мы, то нам не в чем извиняться, — это администратору следует перед нами извиниться. Мы не намеревались также давать какие-либо обязательства.

Примерно через две недели после нашего ареста оба процесса закончились. Все это время было использовано обвинением, ибо мы не защищались. Много времени прошло в длительных ожиданиях, ибо малейшее затруднение требовало отсрочки заседания суда и обращения к каким-то закулисным инстанциям, по всей вероятности к английскому администратору. В последний день, когда обвинение закончило изложение дела,

мы представили письменные показания. Суд удалился на совещание и, к нашему удивлению, вернулся спустя короткое время с весьма пространным решением, написанным на языке урду. Это длиннейшее решение явно не могло быть написано за время перерыва. Оно было заготовлено до того, как мы предъявили свои показания. Решение не было оглашено. Нам только сказали, что мы приговорены к максимальному сроку — шести месяцам тюрьмы — за нарушение приказа об оставлении территории Набхи.

По делу о заговоре мы в тот же самый день были приговорены не то к полутора, не то к двум годам — точно не помню. Это добавлялось к шестимесячному сроку. Таким образом, мы получили в общей сложности не то по два, не то по два с половиной года тюрьмы.

В ходе процесса произошло множество весьма любопытных инцидентов, которые дали нам некоторое представление о действительном характере администрации индийского княжества, или, вернее, английской администрации индийского княжества. Все судебное разбирательство представляло собой сплошной фарс. Я думаю, что именно по этой причине в суд не был допущен ни один журналист или вообще посторонний человек. Полиция делала все, что ей заблагорассудится, и нередко игнорировала судью или магистрата и не подчинялась его указаниям. Бедный судья покорно мирился с этим, но мы не видели оснований поступать таким же образом. Несколько раз мне приходилось подниматься со своего места и призывать полицию вести себя как подобает и слушаться судью. Иногда полиция позволяла себе бесцеремонно выхватывать документы, и, поскольку судья был беспомощен и неспособен навести порядок у себя в суде, нам приходилось частично выполнять его функции! Бедный судья был в очень неприятном положении. Он боялся полиции, в то же время он, видимо, чем-то побаивался и нас, ибо вокруг нашего ареста был поднят большой шум в прессе. Если такова была обстановка, когда дело касалось более или менее видных политических деятелей вроде нас, то какая же участь ожидала других, пользовавшихся меньшей известностью?

Мой отец имел некоторое представление о порядках в индийских княжествах, а потому мой неожиданный арест в Набхе сильно его встревожил. Известен был лишь самый факт ареста, больше почти никаких вестей не просачивалось. Охваченный беспокойством, он даже телеграфировал вице-королю, прося его сообщить, что ему известно обо мне. Ему всячески мешали навестить меня в Набхе, но в конце концов он получил разрешение повидаться со мной в тюрьме.

Он ничем не мог мне помочь, так как я не защищался на процессе, и я умолял его вернуться в Аллахабад и не беспокоиться обо мне. Он уехал, но оставил в Набхе для наблюдения за ходом судебного разбирательства нашего коллегу — моло-

дого юриста Капила Дев Малавия. Познания Капила Дева в области юриспруденции и судопроизводства должны были значительно пополниться в результате его кратковременного знакомства с судами в Набхе. Полиция пыталась на открытом судебном заседании силой отнять у него некоторые из его бумаг.

Большинство индийских княжеств известно своей отсталостью и полуфеодальными порядками. Здесь господствуют самодержавные властители, не обладающие ни способностями, ни хотя бы благожелательным характером. Множество странных вещей творится там, но это никогда не становится достоянием гласности. И все же сама неспособность администрации княжеств до некоторой степени смягчает зло и облегчает бремя, лежащее на их несчастном населении. Ибо такая неспособность выражается в слабости исполнительной власти, а это притупляет зубы даже у тирании и беззакония. Это не делает тиранию более терпимой, но зато несколько обуздывает ее и ограничивает ее распространение. Любопытно, что установление англичанами непосредственного контроля над тем или иным индийским княжеством ведет к нарушению этого равновесия. Полуфеодальные условия остаются, самодержавие сохраняется, старые законы и установления считаются действующими, все ограничения свободы личности, союзов, слова (а эти ограничения всеобъемлющи) остаются в силе, но вносится одно новшество, которое меняет всю картину. Исполнительная власть становится сильнее, ее действия делаются более эффективными, а это ведет к тому, что оковы феодализма и самодержавия сжимаются еще крепче. С течением времени английская администрация, без сомнения, изменит некоторые устаревшие обычаи и методы, ибо они препятствуют действительному управлению, а также торговому проникновению. Но для начала она полностью их использует, чтобы закрепить свою власть над народом, которому теперь приходится мириться не только с феодализмом и самодержавием, но и с действительной поддержкой их сильной исполнительной властью.

Нечто в этом роде я наблюдал в Набхе. Княжество находилось под управлением английского администратора, чиновника Индийской гражданской службы, который обладал всеми правами самодержца и подчинялся только английскому правительству в Индии. И, тем не менее, в оправдание нарушения самых элементарных наших прав нам постоянно указывали на законы и правила судопроизводства, существующие в Набхе. Нам приходилось иметь дело с властью, представляющей собой сочетание феодализма и современной бюрократической машины, наделенной всеми пороками обоих, но лишенной каких бы то ни было их достоинств.

Итак, наш процесс закончился, и нам был вынесен приговор. Мы не знали, что содержалось в судебных решениях, но тот несомненный факт, что мы были приговорены к длительным

срокам, действовал отрезвляюще. Мы просили вручить нам копии решений, но от нас потребовали официального запроса.

В тот же вечер, когда мы вернулись в тюрьму, нас вызвал смотритель и ознакомил с приказом администратора, который на основании уголовного-процессуального кодекса приостановил исполнение приговора. При этом не выдвигалось никаких условий, так что юридическим следствием этого приказа для нас явилось прекращение действия приговоров. Затем смотритель зачитал нам еще один приказ, также изданный администратором и именованный предписанием исполнительной власти; в нем нам предлагалось покинуть территорию Набха и не возвращаться в это княжество без специального на то разрешения. Я потребовал копии обоих приказов, но мне отказали в этом. Затем нас под охраной препроводили на вокзал и там отпустили. Мы не знали в Набха ни одной души, и к тому же городские ворота оказались запертыми на ночь. Оказалось, что вскоре отходит поезд на Амбалу, в который мы и сели. Из Амбалы я отправился в Дели, а оттуда — в Аллахабад.

Из Аллахабада я обратился к администратору с письмом, в котором просил его выслать мне копии обоих приказов, с тем чтобы я мог точно знать их содержание, а также копии заключений суда. Он ответил отказом на просьбу о выдаче этих копий. Я ссылаясь на то, что, возможно, буду апеллировать, но он упорствовал в своем отказе. Несмотря на мои неоднократные попытки, мне так и не удалось ознакомиться с этими судебными решениями, на основании которых я и двое моих товарищей были осуждены на два или на два с половиной года тюрьмы. Насколько мне известно, эти приговоры могут и теперь еще висеть надо мной и вступить в силу в любой момент, когда этого пожелают власти Набхи или английское правительство в Индии.

Мы трое были освобождены в соответствии с «приостановлением» приговора, но мне так никогда и не удалось узнать, что стало с четвертым участником вымышленного заговора, сикхом, которого притянули по второму процессу. Скорее всего, он не был освобожден. У него не было влиятельных друзей, публика не проявляла к нему интереса, что могло бы помочь ему, и, подобно многим другим, он, вероятно, был забыт в тюрьме княжества. Но мы не забыли о нем. Мы сделали все, что могли, а это было очень немного. Его делом интересовался, кажется, также комитет гурдвара. Мы узнали, что он был одним из обвиняемых по старому делу «Комагата-мару» и лишь недавно вышел из тюрьмы после длительного заключения. Полиция не любит оставлять таких людей на свободе, поэтому она присоследила его к сфабрикованному делу против нас.

Мы все трое, Гидвани, Сантанум и я, привезли с собой из нашей тюремной камеры в Набхе неприятного спутника — тифозную бациллу — и все заболели брюшным тифом. Я болел

тяжело, и одно время мое состояние было угрожающим, но оказалось, что мое заболевание было самым легким — я был прикован к постели всего три или четыре недели, тогда как болезнь моих товарищей была очень серьезной и длительной.

Эпизод в Набхе имел еще одно последствие. Спустя шесть месяцев или больше Гидвани находился в качестве представителя Конгресса в Амритсаре, где он поддерживал связь с сикхским Комитетом гурдвара. Комитет послал в Джайто специальную джатху в составе пятисот человек, и Гидвани решил сопровождать ее в качестве наблюдателя до границы. Он не собирался вступать на территорию княжества. Возле границы джатха была обстреляна полицией, причем, как мне помнится, было много убитых и раненых. Гидвани направился на помощь раненым, но в этот самый момент полиция набросилась на него и увела. Против него не было возбуждено никакого судебного дела. Его просто продержали в тюрьме около года, а затем, когда здоровье его оказалось вконец подорванным, выпустили на свободу.

Арест и заключение Гидвани казались мне чудовищным злоупотреблением властью. Я написал письмо администратору (это был все тот же английский чиновник Индийской гражданской службы), в котором спрашивал его, на каком основании с Гидвани обошлись подобным образом. Он ответил, что Гидвани заключен в тюрьму, потому что нарушил приказ, запрещавший ему появляться на территории Набхи без специального разрешения. Я оспорил законность этого акта, как, разумеется, и допустимость ареста человека, который был занят оказанием помощи раненым, и попросил администратора прислать мне или опубликовать копию этого приказа. Он отказался это сделать. Я склонен был отправиться в Набха, чтобы дать администратору возможность обойтись со мной так же, как он поступил с Гидвани. Преданность товарищу, повидимому, требовала этого. Однако многие друзья отнеслись к этому иначе и отговорили меня. Я укрылся за советы друзей, чтобы оправдать мою собственную слабость. Ибо в конечном итоге меня удержали именно моя слабость и нежелание снова очутиться в тюрьме Набхи, и я постоянно ощущаю стыд, что покинул таким образом друга в беде. Как это часто бывает со всеми нами, я предпочел мужеству благоразумие.

КОКОНАДА И МУХАММЕД АЛИ

В декабре 1923 года на юге, в Коконате, происходил ежегодный съезд Конгресса. Председательствовал на нем маулана Мухаммед Али, произнесший, по своему обыкновению, невероятно длинную вступительную речь. Впрочем, речь его была интересной. Он прослеживал рост политических и религиозно-общинных настроений среди мусульман и доказывал, что знаменитая мусульманская депутация к вице-королю в 1908 году, возглавлявшаяся Ага Ханом и послужившая толчком к первой официальной декларации в пользу отдельных избирательных курий, была инспирирована самим правительством.

Мухаммед Али уговорил меня, несмотря на сильное мое нежелание, занять пост секретаря Исполнительного комитета Конгресса на время его председательства. Мне не хотелось брать на себя административную ответственность, поскольку у меня не было ясности относительно будущей политики. Но я был не в силах противостоять Мухаммеду Али, к тому же мы оба понимали, что какой-нибудь другой секретарь, быть может, не сумеет так сработаться с новым председателем, как я. У него имелись ярко выраженные симпатии и антипатии, и я, к счастью, относился к числу его «симпатий». Нас связывали узы дружбы и взаимного уважения. Он был глубоко и, на мой взгляд, совершенно безрассудно религиозен, тогда как я вовсе не отличался религиозностью, но мне нравились его убежденность, его бьющая через край энергия и острый ум. Он был остроумен, но его разящий сарказм порой больно задевал, благодаря чему он лишился многих друзей. Он был совершенно неспособен воздержаться от остроумного замечания, какими бы последствиями это ни грозило.

Мы хорошо ладили с ним в бытность его председателем Конгресса, хотя между нами часто возникали небольшие разногласия. Я завел в секретариате Исполнительного комитета Конгресса обычай обращаться ко всем его членам просто по фамилии, без добавления каких-либо префиксов или суффиксов, почетных титулов и тому подобное. Их в Индии такое множество — махатма, маулана, пандит, шейх, саид, мунши, моулви, а также появившиеся за последнее время сриют и шри, уже не говоря

о мистере и эсквайре,— и их употребляют так усердно и часто, так некстати, что мне хотелось подать хороший пример в этом отношении. Однако мне не удалось поставить на своем. Мухаммед Али послал мне возмущенную телеграмму, в которой «как председатель» предлагал мне вернуться к нашей прежней практике и, в частности, всегда именовать Ганди Махатмой.

Другим предметом частых споров между нами был Всемогущий. Мухаммед Али обладал удивительной способностью включать то или иное упоминание о боге даже в резолюции Конгресса — либо в форме выражения благодарности, либо в какой-нибудь молитве. Я обычно возражал против этого, и тогда он резко упрекал меня за мое неверие. И все же, как это ни странно, он говорил мне впоследствии, что был совершенно убежден, что в глубине души я религиозен, несмотря на мое внешнее поведение и мои заверения в противном. Я часто спрашивал себя, какая доля истины заключалась в этом его утверждении. Пожалуй, это зависит от того, что понимать под словами «религия» и «религиозный».

Я избегал касаться в разговоре с ним проблемы религии, ибо знал, что мы будем лишь сердить друг друга и я могу больно задеть его. Это трудная тема для обсуждения с убежденными последователями любого вероучения. Но, вероятно, труднее всего говорить об этом с большинством мусульман, среди которых широта мысли официально осуждается. В области идеологии путь их прям и узок, верующий не должен уклоняться ни вправо, ни влево. Индусы в этом отношении несколько отличны, хотя и не всегда. На практике они могут быть весьма ортодоксальны; они могут придерживаться и действительно придерживаются самых устаревших, реакционных и даже вредных обычаев, но при этом они обычно готовы обсуждать весьма радикальные идеи, касающиеся религии. Я полагаю, что современные участники движения Арья Самадж¹, как правило, не отличаются подобной широтой интеллектуального подхода. Они, подобно мусульманам, следуют своей прямой и узкой дорогой. Среди образованных индусов существует определенная философская традиция, которая хотя и не оказывает влияния на практику, но меняет идеологический подход к проблеме религии. Я полагаю, что это отчасти объясняется широким разнообразием зачастую противоречивых мнений и обычаев, объединяемых в рамках индуизма. Собственно говоря, не раз уже высказывалась мысль, что индуизм едва ли является религией в обычном смысле слова. И все же какой удивительной стойкостью он обладает, какой громадной жизнеспособностью! Вы можете быть убежденным атеистом — каким

¹ Арья Самадж — религиозное движение, возникшее в XIX веке и стремившееся приспособить индуизм к нуждам современного буржуазного общества. — *Прим. ред.*

был, например, старый индусский философ Чарвака,— и все же никто не посмеет сказать, что вы перестали быть индусом. Индуизм цепляется за своих детей, почти не считаясь с их волей. Брахманом я родился, и брахманом я, видимо, останусь, каковы бы ни были на словах и на практике моя религия и социальные взгляды. Для индийского мира я «пандит» такой-то, несмотря на мое нежелание присоединять к своему имени этот или какой-либо иной почетный титул. Мне вспоминается, как однажды я встретился в Швейцарии с турецким ученым, которому я предварительно переслал рекомендательное письмо, где меня именовали «пандит Джавахарлал Неру». Увидев меня, он был удивлен и немного разочарован, ибо, как он объяснил мне, титул «пандит» заставил его ожидать почтенного и ученого господина преклонных лет.

Итак, мы с Мухаммедом Али не говорили о религии. Но молчание не было одной из его добродетелей, и спустя несколько лет (мне кажется, это было в 1925 году или в начале 1926 года) он уже не мог больше обходить этот вопрос. Однажды, когда я пришел к нему в Дели, он не выдержал и стал настаивать на обсуждении со мной вопроса о религии. Я пытался отговорить его, ссылаясь на то, что наши точки зрения очень различны и мы едва ли сумеем в чем-нибудь убедить друг друга. Но он продолжал настаивать. «Мы должны выяснить этот вопрос,— заявил он.— Вы, наверно, считаете меня фанатиком. Ну что ж, я вам покажу, что это не так». Он сообщил мне, что глубоко и всесторонне изучал проблему религии. Он показал на полки, уставленные книгами о различных религиях, особенно об исламе и христианстве, среди которых были кое-какие современные книги вроде «*God, the Invisible King*» Х. Г. Уэллса. За долгие годы своего тюремного заключения во время войны он не раз перечитал Коран и ознакомился со всеми комментариями к нему. В результате этого изучения, как он мне сообщил, он установил, что около 97 процентов того, что содержится в Коране, является вполне справедливым и может быть подтверждено и без помощи Корана. Остающиеся 3 процента на первый взгляд представляются его разуму неприемлемыми. Но скорее всего и в отношении остальных 3 процентов прав не его слабый разум, а Коран, который, несомненно, прав в отношении 97 процентов? Он пришел к заключению, что на стороне Корана гораздо больше шансов, а потому признал его правым на все 100 процентов.

Логичность этого довода была не слишком убедительна, но у меня не было желания спорить. Однако дальнейшее поистине удивило меня. Мухаммед Али заявил, что он совершенно уверен, что всякий, кто прочтет Коран с открытой и готовой к восприятию душой, убедится в его истинности. Ему известно, добавил он, что Бапу (Гандиджи) читал его весьма внимательно, а посему должен быть убежден в истинности ислама. Но

гордость, свойственная его душе, мешает ему признаться в этом.

По истечении года пребывания на посту председателя Национального конгресса Мухаммед Али стал постепенно отходить от Конгресса, или, как бы он выразился, Конгресс начал отходить от него. Этот процесс совершался медленно; Али продолжал посещать съезды Конгресса, а также заседания Исполнительного комитета Конгресса и принимать энергичное участие в их деятельности на протяжении еще нескольких лет. Однако брешь все расширялась, отчуждение росло. В этом, пожалуй, не были повинны какие-то определенные лица — это было неизбежным следствием некоторых объективных условий в стране. Но это было весьма прискорбное следствие, доставившее огорчение многим из нас. Ибо каковы бы ни были наши разногласия по религиозно-общинному вопросу, но по политическим вопросам между нами было очень мало разногласий. Он был предан идее независимости Индии. И благодаря этой общности политических взглядов с ним всегда можно было прийти к какому-то взаимно приемлемому решению по общинно-религиозному вопросу. Между ним и реакционерами, строящими из себя защитников религиозно-общинных интересов, не было в политическом отношении ничего общего.

Для Индии было несчастьем, что летом 1928 года он уехал в Европу. В то время прилагались большие усилия для разрешения религиозно-общинной проблемы, и успех был уже близок. Вполне возможно, что, будь Мухаммед Али в то время в Индии, обстоятельства сложились бы иначе. Но ко времени его возвращения раскол уже произошел, и он неизбежно оказался на другой стороне.

Спустя два года, в 1930 году, когда большое число наших людей находилось в тюрьме и движение гражданского неповиновения было в полном разгаре, Мухаммед Али не посчитался с решением Конгресса и принял участие в Конференции круглого стола. Меня огорчил этот поступок. Я думаю, что в душе он и сам тяготился этим, о чем достаточно убедительно свидетельствует его деятельность в Лондоне. Он чувствовал, что его настоящее место — среди борцов в Индии, а не в зале бесполезной конференции в Лондоне. И если бы он вернулся на родину, он, я уверен, принял бы участие в борьбе. Физически он был человек обреченный — за последние годы его болезнь все обострялась. В Лондоне его неукротимое стремление чего-то добиться, сделать что-то полезное, в то время как он нуждался в отдыхе и лечении, ускорило его кончину. Для меня было ударом, когда я, находясь в тюрьме Наини, узнал о его смерти.

В последний раз я видел его в декабре 1929 года на Лахорском съезде Конгресса, на котором я председательствовал. Ему не понравились некоторые места моей вступительной речи, и он подверг ее резкой критике. Он видел, что Конгресс идет

вперед и что его политика становится более энергичной. Будучи сам человеком достаточно энергичным, он не желал оставаться на заднем плане и позволять другим опередить его. Он торжественно предостерег меня: «Я предостерегаю тебя, Джавахар, что твои нынешние товарищи покинут тебя. Они бросят тебя на произвол судьбы в самую критическую минуту. Твои же собственные товарищи по Национальному конгрессу отправят тебя на виселицу». Зловещее предсказание!

Съезд Конгресса, происходивший в декабре 1923 года в Коконаде, представлял для меня особый интерес, ибо на нем были заложены основы всеиндийской добровольческой организации Хиндустани Сева Дал. Правда, и до этого не было недостатка в добровольческих организациях как для проведения организационной работы, так и для добровольного отбывания тюремного заключения. Но они отличались слабой дисциплинированностью и сплоченностью. Д-р Н. С. Хардикер выдвинул идею о создании всеиндийской организации, построенной на строгой дисциплине, обученной ведению национальной деятельности под общим руководством Конгресса. Он убеждал меня поддержать его в этом, и я охотно согласился, так как эта идея мне понравилась. Начало было положено в Коконаде. Мы были удивлены, встретив впоследствии весьма отрицательное отношение к Сева Далу со стороны ведущих деятелей Конгресса. Одни говорили, что это опасная затея, ибо она означает внесение в Конгресс военного элемента и военные могут одержать верх над гражданской властью! Другие, видимо, считали, что единственная дисциплина, необходимая для добровольцев,— это подчиняться приказам свыше, что же касается всего остального, то едва ли желательно даже, чтобы добровольцы шагали в ногу. Некоторые исходили из предположения, что создание обученных и вымуштрованных добровольческих отрядов как-то не согласуется с принципом ненасилия, принятым Конгрессом. Тем не менее Хардикер посвятил все свои силы этому делу и ценой многолетнего упорного труда доказал, что наши обученные добровольцы более активны и строже придерживаются принципа ненасилия.

Вскоре после моего возвращения из Коконады в январе 1924 года мне довелось быть свидетелем нового события в Аллахабаде. Я пишу по памяти и потому могу допустить неточности в датах. Но мне кажется, что это был год Кумбх, или Ардх-Кумбх: год великого празднества омовения — мела, совершаемого на берегах Ганга в Аллахабаде. Обычно туда стекается огромное количество паломников, из которых большинство совершает омовение в месте слияния Ганга и Джамны, именуемом Тривени, ибо считается, что здесь к этим двум рекам присоединяется еще мифическая Сарасвати. Русло Ганга имеет в ширину около мили, но зимой вода отходит от берегов, оставляя оголенными широкие пространства песка, очень удобные

для разбивки лагерей паломников. В пределах этой поймы русло Ганга часто меняется. В 1924 году течение Ганга было таково, что большому количеству народа купаться в пункте Тривени было, без сомнения, опасно. Однако эту опасность можно было значительно уменьшить, приняв некоторые меры предосторожности и ограничив число одновременно купающихся людей.

Я несколько не был заинтересован в этом вопросе, ибо не намеревался, купаясь в реке в определенные дни, стяжать добродетель. Однако я узнал из газет, что между пандитом Мадан Моханом Малавия и провинциальным правительством происходит спор и что последнее (или местные власти) издало приказ, запрещающий всякое купание в месте слияния рек. Малавияджи опротестовал этот приказ, ибо, с религиозной точки зрения, вся суть состояла именно в том, чтобы совершить омовение в месте слияния рек. Правительство поступало совершенно правильно, принимая меры предосторожности с целью предотвратить несчастные случаи и возможную гибель большого числа людей, но, по своему обыкновению, оно действовало самым прямолинейным образом, вызывающим у людей возмущение.

В торжественный день Кумбх я с раннего утра отправился на реку, чтобы посмотреть мела. У меня не было никакого намерения самому совершать омовение. Придя на берег реки, я узнал, что Малавияджи направил окружному магистрату своего рода вежливый ультиматум, прося разрешить купание в пункте Тривени. Малавияджи был взволнован, и атмосфера была напряженная. Магистрат отказался дать разрешение. Тогда Малавияджи решил прибегнуть к сатьяграху и в сопровождении примерно двухсот человек направился к месту слияния рек. События меня заинтересовали, и под влиянием момента я примкнул к группе объявивших сатьяграху. Путь к берегу был прегражден громадным забором, чтобы помешать людям проникнуть к месту слияния рек. Когда мы достигли этого высокого частокола, нас остановила полиция и отняла у нас лестницу, которой мы запаслись. Будучи участниками ненасильственного движения сатьяграхи, мы мирно уселись на песке возле частокола. Мы просидели там все утро и часть дня. Время шло, солнце припекало все сильнее, песок накалялся все больше, а нам все сильнее хотелось есть. Нас окружала с обеих сторон пешая и конная полиция. Кажется, там была также и регулярная кавалерия. Большинство из нас стало терять терпение и начало требовать каких-либо действий. Видимо, власти также теряли терпение и решили ускорить ход событий. Кавалеристам был отдан какой-то приказ, и они повскакали на лошадей. Мне пришло в голову (не знаю, был ли я прав), что они намереваются напасть на нас и прогнать таким образом прочь. Перспектива оказаться преследуемым конниками не

прельщала меня, и к тому же мне надоело сидеть там. Поэтому я сказал сидевшим поблизости от меня, что мы можем с таким же успехом перебраться через частокол, и взобрался на него. Моему примеру тотчас же последовали десятки людей, причем некоторые даже вытащили несколько кольев, открыв тем самым проход остальным. Кто-то дал мне национальный флаг, и я водрузил его на частоколе, на котором продолжал сидеть. Я был сильно возбужден и с удовлетворением наблюдал за тем, как люди карабкались через частокол или проходили в образовавшуюся брешь, а кавалеристы пытались их отогнать. Я должен сказать, что кавалерия делала свое дело с максимальной осторожностью. Кавалеристы размахивали своими деревянными пиками и толкали ими людей, но при этом старались не причинять увечий. Все это слегка напоминало мне революционные баррикады.

Наконец я спрыгнул вниз по другую сторону частокола, и так как мне стало очень жарко от всех этих усилий, я решил окунуться в Ганге. Вернувшись на берег, я с удивлением увидел, что Малавияджи и многие другие попрежнему сидят по ту сторону частокола. Однако теперь пешая и конная полиция стояла сплошной стеной между участниками сатьяграхи и частоколом. Тогда я кружным путем вернулся к ним и снова сел около Малавияджи. В течение некоторого времени мы продолжали сидеть таким образом, причем я заметил, что Малавияджи сильно волнуется: он явно пытался подавить какое-то сильное чувство. Вдруг, не подав ни малейшего знака кому бы то ни было, он как-то странно нырнул сквозь шеренгу полицейских и лошадей. Подобный прыжок был бы удивительным для каждого, а для такого старого и физически слабого человека, как Малавияджи, он был просто невероятным. Так или иначе, все мы последовали за ним; все метнулись сквозь строй. После некоторых попыток удержать нас кавалерия и полиция перестали вмешиваться. Спустя некоторое время их отвели.

Мы предполагали, что правительство станет нас преследовать, но ничего подобного не случилось. Вероятно, правительство не желало предпринимать никаких шагов против Малавияджи, а благодаря этому более мелким фигурам тоже удалось уйти от наказания.

Глава восемнадцатая

МОЙ ОТЕЦ И ГАНДИ

В начале 1924 года внезапно поступило сообщение о том, что Гандиджи серьезно заболел в тюрьме и что он перевезен в госпиталь, где ему сделали операцию. Вся Индия замерла в тревоге; охваченные страхом, мы ждали, затаив дыхание. Наконец кризис миновал, и в Пулу со всех концов страны устремились потоки людей, желавших увидеть его. Он все еще находился в госпитале, под стражей, на положении заключенного, но ему было разрешено видаться с ограниченным числом друзей. Мы с отцом навестили его в госпитале.

Из госпиталя его уже не вернули в тюрьму. Так как он только еще поправлялся после болезни, правительство освободило его досрочно. К этому времени он уже отбыл два года из шестилетнего срока, к которому был приговорен. Он отправился на отдых в Джуху, местечко на побережье близ Бомбея.

Наша семья также перебралась в Джуху и поселилась в крошечном коттедже у моря. Мы провели там несколько недель, и после долгого перерыва я получил наконец возможность отдохнуть так, как мне этого хотелось, ибо я мог заниматься плаванием, бегом и верховой ездой. Однако главной целью нашего пребывания там был не отдых, а беседы с Гандиджи. Отец хотел разъяснить ему позицию свараджистов и заручиться если не активным участием, то по крайней мере его пассивным сотрудничеством. Я также хотел уяснить для себя некоторые проблемы, которые меня беспокоили. Мне хотелось знать, в чем будет заключаться его будущая программа действий.

Что касается свараджистов, то переговоры в Джуху не завоевали Гандиджи на их сторону и вообще ни в какой мере не повлияли на него. Несмотря на все дружеские беседы и вежливые жесты, факт оставался фактом — компромисса достигнуть не удалось. Обе стороны остались при своем мнении, и представителям печати были сделаны соответствующие заявления на этот счет.

Я также вернулся из Джуху немного разочарованным, ибо Гандиджи не разрешил ни одного из моих сомнений. По своему обыкновению, он отказывался заглядывать в будущее или

излагать какую-либо программу, рассчитанную на долгий срок. Мы должны были продолжать терпеливо «служить» народу, работать над осуществлением конструктивной программы и программы социальных реформ Конгресса, ожидая наступления момента для активных действий. Основная трудность состояла, разумеется, в следующем: даже если это время наступит, не спутает ли все наши расчеты и не задержит ли нас снова какой-нибудь инцидент вроде Чаури Чаура? На этот вопрос он не давал в то время ответа. Не говорил он ничего определенного и относительно наших целей. Многим из нас хотелось отдать самим себе ясный отчет в том, к чему мы стремимся, хотя Конгрессу не было необходимости делать в то время какое-либо официальное заявление на этот счет. Намеяны ли мы были добиваться независимости и каких-то социальных перемен или же наши лидеры были готовы согласиться на нечто гораздо меньшее? Всего за несколько месяцев до этого я в своей речи на провинциальной конференции Конгресса Соединенных провинций, председателем которой я являлся, подчеркнул, что наша цель — независимость. Эта конференция состоялась осенью 1923 года, вскоре после моего возвращения из Набхи. Я только начал оправляться после болезни, которой меня наградила тюрьма Набха, и не мог присутствовать на конференции, но моя речь, которую я писал, лежа в постели с высокой температурой, была зачитана на ней.

В то время как некоторые из нас хотели, чтобы Конгресс внес полную ясность в вопрос о независимости, наши друзья либералы настолько отдалились от нас — или, быть может, это мы отдалились от них, — что открыто гордились великолепием и мощью империи, хотя эта империя могла обращаться с нашими соотечественниками, как с цыновкой для вытирания ног, а ее доминанты держали индийцев на положении рабов или вовсе не разрешали им въезд в страну. Састри стал имперским послом, а сэр Тедж Бахадур Сапру заявил на имперской конференции в Лондоне в 1923 году: «Я с гордостью могу сказать, что именно моя страна делает империю великой».

Казалось, огромный океан отделяет нас от этих либеральных лидеров: мы жили в разных мирах, мы говорили на разных языках, и наши мечты — если только эти люди когда-нибудь о чем-либо мечтали — были совершенно различны. Разве не было необходимо при этих условиях ясно и точно определить нашу цель?

Однако подобные мысли мало кого занимали в то время. Большинство людей не любит точности, особенно когда это касается националистического движения, которое по самой своей природе отличается неопределенностью и заключает в себе элемент мистицизма. В первые месяцы 1924 года внимание общест-венности сосредоточилось главным образом на деятель-

ности свараджистов в Законодательном собрании и провинциальных законодательных советах. Что предпримут эти группы после своих храбрых речей об «оппозиции изнутри» и о разрушении советов? Было сделано несколько красивых жестов. Законодательное собрание отвергло бюджет на текущий год; была принята резолюция, требующая созыва Конференции круглого стола для обсуждения условий предоставления свободы Индии. Законодательный совет Бенгалии, возглавляемый Дешбандху, также храбро проголосовал против поставок материалов. Однако как в Законодательном собрании, так и в провинциях вице-король или губернаторы утвердили бюджеты, и они приобрели силу закона.

Несколько речей, некоторый ажиотаж в законодательных органах, минутное торжество свараджистов, заголовки в газетах — и на этом все кончилось. Что они еще могли сделать? Они могли повторять свою тактику, но она уже утратила новизну: возбуждение улеглось и общественность привыкла к тому, что вице-король или губернатор утверждают бюджеты и законы. Следующий шаг уже не мог, разумеется, быть осуществлен свараджистами в рамках законодательных советов. Его можно было предпринять лишь вне законодательных органов.

Примерно в середине того же (1924) года в Ахмабаде состоялось заседание Исполнительного комитета Конгресса. На этом заседании неожиданно выявился острый конфликт между Гандиджи и свараджистами и произошло несколько драматических сцен. Инициатива исходила от Гандиджи. Он предложил внести серьезные коррективы в устав Конгресса, изменяющие правила приема новых членов. До сих пор членом Конгресса мог стать всякий, признающий первую статью устава, в которой излагаются цели свараджа и мирные методы их осуществления, и уплативший 4 анна. Теперь Гандиджи хотел, чтобы в члены Конгресса принимались лишь те, кто внесет вместо 4 анна определенное количество пряжи, изготовленной собственными руками. Тем самым серьезно ограничивался доступ в партию, и Исполнительный комитет Конгресса, конечно, не был вправе пойти на это. Но Гандиджи редко считался с буквой устава, если это оказывалось помехой для него. Я был возмущен его предложением, которое считал нарушением устава, и подал Рабочему комитету заявление об отставке с поста секретаря. Однако произошли кое-какие новые события, и я не настаивал на своем заявлении. Предложение Гандиджи встретило в Исполнительном комитете Конгресса решительное сопротивление со стороны моего отца и Даса, и, наконец, чтобы продемонстрировать свое категорическое несогласие с ним, они перед самым голосованием покинули заседание вместе с большим числом своих сторонников. Однако и после этого в комитете остался кое-кто из тех, кто выступал против резолюции. Резолюция была принята большинством голосов, но в конечном

итоге была взята назад, ибо на Гандиджи чрезвычайно сильно подействовали демонстративный уход свараджистов и непреклонная позиция, занятая в этом вопросе Дешбандху и моим отцом. У него были настолько взвинчены нервы, что случайное замечание одного из членов комитета вывело его из равновесия — и он сдался. Было совершенно очевидно, что он задет за живое. Он обратился к Конгрессу с глубоко прочувствованной речью, растрогавшей многих до слез. Это было трогательное и необычайное зрелище¹.

Я так и не мог понять, почему он так настаивал в то время на этом обязательном требовании о прядении как условии для приема в Конгресс. Ведь он не мог не знать, что это вызовет решительные возражения. Вероятно, ему хотелось, чтобы Конгресс состоял только из людей, верящих в его конструктивную программу кхадхи и т. д., и он был готов изгнать всех остальных или же заставить их подчиниться его требованиям. Но, несмотря на то, что на его стороне было большинство, решимость его поколебалась, и он стал проявлять готовность к компромиссу. На протяжении последующих трех или четырех месяцев он, к моему удивлению, несколько раз изменял свою позицию

¹ Вышеприведенный эпизод я записал в тюрьме по памяти. Однако я убедился, что память меня подвела и я упустил из виду важную сторону споров, происходивших на заседании Исполнительного комитета Конгресса, представив тем самым случившееся в ложном свете. Гандиджи вывела из равновесия резолюция об одном молодом бенгальском террористе (Гопинатхе Саха), которая была внесена на заседание, но провалилась. Насколько я помню, резолюция осуждала его поступок, но выражала сочувствие мотивам, которыми он руководствовался. Еще больше, чем сама резолюция, Гандиджи огорчили речи, которые ей сопутствовали. Его расстроило то, что многие в Конгрессе несерьезно относились к содержащемуся в резолюции заявлению о ненасилии. В появившейся вскоре в «Янг Индия» статье, посвященной этому заседанию, он писал: «Мне едва удалось собрать большинство в поддержку всех четырех резолюций. Но я должен рассматривать его как меньшинство. Комитет разделился почти поровну. Резолюция о Гопинатхе Саха решила дело. Речи, результаты голосования и сцены, которые я наблюдал после этого, буквально открыли мне глаза... После голосования резолюции о Гопинатхе Саха всякое чувство собственного достоинства исчезло. И на рассмотрение этих-то людей мне предстояло внести мою последнюю резолюцию! По мере того как шло заседание, я, должно быть, становился все более озабоченным. Я готов был бежать от этой гнетущей картины. Мне страшно было внести мою резолюцию... Не знаю, достаточно ли ясно я дал понять, что ни у одного из ораторов не было дурных намерений. Что меня мучило — это неосознанная безответственность и пренебрежение к конгрессистской доктрине, или политике ненасилия... Тот факт, что нашлось семьдесят представителей Конгресса, которые поддержали резолюцию, явился потрясающим открытием». Этот инцидент и комментарии Гандиджи по этому поводу весьма знаменательны, ибо они показывают, какое огромное значение придавал Гандиджи принципу ненасилия и как он реагировал на всякую, пусть даже бессознательную и косвенную, попытку оспаривать его. Многие из того, что он делал впоследствии, вероятно, было в основном вызвано такого рода реакцией. Ненасилие всегда было и остается основой его политического учения и деятельности.

по этому вопросу. Он пребывал, казалось, в полной растерянности и никак не мог нащупать почву под ногами. Этого я никак не ожидал от него, а потому был очень удивлен. Сам вопрос, как мне казалось, вовсе не был жизненно важным. Сделать труд обязательным условием членства в Конгрессе было весьма желательно, однако в той ограниченной форме, в какую была облечена эта идея, она отчасти утрачивала свой смысл.

Я пришел к заключению, что затруднения Гандиджи были вызваны тем, что он очутился в незнакомой области. Он был великолепен в своей специальной сфере прямого действия, основанного на принципах сатьяграхи, и инстинкт безошибочно указывал ему правильный путь. Он умел также отлично вести сам и заставлять других потихоньку вести в массах работу, имевшую своей целью социальную реформу. Он был способен понять лишь абсолютную войну или абсолютный мир. Ничего среднего он не принимал. Свараджистская программа борьбы и оппозиции внутри законодательных советов не вызывали у него сочувствия. Если человек хочет войти в законодательные органы, пусть он идет туда для того, чтобы сотрудничать с властями в совершенствовании законодательства и т. п., а не для того, чтобы создавать оппозицию. А если он этого не желает, пусть не идет туда. Свараджисты не придерживались ни того, ни другого правила, а потому ему трудно было иметь с ними дело.

В конце концов он все же примирился с ними. Собственно-ручное прядение было признано одним из возможных условий приема в члены Конгресса паряду с вступительным взносом в размере 4 анна. Он почти одобрил работу свараджистов в законодательных советах, хотя сам держался строго в стороне. Говорили, что он отошел от политики, и английское правительство и его чиновники решили, что популярность его идет на убыль и что он уже выдохся. Утверждали, что Дас и Неру оттеснили Ганди на задний план и, видимо, играют главную роль на политической арене. За последние пятнадцать лет замечания такого рода с соответствующими вариациями повторялись множество раз, и каждый раз они свидетельствовали о том, как удивительно плохо наши правители разбираются в чувствах индийского народа. С того времени, как Гандиджи появился на политической арене Индии, популярность его в массах никогда не убывала, она непрерывно росла, и этот процесс все еще продолжается. Массы, быть может, и не ведут себя так, как того хотелось бы Гандиджи, ибо человеческая натура часто бывает слаба, но их сердца преисполнены любви к нему. Когда этому способствуют объективные условия, они поднимаются — и возникают гигантские массовые движения, а когда эти условия отсутствуют, они ничем не проявляют себя. Вождь не создает массового движения из ничего, как бы мановением волшебной палочки. Он может воспользоваться усло-

виями, когда они возникают, может готовиться к ним, но не может создать их.

Можно, однако, с полным основанием сказать, что среди интеллигенции популярность Гандиджи то убывает, то снова растет. В моменты растущего подъема она следует за ним, когда же наступает неизбежная реакция, она начинает относиться к нему критически. Тем не менее огромное большинство интеллигенции чтит его. Отчасти это может быть объяснено отсутствием какой-либо другой действенной программы. Либералы и различные другие группы, напоминающие их, вроде респонсивистов, в счет не идут; сторонники террористического насилия утратили всякое влияние в современном мире, и их методы рассматриваются теперь как не эффективные и не современные. Социалистическая программа все еще мало известна, и она пугает членов Конгресса, принадлежащих к высшим классам.

После кратковременного политического отчуждения, в середине 1924 года, прежние отношения между моим отцом и Ганди возобновились и стали даже более сердечными, чем прежде. Как бы сильно они ни отличались друг от друга, каждый из них питал глубочайшее уважение и расположение к другому. Что же именно они ценили друг в друге? Отец дал нам некоторое представление об этом в кратком предисловии, которое он написал к брошюре «Течения мысли», содержащей избранные места из произведений Гандиджи.

«Мне приходилось слышать,— пишет он,— о святых и о сверхчеловеках, но я никогда не имел удовольствия с ними встречаться и должен признаться, что отношусь скептически к факту их существования. Я верю в людей и в дела рук человеческих. «Течения мысли», собранные в этом томе, созданы человеком и являются его творением. Они говорят о двух великих свойствах человеческой природы — Вере и Силе...

К чему все это приведет? — спрашивает человек, не обладающий ни верой, ни силой. Ответ «к победе или смерти» не прельщает его... А тем временем скромный и смиренный человек, твердо стоящий... на прочных основах несокрушимой веры и обладающий необоримой силой, продолжает призывать своих соотечественников к жертвам и страданиям во имя родины. Этот призыв находит отклик в миллионах сердец...» И он заканчивает цитатой из Суинберна:

Мужей с величьем царским разве нет меж нами,
Кому дано повелевать вещами?

Очевидно, он хотел подчеркнуть, что восхищается Гандиджи не как святым, или махатмой, а как человеком. Будучи сам сильным и непреклонным человеком, он восхищался силой его духа. Ибо всем было ясно, что в этом маленьком, физически слабом человеке было заключено что-то твердое, как сталь,

несокрушимое, как скала, что-то такое, с чем не могла совладать никакая физическая сила, как бы велика она ни была. И несмотря на его маловыразительные черты, несмотря на его полуприкрытую наготу, он обладал каким-то царственным величием, внушавшим окружающим невольное почтение. Сознательно и намеренно кроткий и скромный, он в то же время обладал внутренней силой и властностью; он знал это и временами прибегал к повелительному тону, издавая приказы, которым нельзя было не повиноваться. Его спокойные глубокие глаза овладевали вами и осторожно заглядывали вам в душу, а голос, звонкий и чистый, проникал в самое сердце, рождая там взволнованный отклик. Состояла ли его аудитория из одного человека или из тысячи, все они испытывали на себе обаяние и магнетизм этого человека, и каждый ощущал внутреннюю связь с оратором. К этому ощущению разум имел мало отношения, хотя Гандиджи обращался и к разуму. Однако сознание и рассудок явно играли во всем этом второстепенную роль. Он овладевал аудиторией не с помощью красноречия или гипноза вкрадчивых фраз. Он говорил всегда просто и по существу, без лишних слов. На слушателей действовала абсолютная искренность этого человека, сама его личность; казалось, в нем сокрыты неисчерпаемые источники внутренней силы. Быть может, созданию соответствующей атмосферы содействовали предания, сложившиеся вокруг его имени. Незнакомый с ними посторонний человек, чуждый всему окружающему, по всей вероятности, не поддался бы этим чарам или, во всяком случае, поддался бы им не в такой мере. И все же одним из самых замечательных свойств Гандиджи всегда была и по сей день остается его способность завоевывать на свою сторону или, по крайней мере, обзоруживать своих противников.

Гандиджи не умел ценить красоту или мастерство в вещах, созданных человеком, хотя его восхищала красота природы. Тадж Махал был для него всего лишь вещественным воплощением системы принудительного труда. Чувство обоняния было развито у него слабо. Однако при всем том он открыл своего рода искусство жить и придал своей жизни некую художественную цельность. Каждый его жест был исполнен значения и грации и был свободен от всякой фальши. В нем не было резкости, угловатости или хотя бы следа вульгарности и пошлости, столь свойственных, к сожалению, нашим средним классам. Обретя внутренний мир, он излучал его на окружающих и шел по извилистым путям жизни неустрашимо, твердым шагом.

Как непохож был на него мой отец! Но и он обладал сильной индивидуальностью и известной долей царственного величия, так что приведенные им строки Суинберна могли быть отнесены также и к нему. В любом обществе он неизменно становился центром внимания. Какое бы место за столом он

ни занимал, оно, по словам одного видного английского судьи, становилось центральным. Он не отличался ни кротостью, ни мягкостью и, также в отличие от Гандиджи, редко щадил тех, кто расходился с ним во взглядах. Склонный повелевать, он вызывал у одних глубокую преданность к себе, у других — острую враждебность. К нему трудно было относиться нейтрально, он внушал к себе либо симпатию, либо антипатию. Со своим широким лбом, плотно сжатыми губами и решительным подбородком он удивительно напоминал римских императоров, бюсты которых красуются в итальянских музеях. На это сходство указывали многие наши друзья в Италии, видевшие его фотографию. В позднейшие годы его жизни, когда голова его покрылась серебром — в отличие от меня он сохранил свои волосы до конца жизни, — внешность его приобрела особенное благородство и величавость, которые так редко встречаются ныне. Я, наверное, пристрастен к нему, но в этом мире, таком пошлом и слабом, мне очень не хватает общества отца с его благородством, и я тщетно ищу вокруг себя то величие и ту замечательную силу, которые так были свойственны ему.

Я помню, как однажды в 1924 году, когда Гандиджи вел борьбу с партией свараджистов, я показал ему фотографию отца. На этой фотографии отец был изображен без усов, а до тех пор Гандиджи всегда видел его с красивыми усами. Он чуть не вздрогнул при виде этой фотографии и долго ее рассматривал. Отсутствие усов подчеркивало суровость рта и подбородка, и Гандиджи, несколько сухо улыбнувшись, заметил, что теперь он понимает, с кем ему предстоит вести борьбу. Но лицо смягчали глаза и линии, обозначившиеся из-за частого смеха. Однако иногда эти глаза метали искры.

Отец с головой ушел в работу Законодательного собрания. Она отвечала его юридическим знаниям и знаниям в области государственного права, и правила этой игры, в отличие от сатьяграхи и ее разновидностей, были ему хорошо известны. Он установил строгую дисциплину в своей партии и даже добился поддержки других группировок и отдельных лиц. Однако в скором времени у него возникли трения со своими собственными последователями. В первый период своего существования партии свараджистов приходилось вести в Конгрессе борьбу с группой противников изменения политики, и в целях увеличения своего влияния в Конгрессе она приняла в свои ряды немало нежелательных элементов. Затем наступили выборы. Для проведения их требовались средства, за которыми приходилось обращаться к богатым. Этим богачей надо было ублажать, и некоторым из них предложили даже баллотироваться в качестве кандидатов свараджистской партии. «Политика, — как сказал один американский социалист (цитирую по сэру Стаффорду Криппсу), — это тонкое искусство, состоящее в том,

чтобы заставлять бедняков отдавать свои голоса, а богачей — средства на проведение избирательной кампании — с помощью обещаний защитить их друг от друга».

Все эти элементы с самого начала ослабили партию. Участие в деятельности Законодательного собрания и провинциальных законодательных советов вынуждало к ежедневным компромиссам с другими, более умеренными группами, а в этих условиях никакой боевой дух или принципы не могли сохраниться надолго. Постепенно дисциплина в партии начала падать; более слабые элементы и оппортунисты стали причинять неприятности. Свараджистская партия объявила, что целью ее участия в законодательных органах является «опозиция изнутри». Но в этой игре могли участвовать двое, и правительство решило в нее включиться, создавая оппозицию и раскол в рядах свараджистов. Слабых духом всячески соблазняли высокими постами и покровительством. Им нужно было лишь протянуть руку за всем этим. Превозносились их таланты, их качества государственных деятелей, их замечательное благоразумие. Вокруг них была создана приятная, слащавая атмосфера, такая далекая от грязи и суеты мирской.

Общее настроение у свараджистов понизилось. Время от времени то один, то другой перебежал на сторону противника. Отец мой метал громы и молнии и говорил о необходимости отсечь «большую ветвь». Однако подобные угрозы не производят особого впечатления, когда эта ветвь сама горит желанием отделиться. Некоторые свараджисты стали министрами, другие впоследствии стали членами исполнительного совета. Многие из них образовали отдельную группу, именовавшую себя «респонсивистами», или «сторонниками сотрудничества», — это название в свое время было употреблено Локаманьси Тилаком при совершенно иных обстоятельствах. В его нынешнем употреблении оно, повидимому, означало: хватайтесь за любой пост, какой вам подвернется, и постарайтесь извлечь из него максимум выгоды. Несмотря на все эти случаи отступничества, свараджистская партия продолжала свою деятельность, но отец и Дас были удручены оборотом событий и несколько тяготились своей деятельностью в законодательных органах, не приносившей, казалось, никаких результатов. Это падение духа усугублялось нараставшими трениями между индусами и мусульманами в Северной Индии, приводившими иной раз к беспорядкам.

Некоторые из членов Конгресса, сидевшие вместе с нами в тюрьме в 1921 и 1922 годах, стали теперь министрами или занимали другие высокие посты в правительстве. В 1921 году мы имели удовольствие быть объявленными вне закона и приговоренными к тюремному заключению правительством, в состав которого входило несколько либералов (также старых членов Конгресса). В будущем нам предстояло испытать новую радость — быть брошенными в тюрьму и объявленными вне за-

кона некоторыми из наших же собственных старых товарищей, по крайней мере в некоторых провинциях. Новые министры и члены исполнительного совета гораздо больше подходили для этой цели, чем либералы. Они знали нас и наши слабости и умели использовать их, они были хорошо знакомы с нашими методами, имели некоторый опыт общения с массами и разбирались в их настроениях. Прежде чем изменить своим убеждениям, они, подобно нацистам, демагогически прибегали к революционным методам и, пользуясь своими знаниями, могли расправляться со своими прежними товарищами по Конгрессу гораздо успешнее, чем были на то способны невежественные представители официальной иерархии или министры-либералы.

В декабре 1924 года в Бельгауме состоялся очередной съезд Национального конгресса, на котором председательствовал Гандиджи. Стать председателем Конгресса было для него в известном смысле понижением, ибо он в течение долгого времени являлся его постоянным верховным руководителем. Его вступительная речь мне не понравилась. Она показалась мне весьма мало вдохновляющей. В конце съезда я, по предложению Гандиджи, был вновь избран рабочим секретарем Исполнительного комитета Национального конгресса на следующий год. Помимо своей воли, я постепенно становился как бы бесшумным секретарем Конгресса.

Летом 1925 года отец болел; его сильно беспокоила астма. Он уехал с семьей в Дальхузи в Гималаях, а несколько позднее я также ненадолго присоединился к нему. Мы совершили небольшую экскурсию из Дальхузи в Чамба, в глубинном районе Гималаев. Мы прибыли туда в один из июньских дней, немного усталые после нашего путешествия по горным тропам. Нам подали телеграмму. В ней сообщалось о смерти Читта Ранджана Даса. Отец долго сидел, не двигаясь и не произнося ни слова, согнувшись от горя. Для него это был жестокий удар, и мне редко приходилось видеть его таким подавленным. Единственный человек, ставший для него самым близким и дорогим товарищем, внезапно покинул его, предоставив ему одному нести на себе их общее бремя. А бремя это росло — и отец и Дешбандху отдавали себе отчет в этом и в слабости своего народа. Последняя речь Дешбандху на конференции в Фаридпуре была речью немного уставшего человека.

На следующее утро мы покинули Чамба, пешком дошли через горы до Дальхузи, откуда на машине добрались до отдаленной железнодорожной станции и отправились поездом в Аллахабад, а оттуда — в Калькутту.

РЕЛИГИОЗНО-ОБЩИННЫЕ РАСПРИ

Моя болезнь осенью 1923 года после выхода из тюрьмы Набхи, когда мне пришлось вступить в поединок с тифозной бациллой, была для меня вещью необычной. Мне не приходилось лежать в постели с высокой температурой и ощущать физическую слабость. Я немножко гордился своим здоровьем и не был заражен мнительностью, представляющей довольно распространенное явление в Индии. Моя молодость и крепкий организм помогли мне выкарабкаться, но после того как кризис миновал, я долгое время лежал в постели, ослабевший, медленно восстанавливая свои силы. В этот период я чувствовал какую-то странную отрешенность от всего окружающего и от повседневной работы, глядя на все как бы издалека, со стороны. Мне казалось, что я могу абстрагироваться от отдельных деревьев и увидеть сразу весь лес в целом; мой разум, казалось, был яснее и спокойнее, чем раньше. Наверное, то же самое или нечто вроде этого ощущают все, кто перенес серьезную болезнь. Но у меня это было явлением духовного порядка (я употребляю это слово не в узко религиозном смысле), оказавшим на меня огромное влияние. Мне казалось, будто я поднялся над эмоциональной атмосферой нашей политической жизни и мог яснее видеть цели и побудительные мотивы собственных действий. С этим прояснением родились и новые вопросы, на которые у меня не находилось удовлетворительного ответа. Однако я все дальше и дальше отходил от религиозного взгляда на жизнь и политику. Я не могу об этом много писать,— это было чувство, которое трудно передать. Все это происходило одиннадцать лет назад, и след, сохранившийся в моей памяти, теперь уже сильно потускнел, но я ясно помню, что это чувство оказало сильное влияние на меня и на мой образ мыслей, и на протяжении двух последующих лет, занимаясь своей работой, я в какой-то мере продолжал ощущать эту отрешенность.

Это, без сомнения, отчасти объяснялось событиями, над которыми я совершенно не был властен и с которыми никак не мог примириться. Я уже упоминал о некоторых политических переменах. Но гораздо важнее было непрерывное ухудше-

ние отношений между индусами и мусульманами, особенно в Северной Индии. В крупных городах произошло несколько погромов, исключительно зверских и жестоких. Атмосфера недоверия и злобы рождала новые поводы для конфликтов, о которых большинство из нас раньше и не слышало. В прошлом частым поводом для раздоров служил вопрос о принесении в жертву коров, особенно в день Бакр-ид. Трения возникали также, если индусские и мусульманские праздники приходились на один и тот же день, как это было, например, когда Мохаррам совпал с празднованием Рам Лила. Мохаррам, напоминая о трагедии прошлого, вызывал чувства скорби и слезы, тогда как Рам Лила был праздником радости, праздником победы добра над злом. Эти два праздника не соответствовали друг другу. К счастью, они приходились на одни и те же дни примерно лишь раз в тридцать лет, ибо Рам Лила празднуется по солнечному календарю, в определенное время года, тогда как Мохаррам отмечается по лунному календарю и приходится на разные времена года.

Сейчас, однако, возник новый повод для трений, постоянно все снова и снова дававший о себе знать. Речь шла об исполнении музыки вблизи мечетей. Мусульмане возражали против того, чтобы музыка или какой-либо другой шум мешали их молитвам в мечетях. В каждом городе имеется множество мечетей, и моления в них происходят ежедневно по пять раз в день, причем на улицах, конечно, нет недостатка в шуме и различных шествиях (например, в свадебных или похоронных). Таким образом, поводы для трений существовали всегда. Особенно сильные возражения вызывают у мусульман шествия и шум во время вечерней молитвы в мечетях. Но как раз в это время совершается вечерняя служба и в индусских храмах, сопровождаемая ударами в гонги и звоном колоколов. Это называется *арти*. Конфликты между *арти* и *намазом* приняли теперь серьезные масштабы.

Кажется удивительным, что вопрос, который мог быть улажен в духе взаимного уважения к чувствам друг друга, для чего требовалось принять лишь некоторые регулирующие меры, породил столь сильное озлобление и беспорядки. Но когда затронуты религиозные страсти, тут уж не до рассудка и уважения к чужим чувствам, не до регулирующих мер, а страсти эти легко разжигать, когда третья сторона, занимающая господствующие позиции, может натравливать одну группу на другую.

Не следует преувеличивать значение этих беспорядков, имевших место в немногих северных городах. В большинстве крупных и мелких городов и во всех сельских районах Индии по-прежнему царил мир, почти не нарушаемый упомянутыми событиями, но газеты, естественно, раздували любые, даже самые мелкие столкновения между религиозными общинами. Впро-

чем, совершенно несомненно, что в городах трения и взаимное озлобление между общинами усилились. Этому способствовала верхушка общин. Отражением этого явились более жесткие политические требования, которые стали выдвигать общины. В связи с трениями между общинами реакционные мусульманские политические деятели, которые на протяжении всех этих лет движения несотрудничества держались в тени, теперь вновь, при поддержке английского правительства в Индии, выдвинулись на передний план. С их стороны каждый день выдвигались все новые и все большие требования, наносившие удар по самой основе национального единства и свободы Индии. Среди главных лидеров индусских религиозных общин также имелись политические реакционеры, которые под видом защиты религиозных интересов определенно играли на руку правительству. Им не удалось добиться удовлетворения своих требований, и это было невозможно при их методах, как бы они ни старались; они добились лишь еще большего обострения религиозно-общинной розни в стране.

Конгресс очутился в затруднительном положении. При его восприимчивости к национальным чувствам, выразителем которых он был, эти религиозно-общинные страсти не могли не затронуть его. Под внешней национальной оболочкой многих конгрессистов скрывались узкообщинные взгляды. Однако руководство Конгресса держалось стойко и в общем отказывалось примкнуть к той или другой из религиозных общин, или, вернее, к какой бы то ни было из религиозно-общинных групп, ибо теперь сикхи и другие, менее значительные, меньшинства также начали громко заявлять о своих правах. Тем самым Конгресс неизбежно навлекал на себя осуждение обеих сторон.

Давным-давно, еще в самом начале движения несотрудничества, а быть может, и еще раньше, Гандиджи выдвинул свою собственную формулу разрешения религиозно-общинной проблемы. По его мнению, она могла быть разрешена лишь при условии, если общинная группа, составляющая большинство, проявит добрую волю и великодушие, а потому он готов был пойти навстречу любым требованиям мусульман. Он хотел завоевать их на свою сторону, а не вступать с ними в сделку. С дальновидностью и знанием истинной цены вещам он старался ухватиться за нечто, имеющее реальную ценность, в то время как другие, полагавшие, что они знают рыночную цену всех вещей, и не знавшие подлинной стоимости чего бы то ни было, придерживались методов, практикуемых на базаре. Они с мучительной ясностью сознавали, во что им обошлась покупка, но не имели никакого представления о действительной ценности приобретенного ими предмета.

Легко критиковать и винить других и почти невозможно противостоять искушению найти какое-то оправдание провалу собственных планов. Быть может, этот провал был результатом

помех, намеренно чинившихся другими, а вовсе не результатом ошибочности собственных суждений или действий? Мы возлагаем вину на правительство и поборников религиозно-общинной розни, а те, в свою очередь, перекладывают ее на Конгресс. Правительство и его союзники, разумеется, чинили нам помехи; они делали это сознательно и упорно. Само собой разумеется также, что политика английского правительства в Индии как в прошлом, так и в настоящем основывалась на провоцировании раздоров в нашей среде. Империи всегда придерживались принципа «разделяй и властвуй», и степень их господства над теми, кого они эксплуатировали, определялась мерой успеха, достигнутого ими в осуществлении этого принципа. Бесплезно было бы жаловаться на это и, тем более, удивляться этому. Но было бы идейной ошибкой не считаться с такой практикой и не принимать против нее никаких мер.

Как следует нам против этого бороться? Разумеется, не путем сделок, торговли и вообще не с помощью рыночной тактики, ибо какое бы предложение мы ни сделали, какую бы высокую ни назначили цену, третья сторона всегда может не только предложить более высокую цену, но и подкрепить свои слова делами. Если у нас не будет общности во взглядах по национальным или социальным вопросам, не будет и общих действий против общего противника. Если мы будем исходить из существующего политического и экономического строя и захотим лишь кое в чем подправить его, реформировать, «индианизировать», не будет никакого истинного стимула к совместным действиям. В таком случае целью станет участие в дележе добычи, причем решающую роль будет играть третья, господствующая сторона, которая будет раздавать награды тем, кого сочтет достойными их. Лишь ставя перед собой задачу изменения политической системы и — что еще важнее — социальной системы, мы можем создать прочную основу для совместных действий. Главная идея, лежавшая в основе требования о независимости, заключалась в том, чтобы заставить народ понять, что мы боремся за создание совершенно нового политического строя, а не просто индианизированного издания нынешнего строя (с сохранением за кулисами английского контроля), которое означает собой статус доминиона. Под политической независимостью, конечно, имелась в виду только политическая свобода; никакие социальные перемены или предоставление экономической свободы массам не предусматривались. Однако она означала требование о разрыве финансовых и экономических цепей, приковавших нас к лондонскому Сити, а это должно было облегчить нам изменение социального строя. Так я думал тогда. Теперь я добавил бы к этому, что, по моему мнению, подлинная политическая свобода едва ли придет к нам сама собой. Когда она придет, она принесет с собой также в значительной степени и социальную свободу.

Но почти все наши лидеры попрежнему мыслили в узких железных рамках существующего политического, а также, разумеется, и социального строя. К каждой проблеме, как религиозно-общинной, так и конституционной, они подходили с этих позиций и этим неизбежно играли на руку английскому правительству, полностью контролировавшему этот строй. Поступать иначе они не могли, ибо вся система их взглядов была в основе своей реформистской, а не революционной, хотя они и прибегали изредка к прямым акциям. Однако те времена, когда какую бы то ни было политическую, экономическую или религиозно-общинную проблему Индии можно было удовлетворительно разрешить реформистскими методами, давно прошли. Обстановка требовала революционного подхода, революционных планов и решений. Но среди их лидеров на это никто не был способен.

Отсутствие ясных идеалов и целей в нашей борьбе за свободу, без сомнения, способствовало распространению религиозно-общинной розни. Народные массы не видели прямой связи между своими повседневными страданиями и борьбой за сварадж. Временами они вели довольно успешную борьбу, в которой ими руководил инстинкт, но это — ненадежное оружие, которое легко может притупиться или даже быть обращено на другие цели. Рассудок в этом не участвовал, и в периоды реакции поборникам религиозно-общинной розни нетрудно было играть на чувствах масс, используя их во имя религии в своих целях. Тем не менее нельзя не поражаться тому, как индусской и мусульманской буржуазии удалось, оперируя священным именем религии, добиться сочувствия масс и поддержки ими программ и требований, до которых массам или даже низшим прослойкам среднего класса не было решительно никакого дела. Любое из религиозно-общинных требований, выдвигаемых той или иной общинной группой, в основе своей является требованием должностей, а эти должности могли стать достоянием лишь горстки представителей верхушки среднего класса. Выдвигается, правда, также требование о предоставлении особых и дополнительных мест в законодательных органах, рассматриваемых как символ политической власти, однако и в ней видят главным образом возможность оказывать покровительство. Эти узкие политические требования, могущие принести пользу, в лучшем случае, ограниченному числу представителей верхушки средних классов и часто создающие препятствия на пути национального единства и прогресса, умело выдавались за требования масс данной религиозной группы. Их старались облечь в одежды религиозной страсти, дабы прикрыть их убожество.

Так политические реакционеры снова вернулись на политическую арену в обличии религиозно-общинных лидеров, и те различные шаги, которые они предпринимали, объяснялись в действительности не столько их религиозными предубежде-

ниями, сколько желанием противодействовать политическому прогрессу. В политической области мы, разумеется, ничего иного, кроме оппозиции, и не могли от них ожидать, но нас особенно возмущало то, как далеко они способны зайти в этом отношении. Мусульманские религиозно-общинные лидеры говорили самые невероятные вещи, и, казалось, им не было решительно никакого дела до индийского национализма или свободы Индии; индусские религиозно-общинные деятели, хотя они на словах прикрывались национализмом, в действительности были весьма далеки от него. Неспособные на какое бы то ни было настоящее дело, они старались заискивать перед правительством, но и это ничего им не давало. Как те, так и другие осуждали социалистическое и другие подобные ему «подрывные» движения, между ними существовало трогательное единодушие в отношении к любому предложению, затрагивавшему интересы привилегированных групп. Мусульманские религиозно-общинные лидеры говорили и делали много такого, что наносило ущерб политической и экономической свободе, но выступали ли они целой группой или по отдельности, они держались перед правительством и общественностью с известным достоинством. Об индусских религиозно-общинных лидерах едва ли можно было это сказать.

В Конгрессе было много мусульман. Среди них было немало способных людей, в том числе наиболее известные и популярные мусульманские лидеры Индии. Многие из этих мусульман-конгрессистов объединились в группу, называвшую себя «Националистической мусульманской партией», и вели борьбу против религиозно-общинных мусульманских лидеров. На первых порах они делали это довольно успешно, и значительная часть мусульманской интеллигенции была, казалось, на их стороне. Однако все это были люди, принадлежавшие к верхушке среднего класса, и среди них не было достаточно энергичных деятелей. Они углубились в свою профессию, в свою деловую активность, утратив связь с массами. По существу они никогда не общались с массами. Их тактика состояла в проведении салонных собраний и заключении взаимных соглашений и пактов, а в этой игре их соперники, лидеры религиозных общин, были более искусственными. Последние постепенно оттесняли мусульман-националистов с их позиций, заставляли их шаг за шагом отказываться от принципов, которых они придерживались. Мусульмане-националисты каждый раз пытались приостановить дальнейшее отступление и укрепить свои позиции, следуя тактике «наименьшего зла», но это неизменно влекло за собой новое отступление и выбор очередного «наименьшего зла». Наконец наступило такое время, когда у них не осталось ничего, что они могли бы назвать своей собственностью, ни одного основополагающего принципа, за исключением единственного, составлявшего буквально последний якорь,

за который держалась их группа,— общие избирательные округа. Однако политика наименьшего зла и на этот раз поставила их перед роковым выбором, и они вышли из этого испытания, лишившись даже этого последнего якоря. Таким образом, ныне они утратили последние остатки тех принципов и тактики, на основе которых была создана их группа и верность которым они клялись сохранить до конца,— они утратили все, кроме своего имени!

Провал и ликвидация националистов-мусульман как единой группы (как отдельные личности они, разумеется, остаются видными лидерами Конгресса) представляет собой печальную историю. Она насчитывает много лет, и последняя глава ее была написана лишь в нынешнем году (1934). В 1923 году и в последующие годы они представляли собой сильную группу, занимавшую наступательную позицию в отношении мусульманских религиозно-общинных лидеров. Было несколько случаев, когда Гандиджи готов был согласиться на некоторые требования последних, хотя они ему и не нравились, но его собственные коллеги, лидеры мусульман-националистов, помешали этому, заняв непримиримую позицию.

В середине двадцатых годов предпринимались многочисленные попытки урегулировать религиозно-общинную проблему путем взаимных переговоров и обмена мнениями — это называлось «конференциями единства». Наиболее примечательной из них была конференция, созванная Мухаммедом Али, который в 1924 году был председателем Национального конгресса. Конференция проходила в Дели, под знаком двадцатидневной голодовки Гандиджи. В работе этих конференций принимало участие много искренних людей; движимые лучшими побуждениями, они ревностно старались прийти к соглашению. Было принято несколько благонамеренных, хороших резолюций, но основная проблема осталась неразрешенной. Она и не могла быть разрешена с помощью подобных конференций, ибо для ее разрешения требовалось не большинство голосов, а фактическое единодушие, на конференциях же всегда находились экстремисты от различных групп, которые представляли себе разрешение вопроса как полное подчинение всех окружающих их собственным взглядам. Невольно возникали сомнения, стремились ли вообще некоторые видные религиозно-общинные деятели к разрешению проблемы. Многие из них были политическими реакционерами, и у них не было ничего общего с теми, кто желал радикальных политических перемен.

Однако действительные трудности крылись гораздо глубже и не были попросту результатом отступничества отдельных личностей. Теперь от имени своей религиозной общины стали громко заявлять о своих требованиях сикхи, и в Пенджабе создавалась чрезвычайно сложная обстановка. По существу, Пенджаб стал центром всей проблемы, и страх, испытываемый

каждой группой перед остальными, порождал атмосферу страстей и предрассудков. В некоторых провинциях аграрные конфликты — например, конфликт между индусскими заминдарами и мусульманскими арендаторами в Бенгалии — проявлялись как религиозно-общинные распри. В Пенджабе и Синде банкиры и прочие богатые классы в основном были индусами, должниками же были крестьяне-мусульмане, и ненависть разоренных должников к кредитору, сдиравшему с них шкуру, содействовала еще большему разжиганию религиозно-общинных страстей. Как правило, мусульмане были более бедной общиной, и мусульманским религиозно-общинным лидерам удавалось использовать вражду неимущих к имущим в своих целях, хотя, как это ни странно, эти цели не имели никакого отношения к облегчению участи неимущих. Благодаря этому мусульманские религиозно-общинные лидеры до некоторой степени представляли массы, черпая в этом свою силу. Индусские религиозно-общинные лидеры в экономическом отношении представляли богатых банкиров и городскую интеллигенцию, они пользовались весьма слабой поддержкой индусских масс, хотя времени им и удавалось добиться их сочувствия.

Наличие этих экономических группировок, таким образом, несколько осложняет проблему, хотя этот факт, к сожалению, не осознан. Все это может вылиться в более явный конфликт между различными экономическими классами, но, если это произойдет, нынешние религиозно-общинные лидеры, представляющие верхушечные классы всех религиозных групп, поспешат примирить свои разногласия, дабы встретить единым фронтом общего классового врага. Даже в нынешних условиях было бы нетрудно прийти к политическому урегулированию, если бы в дсле не участвовала третья сторона, но, увы, это условие отсутствовало.

Не успела в 1924 году закончиться делийская «конференция единства», как в Аллахабаде произошли столкновения между индусами и мусульманами. По количеству жертв беспорядки были сравнительно незначительными, но было горько сознавать, что все это происходит в твоём родном городе. Вместе с другими я поспешил из Дели домой. К моему возвращению погромы уже прекратились, но последствия их еще долгое время давали о себе знать в виде проявлений вражды и в виде судебных процессов. Я не помню, что послужило поводом к столкновениям. В том же году, а может быть позднее, произошли беспорядки в связи с празднованием Рам Лила в Аллахабаде. По всей вероятности, в знак протеста против запрещения производить шум вблизи мечетей от этих празднеств, всегда связанных с громадными шествиями, решено было отказаться. Вот уже около восьми лет, как Рам Лила не празднуется в Аллахабаде, и для сотен тысяч жителей Аллахабадского округа этот крупнейший праздник в году почти превратился уже в грустное

воспоминание. Как я хорошо помню мои посещения этого праздника, когда я был ребенком! Какое возбуждение нас всех охватывало! И какие огромные толпы людей стекались со всех концов округа и даже из других городов, чтобы посмотреть на праздник. Это был индусский праздник, но он проводился под открытым небом, и мусульмане также толпами приходили посмотреть на торжества, и всюду царили радость и веселье. Торговля процветала. Когда много лет спустя, уже будучи взрослым, я вновь наблюдал этот праздник, он не вызвал у меня никакого волнения, а шествия и живые картины показались мне даже довольно скучными. Мои требования к искусству и развлечениям повысились. Но и тогда я видел, как огромные толпы народа наслаждались зрелищем, радовались ему. Для них это был настоящий карнавал. А теперь вот уже восемь или девять лет детям Аллахабада, не говоря уже о взрослых, не представлялось случая полюбоваться этим зрелищем и провести хоть один день в радостном возбуждении, которое нарушило бы серое однообразие их жизни. И все это из-за мелких споров и конфликтов! Поистине религия и религиозный дух должны ответить за многое. Как они умеют убивать радость!

РАБОТА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

В течение двух лет я продолжал, хотя и все более неохотно, работать в аллахабадском муниципалитете. Срок моих председательских полномочий равнялся трем годам. Однако уже в начале второго года я пытался избавиться от этой ответственности. Работа мне нравилась, и я уделял ей много времени и внимания. Мне удалось добиться некоторого успеха и завоевать расположение всех моих коллег. Даже правительство провинции подавило свою политическую антипатию ко мне настолько, что одобряло некоторые из моих мероприятий в муниципалитете. И все же я чувствовал себя связанным, наталкивался на препятствия и лишен был возможности делать что-нибудь действительно стоящее.

Это не было сознательной обструкцией с чьей бы то ни было стороны, напротив, мне удивительно охотно шли навстречу. Однако, с одной стороны, действовала правительственная машина, с другой стороны, сказывалась апатия членов муниципалитета и общественности. Вся окостеневшая система муниципальной администрации, воздвигнутая правительством, стояла на пути серьезного развития и усовершенствований. Финансовая политика была такова, что муниципалитет всегда находился в зависимости от правительства. Существующие муниципальные законы не разрешали осуществления большинства радикальных программ налогообложения или социального развития. Но даже и те планы, которые допускались законом, требовали санкции правительства, и лишь оптимисты, готовые ждать годами, находили целесообразным просить и дожидаться такой санкции. Я поражался тому, как медленно, тяжело и неумело поворачивалась правительственная машина, когда дело касалось какого-нибудь социального мероприятия или национального строительства. Она отнюдь не проявляла медлительности или неумелости, когда надо было обуздать или уничтожить политического противника. Контраст был разительный.

Департамент правительства провинции, ведавший местным самоуправлением, возглавлял министр, однако это верховное божество, как правило, было полнейшим невеждой в муниципальных делах, да, по существу, и в любых общественных

делах. Он пользовался очень незначительным весом, и с ним мало считался даже его собственный департамент, которым руководили постоянные чиновники Индийской гражданской службы. Эти чиновники руководствовались господствовавшей среди высших властей в Индии концепцией, согласно которой задачи правительств сводятся главным образом к полицейским функциям. Эта концепция была окрашена известным налетом доброжелательного деспотизма, однако при этом едва ли признавалась необходимость проведения в широком масштабе социальных мероприятий.

Правительство всегда является кредитором муниципалитетов, и обращаясь с ними как полицейский, оно обращается с ними также и как кредитор. Своевременно ли уплачиваются взносы в счет погашения долгов? Является ли муниципалитет вполне платежеспособным и располагает ли он достаточным положительным балансом? Все это весьма важные и существенные вопросы, однако при этом часто упускается из виду, что муниципалитет призван отправлять также некоторые позитивные функции — заботиться о просвещении, об улучшении санитарных условий и т. п. — и что это не просто организация, существующая для того, чтобы брать в долг деньги и затем возвращать их через соответствующие промежутки времени. Социальные мероприятия, осуществляемые индийскими муниципалитетами, весьма немногочисленны, но и они ограничиваются всякий раз, когда возникают финансовые затруднения, причем первым обычно страдает просвещение. Господствующие классы лично не заинтересованы в муниципальных школах. Их дети учатся в более современных и дорогих частных школах, часто получающих дотации от государства.

Индийские города в большинстве своем могут быть разделены на две части: густо населенную собственно городскую часть и обширный район, застроенный дачами и коттеджами, обычно с примыкающими к ним довольно большими участками или садами. Этот второй район англичане обычно называют «сивил лайнс». Именно здесь живут английские чиновники и дельцы, а также многие индийцы, принадлежащие к верхушке средних классов, интеллигенция, чиновники и другие. Доход, получаемый муниципалитетом от собственно городского района, больше того дохода, который он получает от сивил лайнс, однако расходы на эти последние намного превосходят расходы на город. Дело в том, что сивил лайнс занимают гораздо более обширную площадь, которая требует больше дорог, а дороги приходится ремонтировать, очищать, поливать, освещать; система канализации, водоснабжения, санитарных мероприятий является здесь также более обширной. Городской район всегда находится в пренебрежении, что же касается бедных кварталов города, то их, разумеется, почти вовсе игнорируют. В городе мало хороших дорог, а большая часть его узких улиц

плохо освещается, не имеет надлежащей канализации и находится в скверном санитарном состоянии. Город терпеливо мирится со всеми этими неудобствами и редко жалуется; впрочем, если он даже и жалуется, это ни к чему не ведет. Почти все крупные и мелкие «шишки» живут на сивил лайнс.

Чтобы справедливее распределить бремя и осуществить некоторые улучшения, я хотел ввести налог на земельную собственность. Но не успел я заикнуться об этом, как последовал протест со стороны одного из правительственных чиновников — кажется, это был окружной магистрат,— который заявил, что это будет противоречить различным указам и положениям о земельных владениях. Такой налог совершенно явно должен был возложить большее бремя на владельцев дач в районе сивил лайнс. В то же время правительство вполне одобрительно относится к такому косвенному налогу, как заставная пошлина, который подрывает торговлю, ведет к повышению цен на все товары, включая и продовольствие, и особенно тяжело ударяет по беднякам. Этот обременительный для масс и вредный сбор является опорой большинства индийских муниципалитетов, хотя в более крупных городах он начинает, кажется, хотя и очень медленно, исчезать.

Как председателю муниципалитета мне приходилось, таким образом, иметь дело, с одной стороны, с безличной авторитарной правительственной машиной, которая тяжело тащилась в давно проложенной колее, упорно отказываясь двинуться быстрее или в ином направлении, и, с другой стороны, с моими коллегами, членами муниципалитета, большинство из которых также привыкло к проторенным путям. Среди них были идеалисты, относившиеся к своей работе с энтузиазмом, но в общем они не отличались широтой кругозора, стремлением к изменениям и улучшениям. Старый порядок был достаточно хорош, стоило ли пускаться в эксперименты, из которых могло ничего не выйти? Даже идеалисты и энтузиасты постепенно поддавались усыпляющему действию повседневной рутины. Существовал, однако, один вопрос, способный всегда вызывать у членов муниципалитета прилив энергии,— это вопрос о покровительстве и назначениях. Впрочем, интерес к этому вопросу не всегда имел своим результатом повышение их работоспособности.

Из года в год правительство в своих резолюциях, отдельные чиновники и газеты критикуют муниципалитеты и местные советы и указывают на их многочисленные недостатки. Из этого делается вывод, что демократические институты для Индии не подходят. Недостатки их действительно очевидны, однако при этом очень мало внимания уделяется той системе, в рамках которой им приходится функционировать. Эта система не является ни демократической, ни автократической; она представляет собой их помесь и обладает недостатками обеих. Можно признать, что центральное правительство должно иметь право

наблюдения и контроля, однако это не будет создавать помех деятельности местного органа самоуправления лишь при том условии, если само центральное правительство является демократичным и откликается на нужды народа. Там, где этого нет, между ними либо возникает борьба, либо наблюдается покорное подчинение воле центрального правительства, которое, таким образом, осуществляет власть, не неся при этом никакой ответственности. Такое положение нельзя, разумеется, признать удовлетворительным, и оно делает общественный контроль не-реальным. Даже члены муниципального совета больше считаютя с центральными властями, нежели со своими избирателями, население же, в свою очередь, часто игнорирует совет. Вопросы, имеющие подлинно социальное значение, едва ли когда-либо рассматриваются советом, главным образом потому, что они находятся вне сферы его компетенции, и его основной деятельностью является сбор налогов, что не способствует его особой популярности.

Избирательное право, на основе которого производятся выборы в местные органы, также ограничено и должно быть значительно расширено. Даже муниципалитеты таких крупных городов, как, например, муниципалитет Бомбея, избираются, насколько мне известно, на основе весьма ограниченного избирательного права. Резолюция, требовавшая расширения избирательного права, была не так давно по существу провалена в самом муниципалитете. Очевидно, большинство членов совета было вполне довольное своей судьбой и не видело никаких оснований изменять ее или подставлять ее под удар.

Но каковы бы ни были причины, факт остается фактом: наши местные органы, как правило, не представляют собой блестящий образец преуспевания и эффективности, хотя они даже сейчас не уступают некоторым муниципалитетам передовых демократических стран. Обычно они не заражены коррупцией — они попросту недостаточно действительны. Их слабым местом является кумовство; их взгляды глубоко ошибочны. Все это вполне естественно. Для успеха демократии необходимы просвещенное общественное мнение и чувство ответственности. Между тем мы живем в атмосфере всепроникающего деспотизма, и условия, сопутствующие демократии, у нас отсутствуют. У нас нет системы народного просвещения; не прилагаются никаких усилий к тому, чтобы создать в стране общественное мнение, основанное на знании. Не удивительно, что внимание общественности сосредоточивается на личных, религиозно-общинных и тому подобных мелких вопросах.

Главное, что заботит правительство в деятельности муниципалитета, — это чтобы он не занимался «политикой». Ко всякой резолюции, выражающей солидарность с национальным движением, относятся неодобрительно; в муниципальных школах запрещены учебники, отличающиеся в какой-либо мере нацио-

налистической окраской; там не разрешается даже вывешивать портреты национальных вождей. Муниципалитет не имеет права поднять национальный флаг, если он не хочет, чтобы его разогнали. За последнее время правительства нескольких провинций принимают, кажется, совместные попытки изгнать из муниципалитетов и городских советов всех членов Конгресса. Обычно для этой цели было достаточно косвенного давления, сопровождаемого угрозой лишить муниципалитет правительственных дотаций на просвещение и другие нужды. Однако в некоторых случаях, как, например, в отношении муниципалитета Калькутты, был издан специальный закон, запрещающий избрание в муниципалитет лиц, отбывавших тюремное наказание в связи с кампанией гражданского неповиновения или каким-либо другим политическим движением против правительства. Цель была чисто политическая — вопрос о некомпетентности или непригодности на данный пост не затрагивался.

Эти немногие примеры показывают, какой свободой располагают наши муниципальные и окружные советы, насколько они мало демократичны. Попытка отстранить политических противников от всякого участия в деятельности муниципалитетов и других местных органов — они, конечно, поступали на государственную службу не для того, чтобы сотрудничать, — заслуживает некоторого внимания. Подсчитано, что за последние четырнадцать лет в общей сложности около трехсот тысяч человек отбывало в разное время тюремное наказание, и, если оставить в стороне политические соображения, нет никаких сомнений, что среди этих трехсот тысяч человек были наиболее энергичные, идейные, наиболее проникнутые общественным сознанием и наиболее бескорыстные люди страны. Они обладали настойчивостью и энергией и были воодушевлены идеалами служения общему делу. Они представляли собой, таким образом, наилучший материал для общественных учреждений и коммунальных предприятий, и тем не менее правительство прилагало все старания, вплоть до издания специальных законов, для того чтобы отстранить этих людей и тем самым наказать их и тех, кто сочувствовал им. Оно оказывает предпочтение и поддержку лакеям, а после этого жалуется на плохую работу наших местных органов. И хотя говорят, что политика не входит в компетенцию местных учреждений, правительство ничего не имеет против того, чтобы они занимались политикой, если они выступают в его поддержку. Учителей местных городских школ фактически принуждали под угрозой увольнения выезжать в деревни для ведения пропаганды в пользу правительства.

За последние пятнадцать лет работникам Конгресса довелось столкнуться с немалыми трудностями, им приходилось нести на себе большую ответственность; наконец, они не без успеха вели борьбу с могущественным, прочно утвердившимся правительством. Эта суровая школа воспитала в них чувство

уверенности в себе, работоспособность и стойкость, она выработала в них те самые качества, которых индийский народ в результате длительного опустошающего воздействия авторитарного правительства оказался лишен. К движению, возглавляемому Конгрессом, как и ко всякому массовому движению, конечно, примыкает немало нежелательных лиц — людей глупых, неумелых или даже еще похуже. Но я совершенно не сомневаюсь, что средний деятель Конгресса является гораздо лучшим работником и отличается большей энергией, нежели любой другой человек средних способностей.

Во всем этом деле есть одна сторона, которую правительство и его советники, видимо, не учитывают. Истинные революционеры приветствуют попытки правительства лишить деятелей Конгресса всякой работы и закрыть перед ними всякую возможность поступить на службу. Общеизвестно, что средний конгрессист отнюдь не является революционером и по окончании периода полуреволюционной активности он возвращается к своей монотонной жизни и деятельности. Он погружается либо в дела своего предприятия, либо в свою профессию, либо в лабиринты местной политики. Проблемы более крупного масштаба отступают в его сознании на задний план, а тот революционный пыл, который был ему свойственен, ослабевает. Мушкетеры превращаются в жир, а душевное горение — в тяготение к обеспеченной жизни. Ввиду этой неизбежной тенденции всех работников, принадлежащих к средним классам, передовые, революционно мыслящие конгрессисты всегда старались не допустить, чтобы их товарищи углублялись в конституционные дебри законодательных собраний и местных органов самоуправления или занимали какие-либо постоянные должности, которые могли им помешать заниматься активной деятельностью. Однако теперь правительство в известной мере пришло им на помощь, несколько затруднив деятелю Конгресса получение работы. Возможно, благодаря этому он в какой-то степени сохранит свой революционный пыл или даже умножит его.

После года с лишним моей работы в муниципалитете я почувствовал, что не могу здесь найти должное применение своим силам. Единственное, что я мог сделать, это ускорить работу и сделать ее немного более продуктивной. Я не был в состоянии осуществить какие-либо серьезные перемены. Я хотел отказаться от своего председательского поста, но все члены совета уговаривали меня остаться. Я всегда встречал с их стороны доброжелательность и любезность, и мне трудно было отказать им. Однако по истечении второго года моего пребывания на этом посту я все же подал в отставку.

Это было в 1925 году. Осенью этого года моя жена серьезно заболела и несколько месяцев пролежала в больнице в Лакнау. Съезд Конгресса проводился в том году в Канпуре, и я, несколько потеряв голову, носился между Аллахабадом, Канпу-

ром и Лакнау (я все еще был генеральным секретарем Конгресса).

Моей жене рекомендовали продолжить лечение в Швейцарии. Я приветствовал эту идею, так как мне нужен был предлог, чтобы самому покинуть Индию. Ум мой был затуманен, я не видел перед собой ясного пути, и мне казалось, что, если я окажусь вдали от Индии, мне, быть может, удастся увидеть все в лучшей перспективе и осветить темные углы в моем сознании.

В начале марта 1926 года мы с женой и дочерью отплыли из Бомбея в Венецию. Вместе с нами, на том же пароходе, отправились моя сестра и зять Ранджит С. Пандит. Они собирались в Европу задолго до того, как возник вопрос о нашей поездке.

Глава двадцать первая

В ЕВРОПЕ

Я возвращался в Европу после более чем тринадцатилетнего отсутствия. Это были годы войны, революции и грандиозных перемен. Старый мир, который я знал, угас в крови и ужасах войны, и меня ждал новый мир. Я собирался пробыть в Европе шесть-семь месяцев или самое большее — до конца года. Фактически же мы пробыли там год и девять месяцев.

Для меня это был период как морального, так и физического покоя и отдыха. Мы прожили это время главным образом в Швейцарии — в Женеве и в горном санатории в Монтане. В начале лета 1926 года к нам приехала из Индии моя младшая сестра Кришна, остававшаяся с нами до конца нашего пребывания в Европе. Я не мог надолго оставлять жену, а потому совершал лишь кратковременные поездки в другие места. Позднее, когда жене стало лучше, мы предприняли небольшое путешествие по Франции, Англии и Германии. На вершине нашей горы, среди зимних снегов, я чувствовал себя совершенно отрезанным как от Индии, так и от европейского мира. Индия и события, происходившие там, казались особенно далекими. Я был сторонним наблюдателем: читал, следил за событиями, приглядывался к новой Европе с ее политической и экономической жизнью и гораздо более свободными взаимоотношениями между людьми и старался разобраться во всем этом. Когда мы были в Женеве, я, естественно, интересовался деятельностью Лиги наций и Международного бюро труда. Но с наступлением зимы все мое внимание поглотил зимний спорт; несколько месяцев все мои интересы были сосредоточены на нем и он составлял главное мое занятие. На коньках я бегал и раньше, но лыжный спорт был новым для меня, и я поддался его очарованию. Мне пришлось долгое время помучиться, но, несмотря на бесчисленные падения, я мужественно не оставлял этого занятия и в конце концов стал получать от него удовольствие.

Жизнь текла в общем однообразно. Дни шли за днями, и постепенно силы и здоровье жены начали восстанавливаться. Мы виделись с очень немногими индийцами, да, собственно говоря, и вообще мало с кем виделись, если не считать обитате-

лей маленькой колонии нашего горного курорта. Однако за год и девять месяцев нашего пребывания в Европе нам пришлось встречаться с некоторыми индийскими изгнанниками и старыми революционерами, имена которых были мне известны.

Среди них был Шиадж Кришнаварма, который проживал со своей больной женой в какой-то мансарде в одном из домов Женевы. Престарелая чета жила в полном одиночестве, без прислуги. Воздух в их комнатах был затхлый и спертый, все было покрыто толстым слоем пыли. У Шиаджи было много денег, но он не любил тратить их. Он предпочитал даже ходить пешком, чтобы сэкономить несколько сантимов на трамвае. Он подозрительно относился ко всем посетителям и, пока не удавалось его убедить в обратном, видел в них либо английских агентов, либо грабителей, покушающихся на его деньги. Карманы его были набиты ветхими экземплярами когда-то издававшейся им газеты «Индиян сосиолоджист»; он имел обыкновение вытаскивать их и взволнованно указывать на какую-нибудь статью, написанную им десяток лет назад. Говорил он неизменно о былых временах, об Индийском обществе в Хемпстиде, о разных лицах, которых английское правительство подсылало шпионить за ним, о том, как он распознавал их и обводил вокруг пальца. Стены его квартиры были уставлены полками, заполненными старыми книгами. Пропыленные и заброшенные, они скорбно взирали со своей высоты на вторгшегося к ним пришельца. Книжки и газеты устилали также пол; они, видимо, находились в таком положении много дней, недель, а может быть, и месяцев. Надо всем царил атмосфера уныния, разрушения; жизнь казалась здесь незваной гостьей, и когда вы шли по темным молчаливым коридорам, так и казалось, что из-за угла навстречу вам выйдет призрак смерти. Выйдя из этой квартиры и вдохнув чистого воздуха, каждый невольно испытывал облегчение.

Шиаджи хотел как-то распорядиться своими деньгами, учредить какой-нибудь общественный фонд, предпочтительно для финансирования обучения индийцев за границей. Он предложил мне быть одним из попечителей этого фонда, однако я не проявил особой охоты взять на себя эту ответственность. У меня не было ни малейшего желания ввязываться в его финансовые дела, и, кроме того, я чувствовал, что, если я проявлю к этому сколько-нибудь повышенный интерес, он тотчас же заподозрит меня в том, что я зарюсь на его деньги. Никто не знал, каково его состояние. Ходили слухи, что он много потерял в связи с инфляцией в Германии.

Время от времени через Женеву проезжали видные индийские деятели. Те, кто прибывал на сессии Лиги наций, принадлежали к официальным кругам, и Шиаджи, разумеется, никогда даже близко не подходил к ним. Однако на съезды Меж-

дународного бюро труда иногда приезжали видные лица, не имевшие отношения к официальному миру, в том числе даже известные деятели Конгресса. С ними Шиаджиджи старался встретиться. Интересно было наблюдать, как они вели себя по отношению к нему. Все они неизменно чувствовали себя неловко, в общественных местах старались избегать его и под тем или иным предлогом уклонялись от встречи с ним также и в частной обстановке. Быть связанным с ним или появляться в его обществе считалось небезопасным.

Так и влачили свою одинокую жизнь Шиаджиджи и его жена, без детей, без родных и друзей, почти ни с кем не общаясь и не поддерживая связи. Он был реликвией прошлого и явно пережил самого себя. Он никак не мог приспособиться к настоящему, и мир проходил мимо, не обращая на него никакого внимания. Однако в его взоре еще сохранилось что-то от прежнего огня, и хотя между ним и мною было очень мало общего, я не мог отказать ему в сочувствии и уважении.

Недавно газеты сообщили о его смерти, за которой вскоре последовала смерть благородной старой дамы из Гуджарата, всю жизнь сопутствовавшей ему в изгнании на чужбине. Сообщалось, что ею оставлена крупная сумма денег на обучение индийских женщин за границей.

Другим известным лицом, имя которого я часто слышал, но с которым встретился впервые в Швейцарии, был Раджа Махендра Пратап. Он был (и, я думаю, остался по сей день) восхитительным оптимистом, витающим в облаках, и отказывался считаться с действительностью. Увидев его впервые, я немного опешил. Он появился в каком-то странном, смешанном наряде, который, быть может, был бы подходящим где-нибудь в нагорьях Тибета или на сибирских равнинах, но был совершенно неуместным в разгар лета в Монтре. Это было нечто вроде полувоенного костюма, который дополняли высокие русские сапоги. Костюм имел множество больших карманов, которые были набиты бумагами, фотографиями и тому подобным. Среди них было письмо от германского канцлера Бетман-Гольвега, портрет кайзера с его автографом, красивый свиток от тибетского Далай Ламы и бесчисленное количество всевозможных документов и карточек. Удивительно, как много вмещали эти карманы. Он говорил нам, что однажды потерял в Китае сумку с важными бумагами и с тех пор решил, что надежнее носить документы на себе! Отсюда и множество карманов.

У Махендры Пратапа был неисчерпаемый запас рассказов о его странствиях и приключениях в Японии, Китае, Тибете и Афганистане. Он прожил богатую впечатлениями жизнь, и повесть о ней весьма интересна. Его новым увлечением было «Общество счастья», основанное им самим. А девизом было: «Будь счастлив». Наибольшим успехом это общество пользовалось, кажется, в Латвии (или, может быть, в Литве?).

Его метод пропаганды состоял в том, что он периодически рассылал почтовые открытки с печатным текстом обращения от своего имени к участникам различных конференций, собиравшихся в Женеве и других местах. Эти обращения подписывались им, но при этом указывалось какое-нибудь необычно длинное имя, каждый раз иное. «Махендра Пратап» было сокращено до начальных букв, но зато добавлялось множество других имен, из которых каждое, очевидно, обозначало ту или другую из излюбленных им стран, где он побывал. Тем самым он подчеркивал свой интернационалистский, космополитический дух, и соответственно этому последняя подпись под этим необычным именем гласила: «Слуга человечества». Трудно было принимать Махендру Пратапа всерьез. Он казался персонажем из какого-нибудь средневекового романа, Дон Кихотом, который случайно попал в двадцатое столетие. Но он был абсолютно честен и глубоко искренен.

В Париже мы виделись с престарелой мадам Кама, весьма грозной и производившей устрашающее впечатление, когда она, подойдя и уставившись вам в лицо, указывала на вас пальцем и отрывисто вопрошала, кто вы такой. Ответ ничего для нее не значил (она, вероятно, была слишком глуха, чтобы его слышать), ибо у нее создавалось собственное суждение о вас, которого она упорно придерживалась, хотя бы оно и противоречило фактам.

Следует упомянуть еще о моули Обейдулла, с которым я как-то встретился в Италии. Он показался мне одаренным, но скорее в том смысле, что он обладал способностями к старомодному политическому маневрированию. Он был чужд современных идей. Им был разработан план создания «соединенных штатов» или «соединенных республик Индии», представлявший собой весьма талантливую попытку разрешения религиозно-общинной проблемы. Он рассказал мне кое-что о своей прошлой деятельности в Стамбуле (в то время называвшемся еще Константинополем). Не придав этому большого значения, я вскоре забыл о нем. Через несколько месяцев он встретился с Лала Ладжпатоу Раи и, видимо, повторил ему тот же самый рассказ. На Лаладжи это произвело большое впечатление и сильно его взволновало, и эта история, со множеством совершенно неоправданных выводов и умозаключений, сыграла важную роль во время происходивших в том году выборов в Индийский государственный совет. Впоследствии моули Обейдулла уехал в Геджас, и за последние годы я ничего о нем не слышал.

Другой моули Баркатулла, с которым я встретился впервые в Берлине, был человеком совершенно иного типа. Обаятельный старик, очень восторженный и очень милый, он был довольно наивен, не отличался особым умом, но все еще пытался усвоить новые идеи и понять современный мир. Он умер в Сан-Фран-

циско в 1927 году, когда мы находились в Швейцарии. Я был глубоко опечален вестью о его кончине.

В Берлине находились многие из тех, кто составлял во время войны индийскую группу, однако сама группа давным-давно распалась. Они уже не были связаны друг с другом и ссорились между собой, причем каждый подозревал другого в предательстве. Такова, повидимому, судьба политических эмигрантов повсюду. Многие из этих берлинских индийцев предались спокойным буржуазным занятиям — там, где это оказалось возможным (что не так-то часто бывало в послевоенной Германии), и утратили какую бы то ни было революционность. Они даже избегали заниматься политикой.

История этой старой группы военного времени была интересна. Большинство ее членов были в то роковое лето 1914 года студентами германских университетов. Они жили общей жизнью с германскими студентами, пели их песни, участвовали в их играх, пили с ними пиво и с симпатией и уважением относились к их культуре. Война не касалась их, однако и их невольно в какой-то мере захватила захлестнувшая Германию волна националистической истерии. Их настроения в действительности были не прогерманскими, а антиамериканскими, и их индийский национализм толкал их на сторону врагов Англии.

Вскоре после начала войны в Германию через Швейцарию пробралось еще несколько индийцев, отличавшихся более определенными революционными взглядами. Они образовали комитет и решили вызвать Хардаяла, который находился в то время на западном побережье Соединенных Штатов. Хардаял прибыл через несколько месяцев. Между тем за это время комитет успел приобрести большое влияние. Этим он был обязан германскому правительству, которое, естественно, стремилось использовать в своих собственных целях любые антиамериканские настроения. Индийцы же, со своей стороны, хотели воспользоваться международной обстановкой в своих собственных националистических целях и не желали, чтобы их использовали исключительно в интересах Германии. У них не было особой свободы выбора, но они чувствовали, что могут дать что-то такое, что германским властям страшно хотелось получить, и это давало им возможность торговаться. Они требовали заверений и обещаний о предоставлении свободы Индии. Повидимому, германское министерство иностранных дел заключило с ними настоящий договор, по которому оно обязывалось в случае победы признать независимость Индии. Лишь на этом условии в сочетании с рядом других мелких условий индийская группа обещала свою поддержку в войне. Комитету оказывали всяческие официальные почести, и с его представителями обращались почти так же, как с послами иностранных государств.

Значение, которое внезапно обрела эта маленькая группа, состоявшая преимущественно из неопытных молодых людей, вскружило некоторым из них голову, и им казалось, что они играют историческую роль, что они участвуют в великих событиях, делающих эпоху. Многие из них пережили волнующие приключения, с трудом выпутывались из опаснейших положений. На последних стадиях войны влияние их заметно ослабело, их начали игнорировать. Хардаял, прибывший из Америки, давно уже был сброшен со счетов. Он совершенно не подходил комитету, и как члены комитета, так и германское правительство считали его ненадежным и потихоньку оттеснили его. Много лет спустя, когда в 1926—1927 годах я находился в Европе, меня поразило, с каким ожесточением и озлоблением относились к Хардаялу большинство старых индийских резидентов в Европе. Он жил в то время в Швеции, и мне не пришлось встретиться с ним.

Война окончилась, а с нею пришел конец и существованию индийского комитета в Берлине. После крушения всех надежд жизнь стала для них тягостной. Они ставили крупные ставки и проиграли. Жизнь неизбежно должна была казаться им монотонной после увлекательных приключений военных лет, когда они играли столь важную роль. Однако им нельзя было рассчитывать даже на обеспеченную монотонную жизнь. Вернуться в Индию они не могли, а жить после войны в побежденной Германии было нелегко. Им пришлось выдержать тяжелую борьбу. Впоследствии английское правительство разрешило некоторым из них вернуться в Индию, однако многим пришлось остаться в Германии. Положение их было необычно. Они не были гражданами какого бы то ни было государства. У них не было надлежащих паспортов. Выезжать за пределы Германии едва ли было возможно, и даже проживание в Германии было сопряжено с трудностями и зависело от милости полиции. Их жизнь была полна неуверенности и лишений, повседневных волнений и вечной тревоги из-за куска хлеба.

Установление в начале 1933 года нацистского режима должно было усугубить их несчастья, разве что они полностью примут нацистскую доктрину. В Германии не любят иностранцев, принадлежащих к ненордическим расам, в особенности же азиатов; их терпят лишь до той поры, пока они хорошо ведут себя. Гитлер недвусмысленно объявил себя сторонником английского империалистического господства в Индии, что, без сомнения, объяснялось его желанием расположить Англию в свою пользу, и он не желал оказывать поощрение каким-либо индийцам, которые навлекли на себя недовольство английского правительства.

Среди эмигрантов, которых мы встретили в Берлине, был видный член старой группы военного времени Чампакраман

Пиллаи. У него был довольно напыщенный вид, и молодые индийские студенты дали ему непочтительное прозвище. Он рассматривал все только с точки зрения национализма и не признавал социального или экономического подхода к какому бы то ни было вопросу. Он был на самой короткой ноге с германскими националистами, членами Стального шлема. Это был один из очень немногих индийцев в Германии, которые ладили с нацистами. Несколько месяцев назад, находясь в тюрьме, я прочел о его смерти в Берлине.

Совершенно иным человеком был Вирендранатх Чаттопадхья, один из представителей знаменитой в Индии семьи. Это был очень способный и обаятельный человек, которого называли просто Чатто. Он всегда находился в очень стесненных материальных обстоятельствах, был плохо одет, и ему часто не на что было даже поесть. Но чувство юмора и веселое настроение никогда не покидали его. В период моего обучения в Англии он на несколько лет опередил меня. Когда я поступил в Харроу, он уже был в Оксфорде. С тех пор он не возвращался в Индию. Порою его охватывала тоска по родине и он страстно желал вернуться домой. Все его связи с родиной были давно порваны, и можно не сомневаться, что, вернись он в Индию, он очень скоро почувствовал бы себя несчастным и выбитым из колеи. Но несмотря на многолетнее отсутствие и долгие скитания, тоска по родине остается. Ни один изгнанник не может избежать этой болезни, свойственной его племени, этой чахотки души, как называл ее Мадзини.

Я должен сказать, что большинство индийских политических эмигрантов, с которыми мне довелось встретиться за границей, не произвели на меня особого впечатления, хотя я и восхищался их жертвами, сочувствовал их страданиям и нынешним совершенно несомненным трудностям. Я встречался лишь с немногими из них, а сколько их рассеяно по всему свету! Лишь о некоторых из них мы знаем хотя бы понаслышке, остальные как бы выпали из индийского мира и забыты своими соотечественниками, которым они стремились служить. Из тех немногих, с кем мне пришлось встретиться, на меня произвели впечатление своими интеллектуальными качествами лишь В. Чаттопадхья и М. Н. Рой.

С Роем я виделся каких-нибудь полчаса в Москве. В то время он был видным коммунистом, хотя впоследствии его коммунистические воззрения отклонились от ортодоксальной линии Коминтерна. Чатто, я полагаю, не был настоящим коммунистом, но у него были склонности к коммунизму. В настоящее время Рой уже более трех лет находится в одной из индийских тюрем.

Но немало было и иных индийцев. Эти странствовали по Европе, произносили революционные фразы, выступали с дерзкими, фантастическими предложениями, задавали странные во-

просы. На них как бы лежала печать английской тайной полиции.

Встречались мы, разумеется, и со многими европейцами и американцами. Из Женевы мы не раз совершали паломничества (в первый раз — с рекомендательным письмом от Гандиджи) на виллу Ольга в Вилльневе, чтобы повидаться с Ромен Ролланом. Другим дорогим воспоминанием остались встречи с Эрнстом Толлером, молодым немецким поэтом и драматургом, который теперь, при нацистском господстве, уже не является более немцем, а также с Роджером Болдуином из нью-йоркского Союза гражданских свобод. В Женеве мы подружились также с писателем Дхан Гопал Мукерджи, поселившимся в Америке.

Еще до моего отъезда в Европу я встретился в Индии с Фрэнком Бухманом, руководителем движения оксфордской группы. Он дал мне кое-какую литературу о своем движении, и, ознакомившись с ней, я был сильно удивлен. Внезапные обращения, исповеди, как и вообще атмосфера религиозного возрождения, казались мне плохо согласующимися с разумом. Я не мог понять, каким образом некоторые люди, казалось, явно одаренные, могли испытывать эти странные эмоции и в такой мере поддаваться им. Все это вызывало у меня любопытство. В Женеве я снова встретился с Фрэнком Бухманом, и он пригласил меня на одно из своих международных собраний, которое на этот раз должно было состояться, кажется, в Румынии. Я сожалел о том, что не мог воспользоваться этим приглашением и поближе познакомиться с этим новым эмоционализмом. Мое любопытство, таким образом, осталось не удовлетворенным, и чем больше я читаю о росте движения оксфордской группы, тем больше оно меня удивляет.

Глава двадцать вторая

СПОРЫ В ИНДИИ

Вскоре после нашего прибытия в Швейцарию в Англии разразилась всеобщая стачка. Она сильно взволновала меня, и все мои симпатии были, разумеется, на стороне бастующих. Последовавший через несколько дней провал стачки явился для меня чуть ли не личным ударом. Спустя несколько месяцев мне довелось провести в Англии несколько дней. Горняки еще продолжали борьбу, и по вечерам Лондон был погружен в полутьму. Я совершил кратковременную поездку в угольный район — это было, кажется, где-то в Дербишире. Я видел изможденные, осунувшиеся лица мужчин, женщин и детей, но что было еще более показательно, я видел, как многих забастовщиков и их жен судили в местном суде или суде графства. Судьи сами были директорами или управляющими угольных шахт, и они судили горняков и за какие-нибудь мелкие проступки выносили им приговоры в соответствии со специальными чрезвычайными постановлениями. Одно из таких дел особенно возмутило меня: трех или четырех женщин с детьми на руках посадили на скамью подсудимых за то, что они освистали штрейкбрехеров. Вид у молодых матерей и их младенцев был жалкий, изнуренный. Долгая борьба сказалась на них, подорвала их силы и ожесточила против штрейкбрехеров, которые, как им казалось, вырывали кусок хлеба у них изо рта.

Нам часто приходится читать о классовом правосудии, и в Индии оно представляет собой самое обычное явление, однако я как-то не ожидал, что мне придется столкнуться с таким вопиющим его проявлением в Англии. Я был потрясен. Другим обстоятельством, несколько удивившим меня, была общая атмосфера страха, царившая среди горняков. Они были явно запуганы полицией и властями и, на мой взгляд, слишком безропотно мирились с совершенно возмутительным обращением. Правда, они были крайне истощены долгой борьбой, дух их был надломлен, их товарищи из других тред-юнионов давно покинули их. И все же между их положением и положением бедного индийского рабочего существовала огромная разница. Английские горняки все еще располагали мощной организацией, на их стороне было сочувствие национального и даже всемир-

ного профсоюзного движения, они имели в своем распоряжении средства пропаганды и различные другие ресурсы. Индийский рабочий ничего этого не имел. И все же у обоих был удивительно схожий испуганный и загнанный вид.

В этом году в Индии происходили выборы в Законодательное собрание и провинциальные законодательные советы, которые проводятся раз в три года. Они меня не интересовали. Но в Швейцарии до меня все же доходили некоторые отголоски связанной с ними ожесточенной борьбы. Я узнал о том, что пандит Мадан Мохан Малавия и Лала Ладжпат Раи создали новую партию в противовес свараджистской партии, которая была теперь не чем иным, как конгрессистской партией в Законодательном собрании. Новая партия именовалась националистической. Я не мог понять, да и сейчас не знаю, какие основные положения или принципы отличали новую партию от старой. По существу большинство нынешних индийских партий в Законодательном собрании похожи друг на друга, как близнецы, меж ними не существует каких-либо действительно принципиальных различий. Свараджистская партия впервые внесла в законодательные органы новый наступательный дух; она отставала более крайний политический курс, нежели другие партии, но разница здесь была лишь в степени, а не в существовании дела.

Новая националистическая партия была более умеренной по своим взглядам и определенно более правой, чем партия свараджистов. Она была также всецело индусской партией, действовавшей в тесном сотрудничестве с Хинду Махасабхой. Руководящая роль в этой партии пандита Малавия понятна, ибо националистическая партия весьма точно отражала его собственные общественные взгляды. В силу старых своих связей он продолжал оставаться в Конгрессе. Однако его воззрения мало чем отличались от воззрений либералов и умеренных. Он не одобрял несотрудничества и избранных Конгрессом новых методов прямого действия и не принимал никакого участия в выработке политического курса Конгресса. По существу он был чуждым новому Конгрессу, хотя там его глубоко уважали и всегда были рады ему. Он не был членом небольшого исполнительного органа Конгресса — Рабочего комитета. Он не следовал наказам Конгресса, в особенности тем, которые касались деятельности законодательных органов. Он был в то же время самым популярным из лидеров Хинду Махасабхи, и в религиозно-общинных вопросах его политическая линия расходилась с линией Конгресса. К Конгрессу он питал сентиментальную привязанность, ибо с этой организацией он был связан почти с самого начала, отчасти же эта привязанность объяснялась эмоциональным тяготением к борьбе за свободу, ибо он видел, что Конгресс был единственной организацией, прилагавшей действительные усилия в этом направлении. Таким образом,

сердцем он часто был на стороне Конгресса, особенно в периоды борьбы, но разумом он был в другом лагере. Это не могло не породить конфликта в его душе, и случалось, что у него являлось желание двигаться одновременно в противоположных направлениях. Все это сбивало публику с толку; но национализм представляет собой путаную мешанину, а Малавия был только националистом и не интересовался социальными или экономическими переменами. В культурном, социальном и экономическом отношениях он был и остался сторонником ортодоксального старого порядка; индийские князья, талукдары и крупные заминдары справедливо считают его своим благожелателем и другом. Единственная перемена, которой он желает — и желает страстно, — это полная ликвидация чужеземной власти в Индии. Политическое воспитание и книги, прочитанные им в юности, все еще продолжают оказывать влияние на его сознание, и он смотрит на динамичный, революционный послевоенный мир XX столетия сквозь очки полустатичного XIX века, Т. Х. Грина, Джона Стюарта Милля, Гладстона и Морли, рассматривая его с позиций старой индусской культуры и социологии, насытивших трех- или четырехтысячелетнюю историю. Это — странное сочетание, полное множества противоречий, однако он обладает удивительной уверенностью в своей способности разрешать противоречия. Его долгое служение обществу в самых различных сферах, начавшееся в ранней юности и продолжавшееся всю жизнь, успех, которого ему удалось добиться, создав такое крупное учреждение, как Индусский университет в Бенаресе, его несомненная искренность и честность, убедительное красноречие, нежная душа и обаяние его личности — все это располагает к нему индийскую публику, особенно индусскую ее часть, и даже если многие не согласны с ним и не разделяют его политических взглядов, они относятся к нему с уважением и любовью. Как по своему возрасту, так и по длительности своей общественной деятельности он является Нестором индийской политики, но Нестором, несколько отставшим, видимо, от современного мира и утратившим связь с ним. Звук его голоса еще приковывает к себе внимание, но уже мало кто понимает его речи или внимательно прислушивается к ним.

Поэтому было вполне естественно, что Малавияджи не прикнул к свараджистской партии, которая была слишком передовой для него в политическом отношении и требовала дисциплинированного соблюдения политического курса, установленного Конгрессом. Ему нужна была другая, более правая организация, которая предоставляла бы большую свободу действий как в политической, так и в религиозно-общинной сфере, и он обрел такую организацию в лице новой партии, основателем и вождем которой был он сам.

Не так легко понять присоединение к этой новой партии

Лала Ладжпата Раи, хотя он также склонялся несколько вправо и придерживался религиозно-общинной ориентации. В то лето я виделся с Лаладжи в Женеве, и из наших разговоров я не вынес такого впечатления, что он намеревается решительно выступить против Конгресса. Как это произошло, я до сих пор не понимаю. Но в ходе избирательной кампании он выдвинул несколько неопределенных обвинений, позволявших судить о направлении его мыслей. Он обвинял лидеров Конгресса в том, что они участвуют в интригах, в которых замешаны лица, находящиеся вне пределов Индии. Далее он обвинял их в том, что результатом одной из таких интриг явилось учреждение отделения Конгресса в Кабуле. Насколько мне известно, он ни разу не уточнил своих обвинений и не привел никаких конкретных доказательств в их подкрепление, хотя его неоднократно об этом просили.

Помню, что, прочитав в индийских газетах, дошедших до меня в Швейцарии, об обвинениях, выдвинутых Лаладжи, я был поражен. Как секретарь Конгресса, я был в курсе всех дел, касавшихся нашей организации, сам содействовал присоединению к ней Кабульского комитета (инициатива в этом вопросе принадлежала Дешбандху Дасу), и хотя не знал в то время (как не знаю и сейчас) подробностей обвинений, но, судя по общему их характеру, я мог утверждать, что, поскольку это касалось Конгресса, они были лишены всякого основания. Не знаю, что ввело Лаладжи в заблуждение. Быть может, он поверил всякого рода слухам; я думаю также, что на него оказала влияние его недавняя беседа с моульви Обейдулла, хотя мне казалось, что во время этой беседы не было сказано ничего особенного. Однако выборы — довольно странная вещь. Они обладают поразительным свойством выводить из равновесия и опрокидывать обычные представления. Чем больше я их наблюдаю, тем больше удивляюсь, и во мне все более усиливается явно недемократическое отвращение к ним.

Но, оставляя в стороне личности, появление националистической или какой-либо другой подобной ей партии было неизбежным ввиду обострения религиозно-общинной розни в стране. С одной стороны, наблюдался страх мусульман перед индусским большинством, с другой стороны — недовольство индусов тем, что они рассматривали как запугивание со стороны мусульман. Многие индусы находили, что мусульмане ведут себя слишком диктаторски и слишком часто прибегают к угрозам перейти на сторону противника, пытаясь тем самым добиться для себя особых привилегий. В силу всего этого Хинду Махасабха приобрела некоторое влияние как представительница индусского национализма и индусского религиозно-общинного духа в противовес мусульманскому. Энергичная деятельность Махасабхи, в свою очередь, стимулировала мусульманский религиозно-общинный дух, и, таким образом, они продолжали

оказывать взаимное воздействие друг на друга, все более и более обостряя рознь между религиозными общинами в стране. В основном вопрос сводился к взаимоотношениям между большинством населения Индии и многочисленным меньшинством. Любопытно, однако, что в некоторых районах страны положение было иным. В Пенджабе и Синде индусы и сикхи составляли меньшинство, а мусульмане — большинство, и эти меньшинства в указанных провинциях так же боялись быть раздавленными враждебным большинством, как этого боялись мусульмане во всей Индии. Точнее говоря, имевшиеся в каждой из этих групп охотники за выгодными должностями, принадлежавшие к среднему классу, боялись, как бы их не вытеснила другая группа, а привилегированные круги до некоторой степени боялись радикальных перемен, которые могли бы затронуть их привилегии.

Это усиление религиозно-общинной розни отрицательно сказалось на свараджистской партии. Кое-кто из ее членов — мусульман вышел из ее состава и примкнул к религиозно-общинным организациям, а некоторые из свараджистов индусов перешли в националистическую партию. Малавияджи и Лала Ладжпат Раи были весьма популярны среди избирателей — индусов, а Лаладжи пользовался большим влиянием в Пенджабе, главным центре религиозно-общинной вражды. Что же касается свараджистской партии, или Конгресса, то основное бремя предвыборной борьбы пало на моего отца. Ч. Р. Даса, который мог бы разделить с ним это бремя, не было больше в живых. Отец любил борьбу, во всяком случае, никогда не уклонялся от нее, а растущая мощь оппозиции заставила его вложить в избирательную кампанию всю свою огромную энергию. Он получал и наносил сам тяжелые удары; ни та, ни другая сторона не проявляла милосердия и не давала пощады противнику. Эти выборы оставили после себя воспоминания, окрашенные горечью.

Националистическая партия добилась довольно значительного успеха, но этот успех явно снизил политический вес Законодательного собрания. Центр тяжести передвинулся вправо. Свараджистская партия сама являлась правым крылом Конгресса. Ее попытка расширить свои ряды привела к проникновению в партию большого числа сомнительных элементов, что отрицательно отразилось на ней. Националистическая партия придерживалась такого же курса, но в еще худшем виде, и ряды ее пополнились пестрым сбродом — титулованными особами, крупными землевладельцами, промышленниками и прочими, имевшими весьма отдаленное отношение к политике.

Конец 1926 года был омрачен трагедией, заставившей всю Индию содрогнуться от ужаса. Она показала, до чего могут довести наш народ религиозно-общинные страсти. Свами Шраддхананд был убит в постели каким-то фанатиком. И такая

смерть выпала на долю человека, который, обнажив свою грудь перед штыками гурков, смело шел навстречу пулям! Почти восемь лет назад он, один из вождей Арья Самадж, стоял на кафедре великого храма Джами Масджит в Дели и проповедовал перед огромным сборищем мусульман и индусов необходимость единства и свободы для Индии. И эта огромная масса людей приветствовала его громкими криками *Хинду-Мусулман ки джай*, и, выйдя на улицу, эти люди скрепили этот лозунг своей кровью. А теперь он лежал мертвый, убитый своим соотечественником, который, без сомнения, думал, что совершает похвальное деяние, за которое попадет в рай.

Я всегда восхищался чисто физическим мужеством — мужеством, позволяющим ради правого дела идти на физические страдания и даже на смерть. Я думаю, что большинство из нас восхищается им. Свами Шраддхананд был в удивительной мере наделен бесстрашием. У него была высокая, статная фигура. Он носил одеяние саньясина и, несмотря на свой преклонный возраст, держался совершенно прямо. Глаза его сверкали, а по лицу иной раз пробегала тень раздражения или гнева, вызванного чьей-нибудь слабостью. Как мне запомнился этот яркий образ и как часто он возникает передо мной!

Глава двадцать третья

**КОНГРЕСС УГНЕТЕННЫХ НАРОДОВ
В БРЮССЕЛЕ**

В конце 1926 года мне довелось быть в Берлине, где я узнал о предстоящем Конгрессе угнетенных народов, который должен был состояться в Брюсселе. Эта идея мне понравилась, и я направил на родину письмо, в котором предложил, чтобы Индийский национальный конгресс принял участие в Брюссельском конгрессе. Мое предложение было принято, и я был назначен представителем Индийского конгресса в Брюсселе.

Брюссельский конгресс состоялся в начале февраля 1927 года. Я не знаю, кто был его инициатором. Берлин был в то время центром, привлекавшим к себе политических эмигрантов и радикальные элементы из других стран; он постепенно догонял в этом отношении Париж. Коммунистические элементы также были там представлены весьма широко. Идеи о необходимости каких-то совместных действий угнетенных народов, а также совместных действий этих народов и левого крыла рабочего движения пользовались большой популярностью. Становилось все более ясно, что борьба за свободу есть общая борьба против общего противника — империализма и что для этой цели желательно совместно выработать план действий, а по возможности, и предпринять совместные действия. Колониальные державы — Англия, Франция, Италия и другие, — разумеется, враждебно относились ко всяким попыткам такого рода, но Германия после войны уже не была колониальной державой, и германское правительство рассматривало усиление волнений в колониях и владениях других держав с позиций благожелательного нейтралитета. Это было одной из причин, способствовавших превращению Берлина в центр притяжения передовых элементов и недовольных из-за границы. Среди них наиболее видную и активную роль играли китайцы, примыкавшие к левому крылу Гоминдана, который как раз в это время неудержимо продвигался через Китай, сметая на своем пути старые, феодальные силы. Перед лицом этого нового явления даже империалистические державы утратили свои агрессивные привычки и угрожающий тон. Казалось, что разрешение проблемы единства и свободы Китая уже не далеко. Гоминдан был упоен успехом, но он отдавал себе отчет

в трудностях, ожидавших его впереди, и стремился укрепить свои позиции с помощью международной пропаганды. По всей вероятности, именно левое крыло этой партии, действовавшее в сотрудничестве с заграничными коммунистами и элементами, близкими к коммунистам, делало особый упор на пропаганду такого рода с целью укрепить как национальные позиции Китая за границей, так и свои собственные позиции в партии. К тому времени Гоминдан еще не успел расколоться на две или большее количество соперничающих и резко враждебных друг другу групп и представлял собой внешне единое целое.

Представители Гоминдана в Европе приветствовали поэтому идею Конгресса угнетенных народов; быть может, даже именно они вместе с кем-нибудь еще выдвинули эту идею. Некоторые коммунисты и близкие к ним лица также с самого начала поддерживали это предложение, но в общем коммунистические элементы держались на заднем плане. Активную помощь и поддержку оказала также Латинская Америка, где в то время бурлило возмущение против экономического империализма Соединенных Штатов. Мексика, имевшая радикального президента и проводившая радикальную политику, стремилась возглавить латиноамериканский блок против Соединенных Штатов. Она проявляла поэтому большой интерес к Брюссельскому конгрессу. Официально правительство не могло в нем участвовать, но оно поручило одному из своих ведущих дипломатов присутствовать на конгрессе в качестве благожелательного наблюдателя.

В Брюсселе присутствовали также представители от национальных организаций Явы, Индо-Китая, Палестины, Сирии, Египта, от арабов Северной Африки и от африканских негров. Были представлены также многочисленные левые рабочие организации и присутствовало несколько видных деятелей, принимавших на протяжении жизни целого поколения активное участие в борьбе европейского рабочего класса. Коммунисты также присутствовали на конгрессе и активно участвовали в его работах; они прибыли не в качестве коммунистов, а как представители профсоюзов или других подобных организаций.

Председателем был избран Джордж Лансбери, произнесший яркую вступительную речь. Уже один этот факт свидетельствовал о том, что в конечном итоге конгресс вовсе не был таким уж крайним по своим устремлениям и не был неразрывно связан с коммунизмом. Не приходится, однако, сомневаться, что конгресс был настроен дружелюбно по отношению к коммунистам и что, несмотря на разногласия с ними по некоторым вопросам, повидимому, имелись и некоторые общие исходные точки для совместных действий.

Лансбери согласился также стать председателем созданной на конгрессе постоянной организации — Антиимпериалистической лиги. Однако он скоро раскаялся в своих опрометчивых

действиях, или, возможно, их осудила английская лейбористская партия. Лейбористская партия представляла собой в то время «оппозицию его величества», которой в скором времени суждено было превратиться в «правительство его величества», и будущим членам кабинета не подобало ввязываться в рискованную и революционную политическую деятельность. Лансбери ушел с поста председателя лиги под тем предлогом, что у него не хватает для этого времени; он даже вышел из состава лиги. Меня огорчила эта внезапная перемена в человеке, речью которого я восхищался всего лишь двумя или тремя месяцами раньше.

Однако среди руководящих деятелей Антиимпериалистической лиги было довольно много выдающихся людей, в том числе Эйнштейн, г-жа Сун Ят-сен и, кажется, Ромен Роллан. Спустя несколько месяцев Эйнштейн подал в отставку, так как он не был согласен с проарабской позицией лиги в арабско-еврейских конфликтах в Палестине.

Брюссельский конгресс, а также последующие заседания комитета лиги, проводившиеся время от времени в различных местах, помогли мне разобраться в некоторых проблемах колониальных и зависимых стран. Они дали мне также некоторое представление о внутренних конфликтах, происходивших в рабочем движении Запада. Кое-что о них я уже знал, ибо читал об этом, но знания мои были лишены жизненности, так как лично я со всем этим не соприкасался. Теперь я в какой-то мере с этим соприкоснулся, и мне приходилось иметь дело с проблемами, которые отражали эти внутренние конфликты. Если говорить о II Интернационале и III Интернационале, то мои симпатии были на стороне последнего. Вся деятельность II Интернационала с момента возникновения войны и в дальнейшем внушала мне отвращение; мы в Индии в достаточной мере познакомились на личном опыте с методами одного из главных сторонников II Интернационала — английской лейбористской партией. В силу всего этого я неизбежно должен был доброжелательно отнестись к коммунизму, ибо, при всех его недостатках, он, по крайней мере, не был ни лицемерным, ни империалистическим. Я не стал последователем его доктрины, ибо я слабо разбирался в тонкостях коммунистического учения и мои познания ограничивались в то время лишь его общими принципами. Они привлекали меня к себе так же, как и грандиозные перемены, совершавшиеся в России. Однако коммунисты часто раздражали меня своими диктаторскими замашками, своими агрессивными и довольно вульгарными методами и своей манерой ругать каждого, кто с ними не соглашался. Эта реакция, без сомнения, была, как бы они сказали, результатом моего буржуазного воспитания и образования.

Любопытно, что на заседаниях нашего комитета Антиимпериалистической лиги во всех спорах по мелким вопросам я, как

правило, был на стороне англичан и американцев. В нашем подходе к вопросам было известное сходство, по крайней мере в отношении метода. Мы единодушно протестовали против пышных и многословных резолюций, напоминавших собой манифесты. Мы предпочитали что-нибудь попроще и покороче, но традиция стран континента была против этого. Часто возникали разногласия между коммунистическими элементами и не коммунистами. Обычно мы достигали какого-то компромисса. Позднее некоторые из нас возвратились на родину и не могли более присутствовать на заседаниях комитета.

Министерства иностранных дел и министерства колоний империалистических держав относились к Брюссельскому конгрессу не без страха. Известный автор «Ангур», связанный с английским министерством иностранных дел, дал довольно сенсационное и местами смехотворное описание его в одной из своих книг. На самом конгрессе, вероятно, было полно международных шпионов, и многие делегаты представляли тайную полицию различных государств. Мы убедились в этом на одном забавном примере. К одному моему приятелю — американцу, находившемуся в Париже, — явился француз, состоявший на службе во французской тайной полиции. Это был вполне дружеский визит, цель которого состояла в том, чтобы кое-что выяснить. Покончив с расспросами, он осведомился у американца, узнал ли тот его, ибо они уже встречались в прошлом. Американец пристально разглядывал его, но вынужден был сказать, что не узнает его. Тогда агент тайной полиции сообщил ему, что он виделся с ним на Брюссельском конгрессе, на котором он присутствовал в качестве негритянского делегата, зачернив себе лицо и руки!

Одно из заседаний комитета Антиимпериалистической лиги состоялось в Кельне, и я присутствовал на нем. По окончании заседания нам предложили отправиться в Дюссельдорф, находящийся неподалеку, чтобы принять участие в митинге протеста против казни Сакко и Ванцетти. Когда мы возвращались обратно по окончании митинга, полиция потребовала, чтобы мы предъявили свои паспорта. У большинства паспорта были при себе, я же оставил свой в отеле в Кельне, так как мы отправились в Дюссельдорф всего на несколько часов. Я был препровожден в полицейский участок. К моей радости, у меня оказались товарищи по несчастью — один англичанин с женой, которые также оставили свои паспорта в Кельне. После примерно часового ожидания, во время которого, по всей вероятности, были наведены справки по телефону, начальник полиции соизволил отпустить нас.

В последующие годы Антиимпериалистическая лига более сблизилась с коммунистами, хотя, насколько мне известно, она никогда не утрачивала своего самостоятельного характера. Я мог поддерживать связь с ней лишь путем переписки. В 1931 году

лига чрезвычайно рассердилась на меня за ту роль, которую я сыграл в делийском перемирии между Конгрессом и английским правительством в Индии, и торжественно объявила о моем отлучении, или, точнее говоря, приняла специальную резолюцию о моем исключении. Я должен признаться, что у нее был для этого серьезный повод, но она могла все же предоставить мне какую-то возможность объяснить мои действия.

Летом 1927 года мой отец приехал в Европу. Я встретился с ним в Венеции, и на протяжении нескольких следующих месяцев мы часто бывали вместе. Все мы — отец, моя жена, моя младшая сестра и я — предприняли кратковременную поездку в Москву в ноябре, во время празднования десятой годовщины советской власти. Это была очень непродолжительная поездка, решение о которой мы приняли в последнюю минуту. Мы провели в Москве всего три или четыре дня. Но мы были рады, что побывали там, ибо даже такое беглое знакомство имело смысл. Мы не узнали, да и не могли узнать много о новой России в результате этой поездки, но она дала нам какую-то основу для дальнейшего ознакомления с этой страной по книгам. Для моего отца всякого рода советские и коллективистские идеи были совершенно новы. Он был воспитан на принципах законности и конституционализма, и ему нелегко было выйти за эти рамки. Однако то, что он увидел в Москве, явно произвело на него впечатление.

Мы находились в Москве, когда впервые сообщили о назначении комиссии Саймона. Мы прочли об этом впервые в одной из московских газет. Спустя несколько дней отец выступал в тайном совете в Лондоне в связи с одной индийской апелляцией. Его коллегой был при этом сэр Джон Саймон. Это было старое дело одного заминдара, на первых стадиях которого многими годами раньше я также выступал в суде. Оно более не интересовало меня, но по предложению сэра Джона Саймона я как-то раз сопровождал отца в контору сэра Джона для консультации.

1927 год подходил к концу. Наше пребывание в Европе слишком затянулось. Вероятно, мы вернулись бы домой раньше, если бы не поездка отца в Европу. Мы намеревались на обратном пути побывать в Юго-Восточной Европе, Турции и Египте. Но теперь для этого уже не было времени. Я очень хотел вернуться во-время, чтобы успеть на очередной съезд Конгресса, который должен был состояться на рождество в Мадрасе. В начале декабря моя жена, сестра, дочь и я отплыли из Марселя в Коломбо. Отец остался в Европе еще на три месяца.

Я ВОЗВРАЩАЮСЬ В ИНДИЮ И ВНОВЬ ПОГРУЖАЮСЬ В ПОЛИТИКУ

Я возвращался из Европы в хорошем физическом и душевном состоянии. Жена моя еще не совсем поправилась, но ей стало гораздо лучше, и я меньше волновался за нее. Я чувствовал себя полным сил и жизненной энергии, и ощущение внутреннего разлада и разочарования, которое раньше так часто угнетало меня, пока не давало о себе знать. Мое мировоззрение стало более широким, и национализм в собственном смысле слова казался мне определенно узкой и недостаточной доктриной. Политическая свобода, независимость, без сомнения, имели существенно важное значение, но это были только шаги в верном направлении; при отсутствии социальной свободы и социалистического строя общества и государства ни страна, ни человеческая личность не могли свободно развиваться. Я чувствовал, что стал теперь лучше разбираться в международных вопросах, лучше понимал современный мир, находящийся в процессе постоянного изменения. Я много читал, и не только по вопросам современной жизни и политики, но и по многим другим интересовавшим меня проблемам культуры и науки. Грандиозные перемены, совершавшиеся в Европе и Америке, представлялись мне чрезвычайно интересным предметом для изучения. Советская Россия, несмотря на некоторые неприятные ее черты, сильно привлекала меня; мне казалось, что она может явиться для мира вестницей надежды. В середине 20-х годов Европа пыталась как-то упорядочить свое существование, великая депрессия была еще впереди. Но я вернулся убежденный в том, что это упорядочение было чисто поверхностным и что в ближайшем будущем Европу и весь мир ожидают крупные потрясения и великие перемены.

Подготавливать нашу страну к этим мировым событиям, с тем чтобы, по мере возможности, не быть застигнутыми ими врасплох, — вот в чем, видимо, заключалась наша ближайшая задача. Подготовка носила по преимуществу идеологический характер. Прежде всего надлежало рассеять всякие сомнения относительно того, что наша цель — политическая независимость. Необходимо было ясно понять, что это была единственно возможная для нас политическая цель, нечто совершенно

отличное от неопределенных и сбивающих с толку разговоров относительно статуса доминиона. Далее надо было внести ясность в отношении социальной цели. Я чувствовал, что в данный момент от Конгресса не приходилось ждать, чтобы он далеко пошел в этом направлении. Конгресс представлял собой чисто политическую и националистическую организацию, не привыкшую мыслить иными категориями. Однако кое-какие первые шаги все же можно было предпринять. Вне Конгресса, в рабочих кругах и среди молодежи, эту идею можно было продвинуть гораздо дальше. Для этого я хотел быть свободным от каких-либо постов в Конгрессе, и у меня зародилась также неопределенная мысль провести несколько месяцев в отдаленных сельских районах, чтобы познакомиться с их положением. Однако этому не суждено было сбыться, и я волей событий вновь оказался втянутым в самую гущу политической жизни Конгресса.

Тотчас же по прибытии в Мадрас я попал в водоворот событий. Я представил Рабочему комитету серию резолюций — о независимости, о военной опасности, о присоединении к Антиимпериалистической лиге и т. д., — и почти все они были приняты, превратившись в официальные резолюции Рабочего комитета. Мне пришлось вынести их затем на обсуждение открытого заседания Конгресса, и, к моему удивлению, они были почти единогласно одобрены. Резолюцию о независимости поддержала даже г-жа Энни Безант. Эта единодушная поддержка была очень отраднa, но у меня было какое-то неприятное ощущение, что резолюции или не поняты в полной мере, или же смысл их каким-то образом извращен. Что это было именно так, стало очевидно вскоре после съезда Конгресса, когда возникли споры из-за толкования смысла резолюции о независимости.

Эти мои резолюции несколько отличались от обычных резолюций Конгресса; они отражали новый подход к вопросу. Многим конгрессистам они, без сомнения, нравились, некоторые ощущали какое-то смутное недовольство ими, хотя и не столь сильное, чтобы выступить против них. По всей вероятности, последние считали, что это чисто академические резолюции, не имеющие особого значения, и наилучший способ избавиться от них — утвердить их и перейти к чему-то более важному. Таким образом, резолюция о независимости не выражала в то время, как это стало год или два спустя, основное и неперемнное требование Конгресса, но она отражала широко распространенные и все усиливавшиеся настроения.

Гандиджи был в Мадрасе и присутствовал на открытых заседаниях Конгресса, но он не принимал никакого участия в определении политического курса. Он не посещал заседания Рабочего комитета, членом которого состоял. Такова была вообще его политическая позиция в Конгрессе, с тех пор как господствующее влияние приобрела свараджистская партия.

Однако с ним часто консультировались и без его ведома редко предпринимались какие-либо важные шаги. Я не знаю, в какой мере он одобрял резолюции, внесенные мною на обсуждение Конгресса. Я склонен думать, что они ему не нравились, и не столько своим содержанием, сколько в силу той общей тенденции и тех установок, которые они отражали. Однако он ни разу не выступал с критикой их. Мой отец, как было сказано, находился в то время в Европе.

Нереальность резолюции о независимости выявилась на том же съезде Конгресса в связи с обсуждением другой резолюции, осуждавшей комиссию Саймона и призывавшей к бойкоту этой комиссии. В добавление к этому было предложено созвать конференцию представителей всех партий для выработки конституции Индии. Было совершенно ясно, что умеренные группы, сотрудничества которых добивались, вовсе не были способны думать о независимости. Они могли помышлять самое большее о той или иной форме статуса доминиона.

Я снова занял пост секретаря Конгресса. Это объяснялось рядом соображений личного порядка: желанием председателя Конгресса, избранного на этот год,— д-ра М. А. Лисари, который был моим старым и любимым другом, а также тем обстоятельством, что, поскольку многие мои резолюции были приняты, мне надлежало проследить за их выполнением. Правда, резолюция о созыве Межпартийной конференции частично нейтрализовала действие моих резолюций. Однако многое осталось. Подлинной причиной, побудившей меня снова согласиться на эту должность, было мое опасение, что Конгресс может под воздействием Межпартийной конференции или в силу других причин скатиться к более умеренной и компромиссной позиции. Он находился, казалось, в нерешительном настроении, бросаясь из одной крайности в другую. Я хотел по мере сил воспрепятствовать возврату к умеренному курсу и добиться того, чтобы Конгресс и впредь признавал своей целью независимость.

К ежегодным съездам Национального конгресса обычно приурочивается множество более мелких собраний. Одним из таких собраний в Мадрасе была Республиканская конференция, созванная в том году в первый (и последний) раз. Мне было предложено председательствовать на этой конференции. Идея эта мне нравилась, ибо я считал себя республиканцем. Но я колебался, так как не знал, кто был инициатором нового начинания, и не хотел связываться с какой-нибудь очередной скороспелой затеей. В конечном итоге я все же согласился быть председателем, но впоследствии мне пришлось об этом пожалеть, ибо Республиканская конференция, как и множество ей подобных, оказалась мертворожденным детищем. В течение нескольких месяцев я тщетно пытался получить текст принятых ею резолюций. Поразительно, что многие у нас любят поддерживать какое-нибудь новое начинание, а затем предать его пол-

нейшему забвению и предоставить самотеку. Критика по нашему адресу, обвиняющая нас в непостоянстве, во многом справедлива.

Не успели мы по окончании съезда Конгресса разъехаться из Мадраса, как было получено известие о смерти в Дели Хакима Аджмал Хана. Как бывший председатель Конгресса, он был одним из старейших его деятелей, но он был также чем-то большим и занимал совершенно особое место среди руководителей Конгресса. Он получил сугубо консервативное воспитание, без малейшего налета новых веяний, и впитал в себя делительскую культуру времен империи Моголов. Каким удовольствием было наблюдать его утонченную вежливость, внимать его неторопливому голосу, слушать его шутки, передаваемые невозмутимым тоном. По своим манерам он был типичным аристократом старого образца, с царственным взглядом и царственной осанкой, и даже лицо его удивительно напоминало миниатюры, изображающие могольских монархов. Обычно такие люди держатся вдали от политической суеты, и когда англичанам в Индии досаждало новое поколение смутьянов, они часто вздыхали по людям этого старого типа. В молодости Хаким Сахаб также был далек от политики. Являясь главой знаменитой семьи врачей, он был занят своей огромной практикой. Но уже к концу войны, под впечатлением происходящего и под влиянием своего старого друга и коллеги д-ра М. А. Ансари, он начал сближаться с Конгрессом; последующие события — введение военного положения в Пенджабе и халифатистский вопрос — произвели на него глубокое впечатление, и он с одобрением отнесся к новой гандистской тактике несотрудничества. В его лице Конгресс сделал очень редкое и ценное приобретение — он стал связующим звеном между старым и новым порядком и обеспечил национальному движению поддержку со стороны этого старого порядка; таким образом он добился гармонии между ними и придал силу и известную устойчивость авангарду движения. Он в огромной степени сблизил индусов и мусульман, ибо как те, так и другие почитали его и старались ему подражать. Для Гандиджи он стал верным другом, и тот считал обязательным для себя советоваться с ним в делах, касающихся индусско-мусульманской проблемы. Мой отец и Хакимджи питали друг к другу искреннее расположение.

В прошлом году кто-то из руководителей Хинду Махасабхи обвинил меня в том, что мне непонятны чувства индусов ввиду моего несовершенного образования и моего общего воспитания в традициях «персидской» культуры. Я, пожалуй, затруднился бы сказать, какую культуру впитал в себя и впитал ли какую-нибудь культуру вообще. Персидского языка я, к сожалению, даже не знаю. Правда, отец мой действительно вырос в атмосфере индо-персидской культуры, сохранившейся в Северной

Индии как наследие старой делийской империи. Дели и Лакнау даже в наши времена, времена упадка, остаются двумя основными центрами этой культуры. Кашмирские брахманы отличались удивительной приспособляемостью; спустившись на индийские равнины, где в то время господствовала эта индо-персидская культура, они посвятили себя ей, и из их среды вышло много прекрасных знатоков персидского языка и урду. Впоследствии, когда стало необходимым знание английского языка и элементов европейской культуры, они с такой же быстротой приспособились к изменившимся условиям. Но даже и теперь среди кашмирцев в Индии имеется много выдающихся ученых — специалистов по персидскому языку. Достаточно назвать хотя бы двоих — сэра Тедж Бахадура Сапру и Раджа Нарендра Натха.

Таким образом, у Хакима Сахаба и моего отца было много общего, и они обнаружили даже какие-то старые родственные связи. Они стали большими друзьями и называли друг друга бхай сахаб — брат. Среди множества связывающих их уз политика стояла на последнем месте. В своей домашней жизни Хакимджи придерживался чрезвычайно консервативного уклада. Он, или, быть может, его родственники, не мог отречься от старых обычаев. Я никогда не видел такого удивительно строгого соблюдения парды, то есть затворничества женщин, как в его семье. И в то же самое время Хакимджи был твердо убежден, что ни одна страна не может двигаться вперед до тех пор, пока женщины этой страны не добьются своего освобождения. Он всячески внушал это мне и говорил о том, как его восхищает та роль, которую играли в борьбе за свободу турецкие женщины. Кемаль-паша, говорил он, одержал победу главным образом благодаря турецким женщинам.

Смерть Хакима Аджмал Хана была тяжелым ударом для Конгресса, который лишился в его лице одной из надежнейших своих опор. С тех пор, когда мы приезжали в Дели, всем нам чего-то не хватало, ибо Дели был так тесно связан в нашем представлении с Хакимджи и его домом на Биллимаране.

1928 год был политически очень насыщенным годом; по всей стране велась чрезвычайно активная деятельность. Казалось, появилась какая-то новая побудительная сила, толкавшая людей вперед, какое-то новое волнение, в равной мере проявлявшееся в самых различных группах общества. По всей вероятности, эта перемена подготовлялась исподволь во время моего длительного отсутствия, но когда я вернулся, она показалась мне разительной. В начале 1926 года Индия была еще неподвижной, пассивной, возможно, она не вполне еще оправилась после пережитого ею в 1919—1922 годах; в 1928 году она казалась бодрой, активной, полной сдержанных сил. Это можно было наблюдать повсюду — среди промышленных рабочих, кре-

стьянства, молодежи, принадлежавшей к среднему классу, и вообще среди интеллигенции.

Профсоюзное движение сильно выросло, и Всеиндийский конгресс профсоюзов, созданный семь или восемь лет назад, был уже крепкой и представительной организацией. Он не только численно вырос и укрепился организационно, но и идеология его становилась все более воинственной и крайней. Забастовки были частым явлением, классовое самосознание росло. Наиболее организованными были текстильщики и железнодорожники, а из их профсоюзов сильнейшими и наиболее передовыми были бомбейский профсоюз Гирни камгар и профсоюз рабочих Великой Индийской полуостровной железной дороги. С ростом рабочих организаций с Запада неизбежно должны были проникнуть семена внутренних противоречий и разлада, и индийское профсоюзное движение, едва возникнув, очутилось под угрозой раскола на соперничающие друг с другом враждебные лагеря. Имелась группа, поддерживавшая II Интернационал, и группа сторонников III Интернационала; группа, отличавшаяся умеренно-реформистскими взглядами, и группа, революционная по своим установкам, требовавшая радикальных перемен. Помимо этих двух групп, существовали всевозможные промежуточные группы различных оттенков, и, как это, к сожалению, бывает во всех массовых организациях, имелись также оппортунисты.

Крестьянство также было охвачено волнением. Это было заметно в Соединенных провинциях, особенно в Ауде, где многочисленные собрания протестующих арендаторов стали обычным явлением. Стало очевидно, что введенный в Ауде новый закон об аренде, установивший пожизненную аренду и суливший очень много, в действительности мало чем облегчил тяжелую долю крестьянина. В Гуджарате возник серьезный конфликт между крестьянством и правительством в связи с попыткой последнего увеличить земельный налог. Гуджарат является районом крестьян-собственников, где правительство имеет дело непосредственно с крестьянами. Эта борьба представляла собой бардолийский вариант сатьяграхи. Руководил ею Сардар Валлабхбаи Патель. Она была мужественно доведена до конца, вызвав восхищение всей Индии. Бардолийское крестьянство добилось значительного успеха, однако самым важным успехом этой кампании было то влияние, которое она оказала на крестьянство по всей Индии. Бардоли стал для индийского крестьянина знаменем и символом надежды, силы и победы.

Другим весьма знаменательным явлением в Индии 1928 года был рост молодежного движения. Повсюду создавались молодежные лиги, проводились молодежные конференции. Они были весьма разнообразны по своему характеру: от полурелигиозных групп до собраний, обсуждавших вопросы революционной идеологии и тактики; но каково бы ни было их происхождение и

кто бы ни выступал их инициатором, подобные собрания молодежи неизменно начинали обсуждать жизненно важные социальные и экономические проблемы дня и, как правило, высказывались в пользу коренных перемен.

В чисто политическом отношении год был ознаменован бойкотом комиссии Саймона и Межпартийной конференцией (ее расценивали как конструктивную сторону бойкота). Умеренные группы сотрудничали с Конгрессом в проведении этого бойкота, и он оказался чрезвычайно успешным. Куда бы комиссия ни направилась, ее всюду встречали враждебные толпы, выкрикивавшие «Simon go back»¹. Широкие народные массы Индии выучили, таким образом, не только имя сэра Джона Саймона, но и два английских слова. Это были единственные два слова, которые они знали. Для членов комиссии эти слова, должно быть, стали ненавистным наваждением. Рассказывают, что однажды, когда они жили в гостинице «Вестерн Хостел» в Дели, им показалось, что эти слова доносятся к ним среди почти из темноты. Их страшно рассердило, что их преследуют подобным образом даже ночью. В действительности шум, потревоживший их, производили шакалы, которыми кишат пустыри имперской столицы.

Межпартийная конференция не встретила никаких трудностей при выработке основных принципов конституции; по своему характеру они должны были быть парламентарно-демократическими, и выработать их мог почти каждый. Действительная — и единственная — трудность заключалась в религиозно-общинной проблеме, или проблеме меньшинств, а так как на конференции присутствовали представители всех крайних религиозно-общинных организаций, прийти к соглашению оказалось чрезвычайно трудно. Это было повторением старых бесплодных конференций единства. Мой отец, возвратившийся весной из Европы, проявлял большой интерес к этой конференции. Наконец в качестве последнего средства был назначен небольшой комитет во главе с моим отцом, которому было поручено разработать проект конституции и представить подробный доклад по религиозно-общинному вопросу. Этот комитет стали называть комитетом Неру, а представленный им впоследствии доклад — докладом Неру. Сэр Тедж Бахадур Сапру также был членом этого комитета и автором части доклада.

Я не был членом комитета, но как секретарю Конгресса мне много пришлось иметь с ним дела. Это ставило меня в ложное положение, ибо я считал совершенно бесполезным разрабатывать подробные бумажные конституции, в то время как подлинная задача заключалась в завоевании власти. Другим осложнением было, с моей точки зрения, то, что этот смешанный комитет неизбежно должен был свести нашу цель к тому, что

¹ «Саймон, убирайся домой!» (англ.).

именовалось статусом доминиона, а на деле представляло собой даже нечто еще меньшее. Для меня действительная ценность этого комитета заключалась в том, что он мог найти выход из тупика, создавшегося в религиозно-общинном вопросе. Я не думал, что этот вопрос мог быть окончательно разрешен с помощью какого-либо пакта или соглашения — такое решение было возможно лишь при условии переключения внимания на социальные и экономические проблемы, — однако даже и временный пакт, в случае одобрения его достаточно широкими кругами, мог бы содействовать разрядке атмосферы и тем самым помог бы сосредоточить внимание на других вопросах. Ввиду этого я не хотел мешать работе комитета и оказывал ему посильную помощь.

Успех, казалось, был уже близок. Оставалось урегулировать всего два или три вопроса, из которых действительно важной была проблема Пенджаба, где существовал индусско-мусульманско-сикхский треугольник. В своем докладе комитет подошел к пенджабскому вопросу с новой точки зрения и в подкрепление своих рекомендаций приводил некоторые весьма показательные цифры относительно распределения населения. Но все это было ни к чему. Обе стороны продолжали относиться друг к другу со страхом и подозрением, и тот небольшой шаг, который оставалось сделать, чтобы ликвидировать разделявшее их расстояние, так и не был сделан.

Межпартийная конференция собралась в Лакнау, чтобы рассмотреть доклад комитета. Некоторые из нас вновь очутились перед дилеммой, ибо мы не хотели препятствовать урегулированию религиозно-общинной проблемы, если это было возможно, но в то же время мы не собирались идти на уступки в вопросе о независимости. Мы просили, чтобы конференция оставила этот вопрос открытым, с тем чтобы каждый из ее участников сохранил за собой свободу действий, — Конгресс попрежнему мог бы признавать своей целью независимость, а более умеренные группы — статус доминиона. Но мой отец принимал очень близко к сердцу доклад комитета и не желал идти ни на какие уступки, а может быть, и не мог этого сделать при создавшихся обстоятельствах. Ввиду этого наша группа делегатов — сторонников независимости (а она была весьма многочисленна) — попросила меня выступить на конференции с заявлением от ее имени и полностью отмежеваться от всего, что принижало нашу цель — достижение независимости. Однако в то же время мы дали понять, что не будем чинить никаких препятствий работе конференции, ибо не хотим помешать урегулированию религиозно-общинной проблемы.

Подобная линия в столь важном вопросе была не слишком действенной, самое большее это был негативный жест. Позитивным шагом с нашей стороны явилось учреждение в тот же самый день Лиги независимости Индии.

Межпартийная конференция еще больше огорчила меня тем, что в добавление к основным правам включила в проект конституции, по настоянию талукдаров Ауда, статью, гарантирующую их привилегии в соответствующих талуках. Вся конституция основывалась, разумеется, на принципе частной собственности, но превращать права собственников огромных полуфеодалных владений в одну из незыблемых основ конституции казалось мне преступлением. Это ясно указывало на то, что руководство Конгресса и в еще большей мере не члены Конгресса предпочитали иметь дело с земельными магнатами, нежели с передовыми в социальном отношении группами в своих собственных рядах. Было очевидно, что от многих наших лидеров нас отделяла широкая пропасть, так что казалось довольно нелепым, что я продолжал в этих условиях оставаться генеральным секретарем Конгресса. Я подал в отставку, сославшись на то, что являюсь одним из основателей Лиги независимости Индии. Но Рабочий комитет не принял моей отставки, заявив мне (а также Субхасу Босу, который подал в отставку под тем же предлогом), что мы можем продолжать свою деятельность в лиге, не вступая в какое бы то ни было противоречие с политикой Конгресса. В самом деле, Конгресс уже высказался за достижение независимости. И я снова согласился. Меня поразительно легко было уговорить взять назад свое заявление об отставке. Так было уже много раз, и поскольку ни та, ни другая сторона в действительности не желала разрыва, мы цеплялись за любой предлог, чтобы его избежать.

Гандиджи не принимал никакого участия ни в работе Межпартийной конференции, ни в заседаниях комитета. Он даже не присутствовал на конференции в Лакнау.

Тем временем комиссия Саймона продолжала разъезжать по стране, преследуемая черными флагами и враждебными толпами, кричавшими: «Убирайтесь домой!» Иногда между полицией и толпой происходили небольшие стычки. Инцидент в Лахоре обострил положение, заставив внезапно всю страну содрогнуться от возмущения. Состоявшуюся там демонстрацию против комиссии Саймона возглавлял Лала Ладжпат Рай. В тот самый момент, когда он стоял у края дороги во главе тысяч демонстрантов, на него напал молодой английский офицер полиции, нанеся ему несколько ударов в грудь дубинкой. Ни толпа, ни, тем более, Лаладжи не проявляли никаких намерений прибегнуть к насилию. Но, несмотря на это, полиция жестоко избивала его и многих его товарищей, хотя они просто мирно стояли на улице. Всякий, кто участвует в уличных демонстрациях, рискует прийти в столкновение с полицией, и хотя наши демонстрации почти всегда были вполне мирными, Лаладжи должен был знать об этом и, видимо, сознательно пошел на риск. И все же сам характер нападения, его неоправданная жестокость потрясли огромное число людей в Индии,

В те дни мы еще не привыкли к полицейским дубинкам и наша чувствительность еще не была притуплена частыми столкновениями с жестокостью. То, что подобным образом могли обойтись даже с крупнейшим из наших деятелей, виднейшим и популярнейшим человеком в Пенджабе, казалось нам просто чудовищным, и вся страна, особенно Северная Индия, была охвачена глубоким негодованием. Какими мы были беспомощными, какими жалкими, если не могли даже защитить честь своих избранных вождей!

Телесные повреждения, нанесенные Лаладжи, были довольно серьезны, так как удары были нанесены ему в грудь, а он уже давно страдал болезнью сердца. Вероятно, молодому, здоровому человеку это не причинило бы такого вреда, но Лаладжи не был ни молодым, ни здоровым. Трудно сказать, в какой мере его смерть, последовавшая через несколько недель, была связана с этими телесными повреждениями, хотя его врачи считали, что это ускорило кончину. Но, по-моему, нет никаких сомнений, что моральная травма, сопутствовавшая физической, оказала на Лаладжи сильнейшее действие. Он был раздражен и возмущен, и не столько своим личным унижением, сколько унижением всей нации в результате нападения на него.

Душу Индии отягощало именно это чувство национального унижения, и когда вскоре последовала смерть Лаладжи, ее, разумеется, связали с этим нападением, и чувство скорби уступило место гневу и возмущению. Это необходимо иметь в виду, ибо лишь при этом условии мы сможем в какой-то мере понять последовавшие события, действия Бхагата Сингха и его внезапную поразительную популярность в Северной Индии. Очень легко, но в равной мере и бессмысленно осуждать тех или иных людей или те или иные поступки, не попытавшись понять скрытые пружины их действий или лежащие в их основе причины. Бхагат Сингх не пользовался до тех пор большой известностью; он не был обязан своей популярностью какому-нибудь акту насилия, акту террора. Террористы на протяжении почти тридцати лет временами появлялись на арене Индии, но, если не считать первых дней в Бенгалии, ни один из них не приобретал и малой доли той популярности, которую стяжал себе Бхагат Сингх. Это очевидный, неопровержимый факт, и его необходимо признать. Другой столь же очевидный факт заключается в том, что терроризм, несмотря на его эпизодические рецидивы, утратил всякую привлекательность для молодежи Индии. Пятнадцатилетняя проповедь ненасилия изменила всю атмосферу в Индии и сделала массы гораздо более равнодушными и даже враждебными идее террора как метода политического действия. Пропаганда Конгресса против методов насилия оказала огромное влияние даже на те классы, из рядов которых обычно вербуются террористы,— низшие слои средних классов и интеллиген-

цию. Их активные, нетерпеливые элементы, стремящиеся к революционному действию, ныне также в полной мере отдают себе отчет в том, что террор — это изживший себя, бесплодный метод, служащий помехой подлинно революционному действию. Террор в Индии и в других странах умирает не в результате насильственных мер со стороны правительства, которые могут лишь подавить или загнать его вглубь, но не искоренить, а в силу внутренних причин и под влиянием мировых событий. Террор обычно соответствует младенческому периоду революционного подъема в стране. Но этот этап проходит, а вместе с ним перестает играть важную роль и террор, хотя местные причины или те или иные репрессии могут время от времени вызывать отдельные его вспышки. Для Индии этот этап, несомненно, уже прошел, и даже эпизодические вспышки, безусловно, сойдут постепенно на нет. Это, однако, не означает, что в Индии никто уже не верит в методы насилия. Подавляющее большинство уже не верит больше в индивидуальное насилие и террор, но еще многие, без сомнения, полагают, что может наступить такое время, когда для завоевания свободы окажутся необходимыми организованные насильственные методы, как это часто бывало в других странах. В настоящее время этот вопрос является теоретическим, и он должен еще выдержать проверку временем. Он ничего общего не имеет с террористическими методами.

Таким образом, Бхагат Сингх стал популярным не благодаря своему террористическому акту, а потому, что в тот момент он, казалось, мстил за поруганную честь Лала Ладжпата Раи, а следовательно, и всей страны. Он стал символом; поступок его был забыт, но символ остался, и за каких-нибудь несколько месяцев имя его прогремело по всем городам и селениям Пенджаба и в несколько меньшей степени — в остальной части Северной Индии. О нем было сложено бесчисленное множество песен, и популярность этого человека приобрела поистине невиданные масштабы.

Вскоре после избития в связи с демонстрацией против комиссии Саймона Лала Ладжпат Раи присутствовал на заседании Исполнительного комитета Конгресса в Дели. Следы побоев были еще заметны, и он все еще страдал от нанесенных ему повреждений. Заседание было созвано по окончании Межпартийной конференции в Лакнау, и на нем в той или иной форме вновь встал вопрос о независимости. Я забыл, чем именно были вызваны споры, но помню, что выступил с довольно пространной речью, в которой призвал Конгресс сделать выбор между революционным подходом, предполагающим коренные преобразования нашего политического и социального строя, и реформистскими целями и методами. Речь не имела большого значения, и я забыл бы о ней, если бы не то обстоятельство, что с ответом на мою речь в комитете выступил Лаладжи, подвергший кри-

тике некоторые из ее положений. Он предостерег, в частности, что мы не должны ничего ожидать от английской лейбористской партии. Что касается меня, то это предостережение было излишним, ибо я не был поклонником официального руководства английских лейбористов; единственное, чем оно могло бы меня удивить, это своей поддержкой борьбы за свободу Индии или какими-нибудь действиями, подлинно антиимпериалистическими по своему характеру или способными привести к социализму.

По возвращении в Лахор Лаладжи вернулся к моей речи на заседании Исполнительного комитета Конгресса и начал печатать в своем еженедельнике «Пипл» серию статей по различным вопросам, затронутым в этой речи. Однако была напечатана лишь первая статья — он умер до того, как в следующем номере еженедельника успела появиться вторая статья. Мой интерес к этой первой, неоконченной, статье — это было, пожалуй, последнее, что он написал для печати, — был окрашен скорбью.

Я ИСПЫТЫВАЮ НА СЕБЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДУБИНКИ

Избиение Лала Ладжпата Раи и его смерть, последовавшая вскоре после этого, дали новый толчок демонстрациям против комиссии Саймона в тех районах, которые она вслед за тем посетила. Комиссию ожидали в Лакнау, и местный комитет Конгресса усиленно готовился к ее «приему». За много дней до прибытия комиссии были организованы массовые шествия, митинги и демонстрации как в целях пропаганды, так и в порядке репетиции. Я отправился в Лакнау и присутствовал на некоторых из них. Успех этих подготовительных демонстраций, которые носили исключительно организованный и мирный характер, очевидно, раздражал власти, и они начали всячески их срывать и издавать приказы, запрещающие прохождение шествий в определенных районах. В этой именно связи мне и пришлось испытать нечто новое — почувствовать на себе удары полицейских дубинок и латки.

Шествия были запрещены под тем предлогом, чтобы не мешать уличному движению. Мы решили не давать никаких поводов к жалобам на этот счет и договорились о том, что небольшие группы, насколько я помню, численностью по шестнадцать человек, направляются к условленному месту каждая в отдельности, избрав маршруты с наименее оживленным уличным движением. Формально это было, конечно, нарушением приказа, ибо шестнадцать человек с флагом — это уже процессия. Я возглавлял одну из таких групп, насчитывавшую шестнадцать человек, а за нею, на большом расстоянии, следовала другая такая же группа, которую возглавлял мой коллега Говинд Баллабх Пант. Моя группа успела пройти около 200 ярдов по безлюдной дороге, как вдруг мы услышали за своей спиной цокот копыт. Мы оглянулись и увидели группу полицейских на конях, которые быстро нагоняли нас. Их было что-то около двух или трех десятков. Скоро они вплотную подъехали к нам, и под напором лошадей наша маленькая колонна из шестнадцати человек распалась. Тогда конные полицейские начали избивать наших добровольцев тяжелыми дубинками или палками, и те инстинктивно пытались спастись от ударов на тротуарах, а некоторые даже укрылись в лавоч-

ках. Их преследовали и избивали. Когда я увидел мчащихся прямо на нас лошадей, я инстинктивно подумал, что надо спастись,— зрелище было не из приятных. Но затем, вероятно, какой-то другой инстинкт принудил меня остаться на месте, и я выдержал первый натиск, который был ослаблен добровольцами, находившимися позади меня. Внезапно я очутился один посреди дороги; в нескольких ярдах от меня, в разных концах, полицейские избивали наших добровольцев. Машинально я начал медленно подвигаться к краю дороги, чтобы быть менее заметным, но опять остановился и вступил в короткий спор с самим собой, в результате которого решил, что мне не подобает уходить. Все это было делом нескольких секунд, но я совершенно ясно помню этот внутренний конфликт в моей душе и принятое мною решение, вероятно, подсканное моей гордостью, которая не могла смириться с тем, чтобы я вел себя как трус. Однако черта, отделявшая трусость от мужества, была мало заметной, и я вполне мог оказаться по другую сторону этой черты. Не успел я принять это решение, как, оглянувшись, увидел подъезжавшего ко мне рысью конного полицейского, который размахивал своей длинной новенькой дубинкой. Я крикнул ему, чтобы он продолжал свой путь, и отвернулся — снова инстинктивная попытка спасти голову и лицо. Он нанес мне два увесистых удара по спине. Я был оглушен, и все мое тело дрожало, но, к моему удивлению и радости, я убедился, что все еще держусь на ногах. Вскоре после этого полиция была отозвана, и ей был отдан приказ блокировать дорогу перед нами. Наши добровольцы снова собрались. Некоторые из них были в крови, у многих были ранения головы. К нам присоединился Папт со своей группой, они также были избиты, и все мы сели на землю, лицом к полицейским. Так мы сидели около часа. Стемнело. На одной стороне улицы собралось различное высокое начальство, на другой стороне, по мере того как распространялась весть о случившемся, начала собираться большая толпа. Наконец начальство решило позволить нам двигаться дальше по нашему первоначальному маршруту, и мы пошли, причем конные полицейские, которые напали на нас и избили, двигались впереди в качестве своего рода эскорта.

Я описал этот мелкий инцидент так подробно ввиду того влияния, которое он оказал на меня. Физическая боль совершенно растворилась в охватившем меня чувстве радости, что я оказался достаточно крепким физически, чтобы выдерживать удары дубинки. Что меня удивило,— это тот факт, что на протяжении всего инцидента ум мой был совершенно ясен и я сознательно анализировал свои ощущения. Эта репетиция весьма пригодилась мне на следующее утро, когда нам пришлось выдержать более суровое испытание. Ибо на следующее утро прибывала комиссия Саймона и должна была состояться наша большая демонстрация.

Мой отец находился в то время в Аллахабаде, и я боялся, что известие о моем избиении, когда он прочтет о нем в завтрашних утренних газетах, огорчит его и остальных членов семьи. Поэтому поздно вечером я позвонил ему по телефону, чтобы заверить его, что все в порядке и ему нечего волноваться. Но он все равно волновался и, не будучи в силах спокойно провести ночь, примерно в полночь решил отправиться в Лакнау. Последний поезд уже ушел, а потому он поехал на машине. По дороге с машиной что-то случилось, так что он прибыл в Лакнау уже около пяти часов утра, усталый и измученный, покрыв расстояние в 146 миль.

Примерно в это самое время мы готовились к тому, чтобы двинуться организованной процессией к вокзалу. События, происшедшие накануне вечером, взбудоражили Лакнау больше, чем если бы мы сознательно попытались это сделать, и еще до восхода солнца большие толпы людей начали стекаться к вокзалу. Из различных районов города выходили бесчисленные маленькие процессии, а от помещения Конгресса двинулась главная процессия, насчитывавшая несколько тысяч человек, которые были построены по четыре в ряд. Мы шли с этой главной процессией. В тот момент, когда мы подходили к вокзалу, нас остановила полиция. Перед вокзалом была огромная открытая площадь размером около полумили в ширину и столько же в длину (сейчас на ней построено новое здание вокзала), и нас заставили выстроиться вдоль одной из сторон этого *майदानа*. Там наша процессия и остановилась, не предпринимая никаких попыток двинуться дальше. Площадь была запружена пешими и конными полицейскими, а также солдатами. Толпа сочувственно настроенных зрителей непрерывно увеличивалась, и многим из них удалось выбраться по двое и по трое на открытое пространство. Вдруг мы увидели вдали какую-то движущуюся массу. Это были две или три длинные шеренги не то кавалеристов, не то конных полицейских. Заполнив всю площадь, они галопом мчались по направлению к нам, сбивая с ног и давя многочисленных одиночек, которыми был усеян майдан. Эти несущиеся всадники представляли бы эффектное зрелище, если бы не трагедии, разыгрывавшиеся на их пути: под копытами лошадей оказалось множество ни в чем не повинных, застигнутых врасплох зевак. Они лежали на земле за рядами наступающих полицейских; одни еще не в силах были пошевелиться, другие корчились от боли, и весь майдан напоминал собой поле битвы. Однако у нас не было времени наблюдать эти сцены или предаваться размышлениям; очень скоро всадники очутились уже возле нас, и их передняя шеренга, едва успев сдержать галоп своих лошадей, столкнулась с демонстрантами. Мы остались на своих местах, и так как мы явно не собирались отступать, они вынуждены были в последний момент осадить лошадей. Конни встали на дыбы, и

их копыта очутились над нашими головами. И тут-то нас начали избивать. Как конные, так и пешие полицейские колотили нас латхи и длинными дубинками. Это было ужасное избиение, и ясность сознания, которая была у меня накануне, на этот раз оставила меня. Единственное, что я сознавал,— это, что мне надо оставаться там, где я нахожусь, и что я не должен отступать или поворачивать назад. Удары наполовину ослепили меня, и порой меня охватывал безотчетный гнев и желание нанести ответный удар. Я думал о том, как легко было бы стащить с лошади полицейского офицера, находившегося передо мной, и сесть самому в седло, но долгая тренировка и дисциплина сделали свое дело, и я ограничился тем, что защищал руками лицо от ударов. К тому же я прекрасно понимал, что всякое агрессивное действие с нашей стороны повлекло бы за собой ужасную трагедию и множество людей было бы расстреляно на месте.

Через какой-то промежуток времени, который показался нам нескончаемо длинным, хотя прошло, вероятно, всего лишь несколько минут, наши ряды начали медленно, шаг за шагом, отступать, но они не распались. В результате я оказался до некоторой степени изолированным и более уязвимым для нападения с обеих сторон. На меня снова посыпались удары, но в этот самый момент кто-то сзади приподнял меня с земли и, к моей величайшей досаде, оттащил назад. Оказалось, что несколько моих юных товарищей, считая, что мне угрожает смерть, прибегли для моей защиты к этой решительной мере.

Наши демонстранты снова построились в колонны, примерно в ста шагах от нашей первоначальной позиции. Полиция также отступила и стояла, выстроившись в шеренгу, на расстоянии пятидесяти футов от нас. Так мы стояли друг против друга, а тем временем вповница всех этих волнений, комиссия Саймона, тайком пробралась в город с дальнего вокзала, находившегося от нас на расстоянии более полумили. Однако ей все же не удалось уйти от черных флагов демонстрантов. Вскоре после этого вся наша процессия возвратилась к помещению Конгресса, где мы и разошлись, и я отправился к отцу, который с нетерпением ожидал нас.

Теперь, когда возбуждение улеглось, я ощущал боль во всем теле и сильную усталость. Все у меня ныло, и я весь был покрыт ранами и сипяками. К счастью, ни один из моих внутренних органов не был поврежден. Многим нашим товарищам повезло в меньшей мере, и они получили серьезные ранения. Говинд Баллабх Пант, стоявший рядом со мной, представлял гораздо более удобную мишень для полиции благодаря своему росту в шесть футов с лишним. Полученные им раны вызвали у него мучительную болезнь, которая долгое время не позволяла ему распрямить спину и участвовать в активных действиях. В результате того, что мне пришлось испытать, я проникся

еще большим уважением к собственному физическому здоровью и выносливости. Но меня преследует не столько воспоминание о самом избииении, сколько лица полицейских, особенно офицеров, которые нас избивали. Больше всех усердствовали сержанты — европейцы; рядовые полицейские — индийцы действовали мягче. О, эти лица, злобные, кровожадные, почти безумные, без малейшего следа сочувствия к своим жертвам или хотя бы намека на человечность! Вероятно, наши лица в тот момент были столь же отвратительны, а тот факт, что мы были в основном пассивны, не означал, что мы испытывали любовь к нашим противникам, и не способствовал смягчению выражения наших лиц. А ведь у нас не было никаких обид друг против друга, никаких личных споров или недоброжелательства. В тот момент мы представляли некие страшные и могущественные силы, подчинившие нас и швырявшие по своему усмотрению то туда, то сюда. Исподволь завладев нашими умами и сердцами, они разожгли наши желания и страсти, сделав нас своим слепым орудием. Мы вели борьбу вслепую, не зная, за что мы боремся и куда идем. Нас поддерживало возбуждение, порожденное самим действием, но как только оно проходило, тотчас же возникал вопрос: к чему все это? К чему?

Глава двадцать шестая

КОНГРЕСС ПРОФСОЮЗОВ

Важнейшими политическими событиями года в стране были бойкот комиссии Саймона и Межпартийная конференция. Однако мои личные интересы и основная деятельность были направлены в другую сторону. В качестве генерального секретаря Конгресса я был занят его делами и укреплением конгрессистской организации и особенно старался привлечь внимание к необходимости социальных и экономических перемен. Необходимо было также закрепить успех, достигнутый в Мадрасе по вопросу о независимости, тем более, что Межпартийная конференция проявляла тенденцию отбросить нас назад в этом вопросе. Поэтому я много разъезжал по стране и выступал с речами на многих важных собраниях. Насколько мне помнится, я председательствовал в 1928 году на четырех провинциальных конференциях Конгресса — в Пенджабе, Малабаре (на Юге), в Дели и в Соединенных провинциях, а также на конференции молодежных лиг и на студенческих конференциях в Бенгалии и в Бомбее. Время от времени я посещал сельские районы Соединенных провинций, а иногда выступал также перед промышленными рабочими. Основное содержание моих речей было всегда одинаковым, хотя форма их изменялась применительно к местным условиям, а положения, на которые делался главный упор, определялись характером аудитории, перед которой мне приходилось выступать. Я всюду говорил о политической независимости и социальной свободе, подчеркивая, что достижение первой из них явится шагом по пути к осуществлению второй. Я стремился пропагандировать идеологию социализма, особенно среди работников Конгресса и среди интеллигенции, ибо эти люди, составлявшие костяк национального движения, в большинстве находились в плену крайне узкого национализма. В своих речах они прославляли старые времена, говорили о том ущербе, материальном и моральном, который причинило Индии чужеземное владычество, о страданиях нашего народа, о том, как унизительно подчиняться иностранному господству, и о том, что наша национальная честь требует, чтобы мы были свободны, о необходимости припосить жертвы на алтарь материны. Все это были знакомые речи, находившие отзвук в каждом индийском сердце, и националист во мне также откликался

на них и бывал задет за живое (хотя я никогда не был слепым поклонником старых порядков в Индии и вообще где бы то ни было). Но при всей их справедливости эти доводы от частого употребления несколько поизносились и поистерлись, а постоянное их повторение мешало сосредоточить внимание на других проблемах и жизненно важных сторонах борьбы. Они действовали лишь на эмоции, не возбуждая мысль.

Я отнюдь не был пионером на социалистическом поприще в Индии. Собственно говоря, я даже отстал в этом отношении и лишь с трудом продвигался вперед по тому пути, который был положен многими опередившими меня. Рабочее профсоюзное движение было явно социалистическим по своей идеологии. То же самое можно сказать о большинстве молодежных лиг. Когда в декабре 1927 года я вернулся из Европы, в Индии уже получили распространение некие смутные и неопределенные социалистические идеи, и даже значительно ранее в стране насчитывалось множество социалистов. Большинство из них было утопистами, но теория Маркса начинала оказывать на них все большее влияние, и некоторые из них считали себя стопроцентными марксистами. События, происходившие в Советском Союзе, в особенности пятилетний план, усилили эту тенденцию как в Индии, так и в Европе и Америке.

Моя роль как социалистического деятеля определялась тем, что я был видным конгрессистом и занимал важные посты в Конгрессе. В Конгрессе было немало других известных деятелей, которые начинали мыслить подобным же образом. Это было особенно заметно в провинциальном комитете Конгресса в Соединенных провинциях. Мы, члены этого комитета, пытались даже еще в 1926 году разработать некую умеренную социалистическую программу. В нашей провинции господствует система заминдаров и талукдаров, и первым вопросом, которым мы должны были заняться, был вопрос о земле. Мы заявили, что существующая система землевладения должна быть ликвидирована и что между государством и земледельцем не должно быть никаких посредников. Нам приходилось действовать осторожно, так как подобные идеи были непривычны для окружающих.

В следующем, 1929 году провинциальный комитет Конгресса в Соединенных провинциях сделал еще шаг вперед и внес на рассмотрение Исполнительного комитета Конгресса явно социалистическую по своему характеру рекомендацию. Исполнительный комитет, собравшийся летом 1929 года в Бомбее, принял прамбулу резолюции комитета Соединенных провинций и, таким образом, одобрил принцип социализма, лежащий в основе всей резолюции. Рассмотрение деталей программы, содержащейся в этой резолюции, было отложено. Большинство, повидному, забыло об этих резолюциях Исполнительного комитета Конгресса и комитета Соединенных провинций и полагает, что

вопрос о социализме всплыл в Конгрессе внезапно примерно год назад. Впрочем, надо признать, что Исполнительный комитет Конгресса одобрил эту резолюцию, не слишком долго раздумывая над ней, и большинство его членов, вероятно, даже не отдавало себе отчета в том, что они делают.

Отделение Лиги независимости Индии в Соединенных провинциях (оно целиком состояло из основных работников провинциальной организации Конгресса) было явно социалистическим по своим воззрениям, и оно пошло несколько дальше, чем это было возможно для такого смешанного по своему составу органа, как комитет Конгресса. Лига независимости выдвигала в качестве одной из своих целей достижение социальной свободы. Мы надеялись превратить лигу в кренкую организацию, охватывающую всю страну, и использовать ее для пропаганды идей независимости и социализма. К моему сожалению и разочарованию, лига сумела достигнуть некоторого успеха только в Соединенных провинциях. Объяснялось это не отсутствием поддержки в стране. Но большинство наших работников было в то же время видными деятелями Конгресса, поскольку же Конгресс признал своей целью независимость — по крайней мере, теоретически, — они всегда могли действовать через конгрессистскую организацию. Другая причина состояла в том, что некоторые из инициаторов лиги не уделяли ей достаточно серьезного внимания как организации, которую надлежит укреплять и расширять. Они видели в ней нечто такое, что можно было использовать как орудие давления на руководство Конгресса или даже влиять с ее помощью на выборы в Рабочий комитет Конгресса. Таким образом, Лига независимости все более чахла, и по мере того как Конгресс становился все более наступательным по своему духу, он притягивал к себе наиболее энергичных людей. Лига же становилась все слабее и слабее. С началом кампании гражданского неповиновения в 1930 году лига влилась в Конгресс и прекратила свое самостоятельное существование.

Во второй половине 1928 года и в 1929 году велись упорные разговоры о моем предстоящем аресте. Я не знаю, на чем были основаны появлявшиеся в печати упоминания на этот счет, а также многочисленные предостережения, которые я получал от друзей, повидимому, что-то знавших, но так или иначе эти предостережения вызвали у меня какое-то чувство неизвестности — мне все время казалось, что я накануне ареста. Перспектива эта не слишком меня тревожила, ибо я знал, что, каково бы ни было мое будущее, оно, во всяком случае, не обещало мне спокойного и монотонного существования. Чем скорее я привыкну к неизвестности, к внезапным переменам и водворениям в тюрьму, — тем лучше. Мне кажется, что в общем мне удалось приучить себя к этой мысли (мои родные также приучили себя к ней, хотя и в гораздо меньшей степени), так что всякий раз,

когда меня арестовывали, я относился к этому хладнокровнее, чем это могло бы быть при иных обстоятельствах. Таким образом, в слухах об аресте была своя положительная сторона — они придали некоторое напряжение и остроту моему повседневному существованию. Всякий день, проведенный на свободе, был драгоценным, выигранным днем. В действительности в 1928 и 1929 годах мне была предоставлена длительная передышка, и я был арестован лишь в апреле 1930 года. С тех пор короткие периоды, которые я проводил вне тюрьмы, носили на себе печать чего-то нерсального, и я жил в своем доме, как гость, приехавший ненадолго, и пребывал в неизвестности, не зная, что сулит мне завтрашний день, и постоянно ожидая, что меня снова отправят в тюрьму.

По мере того как 1928 год подходил к концу, близился очередной съезд Конгресса, который должен был состояться в Калькутте. На этом съезде должен был председательствовать мой отец. Он был поглощен Межпартийной конференцией и своим докладом и хотел добиться утверждения этого доклада Конгрессом. Он знал, что я отношусь к этому отрицательно, ибо я не хотел идти ни на какие компромиссы в вопросе о независимости, и это его раздражало. Мы редко спорили с ним по этому поводу, но между нами ощущался явный идейный конфликт — каждый из нас тянул в свою сторону. Разногласия бывали между нами и раньше, существенные разногласия, удерживавшие нас в различных политических лагерях. Но мне кажется, что ни прежде, ни после они не достигали такого напряжения. Это сильно огорчало нас обоих. В Калькутте дело дошло до того, что отец объявил, что он откажется председательствовать на съезде, если Конгресс не пойдет за ним, то есть если резолюция, одобряющая доклад Межпартийной конференции, не будет обеспечена большинством. Подобный образ действий с его стороны был вполне разумным и законным. Но, тем не менее, это огорчило многих его оппонентов, которые не хотели в такой мере обострять спор. В Конгрессе, да, вероятно, и в других организациях, часто наблюдается тенденция критиковать, осуждать, но в то же самое время увиливать от ответственности. Всегда имеется надежда, что критика побудит противную сторону изменить свои позиции к нашей выгоде, не возлагая в то же время на нас бремени управления кораблем. Поскольку нас не облакают ответственностью и в стране существует несменяемая и безответственная власть в лице нынешнего английского правительства в Индии, единственное, что нам остается (разумеется, помимо действий), — это критика, и она неизбежно должна быть негативной критикой. Но даже при этих обстоятельствах, для того чтобы эта негативная критика была действительной, она должна быть подкреплена моральной готовностью в любой момент, когда для этого представится возможность, взять на себя полный контроль и ответственность,

контроль над всеми областями управления — гражданскими и военными, внутренними и внешними. Требовать лишь частичного контроля, как это делают либералы в отношении армии, — значит признаться в своей неспособности справиться с задачами управления и лишиться своей критики всякой остроты.

Подобную позицию критики и осуждения и в то же время уклонения от их естественных последствий часто занимали критики Гандиджи. В Конгрессе всегда было немало людей, которые не одобряли его деятельность и сурово его критиковали, но при этом не решались изгнать его из Конгресса. Эту позицию легко понять, но едва ли можно ее признать справедливой в отношении как той, так и другой стороны.

Некоторые затруднения такого порядка возникли на Калькутском съезде. Между обеими группами велись переговоры, было объявлено о достижении компромиссной формулы, но в конечном итоге ничего из этого не вышло. Во всем этом было довольно много путаницы и мало поучительного. Основная резолюция съезда в ее окончательном виде одобряла доклад Межпартийной конференции, но указывала, что, если английское правительство в течение года не даст своего согласия на конституцию, предусматриваемую этим докладом, Конгресс поставит своей целью достижение независимости. Это было предложение годичной отсрочки, вежливый ультиматум. Резолюция, без сомнения, знаменовала собой отступление от идеи независимости, ибо доклад Межпартийной конференции не требовал даже предоставления полного статуса доминиона. И все же это была, вероятно, мудрая резолюция в том смысле, что она предотвратила раскол в тот момент, когда никто не был к нему готов, и сохранила единство Конгресса для борьбы, начавшейся в 1930 году. Было совершенно ясно, что английское правительство не даст в течение года согласия на конституцию, разработанную Межпартийной конференцией. Борьба была неизбежна, а в создавшейся в стране обстановке никакая борьба такого рода не могла быть успешной без руководства Гандиджи.

Я выступал против резолюции на открытом заседании Конгресса, хотя делал это довольно вяло. И все же я вновь был избран генеральным секретарем. Что бы ни случилось, я все равно сохранял свой секретарский пост, играя в Конгрессе роль знаменитого брейского викария¹. Кто бы ни восседал на троне председателя Конгресса, я оставался секретарем, ведавшим всеми организационными вопросами.

За несколько дней до Калькутского съезда в Джхариа, центре угольного района, состоялся съезд Всеиндийского конгресса профсоюзов. В течение первых двух дней я присутствовал на нем и принимал участие в его работе, а затем мне пришлось

¹ Персонаж из песни XVII века, олицетворение беспринципности.—
Прим. ред.

отправиться в Калькутту. Это был первый профсоюзный съезд, на котором я присутствовал, и я фактически был здесь посторонним, хотя моя деятельность среди крестьянства, а за последнее время также и среди рабочих создала мне некоторую популярность в массах. Между реформистами и более передовыми и революционными элементами велась, как я узнал, давняя борьба. Основными предметами спора были вопросы о вхождении в тот или другой Интернационал, Антиимпериалистическую лигу и Тихоокеанский союз, а также о желательности посылки представителей на конференцию Международного бюро труда в Женеву. Однако гораздо более важными были различия во взглядах двух группировок Всеиндийского конгресса профсоюзов. Там имелась старая профсоюзная группировка, политически умеренная и не одобрявшая вторжения политики в промышленную сферу. Она признавала только чисто экономическую борьбу, да и то весьма осторожную по своему характеру, и ставила своей целью постепенное улучшение условий жизни рабочих. Лидером этой группы был Н. М. Джоши, который часто представлял индийские профсоюзы в Женеве. Другая группировка отличалась большей воинственностью, отстаивала методы политических действий и открыто провозглашала свои революционные взгляды. Она находилась под влиянием, но отнюдь не под контролем нескольких коммунистов и лиц, близких к коммунистам. Рабочие текстильной промышленности Бомбея подпали под влияние этой группы, и под ее руководством в Бомбее была проведена крупная забастовка текстильщиков, увенчавшаяся частичным успехом. В Бомбее возник новый влиятельный профсоюз текстильщиков — Гирни камгар, игравший главную роль в рабочем движении провинции. Другим крупным профсоюзом, находившимся под влиянием передовой группы, был профсоюз рабочих Великой Индийской полуостровной железной дороги.

С момента создания Конгресса профсоюзов его руководящий центр находился под контролем Н. М. Джоши и его ближайших соратников, и Джоши удалось придать большой размах движению. Радикальная группа, хотя и пользовавшаяся большим влиянием среди рядовых членов профсоюза, не могла воздействовать на политику руководства. Такое положение было ненормальным, и оно не соответствовало действительной расстановке сил. Возникли недовольство и трения, и со стороны радикальных элементов проявлялось стремление захватить власть в Конгрессе профсоюзов. Однако в то же время они не были склонны заходить слишком далеко из опасения раскола. Профсоюзное движение в Индии было еще слишком молодо, оно было слабым, и руководящая роль в нем принадлежала главным образом лицам, не являвшимся выходцами из рабочего класса. В подобных условиях посторонние неизменно проявляли тенденцию использовать рабочих в своих целях, и это можно

было отчетливо наблюдать в Конгрессе профсоюзов и в других союзах. Однако Н. М. Джоши за долгие годы своей работы проявил себя трезвым и честным профсоюзным деятелем, и даже те, кто считал его политически отсталым и умеренным, признавали его заслуги перед индийским рабочим движением. Это можно было сказать об очень немногих других деятелях, как умеренных, так и радикальных.

Мои симпатии в Джхариа были на стороне передовой группы, но, поскольку я был новичком, я не слишком хорошо разбирался в этих внутренних конфликтах в Конгрессе профсоюзов, а потому решил не ввязываться в них. После того как я уехал из Джхариа, состоялись ежегодные выборы руководящих органов Конгресса профсоюзов, и я узнал в Калькутте, что меня выбрали председателем на следующий год. Я был выдвинут группой умеренных, которая, вероятно, считала, что у меня больше, чем у кого бы то ни было, шансов одержать победу над выставленным радикальной группой кандидатом, который был настоящим рабочим (железнодорожником). Если бы я находился в день выборов в Джхариа, я, несомненно, снял бы свою кандидатуру в пользу рабочего кандидата. Мне казалось прямотаки непристойным, что какой-то новопришелец и к тому же не рабочий ни с того ни с сего навязывается председателем. Уже сам по себе этот факт свидетельствовал о младенческой неопытности и слабости профсоюзного движения в Индии.

1928 год был насыщен конфликтами в промышленности и забастовками. То же самое продолжалось и в 1929 году. Ведущую роль в этих забастовках играли находившиеся в тяжелых условиях и воинственно настроенные рабочие текстильных предприятий Бомбея. Крупная забастовка произошла на джутовых фабриках Бенгалии, бастовали также рабочие металлургических заводов в Джамшедпуре и, кажется, железнодорожники. Упорная и мужественная борьба велась в течение нескольких месяцев на жестяном заводе в Джамшедпуре. Несмотря на горячее сочувствие общественности, забастовка была подавлена мощной компанией — собственницей этого завода (эта компания была связана с Бирманской нефтяной компанией).

В общем оба указанных года были заполнены волнениями в промышленности, и условия труда непрерывно ухудшались. Послевоенные годы были для индийской промышленности годами бума, приносившего гигантские прибыли. На протяжении пяти или шести лет джутовые и текстильные фабрики приносили в среднем более чем стопроцентный дивиденд, а часто он достигал и 150 процентов в год. Все эти громадные прибыли шли целиком владельцам фабрик и акционерам, рабочие же влачили прежнее существование. Ничтожное повышение заработной платы обычно сводилось на нет ростом цен. В эти дни, когда лихорадочно наживались миллионы, большинство рабочих продолжало жить в жалких лачугах и даже жен-

щины почти не имели одежды. Положение в Бомбее было достаточно скверным, но, пожалуй, еще хуже была участь рабочих джутовых фабрик, живших на расстоянии какого-нибудь часа езды от дворцов Калькутты. Полуголые женщины, растерзанные и растрепанные, работали за жалкие гроши ради того, чтобы широкий поток прибылей непрерывно вливался в Глазго и Данди, а также в карманы кое-кого в Индии.

В годы бума в промышленности все обстояло благополучно, хотя рабочие жили, как и раньше, и положение их мало в чем улучшилось. Но когда бум миновал и получать крупные прибыли стало нелегко, главное бремя пало, разумеется, на плечи рабочих. О старых прибылях уже забыли, они были израсходованы. А если прибыли теперь были недостаточны, как могла существовать промышленность? Все это вызвало волнения среди рабочих, конфликты на предприятиях и гигантские стачки в Бомбее, которые произвели на всех огромное впечатление и напугали как предпринимателей, так и правительство. Рабочее движение проникалось духом классового самосознания, становилось воинственным и опасным как в идеологическом, так и в организационном отношении. Политические события также быстро развивались, и хотя между тем и другим не было связи, они двигались отчасти параллельно, и правительство смотрело в будущее с унынием.

В марте 1929 года правительство нанесло внезапный удар по рабочим организациям, арестовав некоторых видных деятелей, принадлежавших к передовой группе. Были взяты лидеры бомбейского профсоюза Гирни камгар, а также профсоюзные лидеры Бенгалии, Соединенных провинций и Пенджаба. Некоторые из них были коммунисты, другие были близки к коммунистам, третьи были попросту профсоюзными деятелями. Это было начало знаменитого Мирутского процесса, длившегося четыре с половиной года.

Был создан Комитет защиты обвиняемых по Мирутскому процессу под председательством моего отца. В него вошли д-р Ансари и другие, в том числе и я. Перед нами стояла трудная задача. Сбирать деньги было нелегко. Состоятельные люди, повидимому, не слишком симпатизировали коммунистам, социалистам и рабочим-агитаторам. Юристы же соглашались продать свои услуги лишь за наличные деньги. В составе нашего комитета было несколько видных юристов, в том числе мой отец и другие, с которыми всегда можно было проконсультироваться или получить у них общее руководство. Это ничего нам не стоило, но они не могли по несколько месяцев просиживать в Мируте. Другие же юристы, к которым мы обращались, усматривали в этом процессе удобный случай как можно больше заработать.

Помимо Мирутского процесса, я был связан еще с несколькими комитетами защиты — по делу М. Н. Роя и другими.

И каждый раз мне приходилось удивляться алчности представителей моей собственной профессии. Впервые я был сильно потрясен во время судов, происходивших на основании закона о военном положении в Пенджабе в 1919 году, когда один весьма крупный представитель этой профессии настаивал, чтобы жертвы военного положения, один из которых был его коллегой, юристом, уплатили ему полную сумму гонорара — а это была очень большая сумма, — и многим из этих людей пришлось занять деньги или продать свое имущество, чтобы заплатить ему. Впоследствии мне довелось видеть кое-что и похуже. Нам приходилось собирать деньги — часто это были медные гроши, которые вносили беднейшие рабочие, — чтобы выплачивать жирные куши адвокатам. Это противоречило всем нашим представлениям. И все это казалось совершенно тщетным, ибо — защищали ли мы тех, кто привлекался по какому-либо политическому или профсоюзному делу, или нет — результат обычно был один и тот же. Но в таком деле, как Мирутский процесс, защита была, разумеется, совершенно необходима со многих точек зрения.

Комитету защиты участников Мирутского процесса нелегко было иметь дело и с обвиняемыми. Среди них были разные люди, которые совершенно различно строили свою защиту, и между ними часто не было никакого согласия. Через несколько месяцев мы свернули официальную деятельность комитета, хотя каждый из нас в отдельности продолжал оказывать помощь обвиняемым. Обострение политической обстановки все более и более поглощало наше внимание, а в 1930 году мы все сами очутились в тюрьме.

ГРОМОВЫЕ РАСКАТЫ

В 1929 году съезд Конгресса должен был происходить в Лахоре. Таким образом, после десятилетнего перерыва он вновь проводился в Пенджабе. Прескочив через истекшее десятилетие, люди мысленно вновь возвращались к событиям 1919 года — к Джаллианвала Багу, военному положению со всеми его унижениями, к съездам Конгресса в Амритсаре, положившим начало движению несотрудничества. Много событий произошло за это десятилетие, облик Индии изменился, и все же можно было провести немало параллелей. Политическое напряжение усиливалось, атмосфера борьбы все явственнее давала себя знать, на страну как бы уже легла тень надвигавшегося конфликта.

Законодательное собрание и провинциальные законодательные советы давно уже не интересовали никого, кроме горсточку лиц, вращавшихся в их священных орбитах. Они продолжали свое монотонное существование, служа своего рода покрывалом (это было сильно изношенное и рваное покрывало!), маскировавшим авторитарный и деспотический характер правительства, давая кое-кому повод говорить, что у Индии есть парламент, и обеспечивая жалованье депутатам. В последний раз Законодательному собранию удалось привлечь к себе внимание, когда оно приняло в 1928 году резолюцию об отказе сотрудничать с комиссией Саймона.

Впоследствии возник также конфликт между главой этого органа и правительством. Председатель Законодательного собрания сваражист Витхалбхай Патель, отстаивавший свою независимость от властей, стал бельмом на глазу у правительства, и оно пыталось подрезать ему крылья. Инциденты такого рода привлекали к себе внимание, но в общем внимание публики было теперь приковано к событиям, происходившим вне стен Законодательного собрания. Мой отец глубоко разочаровался в деятельности советов и не раз высказывал мнение, что в настоящее время от законодательных органов ничего большего добиться нельзя. Он и сам хотел при удобном случае поговорить с ними. Несмотря на то, что он был воспитан на конституционных принципах и был приучен к законным методам и про-

цедуре, обстоятельства привели его к горестному заключению, что в Индии так называемые конституционные методы недействительны и бесплодны. Он оправдывал это перед своей собственной совестью законника ссылками на то, что в Индии нет конституции, так же как нет и подлинной власти закона, ибо законы в форме всевозможных указов и тому подобных предписаний появляются у нас внезапно, как кролики из шляпы фокусника, по воле какого-нибудь лица или диктаторской группы. По своему темпераменту и складу ума он далеко не был революционером, и, если бы у нас существовало какое-нибудь подобие буржуазной демократии, он, без сомнения, был бы столпом конституции. Но при существующем положении разговоры о выработке конституции в Индии и выставление напоказ бугафорского парламента начинали все больше и больше раздражать его.

Гандиджи продолжал сторониться политики, если не считать его участия на Калькуттском съезде Конгресса. Однако он был полностью в курсе событий, и лидеры Конгресса часто консультировались с ним. В течение нескольких лет его основная деятельность состояла в пропаганде одежды кхади, и с этой целью он совершал длительные поездки по всей Индии. Он объезжал поочередно каждую провинцию, посещая каждый округ и почти каждый сколько-нибудь крупный город, а также отдаленные сельские районы. Повсюду к нему стекались огромные толпы народа, и, чтобы выполнить его программу, требовалась большая предварительная организационная работа. Он несколько раз объехал таким образом всю Индию и изучил каждый уголок нашей обширной страны — от севера и до крайнего юга, от восточных гор до западных морей. Я не думаю, чтобы еще кто-либо и когда-либо столько путешествовал по Индии.

В прошлом бывали великие странники, пребывавшие в постоянном движении, скитальческие души, одержимые страстью к бродяжничеству, но они располагали лишь медленными средствами передвижения и, скитаясь всю жизнь, едва ли могли пройти такое расстояние, какое по железной дороге и на автомобиле можно покрыть за один год. Гандиджи ездил в поездках и на автомобиле, но он этим не ограничивался, и ходил также пешком. Именно этому он был обязан своим непревзойденным знанием Индии и ее народа, и именно благодаря этому десятки миллионов людей смогли его увидеть и установить с ним личный контакт.

В 1929 году, во время своей поездки, связанной с пропагандой кхади, он посетил Соединенные провинции и пробыл здесь несколько недель в самое жаркое время года. Время от времени я проводил с ним по несколько дней, и, хотя мне приходилось наблюдать все это и раньше, я не мог не удивляться тем огромным толпам людей, которые стекались к нему. Это особенно поражало в наших восточных округах, таких, как Гарахпур,

где массы людей напоминали рои саранчи. В сельских районах, через которые мы проезжали, нас через каждые несколько миль встречали сборища численностью от десяти до двадцати пяти тысяч человек, а на главном митинге, предусмотренном программой дня, присутствовало иной раз свыше ста тысяч человек. Нигде, за исключением немногих крупных городов, не было никаких усилительных установок, и было совершенно очевидно, что эти громадные толпы не могли слышать голос оратора. Да они, вероятно, и не рассчитывали что-нибудь услышать — им было достаточно увидеть Махатму. Гандиджи обычно выступал с краткой речью, избегая чрезмерного напряжения, иначе было бы совершенно невозможно выдерживать это изо дня в день, час за часом.

Я не сопровождал его во всех его поездках по Соединенным провинциям, так как ничем особенно не мог быть ему полезен, а просто увеличивать его свиту было незачем. Я ничего не имел против толпы, но не было достаточного стимула, который побуждал бы мириться с тем, что меня будут теснить, толкать и отдавливать мне ноги — обычный удел тех, кто сопровождал Гандиджи. У меня была масса другой работы, и я не имел никакого желания ограничиваться пропагандой кхади. В свете складывавшейся в то время политической обстановки это казалось мне сравнительно малозначительной деятельностью. Поглощенность Гандиджи неполитическими проблемами вызывала у меня некоторую досаду, и я никогда не мог понять внутреннюю подоплеку его мыслей. В то время он был занят сбором средств для налаживания производства кхади, и он часто говорил, что ему нужны деньги для *Даридранараяна* — «бога бедняков» или «господа, живущего в бедняке», — подразумевая под этим, повидимому, что деньги нужны ему для того, чтобы помочь беднякам найти себе работу в кустарной промышленности. Но за этим словом, казалось, скрывалось прославление бедности; господь был прежде всего богом бедняков, они были его избранниками. Я полагаю, что таков принцип религии повсюду. Я не мог с этим согласиться, ибо бедность казалась мне отвратительным явлением, с которым надо бороться и которое надо искоренять, а отнюдь не поощрять каким бы то ни было образом. Это неизбежно вело к нападкам на систему, породившую бедность и мирившуюся с ней, а те, кто не решался на это, волей-неволей должны были как-то оправдывать бедность. Они могли исходить только из представлений о скудости и были неспособны представить себе мир, в котором все необходимое для жизни будет в изобилии; вероятно, в их представлении богатые и бедные должны быть у нас всегда.

Всякий раз, когда я заводил об этом речь с Гандиджи, он подчеркивал, что богатые должны относиться к своим богатствам как к народному добру, вверенному их попечению. Эта точка зрения имеет довольно давнюю историю, с ней часто приходится

сталкиваться в Индии и в средневековой Европе. Должен признаться, что я никогда не понимал, как кто-либо может в это верить или считать, что в этом именно и кроется разрешение социальной проблемы.

Законодательное собрание, как я уже указывал выше, все больше погружалось в спячку, и очень немногие проявляли интерес к его унылой деятельности. Но однажды для него настал час сурового пробуждения, когда Бхагат Сингх и Б. К. Датт бросили с галереи для гостей две бомбы в зал заседания. Никто серьезно не пострадал, и, вероятно, бомбы, как заявляли впоследствии обвиняемые по этому делу, действительно предназначались не для того, чтобы кого-нибудь ранить, а чтобы произвести шум и вызвать переполох.

И они действительно вызвали переполох как в самом Законодательном собрании, так и за его стенами. Другие выступления террористов не были уже столь безобидными. В Лахоре был застрелен молодой английский офицер полиции, который будто бы ударил Лала Ладжпата Раи. В Бенгалии и других местах террористы, казалось, возобновили свою активность. Было начато несколько процессов по обвинению в заговорах, и число людей, содержащихся в тюрьме или под стражей без суда, быстро увеличивалось.

Во время слушания дела о заговоре в Лахоре полиция устраивала в суде какие-то странные сцены, что вызвало у публики большой интерес к процессу. В знак протеста против скверного обращения с ними на суде и в тюрьме большинство заключенных объявило голодовку. Не помню, что конкретно послужило поводом для нее, но в конечном итоге дело свелось к более широкому вопросу — об обращении с заключенными, особенно политическими. Голодовка продолжалась неделю за неделей, вызвав сильнейшее возмущение в стране. Из-за физической слабости обвиняемых их нельзя было доставлять в суд, и слушание дела неоднократно приходилось приостанавливать. Тогда английское правительство в Индии ввело закон, разрешающий продолжать судебное разбирательство даже в отсутствие обвиняемых и их адвокатов. Правительству пришлось заняться также и вопросом о тюремном режиме.

Мне довелось побывать в Лахоре, когда с начала голодовки заключенных прошел уже месяц. Я получил разрешение посетить некоторых заключенных в тюрьме и воспользовался им. Я впервые увидел Бхагата Сингха, Джатиндранатха Даса и некоторых других. Все они были очень слабы и прикованы к постели, и с ними едва ли можно было подолгу разговаривать. У Бхагата Сингха было привлекательное интеллигентное лицо, удивительно спокойное и умиротворенное. В нем не было, казалось, никакой злобы. Его вид и манера говорить были удивительно кроткими — впрочем, я думаю, что у всякого, кто голодал бы в течение месяца, также был бы кроткий и оду-

хотворенный вид. Джатин Дас выглядел еще более мягким — он был тих и нежен, как девушка. Он сильно мучился в тот момент, когда я увидел его, и позднее, на шестьдесят первый день голодовки, умер от истощения.

Основным желанием Бхагата Сингха, повидимому, было увидеть или хотя бы получить известие о своем дяде Сардаре Аджит Сингхе, который был выслан вместе с Лала Ладжпатов Раи в 1907 году. В течение многих лет он жил изгнанником за границей. Говорили что-то неопределенное, будто бы он поселился в Южной Америке, но я сомневаюсь, чтобы о его судьбе было что-нибудь в точности известно. Не знаю даже, жив он или умер.

Смерть Джатина Даса вызвала сенсацию во всей стране. Она привлекла всеобщее внимание к вопросу об обращении с политическими заключенными, и правительство назначило специальную комиссию, которой поручило заняться этим. В результате работы комиссии были опубликованы новые правила, согласно которым все заключенные подразделялись на три категории. Однако политические заключенные не были выделены в особую категорию. Эти новые правила, сулившие, казалось, какие-то перемены к лучшему, в действительности мало что изменили, и положение осталось — и остается по сей день — в высшей степени неудовлетворительным.

По мере того как кончалось лето и период муссонов и наступала осень, провинциальные комитеты Конгресса стали готовиться к выборам председателя Лахорского съезда Конгресса. Эти выборы представляют собой весьма длительную процедуру и обычно охватывают период с августа по октябрь. В 1929 году почти все единодушно поддерживали кандидатуру Гандиджи. Это желание видеть его вторично на посту председателя, конечно, не поднимало его еще выше в конгрессистской иерархии, ибо в течение многих лет он был своего рода верховным руководителем Конгресса. Однако существовало общее мнение, что, поскольку предстоит борьба и он неизбежно станет ее фактическим вождем, есть смысл, чтобы он был главой Конгресса также и юридически. К тому же, кроме него, не было ни одного достаточно выдающегося деятеля, кандидатура которого на пост председателя безусловно подходила бы.

Поэтому провинциальные комитеты рекомендовали кандидатуру Гандиджи. Однако он не желал занять этот пост. Хотя он отказывался достаточно решительно, казалось, что его еще можно будет переубедить, и надеялись, что он пересмотрит свое решение. В Лакнау состоялось заседание Исполнительного комитета Конгресса, который должен был принять окончательное решение, и все мы почти до последней минуты думали, что он согласится. Но он отказался и в последний момент выдвинул мою кандидатуру. Исполнительный комитет Конгресса был несколько ошеломлен его категорическим отказом и немного раз-

дражен тем, что его поставили в затруднительное и унижительное положение. За отсутствием какой-либо другой кандидатуры комитет, смирившись в конце концов, избрал меня.

Мне редко приходилось испытывать такую досаду и унижение, как во время этих выборов. Дело было не в том, что я не понимал, какая честь мне оказана, ибо это была великая честь, и я был бы счастлив, если бы меня избрали обычным путем. Но я попал на этот пост не через главный и даже не через черный ход, а через какой-то люк, и сбитая с толку публика вынуждена была принять мою кандидатуру. При этом они сделали хорошую мину, проглотив меня, как необходимое лекарство. Моя гордость была уязвлена, и я даже подумывал о том, чтобы отказаться от этой чести. К счастью, я удержался от того, чтобы выставить себя напоказ, и с тяжелым сердцем незаметно удалился с заседания.

Пожалуй, больше всех радовался этому решению мой отец. Ему не все нравилось в моих политических взглядах, но зато он любил меня самого, и всякая моя удача радовала его. Он часто меня критиковал и довольно резко говорил со мной, но ни один человек, желавший сохранить его расположение, не смел нападать на меня в его присутствии.

Мое избрание было поистине высокой честью для меня и налагало на меня великую ответственность. Еще не было случая, чтобы сын оказался непосредственным преемником своего отца на председательском кресле. Часто говорят, что я был самым молодым председателем Конгресса (мне было сорок лет, когда меня избрали на этот пост). Но это не так. Насколько мне известно, Гокхале было примерно столько же лет, а маулана Абул Калам Азаду (хотя он немного старше меня), вероятно, не было еще и сорока лет, когда его избрали председателем. Но Гокхале считался одним из старейших деятелей Конгресса еще в ту пору, когда он только приближался к сорока годам, а Абул Калам Азад сознательно старался придать себе вид человека почтенного возраста, который гармонировал бы с его глубокой ученостью. Поскольку государственная мудрость редко признавалась одной из моих добродетелей и никто никогда не обвинял меня в избытке учености, меня пока что никто не упрекал за мой возраст, хотя волосы мои поседели и мой вид выдает меня.

Лахорский съезд приближался. Между тем события развертывались неотвратно, шаг за шагом, подталкиваемые какой-то движущей силой, казалось, скрытой в них самих. Отдельные личности, как они ниставляли себя напоказ, играли очень незначительную роль. Каждый чувствовал себя лишь винтиком огромной, безостановочно движущейся машины.

Надеясь, возможно, остановить это поступательное движение судьбы, английское правительство первым сделало шаг вперед, и вице-король лорд Ирвин выступил с заявлением о пред-

стоящем созыве Конференции круглого стола. Это было искусно составленное заявление, которое могло значить много или очень мало, причем последнее казалось многим из нас более вероятным. Во всяком случае, даже если бы в заявлении содержалось что-нибудь большее, это было очень далеко от того, чего мы хотели. Едва было опубликовано это заявление вице-короля, как с почти неприличной поспешностью в Дели была созвана «конференция лидеров», на которую были приглашены представители различных групп. На конференции присутствовал Гандиджи, а также мой отец; в ней участвовали также Витхалбхай Патель (который все еще был председателем Законодательного собрания) и лидеры умеренных, такие, как сэр Тежд Бахадур Сапру и другие. Была опубликована совместная резолюция, или манифест, принимавшая декларацию вице-короля на известных условиях, которые, как было заявлено, являются жизненно важными и должны быть выполнены. В случае принятия этих условий правительством с ним обещали сотрудничать. Эти условия¹ были весьма солидными, и принятие их имело бы существенное значение.

Тот факт, что удалось добиться одобрения этой резолюции представителями всех групп, как умеренных, так и радикальных, был сам по себе крупной победой. Для Конгресса эта резолюция была шагом назад, но как показатель достигнутого согласия она имела важное значение. Однако здесь имелось одно роковое обстоятельство. Указанные условия рассматривались, по меньшей мере, с двух совершенно различных точек зрения. Представители Конгресса считали их существенно необходимыми, абсолютно обязательными для сотрудничества. С их точки зрения, это был необходимый минимум. Об этом было ясно сказано на состоявшемся вскоре после этого заседании Рабочего комитета Конгресса, который заявил также, что это предложение остается в силе лишь до следующего съезда Конгресса. С точки зрения умеренных групп, это был желательный максимум, который надо обнародовать, но на котором не следовало настаивать вплоть до отказа от сотрудничества. Для них эти условия, хотя их и называли жизненно важными, на деле вовсе не были условиями.

Так оно и оказалось впоследствии: хотя ни одно из этих условий не было выполнено, а большинство из нас оставалось

¹ Условия состояли в следующем:

1. Вся работа предполагаемой конференции должна исходить из предоставления Индии полного статуса доминиона.
2. Среди участников конференции большинство должны составлять члены Конгресса.
3. Полная амнистия политическим заключенным.
4. Деятельность английского правительства в Индии должна отныне соответствовать, насколько это возможно при существующих условиях, требованиям, предъявляемым к правительству доминиона.

в тюрьме вместе с десятками тысяч других, наши друзья — умеренные и респонсивисты, — подписавшие этот манифест вместе с нами, активно сотрудничали с нашими тюремщиками.

Большинство из нас подозревало, что так оно и будет, — хотя едва ли кто-нибудь ожидал, что все это будет выражено столь откровенно; но при этом имелась некоторая надежда, что это совместное решение, пойдя на которое конгрессисты несколько поступились своими принципами, в какой-то мере заставит также либералов и прочих пересмотреть свою политику почти неизменного неразборчивого сотрудничества с английским правительством. Но для некоторых из нас, питавших глубокое отвращение к этой компромиссной резолюции, гораздо более важным мотивом было стремление сохранить крепкое единство в наших собственных конгрессистских кругах. Мы не могли допустить раскола Конгресса накануне великой битвы. Все прекрасно понимали, что правительство вряд ли примет выдвинутые нами условия, и в этом случае наши позиции станут гораздо сильнее и мы легко сможем повести за собой наше правое крыло. Все это было делом каких-нибудь нескольких недель: декабрь, а значит, и Лахорский съезд были уже близко.

И все-таки этот совместный манифест был для некоторых из нас горькой пилюлей. Отказываться от требования о предоставлении независимости, хотя бы в теории и даже на короткое время, было неправильно и опасно; это означало, что это требование представляло собой всего лишь тактический прием, нечто такое, о чем можно было торговаться, а не что-то существенно для нас необходимое, с отсутствием чего мы никогда не смогли бы смириться. Ввиду этого я колебался и отказался подписать манифест (Субхас Бос решительно заявил о своем отказе подписать его), но, как это нередко со мной бывало, я дал себя уговорить и в конце концов все же подписал. Тем не менее я уехал сильно расстроенный и на следующий же день начал подумывать о том, чтобы отказаться от поста председателя Конгресса, о чем и написал Гандиджи. Едва ли я думал об этом серьезно, хотя я был весьма сильно огорчен. Успокоительное письмо от Гандиджи и трехдневные размышления восстановили мое равновесие.

Перед самым открытием Лахорского съезда была предпринята последняя попытка найти какую-то основу для соглашения между Конгрессом и правительством. Состоялась встреча с вице-королем лордом Ирвином. Не знаю, кому принадлежала инициатива организации этой встречи, но полагаю, что главную роль в этом сыграл Витхалбхаи Патель. Гандиджи и мой отец участвовали в этой встрече как представители Конгресса; кроме них, присутствовали, кажется, также Джинна, сэр Тедж Бахадур Салру и председатель Законодательного собрания Патель. Встреча ни к чему не привела, общий язык отсутствовал, и позиции обеих сторон — правительства и Конгресса — были слиш-

ком различны. Таким образом, Конгрессу не оставалось теперь ничего иного, как идти дальше своим путем. Отсрочка на год, которую предоставил правительству Калькуттский съезд, подходила к концу; теперь предстояло раз и навсегда объявить целью Конгресса независимость и предпринять необходимые шаги для продолжения борьбы за ее достижение.

В эти последние недели перед открытием Лахорского съезда я должен был заняться важной работой в другой области. В Нагпуре предстоял съезд Всеиндийского конгресса профсоюзов, и я, в качестве его председателя на этот год, должен был председательствовать на этом съезде. Это было редким совпадением, чтобы одному и тому же лицу пришлось в течение каких-нибудь нескольких недель председательствовать как на съезде Национального конгресса, так и на съезде Конгресса профсоюзов. Я надеялся, что мне, быть может, удастся стать связующим звеном между обеими этими организациями и добиться их сближения, с тем чтобы Национальный конгресс стал более социалистическим по своему характеру, более пролетарским, а организованный рабочий класс принял участие в национальной борьбе.

Это была, вероятно, тщетная надежда, ибо национализм может далеко пойти в социалистическом или пролетарском направлении лишь при условии, если он утратит свой национализм. И все же я считал, что при всей буржуазности мировоззрения Национального конгресса он представлял собой единственную по-настоящему революционную силу в стране. Поэтому рабочий класс должен был помогать ему, сотрудничать с ним и оказывать на него влияние, сохраняя в то же время в неприкосновенности свою собственную идеологию. Я надеялся, что ход событий и участие в прямых действиях неизбежно приведут Конгресс к более радикальной идеологии и заставят подойти вплотную к решению социальных и экономических проблем. За последние годы внимание Конгресса сосредоточивалось на крестьянине и деревне. Если бы так продолжалось и впредь, Конгресс мог с течением времени превратиться в огромную крестьянскую организацию или, во всяком случае, в организацию, в которой крестьянский элемент был бы преобладающим. Во многих окружных комитетах Конгресса наших Соединенных провинций уже и теперь было широко представлено крестьянство, хотя руководящую роль играла интеллигенция, принадлежавшая к среднему классу.

Таким образом, извечный конфликт между городом и деревней мог оказать влияние на взаимоотношения между Национальным конгрессом и Конгрессом профсоюзов. Но пока этого не могло случиться, поскольку нынешний Национальный конгресс находится в руках деятелей из среднего класса и контролируется городом; и, пока проблема национальной свободы не разрешена, его национализм будет играть главную роль и

будет оставаться преобладающим чувством в стране. Тем не менее мне казалось очень желательным сблизить Конгресс с организованным рабочим классом, и у себя в Соединенных провинциях мы даже приглашали провинциальное отделение Конгресса профсоюзов направлять своих делегатов в наш провинциальный комитет Конгресса. Многие конгрессисты также принимали активное участие в деятельности профсоюзов.

Однако передовые рабочие сторонились Национального конгресса. Они не доверяли его лидерам и считали его идеологию буржуазной и реакционной. Такой она и была в действительности с точки зрения рабочего класса. Национальный конгресс, как это видно из самого его названия, был националистической организацией.

В течение всего 1929 года индийские профсоюзы были охвачены волнением, поводом к которому послужило назначение королевской комиссии по вопросам труда в Индии, известной под именем комиссии Уитли. Левое крыло высказывалось за бойкот комиссии, правое — за сотрудничество с ней, причем здесь сыграл некоторую роль и чисто личный момент, ибо некоторым лидерам правого крыла предложили войти в состав комиссии. В этом вопросе, как и во многих других, мои симпатии были на стороне левых, тем более, что такой же была и позиция Национального конгресса. Было нелепостью сотрудничать с официальными комиссиями в то самое время, когда мы вели или собирались вести борьбу методами прямого действия.

На Нагпурском съезде Конгресса профсоюзов вопрос о бойкоте комиссии Уитли вызвал самые горячие споры, причем в этом, как и в некоторых других спорных вопросах, победу одержало левое крыло. Моя роль на этом съезде была совсем незаметной. Являясь новичком в профсоюзном движении, еще только нащупывавшим свой путь, я проявлял некоторую нерешительность. В общем я высказывался в поддержку более радикальных групп, однако избегал действовать заодно с какой-либо группой и скорее играл роль беспристрастного парламентского спикера, нежели руководящего работой съезда председателя. Таким образом, я явился почти пассивным зрителем раскола Конгресса профсоюзов и образования новой умеренной организации. По моему убеждению, правые группы поступали неправильно, откалываясь от Конгресса профсоюзов, но все же некоторые лидеры левых ускорили ход событий и дали им повод для выхода из организации. В обстановке споров между правыми и левыми многочисленная центристская группа чувствовала себя несколько беспомощной. Будь у нее надлежащее руководство, она, возможно, сумела бы обуздать тех и других и предотвратить раскол Конгресса профсоюзов, и если бы даже раскол произошел, он не имел бы таких неблагоприятных последствий.

Однако при существующих условиях профсоюзному движению в Индии был нанесен сильнейший удар, от которого оно до

сих пор еще не оправилось. Правительство уже начало кампанию против передовых элементов рабочего движения, первым плодом которой явился Мирутский процесс. Эта кампания продолжала развертываться. Предприниматели также сочли момент подходящим, чтобы перейти в наступление. Зимой 1929/30 года уже началась мировая депрессия, и под ее ударами атакуемый со всех сторон индийский рабочий класс, профсоюзные организации которого переживали период упадка, очутился в очень трудном положении, беспомощно наблюдая за тем, как условия его жизни все более ухудшались. В течение следующих двух лет в Конгрессе профсоюзов произошел новый раскол: от него отделилась коммунистическая группировка. Таким образом, теоретически в Индии существовали три профсоюзные федерации — умеренная группа, основной Конгресс профсоюзов и коммунистическая группа. В действительности все они были слабы и недействительны, а их взаимные ссоры отталкивали от них рядовых рабочих. Начиная с 1930 года я стоял в стороне от всего этого, ибо большей частью находился в тюрьме. В короткие промежутки пребывания на свободе я узнавал о предпринимаемых попытках восстановить единство. Они сказались безуспешными¹. Умеренные профсоюзы укрепили свое влияние в результате присоединения к ним железнодорожников. У них было то преимущество перед другими группировками, что правительство признало их и принимало их рекомендации к предстоящим сессиям Международного бюро труда в Женеве. Соблазн посетить Женеву привлек к ним некоторых профсоюзных лидеров, которые привели вместе с собой и свои союзы.

¹ Позднейшие попытки добиться единства в профсоюзах оказались более успешными, и в настоящее время различные группировки в известной мере сотрудничают друг с другом.

РЕЗОЛЮЦИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

Воспоминание о Лахорском съезде Конгресса всегда свежо в моей памяти — он оставил яркий след. Это вполне понятно, ибо я играл на нем ведущую роль и какое-то время находился в центре всеобщего внимания, и мне приятно вспомнить иногда о тех чувствах, которые волновали меня в эти насыщенные событиями дни. Я никогда не забуду того замечательного приема, который оказали мне жители Лахора, — он был поразителен по своей грандиозности и искренности. Я прекрасно понимал, что этот необычайный энтузиазм относился не ко мне лично, а к символу и идее, и все же стать хотя бы на время таким символом в представлении и в сердцах огромных масс людей — это тоже немало значило, и я испытывал чувство восторга и огромного подъема. Однако мои личные ощущения не имели большого значения; здесь решались вопросы огромной важности. Вся атмосфера была наэлектризована и давала ясное ощущение важности переживаемого момента. Наши решения должны были сводиться не просто к критике, протестам или изложению нашей точки зрения — они должны были явиться призывом к действию, которому суждено было потрясти всю страну и оказать влияние на жизнь миллионов людей.

Никто не решился бы предсказать, что ожидало в отдаленном будущем нас и нашу страну, но ближайшее будущее было достаточно ясно, и оно сулило борьбу и страдания как нам самим, так и тем, кто был нам дорог. Эта мысль несколько охлаждала энтузиазм и заставляла нас глубоко проникнуться сознанием своей ответственности. Всякое решение, которое мы выносили, становилось как бы прощанием с покоем и комфортом, со счастьем семейной жизни и общением с друзьями. Оно сулило одинокие дни и ночи, физические и духовные страдания.

Главная резолюция о независимости и о действиях, которые необходимо предпринять для развертывания нашей борьбы за свободу, была принята почти единогласно — из многих тысяч присутствующих против нее голосовало не более одного-двух десятков человек. Споры же возникли при голосовании второстепенного вопроса — предложенной к резолюции поправки. Поправка была отклонена, результаты голосования были обна-

родованы, а главная резолюция, по странному совпадению, была объявлена принятой 31 декабря, в тот самый момент, когда часы пробили полночь и старый год уступил место новому. Таким образом, как только истек год отсрочки, установленный Калькуттским съездом Конгресса, было принято новое решение и начаты приготовления к борьбе. Колеса были приведены в движение, но мы все еще пребывали в неведении относительно того, как и когда нам предстоит начать действовать. Исполнительному комитету Конгресса поручили разработать план нашей кампании и взять на себя руководство ею, но все понимали, что в действительности решение зависит от Гандиджи.

На Лахорском съезде Конгресса присутствовало много гостей из соседней Пограничной провинции. Отдельные делегаты от этой провинции всегда приезжали на съезды Конгресса, а в течение последних нескольких лет на наших съездах присутствовал и принимал участие в нашей работе Абдул Гаффархан. На Лахорском съезде впервые многочисленная группа энергичных молодых людей из Пограничной провинции непосредственно вошла в контакт с общендийскими политическими течениями. Это произвело сильное впечатление на их юные души, и они вернулись к себе, проникнутые ощущением единства со всей остальной Индией в борьбе за свободу и готовые отдать все силы в борьбе за нее. Это были простые, но умеющие работать люди, которые гораздо меньше, чем жители других индийских провинций, склонны к разговорам и словесным ухищрениям, и они начали организовывать народ и распространять новые идеи. Усилия их увенчались успехом, и жители Пограничной провинции, которая последней примкнула к общендийской борьбе, играли в этой борьбе начиная с 1930 года выдающуюся и замечательную роль.

Тотчас же по окончании Лахорского съезда и в соответствии с его решением мой отец призвал всех конгрессистов — членов Законодательного собрания и провинциальных законодательных советов — уйти со своих постов. Почти все они ушли в полном составе, отказались сделать это лишь очень немногие, хотя это и означало нарушение их предвыборных обязательств.

И все же мы весьма смутно представляли себе будущее. Несмотря на энтузиазм, царивший на съезде Конгресса, никто не знал, какой отклик пайдет у страны программа действий. Мы сожгли за собой корабли, и для нас уже не было пути назад, но страна, лежавшая перед нами, казалась нам чем-то вроде неизвестной и неисследованной земли. Для того чтобы дать толчок нашей кампании, а частично также с целью выяснить настроения народа 26 января решено было провести День независимости. В этот день народ всей страны должен был дать клятву бороться за независимость.

Итак, полные сомнений относительно нашей программы, но в то же время движимые энтузиазмом и стремлением делать

что-то полезное, мы ждали дальнейшего развертывания событий. В течение первой половины января я находился в Аллахабаде; отец по большей части был в отъезде. Это было время большой ежегодной ярмарки Магх мела. Вероятно, этот год был годом Кумбх¹, и в Аллахабаде, или священный Праяг, как его называли пилигримы, непрерывно стекались сотни тысяч мужчин и женщин. Это были самые различные люди, большей частью крестьяне, а также рабочие, лавочники, ремесленники, торговцы, дельцы, люди свободных профессий,— поистине здесь была представлена вся индусская Индия. Наблюдая за этими огромными толпами и за нескончаемыми потоками людей, двигавшихся по направлению к реке и обратно, я спрашивал себя, как они откликнутся на призыв к гражданскому сопротивлению и к мирному прямому действию. Многие ли из них знали о латорских решениях и принимали их близко к сердцу? Какой удивительной силой обладала эта вера, которая на протяжении тысячелетий приводила их и их предков из самых различных уголков Индии на берега Ганга, чтобы совершить омовение в его священных водах! Не могут ли они направить часть этой громадной энергии на политическую и экономическую борьбу ради облегчения своей собственной участи? Или же умы их слишком заполнены религиозными преданиями и догматами, чтобы в них нашлось место каким-либо иным идеям? Я, конечно, знал, что эти иные идеи уже проникли в их сознание, взбудоражив безмятежный покой веков. Именно брожение этих смутных идей и желаний в массах явилось причиной потрясений последних лет и изменило облик Индии. Не могло быть никаких сомнений в их существовании и в том, что в них была заключена огромная динамическая сила. И тем не менее рождались сомнения и возникали вопросы, на которые нельзя было дать немедленный ответ. Насколько широкое распространение получили эти идеи? Какой силой обладали те, кто усвоил их, какова была их способность к организованным действиям, их стойкость?

Наш дом привлекал к себе толпы паломников. Он был удобно расположен близ одного из объектов паломничества, Бхарадваджа, где в былые времена находился своего рода университет, и в дни мела нас от зари до зари осаждали бесконечные потоки посетителей. Я думаю, что большинство из них было движимо любопытством и желанием увидеть известных людей, о которых они много слышали, особенно моего отца. Но многие из тех, кто приходил к нам, интересовались политикой и задавали вопросы о съезде Конгресса, о его решениях и о том, что теперь должно произойти; их также угнетали материальные невзгоды, и они хотели знать, как им избавиться от них. Они

¹ Кумбх мела — религиозное празднество, происходящее один раз в двенадцать лет в Аллахабаде и Хардваре, во время которого паломники с восходом солнца совершают омовение в водах Ганга. — *Прим. ред.*

хорошо знали наши политические лозунги, и целый день выкрикивали их на весь дом. Я начинал свой день с того, что обращался с несколькими словами к каждой группе в двадцать, пятьдесят или сто человек, являвшейся одна за другой, но скоро это оказалось непосильной задачей, и я ограничивался тем, что молча приветствовал их, когда они приходили. Однако и здесь были свои пределы, и затем я уже старался прятаться от них. Но все было напрасно. Лозунги раздавались все громче и громче, все веранды нашего дома были заполнены этими посетителями, и из каждой двери и каждого окна за вами следило множество любопытных глаз. Невозможно было ни работать, ни говорить, ни есть, ни вообще делать что бы то ни было. Это не только стесняло, но надоедало и раздражало, но ничего нельзя было поделать с этими людьми, которые смотрели на вас сияющими, полными любви глазами. Из поколения в поколение они терпели нужду и страдания, и все же они изливали на вас свою благодарность и любовь, не требуя взамен почти ничего, кроме солидарности и сочувствия. Нельзя было не смириться и не ощутить благоговения перед этими щедрыми проявлениями любви и преданности.

В это время у нас гостила наша близкая приятельница, и часто мы не могли продолжать разговор с нею, так как через каждые пять минут, а то и чаще мне приходилось выходить, чтобы сказать несколько слов собравшейся толпе, а в промежутках мы вынуждены были выслушивать лозунги и крики, доносившиеся с улицы. Ее забавляло тяжелое положение, в которое я попал, и, мне кажется, на нее произвела некоторое впечатление моя большая, с ее точки зрения, популярность в массах. (В действительности главной приманкой для толпы был мой отец, но так как он отсутствовал, все это пришлось выдерживать мне.) Неожиданно она повернулась ко мне и спросила, как я отношусь к этому поклонению, горжусь ли я им? Я несколько помедлил с ответом, и это навело ее на мысль, что она, быть может, смутила меня своим неделикатным вопросом. Она стала извиняться. В действительности она ничуть не смутила меня, но мне трудно было ответить на этот вопрос. Мысли мои отклонились в сторону, и я начал анализировать свои собственные чувства и ощущения. Они были весьма противоречивы.

Я действительно приобрел, можно сказать — случайно, необычайную популярность в массах; я пользовался признанием интеллигенции, а юношам и девушкам я казался героем, ибо мой образ был в их глазах окружен неким романтическим ореолом. Обо мне были сложены песни и распространялись самые невероятные и смехотворные легенды. Даже мои противники часто поминали меня добрым словом и снисходительно признавали, что я не лишен кое-каких знаний и добросовестности.

Только святой или, быть может, какое-нибудь чудовище, лишенное всяких человеческих черт, могли выдержать все это

без каких бы то ни было последствий для себя, но я не могу причислить себя ни к одной из этих категорий. Все это бросилось мне в голову, немного опьянило меня, придало мне уверенности и силы. Я приобрел (так мне думается, ибо трудно видеть себя со стороны) несколько деспотические, чуть-чуть диктаторские замашки. Но все же я не думаю, чтобы мое тщеславие заметно усилилось. Я трезво, как мне казалось, оценивал свои способности и отнюдь не принижал их. Но в то же время я прекрасно сознавал, что ничего замечательного в них нет, и ясно отдавал себе отчет в своих слабостях. Привычка к самоанализу, вероятно, помогала мне сохранять равновесие и относиться объективно ко многим затрагивавшим меня событиям. Опыт общественной деятельности убедил меня, что популярность часто сопутствует совершенно неподходящим личностям и уж, конечно, отнюдь не является безошибочным показателем добродетели или ума. Но в таком случае был ли я обязан своей популярностью моим слабостям или положительным качествам? Чем, в самом деле, объяснялась моя популярность? Не интеллектуальными познаниями, ибо они отнюдь не были выдающимися, а, кроме того, они вовсе не способствуют популярности. Не так называемыми жертвами, ибо совершенно очевидно, что в наше время в Индии имеются сотни и тысячи людей, которым пришлось выстрадать несравненно больше, вплоть до последней жертвы. Моя репутация как героя полностью фиктивна, я совершенно не чувствую себя героем, и вообще мне кажется чрезвычайно глупым разыгрывать из себя героя или принимать в жизни драматические позы. Что же касается романтики, то должен сказать, что я наименее романтичный из смертных. Правда, у меня есть некоторое физическое и нравственное мужество, но в основе его, вероятно, лежит гордость — личная, групповая и национальная, — а также нежелание подчиняться какому бы то ни было принуждению.

Итак, я не мог найти удовлетворительного ответа на свой вопрос. Тогда я подошел к нему с другой стороны. Я обнаружил, что одна из наиболее распространенных легенд о моем отце и обо мне заключалась в том, будто мы имеем обыкновение отправлять каждую неделю свое белье в стирку из Индии в одну из парижских прачечных. Мы не раз опровергали это измышление, но легенда продолжает жить. Мне трудно даже вообразить себе что-нибудь более фантастическое и нелепое, и если действительно существует глупец, способный предаваться подобному расточительному снобизму, я полагаю, что его следует считать патентованным дураком.

Другая столь же распространенная легенда, часто повторяемая, несмотря на опровержения, гласит, что я учился в школе вместе с принцем Уэльским. В легенде далее рассказывается, что когда принц приехал в 1921 году в Индию, он спрашивал обо мне; я находился в то время в тюрьме. В действительности

я не только не учился с ним вместе в школе, но никогда даже не имел возможности видеть его или разговаривать с ним.

Я не хочу этим сказать, что моя репутация или популярность, каковы бы они ни были, объясняются этими или подобными легендами. Они, возможно, имеют под собой более прочную основу, но то, что покоится на этой основе, без сомнения, покрыто толстым слоем снобизма, как о том свидетельствуют приведенные выше истории. Во всяком случае, существует версия, согласно которой я вращался в высшем обществе и жил в роскоши, а затем отрекся от всего этого. Отречение же всегда импонировало уму индийца. Я бы вовсе не хотел, чтобы моя репутация основывалась на этом. Я предпочитаю пассивным добродетелям — активные, и отречение и жертвенность сами по себе весьма мало импонируют мне. Я ценю их с иной точки зрения — с точки зрения тренировки ума и духа, точно так же, как простая и размеренная жизнь необходима спортсмену для сохранения хорошего физического состояния. А способность стойко выносить любые тяжелые удары необходима тем, кто хочет принимать участие в великих предприятиях. Но у меня нет расположения или тяготения к аскетическому взгляду на жизнь, к отрицанию жизни, пугливому воздержанию от ее радостей и иных ощущений, которые она может дать. Я никогда не отказывался сознательно ни от чего, чем я дорожил, но критерии ценностей меняются.

Я так и не ответил на вопрос, заданный мне моей приятельницей: горжусь ли я этим поклонением толпы? Оно мне не нравилось, мне хотелось бежать от него, и все же я как-то привык к нему, и когда оно вовсе отсутствовало, мне его не хватало. Таким образом, я не был доволен ни поклонением, ни отсутствием его, но в общем у меня была какая-то внутренняя потребность в том, чтобы меня окружала толпа. Мысль о том, что я могу влиять на этих людей и побуждать их к действию, давала мне ощущение своей власти над их умами и сердцами, а это в какой-то мере удовлетворяло мое стремление к власти. Но и они, со своей стороны, незаметно осуществляли тираническую власть надо мной, ибо их доверие и любовь волновали сокровенные глубины моего существа и вызывали у меня эмоциональный отклик. Хоть я и был индивидуалистом, иной раз барьеры индивидуализма, казалось, рушились, и я чувствовал, что лучше нести проклятие вместе с этими несчастными людьми, чем спастись одному. Однако барьеры эти были слишком прочны, чтобы исчезнуть совсем, и я с удивлением смотрел поверх них на это непонятное для меня явление.

Самодовольство, подобно жировым отложениям на человеческом теле, растет незаметно, слой за слоем, и человек, с которым это происходит, не ощущает этих ежедневных приращений. К счастью, грубые пинки, наносимые нашим безумным миром, обуздывают это самодовольство, а то и вовсе сбивают спесь,

а мы в Индии не ощущали недостатка в таких грубых пинках за последние годы. Нам пришлось пройти трудную школу жизни, а страдания — суровый учитель.

Мне повезло также и в другом отношении — у меня были родные, друзья и товарищи, которые помогли мне сохранить надлежащее чувство меры и не потерять душевного равновесия. Публичные торжества, адреса от муниципалитетов, местных органов и других общественных организаций, торжественные шествия и тому подобное — все это было тяжелым испытанием для моих нервов, а также для моего чувства юмора и здравого смысла. В этих случаях обычно прибегали к самым пышным и цветистым выражениям, и у всех был такой торжественный и напыщенный вид, что у меня появлялось почти неудержимое желание засмеяться, высунуть язык или встать на голову, только чтобы шокировать это высокое собрание и посмотреть, какие у них будут лица. К счастью для моей репутации и для сохранения трезвой респектабельности общественной жизни в Индии, я подавлял это безумное желание и обычно вел себя подобающим образом. Но не всегда. Иногда я показывал себя с плохой стороны на каком-нибудь многолюдном митинге или, еще чаще, во время каких-нибудь шествий, которых я не терпел. Я внезапно покидал процессию, организованную в нашу честь, и исчезал в толпе, а жена или кто-либо еще из сопровождавших меня лиц, которые оставались в автомобиле или экипаже, продолжали двигаться с процессией.

Эти постоянные старания подавить свои чувства и вести себя на людях надлежащим образом несколько утомляют, и обычно это приводит к тому, что человек напускает на себя в торжественных случаях мрачный и солидный вид. Может быть, именно поэтому в одной статье, появившейся в индусском журнале, про меня было сказано, что я напоминаю своим видом индусскую вдову! Должен признаться, что при всем восхищении, которое вызывают у меня индусские вдовы старого типа, это сравнение меня потрясло. Автор, очевидно, хотел похвалить меня за некоторые качества, которыми я, по его мнению, обладал: дух смиренной покорности и отречения, суровая преданность своему долгу. Но я надеялся, что я обладаю — и я хотел бы, чтобы ими обладали также индусские вдовы — более активными и энергичными качествами: чувством юмора и способностью смеяться. Гандиджи заявил в одном из своих интервью, что если бы он не был наделен чувством юмора, он, возможно, покончил бы жизнь самоубийством или что-то вроде этого. Я, пожалуй, не зашел бы так далеко, но жизнь, несомненно, была бы для меня почти невыносима, если бы возле меня не было людей, которые вносят в нее элемент юмора и какой-то легкости.

Самая моя популярность и пышные адреса, с которыми ко мне обращались и которые (как это принято в подобных адре-

сах в Индии) были пересыпаны изысканными, цветистыми фразами и причудливыми образами, стали в кругу моей семьи и близких друзей предметом добродушных насмешек. Моя жена, сестры и другие подхватывали громкие и пышные слова и титулы, которыми часто величали видных деятелей национального движения, и перекидывались ими самым непочтительным образом. Они называли меня *Бхарат Бхушан* — «Жемчужина Индии» или *Тиагамурти* — «О воплощение жертвенности», и эти легкомысленные обращения успокаивали меня, и напряжение, которое вызывали у меня торжественные публичные собрания, где мне приходилось тщательно следить за собой, постепенно ослабевало. Даже моя маленькая дочь включилась в эту игру. И только моя мать продолжала относиться ко мне совершенно серьезно и никогда не одобряла никаких подшучиваний и издевки над ее дорогим мальчиком. Отца все это забавляло, и он умел молча выразить мне свое глубокое понимание и сочувствие.

Однако эти кричащие толпы, скучные и утомительные публичные торжества, нескончаемые споры, волнение и суета политической жизни — все это затрагивало меня только поверхностно, хотя иногда и довольно ощутимо. Подлинный конфликт происходил внутри меня, — это было столкновение различных идей, желаний и привязанностей, борьба подсознательного с внешним окружением, какой-то неутоленный внутренний голод. Моя душа превратилась в поле битвы, на котором боролись за господство надо мной различные силы. Я пытался каким-то образом спастись от этого, старался обрести внутреннюю гармонию и равновесие и с этой целью погрузился в активную деятельность. Это помогло мне обрести некоторое душевное спокойствие; внешний конфликт ослабил напряжение внутренней борьбы.

Зачем я пишу обо всем этом, сидя здесь в тюрьме? Я по-прежнему, в тюрьме ли, на свободе ли, занят все теми же поисками, и я описываю мои прошлые ощущения и переживания в надежде, что это может принести мне некоторый душевный покой и моральное удовлетворение.

НАЧАЛО КАМПАНИИ ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОЕНИЯ

Наступил День независимости, 26 января 1930 года, и мы, как при вспышке молнии, ясно увидели, каким горячим энтузиазмом была охвачена вся страна. Огромное впечатление производили происходившие повсюду многолюдные мирные и торжественные собрания, участники которых давали клятву бороться за независимость¹. Никаких речей или проповедей при этом не произносилось. Празднование Дня независимости дало Гандиджи толчок, в котором он нуждался, и он, так хорошо чувствовавший всегда пульс своего народа, решил, что настал момент действовать. С этой минуты события стали разворачиваться в быстрой последовательности, как это бывает в драме, близящейся к своему кульминационному пункту.

По мере того как приближалось начало кампании гражданского неповиновения и накалялась атмосфера, наши мысли обращались к движению 1921—1922 годов и к внезапному прекращению этого движения после инцидента в Чаури Чаура. Страна была сейчас более дисциплинированна, и народ яснее понимал характер нашей борьбы. В известной мере была усвоена также ее тактика, но что было еще более важным с точки зрения Гандиджи — это то, что теперь каждый полностью отдавал себе отчет в исключительной серьезности принципа ненасилия. Теперь в этом ни у кого уже не могло быть сомнений, между тем как десять лет назад кое-кто, вероятно, заблуждался на этот счет. Но при всем том могли ли мы быть уверены, что в той или иной местности не возникнет стихийно или в результате каких-либо интриг вспышка насилия? А если подобный инцидент произойдет, как он отразится на нашем движении гражданского неповиновения? Придется ли его внезапно свернуть, как и в прошлый раз? Такая перспектива весьма нас удручала.

Гандиджи, вероятно, также по-своему размышлял над этим вопросом, хотя проблема, волновавшая его, насколько я мог судить по нашим отрывочным разговорам, ставилась им иначе.

¹ Текст клятвы приводится в приложении А.

Ненасильственный метод действий, имеющий целью добиться перемен к лучшему, был, по его мнению, единственно правильным методом, а при надлежащем его применении — непогрешимым методом. Нужно ли было оговаривать, что этот метод мог применяться и быть действенным лишь при каких-то особенно благоприятных условиях и что к нему не следовало прибегать, если внешние обстоятельства были для него неподходящими? Из этого следовал бы тот вывод, что ненасильственный метод непригоден для любых случаев и что он, таким образом, не является ни универсальным, ни непогрешимым. Гандиджи не мог примириться с подобным выводом, ибо он твердо верил, что это был универсальный и непогрешимый метод и что, следовательно, он должен применяться, хотя бы внешние условия были неблагоприятны, даже в разгар борьбы и насилия. Способ его применения должен варьироваться соответственно изменяющимся обстоятельствам, но прекращать движение значило бы признаться в провале самого метода.

Вероятно, ход его мыслей был примерно такой, хотя я не могу поручиться, что он рассуждал именно так. У нас создалось впечатление, что в его взглядах произошли некоторые изменения и что после того, как кампания гражданского неповиновения будет начата, нам не придется прекращать ее из-за происходящих время от времени актов насилия. Но если насилие станет в какой-то мере частью самого движения, тогда оно перестанет быть мирным движением гражданского неповиновения и его необходимо будет ограничить или направить по другому пути. Эти разъяснения успокоили многих из нас. Теперь над нами тяготел только один важный вопрос: как, с чего нам следует начать? Какую форму гражданского неповиновения нам следует избрать, чтобы она оказалась действенной, отвечала бы существующим условиям и получила признание в массах? И тут нас натолкнул на мысль Махатма.

Слово «соль» внезапно приобрело некое мистическое и могущественное значение. Мы должны были атаковать соляной налог, нарушать законы о соляной монополии. Мы были сбиты с толку и как-то не могли связать в своем представлении национальную борьбу с такой обыденной вещью, как соль. Другим неожиданным событием было выдвигание Гандиджи его «Одиннадцати пунктов». Какой смысл имело требование некоторых политических и социальных реформ — хотя, несомненно, и весьма желательных самих по себе, — если речь шла о независимости? Имел ли Гандиджи в виду то же самое, что и мы, когда он употреблял этот термин, или же мы говорили с ним на разных языках? У нас не было времени для споров, ибо события продолжали развиваться. Они изо дня в день стремительно развертывались перед нашими глазами на политической арене Индии, и, хотя мы едва ли сознавали это в то время, столь же быстро развертывались события и в окружающем мире, который

очутился в тисках страшной депрессии. Цены падали, и горожане приветствовали это как залог грядущего изобилия, но фермер и арендатор смотрели в будущее с тревогой.

За этим последовали обмен письмами между Гандиджи и вице-королем и начало соляного похода в Данди из Ашрама на реке Сабармати. По мере того как публика следила день за днем за продвижением этой колонны пилигримов, атмосфера в стране все более накалялась. В Ахмадабаде было созвано заседание Исполнительного комитета Конгресса, чтобы завершить последние приготовления к борьбе, которая была уже не за горами. Руководитель предстоящей борьбы отсутствовал, ибо он вместе со своим отрядом пилигримов уже двинулся в поход к морю и отказался вернуться. Исполнительный комитет Конгресса разработал план мероприятий, которые необходимо было осуществить в случае арестов, причем председателю Конгресса были даны широкие полномочия действовать от имени комитета в случае, если он не сможет собраться, назначать новых членов Рабочего комитета взамен арестованных, а также назначить себе преемника с теми же полномочиями. Провинциальные и местные комитеты Конгресса предоставили аналогичные полномочия своим председателям.

Таким образом, был установлен режим, при котором действовали так называемые «диктаторы», руководившие борьбой от имени Конгресса. Государственные секретари по делам Индии, вице-короли и губернаторы в ужасе воздели руки к небу и стали говорить о том, как низко пал Конгресс, если он признает диктатуру, — они-то сами были, разумеется, убежденными поборниками демократии. Умеренная пресса в Индии также время от времени поучала нас о преимуществах демократии. Мы выслушивали все это молча (ибо мы находились в тюрьме) и с удивлением. Вряд ли можно было себе представить более бесстыдное лицемерие. Перед нами была Индия, управлявшаяся насильственными методами абсолютной диктатуры, действовавшей с помощью чрезвычайных указов, подавляя всякие гражданские свободы, и, тем не менее, наши правители вели елейные разговоры о демократии. Даже в обычное время был ли в Индии хотя бы намек на демократию? Со стороны английского правительства было, конечно, совершенно естественным защищать свою власть и свои привилегии в Индии и подавлять тех, кто пытался бросить вызов его владычеству. Но его утверждения, будто бы это и есть демократический метод, заслуживали того, чтобы войти в историю, дабы грядущим поколениям было чем восхищаться и над чем поразмыслить.

Конгрессу надо было учитывать, что наступит время, когда он не сможет нормально действовать, когда он будет объявлен нелегальной организацией и его комитеты смогут лишь конспиративно собираться для обсуждения какого-либо вопроса или принятия того или иного решения. Мы не поощряли конспира-

тивность, ибо хотели, чтобы наша борьба носила совершенно открытый характер и чтобы мы могли тем самым продолжать свою прежнюю линию и оказывать влияние на массы. Однако даже и конспиративная деятельность не могла бы дать больших результатов. Все наши ведущие работники, как мужчины, так и женщины, в центре, а также в провинции и на местах неизбежно должны были подвергнуться аресту. Кто же будет в этом случае продолжать борьбу? Единственное, что нам оставалось, это подготовиться к тому, чтобы по примеру действующей армии назначить новых командиров на случай, если старые выйдут из строя. Мы не могли усесться на поле боя и проводить заседания комитетов. Правда, мы иной раз поступали именно таким образом, но в этом случае неизбежным результатом был арест всего комитета в полном составе. У нас не было даже генерального штаба, который находился бы в безопасности, за линией фронта, или кабинета министров, находящегося в еще большей безопасности где-либо в другом месте. Наши генеральные штабы и кабинеты, в силу самого характера нашей борьбы, должны были находиться на самых передовых и опасных позициях, и их арестовывали и устраняли на ранних стадиях борьбы. Каковы же были полномочия, которые мы предоставляли нашим «диктаторам»? Для них было большой честью оказаться выдвинутыми вперед в качестве символов народной решимости продолжать до конца борьбу, но фактическая власть, которой они располагали, сводилась главным образом к тому, чтобы «диктовать» свой собственный арест. Они могли действовать лишь при том условии, если комитет, который они представляли, не мог собраться в силу каких-либо непреодолимых препятствий; в тех же случаях, когда комитет собирался на заседания, «диктатор» утрачивал свою личную власть. Он или она не могли затрагивать какие-либо важные проблемы или принципы; «диктатор» мог издавать распоряжения, касавшиеся лишь второстепенных и поверхностных сторон движения. Пост «диктатора» в Конгрессе в действительности был подготовительной ступенью к тюрьме, и этот процесс продолжался изо дня в день — все новые и новые люди становились на место тех, кто выбывал из строя.

Итак, завершив последние приготовления, мы попрощались в Ахмадабаде с нашими товарищами по Исполнительному комитету Конгресса, ибо никто не знал, когда и как мы встретимся снова и суждено ли нам вообще встретиться. Мы поспешили вернуться каждый на свой пост, чтобы завершить свои приготовления на местах в соответствии с новыми указаниями Исполнительного комитета и, как сказала Сароджини Найдю, чтобы уложить свои зубные щетки для предстоящего путешествия в тюрьму.

На обратном пути мы с отцом заехали повидаться с Гапиджи. Он находился в то время в Джамбусаре со своей груп-

пой пилигримов, и мы провели с ним несколько часов, а затем видели, как он снова отправился в путь вместе со своей группой, продолжая поход к соленому морю. Я видел его тогда в последний раз. С посохом в руке, с мирным, но неустрашимым видом он твердо шагал во главе своих последователей. Это было волнующее зрелище.

В Джамбусаре мой отец, посоветовавшись с Гандиджи, решил преподнести свой старый дом в Аллахабаде в дар народу и переименовать его в Сварадж Бхаван. По возвращении в Аллахабад он объявил о своем решении и передал дом на попечение представителей Конгресса. Часть большого дома была превращена в больницу. Он не мог в то время завершить все связанные с этим юридические формальности, и спустя полтора года я, согласно его желанию, передал дом в ведение специально учрежденного попечительского совета.

Наступил апрель, и Гандиджи подошел уже близко к морю. Мы ждали сигнала, чтобы начать кампанию гражданского неповиновения с нарушения соляной монополии. На протяжении последних нескольких месяцев мы занимались муштровкой наших добровольцев. Камала и Кришна (жена и сестра) присоединились к ним, надев ради этого мужское платье. У добровольцев не было, разумеется, ни оружия, ни даже палок. Обучая их, мы добивались того, чтобы они лучше справлялись со своей работой и научились иметь дело с большими скоплениями людей. 6 апреля было первым днем Национальной недели, которая отмечается ежегодно в память событий 1919 года, — со дня сатьяграхи до Джаллианвала Багха. В этот день Гандиджи начал нарушать соляную монополию на берегу Данди, а спустя три или четыре дня всей конгрессистской организации было разрешено делать то же самое и начать в своих районах кампанию гражданского неповиновения.

Казалось, внезапно началась весна. По всей стране, в каждом городе и в каждой деревне, только и говорили о добыче соли, и было придумано немало любопытных способов изготавливать соль. Мы очень слабо разбирались во всем этом, а потому старались узнать, что возможно, из книг, а затем распространяли листовки, в которых содержались соответствующие указания. Мы собирали также горшки и тазы, и наконец нам удалось произвести какое-то грязноватое вещество, которым мы страшно гордились и которое часто продавали с аукциона по фантастическим ценам. Было ли это вещество хорошим или плохим — не имело никакого значения, главное заключалось в том, чтобы нарушить зловредную соляную монополию, а это нам удалось, хотя качество нашей соли и было скверное. Видя, каким огромным энтузиазмом охвачен народ и как производство соли распространяется по всей стране, подобно пожару в прериях, мы были поражены и сконфужены тем, что усомнились в действительности этого метода, когда его впервые предложил Гандиджи.

И мы дивились поразительному умению этого человека влиять на массы и заставлять их действовать организованно.

Я был арестован 14 апреля, в тот самый момент, когда я садился в поезд, чтобы ехать в Райпур, в центральных провинциях, где я должен был присутствовать на конференции. В тот же самый день меня судили в тюрьме и приговорили к шестимесячному заключению в соответствии с законом о соляной монополии. В предвидении ареста я (в соответствии с новыми полномочиями, предоставленными мне Исполнительным комитетом Конгресса) назначил исполняющим обязанности председателя Конгресса на время моего отсутствия Гандиджи, но так как я опасался, что он откажется, второй кандидатурой был мой отец. Как я и ожидал, Гандиджи не согласился занять этот пост, ввиду чего исполняющим обязанности председателя Конгресса стал мой отец. Здоровье его было в плохом состоянии, но, тем не менее, он с огромной энергией включился в кампанию, и в эти первые месяцы его твердое руководство и умение поддержать дисциплину принесли огромную пользу движению. Движение сильно выиграло, но мой отец потерял последнее здоровье и физические силы, которые у него еще оставались.

Это были дни, насыщенные волнующими известиями — о демонстрациях и учинявшихся полицией избиениях и расстрелах, о частых харталах в знак протеста против арестов видных деятелей, о различных особых торжествах, таких, например, как Пешаварский день, Гархвалыйский день и т. д. Пока что бойкот заграничных тканей и всех английских товаров был почти полным. Я был сильно тронут, когда узнал, что моя престарелая мать и, разумеется, также мои сестры выстаивают под горячими лучами летнего солнца, пикетируя магазины, торгующие заграничными тканями. Камала также занималась этим, но ее деятельность была шире. Она с такой энергией и решимостью включилась в движение в Аллахабаде и округе, что я, считавший, что так хорошо и давно ее знаю, был просто поражен. Она забыла о своих болезнях и целыми днями носилась под палящим солнцем, проявляя замечательные организаторские способности. Я смутно слышал обо всем этом в тюрьме. Впоследствии, когда ко мне присоединился отец, я узнал от него, как высоко он сам ценил деятельность Камалы и особенно ее организаторский талант. Ему совсем не нравилось, когда моя мать и девочки находились под жарким солнцем, но он не вмешивался, ограничиваясь лишь изредка увещаниями.

Самой важной новостью, дошедшей до нас в эти первые дни, была весть о событиях, имевших место в Пешаваре 23 апреля, а затем и по всей Пограничной провинции. Столь замечательное проявление дисциплинированного и мирного мужества под огнем пулеметов должно было потрясти всю страну, в какой бы части Индии это ни случилось, но тот факт, что это произошло в Пограничной провинции, был особенно знаменателен,

ибо патаны, славившиеся своим мужеством, отнюдь не отличались миролюбием; на этот же раз патаны показали пример, не имевший прецедента в Индии. В Пограничной провинции произошел также знаменательный инцидент, когда гархвалийские солдаты отказались стрелять в мирных жителей. Они отказались стрелять потому, что стрельба по безоружной толпе всегда внушает солдату отвращение, а также, без сомнения, и потому, что они сочувствовали толпе. Однако обычно даже сочувствия бывает недостаточно, чтобы побудить солдата решиться на такой ответственный шаг, как отказ повиноваться приказу своего командира. Он знает, какими последствиями это ему грозит. Гархвалийцы, вероятно, решились на это (так же как и некоторые другие части в других местах, неповиновение которых не стало достоянием гласности) потому, что они ошибочно вообразили, что власть англичан рушится. Только в тех случаях, когда солдатом овладевает подобная идея, он осмелевает действовать в соответствии со своими собственными симпатиями и склонностями. Вероятно, общее смятение и гражданское неповиновение убедили кое-кого на несколько дней или недель, что пришли последние дни английского владычества, и это оказало влияние на часть индийской армии. Вскоре, однако, стало очевидно, что ничего подобного в ближайшем будущем не произойдет, и тогда неповиновение в армии прекратилось. Были также приняты меры к тому, чтобы не ставить солдат перед тяжелым выбором.

Много удивительного творилось в те дни, но самым поразительным, без сомнения, была та роль, которую играли в национальной борьбе женщины. Множество их вышло из своего домашнего затворничества, и, несмотря на отсутствие опыта в общественной деятельности, они бросились в самую гущу борьбы. Они полностью взяли в свои руки пикетирование магазинов, торгующих заграничными тканями и винами. Во всех городах происходили грандиозные демонстрации, в которых участвовали одни только женщины; вообще женщины занимали более непреклонную позицию, нежели мужчины. Они часто ставились конгрессистскими «диктаторами» в провинциях и на местах.

Нарушение закона о соляной монополии в скором времени стало лишь одним из видов деятельности, и гражданское неповиновение распространилось также и на другие области. Это облегчалось тем, что вице-король издавал всевозможные указы, запрещающие различного рода деятельность. По мере того как умножалось число этих указов и запрещений, умножались и возможности для их нарушения, и гражданское сопротивление заключалось теперь в том, чтобы делать как раз то, что запрещалось указами. Инициатива явно оставалась в руках Конгресса и народа, и так как ни один указ не приводил, с точки зрения правительства, к восстановлению порядка, вице-

король издавал все новые указы. Многие члены Рабочего комитета Конгресса были арестованы, но в состав его вводились новые члены, и он продолжал свою деятельность. В ответ на каждый официальный указ Рабочий комитет принимал резолюцию, в которой давались указания о том, как к нему следует относиться. Эти указания с удивительным единодушием выполнялись по всей стране, если не считать одного исключения, а именно — указания, касавшегося издания газет.

Когда был издан указ об усилении контроля над печатью, требовавший, чтобы газеты внесли денежный залог, Рабочий комитет обратился к националистической прессе с призывом отказать от несения каких-либо залогов и вместо этого прекратить издание. Газетчикам трудно было проглотить эту пилюлю, ибо как раз в то время интерес публики к новостям был очень велик. Тем не менее подавляющее большинство газет, за исключением нескольких изданий умеренного толка, перестало выходить. Это привело к тому, что начали распространяться всевозможные слухи. Но продержаться газетчики долго не могли — искушение было слишком сильно, и невыносимо обидно было видеть, как их соперники — умеренные — захватывают их дело. В результате издание большинства газет постепенно возобновилось.

Гандиджи был арестован 5 мая. После его ареста на западном побережье были организованы крупные налеты на соляные варниши и склады. Они сопровождались прискорбными инцидентами, во время которых полиция проявляла крайнюю жестокость. В центре всеобщего внимания находился в то время Бомбей, где происходили грандиозные харталы и демонстрации и где полиция устраивала массовые избиения. Для жертв этих избиений было срочно создано несколько госпиталей. В Бомбее происходило много замечательного, и, поскольку это был крупный город, у него были возможности доводить о случившемся до всеобщего сведения. Столь же крупные по своему значению события, совершавшиеся в небольших городах и в сельских районах, не становились достоянием гласности.

Во второй половине июня мой отец отправился в Бомбей. Вместе с ним поехали моя мать и Камала. Им была устроена торжественная встреча. Во время их пребывания в городе полиция учинила несколько жестоких массовых избиений, которые становились поистине частым явлением в Бомбее. Примерно две недели спустя там произошло необычайное столкновение, длившееся всю ночь. Малавияджи и другие члены Рабочего комитета, возглавлявшие огромную толпу, провели всю ночь лицом к лицу с полицией, преграждавшей им путь.

По возвращении из Бомбея, 30 июня, отец был арестован. Вместе с ним был арестован Саид Махмуд. Отец был арестован как исполняющий обязанности председателя Конгресса, а Саид Махмуд как секретарь Рабочего комитета, который был

объявлен вне закона. Каждый из них был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Арест отца был, вероятно, вызван тем, что он опубликовал заявление, в котором определялись обязанности солдата или полицейского в том случае, если будет отдан приказ стрелять в мирных жителей. Заявление было совершенно законным и содержало в себе положения ныне действующего в Британской Индии закона по этому вопросу. Тем не менее оно было признано провокационным и опасным документом.

Поездка в Бомбей стоила отцу большого напряжения; он был занят с раннего утра до позднего вечера и должен был брать на себя ответственность за каждое важное решение. Он давно уже был нездоров, теперь же он вернулся уставшим до предела и по настойчивому совету врачей решил немедленно отправиться основательно отдохнуть. Он собрался ехать в Муссури и уже упаковал свои вещи, но накануне того дня, когда он предполагал выехать в Муссури, он предстал перед нами в нашем бараке, в центральной тюрьме Паини.

Глава тридцатая

В ТЮРЬМЕ НАИНИ

Я возвратился в тюрьму после почти семилетнего перерыва, и мои воспоминания о тюремной жизни успели уже несколько поблекнуть. Я находился в центральной тюрьме Наини, одной из крупнейших тюрем провинции, и на этот раз меня, вопреки обыкновению, должны были содержать отдельно от остальных заключенных. Мой тюремный двор находился в стороне от основного тюремного двора, где содержалось от 2200 до 2300 заключенных. Это был небольшой двор, около 100 футов в диаметре, окруженный круглой стеной, достигавшей примерно 15 футов в высоту. В центре высилось безобразное грязножелтое здание с четырьмя камерами. Мне были отведены две из этих камер, сообщавшиеся друг с другом, из коих одна должна была служить мне ванной и уборной. Остальные камеры некоторое время пустовали.

После бурной и очень деятельной жизни, которую я вел на воле, я чувствовал себя несколько одиноким и подавленным. Я сильно устал и в течение двух-трех дней много спал. Уже наступили жаркие дни, и мне разрешили ночевать на открытом воздухе за стеной моей камеры, в узком пространстве между внутренним зданием и внешней стеной. Моя койка была наглухо прикована цепью, чтобы я не унес ее или, вероятнее, для того, чтобы койкой нельзя было воспользоваться как лестницей и взобраться по ней на стену. Ночи были полны странными шорохами. Надзиратели из числа заключенных, охранявшие главную стену, часто переключались друг с другом на разные голоса, порой столь протяжно, что крики их напоминали собой вой далекого ветра; ночные сторожа в бараках регулярно устраивали переключку вверенных им заключенных и кричали, что все спокойно; несколько раз в ночь какой-нибудь тюремный начальник, совершая свой обход, посещал наш двор и опрашивал дежурного сторожа. Поскольку мой двор находился на некотором расстоянии от других, большинство этих голосов доносилось ко мне невнятно, и вначале я не мог понять, что это такое. Временами мне чудилось, будто я нахожусь на опушке леса и крестьяне криками отгоняют диких зверей от своих полей;

порой же казалось, что я нахожусь в лесу, в котором раздаются завывания ночных хищников.

Не знаю, было это всего лишь моей фантазией или же в самом деле круглая стена больше напоминает человеку о плене, нежели прямоугольная? Отсутствие закоулков и углов как бы усугубляет чувство угнетения. Днем эта стена загораживала собой даже небо, так что виднелась лишь малая его частица. С грустью глядел я

На крохотный шатер лазурный,
Который узник называет небесами,
На облако, что проплывает мимо,
Сребристыми играя парусами.

Ночью же эта стена особенно давила меня, и мне казалось, будто я нахожусь на дне колодца. Иногда частица звездного неба, которую я видел, утрачивала свою реальность и казалась частью искусственного неба планетария.

Мой барак и двор были известны во всей тюрьме под названием Куттагхар — Собачья конура. Это было старое название, не имевшее ко мне никакого отношения. Первоначально маленький барак был выстроен в стороне от других, так как предназначался для особо опасных преступников, которых необходимо было изолировать. Позже он был использован для политических заключенных, арестованных без предъявления обвинения, и им подобных, которых можно было таким образом содержать отдельно от остальных обитателей тюрьмы. Впереди на некотором расстоянии от двора высылось сооружение, вид которого потряс меня, когда я впервые увидел его из окна своего барака. Оно походило на огромную клетку, внутри которой непрерывно двигались по кругу люди. Позже я узнал, что это водяной насос, приводимый в действие людьми, причем одновременно возле него работало до шестнадцати человек. Со временем я привык к нему, как привыкаешь ко всему на свете, но такое использование рабочей силы казалось мне в высшей степени глупым и варварским. И всякий раз, когда я прохожу мимо него, мне вспоминается зоологический сад.

В течение нескольких дней мне не разрешалось выходить за пределы моего дворика на прогулку или с какой-либо другой целью. Позже мне позволили выходить на полчаса ранним утром, когда было еще почти темно, и ходить или бегать у главной стены. Мне отвели этот ранний утренний час, чтобы я не мог связаться с другими заключенными или быть узнанным ими. Я любил эти прогулки, и они действовали на меня благотворно. Чтобы как можно лучше использовать свое короткое пребывание на воздухе, я стал устраивать пробежки и постепенно довел расстояние до двух с лишним миль в день.

Я привык вставать очень рано, около четырех часов утра или даже в половине четвертого, когда еще совсем темно. Отчасти

это вызывалось тем, что я рано ложился спать, так как плохое освещение не позволяло много читать. Я любил смотреть на звезды, и расположение некоторых знакомых созвездий позволяло мне примерно определять время. С того места, где я лежал, я мог видеть Полярную звезду, выглядывавшую из-за стены, а так как она всегда была на своем месте, я находил в этом большое утешение. Окруженная вращающимся небосводом, она казалась символом отрадного постоянства и стойкости.

В течение месяца у меня не было товарищей, но я был не один, так как на моем тюремном участке помещались заключенные, выполнявшие обязанности сторожа, надзирателей, повара и уборщика. Временами сюда заходили по какому-нибудь делу другие заключенные, в большинстве случаев надзиратели из числа заключенных, отбывавших длительное тюремное заключение. Среди них было много «пожизненных», то есть приговоренных к пожизненному тюремному заключению. Обычно предполагалось, что срок пожизненного заключения истекал через двадцать лет или даже раньше, но в тюрьме было много таких заключенных, которые уже пробыли там более двадцати лет. В Наини мне довелось быть свидетелем одного примечательного случая. Заключенным нашивают на плечо небольшие деревянные бирки, на которых указаны вынесенные им приговоры и сроки освобождения. На бирке одного такого заключенного я прочел, что он должен быть освобожден в 1996 году! В то время, в 1930 году, он уже пробыл в тюрьме не один год и был человеком средних лет. Вероятно, ему было вынесено несколько приговоров, которые нагромождались друг на друга. В общей сложности, помнится, это составляло семьдесят пять лет.

Многие из этих «пожизненных» годами не видят детей, женщин и даже животных. Они полностью теряют всякое соприкосновение с внешним миром и утрачивают связи с людьми. Они погружаются в тяжелое раздумье и терзаются страхом, мрачными мыслями о мести и ненавистью; они забывают о светлой стороне жизни, доброте и радости и живут ненавистью, и постепенно даже ненависть утрачивает свою остроту и жизнь становится чем-то бездушным — механическим, однообразным прозябанием. Они проводят свои дни подобно автоматам, ибо каждый их день как две капли воды похож на предыдущий, и не испытывают почти никаких чувств, кроме одного — страха! Время от времени заключенных взвешивают и измеряют. Но как взвесить разум и дух, которые хиреют и гибнут в этой ужасающей атмосфере угнетения? Люди ратуют против смертной казни, и я горячо сочувствую их доводам. Но когда я наблюдаю длительную агонию людей, проводящих жизнь в тюрьме, я чувствую, что, быть может, лучше вынести смертный приговор, чем убивать человека медленно и постепенно. Как-то раз один из таких «пожизненных» подошел ко мне и спросил: «А как насчет нас, пожизненных? Освободит ли нас свардаж из этого ада?»

Кто же эти пожизненные заключенные? Многие из них были отданы под суд в связи с групповыми преступлениями, а в этих случаях может быть сразу осуждено большое число людей — 50 или даже 100 человек. Вероятно, некоторые из них виновны, но я сомневаюсь в том, чтобы большинство осужденных было в самом деле виновно; людей легко замешать в такого рода делах. Показание одного из соучастников, опознание личности — вот и все, что нужно для этого. В наши дни разбой становится все более частым явлением, и количество заключенных увеличивается из года в год. Что делать людям, если они голодают? Судьи и следователи мечут громы и молнии по поводу роста преступности, но закрывают глаза на очевидные экономические причины этого явления. Попадают среди таких заключенных и земледельцы, участвовавшие в каком-нибудь крестьянском бунте, вызванном спорами о земле. Палки пускаются в ход, кто-то умирает, и в результате большое число людей оказывается на всю жизнь или на длительное время в тюрьме. Часто таким образом в тюрьму попадает весь мужской состав какой-нибудь семьи, предоставляя женщинам перебиваться, как они умеют. Все это отнюдь не преступные элементы. Как правило, это смысленные молодые люди, которые и в физическом и умственном отношении стоят значительно выше среднего крестьянина. Обучите их чему-нибудь, дайте другие интересы и занятия, и эти люди будут ценным капиталом для страны. Конечно, в индийских тюрьмах содержатся и закоренелые преступники, люди социально вредные и опасные для общества. Но я был поражен, когда обнаружил в тюрьме много замечательных юношей и мужчин, которым я доверился бы без всяких колебаний. Я не знаю соотношения между числом настоящих преступников и непереступных элементов, и, вероятно, в тюремном департаменте никто даже и не задумывался никогда над таким вопросом. Интересные цифры по этому вопросу приводит начальник нью-йоркской тюрьмы Синг-Синг Льюис Э. Лоуз. Он заявляет, что, насколько ему известно, 50 процентов заключенных, содержащихся в его тюрьме, вообще не имеют преступных наклонностей, 25 процентов являются жертвами обстоятельств и среды, а из остальных 25 процентов, возможно, лишь половина, то есть 12,5 процента, является социально вредными. Хорошо известно, что преступность шире распространена в крупных городах и современных центрах цивилизации, чем в слабо развитых странах. Американский гангстеризм пользуется печальной известностью, а Синг-Синг слышит, в частности, местом заключения наиболее опасных преступников. Несмотря на это, если верить его начальнику, лишь 12,5 процента заключенных действительно опасные. Мне думается, можно с полной уверенностью сказать, что в любой индийской тюрьме этот процент значительно ниже. При более разумной экономической политике, при увеличении занятости и улучше-

нии образования наши тюрьмы вскоре опустели бы. Но, конечно, для успеха этого необходим радикальный план, затрагивающий весь наш общественный строй. В противном случае остается лишь делать то, что делает сейчас английское правительство, которое увеличивает свои полицейские силы и расширяет тюрьмы в Индии. Число людей, отправляемых в тюрьмы в Индии, ужасающе велико. В докладе, опубликованном недавно секретарем Всендийского общества помощи заключенным, говорится, что в 1933 году в одном только Бомбейском округе было брошено в тюрьму 128 тысяч человек, а для Бенгалии эта цифра составила в том же году 124 тысячи¹. Мне неизвестны цифры по всем провинциям, но если общее число осужденных по двум провинциям превышает четверть миллиона, то вполне возможно, что по всей Индии оно приближается к миллиону. Разумеется, эта цифра не отражает числа постоянных обитателей тюрем, так как многих приговаривают к тюремному заключению на короткие сроки. Число постоянных обитателей тюрем окажется значительно меньшим, и, тем не менее, оно должно быть огромно. Говорят, что некоторые основные индийские провинции имеют крупнейшую в мире тюремную администрацию. К числу провинций, разделяющих эту сомнительную честь, относятся и Соединенные провинции, и вполне вероятно, что их тюремная администрация является или являлась одной из самых отсталых и реакционных. Не делается ни малейших усилий рассматривать заключенного как личность, как человеческое существо и помочь ему исправиться или позаботиться о его душевном состоянии. Единственной отличительной чертой тюремной администрации Соединенных провинций является ее способность стеречь заключенных. Попытки к бегству чрезвычайно редки, и я сомневаюсь, удастся ли бежать хотя бы одному из десяти тысяч.

Одна из самых удручающих особенностей индийских тюрем состоит в том, что среди заключенных много юношей в возрасте от пятнадцати лет и старше. В своем большинстве это смысленные на вид ребята, из которых, если только предоставить им возможность, вполне мог бы выйти толк. В последнее время делается кое-что, чтобы обучить их начаткам грамоты, но обычно такого рода попытки совершенно недостаточны и неэффективны. Возможностей развлечься или заняться чем-либо очень мало, получение каких-либо газет запрещено, а чтение книг не поощряется. В течение двенадцати или более часов все заключенные заперты у себя в бараках и камерах, и им совершенно нечем заполнить долгие вечера.

Свидания, а также и письма разрешаются лишь раз в три месяца — чудовищно долгий срок! Но многие заключенные не могут воспользоваться и этой возможностью. Если они

¹ «Statesman», December 11, 1934.

неграмотны — а таких большинство, — им приходится просить кого-нибудь из тюремного начальства написать от их имени, а эти чиновники вовсе не заинтересованы в том, чтобы увеличить лежащие на них обязанности, и обычно уклоняются от этого. Или же, если письмо написано, адрес указывается неправильно, и письмо не доходит по назначению. Еще труднее получить свидание. Для этого почти всегда нужно дать взятку какому-нибудь тюремному начальнику. Заключенных часто переводят в другие тюрьмы, и родственники теряют их след. Я встречал немало заключенных, которые вот уже много лет полностью утратили связь со своими семьями и не знали, что с ними. Свидания, когда они происходят раз в три месяца или реже, довольно необычны. Большое число заключенных и лиц, пришедших к ним на свидание, размещается по обе стороны барьера, и все пытаются говорить разом. При этом бывает очень много крику, и даже та небольшая возможность общения с близкими людьми, которую могли бы дать эти свидания, полностью сводится на нет.

Очень немногие заключенные, обычно один из тысячи (не считая евреев), пользуются особыми льготами в виде улучшенного питания и более частых свиданий и писем. В период широкого политического движения гражданского сопротивления, когда в тюрьмы попадают десятки тысяч политических заключенных, число таких привилегированных заключенных несколько возрастает, но и в этом случае оно очень невелико. Примерно 95 процентов этих заключенных, мужчин и женщин, находится на общем режиме и не пользуется даже этими льготами.

Некоторых лиц, приговоренных за революционную деятельность к пожизненному или длительному тюремному заключению, часто долгое время содержат в одиночных камерах. Мне кажется, что в Соединенных провинциях все такие лица автоматически подлежат одиночному тюремному заключению. Обычно одиночное тюремное заключение является наказанием за какой-нибудь проступок, совершенный в тюрьме. Но эти лица — чаще всего юноши — содержатся в одиночке, хотя бы их поведение в тюрьме было примерным. Таким образом, тюремный департамент без всякого основания добавляет к приговору суда дополнительное и притом ужасное наказание. Это кажется весьма необычным и вряд ли является законным. Одиночное заключение, даже на короткий срок, крайне мучительно; если же оно длится годами, оно становится ужасным. Оно вызывает медленное, неуклонное душевное расстройство, которое приводит человека на грань безумия; на лице его появляется отсутствующее выражение или он становится похожим на загнанного зверя. Это — постепенное умерщвление духа, медленная вивисекция души. Даже если человек выживает, он становится не вполне нормальным и абсолютно неспособным к жизни в

обществе. При этом всегда встает вопрос: был ли этот человек вообще виновен в каком-либо преступлении или проступке? Полицейские методы в Индии издавна внушают к себе подозрение, и это тем более верно в отношении политических вопросов.

Заключенные европейцы или евразийцы, независимо от их социального положения и совершенного ими преступления, автоматически относятся к более высокой категории, получают лучшую пищу, более легкую работу, и им разрешается больше свиданий и писем. Еженедельный визит духовного лица позволяет им поддерживать связь с внешним миром. Священник приносит им иностранные иллюстрированные и юмористические издания и в случае необходимости устанавливает связь с их семьями.

Никто не завидует этим привилегиям заключенных европейцев, так как их не так уж много, но все же несколько мучительно наблюдать полное отсутствие гуманности в обращении с другими узниками, как мужчинами, так и женщинами. Об осужденном не думают как об индивидуальном человеческом существе, а потому с ним или с нею редко обращаются как с таковым. В тюрьме пред нами предстает в ее наихудшей форме бесчеловечная сторона государственного аппарата угнетения. Это машина, которая работает грубо и бездумно, давит все, что попадает в ее тиски, а тюремные правила умышленно составлены с таким расчетом, чтобы показать эту машину в действии. Этот бездушный режим, применяемый по отношению к живым людям, обрекает их на пытки и терзания. Я видел, как заключенные, отбывающие длительное тюремное заключение, подчас не выдерживали унылого однообразия и плакали, словно малые дети. И достаточно было одного слова сочувствия или ободрения, столь редкого в этой обстановке, чтобы лица их внезапно светлели от радости и благодарности.

Однако среди самих заключенных нередко случаи трогательного милосердия и товарищества. Как-то раз на волю должен был выйти слепой заключенный, пробывший в тюрьме тринадцать лет и ставший как бы ее постоянным обитателем. Теперь, после стольких лет, он возвращался в недружелюбный мир совершенно без всяких средств. Его товарищи по заключению стремились помочь ему, но они мало что могли сделать. Один отдал свою рубашку, хранившуюся в тюремной канцелярии, другой еще что-то из одежды. Третий в то утро получил пару новых чаппал (кожаных сандалий) и не без гордости показывал их мне. В тюрьме это было ценное приобретение. Но когда он увидел, что его слепой товарищ по несчастью, просидевший с ним много лет, выходит из тюрьмы босым, он охотно расстался со своими новыми чаппал. Я тогда подумал, что, видно, отзывчивости больше в тюрьме, чем за ее стенами.

1930 год был насыщен драматическими ситуациями и ободряющими событиями. Больше всего поразила меня удивительная

способность Гандиджи вдохновлять и зажигать весь народ. В этом было нечто гипнотическое, и мы вспомнили, как Гокхале говорил, что Гандиджи способен создавать героев из глины. Кампания мирного гражданского неповиновения, казалась, оправдала себя как тактика достижения больших национальных целей, и в стране росла уверенность, разделяемая как друзьями, так и врагами, что мы идем к победе. Странное возбуждение охватило людей, принимавших активное участие в движении, затронув в какой-то мере тюрьму. «Сварадж идет!»— говорили рядовые заключенные и нетерпеливо ожидали его в эгоистической надежде, что он как-то облегчит их участь. Сто-рожка, наслушавшись разговоров на базарах, также полагали, что сварадж близок; мелкие тюремные чиновники стали не-много нервничать.

Мы не получали в тюрьме ежедневных газет, но еженедель-ник на языке хинди позволял нам узнавать кое-какие известия, и нередко эти известия воспламеняли наше воображение. Еже-дневные избиения, иногда расстрелы, введение в Шолануре военного положения, по законам которого поднятие националь-ного флага каралось десятью годами тюремного заключения. Мы гордились нашим народом, и особенно женщинами нашей страны. Я испытывал особое удовлетворение при мысли о дея-тельности моей матери, жены и сестер, а также многочислен-ных двоюродных сестер и приятельниц; и хотя я был в разлуке с ними и находился в тюрьме, мы стали ближе друг к другу, связанные новым чувством товарищества в великом деле. Ка-залось, что семья растворялась в более широкой группе и все же сохраняла свой прежний характер и близость. Камала по-разила меня, ибо ее энергия и энтузиазм преодолели ее физиче-ское недомогание, и, по крайней мере некоторое время, она держалась хорошо, несмотря на напряженную деятельность.

Мысль о том, что я веду сравнительно легкую жизнь в тюр-ме в то время, когда другие на воле подвергаются опасностям и страдают, начала угнетать меня. Я жаждал выйти из тюрьмы, и так как это было невозможно, то обрек себя в тюрьме на суровую жизнь, полную труда. Ежедневно в течение почти трех часов я сам пряд на своей чаркхе; еще два-три часа я ткал *невар*, который специально выпросил у тюремных властей. Мне нравились эти занятия. Я был занят, и в то же время они не вызывали чрезмерного напряжения, не требовали слишком большого внимания и, кроме того, успокаивали меня. Я много читал, а также занимался уборкой, стиркой своего белья и т. п. Я выполнял эту физическую работу добровольно, так как мое заключение было «простым». Так в мыслях о событиях на воле, в монотонной тюремной обстановке проходили мои дни в тюрьме Наини.

Когда я наблюдал за действием механизма индийской тюрьмы, мне пришло в голову, что оно походит на деятель-

ность английского правительства в Индии. Весьма эффективный государственный аппарат, способствующий укреплению власти правительства над страной, и мало — или никакой — заботы о людских ресурсах страны. На первый взгляд должно казаться, что тюрьма управляется умело, и до некоторой степени это было так. Но никто, видимо, не думал о том, что главной целью тюрьмы должно быть исправление и помощь несчастным, попавшим в нее. Сломите их! Вот основная мысль. Сломите их так, чтобы к тому времени, когда они выйдут из тюрьмы, у них не осталось и капли мужества. А как же управляется тюрьма, как обуздывают и наказывают заключенных? В значительной мере с помощью самих же заключенных, часть которых назначают сторожами или надзирателями и заставляют сотрудничать с властями под действием страха или в надежде на награду и особые поблажки. Вольнонаемных, платных сторожей сравнительно мало; охрану внутри тюрьмы несут главным образом сторожа и надзиратели из числа самих заключенных. Тюрьма опутана разветвленной сетью шпионажа, поощряются доносы и слежка заключенных друг за другом; какие-либо совместные действия заключенных, разумеется, не разрешаются. Это легко понять, ибо заключенных можно держать в узде лишь в том случае, если они останутся разобщенными.

За стенами тюрьмы многое из этого повторяется в системе управления нашей страной в более широком масштабе, хотя и не столь явно. Там, однако, сторожей и надзирателей называют по-иному. Они имеют внушительные звания, а их форменные livреи более роскошны. А за ними, как и в тюрьме, стоит вооруженная охрана, готовая пустить в ход оружие, чтобы обеспечить повиновение.

Как важна и необходима тюрьма современному государству! По крайней мере, так начинает думать заключенный, а многочисленные административные и другие функции государства представляются чуть ли не второстепенными и незначительными в сравнении с основными функциями тюрьмы, полиции, армии. В тюрьме начинаешь постигать марксистскую теорию о том, что государство — это в сущности аппарат принуждения, задача которого навязывать волю группы, контролирующей правительство.

В течение месяца я был один в бараке. Затем у меня появился компаньон — Нармада Прасад Сингх, и его появление было для меня облегчением. Два с половиной месяца спустя, в последний день июня 1930 года, в нашем небольшом бараке царил необычное оживление. Несоизбранно рано утром туда были приведены мой отец и д-р Саид Махмуд. Оба они были арестованы в Ананд Бхаване в это утро чуть ли не в постели.

ПЕРЕГОВОРЫ В ИЕРАВДЕ

Вслед за арестом моего отца или непосредственно перед этим Рабочий комитет Конгресса был объявлен вне закона. Это создало новое положение за стенами тюрьмы: весь комитет мог быть арестован целиком во время заседания. На основании полномочий, предоставленных исполняющим обязанности председателя, в комитет были введены новые члены, и таким образом в него вошло несколько женщин. Одной из них была Камала.

Состояние здоровья отца, когда его доставили в тюрьму, было очень плохое, а условия, в которых его содержали, весьма тяжелыми. Это не являлось следствием злого умысла со стороны правительства, ибо оно было готово сделать все возможное, чтобы уменьшить эти неудобства. Но оно мало что могло сделать в тюрьме Наини. Мы вчетвером ютились теперь в четырех крошечных камерах моего барака. Начальник тюрьмы предложил поместить отца в какой-нибудь другой части тюрьмы, где ему было бы несколько просторнее, но мы предпочитали остаться вместе, чтобы один из нас мог о нем заботиться.

Начинался период муссонов, и даже в камерах было нелегко оставаться совершенно сухими, так как дождевая вода просачивалась иногда сквозь крышу и капала в разных местах. Ночью перед нами неизменно вставала проблема, в каком месте веранды размером 10 на 5 футов, примыкавшей к нашей камере, поставить кровать отца, чтобы уберечь его от дождя. Иногда отца лихорадило. В конце концов тюремные власти решили пристроить к нашей камере дополнительно широкую веранду. Такая веранда была выстроена и значительно улучшила положение, но отец почти не воспользовался ею, так как вышел из тюрьмы вскоре после того, как ее постройка была закончена. Позже ею широко пользовались те из нас, кто остался жить в этом бараке.

К концу июля начали усиленно поговаривать, что сэр Тедж Бахадур Сапру и М. Р. Джаякар стараются примирить Конгресс и правительство. Мы прочли об этом в ежедневной газете, которую доставляли отцу в виде особой привилегии. В этой газете мы прочли текст писем, которыми обменялись вице-король

лорд Ирвин и Сапру и Джаякар, и тогда-то мы узнали, что так называемые «миротворцы» посетили Гандиджи. Мы не имели никакого понятия о том, что толкнуло их на этот шаг или чего они добивались. Впоследствии они сообщили нам, что их побудило к этому краткое заявление, одобренное отцом в Бомбее за несколько дней до ареста. Заявление было составлено Слокомбом (корреспондентом лондонской газеты «Дейли геральд», находившимся тогда в Дели) после беседы с моим отцом, который его одобрил. В этом заявлении¹ рассматривалась возможность того, что Конгресс отменит кампанию гражданского неповиновения, если правительство согласится на ряд условий. Все это имело туманный и расплывчатый характер, было совершенно ясно, что даже эти расплывчатые условия нельзя рассматривать, пока отец не получит возможности посоветоваться с Гандиджи и со мной. Я как раз вступил на год на пост председателя Конгресса. Я припоминаю, что отец сказал мне об этом в Наини, после своего ареста, и выразил некоторое сожаление, что сделал в спешке такое туманное заявление, так как его могли превратно истолковать. Его и в самом деле истолковали превратно — как это, вероятно, бывает даже с самыми точными и ясными заявлениями — люди совершенно иного образа мысли.

27 июля к нам в тюрьму Наини внезапно явились с запиской от Гандиджи сэр Тедж Бахадур Сапру и Джаякар. В течение этого и следующего дня мы вели с ними продолжительные беседы, которые были весьма утомительны для отца, так как его в то время лихорадило. Наши разговоры и споры вращались, словно в замкнутом кругу. Мы с трудом понимали язык и мысли друг друга, настолько разными были наши политические воззрения. Нам было ясно, что при существовавшем положении дел не было ни малейшего шанса на какое-либо

¹ Заявление, датированное 25 июня 1930 года, Бомбей, одобренное пандитом Мотилалом Неру: «Если при некоторых обстоятельствах английское правительство и правительство в Индии, хотя они и не могут предвидеть, какие именно рекомендации могут быть в условиях полной свободы даны Конференцией круглого стола или какую позицию может занять в отношении этих рекомендаций английский парламент, тем не менее согласятся дать в частном порядке заверение, что они поддержат требование о создании настоящего ответственного правительства для Индии с такими взаимными поправками и условиями передачи власти, какие требуются в силу особых нужд и условий Индии и в силу долгодетных связей ее с Великобританией и какие может найти нужным Конференция круглого стола, пандит Мотилал Неру согласится лично передать такое заверение — или сообщение, полученное от ответственной третьей стороны, что подобное заверение будет дано, — Ганди и пандиту Джавахарлалу Неру. Если бы такое заверение было дано и принято, оно сделало бы возможным общее умиротворение, которое повлекло бы за собой одновременную отмену движения гражданского неповиновения, прекращение внешней политики репрессий правительства и всеобщую амнистию политических заключенных, а за этим последовало бы участие Конгресса в Конференции круглого стола на условиях, подлежащих взаимному согласованию».

примирение между Конгрессом и правительством. Мы отказались делать какие-либо предложения, предварительно не посоветовавшись со своими коллегами по Рабочему комитету, особенно с Гандиджи. И мы написали Гандиджи нечто в этом роде.

Спустя одиннадцать дней, 8 августа, нас снова повестил д-р Сапру, который принес ответ вице-короля. Вице-король не возражал против нашей поездки в Иеравду (тюрьма в Пуне, где содержался Гандиджи), но он и его Совет не могли разрешить нам встретиться с Сардаром Валлабхххай Пателем, маулана Абул Калам Азадом и другими членами Рабочего комитета, которые находились на свободе и продолжали вести активную кампанию против правительства. Д-р Сапру спросил нас, хотим ли мы ехать в Иеравду при этих обстоятельствах. Мы сказали ему, что не возражаем и не можем возражать против того, чтобы повидаться с Гандиджи в любой момент, но, поскольку мы не можем встретиться с другими нашими коллегами, нет никакой возможности решить что-либо окончательно. В тот же день (или, может быть, накануне) мы узнали из газеты об избиениях в Бомбее и об аресте там Валлабхххай Пателя, Малавияджи, Тасадука Шервани и других постоянных или временных членов Рабочего комитета. Мы указали д-ру Сапру, что это не улучшило дела, и попросили его разъяснить положение вице-королю. Однако д-р Сапру заявил, что не будет никакого вреда, если мы как можно скорее встретимся с Гандиджи. Ранее мы указали ему, что если нас пошлют в Иеравду, туда должен будет поехать также наш коллега д-р Саид Махмуд, находившийся с нами в Наини, так как он являлся секретарем Конгресса.

Спустя два дня, 10 августа, мы трое — отец, Махмуд и я — были отправлены специальным поездом из Наини в Пуну. Наш поезд не останавливался на крупных станциях; мы пронеслись мимо них, останавливаясь на полустанках. Однако вести о нас опережали наш поезд, и как на тех станциях, где мы останавливались, так и на тех, где мы не останавливались, собирались толпы народу. Поздно вечером 11 августа мы прибыли в Кирки близ Пуны.

Мы рассчитывали, что нас поместят в одном бараке с Гандиджи или что, по крайней мере, мы с ним скоро увидимся. Так распорядился смотритель тюрьмы Иеравда, но в последний момент ему пришлось изменить свои распоряжения ввиду инструкций, полученных через полицейского офицера, который сопровождал нас из Наини. Смотритель тюрьмы подполковник Мартин не хотел раскрыть нам секрет, но отец несколькими умными вопросами выведал у него, что мы должны были встречаться с Гандиджи (по крайней мере, в первый раз) лишь в присутствии Сапру и Джаякара. Опасались, что наша предварительная встреча приведет к тому, что мы сможем занять

более непреклонную позицию или же будем держаться более единодушно, чем при других условиях. Таким образом, эту ночь и весь следующий день нас держали отдельно в особом бараке, и отец был страшно возмущен. Было мучительно и досадно находиться здесь и не иметь возможности увидеться с Гандиджи, ради встречи с которым он проделал весь этот путь из Наини. Утром 13 августа нам сообщили, что сэр Тедж Бахадур Сапру и Джаякар прибыли и что Гандиджи находится с ними в тюремной канцелярии, и нас попросили пройти туда же. Отец отказался пойти и согласился лишь после того, как нам были даны разъяснения и принесены извинения, и лишь при условии, что сначала мы увидимся с Гандиджи наедине. Позже, по нашему совместному требованию, к нашему совещанию было разрешено присоединиться Валлабххай Пателю и Джаирамдасу Даулатраму, привезенным в Иеравду, а также Сароджини Найдю, которая содержалась в женской тюрьме, расположенной напротив нашей. В тот же вечер отец, Махмуд и я были переведены в барак Гандиджи и оставались там в течение всего своего пребывания в Иеравде. Валлабххай Патель и Джаирамдас Даулатрам также были переведены туда на эти несколько дней, чтобы мы могли посоветоваться сообща.

Наши переговоры в тюремной канцелярии с Сапру и Джаякаром продолжались три дня, 13, 14 и 15 августа, и мы обменялись письмами, в которых излагали наши взгляды и выдвигали минимальные необходимые условия, которые позволили бы нам отменить кампанию гражданского неповиновения и предложить правительству свое сотрудничество. Впоследствии эти письма были опубликованы в газетах¹.

Напряженная работа на этих совещаниях сказалась на отце, и у него внезапно сильно поднялась температура. Это задержало наше возвращение, и мы выехали в Наини вечером 19 августа, опять-таки специальным поездом. Власти Бомбея приложили всемерные старания, чтобы обеспечить отцу удобную поездку, и даже в Иеравде во время нашего недолгого пребывания там заботились о его удобствах. Мне вспоминается забавный случай, происшедший в день нашего прибытия в Иеравду. Смотритель тюрьмы подполковник Мартин спросил отца, какую пищу он желал бы получать. Отец сказал ему, что он ест очень простую и легкую пищу, и затем перечислил все свои требования от утреннего чая в постели до обеда вечером. (В Наини мы ежедневно получали для него еду из дому.) Спосок, который отец дал в своей простоте и наивности, состоял, безусловно, из легких блюд, но был внушителен. Вполне вероятно, что в «Рице» или «Савое» это считалось бы простой и обычной пищей, какой считал ее сам отец. Но в тюрьме

¹ Письмо, содержащее эти минимальные условия, приведено в приложении Б.

Иеравда это казалось странным, нереальным и в высшей степени неуместным. Нас с Махмудом очень забавляло выражение лица подполковника Мартина, когда он слушал, какое множество дорогих блюд требуется отцу. В течение долгого времени под надзором Мартина находился виднейший и самый знаменитый индийский лидер, и он не требовал ничего, кроме козьего молока, фиников и, может быть, изредка апельсинов. Новый тип лидера, с которым он столкнулся теперь, был совсем иным.

На обратном пути из Пуны в Наини мы снова проносились мимо крупных станций и останавливались на полустанках. Но толпы были еще больше, они заполняли платформы и порой даже устремлялись на железнодорожное полотно, особенно в Харде, Итарси и Сохагпуре. Кое-где с трудом удавалось избежать несчастных случаев.

Состояние отца быстро ухудшалось. Его приходили осматривать много врачей, как лечивших его, так и присланных правительством провинции. Было ясно, что тюрьма — совершенно неподходящее для него место и что там он не может получить надлежащего лечения. Тем не менее, когда один из друзей намекнул в печати, что его следует освободить по болезни, отец был возмущен, ибо он считал, что люди могут подумать, будто это предложение исходит от него. Он даже послал лорду Ирвину телеграмму, заявив, что не желает, чтобы его выпустили из тюрьмы в виде особой милости. Но его состояние ухудшалось изо дня в день; он быстро худел и стал походить на собственную тень. 8 сентября он был освобожден после десяти-недельного тюремного заключения.

С его уходом в нашем бараке стало скучно и уныло. У нас было столько дела, пока он был с нами: мы оказывали небольшие услуги, создававшие ему удобства, все мы — Махмуд, Нармада Прасад и я — заполняли свои дни этим приятным для нас занятием. Я перестал ткать, очень мало пряд, и у меня не оставалось времени даже для книг. Теперь же, когда он ушел, мы безрадостно и с тяжелым сердцем вернулись к прежнему размеренному существованию. Даже ежедневную газету мы перестали получать после освобождения отца. Через четыре-пять дней был арестован мой зять Ранджит С. Пандит, который присоединился к нам в нашем бараке.

Спустя месяц, 14 октября, я был освобожден, поскольку шестимесячный срок моего приговора истек. Я знал, что мне не долго придется пользоваться свободой, ибо борьба продолжалась и усиливалась. Попытки «миротворцев» — господ Сапру и Джаякара — провалились. В тот самый день, когда я вышел из тюрьмы, было издано еще несколько специальных указов. Я радовался, что вышел на волю, и жаждал сделать что-нибудь полезное за время предоставленной мне короткой передышки.

Камала находилась в то время в Аллахабаде, где работала по заданию Конгресса, отец лечился в Муссури, а мать и сестра были с ним. Перед своим отъездом вместе с Камалой в Муссури я провел полтора дня в Аллахабаде. Перед нами стоял в то время важный вопрос, следует ли начинать в сельских районах кампанию неуплаты налогов. Близились время сбора арендной платы и уплаты земельного налога, и, во всяком случае, сбор должен был оказаться трудным делом из-за сильного падения цен на продукты сельского хозяйства. Мировой спад уже сильно чувствовался в Индии.

Это, казалось, создавало идеальные возможности для организации кампании неуплаты налогов, которая могла быть как частью движения гражданского неповиновения, так и самостоятельной кампанией со своими собственными целями. Ни помещики, ни арендаторы явно не могли покрыть всю задолженность из урожая этого года. Им оставалось либо использовать старые запасы, если они у них были, либо прибегнуть к займам. У заминдаров обычно были кое-какие запасы, и им легче было получить ссуду. Средний арендатор, всегда стоявший на грани нищеты и голода, не имел никаких запасов. Ни в одном демократическом государстве и ни в одной стране, где земледельцы надлежащим образом организованы и пользуются влиянием, совершенно невозможно было бы взыскать с них много в таких условиях. В Индии их влияние было ничтожно, если не считать тех районов, где их поддерживал Конгресс, и, конечно, если не говорить о вечном страхе перед крестьянскими восстаниями, когда положение крестьян становилось невыносимым. Но индийских крестьян поколениями учили безропотно сносить почти все.

В Гуджарате и в некоторых других районах проводились в то время кампании неуплаты налогов, но это были почти всецело политические кампании, предпринятые как часть движения гражданского неповиновения. Это были районы, где преобладала система райотвари и где крестьяне-собственники имели дело непосредственно с правительством. Неуплата ими земельного налога немедленно отражалась на государстве. В Соединенных провинциях положение было иным, так как это был район заминдаров и талукдаров и отношения между земледельцами и государством поддерживались через посредников. Если арендаторы переставали вносить арендную плату, от этого немедленно страдал помещик. Таким образом вставал также классовый вопрос. Конгресс в целом был чисто националистической организацией, и в него входило много средних заминдаров и некоторое число крупных. Лидеры Конгресса страшно боялись сделать что-нибудь такое, что могло бы поднять этот классовый вопрос или вызвать недовольство прослойки заминдаров. Поэтому в первые шесть месяцев гражданского неповиновения они не призывали к общей кампании

неуплаты налогов в сельских районах, хотя, как мне казалось, условия для этого созрели. Я не боялся поднять классовый вопрос в такой форме или как-либо иначе, но я сознавал, что Конгресс, в его тогдашнем составе, не мог поощрять классовый конфликт. Он мог, однако, призвать к неуплате обе стороны — заминдаров и арендаторов. Средний заминдар, вероятно, уплатил бы земельный налог, требуемый правительством, но это было бы уже его личным делом.

Ко времени моего выхода из тюрьмы в октябре мне казалось, что политические и экономические условия настоятельно требовали проведения в сельских районах кампании неуплаты налогов. Материальные трудности земледельцев были достаточно очевидны. В политическом отношении наше движение гражданского неповиновения, хотя оно и преуспевало повсюду, приобретало несколько застойный характер. Люди продолжали идти в тюрьмы небольшими, а иногда и большими группами, но положение утратило свою остроту. Города и средние классы в целом несколько устали от харталов и шествий. Очевидно, нужно было как-то вдохнуть в движение новую жизнь, влить свежую кровь. А кто, кроме крестьянства, мог ее дать? И здесь, надо сказать, резервы были огромные. Оно снова стало бы массовым движением, затрагивающим насущные интересы масс, и, что мне представлялось очень важным, подняло бы социальные вопросы.

Я обсудил с моими коллегами эти вопросы во время моего краткого полуторадневного пребывания в Аллахабаде. Мы спешно созвали там заседание провинциального исполнительного комитета Конгресса и после долгих дебатов решили санкционировать кампанию неуплаты налогов, разрешив всем округам начать ее. Мы не объявили ее сами ни в одной части провинции, и исполнительный комитет распространил ее как на арендаторов, так и на заминдаров, чтобы избежать, по возможности, возникновения классовых разногласий. Мы, конечно, знали, что на этот призыв откликнется главным образом крестьянство.

Получив это разрешение действовать, наш Аллахабадский округ захотел сделать первый шаг. Мы решили созвать через неделю представительную крестьянскую конференцию округа, чтобы дать толчок новой кампании. У меня было чувство, что в первый день по выходе из тюрьмы я хорошо поработал. Кроме того, я провел большой массовый митинг в Аллахабаде, где выступил с большой речью. Именно за эту речь меня впоследствии снова осудили.

13 октября Камала и я выехали в Муссури, чтобы провести три дня с отцом. Он выглядел несколько лучше, и я с радостью думал, что наступил перелом и он поправляется. Я прекрасно помню те чудесные, спокойные три дня; так хорошо было снова считаться в семье. Там была моя дочь Индира и три малень-

кне племянницы, дочери моей сестры. Я играл с детьми, а иногда мы устраивали торжественные шествия вокруг дома во главе с самой младшей девочкой, трех-четырёх лет, которая несла в руке флаг, и распевали наш гимн «Джханда унча рахе хамара»¹. Эти три дня были последними, которые мне суждено было провести с отцом, прежде чем смертельная болезнь отняла его у меня.

Ожидая в скором времени моего нового ареста и желая, быть может, чаще видеться со мной, отец внезапно решил также вернуться в Аллахабад. Мы с Камалой уезжали из Муссури 17 октября, чтобы успеть на крестьянскую конференцию, назначенную на 19 октября в Аллахабаде. Отец с остальными членами семьи намеревался выехать на следующий день, 18 октября.

Наш обратный путь с Камалой был довольно беспокойным. В Дехра-Дун мне почти перед самым отъездом вручили предписание, изданное на основании параграфа 144 Уголовно-процессуального кодекса. В Лакнау мы сошли с поезда на несколько часов, и я узнал, что меня ожидает еще одно предписание на основании параграфа 144, но его не вручили мне, так как из-за большого скопления народа полицейский офицер не смог пробиться ко мне. Муниципалитет преподнес мне адрес, и затем мы выехали на машине в Аллахабад, останавливаясь по пути в различных местах, чтобы выступить на нескольких крестьянских сходках. В Аллахабад мы прибыли вечером 18 октября.

Утром 19 октября пришло новое предписание на основании параграфа 144. Правительство, очевидно, гналось за мной по пятам, и часы мои были сочтены. Я очень хотел побыть до своего нового ареста на крестьянской конференции. Мы созвали эту конференцию в закрытом порядке, с участием одних только делегатов, и на ней действительно не было никого из посторонних. Аллахабадский округ был очень хорошо представлен на ней, и, насколько я помню, там присутствовало около 1600 делегатов. Конференция с большим подъемом приняла решение начать в округе кампанию неуплаты налогов. Среди наших основных работников наблюдались некоторые колебания и сомнения в успехе такого начинания, ибо влияние крупных земледаров, поддержанных правительством, и их способность терроризировать крестьянство были очень велики и не было уверенности в том, что крестьянство сможет противостоять этому. Но среди тысячи шестисот с лишним крестьян, присутствовавших на конференции, не было ни колебаний, ни сомнений, во всяком случае этого не было заметно. Я был в числе ораторов, выступавших на конференции. Не знаю, нарушил ли я тем самым

¹ «Пусть будет высоко наше знамя». — *Прим. ред.*

предписание на основании параграфа 144, запрещавшее мне выступать публично.

Затем я поехал на вокзал встречать отца и остальных членов семьи. Поезд опоздал, и сразу же после их прибытия я покинул их, чтобы присутствовать на митинге, организованном совместно крестьянами окрестных деревень и горожанами. Камала и я возвращались с этого митинга в полном изнеможении в девятом часу вечера. Я хотел побеседовать с отцом и знал, что он ожидает меня, ибо мы едва успели перемолвиться словом после его возвращения. На обратном пути нашу машину задержали чуть ли не у самого дома, и я был арестован и препровожден через реку Джамну на свое старое местожительство в Наини. Камала одна поехала в Ананд Бхаван, чтобы известить семью о случившемся, и когда пробило девять часов, я вновь вошел в большие ворота тюрьмы Наини.

КАМПАНИЯ НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ В СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЯХ

После восьмидневного отсутствия я снова вернулся в Наини и присоединился к Саиду Махмуду, Нармаде Грасаду и Ранджиту Пандиту в том же старом бараке. Через несколько дней меня судили в тюрьме по ряду обвинений, основанных на различных выдержках из той речи, которую я произнес в Аллахабаде на другой день после освобождения. Как это принято у нас, я не защищался, но сделал на суде краткое заявление. Я был приговорен за подстрекательство к мятежу на основании параграфа 124-А к полутора годам строгого тюремного заключения и к штрафу в 500 рупий, на основании соляного закона от 1882 года к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 100 рупий и на основании указа VI от 1930 года (я забыл, о чем был этот указ) также к шести месяцам и штрафу в 100 рупий. Поскольку последние два приговора совпадали, то в общей сложности я был приговорен к двум годам строгого тюремного заключения и дополнительно еще к пяти месяцам в случае неуплаты штрафа. Это было мое пятое заключение.

Мой новый арест и осуждение оказали временно некоторое влияние на движение гражданского неповиновения; оно несколько оживилось и проявило большую энергию. Это было главным образом заслугой отца. Сообщение Камалы о моем аресте было довольно чувствительным ударом для него. Но он почти сразу взял себя в руки и, стукнув кулаком по столу, заявил, что не намерен больше болеть. Он решил быть здоровым и работать, как подобает мужчине, а не поддаваться слабавольно болезни. Это было мужественное решение, но, к несчастью, никакая сила воли не могла одолеть и победить терзавшую его застарелую болезнь. Тем не менее на несколько дней это дало заметные изменения, к удивлению тех, кто видел его. В течение ряда месяцев со времени посещения им Иеравды у него была кровь в мокроте. После принятого им решения кровохарканье внезапно прекратилось и несколько дней не возобновлялось. Он был очень доволен и во время нашего свидания в тюрьме не без гордости упомянул об этом. К несчастью, это была лишь кратковременная передышка, ибо позже кровь появ-

вилась снова, в больших количествах, и болезнь опять взяла свое. Во время этой передышки он работал с прежней энергией и дал толчок движению гражданского неповиновения по всей Индии. Он беседовал со множеством людей из разных мест и составлял подробные инструкции. Он назначил один из дней (это был день моего рождения в ноябре!) днем всеиндийского праздника, во время которого на публичных митингах зачитывались те самые предосудительные выдержки из моей речи, за которые я был осужден. В этот день было избито много народу, разогнано много шествий и митингов. Говорили, что за один только этот день по всей стране было произведено около пяти тысяч арестов. Это было необычайное празднование дня рождения.

Подобная ответственность и затрата энергии были очень вредны отцу при его болезненном состоянии, и я умолял его как следует отдохнуть. Я понимал, что в Индии такой отдых для него невозможен, так как ум его всегда будет занят перипетиями нашей борьбы и люди неизбежно станут приходить к нему за советом. Поэтому я предложил ему совершить непродолжительную поездку морем в Рангун, Сингапур и Голландскую Индию, и эта идея понравилась ему. Решили, что его будет сопровождать один из его друзей — врач. С этой целью отец выехал в Калькутту, но состояние его все время неуклонно ухудшалось, и он не смог поехать дальше. Он остался на семь недель в одном из пригородов Калькутты, и там к нему присоединилась вся семья, за исключением Камалы, которая большую часть времени проводила в Аллахабаде, работая по заданию Конгресса. Вероятно, моя деятельность в связи с кампанией неплаты налогов ускорила мой арест. В сущности мало что могло в такой мере содействовать разворачиванию этой кампании, как мой арест именно в тот день, сразу после крестьянской конференции, когда крестьянские делегаты еще находились в Аллахабаде. Энтузиазм их возрос благодаря этому, и они донесли решения конференции почти до всех деревень округа. Через несколько дней весь округ знал, что начата кампания неплаты налогов, и повсюду она встретила радостный отклик.

Больше всего трудностей в те дни у нас было со связью, с вопросом о том, как ознакомить народ с тем, что мы делаем и чего мы ждем от него. Газеты не помещали нашу информацию из страха, что правительство оштрафует их или даже запретит их выпуск; типографии не хотели печатать наши листовки и уведомления; письма и телеграммы подвергались цензуре и часто задерживались. Единственным надежным методом связи, доступным нам, была отправка курьеров с депешами, да и то наших посланцев иногда арестовывали. Это был дорогостоящий метод, и он требовал большой организационной работы. Она была проведена довольно успешно, и провинциаль-

ные центры поддерживали постоянную связь с центральным руководством и с основными окружными центрами. Распространять любую информацию в городах было нетрудно. Во многих городах выходили без разрешения бюллетени, ежедневные или еженедельные, обычно отпечатанные на шапирографе, и на них всегда был большой спрос. В городах мы собирали народ для наших публичных оповещений также при помощи барабана; обычно это приводило к аресту барабанщика. Впрочем, это не имело значения, так как люди не избегали арестов, а стремились к ним. Все эти методы были хороши для города, но их нелегко было применить в сельских местностях. Кое-какая связь с основными сельскими центрами поддерживалась с помощью курьеров и извещений, отпечатанных на шапирографе, но она была неудовлетворительной, и требовалось время, для того чтобы наши инструкции проникли в отдаленные деревни.

Крестьянская конференция в Аллахабаде позволила преодолеть эту трудность. На конференцию собрались делегаты фактически из всех крупных деревень округа, и, развехавшись по домам, они повезли во все районы округа известия о новых решениях, затрагивающих крестьянство, и о моем аресте в связи с ними. Эти 1600 делегатов стали умелыми и горячими пропагандистами кампании неуплаты налогов. Таким образом был обеспечен первоначальный успех движения, и не было никакого сомнения, что в этом районе крестьянство в целом в первое время не будет вносить арендную плату, да и вообще не внесет ее, если только его не запугают. Никто, конечно, не мог сказать, насколько стойким оно окажется перед лицом насильственных и террористических действий властей или заминдаров.

Мы призывали к неуплате налогов как арендаторов, так и заминдаров; теоретически это не был призыв, обращенный только к одному классу. На практике большинство заминдаров, даже некоторые из сочувствовавших национальной борьбе, все же уплатило свой земельный налог. Давление на них было очень сильное, и они рисковали большим. А арендаторы держались стойко и не платили, и, таким образом, наша кампания стала фактически кампанией отказа от взноса арендной платы. Из Аллахабадского округа она перекинулась на некоторые другие округа Соединенных провинций. Во многих округах она не была официально принята или провозглашена, но на деле арендаторы отказывались вносить арендную плату, а во многих случаях были совершенно не в состоянии внести ее из-за падения цен. Создалось такое положение, что в течение нескольких месяцев ни правительство, ни крупные заминдары не предпринимали каких-либо действий в широких масштабах, чтобы запугать строптивых арендаторов. Власти и заминдары чувствовали себя недостаточно уверенно, так как, с одной стороны, они сталкивались с политической борьбой и движением гражданского неповиновения, а с другой — с экономическим

кризисом, тяжело отразившимся на сельском хозяйстве. Эта борьба и кризис переплетались друг с другом, а правительство всегда опасалось аграрных беспорядков. В то время, когда в Лондоне заседала Конференция круглого стола, правительство не хотело осложнять положение в Индии или еще более проявлять свою политику «сильной руки».

В Соединенных провинциях движение неуплаты налогов привело к одному важному результату. Оно переместило центр тяжести нашей борьбы из городских районов в сельские и тем самым оживило движение и поставило его на более широкую и более прочную основу. Хотя наши горожане устали и измучились, а наши работники из средних классов проявляли явную пассивность, само движение в Соединенных провинциях было столь же сильным, как и в любой другой период или даже сильнее. В других провинциях этот переход от городских проблем к сельским, от политических к экономическим не принял подобного размаха, и поэтому господствующая роль попрежнему оставалась за городами, и в этих районах все с большей силой проявлялась усталость средних классов. Даже Бомбей, который все это время играл видную роль в движении, становился несколько пассивным. Неповиновение властям имело место и там и в других районах, и аресты продолжались, но все это казалось несколько искусственным. Внутренний стимул исчез. Это было довольно естественно, так как невозможно в течение длительного времени поддерживать революционную активность масс на определенном уровне. Обычно это бывало вопросом дней, но гражданское неповиновение обладает замечательным свойством растягивать этот период на много месяцев, да и потом продолжается в течение неопределенного периода времени на несколько более низком уровне.

Репрессии правительства усиливались. Местные комитеты Конгресса, молодежные лиги и другие подобные организации, которые, хотя это было несколько неожиданно, до сих пор держались, были объявлены вне закона и запрещены. Обращение с политическими заключенными в тюрьмах ухудшилось. Особенное раздражение правительства вызывали люди, возвращавшиеся в тюрьму для отбытия вторичного срока вскоре после своего освобождения. Эта непреклонность перед лицом наказания угнетающе действовала на правящие круги. В ноябре или в начале декабря 1930 года в тюрьмах Соединенных провинций были случаи телесного наказания политических заключенных, якобы за нарушение тюремной дисциплины. Известия об этом дошли до нас в тюрьму Нанини, и мы тяжело восприняли их — с той поры мы успели привыкнуть к этому, как и ко многим худшим делам в Индии, — ибо применение телесного наказания представлялось мне нежелательным даже в отношении самых закоренелых преступников. Применять же его в отношении молодых чувствительных юношей и притом за формальное нару-

шение дисциплины было просто варварством. Мы, четверо заключенных нашего барака, написали об этом правительству, но в течение примерно двух недель никакого ответа не последовало. Поэтому мы решили предпринять какие-то определенные шаги в знак протеста против телесных наказаний и сочувствия жертвам эгого варварства. Мы объявили полную голодовку на три дня — в течение 72 часов. Это была не такая уж длительная голодовка, но никто из нас не привык к голодовкам, и мы не знали, как мы ее перенесем. Мои прежние голодовки редко превышали 24 часа.

Мы перенесли эту голодовку без большого труда, и я был рад убедиться, что это не такое уж тяжелое испытание, как я опасался. Я совершил глупость, продолжая в течение всей голодовки свои утомительные упражнения — бег, прыжки и т. п. Не думаю, чтобы это пошло мне на пользу, тем более, что перед этим я был не совсем здоров. Каждый из нас похудел за эти три дня на 7—8 фунтов, кроме тех 15—26 фунтов, которые каждый из нас потерял за предыдущие месяцы тюремного заключения в Наини.

Совершенно независимо от нашей голодовки телесные наказания вызвали довольно сильное волнение за стенами тюрем, и я полагаю, что правительство Соединенных провинций приказало тюремному департаменту не прибегать к ним в дальнейшем. Но эти приказы не долго оставались в силе, и через год с небольшим в тюрьмах Соединенных провинций и других провинций вновь не редки были случаи телесного наказания.

Если не считать этих случайных волнений, то жизнь наша в тюрьме протекала спокойно. Погода стояла приятная, так как зима в Аллахабаде очень мягкая. Ранджит Пандит оказался ценным приобретением для нашего барака, ибо он понимал в садоводстве, и вскоре наш унылый двор был полон цветов и радовал взор пестрыми красками. Он даже устроил на этом узком, ограниченном пространстве маленькую площадку для игры в гольф!

Некоторое разнообразие в наше тюремное существование вносили самолеты, пролетавшие над нашими головами. Аллахабад является одним из аэропортов, через который проходят все крупные авиалинии между Востоком и Западом, и гигантские самолеты, направляющиеся в Австралию, на Яву и во Французский Индо-Китай, пронеслись чуть ли не над самыми нашими головами. Особенно внушительно выглядели голландские пассажирские самолеты, совершавшие регулярные рейсы в Батавию и обратно. Иногда нам удавалось увидеть самолет ранним зимним утром, когда было еще темно и виднелись звезды. Большой пассажирский самолет был ярко освещен, и на обоих концах его крыльев горели красные огни. Это было красивое зрелище, когда он проплывал на темном фоне раннего утреннего неба.

Из какой-то другой тюрьмы в Наини был переведен также пандит Мадан Мохан Малавия. Его содержали отдельно, не в нашем бараке, но мы виделись с ним ежедневно, и, пожалуй, в тюрьме я встречался с ним чаще, чем на воле. Это был обаятельный товарищ, полный жизни и молодого интереса ко всему. Он даже начал изучать с помощью Ранджита немецкий язык и показал недюжинные способности. Он находился в Наини, когда пришла весть о телесных наказаниях; это его сильно взволновало и он написал письмо исполняющему обязанности губернатора провинции. Вскоре после этого он заболел. Он не мог переносить холод в условиях, которые существовали в тюрьме. Болезнь его осложнилась, и его пришлось перевести в городскую больницу и позже освободить до истечения срока тюремного заключения. К счастью, в больнице он выздоровел.

В первый день нового, 1931 года мы получили известие об аресте Камалы. Я был доволен, ибо она страстно хотела последовать за многими своими товарищами в тюрьму. Если бы она, моя сестра и много других женщин были мужчинами, их давным-давно арестовали бы. Но в то время правительство старалось, насколько возможно, не арестовывать женщин, и поэтому они такое длительное время оставались на свободе. Ныне ее сокровенное желание исполнилось! Как она, должно быть, рада, думал я. Но у меня были и опасения, ибо у нее всегда было слабое здоровье, и я боялся, что тюремная обстановка причинит ей много страданий.

Какой-то присутствовавший во время ареста репортер спросил ее, не хочет ли она что-нибудь сказать, и под влиянием минуты и почти бессознательно она сделала маленькое заявление, которое было типичным для нее: «Я безмерно счастлива и горда тем, что следую по стопам моего мужа. Я надеюсь, что народ будет высоко держать знамя». Вероятно, подумав, она не сказала бы этого, так как она считает себя поборницей прав женщин против мужской тирании. Но в тот момент индуска-жена взяла в ней верх и даже мужская тирания была забыта.

Мой отец находился в Калькутте и чувствовал себя очень неважно, но известие об аресте и осуждении Камалы потрясло его, и он решил вернуться в Аллахабад. Он немедленно послал в Аллахабад мою сестру Кришну и через несколько дней отправился сам вместе с остальными членами семьи. 12 января он навестил меня в Наини. Я не виделся с ним почти два месяца и теперь был потрясен его видом, и мне с трудом удалось скрыть свое состояние. Он, казалось, не заметил, какое тяжелое впечатление произвел на меня его вид, и сказал, что сейчас ему гораздо лучше, чем последнее время в Калькутте. Лицо у него отекло, но он, видимо, считал, что это вызвано какой-то временной причиной.

Это лицо неотступно преследовало меня. Оно было так несвойственно ему. Впервые в мою душу начал закрадываться

страх, что ему грозит серьезная опасность. В моих глазах он неизменно ассоциировался с силой и здоровьем, и я думал, что он и смерть — несовместимые понятия. Он всегда смеялся над мыслью о смерти и говорил нам, что собирается прожить еще много лет. Однако в последнее время я заметил, что всякий раз, когда умирал друг его юности, у него появлялось ощущение одиночества, такое ощущение, как будто он остается один среди чужих, и даже предчувствие близкого конца. Но, как правило, эти настроения быстро проходили, и его быющая через край энергия вновь брала свое, а мы, члены его семьи, столь привлекли к его богатой личности и всеобъемлющей теплоте его любви, что нам трудно было представить себе мир без него.

Вид его встревожил меня, и недобрые предчувствия закрались в мою душу. Все же я не думал, что ему грозит какая-либо опасность в ближайшем будущем. В то время я сам, по какой-то неведомой для меня причине, чувствовал себя плохо.

То были последние дни первой Конференции круглого стола, и нас несколько насмешили — и мне кажется, что в нашей насмешке был оттенок презрения — заключительные пышные фразы и жесты. Все эти речи, и общие фразы, и дискуссии казались нереальными и ненужными, но один факт был несомнен: даже в час горчайших испытаний, выпавших на долю нашей родины, когда наш народ продемонстрировал такое замечательное мужество, кое-кто из наших соотечественников был готов отвернуться от нашей борьбы и оказать моральную поддержку другой стороне. Нам стало теперь яснее, чем раньше, что под обманчивым покровом национализма действуют противоречивые экономические интересы и что привилегированные группы пытаются сохранить свои привилегии, прикрываясь национализмом. Конференция круглого стола явно была сборищем представителей этих привилегированных групп. Многие из них выступали против нашей борьбы; некоторые молча стояли в стороне, напоминая нам, однако, время от времени о том, что «те, кто лишь стоит и выжидает, также служат делу». Но период выжидания неожиданно кончился, когда Лондон подал знак, и они объединились, чтобы защищать свои частные интересы и принять участие в дележе повой добычи.

Тот факт, что Конгресс все больше левеет и что массы оказывают на него все большее влияние, ускорил эту общую перегруппировку сил в Лондоне. Инстинктивно там понимали, что если бы в Индии произошли коренные политические изменения, это привело бы к тому, что господствующее или, по меньшей мере, влиятельное положение заняли бы представители народных масс, которые неизбежно стали бы выдвигать требования радикальных социальных преобразований и тем самым поставили бы под угрозу интересы привилегированных групп. Эта тревожная перспектива отпугнула индийские привилегированные группы и заставила их выступить против сколько-нибудь

глубоких политических изменений. Они хотели, чтобы англичане остались в Индии в качестве решающего фактора, дабы оградить существующий общественный строй и интересы привилегированных групп. Такова была реальная подоплека их настойчивого требования статуса доминиона. Одного известного лидера индийских либералов однажды рассердило мое заявление, что немедленный отвод английской армии из Индии является необходимой частью общего урегулирования с Великобританией, а индийская армия должна быть передана под индийский демократический контроль. Возражая на это, он договорился до того, что, даже если бы английское правительство пошло на такой шаг, он воспротивился бы этому всеми своими силами. Таким образом, он возражал против этой очевидной и важной предпосылки всякой национальной свободы не потому, что при данных обстоятельствах ее трудно было осуществить, а потому, что считал ее нежелательной. Частично это можно было бы объяснить страхом перед вторжением извне и тем, что он хотел, чтобы английская армия защитила нас от этого. Независимо от вопроса о возможности или невозможности такого вторжения самая мысль о том, чтобы обратиться за защитой к чужеземцам, должна казаться унижительной любому мужественному индийцу. Но я не думаю, что это было истинной причиной стремления сохранить в Индии господство англичан; англичане были нужны, чтобы защитить интересы индийских привилегированных групп от самих индийцев, от истинной демократии, от подъема масс.

Итак, индийские делегаты на Конференции круглого стола нашли много общего с английским правительством. Это относится не только к явным реакционерам и религиозно-общинным деятелям, но даже к тем, кто называл себя прогрессивными и националистически настроенными людьми. Национализм казался нам поистине весьма растяжимым понятием, если он включал в себя как тех, кто шел в тюрьму во имя борьбы за свободу, так и тех, кто жал руки нашим тюремщикам и вместе с ними обсуждал общую политику. У нас в стране были и другие храбрые и велеречивые националисты, которые всячески поощряли движение свадеши, заявляя нам, что в нем-то и кроется существо свараджа. Они призывали своих соотечественников продолжать его даже ценой жертв. К счастью, от них это движение не потребовало никаких жертв: их дела процветали, а дивиденды увеличивались. В то время, когда многие были брошены в тюрьму или подвергались избиению, эти люди сидели у себя в конторах и подсчитывали свои капиталы. Позже, когда активный национализм стал делом несколько более опасным, они умерили свой пыл, осудили «крайних» и заключили договоры и соглашения с другой стороной.

Нас, собственно, не интересовало и не заботило, что делала Конференция круглого стола. Она была далекой, нереальной

и призрачной, а борьба шла здесь, в наших городах и селах. Мы не питали никаких иллюзий относительно быстрого окончания нашей борьбы или ожидавших нас опасностей, и все же события 1930 года внушили нам известную веру в силу и стойкость нашей нации, и с этой верой мы смотрели в лицо будущему.

Нас сильно огорчил один эпизод, происшедший в декабре или в начале января. Сриниваса Састри в речи, произнесенной в Эдинбурге, где, насколько мне известно, ему было присвоено звание почетного гражданина, с некоторым пренебрежением отозвался об участниках движения гражданского неповиновения, которые добровольно шли в тюрьму. Эта речь и особенно повод для нее задела нас за живое. Ибо хотя мы и сильно расходились с г-ном Састри в политических вопросах, мы уважали его.

Закрывая Конференцию круглого стола, Рамсей Макдональд произнес одну из своих обычных речей, призывающих к всеобщему братству, и в ней содержался, видимо, косвенный призыв к Конгрессу отрешиться от зла и примкнуть к сонму счастливых. Примерно в это же время — в середине января 1931 года — в Аллахабаде собрался Рабочий комитет Конгресса, и в числе других вопросов обсуждались также эта речь и призыв. Я находился тогда в тюрьме Наини и узнал о заседаниях уже после освобождения. Отец только что вернулся из Калькутты и, несмотря на тяжелую болезнь, настоял на том, чтобы члены Комитета собрались у его постели и обсудили этот вопрос. Кто-то предложил пойти навстречу Макдональду и свернуть движение гражданского неповиновения. Это привело отца в сильное волнение, он приподнялся в постели и заявил, что не пойдет на уступки, пока не будет достигнута общенациональная цель, и будет продолжать борьбу даже в одиночку. Это возбуждение было ему очень вредно, и, так как у него поднялась температура, врачи смогли наконец удалить посетителей и оставить его одного.

В значительной степени по его настоянию Рабочий комитет принял непримиримую резолюцию. До ее опубликования пришла телеграмма от сэра Тедж Бахадура Сапру и Сринивасы Састри, адресованная отцу. В ней содержалась просьба, чтобы Конгресс не принимал никаких решений до тех пор, пока они не будут иметь возможность побеседовать. Они уже возвращались на родину. Им послали ответ, что Рабочий комитет уже принял резолюцию, но до прибытия Сапру и Састри и беседы с ними ее не опубликуют в печати.

Находясь в тюрьме, мы не знали об этих событиях; мы знали, что что-то происходит, и были несколько обеспокоены. Но гораздо больше занимало нас приближение 26 января — первой годовщины Дня независимости, и мы размышляли над тем, как он будет отмечаться. Как мы узнали впоследствии, в этот

день по всей стране проводились массовые митинги, на которых была одобрена резолюция о независимости и была принята одинаковая резолюция, названная «Резолюцией памяти участников борьбы»¹. Организация этого празднования была замечательным достижением, так как газет и типографий не было, а почту и телеграф также нельзя было использовать. И, тем не менее, на многочисленных собраниях, состоявшихся почти в одно время в бесчисленных городах и селах по всей стране, были приняты подобные резолюции, составленные каждая на языке соответствующей провинции. В большинстве случаев эти митинги состоялись в нарушение закона и были разогнаны полицией.

26 января мы находились в тюрьме Наини. Мы мысленно окидывали взором прошедший год и думали о новом, наступающем годе. Около полудня мне внезапно сообщили, что состояние моего отца серьезно ухудшилось и что я должен немедленно поехать домой. Расспросив, я узнал, что меня освобождают. Ранджит также сопровождал меня.

В тот вечер по всей Индии было выпущено из разных тюрем много других людей. Это были основные и запасные члены Рабочего комитета Конгресса. Правительство предоставило нам возможность встретиться и обсудить положение. Так что я так или иначе был бы освобожден в тот вечер. Состояние отца ускорило мое освобождение лишь на несколько часов. Камала тоже была выпущена в тот день из тюрьмы в Лакнау после недолгого, двадцатипятидневного, тюремного заключения. Она также была запасным членом Рабочего комитета.

¹ Резолюция приводится в приложении В.

Глава тридцать третья

СМЕРТЬ ОТЦА

Я увидел отца после двухнедельного перерыва, так как он навестил меня в Наини 12 января. Вид его тогда поразил меня. С тех пор в нем произошла перемена к худшему, и лицо его еще больше отекло. Ему стало трудно говорить, и он иногда терял ясность ума. Но воля его осталась прежней, и она продолжала поддерживать деятельность тела и разума.

Он обрадовался Ранджиту и мне. Дня через два Ранджита (который не подпадал под категорию членов Рабочего комитета) снова отправили в тюрьму Наини. Это расстроило отца, и он непрерывно спрашивал о нем и жаловался, что, в то время, когда его навещает столько людей из отдаленных районов страны, его собственного зятя держат вдали от него. Эта настойчивость тревожила врачей, и было ясно, что она не идет ему на пользу. Через три-четыре дня — как мне думается, по просьбе врачей — правительство Соединенных провинций освободило Ранджита.

26 января, в день моего освобождения, Гапдиджи также выпустили из тюрьмы Иеравда. Мне не терпелось увидеть его в Аллахабаде, и, когда я сказал об его освобождении отцу, я узнал, что он также жаждет повидать Гандиджи. На следующий же день Гандиджи выехал из Бомбея после состоявшегося там в его честь колоссального массового митинга, необычного даже для Бомбея. Он прибыл в Аллахабад поздно ночью, но отец не спал, ожидая его, и его присутствие и несколько сказанных им слов оказали на отца заметно успокаивающее действие. Моей матери приезд Гапдиджи также принес утешение и облегчение.

В это время ряд членов Рабочего комитета, постоянных и запасных, выпущенных на свободу, сидели без дела и ожидали указаний относительно срока заседания. Многие из них, тревожась о здоровье отца, намеревались немедленно поехать в Аллахабад. Два дня спустя туда прибыло тридцать или сорок членов комитета, и их совещание состоялось в Сварадж Бхаване, рядом с нашим домом. Время от времени я посещал эти совещания, но я был так расстроен и подавлен горем, что не мог принимать в них сколько-нибудь деятельного участия, и я

сейчас совсем не помню, какие решения были на них приняты. Мне кажется, что там было решено продолжать движение гражданского неповиновения.

Все эти старые друзья и коллеги, многие из которых явились прямо из тюрьмы и могли скоро вновь возвратиться туда, хотели навестить отца, взглянуть на него, вероятно, в последний раз, и сказать ему последнее «прости». Они приходили к нему по двое и по трое, утром и вечером, и отец настоял на том, чтобы ему разрешили встречать своих старых товарищей, сидя в кресле. Он сидел в нем грузный и почти без всякого выражения, ибо отеки лишали его лицо выразительности. Но по мере того как его друзья проходили одни за другим мимо него и товарищ сменял товарища, глаза его загорались, он узнавал их, и его голова чуть склонялась, а руки соединялись в приветственном жесте. И хотя он не мог много говорить, иногда он произносил несколько слов, и даже тут его не покидало бывшее чувство юмора. Так он сидел, подобно смертельно раненному старому льву, почти лишившемуся своей физической силы, но все еще не утратившему своей царственной львиной осанки. Наблюдая за ним, я спрашивал себя, какие мысли мелькают у него в голове и перестал ли он интересоваться нашей деятельностью. Часто он явно вел внутреннюю борьбу с самим собой, стараясь удержать что-то, грозившее ускользнуть от него. Эта борьба продолжалась до самого конца, и он не сдавался, временами говоря с нами поразительно отчетливо. И даже когда речь его стала невнятной из-за горловых спазмов, он стал писать на листках бумаги то, что хотел сказать.

Он фактически не интересовался заседаниями Рабочего комитета, происходившими в доме рядом. Двумя неделями раньше они бы взволновали его, но теперь он чувствовал себя уже очень далеким от таких событий. «Я скоро уйду, Махатмаджи,— сказал он Гандиджи,— и не увижу свараджа. Но я знаю, что вы его завоевали и вскоре будете обладать им».

Большинство людей, прибывших из других городов и провинций, разъехалось. Остались Гандиджи и несколько близких друзей и родственников и три известных врача, старые приятели отца, которым, как он имел обыкновение говорить, он вручил на сохранение свое тело,— М. А. Ансари, Бидхан Чандра Рой и Дживрадж Мехта.

Утром 4 февраля отец как будто почувствовал себя немного лучше, и было решено воспользоваться этим и перевезти его в Лакнау, где имелась возможность облучения рентгеновскими лучами, что было невозможно в Аллахабаде. В тот же день мы увезли его на автомашине. Гандиджи и большая группа сопровождающих ехали за нами следом. Мы продвигались медленно, и все же эта поездка утомила отца. На следующий день он, казалось, оправился от усталости, и, тем не менее, оставался ряд тревожных симптомов. Рано утром 6 февраля я сидел у его

постели. Он провел тяжелую и беспокойную ночь; внезапно я заметил, что лицо его стало спокойным и с него исчезло выражение борьбы. Я подумал, что он заснул, и был этому рад. Но моя мать чувствовала острее, и она вскрикнула. Я повернулся к ней и попросил ее не беспокоить отца, так как он заснул. Но то был его последний, долгий сон, от которого не было пробуждения.

В тот же день мы перевезли тело отца на автомашине в Аллахабад. Я сидел в этой машине, вел ее Ранджит, и, кроме того, в ней находился любимый слуга отца Хари. За нами следовала другая автомашина — с моей матерью и Гандиджи — и затем еще машины. Весь день я был как в тумане, вряд ли сознавая, что, собственно, произошло, а смена событий и огромные толпы народа не позволяли мне сосредоточиться. Колоссальные толпы в Лакнау, собравшиеся с молниеносной быстротой, стремительный переезд из Лакнау в Аллахабад возле тела, закутанного в наш национальный флаг, и с большим флагом, развевавшимся наверху, прибытие в Аллахабад и масса людей, явившихся, чтобы почтить его память. Были какие-то церемонии дома и затем последнее путешествие к Гапгу при огромном стечении народа. В этот зимний день, когда вечерние сумерки окутали берега реки, огромное пламя взвилось вверх и поглотило тело человека, который так много значил для нас, его близких, а также и для миллионов людей в Индии. Гандиджи сказал толпе несколько прочувствованных слов, и затем все мы в полном молчании медленно пошли домой. В небе зажглись и ярко сияли звезды, когда мы возвращались домой одинокие и безутешные.

Мы с матерью получили тысячи посланий с выражением соболезнования. Лорд и леди Ирвин также прислали матери утливое письмо. Это доброжелательство и сочувствие несколько сгладили остроту нашего горя, но больше всего помогло моей матери и всем нам пережить этот кризис в нашей жизни присутствие Гандиджи, которое действовало на нас так успокаивающе и целительно.

Мне было трудно осознать, что отца больше нет. Три месяца спустя я находился с женой и дочерью на Цейлоне и провел несколько спокойных дней отдыха в Нуvara Элия. Мне понравилось это место, и внезапно мне пришло в голову, что оно подошло бы отцу. Почему бы не послать за ним? Он, должно быть, устал, и отдых пойдет ему на пользу. Я едва не отправил ему телеграмму в Аллахабад.

Однажды, по возвращении с Цейлона в Аллахабад, почта доставила удивительное письмо. Адрес на конверте был написан рукой отца, и весь конверт был сплошь покрыт бесчисленным количеством марок и штампов различных почтовых отделений. Я с удивлением распечатал его и обнаружил, что это действительно было письмо отца, но датированное 28 февраля

1926 года. Оно было вручено мне летом 1931 года, пропугешествовав, таким образом, пять с половиной лет. Письмо было написано отцом в Ахмадабаде накануне моего отъезда с Камалой в Европу в 1926 году. Оно было адресовано в Бомбей для передачи на итальянский пароход, на котором мы ехали. Видимо, оно не застало нас там и затем побывало в ряде мест и, быть может, валялось во многих ящиках, пока какой-то предприимчивый человек не переслал его мне. По странному стечению обстоятельств то было прощальное письмо.

Глава тридцать четвертая

ДЕЛИЙСКИЙ ПАКТ

В день и чуть ли не в час смерти отца в Бомбей прибыла большая группа индийских участников Конференции круглого стола. Сриниваса Састри, сэр Тедж Бахадур Сапру и, возможно, другие, которых я не припоминаю, прибыли прямо в Аллахабад. Гандиджи и кое-кто из членов Рабочего комитета Конгресса были уже там. В нашем доме состоялось несколько закрытых совещаний, на которых был заслушан доклад об итогах конференции. Однако в самом начале произошло небольшое событие. Састри, всецело по собственной инициативе, выразил сожаление по поводу сказанного им в Эдинбурге. Он добавил, что на него всегда влияет окружающая обстановка и что ему свойственно дать волю своему «чрезмерному многословию».

Делегаты Конференции круглого стола не рассказали нам ничего такого об этой конференции, чего бы мы уже не знали. Они рассказали нам о различных закулисных интригах и о том, что сказал в частной беседе такой-то лорд или сэр. Мне всегда казалось, что наши друзья — либералы в Индии придают большее значение частным беседам и сплетням с высокопоставленными должностными лицами или по поводу этих лиц, нежели принципам или действительному положению в Индии. Наши неофициальные переговоры с лидерами либералов ни к чему не привели, и мы лишь укрепились в своем мнении, что решения Конференции круглого стола не имеют ни малейшей цены. Кто-то — не помню, кто именно, — предложил, чтобы Гандиджи обратился к вице-королю с просьбой о встрече, чтобы откровенно побеседовать с ним. Гандиджи согласился, хотя я не думаю, чтобы он ожидал от этого больших результатов. Но в принципе он всегда был готов сделать со своей стороны все, чтобы встретиться со своими противниками и обсудить с ними любой вопрос. Будучи абсолютно убежден в правильности своей позиции, он надеялся убедить и другую сторону; однако, возможно, он стремился к чему-то большему, нежели просто убеждению, основанному па разуме. Он всегда добивался психологических изменений, уничтожения преград, воздвигаемых злобой и недоверием, и старался взывать к доброй воле и к лучшим чувствам других людей. Он знал, что, если только такое изменение произойдет, станет гораздо легче убедить человека, а если даже и не

удастся убедить, противодействие все же будет ослаблено и конфликт лишится своей остроты. Он одержал много побед в своих взаимоотношениях с людьми, враждебно настроенными к нему; удивительно, как одной лишь силой своего обаяния он брал верх над противником. Много критиков и скептиков подпало под это его обаяние и стало его поклонниками, и даже если критика продолжалась, в ней уже не могло быть и тени насмешки.

Сознавая свою силу, Гандиджи всегда был рад встретиться с теми, кто расходился с ним во взглядах. Но одно дело беседовать с людьми по личным или второстепенным вопросам и совсем другое — выступать против такой безличной силы, как английское правительство, представляющее победоносный империализм. Понимая это, Гандиджи не возлагал больших надежд на свидание с лордом Ирвинсом. Кампания гражданского неповиновения все еще продолжалась, хотя она несколько ослабела, так как распространялось много слухов о неофициальных переговорах с правительством.

Встреча была организована без промедления, и Гандиджи выехал в Дели. Перед отъездом он сказал нам, что, если начнутся сколько-нибудь серьезные переговоры с вице-королем о временном урегулировании, он пошлет за членами Рабочего комитета. Через несколько дней мы все были вызваны в Дели. Мы пробыли там три недели, ежедневно встречаясь и ведя длинные, утомительные дискуссии. У Гандиджи были частые совещания с лордом Ирвином, но иногда наступал перерыв на три-четыре дня, вероятно потому, что английское правительство в Индии консультировалось с департаментом по делам Индии в Лондоне. Порой успешный ход переговоров тормозился мелкими, на первый взгляд, вопросами и даже спорами об отдельных словах. Одним из таких слов было «приостановка» движения гражданского неповиновения. Гандиджи неизменно разъяснял, что гражданское неповиновение не может быть окончательно остановлено или прекращено, ибо это единственное оружие в руках народа. Однако оно может быть приостановлено. Лорд Ирвин возражал против этого слова и хотел, чтобы было употреблено более определенное слово, на что Гандиджи не соглашался. В конце концов остановились на слове «прервано». Затяжную дискуссию вызвал также вопрос о пикетировании магазинов, торгующих иностранными тканями и винами. Большую часть времени потратили на рассмотрение временных подготовительных мероприятий к заключению пакта, а основным вопросом уделили мало внимания. Вероятно, полагали, что эти основные вопросы можно будет рассмотреть позже, при более благоприятных условиях, когда будет достигнуто временное урегулирование и прекратится повседневная борьба. Мы считали, что эти переговоры ведут к перемирию, за которым могут последовать дальнейшие переговоры по главным спорным вопросам.

В те дни Дели привлекал самых различных людей. Там находилось много иностранных журналистов, особенно американцев, и они не особенно были довольны нашей скрытностью. Они обычно говорили нам, что больше узнают о переговорах между Гандиджи и Ирвином в Делийском секретариате, чем от нас, и это действительно было так. Много видных людей спешили засвидетельствовать Гандиджи свое уважение, — ведь звезда Махатмы восходила. Было очень забавно наблюдать, как эти люди, которые старались подальше держаться от Гандиджи и Конгресса и зачастую осуждали их, теперь спешили поправить дело. Дела Конгресса, повидимому, шли хорошо, и никто не знал, что таит в себе будущее. Во всяком случае, было безопаснее находиться в хороших отношениях с Конгрессом и его лидерами. Год спустя с ними произошла новая метаморфоза, и они стали громко кричать о своей ненависти к Конгрессу и всей его деятельности и заявляли, что полностью отмежевываются от него.

Даже религиозно-общинные деятели были взволнованы событиями и испытывали некоторые опасения, что при новом порядке вещей им, возможно, придется занять не особенно видное положение. Поэтому многие из них являлись к Махатме и заверяли его в своей полной готовности договориться по вопросу о религиозных общинах и в том, что, если только он возьмет на себя инициативу, будет нетрудно достичь урегулирования.

Люди всех званий непрерывным потоком шли в дом д-ра Ансари, где проживали в то время Гандиджи и большинство из нас, и в часы досуга мы с интересом и не без пользы наблюдали за ними. В течение нескольких лет мы общались главным образом с бедными слоями населения города и деревни и с обитателями тюрем. Весьма преуспевавшие джентльмены, которые навещали Гандиджи, показали нам другую сторону человеческой природы, и притом весьма гибкую, ибо где бы они ни чувляли власть и успех, они тянулись к ним и приветствовали их лучезарным сиянием своих улыбок. Многие из них были надежной опорой английского правительства в Индии. Было утешительно знать, что они станут столь же надежной опорой любого другого правительства в Индии, лишь бы оно было сильным.

В те дни я нередко сопровождал Гандиджи во время его утренних прогулок по Дели. Обычно это была единственная возможность поговорить с ним, так как все остальное время дня было расписано у него до последней минуты. Даже во время утренней прогулки иногда происходила встреча с каким-нибудь посетителем, обычно из-за границы, или с другом, пришедшим за советом. Мы говорили о многом: о прошлом, о настоящем и особенно о будущем. Я припоминаю, как он удивил меня одной из своих идей о будущем Конгресса. Я полагал, что с наступлением свободы Конгресс как таковой автоматически перестанет существовать. Гандиджи считал, что Конгресс должен сохраниться, но при том условии, что он провозгласит

самоотречение, постановив, что ни один из его членов не может состоять на оплачиваемой государственной службе. Если же кто-нибудь захочет занять влиятельный пост в государстве, тот должен будет уйти из Конгресса. Я не помню сейчас, как он мыслил себе это, но в основе лежала идея, что, отрешившись от всего и не преследуя никаких своекорыстных целей, Конгресс сможет оказывать огромное нравственное влияние на исполнительную и другие власти и таким образом вести их по правильному пути.

Осуществление этой странной идеи, которую я считаю трудно постижимой, столкнется с бесчисленными трудностями. Мне кажется, что такая организация, если она вообще возможна, была бы использована какой-нибудь группой, преследующей свои особые интересы. Но если мы оставим в стороне вопрос об осуществимости этой идеи, то надо сказать, что она несколько помогает понять образ мыслей Гандиджи. Эта идея коренным образом расходится с современным понятием о партии, создаваемой для того, чтобы захватить государственную власть и изменить политический и экономический строй в соответствии с определенными взглядами, или же партии такого рода — ставшей в наши дни довольно частым явлением, — главная функция которой (говоря словами Р. Х. Тоуни) заключается, повидимому, в том, чтобы предложить как можно больше моркови возможно большему количеству ослов.

Представление Гандиджи о демократии носит явно выраженный метафизический характер. Оно не имеет никакого отношения к количеству, большинству или представительству в их обычном смысле. В основе его лежат служение и самопожертвование, и оно предусматривает использование морального давления. В одном из своих последних заявлений¹ Гандиджи определяет, что такое демократ. Себя он считает «прирожденным демократом». «Я заявляю это, если только полное отождествление с беднейшими мира сего, желание жить не лучше их и сознательное стремление приблизиться в меру своих способностей к этому уровню дают человеку право сделать такое заявление». Далее он говорит о демократии:

«Признаем тот факт, что если Конгресс пользуется славой демократической организации и влиянием, то этим он обязан не числу делегатов и гостей, которых он привлекает на свои ежегодные съезды, а тому, что он все больше посвящает себя служению обществу. Западная демократия переживает сейчас кризис, если она уже не потерпела провала. Может быть, Индии суждено выработать истинную науку о демократии, дав миру наглядное доказательство ее успеха.

Коррупция и лицемерие не должны быть неизбежными спутниками демократии, какими они, несомненно, являются в наши

¹ От 17 сентября 1934 года.

дни. Количество также не есть истинное мерило демократии. Истинная демократия вполне совместима с таким положением, когда небольшая группа людей представляет дух и чаяния тех, от имени кого она выступает. Я утверждаю, что демократию нельзя насадить насильственными методами; дух демократии не может быть привнесен извне, он должен прийти изнутри».

Это, как он сам говорит, конечно, не западная демократия, но, как это ни странно, здесь имеется некоторое сходство с коммунистическим представлением о демократии, ибо последнее тоже не лишено метафизичности. Немногочисленная кучка коммунистов станет утверждать, что она выражает подлинные нужды и желания масс, хотя последние, возможно, и не осознают их сами. Масса становится для них метафизическим понятием, и именно они его, по их словам, представляют. Сходство это, однако, поверхностное и не дает нам многого; различия в воззрениях и подходе гораздо большие, особенно в вопросе о методах и применении силы.

Демократ ли Гандиджи или нет, но он, безусловно, представляет крестьянские массы Индии; он — квинтэссенция сознательной и подсознательной воли этих миллионов людей. Это, пожалуй, нечто большее, нежели представительство, ибо он является идеализированным воплощением этих неисчислимых миллионов. Конечно, он не средний крестьянин. Это человек острого ума, наделенный способностью тонко чувствовать, хорошим вкусом и широким кругозором; очень человечный и все же в своем существе аскет, который подавил в себе страсти и эмоции, облагородил их и направил в духовное русло; сильная личность, притягивающая к себе людей, подобно магниту, и порождающая у них чувства глубочайшей верности и привязанности, — во всем этом он совершенно не похож на крестьянина и стоит выше его. И при всем том он — великий крестьянин, с крестьянским взглядом на вещи и с крестьянской слепотой в отношении некоторых сторон жизни. Но Индия — страна крестьянская, и Гандиджи хорошо знает свою Индию и реагирует на малейшее ее движение, точно и почти инстинктивно оценивает положение и обладает даром действовать в нужный психологический момент.

Какой проблемой и загадкой является он не только для английского правительства, но и для собственного своего народа и ближайших сподвижников! Может быть, в любой другой стране он был бы сейчас не на месте, но Индия, видимо, все еще понимает или, по крайней мере, ценит людей пророчески-религиозного склада, говорящих о грехе, спасении и ненасилии. Индийская мифология изобилует сказаниями о великих аскетах, которые своими жертвами и добровольной эпитимией воздвигли «гору добродетели», которая поставила под угрозу власть некоторых мелких божеств и нарушила существующий порядок. Я часто вспоминал эти мифы, когда наблюдал поразительную

энергию и внутреннюю силу Гандиджи, черпаемые им из искомого неиссякаемого духовного источника. Он являлся человеком не простой чеканки; он был выплавлен из иного, редкого металла, и часто из глубины его очей на нас смотрело неведомое.

Индия, даже городская Индия, даже новая промышленная Индия имеет крестьянский отпечаток, и с ее стороны было вполне естественно сделать этого своего сына, столь похожего и в то же время столь непо похожего на нее, кумиром и обожаемым вождем. Он воскресил древние, полузабытые воспоминания и позволил ей заглянуть в собственную душу. Придавленная беспросветной нуждой настоящего, она пыталась искать облегчения в беспомощных стенаниях и смутных мечтах о прошлом и будущем, но он пришел и дал надежду ее душе и силу ее многострадальному телу, и будущее стало заманчивым видением. Двудликая, подобно Янусу, она смотрела и назад — в прошлое, и вперед — в будущее, и старалась сочетать одно с другим.

Многие из нас отошли от этого крестьянского мировоззрения, и старый образ мышления, обычаи и религия стали нам чуждыми. Мы называли себя современными людьми и подходили ко всему с меркой «прогресса», индустриализации, более высокого уровня жизни и коллективизма. Мы считали точку зрения крестьян реакционной, а некоторые — и таких становилось все больше — с симпатией относились к социализму и коммунизму. Как же мы стали политическими сподвижниками Гандиджи и во многих случаях его верными последователями? На этот вопрос трудно ответить, а того, кто не знает Гандиджи, вероятно, не удовлетворит никакой ответ. Индивидуальность — это нечто не поддающееся определению, странная сила, имеющая власть над душами людей, а Гандиджи в огромной мере обладал этим качеством, и различные люди, кто посещает его, понимают его по-разному. Он привлекал к себе людей, но в конечном счете их приводило к нему и удерживало возле него убеждение, основанное на разуме. Они не соглашались с его жизненной философией или даже с многими из его идеалов. Часто они не понимали его. Но действия, которые он предлагал, были уже чем-то осязаемым, чем-то таким, что можно было понять и оценить разумом. После долгой традиции бездействия, которую порождала наша бесхребетная политика, было желанным любое действие; мужественные и эффективные действия, окруженные этическим ореолом, неудержимо влекли к себе как разум, так и чувства. Шаг за шагом он убеждал нас в необходимости действия, и мы шли за ним, хотя и не принимали его философии. Пожалуй, было неправильно отрывать действие от мысли, лежавшей в его основе, и впоследствии это должно было вызвать внутренний разлад и недоразумения. Мы питали смутную надежду, что Гандиджи, как человек действия и притом весьма чутко реагирующий на изменяющиеся условия, пойдет по пути, который нам казался правильным. Во всяком случае, путь,

которым он следовал, был до сих пор правильным, а если будущее сулило разлуку, то было бы безумием предвосхищать ее.

Все это показывает, что в душе у нас не было никакой ясности или уверенности. Мы всегда чувствовали, что, хотя мы, возможно, более последовательны, Гандиджи знает Индию неизмеримо лучше нас, а в человеке, который способен внушить к себе такую верность и преданность, должно быть нечто, отвечающее нуждам и чаяниям масс. Мы считали, что если нам удастся убедить его, мы сумеем обратить в свою веру также и эти массы. А убедить его казалось возможным, ибо, несмотря на свое крестьянское мировоззрение, он был прирожденным мятежником, революционером, стремившимся к глубоким изменениям, которого не мог удержать никакой страх перед последствиями.

Как он сумел дисциплинировать наш ленивый и деморализованный народ и заставить его действовать — не силой и не материальным стимулом, а ласковым взглядом и добрым словом, а главное личным примером! Я припоминаю, как в ранний период сатьяграхи в Индии, еще в 1919 году, бомбеец Умар Собани называл его «возлюбленным погонщиком рабов». Многое произошло за истекшие двенадцать лет. Умар не дожил до этих перемен, но в первые месяцы 1931 года мы, которым больше повезло, оглядывались назад с чувством огромной радости и удовлетворения. В самом деле, 1930 год был для нас годом чудес, и казалось, что Гандиджи своим волшебным прикосновением преобразил лицо нашей страны. Никто не был настолько глуп, чтобы воображать, будто мы одержали окончательную победу над английским правительством. Подъем, охвативший нас, мало имел отношения к правительству. Мы гордились той ролью, которую сыграл в движении наш народ, наши женщины, наша молодежь, наши дети. Это было духовное завоевание, ценное во все времена и для любого народа, но особенно для нас, угнетенного и поработанного народа. И мы горячо желали, чтобы не произошло ничего такого, из-за чего мы могли бы этого лишиться.

Ко мне лично Гандиджи всегда был необычайно добр и внимателен, а смерть отца особенно сблизила нас. Он с неизменным терпением выслушивал все, что я хотел сказать, и всемерно старался идти навстречу моим желаниям. Это, собственно, и навело меня на мысль, что, может быть, я вместе с некоторыми коллегами сумею постоянно влиять на него в социалистическом духе, и он сам говорил, что готов двигаться шаг за шагом в этом направлении, по мере того как он ясно будет видеть перед собой этот путь. В ту пору мне казалось почти неизбежным, что он займет в основном социалистическую позицию, ибо я не видел другого способа покончить с насилием, несправедливостью, расточительностью и нищетой, которые породил существующий порядок. Гандиджи мог не соглашаться с методами, но не с идеалом. Так я думал тогда, но теперь я понимаю, что между

идеалами Гандиджи и социалистической целью имеются существенные различия.

Вернемся, однако, к событиям в Дели в феврале 1931 года. Переговоры между Гандиджи и Ирвином продолжались с некоторыми перерывами, а затем внезапно приостановились. Несколько дней вице-король не посылал за Гандиджи, и нам казалось, что произошел разрыв. Члены Рабочего комитета готовились покинуть Дели и разъехаться по своим провинциям. Перед отъездом мы обсудили планы на будущее и вопрос о движении гражданского неповиновения (которое теоретически все еще продолжалось). Мы были уверены, что, как только будет окончательно объявлено о разрыве переговоров, у нас уже не будет возможности встречаться и совещаться. Мы ожидали ареста, и нам говорили — и это казалось вероятным, — что правительство поведет яростное наступление на Конгресс, гораздо более яростное, чем до сих пор. Поэтому мы собрались на свое, как мы считали, последнее заседание и приняли ряд резолюций, которыми наше движение должно было руководствоваться в будущем. Одна из этих резолюций имела определенное значение. До сих пор каждый исполняющий обязанности председателя обычно назначал на случай ареста своего преемника, а также заполнял вакантные места в Рабочем комитете. Запасные рабочие комитеты почти не действовали и, собственно, не были уполномочены брать на себя инициативу в каком-либо вопросе. Их члены могли лишь отправляться в тюрьму. Однако существовала всегда опасность, что этот непрерывный процесс замены может поставить Конгресс в ложное положение. Он был чреват явными опасностями. Поэтому Рабочий комитет в Дели решил, что впредь исполняющие обязанности председателя и временные члены Рабочих комитетов назначаться не будут. До тех пор пока на воле оставался хотя бы один или несколько членов первоначального состава комитета, они должны действовать от имени всего комитета. Когда же все они попадут в тюрьму, не будет вообще никакого комитета и, как мы заявляли несколько выпендрено, полномочиями Рабочего комитета будут облечены тогда каждый мужчина и каждая женщина страны. Мы обратились к ним с призывом продолжать непримиримую борьбу.

Эта резолюция была мужественным призывом к продолжению борьбы и не оставляла никакой лазейки для компромисса. Это явилось также признанием того факта, что нашему центральному руководству становилось все труднее поддерживать связь со всеми частями страны и регулярно издавать инструкции. Такое положение было неизбежным, так как в своем большинстве наши работники были известные люди и работали открыто. Их всегда могли арестовать. В течение 1930 года для доставки инструкций и донесений и для ведения инспекционной работы была создана конспиративная служба связи. Она действовала хорошо и убедила нас, что мы в состоянии весьма

успешно организовать конспиративную информационную работу такого типа. Но она в некоторой степени не отвечала открытому характеру нашего движения, и Гандиджи был против нее. Ввиду отсутствия инструкций от центрального руководства мы были вынуждены возложить ответственность за работу на местные организации, так как иначе они просто беспомощно ожидали бы указаний сверху и ничего бы не делали. Конечно, когда было возможно, инструкции посылались. Так мы приняли эту и другие резолюции (в связи с последующими событиями ни одна из них не была опубликована и не вошла в силу) и приготовились к отъезду. В этот момент пришел новый вызов от лорда Ирвина и переговоры возобновились.

4 марта мы до полуночи ожидали возвращения Гандиджи из резиденции вице-короля. Гандиджи вернулся около двух часов ночи. Нас разбудили и сказали, что соглашение достигнуто. Мы ознакомились с проектом. Большая часть статей была мне известна, так как они часто обсуждались, но с самого начала меня потрясла статья 2 с ее ссылкой на гарантии и тому подобное¹. Она была для меня полной неожиданностью. Я ничего тогда не сказал, и мы разошлись.

Говорить было больше не о чем. Дело было сделано, наш лидер связал себя словом, и даже если мы не были согласны с ним, то что мы могли сделать? Покинуть его? Порвать с ним? Объявить о своем несогласии? Это могло бы дать некоторое личное удовлетворение, но нисколько не меняло окончательного решения. С движением гражданского неповиновения было покончено, по крайней мере в данный момент, и даже Рабочий комитет не в силах был бы дать ему толчок теперь, когда правительство могло заявить, что Гандиджи уже согласился на урегулирование. Я, как и другие наши коллеги, был полностью готов приостановить движение гражданского неповиновения и прийти к временному соглашению с правительством. Никому из нас не было легко снова послать наших товарищей в тюрьму или сознавать, что в какой-то мере по нашей вине в тюрьмах останутся тысячи узников. В тюрьме не так-то приятно проводить свои дни, хотя многие из нас в состоянии приучить себя к пребыванию в ней и спокойно говорят о тнегущем, монотонном тюремном существовании. Кроме того, переговоры Гандиджи и лорда Ирвина, которые продолжались более трех недель, поро-

¹ Статья 2 Делийского пакта (от 5 марта 1931 года) гласила: «Что же касается конституционных вопросов, то с согласия правительства Его Величества основной целью будущих переговоров явится дальнейшее рассмотрение плана создания конституционного правительства Индии, вопрос о котором обсуждался на Конференции круглого стола. Важной частью разработанного там плана является вопрос о федерации, а также вопрос об ответственности Индии и оговороки или гарантии в интересах Индии в отношении таких вопросов, как, например, оборона. Частью этого плана являются также вопросы о внешней политике, положении меньшинств, финансировании Индии и погашении обязательств».

дили в стране атмосферу ожидания. Люди думали, что будет заключено какое-то соглашение, и окончательный разрыв принес бы разочарование. Поэтому все мы, члены Рабочего комитета, решительно стояли за временное соглашение (ибо ничем большим оно, бесспорно, не могло быть) при условии, что тем самым мы не пойдем на уступки ни по одному жизненно важному вопросу.

Меня лично не очень волновали многие вопросы, которые вызвали серьезный спор. Больше других интересовали меня два вопроса. Я считал, что при заключении соглашения ни при каких условиях не должна пострадать наша цель — достижение независимости, кроме того, меня занимал вопрос о влиянии соглашения на положение крестьян в Соединенных провинциях. Наша кампания неуплаты налогов и арендной платы была до сих пор весьма успешной, и в некоторых районах почти ничего не было собрано. Крестьяне держались стойко. Положение же на международном сельскохозяйственном рынке было хуже чем когда-либо, а цены на сельскохозяйственные продукты упали до предела. Все это еще больше затрудняло уплату. Наша кампания неуплаты налогов носила как политический, так и экономический характер. Если с правительством будет достигнуто временное соглашение, то движение гражданского неповиновения будет отменено, а следовательно, кампания неуплаты налогов лишится своей политической основы. Но как же тогда быть с экономической стороной дела, с ужасающим падением цен и неспособностью большинства крестьян уплатить хотя бы примерно требуемую сумму? Гандиджи ясно поставил этот вопрос перед лордом Ирвином. Он заявил, что, хотя кампания неуплаты налогов будет отменена, мы не можем советовать крестьянам платить больше, чем они в силах это сделать. Этот вопрос нельзя было подробно обсудить с английским правительством в Индии, так как он касался непосредственно провинций. Нам заверили, что правительство провинции охотно обсудит с нами этот вопрос и сделает все от него зависящее, чтобы облегчить тяжелое положение крестьянства. Это было туманное обещание, но в тех условиях трудно было рассчитывать на что-либо более определенное. Таким образом, с этим вопросом было на время покончено. Оставался другой и притом жизненно важный вопрос: вопрос о нашей цели — независимости. Я теперь видел, что статья 2 пакта, по всей видимости, ставит под угрозу даже это. Разве для этого наш народ в течение года проявлял такое мужество? Несужели этим должны были кончиться все наши славные слова и дела? А как же быть с резолюцией Конгресса о независимости, с клятвой, данной 26 января и столь часто повторяемой? Так размышлял я в ту мартовскую ночь, и на душе у меня было пусто, словно нечто дорогое было утрачено почти безвозвратно.

Так угасает мир тихо и спокойно.

Глава тридцать пятая

СЪЕЗД КОНГРЕССА В КАРАЧИ

Каким-то образом Гандиджи узнал о моем угнетенном состоянии и на следующее утро попросил меня сопровождать его во время обычной прогулки. Мы долго беседовали, и он старался убедить меня, что ничего важного не потеряно и никаких принципиальных уступок не сделано. В его интерпретации статья 2 пакта не противоречила нашим требованиям о предоставлении независимости. При этом он делал упор главным образом на слова «в интересах Индии». Такое толкование казалось мне натяжкой, и убедить меня ему не удалось, но беседа с ним несколько успокоила меня. Я сказал Гандиджи, что независимо от существа пакта меня пугает его манера преподносить нам сюрпризы. Было что-то непонятное в его поступках, несмотря на четырнадцать лет теснейшего сотрудничества, и это вызывало во мне опасения. Он признал наличие в себе элемента неизвестного и сказал, что он сам не может отвечать за него или предсказать, к чему это может привести.

Дня два я колебался, не зная, что предпринять. В то время не могло быть и речи о том, чтобы выступить против пакта или помешать его заключению. Этот этап миновал. Единственное, что я мог сделать, это отмежеваться от пакта теоретически, хотя и приняв его как совершившийся факт. Это польстило бы моему тщеславию, но как это могло бы помочь разрешению более широкой проблемы? Не лучше ли отнестись к сделанному доброжелательно и по примеру Гандиджи истолковать пакт в самом благоприятном для нас смысле? Беседуя с представителями печати сразу после достижения соглашения, Гандиджи сделал особый упор на этом толковании и подчеркнул, что мы целиком и полностью стоим за независимость. Он посетил лорда Ирвина и указал ему на этот момент, с тем чтобы избежать каких-либо недоразумений, которые могли возникнуть в настоящее время или в будущем. Гандиджи сказал Ирвину, что в случае, если Конгресс пошлет своего представителя на Конференцию круглого стола, то сделает он это лишь на такой основе и с тем, чтобы выдвинуть такое требование. Лорд Ирвин не мог, конечно, принять это требование, но признал за Конгрессом право выдвинуть его.

Тогда я решил принять соглашение и честно выполнять его, но это стоило мне больших душевных терзаний и физических страданий. Мне казалось, что среднего пути нет.

Во время встреч с лордом Ирвином, состоявшихся до и после пакта, Гандиджи выступал за освобождение всех политических заключенных, а не только участников движения гражданского сопротивления. Освобождение последних предусматривалось соглашением. Однако имелись тысячи других заключенных. Одним был вынесен судебный приговор, другие же находились в тюрьме без предъявления обвинений. Многие из этих задержанных годами находились в тюрьме, и этот метод заключения в тюрьму без предъявления обвинений всегда вызывал серьезное недовольство по всей Индии и особенно в Бенгалии, где он применялся наиболее широко. Подобно начальнику генерального штаба в «Острове пингвинов» (или, быть может, то было в деле Дрейфуса?), правительство Индии считало, что лучшей уликой является отсутствие оной. Ведь отсутствующие улики нельзя опровергнуть. Правительство утверждало, что эти задержанные уже являются или могут стать революционерами—сторонниками применения насилия. Гандиджи выступал за их освобождение, которое не обязательно должно осуществляться как часть соглашения, но он считал этот шаг весьма желательным для ослабления политической напряженности и нормализации обстановки в Бенгалии. Однако правительство не пошло на это.

Не согласилось правительство и на настойчивые просьбы Гандиджи об отмене смертного приговора Бхагату Сингху. Это также не имело никакого отношения к соглашению, и Гандиджи настаивал на этом особо, так как этот вопрос вызвал сильное волнение по всей Индии. Но он просил безрезультатно.

Мне вспоминается один любопытный эпизод, относящийся примерно к этому времени, который позволил мне составить некоторое представление о настроениях группы террористов в Индии. Это случилось вскоре после моего освобождения из тюрьмы — либо перед самой смертью отца, либо несколькими днями позже. К нам домой пришел повидаться со мной какой-то незнакомец, и мне сказали, что это Чандрашекхар Азад. Мне не приходилось видеть его раньше, но я слышал о нем десять лет назад, когда он, еще будучи школьником, отказался сотрудничать с властями, а в 1921 году, во время движения несотрудничества, был заключен в тюрьму. В тюрьме, куда он попал, когда ему было лет пятнадцать, он был наказан плетьюми за какое-то нарушение тюремной дисциплины. Позже он примкнул к террористам и стал одним из их виднейших деятелей в Северной Индии. Все это были неопределенные слухи, и я ими не интересовался. Поэтому я удивился, когда его увидел. Его посещение объяснялось всеобщим ожиданием (вызванным нашим освобождением), что между правительством и Конгрессом, вероятно, начнутся какие-то переговоры. Он хотел знать,

может ли его группа рассчитывать в случае заключения соглашения на безопасность. Будут ли их попрежнему рассматривать как отщепенцев, как людей, гонимых с места на место, за голову которых назначена награда, и с постоянной перспективой быть повешенными? Или можно было рассчитывать, что им разрешат заняться мирным трудом? Он сказал мне, что в настоящее время он лично и многие его товарищи убеждены, что чисто террористические методы бесплодны и не приносят пользы. Однако он не мог поверить, что Индия достигнет свободы одними мирными средствами. Он считал, что когда-нибудь в будущем может вспыхнуть насильственный конфликт, но это не будет террор. Когда он говорил о свободе Индии, он отвергал применение террора как такового. Но, добавил он, что ему остается делать, если он лишен возможности где-либо обосноваться, ибо его подвергают непрерывной травле? По его словам, многие террористические акты, имевшие место в последнее время, были просто актами самозащиты.

Я рад был узнать от Азада — и впоследствии я получил подтверждение этого, — что вера в террор умирает. Террор как групповая идея фактически исчез, а отдельные случаи вызывались, вероятно, не общей идеей, а какими-то особыми причинами и были либо актами мести, либо результатом заблуждения отдельных лиц. Это, конечно, не означало, что старые террористы или их новые сподвижники стали сторонниками ненасилия или поклонниками английского владычества. Но они уже не подходили ко всему, как бывало, с террористической меркой. Мне кажется, что многие из них определенно придерживаются фашистских взглядов.

Я попытался разъяснить Чандрашекхара Азаду свои взгляды на политическую деятельность и склонить его к моей точке зрения. Но я не смог дать ответ на его основной вопрос: что ему теперь делать? Ничто, видимо, не сулило в будущем ему и ему подобным облегчения или покоя. Я мог лишь предложить, чтобы он использовал свое влияние для предотвращения террористических актов в будущем, ибо они могли только повредить как его собственной группе, так и более важному делу.

Спустя две-три недели, во время переговоров между Гандиджи и Ирвином, я узнал в Дели, что Чандрашекхар Азад застрелен полицией в Аллахабаде: его опознали днем в парке, и он был окружен большим отрядом полиции. Он попытался обороняться, спрятавшись за деревом, завязалась перестрелка, и, прежде чем его убили, ему удалось ранить одного или двух полицейских.

Вскоре после достижения временного соглашения я покинул Дели и отправился в Лакнау. Мы немедленно предприняли шаги для прекращения движения гражданского неповиновения по всей стране, и вся конгрессиистская организация с поразительной дисциплинированностью выполнила наши новые инст-

рукции. В наших рядах было много недовольных, много горячих голов, и у нас не было возможности заставить их прекратить прежнюю деятельность. Но на практике, насколько мне известно, вся без исключения колоссальная организация согласилась с новой линией, хотя многие критиковали ее. Меня особенно интересовало, как будет реагировать наша провинция, поскольку в некоторых ее районах широко развернулась кампания неуплаты налогов. Первым делом мы позаботились об освобождении из тюрем участников движения гражданского неповиновения. Каждый день их тысячами выпускали на свободу, и через некоторое время в тюрьмах осталось лишь небольшое число заключенных, дела которых были спорными, помимо, конечно, многих тысяч лиц, содержащихся в тюрьме без предъявления обвинения или осужденных за насильственные действия.

Понятно, что близкие и друзья горячо приветствовали возвращение освобожденных узников в родные города и села. В их честь часто вывешивались гирлянды и флаги, устраивались шествия и митинги, проносились речи и приветственные обращения. Все это было вполне естественно, и этого надо было ожидать, но это составляло разительный контраст с тем временем, когда всюду можно было видеть полицейскую дубинку, а митинги и шествия разгонялись. Полиция чувствовала себя не в своей тарелке, и, вероятно, многие из наших людей, вышедшие из тюрьмы, испытывали чувство торжества. Оснований для торжества было довольно мало, но выход из тюрьмы всегда вызывает подъем духа (если только дух заключенного не был сломлен в тюрьме), а массовое освобождение из тюрем еще больше усиливает это ликование.

Я упоминаю здесь об этом потому, что впоследствии правительство придралось к этому «торжествующему виду» и поставило его нам в вину! Для людей, воспитанных и живущих в атмосфере деспотизма, с военными понятиями об управлении и не имеющих ни корней, ни поддержки в народе, нет ничего более тяжелого, нежели подрыв того, что они считают своим престижем. Насколько мне известно, никто из нас совершенно не задумывался над этим вопросом, и впоследствии мы с большим удивлением узнали, что от высот Симвлы до равнин правительственные чиновники кипели негодовавшим и страдали от уязвленной гордости при виде этой наглости народа. Газеты, отражающие их взгляды, до сих пор не могут забыть это, и даже сейчас, спустя три с половиной года, все еще чуть ли не с явным содроганием вспоминают о тех невыносимых, ужасных днях, когда, по их словам, члены Конгресса расхаживали с таким торжествующим видом, словно они сдержали большую победу. Для нас эти вепсышки со стороны правительства и его друзей в печати явились откровением. Это показало, в каком нервном состоянии они находились и как им приходилось сдерживать себя, что порождало всевозможные

психологические комплексы. Удивительно, что их могли так вывести из равновесия несколько процессов и речей наших рядовых членов.

В действительности же в то время рядовые члены Конгресса, не говоря уже о его руководстве, даже и не думали о том, что английскому правительству «нанесено поражение». Но мы испытывали известное чувство торжества при мысли о жертвах и мужестве нашего народа. Мы немного гордились тем, что сделала наша страна в 1930 году; это подняло нас в собственных глазах, придало уверенности, и даже самый скромный из добровольных участников нашего движения распрямлялся и высоко поднимал голову при мысли об этом. Мы чувствовали также, что эти великие усилия, привлечение внимания всего мира, оказали колоссальное давление на английское правительство и приблизили нас к нашей цели. Все это не имело никакого отношения к поражению правительства, и многие из нас полностью отдавали себе отчет в том, что правительство заключило Деллийский пакт на довольно выгодных для себя условиях. Тех из нас, кто говорил, что мы далеки от своей цели и что в будущем предстоит длительная и тяжелая борьба, друзья правительства обвиняли в разжигании войны и измене духу Деллийского пакта.

В Соединенных провинциях теперь пришлось столкнуться с аграрной проблемой. Отныне мы проводили, по мере возможности, политику сотрудничества с английским правительством, и поэтому мы немедленно вступили в контакт с правительством Соединенных провинций. После долгого перерыва — мы не имели с ними никаких официальных отношений в течение десятилетия лет — я посетил некоторых высших чиновников провинции, чтобы обсудить аграрный вопрос. Мы вели также по этому поводу обширную переписку. Для поддержания постоянной связи с правительством провинции провинциальный комитет Конгресса назначил одного из наших видных деятелей, Говинда Баллабх Панта, специальным связным. Правительство признало существование аграрного кризиса, сильное падение цен на сельскохозяйственные продукты и неспособность среднего крестьянина внести требуемую арендную плату. Надо было решить, какое именно снижение арендной платы следует предложить, и в этом вопросе инициатива должна была принадлежать правительству провинции. Обычно правительство имело дело только с помещиками, а не непосредственно с их арендаторами, и поэтому помещики должны были уменьшить арендную плату или предоставить отсрочку. Но помещики отказывались сделать что-либо в этом направлении до тех пор, пока правительство не снимет с них часть земельного налога; и, во всяком случае, они, как правило, не особенно стремились снизить арендную плату своим арендаторам. Поэтому решать приходилось правительству.

Провинциальный комитет Конгресса известил крестьян, что

кампания неуплаты налогов прекращается и что они должны внести возможно большую часть арендной платы. Но в качестве представителя крестьянства комитет требовал большего снижения арендной платы. В течение длительного времени правительство не предпринимало никаких мер. Вероятно, его задерживало отсутствие губернатора сэра Малькольма Хейли, уехавшего в отпуск или по делу. Были необходимы быстрые и серьезные меры, но исполняющий обязанности губернатора и его коллеги не решались связать себя каким-либо обязательством и предпочитали затягивать дело до возвращения сэра Малькольма Хейли, приезд которого ожидался летом. Эта нерешительность и проволочка усложнили и без того трудное положение и принесли много страданий арендаторам.

Вскоре после заключения Делийского пакта я заболел. Я чувствовал себя неважно еще в тюрьме, а затем потрясение, вызванное смертью отца, и длительное напряжение во время последующих переговоров в Дели еще больше ухудшили мое здоровье. Ко времени съезда Конгресса в Карачи я почувствовал себя лучше.

Карачи расположен далеко на северо-западе Индии, трудно доступен и частично отрезан пустынными областями от остальной страны. Тем не менее туда прибыло много народу из отдаленных уголков страны, и в тот момент он поистине отражал настроения всей Индии. Там царилло чувство спокойного, но глубокого удовлетворения растущей силой национального движения в Индии; чувство гордости организацией Конгресса, которая до сих пор столь достойно справлялась со своими трудными задачами и чья самоотверженность и дисциплинированность полностью оправдали себя; чувство веры в наш народ и сдержанного энтузиазма. Этому сопутствовало глубокое сознание ответственности за решение колоссальных проблем и предотвращение опасностей; наши слова и резолюции были теперь прелюдией к действиям в национальном масштабе. Поэтому каждое слово надо было взвешивать, а резолюции не так-то легко было провести. Делийский пакт, хотя и принятый подавляющим большинством, не пользовался популярностью и любовью, и существовали опасения, что он может поставить нас в неудобное положение. Создавалось впечатление, что он каким-то образом затушевывал проблемы, стоявшие перед страной. Накануне съезда появился новый элемент недовольства, вызванный казнью Бхагата Сингха. Это чувство было особенно заметно в Северной Индии, и Карачи, расположенный на севере, привлек много народу из Пенджаба.

Съезд Конгресса в Карачи явился в еще большей мере, чем любой из предыдущих съездов, личным триумфом Гандиджи. Председателем съезда был Сардар Валлабхбхай Патель, один из самых популярных и влиятельных людей в Индии, пользовавшийся большим престижем благодаря успешному руковод-

ству движением в Гуджарате. Но главная роль на съезде принадлежала Махатме. На съезде присутствовала также большая группа «краснорубашечников» из Пограничной провинции под руководством Абдул Гаффар-хана. Эти краснорубашечники были популярны и всюду встречали теплый прием, ибо на Индию произвело большое впечатление необычайно спокойное мужество, проявленное ими с апреля 1930 года перед лицом серьезных провокаций. Название «краснорубашечники» породило у некоторых совершенно ошибочное представление, будто они являются коммунистами или левыми лейбористами. Настоящее их название — «Худай Хидматгар», и эта организация примыкала к Конгрессу (позже, в 1931 году, они вошли в состав конгрессистской организации). Краснорубашечниками их прозвали просто за их довольно примитивную форменную одежду красного цвета. В их программе, которая была националистической и касалась также вопроса о социальной реформе, вопросы экономической политики не затрагивались.

Главная резолюция, принятая в Карачи, рассматривала вопросы, связанные с Делийским пактом и Конференцией круглого стола. Я, конечно, согласился с нею, так как она исходила от Рабочего комитета, но, когда Гандиджи попросил меня внести ее на открытом заседании съезда, я заколебался. Она была мне не по душе, и вначале я отказался, но затем такая позиция показалась мне слабой и неудовлетворительной. Либо я был за резолюцию, либо против, и было нелепо действовать уклончиво и предоставлять людям строить догадки на этот счет. Чуть ли не в последний момент, за несколько минут до того, как резолюция была вынесена на открытое заседание съезда, я решил поддержать ее. В своей речи я старался совершенно откровенно рассказать собравшимся, что я чувствовал и почему я искренне принял эту резолюцию и убеждал их принять ее. Эта речь, произнесенная под влиянием минуты и шедшая от сердца, лишенная почти всяких ораторских прикрас и красивых слов, была, вероятно, более удачной, чем многие из других моих выступлений, подготовленных более тщательно.

Я выступал и по другим резолюциям, в частности по резолюциям о казни Бхагата Сингха и об основных правах и экономической политике. Последняя резолюция особенно интересовала меня. Отчасти это было вызвано ее содержанием и в еще большей степени тем, что она представляла нечто новое в воззрениях Конгресса. До сих пор Конгресс мыслил в чисто националистическом плане и избегал экономических проблем, если не считать того, что он поощрял в общем развитие кустарных промыслов и свадешии. В резолюции, принятой в Карачи, он сделал очень небольшой шаг в социалистическом направлении, высказавшись за национализацию основных отраслей промышленности и коммунальных предприятий и за ряд других мер, направленных на то, чтобы облегчить бремя бедных и увеличить бремя

богатых. Это отнюдь не был социализм, и капиталистическое государство легко могло бы принять почти все, содержащееся в этой резолюции.

Очевидно, эта весьма умеренная и обычная резолюция надела высокопоставленных деятелей английского правительства в Индии на тяжкие размышления. Быть может, они со своей обычной пронизательностью рисовали себе даже, как красное золото большевиков проникает в Карачи для подкупа лидеров Конгресса. Живя в своего рода политическом гареме, отрезанном от внешнего мира и окутанном атмосферой секретности, они жадно воспринимали всякие таинственные и фантастические истории. Затем эти истории с таинственным видом преподносились небольшими порциями читателям через привилегированные газеты. При этом делались намеки, что если бы приподнять завесу, то можно было бы увидеть гораздо большее. Именно в такой форме приводились частые ссылки и на принятую в Карачи резолюцию об основных правах и т. д., и я могу лишь догадываться, что они представляют точку зрения правительства на эту резолюцию. В частности, сообщалось, что эту резолюцию или большую ее часть составила и навязала мне в Карачи некая таинственная личность, связанная с коммунистами, что затем я предъявил Ганди ультиматум, требуя принятия этой резолюции и угрожая в противном случае выступить против Делийского пакта, и что Ганди согласился на это, дабы умиловить меня, и в самый последний день навязал эту резолюцию утомленным членам комиссии по рассмотрению внесенных резолюций и самому съезду.

Насколько мне известно, имя «таинственной личности» прямо не называлось, но из многочисленных намеков было совершенно ясно, кто имелся в виду. Поскольку я не любитель делать из всего секреты и выражаться недомолвками, я открыто могу заявить, что, повидимому, под этой личностью подразумевался М. Н. Рой. Было бы небезинтересно и поучительно для власти имущих в Симле и Дели узнать, что думает об этой весьма невинной резолюции сам М. Н. Рой или какое-либо другое «прокоммунистически настроенное» лицо. К своему удивлению они обнаружили бы, что любой из них с презрением относятся к этой резолюции, ибо, по его мнению, она представляет собой типичный продукт буржуазно-реформистского мышления.

Что касается Ганди, то в течение последних семнадцати лет я имел честь знать его довольно близко, и мысль о том, что я мог бы предъявить ему ультиматум или торговаться с ним, кажется мне чудовищной. Мы можем прииравливаться друг к другу или можем расхотиться по какому-либо конкретному вопросу, но в наших взаимоотношениях никогда не может быть никаких базарных методов.

Мысль о принятии Конгрессом резолюции такого рода возникла давно. В течение нескольких лет комитет Конгресса в

Соединенных провинциях вел агитацию за это и пытался склонить Исполнительный комитет Конгресса принять социалистическую резолюцию. В 1929 году ему удалось добиться того, что Исполнительный комитет принял ее в принципе. Затем началось движение гражданского неповиновения. Во время своих утренних прогулок с Гандиджи в феврале и марте 1931 года в Дели я касался этого вопроса, и он одобрил мысль о принятии резолюции по экономическим вопросам. Он просил меня поднять этот вопрос в Карачи, составить проект резолюции и показать ему. Я сделал это в Карачи, и он внес ряд изменений и предложений. Он хотел, чтобы прежде чем выносить ее на рассмотрение Рабочего комитета, мы предварительно договорились о формулировках. Мне пришлось составить ряд проектов, и это задержало дело на несколько дней, да и, кроме того, мы были очень заняты другими вопросами. В конце концов мы договорились с Гандиджи относительно проекта, и он был передан Рабочему комитету, а затем комиссии по рассмотрению внесенных резолюций. Совершенно справедливо, что это был новый вопрос для комиссии, и некоторые ее члены были удивлены. Однако резолюция легко прошла на заседании комиссии и на съезде и была передана Исполнительному комитету Конгресса для дальнейшего разъяснения и дополнения в духе изложенных принципов.

Составляя эту резолюцию, я иногда советовался с людьми, обычно посещавшими мою палатку. Но М. Н. Рой не имел к резолюции ровно никакого отношения, и я достаточно хорошо знаю, что он бы не одобрил ее и высмеял.

Я встретился с М. Н. Роем в Аллахабаде за несколько дней до приезда в Карачи. Однажды вечером он внезапно появился у нас в доме, и, хотя я не имел никакого понятия о том, что он находится в Индии, я сразу узнал его, так как виделся с ним в 1927 году в Москве. Он встречался со мной и в Карачи, но, вероятно, не более пяти минут. В течение последних нескольких лет Рой в своих письменных высказываниях неоднократно осуждал меня с политической точки зрения, и ему часто удавалось задеть меня. Мы во многом отличались друг от друга, и все же меня влекло к нему, и впоследствии, когда он был арестован и находился в тяжелом положении, я хотел сделать то немногое, что мог (а этого было весьма мало), чтобы помочь ему. Меня привлекали к нему его замечательные умственные способности; влекло меня к нему также и то, что он казался таким одиноким, покинутым всеми. Английское правительство, естественно, охотилось за ним; националистическая Индия не интересовалась им, а те, кто называл себя индийскими коммунистами, осуждали его как изменника их делу. Я знал, что после долгих лет, проведенных в России, и тесного сотрудничества с Коминтерном Рой отошел от него, а может быть, его заставили отойти. Отчего это произошло, я не знал, и до сих пор весьма смутно представ-

ляю себе его теперешние взгляды и существо его разногласий с ортодоксальными коммунистами. Но то, что такой человек, как он, был покинут почти всеми, удручало меня, и, вопреки обыкновению, я вошел в комитет защиты. С лета 1931 года, то есть уже больше трех лет, он находится в тюрьме, больной и фактически в одиночном заключении.

Одним из заключительных актов съезда Конгресса в Карачи были выборы нового Рабочего комитета. Этот комитет избирается Исполнительным комитетом Конгресса, но сложился обычай, согласно которому Исполнительный комитет принимает предложения, внесенные (после консультации с Гандиджи и иногда с другими членами) председателем, избранным на данный год. Выборы Рабочего комитета в Карачи привели к неприятному результату, которого никто из нас тогда не предвидел. Некоторые из мусульманских членов Исполнительного комитета возражали против результатов этих выборов и особенно против одного из избранных лиц (мусульманина). Может быть, их также задело то, что не был избран никто из их группы. В комитете, имевшем всендийский характер и состоявшем из пятнадцати человек, естественно, не могли быть представлены все группы, и действительный спор, о котором мы ничего не знали, носил всецело личный и местный характер и происходил в Пенджабе. В результате группа недовольных постепенно отошла от организации Конгресса в Пенджабе и вместе с другими группами вступила в партию Ахрар, или «Маджлис-э-Ахрар». В эту партию вошел ряд наиболее активных и популярных мусульманских деятелей Конгресса в Пенджабе, и она привлекла в свои ряды большое число пенджабских мусульман. Она представляла главным образом низшие слои среднего класса и имела широкие связи с мусульманскими массами. Таким образом, она стала влиятельной организацией, гораздо более сильной, нежели дряхлые мусульманские общинные организации высших классов, действовавшие в безвоздушном пространстве, или, вернее, в гостиных и залах для заседаний. Партия Ахрар неизбежно склонялась к религиозно-общинной замкнутости, но благодаря своей связи с мусульманскими массами она оставалась жизнеспособной организацией с расплывчатыми экономическими воззрениями. Позже она сыграла важную роль в мусульманских волнениях в индийских княжествах, в частности в Кашмире, где, к несчастью, экономические бедствия и религиозно-общинная рознь странном образом переплетались между собой. Отход от Конгресса некоторых лидеров партии Ахрар был серьезной утратой для Конгресса в Пенджабе. Но в Карачи мы этого не знали и осознали это лишь постепенно в последующие месяцы. Конечно, этот отход не был вызван недовольством выборами Рабочего комитета Конгресса. Это была лишь соломинка, показывающая, куда дует ветер. Истинные же причины крылись глубже.

В то время, когда все мы находились в Карачи, пришли известия об индусско-мусульманской резне в Канпуре, а вскоре пришло сообщение о том, что Ганеш Шанкар Видьяртхи убит озверевшей толпой, которой он пытался помочь. Эти чудовищные, зверские столкновения были ужасны сами по себе, но гибель Ганеша показала нам это особенно ярко. Его знали тысячи людей в лагере Конгресса, и для всех нас в Соединенных провинциях он был самым дорогим товарищем и другом, мужественным и неустрашимым, дальновидным и мудрым, никогда не падавшим духом, спокойно работавшим и презиравшим рекламу, помпезность и шумиху. В расцвете сил он добровольно отдал свою жизнь делу, которое любил и которому служил; руки безумцев нанесли ему смертельный удар и лишили Канпур и провинцию ее лучшей жемчужины. Это известие вызвало глубокую скорбь у делегатов Соединенных провинций в Карачи. Ушла от нас наша гордость. И все же мы гордились им, гордились тем, что он встретил смерть столь непоколебимо и умер со славой.

Глава тридцать шестая

ОТДЫХ НА ЮГЕ

Врачи настойчиво советовали мне отдохнуть и переменить обстановку, и я решил провести месяц на Цейлоне. Индия при всей ее обширности все же не сулила реальной возможности переменить обстановку и умственно отдохнуть, ибо, куда бы я ни направился, я, вероятно, встретился бы с товарищами по политической деятельности, и те же проблемы стали бы преследовать меня. Цейлон был ближе всего к Индии, и поэтому я вместе с Камалой и Индирой отправился туда. Это был мой первый отдых со времени нашего возвращения из Европы в 1927 году, и впервые с тех пор моя жена, дочь и я мирно проводили совместный отдых, и почти ничто не нарушало его. Такой возможности я уже больше не имел, и иногда я спрашиваю себя, представится ли она вообще еще когда-нибудь.

Все же мы по существу мало отдыхали на Цейлоне, если не считать двух недель, проведенных в Нуvara Элия. Нас буквально подавляли гостеприимство и дружелюбие людей всех классов. Было очень приятно встретить столь доброжелательное отношение к себе, но зачастую это и стесняло. В Нуvara Элия к нам ежедневно издали приходили группы батраков, рабочих чайных плантаций и другие люди, принося с собой трогательные подарки — полевые цветы, овощи, масло домашнего изготовления. Обычно мы даже не могли беседовать; мы лишь смотрели друг на друга и улыбались. Наш домик был завален дорогими для нас подарками, которые преподносили нам эти люди, несмотря на свою бедность, и мы передавали их подарки в местную больницу и приюты.

Мы посетили на острове много известных живописных мест и исторических развалин, буддистских монастырей и пышных тропических лесов. В Анурадхапуре мне очень понравилось древнее изваяние сидящего Будды. Спустя год, когда я находился в тюрьме Дехра-Дун, один из моих цейлонских друзей прислал мне фотографию этого изваяния, и я держал ее на столике у себя в камере. Она стала для меня дорогим товарищем, и сильные, спокойные черты статуи Будды умиротворяли меня, придавали мне силы и не раз помогали преодолевать уныние.



ИНДИРА ПРИЙЯДАРШНИ,
дочь ДЖ. НЕРУ

Меня всегда сильно влекло к Будде. Мне трудно проанализировать это влечение, но оно не было влечением религиозным, ибо меня не интересуют догмы, выросшие вокруг буддизма. Меня притягивала личность Будды. Точно так же меня сильно влекла к себе личность Христа.

В монастырях и на дорогах я видел много буддистских *бхикку* (монахов), которых всюду принимали с почетом. Почти всем им было свойственно выражение мира и спокойствия, странной отрешенности от мирских забот. Как правило, их лица не носили следов глубоких раздумий, следов жестокой душевной борьбы. Казалось, что жизнь для них подобна спокойной реке, медленно катящей свои воды в великий океан. Я взирал на них с некоторой завистью, с какой-то смутной тоской по тихой гавани, но я хорошо знал, что мне суждена иная участь, овеянная бурями и грозами. Тихая гавань была не для меня, ибо в душе моей бушевали столь же сильные бури, как и во внешнем мире. А если бы паче чаяния меня и прибило к тихой гавани, укрытой от ярости ветров, то разве я мог быть там довольным или счастливым?

Но на некоторое время такая гавань была приятна, можно было лежать и мечтать, поддаваясь умиротворяющим и расслабляющим чарам тропиков. Цейлон отвечал моему тогдашнему настроению, и красота острова восхищала меня. Наш месячный отдых скоро пришел к концу, и мы с искренним сожалением распрощались с островом. Часто в моей памяти всплывают воспоминания об этой стране и ее народе; они скрашивают долгие пустые дни, проводимые в тюрьме. Я вспоминаю один небольшой эпизод; мне кажется, это случилось близ Джафны. Учителя и ученики одной школы остановили нашу машину и произнесли несколько приветственных слов. Особенно выделялись живые, выразительные лица мальчиков; один из них подошел ко мне, пожал мне руку и без дальнейших слов сказал: «Я не дрогну». Это ясное, полное решимости юное лицо со сверкающими глазами запечатлелось в моей памяти. Я не знаю, кто он был, я потерял его след. Но меня не покидает уверенность, что он останется верен своему слову и не дрогнет, когда ему придется столкнуться с трудными проблемами жизни.

С Цейлона мы поехали в Южную Индию, прямо на оконечность мыса Коморин. Там было удивительно спокойно. Затем через Траванкур, Кочин, Малабар, Майсур, Хайдарабад — через большинство индийских княжеств, как наиболее передовых, так и наиболее отсталых. Траванкур и Кочин далеко обогнали Британскую Индию в области постановки образования; Майсур, вероятно, идет впереди в промышленном отношении; впечатление же от Хайдарабада такое, как будто бы переносишься в феодальную эпоху. Повсюду мы встречали вежливый и радушный прием как со стороны народа, так и со стороны властей, но я ощущал, что за этим радушием властей крылась тревога, как

бы наш визит не возбудил у народа опасных мыслей. В Майсуре и Траванкуре в то время, видимо, имелись некоторые гражданские свободы и существовала возможность для политической деятельности; в Хайдарабаде не было даже этого, и, несмотря на окружающую нас вежливость, мне не хватало воздуха, и я задыхался. Впоследствии правительства Майсура и Траванкура отменили даже те немногие гражданские свободы и ограниченные возможности для политической деятельности, которые имелись прежде.

На многолюдном собрании в Бангалуре, в княжестве Майсур, я поднял национальный флаг на огромном металлическом шесте. Вскоре после моего отъезда этот шест был уничтожен, и правительство Майсура объявило преступлением вывешивание национального флага. Это поношение и оскорбление поднятого мной флага глубоко огорчило меня.

Сейчас в Траванкуре даже Конгресс объявлен вне закона, и вовлечение в его ряды новых членов запрещено, хотя в Британской Индии он существует на легальном положении со времени отмены движения гражданского неповиновения. Таким образом, в Майсуре и Траванкуре преследуется обычная мирная политическая деятельность и отменен ряд льгот, которые были прежде предоставлены. Они повернули вспять. Хайдарабаду не было необходимости поворачивать вспять или отменить льготы, ибо он никогда не делал шага вперед и не предоставлял никаких льгот. Политические митинги в Хайдарабаде не известны, и даже на общественные и религиозные собрания смотрят с подозрением и для их проведения требуется специальное разрешение. Там нет газет, достойных этого наименования, а распространение большого числа газет, издаваемых в других частях Индии, запрещено с целью воспрепятствовать проникновению заразы извне. Эта политика изоляции настолько строга, что запрещены даже умеренные журналы.

В Кочине мы посетили квартал так называемых «белых евреев» и присутствовали на одной из служб в их старой молельне. Это маленькая община, очень древняя и весьма своеобразная. Численность ее уменьшается. Нам сказали, что та часть Кочина, в которой они проживают, напоминает собой древний Иерусалим. У нас, несомненно, древний вид. Мы посетили также несколько городов на Малабарском побережье, населенных главным образом христианами, принадлежащими к сирийской церкви. Мало кому известно, что христианство появилось в Индии еще в I веке нашей эры, задолго до обращения Европы в христианскую веру, и прочно обосновалось в Южной Индии. Хотя духовный глава этих христиан находится в Антиохии или где-то в Сирии, практически их христианство носит местный характер и мало связано с внешним миром.

К моему удивлению, на юге мы натолкнулись также на колонию несторианцев; их епископ сказал мне, что несторианцев

посчитывается десять тысяч. У меня сложилось впечатление, что несторианцы давно поглощены другими сектами, и я не знал, что они существуют в Индии. Но мне сообщили, что одно время у них было в Индии довольно много последователей и их влияние распространялось на север до самого Бенареса.

Мы поехали в Хайдарабад специально для того, чтобы навестить Сароджини Найду и ее дочерей Падмаджу и Лейламани. В то время, когда мы гостили у них, на женской половине дома собралась небольшая группа женщин, пожелавших познакомиться с моей женой, и Камала, очевидно, выступала перед ними. Вероятно, она говорила о борьбе женщин за свободу, против установленных мужчинами законов и обычаев (ее излюбленная тема) и призывала женщин не слишком покоряться своим мужьям. Это имело любопытные последствия: две-три недели спустя один расстроенный муж написал Камале из Хайдарабада, что со времени посещения ею этого города его жена странно ведет себя. Она не хочет слушаться его и выполнять, как обычно, его желания, спорит с ним и даже занимает агрессивную позицию.

Через семь недель после отплытия на Цейлон из Бомбея мы вернулись в этот город, и я вновь попал в водоворот конгрессистской политики. Состоялись заседания Рабочего комитета, на которых обсуждались жизненно важные вопросы: быстрое изменение обстановки в Индии, тупик в аграрном вопросе в Соединенных провинциях, колоссальное развитие движения «краснорубашечников» в Пограничной провинции под руководством Абдул Гаффар-хана, исключительно напряженная обстановка в Бенгалии, где готовы вырваться наружу чувства возмущения и ненависти, вечная религиозно-общинная проблема и мелкие местные конфликты по самым разнообразным вопросам между конгрессистами и правительственными чиновниками, обвинявшими друг друга в нарушении Делийского пакта. И, кроме того, неизменно вставал вопрос: должен ли Конгресс быть представлен на второй Конференции круглого стола? Следует ли Махатме Ганди поехать туда?

ТРЕНИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕМИРИЯ

Должен ли Гандиджи поехать в Лондон на Конференцию круглого стола, или нет? Этот вопрос поднимался вновь и вновь, и определенного ответа не было. Никто не знал этого до самого последнего момента — даже Рабочий комитет Конгресса, да и сам Гандиджи. Дело в том, что решение зависело от многих обстоятельств, а новые события непрерывно изменяли обстановку. За этим вопросом и ответом крылись подлинные, трудные проблемы.

Английское правительство и его друзья не раз говорили нам, что Конференция круглого стола уже выработала основу конституции, что картина в главном уже закончена и остается лишь завершить ее. Но Конгресс думал иначе, и, с его точки зрения, картину надо было нарисовать или написать заново почти по чистому полотну. Правда, Делийское соглашение одобрило идею федерации и приняло решение о гарантиях. Но федерация издавна казалась многим из нас наилучшим решением индийской конституционной проблемы, и одобрение нами этой идеи не означало, что мы согласны с федерацией того типа, который предусматривала первая Конференция круглого стола. Федерация была вполне совместима с политической независимостью и социальными изменениями. Гораздо труднее было увязать с этим идею о гарантиях, и в обычных условиях они означали бы существенное ущемление суверенитета, но оговорка, содержащаяся в словах «в интересах Индии», помогла нам преодолеть в какой-то степени эту трудность, хотя, возможно, и не очень успешно.

Во всяком случае, съезд Конгресса в Карачи разъяснил, что конституция может быть приемлемой лишь при том условии, если она предусматривает полный контроль над оборонной, внешней политикой, финансовой и экономической политикой и предоставляет Индии право решать об иностранной задолженности (в основном Англии), и что лишь после этого могут быть приняты какие-либо обязательства; резолюция об основных правах также указывала на некоторые желательные политические и экономические изменения. Все это было несовместимо со многими решениями Конференции

круглого стола, а также с существующей в Индии системой управления.

Между точками зрения Конгресса и английского правительства лежала колоссальная пропасть, и казалось в высшей степени невероятным, чтобы ее удалось ликвидировать на этом этапе. Очень немногие конгрессисты ожидали, что на Конференции круглого стола между Конгрессом и правительством может быть в какой-то степени достигнуто соглашение, и даже Гандиджи при всем своем неизменном оптимизме не ожидал от нее многого. Тем не менее он никогда не отчаивался и был полон решимости не оставлять попыток до самого конца. Все мы считали, что, независимо от того, будет ли достигнут успех, или нет, необходимо приложить усилия для того, чтобы продлить действие Делийского соглашения. Но существовали два важных соображения, которые могли помешать нашему участию во второй Конференции круглого стола. Мы могли поехать на Конференцию лишь в том случае, если нам предоставят полную свободу исчерпывающе изложить свою точку зрения перед Конференцией круглого стола и не помешают сделать это, ссылаясь на то, что этот вопрос уже решен, или на какую-либо другую причину. Нашему участию в Конференции круглого стола могли помешать также условия в самой Индии. Здесь могло создаться такое положение, которое привело бы к конфликту с правительством или вызвало бы суровые репрессии против нас. Если бы в Индии создалось подобное положение и в огне оказался наш собственный дом, для нашего представителя было бы весьма неуместно не обратить внимания на пожар и вести в Лондоне академические беседы о конституциях и тому подобном.

События в Индии быстро развивались. Это было заметно по всей стране, и особенно в Бенгалии, Соединенных провинциях и в Пограничной провинции. В Бенгалии Делийское соглашение почти ничего не изменило, и напряжение не только не исчезло, а, наоборот, усилилось. Некоторое число арестованных за участие в движении гражданского неповиновения было освобождено, но в тюрьмах остались тысячи политических заключенных, формально не относившихся к этой категории. Арестованные без предъявления обвинения также попрежнему находились в тюрьмах или лагерях. Часто производились новые аресты за «мятежные» речи или другую политическую деятельность, и вообще чувствовалось, что наступление правительства продолжается с прежней силой. Для Конгресса бенгальская проблема представляла исключительные трудности в связи с деятельностью террористов. По сравнению с обычной работой Конгресса и движением гражданского неповиновения эта террористическая деятельность была очень небольшой по своему размаху и значению. Но она производила много шума и привлекла большое внимание. Из-за нее было трудно вести работу Кон-

гресса так, как она проводилась в большинстве других провинций, ибо террор создавал неблагоприятную атмосферу для мирных прямых действий. Он неизбежно вызывал весьма суровые репрессии со стороны правительства, и они с поразительной неразборчивостью обрушивались как на террористов, так и на людей, не имеющих к ним отношения.

Полиции и местным исполнительным властям трудно было удержаться от соблазна распространить применение специальных законов и указов (предназначенных для террористов) на конгрессистов, рабочих, крестьянских деятелей и других, действия которых не одобрялись властями. Возможно, что истинное преступление многих задержанных, которых годами держали в тюрьме без предъявления обвинения, заключалось не в террористической деятельности, а в эффективной политической деятельности другого рода. Им не давали возможности доказать или опровергнуть что-либо или даже узнать, в чем состоят их прегрешения. Их не передают суду, вероятно, потому, что у полиции нет против них достаточных улик, чтобы добиться осуждения, хотя хорошо известно, что англо-индийские законы о преступлениях против государства удивительно подробны и всеобъемлющи и из их хитроумных ловушек трудно ускользнуть. Часто бывает, что человека, оправданного судом, немедленно арестовывают снова и затем уже обращаются с ним просто как с задержанным.

Перед лицом этой сложной бенгальской проблемы Рабочий комитет Конгресса чувствовал себя совершенно беспомощным. Она постоянно угнетала его, и в той или иной форме бенгальский вопрос всегда стоял перед комитетом. Комитет решал его в меру своих возможностей, но хорошо знал, что не затрагивает существа проблемы. Поэтому он, несколько малодушно, предоставлял событиям идти своим чередом, и, пожалуй, трудно сказать, что ему еще оставалось делать в его положении. Такая позиция Рабочего комитета вызывала сильное недовольство в Бенгалии, и там создавалось впечатление, что Исполнительный комитет Конгресса, а также и другие провинции страны отвернулись от Бенгалии. Бенгалия казалась брошенной на произвол судьбы в час испытаний. Такое впечатление было совершенно ошибочным, ибо вся Индия горячо сочувствовала населению Бенгалии, но не знала, как претворить это сочувствие в действительную помощь. И, кроме того, у каждого района Индии были и свои невзгоды.

Положение крестьян в Соединенных провинциях ухудшалось. Провинциальное правительство затягивало решение проблемы и не осуществило уменьшения арендной платы и земельного налога; уже началось принудительное взимание налогов. Происходили массовые выселения и конфискация имущества. В то время, когда мы находились на Цейлоне, в двух-трех местах в Соединенных провинциях вспыхнули аграр-

ные беспорядки, вызванные попытками принудительного взимания арендной платы. Сами по себе беспорядки были незначительными, но, к несчастью, они привели к гибели какого-то помещика или его агента. Гандиджи отправился в Наини Тал (также во время моего пребывания на Цейлоне), чтобы обсудить положение в деревне с губернатором Соединенных провинций сэром Малькольмом Хейли. Однако это не дало особого результата. Когда правительство объявило о снижении арендной платы, оказалось, что это ни в коей мере не отвечало ожиданиям, и в сельских районах волнения продолжали возрастать. По мере того как помещики и правительство усиливали давление на крестьян и тысячи арендаторов были выброшены со своих участков и лишились своего скудного имущества, создавалось положение, которое в большинстве других стран привело бы к крупному крестьянскому восстанию. Думаю, что если этого не случилось, то в значительной степени благодаря усилиям Конгресса, который удержал крестьян от насильственных действий. Но зато сами крестьяне часто подвергались насилию.

Эти неурядицы и тяжелое положение в сельском хозяйстве имели одну светлую сторону. Благодаря очень низким ценам на сельскохозяйственную продукцию беднейшие классы, включая крестьян, если они не были совершенно разорены, питались лучше, чем в течение многих лет.

Пограничной провинции, как и Бенгалии, Делийский пакт не принес мира. Там ощущалась постоянная напряженность, провинция управлялась военными методами, с помощью специальных законов и указов, и малейшие проступки сурово карались. В противовес этому Абдул Гаффар-хан повел широкую агитацию и вскоре стал наводить страх на правительство. Этот могучий патан, ростом 6 футов 3 дюйма, ходил из одной деревни в другую, всюду создавая центры «краснорубашечников». Где бы ни появлялись он или его главные помощники, они оставляли за собой когорту своих «краснорубашечников», и вскоре вся провинция бывала покрыта отделениями «Худай Хидматгар». Это были совершенно мирные организации, и, несмотря на все туманные намеки, против них не было выдвинуто ни одного определенного обвинения в насилии. Но независимо от того, имели они мирный характер или нет, у них за плечами была традиция войн и насилия, и они жили близ беспокойной границы, и этот быстрый рост организованного движения, тесно связанного с индийским национальным движением, сильно тревожил правительство. Не думаю, чтобы оно верило когда-либо их заявлениям о мире и ненасилии. Но даже если бы оно поверило в это, все равно подобная организация не могла бы вызывать у правительства ничего, кроме страха и раздражения. Она представляла слишком большую реальную и потенциальную силу, чтобы правительство могло хладнокровно взирать на нее.

Неоспоримым главой этого широкого движения был Абдул Гаффар-хан—«Фахр-э-Афган», «Фахр-э-Патан», «Гордость патанов», «Ганди-э-Сархад», «Пограничный Ганди», как его называли. Он снискал огромную популярность в Пограничной провинции одной только своей спокойной и упорной работой, которую вел, не страшась никаких трудностей или преследования со стороны правительства. Он никогда не был политиком в обычном смысле этого слова; ему совершенно незнакомы политическая тактика и маневры. Это был высокий, прямой человек, прямой духом и телом, ненавидящий шумиху и излишнюю болтовню, мечтающий о свободе для народа своей Пограничной провинции в условиях свободы для всей Индии, но плохо разбирающийся в конституциях и юридических тонкостях и не интересующийся ими. Чтобы чего-нибудь достигнуть, нужно действовать, а Махатма Ганди научил замечательному способу мирных действий, которые привлекали Гаффар-хана. Для действия нужна была организация; поэтому без лишних слов и не тратя много времени на разработку особых проектов устава для своей организации, он приступил к ее созданию и добился в этом деле замечательных успехов.

Особенно привлекал его Гандиджи. Вначале застенчивость и желание остаться в тени побуждали Гаффар-хана держаться вдали от Гандиджи. Позже им пришлось встретиться, чтобы обсудить ряд вопросов, и связь между ними укрепилась. Удивительно, что этот патан гораздо в большей степени, чем многие из нас, принял в теории идею ненасилия. И именно потому, что он верил в нее, он сумел доказать своему народу, насколько важно оставаться спокойным, несмотря на все провокации. Было бы нелепо заявлять, что население Пограничной провинции оставило всякую мысль о насилии, как было бы нелепо говорить это вообще о населении любой провинции. Массами движут эмоции, и никто не может предсказать, что они могут сделать под воздействием этих эмоций. Но самообладание, проявленное жителями Пограничной провинции в 1930 году и в последующие годы, было поистине поразительно.

Правительственные чиновники и некоторые из наших весьма робких соотечественников с подозрением поглядывают на «Пограничного Ганди». Они не могут поверить ему на слово и в состоянии предполагать лишь существование каких-то сложных интриг. Но за минувшие годы он и другие товарищи из Пограничной провинции сильно сблизились с работниками Конгресса в других районах Индии, и между ними завязались тесные товарищеские отношения, основанные на взаимном понимании и уважении. В кругах Конгресса Абдул Гаффар-хана знают и любят много лет. Но он стал чем-то большим, нежели просто одним из товарищей; в глазах остальной Индии он становится символом мужества и самоотверженности храбрых и неукротимых людей, наших товарищей по совместной борьбе.

Задолго до того, как я услышал об Абдул Гаффар-хане, я был знаком с его братом, д-ром Хан Сагибом. Он был студентом при госпитале св. Фомы в Лондоне, а я в то время учился в Кембридже, и позже, когда я проходил адвокатскую практику в Иннер Темпле, мы с ним стали близкими друзьями, и, когда я бывал в Лондоне, почти не проходило дня, чтобы мы не встречались. Я вернулся в Индию, а он остался в Англии, где и пробыл еще много лет, работая в период войны врачом. Следующая наша встреча произошла в тюрьме Паини.

Пограничные «краснорубашечники» сотрудничали с Конгрессом, но это была самостоятельная организация. Создалось своеобразное положение. Реальным связующим звеном являлся Абдул Гаффар-хан. Летом 1931 года этот вопрос был всесторонне рассмотрен Рабочим комитетом совместно с лидерами Пограничной провинции и было решено включить «краснорубашечников» в состав Конгресса. Таким образом, движение «краснорубашечников» стало частью конгрессистской организации.

Сразу после съезда Конгресса в Карачи Гандиджи хотел поехать в Пограничную провинцию, но правительство не намеревалось допустить эту поездку. В последующие месяцы, когда правительственные чиновники жаловались на действия «краснорубашечников», он не раз тщетно настаивал, чтобы ему дали возможность поехать туда и выяснить все самому. Моя поездка туда также не была одобрена. В связи с Делийским пактом мы не считали возможным совершить поездку в Пограничную провинцию вопреки ясно выраженному желанию правительства.

Еще одной проблемой, стоявшей перед Рабочим комитетом, была проблема религиозных общин. В ней не было ничего нового, хотя ей было свойственно возникать все вновь, каждый раз в ином и все более фантастическом обличье. Конференция круглого стола в тот момент придавала этой проблеме еще большее значение, так как было очевидно, что английское правительство будет выдвигать ее на первый план и подчинять ей все остальные вопросы. Участники Конференции, назначенные все до одного правительством, были избраны главным образом для того, чтобы всемерно раздувать значение вопросов, связанных с религиозными общинами и сектами, и заострять внимание на разногласиях между ними, а не на общих интересах. При этом правительство подчеркнуто враждебно отказалось назначить кого-либо из лидеров мусульман-националистов. Гандиджи считал, что, если по инициативе английского правительства Конференция с самого начала увязнет в общинной проблеме, подлинные политические и экономические проблемы не получат должного рассмотрения. При этих обстоятельствах его поездка на Конференцию принесла бы мало пользы. Поэтому он указал Рабочему комитету, что ему следует ехать в Лондон лишь в том

случае, если предварительно между заинтересованными сторонами будет достигнуто какое-нибудь соглашение по вопросу о религиозных общинах. Его инстинктивное убеждение было совершенно верным, но, тем не менее, комитет не согласился с ним и решил, что он не должен отказываться от поездки только на том основании, что нам не удалось разрешить общинную проблему. Комитет сделал попытку при консультации с представителями различных общин выдвинуть проект решения. Это не имело большого успеха.

Таковы были некоторые из основных проблем, стоявших перед нами летом 1931 года, наряду с большим количеством проблем второстепенных. Мы постоянно получали со всех концов страны жалобы от местных комитетов Конгресса, указывавших на нарушение Делийского пакта местными властями. Наиболее серьезные из этих жалоб были пересланы нами правительству, которое, в свою очередь, обвинило конгрессистов в нарушении пакта. Таким образом, были выдвинуты обвинения и контробвинения, и позже они были опубликованы в печати. Излишне говорить, что это не улучшило отношений между Конгрессом и правительством.

Все же эти трения по мелким вопросам не были столь уж важны сами по себе. Их значение заключалось в том, что они свидетельствовали о назревании более серьезного конфликта, чего-то такого, что не зависело от личностей, а было порождено самим характером нашей национальной борьбы и неустойчивостью нашей аграрной экономики, то есть чем-то таким, что нельзя было ликвидировать или устранить с помощью компромисса, не сопровождающегося коренными изменениями. Наше национальное движение первоначально возникло в результате стремления верхушки средних классов найти средства для выражения своих желаний и для дальнейшего роста, а за этим стремлением крылись причины политического и экономического порядка. Оно охватило низшие слои средних классов и приобрело силу в стране; затем оно привело в движение сельские массы, которым в целом становилось все труднее и труднее поддерживать даже свое скудное, полуголодное существование. Старое натуральное хозяйство давно уже прекратило свое существование. Кустарная промышленность, являвшаяся дополнением к земледелию, несколько облегчала бремя, ложившееся на землю, отмерла, отчасти из-за проводившейся государством политики, но главным образом из-за того, что она не могла конкурировать с развивавшейся машинной промышленностью. Бремя, ложившееся на землю, увеличилось, а рост индийской промышленности был слишком медленным, чтобы сколько-нибудь серьезно изменить положение. Плохо подготовленная и обремененная непомерными тяготами, деревня была неожиданно вытолкнута на мировой рынок и испытывала удары со всех сторон. Она не могла конкурировать на равных усло-

виях. У нее были отсталые методы производства, а ее система землевладения, приводившая к постепенному дроблению участков, делала невозможным радикальное улучшение. Таким образом, земледельческие классы, как помещики, так и арендаторы, разорялись, если не считать кратких периодов бума. Помещики старались переложить бремя на своих арендаторов, а растущее обнищание крестьянства — как мелких землевладельцев, так и арендаторов — приводило его в ряды национального движения. Оно привлекало к себе также сельскохозяйственный пролетариат, то есть большое число безземельных батраков в сельских районах, и для всех этих сельских классов «национализм», или «сварадж», означал коренные изменения в системе землевладения, которые должны были уничтожить или уменьшить их тяготы и дать землю безземельным. Эти стремления не находили ясного выражения ни в среде крестьянства, ни у лидеров национального движения, принадлежавших к средним классам.

Движение гражданского неповиновения 1930 года совпало с большим мировым кризисом в промышленности и сельском хозяйстве. Вначале это явление прошло мимо сознания лидеров движения. Кризис сильно затронул массы сельского населения, и они повернули в сторону Конгресса и приняли участие в движении гражданского неповиновения. Для них речь шла не о хорошей конституции, выработанной в Лондоне или где-либо еще, а о коренных изменениях в системе землевладения, особенно в районах, где преобладала система заминдари. Собственно говоря, система заминдари отжила свой век и утратила всякую устойчивость. Но английское правительство не могло в его положении решиться пойти на риск радикального изменения этой системы землевладения. Даже когда оно назначило Королевскую сельскохозяйственную комиссию, ее полномочия не давали ей возможности обсуждать вопрос о собственности на землю или о земельно-налоговой системе.

Таким образом, конфликт крылся в самой природе вещей в Индии того времени, и его нельзя было устранить никакими заклинаниями или компромиссами. Только решение основного вопроса — о земле (не говоря уже о других жизненно важных национальных вопросах) — могло бы ликвидировать этот конфликт. И не представлялось никакой возможности решить его теми средствами, к которым прибегало английское правительство. Временные меры могли ненадолго облегчить положение, суровые репрессии могли запугать народ и помешать открытому выражению недовольства; но ни то, ни другое не способствовало решению проблемы.

Английское правительство — подобно, мне думается, большинству правительств — считает, что в беспорядках в Индии повинны в значительной мере «агитаторы». Это поразительно нелепая идея. В течение последних пятнадцати лет Индия имела

великого вождя, который снискал любовь и обожание миллионов индийцев и, казалось, во многих случаях диктовал ей свою волю. Он играл виднейшую роль в истории ее последних лет, и все же важнее, чем он, был сам народ, который, казалось, слепо подчинялся его велениям. Народ был главным действующим лицом, а за его спиной стояли, подталкивая его, великие исторические силы, которые подготавливали его к восприятию призывов своего вождя. Если бы не эта историческая обстановка и политические и социальные силы, никакие вожди или агитаторы не могли бы заставить народ действовать. Главным достоинством Гандиджи как вождя было то, что он инстинктивно ощущал пульс народа и знал, когда созревали условия для развития движения и действий.

В 1930 году национальное движение в Индии совпало на некоторое время с развитием растущих социальных сил страны и благодаря этому обрело большую силу и известное ощущение реальности, словно оно двигалось в ногу с историей. Конгресс представлял национальное движение, а потому эта сила и мощь привели к росту престижа Конгресса. Это было нечто расплывчатое, не поддающееся учету или определению, но, тем не менее, весьма реальное. Крестьянство, разумеется, начало поддерживать Конгресс и придало ему его подлинную силу; низшие слои среднего класса образовали костяк его боевых рядов. Даже крупная буржуазия, встревоженная этим новым величием, сочла для себя выгодным быть в дружбе с Конгрессом. Подавляющее большинство текстильных фабрикантов в Индии подписало предложенные Конгрессом обязательства и боялось чем-либо навлечь на себя недовольство Конгресса. В то время как в Лондоне, на первой Конференции круглого стола, шли споры по поводу различных юридических тонкостей, подлинная власть, казалось, медленно и незаметно переходила к Конгрессу, представлявшему народ. Эта иллюзия росла даже после заключения Делийского пакта, и происходило это не из-за хвастливых речей, а в силу событий 1930 года и последующих лет.

В сущности никто лучше лидеров Конгресса не отдавал себе отчета в трудностях и опасностях, с которыми предстояло встретиться в будущем; они всячески старались не преуменьшать их.

Вполне понятно, что это неясное ощущение двоевластия, нараставшее в стране, сильно раздражало правительство. Чувство это не имело под собой реальной фактической основы, поскольку физическая сила была всецело на стороне властей, но в том, что оно существовало психологически, не могло быть никакого сомнения. Это было совершенно немыслимое положение для деспотического несменяемого правительства, и ему на нервы действовала именно эта неуловимая атмосфера, а не какие-то речи деревенских ораторов и не шествия, на которые оно впоследствии жаловалось. Поэтому столкновение было, по-

видимому, неизбежным. Конгресс вряд ли мог добровольно пойти на самоубийство, а правительство не могло выносить эту атмосферу двойственности и намеревалось раздавить Конгресс. Вторая Конференция круглого стола отсрочила это столкновение. По каким-то соображениям английское правительство стремилось любой ценой добиться приезда Гандиджи в Лондон и поэтому по мере сил старалось ничего не предпринимать, что могло бы этому помешать.

Однако по всему чувствовалось приближение конфликта, и мы видели, что правительство постепенно начинает занимать более непреклонную позицию. Вскоре после заключения Делийского пакта вице-король лорд Ирвин покинул Индию, и на его место прибыл лорд Уиллингдон. Ходили слухи, что новый вице-король — человек строгого и сурового нрава и не столь склонен к компромиссу, как его предшественник. Многие наши политики унаследовали «либеральную» привычку подходить к политике с точки зрения личности, а не принципов. Они не понимают, что широкая имперская политика английского правительства не зависит от личных взглядов вице-королей. Поэтому смена вице-королей не изменила, да и не могла ничего изменить, а в действительности политика правительства постепенно менялась в соответствии с изменявшейся обстановкой. Чиновники гражданской службы не одобряли пактов и соглашений с Конгрессом; это объяснялось их воспитанием и деспотическими понятиями об управлении. Они вбили себе в голову, что, обращаясь с Гандиджи почти как с равным, они якобы увеличивают тем самым влияние Конгресса и престиж самого Гандиджи и что настало время заставить его сбавить тон. Идея эта была очень глупая, но ведь Индийская гражданская служба и не славится оригинальностью своих взглядов. Неважно, по какой причине, но правительство заняло более непримиримую позицию, стало проявлять большую твердость и, казалось, говорило нам словами древнего пророка: «Мой мизинец толще чресел отца моего. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами».

Но время для наказания еще не настало. Конгресс должен был быть представлен, если возможно, на второй Конференции круглого стола. Гандиджи дважды ездил в Симлу и вел продолжительные переговоры с вице-королем и другими должностными лицами. Они обсудили много спорных пунктов, в частности вопросы о движении «краснорубашечников» в Пограничной провинции и о положении крестьян в Соединенных провинциях — две проблемы, которые, если не считать Бенгалии, повидимому, больше всего беспокоили правительство. Гандиджи прислал за мной из Симлы, и я также имел возможность встретиться с некоторыми из должностных лиц английского правительства в Индии. Мои переговоры ограничивались вопросом о Соединенных провинциях. Это были откровенные переговоры,

и на них обсуждались подлинные конфликты, лежавшие в основе всех этих мелких обвинений и контробвинений. Помните, мне сказали, что в феврале 1931 года правительство было в состоянии полностью подавить движение гражданского неповиновения самое большое за три месяца. Оно усовершенствовало свой аппарат подавления, и ему нужно было лишь дать толчок, нажать кнопку. Однако оно предпочитало, если возможно, урегулирование, достигнутое посредством соглашения, урегулированию, навязанному силой. Поэтому оно решило пойти в виде эксперимента на взаимные переговоры, которые и привели к Делийскому пакту. Если бы соглашение не было достигнуто, кнопка всегда была под рукой и ее можно было нажать в любой момент. И, повидимому, был сделан намек, что, если мы не будем вести себя как следует, кнопку, возможно, придется нажать в недалеком будущем. Все это было сказано очень вежливо и очень откровенно, и при этом как мы, так и они знали, что конфликт неизбежен совершенно независимо от нас, от наших слов и действий.

Другой высокопоставленный чиновник сделал комплимент Конгрессу. В тот момент мы обсуждали более широкие проблемы не политического характера, и он сказал, что если не касаться политики, то Конгресс оказал Индии большую услугу. Индийцев обычно упрекают в том, что они плохие организаторы, но в течение 1930 года Конгресс, несмотря на огромные трудности и помехи, проделал замечательную организационную работу.

Во время первого визита Гандиджи в Симлу вопрос о его поездке на Конференцию круглого стола не был решен окончательно. Второй визит состоялся в последнюю неделю августа. Необходимо было принять окончательное решение, но ему все еще трудно было решиться покинуть Индию. Он предвидел осложнения в Бенгалии, в Пограничной провинции и в Соединенных провинциях и не хотел уезжать, если у него не будет какой-то уверенности в том, что в Индии сохранится мир. Наконец с правительством было достигнуто какое-то соглашение, нашедшее свое выражение в заявлении и нескольких письмах, которыми мы обменялись. Это было сделано в самый последний момент, чтобы Гандиджи мог успеть на пароход, на котором ехали делегаты на Конференцию круглого стола. Собственно говоря, в известном смысле последний момент был упущен, так как последний поезд уже ушел. Из Симлы в Калку был отправлен специальный поезд, а отправление других поездов было задержано, чтобы обеспечить беспрепятственное следование поезда.

Я провожал его из Симлы в Бомбей, и там в одно ясное утро в конце августа я простился с ним и смотрел, как пароход увозит его в Аравийское море и дальше на запад. Мы расстались на два года.

КОНФЕРЕНЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

В недавно вышедшей книге английский журналист, который уверяет, будто он часто виделся с Ганди как в Индии, так и на Конференции круглого стола в Лондоне, пишет следующее:

«Лидеры, находившиеся на борту «Мултана», знали, что в Рабочем комитете Конгресса существовал заговор против Ганди. Они знали, что, когда наступит время, Конгресс может изгнать его. Но, изгнав Ганди, Конгресс, по всей вероятности, изгнал бы половину своих членов; и именно эту половину сэр Тедж Бахадур Сапру и Джаякар хотели привлечь на сторону либералов. Они никогда не скрывали, что Ганди был, по их собственным словам, «бестолковым». Имело смысл привлечь на свою сторону «бестолкового» лидера, если он мог привести с собой миллион «бестолковых последователей»¹.

¹ Glorney Bolton, *The Tragedy of Gandhi*. Я взял эту выдержку из рецензии на книгу, так как прочесть самую книгу у меня не было возможности. Я надеюсь, что тем самым я не совершаю несправедливости по отношению к автору или к лицам, упомянутым в цитате... Уже после того, как приведенные выше строки были написаны, я прочел эту книгу. Ряд заявлений Г. Болтона и сделанных им выводов, на мой взгляд, совершенно необоснованны. Там имеется также много фактических ошибок, особенно в связи с вопросом о том, что делал и чего не делал Рабочий комитет во время переговоров о Делийском пакте и после них. В книге содержится также странное утверждение, будто Валлабххай Патель стал в 1931 году председателем и тем самым лидером Конгресса, соперничая с Ганди. В действительности же в течение последних пятнадцати лет Ганди был гораздо более крупной фигурой в Конгрессе (и, разумеется, в стране), чем любой из председателей Конгресса. Он являлся как бы создателем председателей, и его советам неизменно следовали. Он неоднократно отказывался занять пост председателя и предпочитал, чтобы этот пост занимали некоторые из его коллег и помощников. Я стал председателем Конгресса исключительно благодаря ему. Фактически избрали его, но он отказался и добился моего избрания. Избрание Валлабххай Пателя не было обычным. Мы только что вышли из тюрьмы, и комитеты Конгресса все еще были на нелегальном положении и не могли функционировать нормально. Поэтому Рабочий комитет взял на себя избрание председателя съезда Конгресса в Карачи. Весь комитет, включая Валлабххай Пателя, просил Ганди принять председательский пост и таким образом стать в предстоящем кригическом году не только фактическим, но и официальным руководителем Конгресса. Он не согласился и настоял на том, чтобы этот пост принял Валлабххай Патель. Помнится, ему указали тогда, что он

Я не знаю, насколько эта цитата отражает взгляды сэра Тедж Бахадура Сапру, Джаякара или кого-либо из других участников Конференции круглого стола, ехавших в Лондон в 1931 году. Но мне кажется удивительным, что подобное заявление мог сделать человек — будь то журналист или лидер, — сколько-нибудь знакомый с индийской политической жизнью. Я с удивлением прочел его; ранее я не слыхал ни о чем подобном, что, впрочем, легко объяснимо, так как с тех пор я проводил большую часть времени в тюрьме. Кто были эти заговорщики и чего они добивались? Иногда говорили, что председатель Валлабхбхай Патель и я принадлежим к экстремистам в Рабочем комитете, и поэтому я полагаю, что нас следует отнести к числу главарей заговора. Пожалуй, во всей Индии у Гандиджи не было более верного сподвижника, чем Валлабхбхай, человек сильный и непреклонный в своих действиях и в то же время преданный ему лично и его идеалам и политике. Я не могу утверждать, что в той же мере разделял эти идеалы, но я имел честь работать в тесном сотрудничестве с Гандиджи, и мысль о том, чтобы как-то интриговать против него, кажется мне чудовищной. Это собственно относится ко

хочет всегда оставаться в роли Муссолини, а других делает временными королями и номинальными руководителями.

Я не имею здесь возможности остановиться на других искажениях, допущенных Болтоном. Однако я хотел бы затронуть один вопрос несколько личного свойства. Болтон, видимо, убежден, что поворотным пунктом в политической карьере моего отца послужило то обстоятельство, что он не прошел в члены одного европейского клуба и что это не только привело его к радикализму, но и побудило избегать английское общество. Эта история, хотя и часто повторяемая, совершенно беспочвенна. Действительные факты не имеют большого значения, но я привожу их здесь, чтобы разъяснить эту тайну. В ранние годы своей адвокатской практики отец стал любимцем сэра Джона Эджа, который был тогда председателем Аллахабадского верховного суда. Сэр Джон предложил ему вступить в Аллахабадский (европейский) клуб и хотел сам представить его кандидатуру. Отец поблагодарил его за любезное предложение, но указал, что это неизбежно вызовет осложнения, так как многие англичане стали бы возражать против него как индийца и могли бы голосовать против. Любой младший офицер мог бы забаллотировать его, и при этих обстоятельствах он предпочел бы не выставлять свою кандидатуру. Сэр Джон предложил даже добиться того, чтобы кандидатуру моего отца поддержал бригадный генерал, командовавший Аллахабадским округом. Однако, в конечном счете, вопрос этот был оставлен, и кандидатура моего отца не была предложена, так как он дал понять, что не хочет подвергаться риску возможного оскорбления. Этот инцидент отнюдь не ожесточил его против англичан, а, напротив, сблизил с сэром Джоном Эджем, и большинство его дружеских отношений и связей с англичанами сложилось в последующие годы. Это произошло в девяностых годах, и лишь почти четверть века спустя он стал радикальным политическим деятелем и сторонником несотрудничества. Эта перемена не была внезапной, но военное положение, введенное в Пенджабе, ускорило этот процесс, а влияние Ганди в соответствующий момент завершило его. Но даже тогда у отца не было сознательного намерения порвать связи с англичанами в обществе. Но там, где англичане являются главным образом должностными лицами, несотрудничество и движение гражданского неповиновения неизбежно препятствуют таким связям.

всему Рабочему комитету. Этот комитет был фактически его детищем; он назначал его после консультации с несколькими коллегами, и само избрание было формальностью. Костяк комитета составляли люди, которые много лет работали в нем и уже рассматривались почти как постоянные члены. Между ними имелись политические разногласия, различия во взглядах и темпераменте; но долголетняя совместная работа, общая ответственность и общие опасности спаяли их. Между ними возникла дружба, товарищество и взаимное уважение. Они составляли не коалицию, а органическое единство, и никому бы из них не пришло в голову интриговать друг против друга. Гандиджи главенствовал в комитете, и каждый ждал от него указаний. Так было в течение многих лет; это стало еще более заметно в 1931 году, после большого успеха, достигнутого в нашей борьбе в 1930 году.

Да и какую цель могли преследовать «экстремисты» в Рабочем комитете, пытаясь «изгнать» Гандиджи? Может быть, имелось в виду, что он считался личностью, чересчур склонной к компромиссам, и был поэтому обузой. Но что было бы без него с борьбой, что было бы с движением гражданского неповиновения и сатьяграхой? Он был частью живого движения; собственно, он и был само движение. Все, что относилось к борьбе, зависело от него. Конечно, национальная борьба не была его творением и вообще не зависела ни от кого в отдельности; корни ее уходили глубже. Но данная конкретная фаза борьбы, символом которой было движение гражданского неповиновения, удивительным образом была связана с ним. Расстаться с ним значило свернуть это движение и строить заново на иной основе. Такая задача была бы достаточно трудной в любое время, а в 1931 году никому и в голову не пришла бы эта мысль.

Забавно подумать о том, что, по мнению некоторых, кое-кто из нас замышлял в 1931 году вытеснить Гандиджи из Конгресса. Зачем нам нужно было вступать в заговор, если для него было бы достаточно малейшего намека? Стоило ему заикнуться об уходе, чтобы привести в смятение как Рабочий комитет, так и всю страну. Он был настолько неразрывно связан с нашей борьбой, что одна мысль о том, что он может покинуть нас, была невыносимой. Мы колебались посылать его в Лондон, так как в его отсутствие бремя забот в Индии легло бы на нас, а нас вовсе не прельщала такая перспектива. Мы ведь так привыкли перекладывать это бремя на его плечи. Многие из нас в Рабочем комитете или вне его были настолько тесно связаны с Гандиджи, что даже предпочитали потерпеть неудачу вместе с ним, нежели добиться какого-то временного успеха без него.

«Бестолков» Гандиджи или нет — об этом мы можем предоставить судить нашим друзьям — либералам. Несомненно, что проводимая им политика является иногда метафизичной и трудна для понимания. Но он показал себя человеком дей-

ствия, человеком замечательного мужества, умеющим выполнять свои обязательства; если «бестолковость» дает такие практические результаты, то, быть может, ее не без успеха можно сравнить с «практической политикой», которая начинается и кончается в кабинете и в избранных кругах. Конечно, миллионы его последователей были «бестолковыми». Они ничего не знали о политике и конституциях; они могли думать лишь о своих материальных нуждах, о пище и крове, одежде и земле.

Мне всегда казалось весьма примечательным, что видные иностранные журналисты, привыкшие делать наблюдения над человеческой природой, в Индии попадают впросак. Объясняется ли это сложившимся у них еще в детстве представлением, будто Восток — это нечто совсем особое, к чему нельзя подходить с обычной меркой? Или же, если говорить об англичанах, не мишурный ли блеск империи ослепляет их и искажает их представления? Они готовы поверить без малейшего удивления самым невероятным вещам, ибо считается, что на таинственном Востоке может случиться все что угодно. Они публикуют книги, содержащие иногда интересные обзоры и меткие наблюдения, и тут же встречаются удивительные промахи.

Я вспоминаю, что накануне отъезда Гандиджи в Европу в 1931 году мне довелось прочесть статью известного в то время парижского корреспондента одной лондонской газеты. Это была статья об Индии, и в ней он упоминал об одном инциденте, который, по его словам, имел место в 1921 году, в дни движения несотрудничества, когда Индию посетил принц Уэльский. В статье говорилось, что где-то (вероятно, это было в Дели) Махатма Ганди неожиданно драматически предстал перед принцем, упал перед ним на колени, охватил его ноги и, горько рыдая, умолял принца даровать мир этой несчастной стране. Никто из нас, даже Гандиджи, не слышал об этой примечательной истории, и я написал журналисту, указав ему на это. Он выразил сожаление, но добавил, что получил это сообщение из надежного источника. Меня поразило, что он принял за чистую монету в высшей степени невероятную историю, даже не попытавшись ее проверить. Ни один человек, который что-нибудь знал о Ганди, Конгрессе и Индии, никогда бы ей не поверил. К несчастью, в Индии много англичан, которые, несмотря на свое длительное пребывание в стране, ничего не знают о ней, Конгрессе или Гандиджи. Эта история была совершенно неправдоподобна и смехотворна, и с таким же успехом можно было утверждать, что архиепископ Кентерберийский ворвался внезапно к Муссолини, стал на голову и помахал в знак приветствия ногами.

Примером историй другого типа может служить одно сообщение, опубликованное недавно в газетах. В нем говорилось, что Гандиджи тайно припрятал у своих друзей колоссальные суммы, достигающие миллионов фунтов стерлингов, и что Копп

гресс охотится за этими деньгами. Конгресс опасается, что, если Гандиджи выйдет из его рядов, эти деньги могут исчезнуть. Эта история явно абсурдна, ибо Гандиджи никогда не хранит какие-либо средства лично и тайно, и все, что он собирает, он передает какой-нибудь общественной организации. Он обладает свойственной индусскому *бани* врожденной аккуратностью в счетах, и о всех собранных суммах он публично отчитывается.

Этот слух основан, вероятно, на истории о знаменитых десяти миллионах рупий, собранных Конгрессом в 1921 году. Эта сумма, которая кажется большой, но в действительности не так уж велика, если распределить ее на всю Индию, была использована на национальные университеты и школы, на развитие кустарных промыслов и особенно на кхаддар — работу по облегчению участи неприкасаемых — и на некоторую другую полезную деятельность. Значительная часть была отложена в виде специальных фондов, которые все еще существуют и используются на особые цели. Остаток собранных сумм был возвращен местным комитетам и истрачен на организационную и политическую работу Конгресса. Из этих сумм финансировалось движение несотрудничества, а также работа Конгресса в последующие несколько лет. Гандиджи, а также нищета нашей страны научили нас обходиться в своей политической деятельности крайне ограниченными средствами. Большая часть нашей работы является добровольной, а в тех случаях, когда выплачивается жалованье, оно позволяет вести лишь полуголодное существование. Лучшие наши работники, окончившие университет и имеющие на своем иждивении семью, получают меньше, чем безработный в Англии, живущий на пособие по безработице. Я сомневаюсь, чтобы какое-либо широкое политическое или рабочее движение обходилось столь малыми средствами, как конгрессистское движение за последние пятнадцать лет. При этом вся отчетность Конгресса публиковалась из года в год, и никаких секретных фондов не было, за исключением периодов движения гражданского неповиновения, когда Конгресс приходился на нелегальном положении.

Гандиджи поехал в Лондон в качестве единственного представителя Конгресса на Конференции круглого стола. После долгих споров мы решили не посылать других представителей. Отчасти это вызывалось нашим желанием иметь своих лучших людей в Индии в самый критический момент, когда создававшаяся обстановка требовала осторожного и тактичного подхода. Мы считали, что, несмотря на Конференцию круглого стола в Лондоне, центр тяжести находился в Индии и события в ней неизбежно вызвали бы отклик в Лондоне. Мы хотели предупредить неблагоприятный поворот событий и держать свою организацию в состоянии готовности. Однако не это было истинной причиной, заставившей нас послать только одного пред-

ставителя. Мы, несомненно, послали бы и других, если бы только нашли это необходимым и целесообразным. Но мы воздержались от этого намеренно.

Мы собирались принять участие в Конференции круглого стола не для того, чтобы вести нескончаемые разговоры о мелких деталях конституции. На том этапе нас не интересовали эти детали, и их можно было рассматривать лишь после достижения с английским правительством какого-нибудь соглашения по основным вопросам. Подлинная проблема заключалась в том, в какой мере власть будет передана в руки демократической Индии. После этого любой стряпчий мог бы сформулировать и урегулировать детали. Позиция Конгресса по этим основным вопросам была достаточно ясной, и почти не было необходимости спорить о ней. Нам казалось, что наше достоинство требовало послать только одного представителя, и им должен был быть наш вождь. Ему следовало поехать в Лондон и разъяснить нашу позицию, чтобы показать ее разумность и неизбежность, и попытаться, если он сможет, убедить в ее справедливости английское правительство. Мы знали, что это было очень трудно сделать, даже едва ли возможно при тогдашнем положении дел, но у нас не было выбора. Мы не могли поступиться этой позицией и нашими принципами и идеалами, которые мы провозгласили и в которые твердо верили. Если бы сверх всякого ожидания была найдена основа для соглашения по этим главным вопросам, остального было бы нетрудно добиться. Мы договорились, что, если такое соглашение будет достигнуто, Гандиджи немедленно вызовет в Лондон некоторых или даже всех членов Рабочего комитета, с тем чтобы мы могли принять участие на дальнейших стадиях переговоров. Мы должны были быть готовыми к этому вызову и даже в случае необходимости вылететь самолетом. Таким образом, мы могли бы присоединиться к нему через десять дней после вызова.

Но, если бы не удалось достигнуть первоначального соглашения по принципиальным вопросам, отпадал бы и вопрос о дальнейших, более детальных переговорах, и в таком случае другим представителям Конгресса незачем было бы ехать на Конференцию круглого стола. Поэтому мы решили послать одного Гандиджи. На конференции присутствовала еще одна член Рабочего комитета — Сароджини Найду, но не в качестве представительницы Конгресса. Она была приглашена как представительница индийских женщин, и Рабочий комитет разрешил ей туда поехать.

Однако английское правительство не намеревалось считаться с нашими желаниями в этом вопросе. Оно старалось отложить рассмотрение основных проблем и заставить конференцию затратить как можно больше внимания и сил на обсуждение мелких и второстепенных вопросов. Даже когда рассматривались серьезные вопросы, правительство не раскрывало

своих карт, отказывалось связать себя обязательствами и обещало высказать свое мнение позже, после зрелого размышления. Главным козырем правительства был, безусловно, вопрос о религиозных общинах, и оно использовало его в полной мере. Этот вопрос стоял в центре внимания конференции.

Почти все индийские участники конференции — большинство сознательно, а кое-кто и бессознательно — попались на эту удочку официальных кругов. Это было пестрое собрание. Большинство делегатов представляло лишь самих себя. Одни были способными и уважаемыми людьми; о многих других этого нельзя было сказать. В целом они представляли в политическом и социальном отношении самые реакционные круги в Индии. Они были настолько отсталы и реакционны, что индийские либералы, такие умеренные и осторожные в Индии, казались в их обществе прогрессивными. Они представляли привилегированные группы Индии, которые были связаны с английским империализмом и уповали на его покровительство и защиту. Наиболее внушительно были представлены различные религиозно-общинные группы — «меньшинства» и «большинства». Среди них было много непримиримых представителей высшего класса, которые, как было известно, никак не могли договориться между собой. В политическом отношении они являлись реакционерами до мозга костей, и их, казалось, интересовала лишь возможность добиться преимуществ для религиозных общин, хотя бы это и влекло за собой политические уступки. И действительно, они провозгласили, что не согласятся на сколько-нибудь широкую политическую свободу, если сначала не будут удовлетворены их религиозно-общинные требования. Это было необычайное зрелище, и оно с мучительной ясностью показало, как низко может пасть угнетенный народ и как его можно сделать пешкой в империалистической игре. Правда, нельзя сказать, чтобы вся эта толпа высочеств, лордов, сэров и прочих высокопоставленных особ представляла индийский народ. Участники Конференции круглого стола были назначены английским правительством, и, со своей точки зрения, оно сделало хороший выбор. И, тем не менее, один тот факт, что английские власти могли использовать и эксплуатировать нас подобным образом, показывал слабость нашего народа и ту странную легкость, с какой его можно было ввести в заблуждение и заставить вставлять друг другу палки в колеса. Наши высшие классы все еще держались идеологии наших империалистических правителей и участвовали в их игре. Объяснялось ли это тем, что они до сих пор не раскусили ее? Или же, зная ей цену, они сознательно поддерживали ее, испытывая страх перед демократией и свободой в Индии?

Вполне естественно, что в этом сборище представителей привилегированных кругов — империалистических, феодальных, финансовых, промышленных, религиозных, общинных — руко-

водство делегацией Британской Индии обычно выпадало на долю Ага Хана, который в известной степени воплощал в своем лице все эти интересы. Тесно связанный на протяжении жизни целого поколения с английским империализмом и английским правящим классом, живя главным образом в Англии, он вполне мог оценить и представлять интересы и точку зрения наших правителей. На этой Конференции круглого стола он мог бы быть неплохим представителем империалистической Англии. Вся ирония заключалась в том, что считалось, будто он представляет Индию.

Чаша весов на этой конференции склонялась явно не в нашу сторону, и, как ни мало мы ожидали, мы с изумлением и растущим отвращением наблюдали за тем, как проходила работа этой конференции. Мы видели жалкие и до смешного робкие попытки лишь поверхностно затронуть национальные и экономические проблемы, стоворы, интриги и маневры; видели, как некоторые из наших соотечественников действуют заодно с реакционнейшими элементами английской консервативной партии; наблюдали нескончаемые разговоры по маловажным вопросам, умышленное старание обойти все существенное, постоянное стремление играть на руку интересам крупных привилегированных групп и особенно английского империализма, препирательства попеременно с банкетами и взаимным славословием. Все это были интриги ради получения теплых местечек — больших мест, малых мест, должностей и мест для индусов, для мусульман, для сикхов, для англо-индийцев, для европейцев, — но во всех случаях для высших классов, массам тут места не было. Оппортунизм проявлялся во всей своей красе, и различные группы напоминали стаи голодных волков, которые рыскали вокруг в ожидании добычи — добычи, которую им должна была дать новая конституция. Даже само понятие свободы приняло форму широкого дележа мест — так называемой «индианизации», то есть предоставления большего количества мест для индийцев в армии, на гражданской службе и т. д. Никто не думал о независимости, об истинной свободе, о передаче власти в руки демократической Индии, о решении каких-либо жизненно важных и насущных экономических проблем, стоявших перед индийским народом. Разве для этого Индия вела столь мужественную борьбу? Неужели нам суждено было дышать отныне этим спертым воздухом и отказаться от высоких идеалов и самопожертвования?

В этом позолоченном, переполненном зале одиноко сидел Гандиджи. Он выделялся среди всех своей скромной одеждой, или, вернее, отсутствием ее, но еще большая разница существовала между его образом мыслей и воззрениями и образом мыслей всех этих разряженных особ, окружавших его. Он был на этой конференции в исключительно трудном положении, и мы, находясь вдалеке, поражались, как он мог переносить все

это. Но он продолжал свое дело с удивительным терпением и предпринимал одну за другой попытки найти какую-нибудь основу для соглашения. Он сделал один характерный шаг, внезапно показавший, что за религиозно-общинными интересами в действительности скрывается политическая реакция. Ему не нравились многие религиозно-общинные требования, выдвинутые на конференции от имени мусульманских делегатов; он считал — и такого же мнения придерживались его сподвижники — мусульманские националисты, — что некоторые из этих требований являются препятствием на пути достижения свободы и демократии. Все же он предложил принять их в целом, безоговорочно, если только мусульманские делегаты поддержат его и Конгресс в политическом вопросе, то есть в вопросе о независимости.

Он сделал это предложение лично от себя, так как, находясь в Лондоне, он не мог получить согласия Конгресса. Но он обещал убедить Конгресс согласиться на это, и всякий знавший, какое положение он занимал в Конгрессе, мог не сомневаться в том, что ему удалось бы добиться одобрения Конгресса. Однако предложение это не было принято, да и в самом деле было довольно трудно представить себе Ага Хана выступающим за независимость Индии. Это ясно показало, что корень зла был не в общинах, хотя проблема общин занимала на Конференции большое место. В действительности за проблемой религиозных общин скрывалась политическая реакция, которая препятствовала всякому прогрессу. Английское правительство собрало эти реакционные элементы путем тщательного отбора делегатов на конференцию, а направляя ее работу, оно сделало проблему религиозных общин главной проблемой. Причем эта проблема была поставлена так, что исключала всякую возможность соглашения между собравшимися там непримиримыми элементами.

Старания английского правительства увенчались успехом, и тем самым оно продемонстрировало, что все еще обладает не только физической силой, чтобы поддерживать свою империю, но также и хитростью и опытностью в государственных делах, что позволяло ему проводить еще некоторое время имперскую политику. Индийский народ потерпел неудачу, хотя Конференция круглого стола не представляла его и не была показателем его силы. Он потерпел неудачу, потому что его стремления не имели идеологической основы и его легко было ввести в заблуждение и обмануть. Он потерпел неудачу, потому что не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы отбросить привилегированные группы, которые тормозили его развитие. Он потерпел неудачу из-за чрезмерной религиозности и той легкости, с какой можно было разжечь религиозно-общинные страсти. Одним словом, он потерпел неудачу, потому что был недостаточно развит и недостаточно силен, чтобы добиться успеха.

К результатам самой Конференции круглого стола нельзя было подходить с точки зрения успеха или неуспеха. От нее мало чего ожидали, и все же она сыграла известную роль. Предыдущая конференция, первая конференция такого рода, привлекла очень мало внимания в Индии и других странах, ибо все внимание было поглощено движением гражданского неповиновения. Делегатов на конференцию 1930 года, назначенных английским правительством, часто провожали черными флагами и нелестными напутствиями. Но в 1931 году положение было совершенно иным, и оно было иным потому, что на конференцию поехал Гандиджи в качестве представителя Конгресса и лидера, за которым шли миллионы. Это увеличило престиж конференции, и Индия с гораздо большим интересом следила за ее работой; и всякая неудача, независимо от ее причины, способствовала дискредитации Индии. Тогда-то мы поняли, почему английское правительство придавало столь большое значение участию в ней Гандиджи.

Сама конференция со всеми ее интригами, оппортунизмом и бесплодными метаниями не была неудачей для Индии. Провал конференции был предрешен ее составом, и индийский народ вряд ли можно считать ответственным за это. Но ей удалось отвлечь внимание мира от действительных проблем Индии, а в самой Индии она породила разочарование, уныние и чувство унижения. Она дала реакционным силам удобный предлог для того, чтобы вновь поднять голову.

Успех или неудачу должно было принести народу нашей страны развитие событий в самой Индии. Мощное националистическое движение не могло исчезнуть из-за маневров в далеком Лондоне. Национализм являлся реальной и насущной потребностью средних классов и крестьянства, и они старались разрешить с его помощью свои проблемы. Таким образом движение могло либо добиться успеха, выполнить свою функцию и уступить место какому-нибудь другому движению, которое повело бы народ дальше по пути к прогрессу и свободе, либо же оно могло быть на время подавлено силой. Вскоре эта борьба вспыхнула в Индии и привела к временному поражению. Вторая Конференция круглого стола не могла оказать большого влияния на эту борьбу, но она создала несколько неблагоприятную для нее атмосферу.

АГРАРНЫЕ БЕСПОРЯДКИ В СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЯХ

В качестве одного из генеральных секретарей Конгресса и члена Рабочего комитета мне приходилось заниматься вопросами общендийской политики, и иногда я совершал поездки по стране, хотя и избегал этого по мере возможности. С ростом наших забот и обязанностей заседания Рабочего комитета все удлинялись, пока не превратились в регулярные двухнедельные сессии. Теперь уже нужно было не только принимать критические резолюции, но и контролировать широкую, разнообразную практическую деятельность большой и многогранной организации и решать день за днем трудные проблемы, от подхода к которым зависело спокойствие целой страны.

Однако основной сферой моей деятельности являлись Соединенные провинции, где в центре внимания Конгресса стоял аграрный вопрос. В состав провинциального комитета Конгресса в Соединенных провинциях входило более 150 человек, и он собирался раз в два-три месяца. Его исполнительный совет, состоявший примерно из пятнадцати членов, собирался часто и руководил отделом, ведавшим аграрным вопросом.

Во второй половине 1931 года этот совет учредил специальный комитет по аграрным вопросам. Интересно, что с этим советом и комитетом все время поддерживали активную связь несколько заминдаров и что все шаги предпринимались с их одобрения. Так, в том году председателем нашего провинциального комитета (а стало быть, *ex officio* главой исполнительного совета и аграрного комитета) был Тасаддук Ахмад-хан Шервани, который принадлежит к известной заминдарской семье. Заминдарами или членами семей заминдаров были также генеральный секретарь Шри Пракаса и несколько видных работников совета. Остальные члены совета принадлежали к интеллигенции и были выходцами из средних классов. В нашем провинциальном исполнительном совете не было ни одного представителя арендаторов или бедных крестьян. Крестьяне входили иной раз в наши окружные комитеты, но они редко проходили на различных выборах, которые приводили в конечном счете к образованию исполнительного совета провинции — органа, где преобладала буржуазная интеллигенция, но имелось немало и

заминдаров. Таким образом, это отнюдь не была крайняя организация в каком бы то ни было смысле слова, и особенно в отношении аграрной проблемы.

Я лично был в этой провинции лишь членом исполнительного совета и его комитета по аграрным вопросам. Я принимал активное участие в наших совещаниях и другой работе, но отнюдь не играл ведущей роли. Да, собственно, и ни о ком нельзя было сказать, что он играет ведущую роль в нашей провинции, так как мы издавна привыкли к сотрудничеству и совместным действиям, поскольку упор всегда делался не на личность, а на организацию. Избранный на данный год председатель был нашим временным главой и представлял нас, но даже он не обладал особой властью.

Я подвизался также в местном масштабе в качестве члена Аллахабадского окружного комитета Конгресса. Этот комитет под руководством его председателя Пурушоттам Даса Тандона сыграл важную роль в аграрном движении. В 1930 году он первый объявил в провинции кампанию неуплаты налогов. Это объяснялось не тем, что Аллахабадский округ был больше других затронут депрессией в сельском хозяйстве; талукдарские районы Ауда находились в гораздо худшем положении. Но Аллахабадский округ отличался лучшей организованностью и более высоким политическим уровнем, так как город Аллахабад являлся центром политической деятельности и окрестные деревни часто посещало много видных работников Конгресса.

Сразу же после заключения в марте 1931 года Делийского пакта мы послали в сельские районы своих работников с извещением, уведомлявшим крестьян о том, что кампания гражданского неповиновения и движение за неуплату налогов прекращаются. С политической точки зрения, ничто больше не мешало им внести арендную плату, и мы посоветовали им уплатить. Но мы добавили, что ввиду сильного падения цен им, по нашему мнению, должно быть предоставлено большое снижение арендной платы, и предложили добиваться ее совместно. Арендная плата часто бывала почти невыносимым бременем даже в нормальное время; падение же цен лишало крестьян всякой возможности внести всю плату полностью или хотя бы большую ее часть. Мы созвали конференцию с участием крестьянских делегатов и ориентировочно предложили общее 50-процентное снижение арендной платы, а в некоторых случаях даже большее.

Мы старались полностью отделить аграрную проблему от общего вопроса о движении гражданского неповиновения. Мы хотели, во всяком случае в 1931 году, рассматривать ее лишь в экономическом плане, в отрыве от политики. Это было трудно, так как обе эти проблемы были тесно связаны между собой и в прошлом неизменно увязывались друг с другом. Кроме того, наша конгрессистская организация носила ясно выраженный

политический характер. В тот момент наша организация старалась действовать как своего рода крестьянский союз (который не находился под контролем ни крестьян, ни даже замидаров!), но мы не могли и не хотели отказываться от организации политического характера, и правительство усматривало во всем, что мы делали, политическую подоплеку. Перед нами вставала также перспектива будущего движения гражданского неповиновения, и не могло быть никакого сомнения в том, что, если бы оно началось, экономика и политика вновь оказались бы тесно связанными друг с другом.

Несмотря на все эти очевидные помехи, мы неизменно, с момента заключения Делийского пакта, старались не смешивать аграрный вопрос с политической борьбой. Истинная причина этого заключалась в том, что Делийский пакт не положил конец этой борьбе, и мы хотели показать это со всей ясностью как правительству, так и народу. Я полагаю, что в ходе делийских переговоров Гандиджи заверил лорда Ирвина в том, что, даже если не поедет на Конференцию круглого стола, он не возобновит кампанию гражданского неповиновения во время работы конференции. Он заявил, что попросит Конгресс предоставить конференции возможность для успешной работы и ожидать ее исхода. Но даже тогда Гандиджи разъяснил, что это заверение не относится к местной экономической борьбе, которая может быть нам навязана. У всех нас было перед глазами то, что происходило в деревнях Соединенных провинций, так как там были предприняты организованные действия; фактически подобным же образом было затронуто крестьянство всей Индии. Во время переговоров в Симле Гандиджи повторил это положение, и о нем было упомянуто в опубликованной переписке¹.

¹ Следующие письма были частью соглашения, достигнутого в Симле 27 августа 1931 года:

«Г-н Ганди г-ну Эмерсону, начальнику департамента внутренних дел Индии

Симла

27 августа 1931 года

Уважаемый г-н Эмерсон,

я должен с благодарностью уведомить Вас о получении Вашего письма от того же числа, содержащего новый проект. Сэр Ковасджи передал мне также предложенные Вами поправки. Мои коллеги и я внимательно рассмотрели исправленный проект, который мы готовы принять со следующими замечаниями:

В параграфе 4 я не могу от имени Конгресса принять позицию, занятую правительством. Ибо мы считаем, что там, где, по мнению Конгресса, не устраняется несправедливость, возникающая в результате проведения в жизнь соглашения, необходимо проводить расследования, поскольку кампания гражданского неповиновения приостановлена на время действия Делийского пакта. Но, если английское правительство в Индии и местные правительства не намерены проводить расследование, мои коллеги и я не возражаем, чтобы был оставлен этот пункт. Конгресс не будет настаивать от своего имени на расследовании «других вопросов, поднятых до этого времени», но если, к несчастью, какая-либо несправедливость будет ощущаться столь остро, что Конгресс сочтет своим первостепенным долгом за

Буквально накануне отплытия в Европу он разъяснил, что совершенно независимо от Конференции круглого стола и политических проблем Конгрессу, возможно, придется защищать права народа, и особенно крестьянства, в экономической борьбе. Он не имел желания вступать в такую борьбу; он хотел избежать ее; но если она станет неизбежной, на нее нужно пойти, ибо мы не можем бросить массы на произвол судьбы. Он считал, что Делийский пакт, распространявшийся на общее и политическое движение гражданского неповиновения, не препятствовал этому.

Я упоминаю об этом потому, что провинциальный комитет Конгресса в Соединенных провинциях и его руководство не раз обвинялись в том, что, возобновив кампанию неуплаты налогов, они нарушили Делийский пакт. Авторы этого обвинения уловили момент и выдвинули его в то время, когда те, против кого оно было направлено и кто мог бы ответить на него, находились в тюрьмах, а все газеты и другие печатные издания подвергались строгой цензуре. Совершенно независимо от того факта, что комитет Соединенных провинций не начинал в 1931 году

отсутствием расследования изыскать какой-нибудь метод, в виде прямых действий, в целях облегчения положения, то Конгресс будет вправе прибегнуть к такого рода средству, невзирая на приостановление кампании гражданского неповиновения.

Мне вряд ли нужно заверять правительство, что Конгресс неизменно будет стараться избегать прямых действий и добиваться облегчения положения посредством переговоров, убеждения и тому подобного. Приведенное здесь изложение позиции Конгресса стало необходимым во избежание возможных недоразумений в будущем или обвинений Конгресса в вероломстве. Я полагаю, что в случае успешного исхода настоящих переговоров коммюнике, данное письмо и Ваш ответ будут опубликованы одновременно.

Искренне Ваш
М. К. Ганди».

«Г-н Эмерсон г-ну Ганди

Симла
27 августа 1931 года

Уважаемый г-н Ганди,

я пишу Вам, чтобы поблагодарить Вас за сегодняшнее письмо, в котором Вы принимаете проект коммюнике с условием, что будут учтены замечания, содержащиеся в Вашем письме. Генерал-губернатор и его совет приняли к сведению, что Конгресс не намерен настаивать на расследовании вопросов, поднятых им до сих пор. Но, заверяя, что Конгресс будет неизменно стараться избегать прямых действий и добиваться облегчения положения посредством переговоров, убеждения и тому подобного, Вы хотите в то же время разъяснить позицию Конгресса в отношении любых будущих действий, которые он, возможно, решит предпринять. Я должен сказать, что генерал-губернатор и его совет разделяют Вашу надежду, что никакие прямые действия применяться не будут. Что касается общей позиции правительства, то я должен отослать Вас к письму его превосходительства вице-короля, датированному 19 августа и адресованному Вам. Я должен сказать, что коммюнике, Ваше сегодняшнее письмо и этот ответ будут опубликованы правительством одновременно.

Искренне Ваш
Х. У. Эмерсон».

никакой кампании неуплаты налогов, я хочу разъяснить го обстоятельство, что даже такая кампания, проводимая в экономических целях и в отрыве от движения гражданского неповиновения, не была бы нарушением Делийского пакта. Была ли она оправданной или нет — по существу вопрос другой; но крестьянство имело такое же право начать ее, как рабочие какого-нибудь завода вправе объявить забастовку из-за каких-нибудь экономических притеснений. От Дели до Симлы мы неизменно придерживались такой позиции, и она была не только понята, но и признана правительством.

Аграрный кризис 1929 и последующих годов явился кульминационной точкой непрерывно ухудшавшегося положения. В течение многих минувших лет наблюдалась тенденция к повышению мировых цен на сельскохозяйственные продукты. Эта тенденция затронула также и индийское сельское хозяйство, вышедшее на мировой рынок. Несоответствие в развитии промышленности и сельского хозяйства во всем мире привело повсеместно к росту цен на продукцию сельского хозяйства. В Индии рост этих цен сопровождался ростом государственного земельного налога и арендной платы, взимаемой помещиком, так что земледельец, непосредственно работающий на земле, вряд ли выгадал от этого роста цен. В целом положение крестьянства, если не считать населения некоторых районов, находившихся в наиболее благоприятных условиях, ухудшилось. В Соединенных провинциях арендная плата росла гораздо быстрее, чем государственный земельный налог, так что соотношение их сравнительного роста в первые тридцать лет нашего века составило почти 5:1 (приводится по памяти). Таким образом, хотя доход правительства с земли существенно возрос, доходы помещика увеличились намного больше, а арендатор влачил, как прежде, полуголодное существование. Даже когда цены падали или происходили какие-нибудь стихийные бедствия — засуха, наводнение, нашествие саранчи, град и т. д., — арендная плата и земельный налог оставались прежними, поскольку небольшое снижение предоставлялось весьма неохотно и лишь на данный сезон. Арендная плата даже в самые лучшие для крестьянина времена была слишком высокой; во всякое же другое время ее невозможно было внести, не прибегая к услугам ростовщика. Сельскохозяйственная задолженность возростала.

Все классы сельского населения (помещики, крестьяне — собственники и арендаторы) стали жертвами ростовщика, который в тех условиях выполнял в примитивной сельской экономике незаменимую функцию. Он выполнял эту функцию к своей собственной выгоде и все больше прибирал к рукам землю и тех, кто был с ней связан. Действовал он почти бесконтрольно. Закон помогал ему, и он ни на йоту не отступался от своих прав и не только требовал, но и драл три шкуры с арендатора. Мало-помалу к нему переходила земля

многих мелких помещиков и крестьян-собственников, и ростовщик сам становился крупным землевладельцем, видным заминдаром, одним из представителей земельной знати. Крестьянин—владелец земли, обрабатывавший до той поры свой собственный участок, стал чуть ли не крепостным банин-заминдара или *сахукара*. Еще хуже было положение арендатора. Он также являлся крепостным сахукара или пополнял собой ряды растущей армии обнищавшего, безземельного пролетариата. Превратившийся таким образом в землевладельца финансист или банкир не был кровно связан с землей или с арендаторами. Обычно это был житель города, где он и занимался своими банковскими операциями, а сбор арендной платы поручал агентам, которые выполняли эту работу с бессердечием и жестокостью автоматов.

Постепенный рост сельскохозяйственной задолженности сам по себе служил показателем нездорового и неустойчивого характера системы землевладения. Огромное большинство населения не обладало никаким запасом физических или материальных сил, никакой сопротивляемостью и жило на грани голода. Оно не могло противостоять каким-либо необычным явлениям неблагоприятного характера. Эпидемии уносили миллионы людей. По данным созданного властями провинциального комитета по вопросам кредита в 1929 и 1930 годах сельскохозяйственная задолженность в Индии (включая Бирму) составляла 860 крор рупий. В эту цифру входили долги помещиков, крестьян — собственников и арендаторов, но главным образом это была задолженность собственно земледельцев. Валютная политика правительства полностью отвечала интересам кредиторов, и это усугубляло тяжелое бремя задолженности. Таким образом, тот факт, что курс рупии был установлен, несмотря на энергичные протесты Индии, на уровне одного шиллинга шести пенсов вместо шестнадцати пенсов, означал увеличение сельскохозяйственной задолженности на 12½ процента, или около 107 крор¹.

Вслед за послевоенным ростом цен началось их постепенное, но неуклонное падение, и положение в деревне ухудши-

¹ Цифра 860 крор рупий, выражавшая сельскохозяйственную задолженность Индии, представляет собой, вероятно, грубое преуменьшение, и, во всяком случае, она должна была значительно возрасти за последние четыре-пять лет. Из общей суммы задолженности на Пенджаб, по данным Пенджабского провинциального комитета по вопросам кредита, приходилось в 1929 году 135 крор. В докладе специального комитета, готовившего законопроект об облегчении задолженности в Пенджабе (представлен в октябре 1934 года), говорится, что «бремя задолженности, лежащей на земледельцах, огромно и исчисляется, по самым скромным подсчетам, в 200 крор рупий». Эта новая цифра почти на 50 процентов превышает данные комитета по вопросам кредита. Если эти темпы прироста применимы и для других провинций, нынешняя цифра сельскохозяйственной задолженности (на 1934 год) по всей Индии должна составлять более 1200 крор рупий (1 крор равен 10 миллионам рупий).

лось. Катастрофа 1929 года и последующих лет явилась кульминационным пунктом.

У себя в Соединенных провинциях мы считали в 1931 году, что арендная плата должна соответствовать уровню цен, то есть что ее следует снизить до цифры, которая существовала в прошлом, когда цены стояли на столь же низком уровне, как и в 1931 году. Это было лет тридцать назад, примерно в 1901 году. Этот критерий имел грубо ориентировочный характер, и его нелегко было применять, поскольку существовало много групп арендаторов — наследственные, временные и субарендаторы, — причём больше всего страдали арендаторы низшей категории. Единственным мерилом, помимо этого, — и, несомненно, наиболее справедливым — было определение платежеспособности арендатора, принимая в расчет его издержки производства и необходимый прожиточный минимум. Однако при таком методе оказывалось, что даже при самых низких расходах на жизнь очень большое число хозяйств в Индии является совершенно нерентабельным, и, как мы показали в 1931 году на ряде примеров в Соединенных провинциях, многие вообще не могли внести никакой арендной платы, не продав своей собственности (если было что продавать) или не заняв денег под высокий процент.

Для начала наш конгрессистский комитет в Соединенных провинциях предложил ориентировочно общее 50-процентное снижение арендной платы для всех постоянных арендаторов и более высокий процент для прочих арендаторов, находившихся в худшем положении. Когда в мае 1931 года Гандиджи приехал в Соединенные провинции и посетил губернатора сэра Малькольма Хейли, между ними возникли некоторые разногласия, и они не смогли договориться. Вскоре после этого Гандиджи обратился с воззваниями к заминдарам и арендаторам Соединенных провинций. В воззвании к арендаторам он призвал их уплатить, сколько они могут, и назвал какую-то цифру, которая была несколько выше той, что мы предлагали ранее. Наш провинциальный комитет принял цифру, предложенную Гандиджи, но это мало чему помогло, так как правительство не приняло ее.

Провинциальное правительство находилось в трудном положении. Налог на землю был его главным источником дохода, и оно не могло пойти на его отмену или на очень большое сокращение, не оказавшись при этом под угрозой банкротства. С другой стороны, оно вполне обоснованно боялось беспорядков в деревне и хотело, насколько возможно, успокоить арендаторов, значительно сократив арендную плату. Но было не так легко добиться одновременно обеих целей. Между государством и земледельцем стоял заминдар — бесполезный и ненужный придаток с экономической точки зрения, — и за его счет можно было бы помочь как государству, так и земледельцу. Но в силу политических причин тогдашнее английское правитель-

ство не могло оттолкнуть от себя один из немногих цеплявшихся за него классов.

Наконец провинциальное правительство объявило о снижении земельного налога для помещиков, арендной платы для арендаторов. Эти снижения были основаны на некоей сложной системе, и вначале в ней было нелегко разобраться. Было, однако, ясно, что они далеко не достаточны. Кроме того, они относились к очередному взносу, и там ничего не говорилось о недоимках или о долгах арендатора. Было ясно, что если арендатор не в состоянии внести арендную плату за текущие полгода, то тем более он не может погасить недоимки за прошлые годы или старые долги. Помещики, как правило, относили все поступления за счет погашения недоимок. Для арендатора подобная практика была опасна, ибо его всегда можно было отдать под суд и лишить земли под предлогом неуплаты им какой-то части долга.

Провинциальный исполнительный совет Конгресса был поставлен в необычайно трудное положение. Мы были убеждены, что с арендаторами поступают весьма несправедливо, и все же мы ничем не могли им помочь. Мы не хотели брать на себя ответственность и советовать арендаторам не платить. Мы повторяли, что они должны заплатить столько, сколько смогут, и вообще сочувствовали им в их несчастьях и старались ободрить их. Мы соглашались с ними, что даже после снижения им было не под силу внести требуемую сумму.

Аппарат принуждения, как законный, так и незаконный, заработал. Начались дела о сгоне с земли, возбуждаемые против тысяч людей, конфискация коров, буйволов, личного имущества, избивание крестьян агентами помещиков. Большое число арендаторов уплатило часть требуемой суммы; по их словам, это было все, что они могли тогда уплатить. Вполне вероятно, что в некоторых случаях они могли бы уплатить больше, но было совершенно ясно, что для огромного большинства это явилось бы тяжелым бременем. Частичная уплата не спасла их. Неумолимая сила закона продолжала беспощадно уничтожать все, что попадалось ей на пути. Было разрешено возбуждать дела о сгоне с земли даже в случае частичного взноса арендной платы; конфискация и продажа скота и личного имущества продолжались. Положение арендаторов не могло быть хуже, даже если бы они совсем ничего не платили. В сущности им было бы даже несколько легче, ибо они сберегли бы хоть эти деньги.

Они толпами приходили к нам, горько жаловались и говорили, что последовали нашему совету и уплатили сколько могли, и вот каковы последствия. В одном только Аллахабадском округе лишилось имущества много тысяч человек, а тысячи других подверглись судебному преследованию. Толпы обезумевших от горя людей целыми днями осаждали здание окружного комитета Конгресса. Мой дом также находился в

осаде, и у меня часто возникало желание убежать и спрятаться где-нибудь, чтобы избежать этого ужасного положения. У многих арендаторов, приходивших к нам, были видны следы побоев, нанесенных, по их словам, агентами заминдаров. Мы помещали их в больницу. Что они могли делать? Что могли предпринять мы? Мы посылали правительству Соединенных провинций иностранные письма. Наш комитет поручил Говинду Баллабх Панту поддерживать связь с провинциальным правительством в Наини Тал или Лакнау. Он регулярно отправлял послания правительству. Председатель нашего провинциального комитета Тасадук А. Х. Шервани также писал время от времени такие письма. Писал и я.

Другая трудность возникла с приближением июньско-июльских муссонов. Это было время пахоты и сева. Следовало ли арендаторам, лишившимся своих участков, сидеть сложа руки, в то время как земля их остается необработанной? Крестьянину было очень трудно примириться с этим, ибо это противоречило всей его натуре. Во многих случаях лишение прав на землю было чисто юридическим и формальным, и фактического сгона с земли не производилось. Суд выносил свое решение, но никаких дальнейших мер не принималось. Должны ли они были вспахать землю, совершив тем самым уголовное преступление, незаконно вторгшись на землю, что могло привести к местным волнениям? Крестьянам было также нелегко видеть, как их землю обрабатывают другие. Они приходили к нам за советом. Но какой же совет могли мы им дать?

Я указал на эту трудность одному высокопоставленному чиновнику английского правительства в Индии во время своего летнего визита в Симлу, который я нанес вместе с Гаудиджи, и спросил его, что бы он посоветовал на нашем месте. Ответ его был весьма знаменателен. Он сказал, что если бы такой вопрос ему задал крестьянин, которого лишили права на землю, он попросту отказался бы ему отвечать! Даже этот чиновник не решался прямо сказать крестьянину, чтобы тот не обрабатывал свою землю, хотя он и был лишен ее по суду. Этому высокопоставленному лицу было легко издавать указы с высот Симлы, словно он имел дело с абстрактной математической проблемой. Ни он, ни провинциальные боссы в Наини Тал не соприкасались непосредственно с людьми и не видели, сколько горя это несет пострадавшим.

В Симле нам также заявили, что мы должны давать крестьянам только один совет, а именно, чтобы они уплатили по возможности всю сумму. В сущности мы должны были действовать почти как агенты помещиков. По существу, прося крестьян уплатить как можно больше, мы говорили им нечто подобное. Правда, мы добавляли, что они не должны продавать свой скот или залезать в новые долги. И мы видели, каковы были результаты.

Это было ужасное лето для всех нас. Индийский крестьянин удивительно стойко переносит несчастья, и надо сказать, что на его долю всегда доставалось их более чем достаточно: голод, наводнения, болезни и беспросветная, мучительная нищета. Когда же ему становится немотогу, он тихо и почти безропотно ложится и умирает, и так они гибнут тысячами, миллионами. Это был его способ избавиться от страданий. События 1931 года не могли идти ни в какое сравнение с периодически постигавшими его огромными бедствиями. Но эти события не казались ему частью непостижимых законов природы, которые надлежало терпеливо сносить; он видел в них дело рук человека и поэтому возмущался ими. Полученное им за последнее время политическое воспитание начинало приносить свои плоды. Для нас события 1931 года также были особенно тягостными, ибо мы считали себя отчасти ответственными за них. Разве в этом вопросе крестьяне не следовали в значительной степени нашим советам? И при всем том я совершенно убежден, что если бы не наша постоянная помощь, положение крестьян было бы гораздо хуже. Мы сплывали их, и они оставались силой, с которой приходилось считаться, и благодаря этому они добились большего снижения арендной платы, чем это было бы возможно при другом положении. Даже притеснения и произвол, которым они подвергались, как они ни были тяжелы, не были чем-то необычным для этих несчастных людей. Разница была отчасти в размерах (так как теперь это было распространено гораздо шире), а отчасти в огласке, которую получили эти события. Обычно притеснения и даже пытки, которым агенты заминдара подвергают арендаторов, принимаются почти как должное, и мало кто узнает о них за пределами данного района, если только жертва не умирает. Ныне положение изменилось благодаря нашей организации и большей сознательности крестьянства, побуждавшей его держаться сплоченно и сообщать о всех несчастьях в организации Конгресса.

К концу лета попытки насильственного взимания арендной платы ослабели и принудительные меры стали применяться реже. Теперь нас тревожила судьба большого числа согнанных с земли арендаторов. Как с ними следовало поступить? Мы настаивали, чтобы правительство помогло им вернуть свои участки, которые в большинстве случаев пустовали. Еще важнее был вопрос о будущем. Предоставленное до сих пор снижение арендной платы относилось лишь к минувшему сезону, и вопрос о будущем еще не был решен. С октября начинался очередной сбор арендной платы. Что будет тогда? Неужели нам придется заново пережить все эти ужасы? Для рассмотрения этого вопроса провинциальное правительство назначило небольшой комитет, состоявший из его собственных должностных лиц и нескольких заминдаров — членов местного законодательного совета. Там не было ни одного представителя крестьян. В по-

следний момент, когда комитет фактически приступил к работе, правительство попросило Говинда Баллабх Панта войти в комитет в качестве нашего представителя. Он не считал целесообразным присоединяться так поздно, когда ряд важных решений был уже принят.

Комитет Национального конгресса в Соединенных провинциях, в свою очередь, выделил небольшую комиссию, которой поручили собрать различные данные о положении в деревне в прошлом и настоящем и составить доклад о создавшемся положении. Комиссия представила обширный доклад, содержащий серьезный обзор состояния сельского хозяйства в Соединенных провинциях и анализ трудностей, вызванных падением цен на сельскохозяйственные продукты. Комиссия сделала далеко идущие рекомендации. Ее доклад, опубликованный в виде книги, был подписан Говиндом Баллабх Пантом, Рафи Ахмадом Кидваи и Венкатеш Нарайяном Тевари.

Задолго до выхода в свет этого доклада Гандиджи поехал в Лондон на Конференцию круглого стола. Он отправился туда после больших колебаний, и одной из немаловажных причин являлось положение крестьян в Соединенных провинциях. Гандиджи в сущности уже решил, что в случае, если он не поедет в Лондон на Конференцию круглого стола, то отправится в Соединенные провинции и займется этой сложной проблемой. Последние переговоры с правительством в Симле касались, между прочим, Соединенных провинций. После отъезда Гандиджи в Англию мы держали его полностью в курсе событий. В течение первых двух месяцев я, как правило, регулярно писал ему каждую неделю, отправляя письма воздушной и обычной почтой. Во вторую половину его пребывания в Лондоне я был не столь аккуратен, так как мы ожидали его скорого возвращения. Он дал нам понять, что вернется самое позднее через три месяца, то есть в ноябре, и мы надеялись, что до тех пор в Индии не возникнет никакого кризиса. Главное, мы хотели избежать в его отсутствие кризисов и конфликтов с правительством. Однако, когда оказалось, что его возвращение задерживается, а события в деревне начинают быстро развиваться, мы послали ему подробную телеграмму, в которой сообщали о событиях последнего времени и указывали на то, что нас попросту вынуждают действовать. В ответной телеграмме он сообщил, что он беспомощен в этом вопросе и не может сейчас ничего для нас сделать, и предоставил нам поступать так, как мы найдем нужным.

Провинциальный исполнительный совет Конгресса держал в курсе событий также Рабочий комитет. Я всегда был на месте и мог снабдить его информацией из первых рук, но, поскольку дело принимало серьезный оборот, Рабочий комитет совещался также с председателем комитета нашей провинции Тасаддуком

Шервани и с председателем Аллахабадского окружного комитета Пурушоттам Дасом Таңдоном.

Правительственный аграрный комитет опубликовал свой доклад, сделав кое-какие рекомендации, которые были одновременно и сложными и туманными и многое оставляли на усмотрение местных властей. В целом предложенное снижение было больше, чем в минувший сезон, но мы считали его недостаточным. Мы возражали как против принципов, лежавших в основе этих рекомендаций, так и против их применения. Кроме того, доклад касался лишь будущего и игнорировал вопрос о недоимках, долгах и об участи множества арендаторов, лишившихся своей земли. Что нам было делать? Посоветовать крестьянам заплатить сколько они смогут, как мы сделали это весной и летом, и столкнуться с такими же последствиями? Мы видели, что совет этот был очень глуп и что его нельзя повторять. Крестьянам оставалось либо поднатужиться и полностью заплатить сниженную сумму, если они вообще это могли сделать, либо не платить пока вовсе и ожидать развития событий. Частичная уплата ровно ничего им не давала: арендаторы только истощали свои финансовые ресурсы и в то же время теряли свою землю.

Исполнительный совет Конгресса в нашей провинции долго и досконально рассматривал положение и решил, что, хотя предложения правительства и являются шагом вперед по сравнению со снижением арендной платы, которое было предложено летом, они все же недостаточны, чтобы их можно было принять без изменений. Все еще существовала возможность, что они будут изменены в пользу крестьян, и мы оказывали соответственный нажим на правительство. Мы считали, однако, что надежды на это мало, и конфликт, которого мы старались избежать, повидимому, приближался довольно быстро. Позиция как центрального правительства, так и провинциального правительства по отношению к Конгрессу постепенно менялась и становилась более непреклонной. На свои пространные письма мы получали краткие ответы, отсылавшие нас к местным властям. Было ясно, что правительство решило не давать нам никаких поблажек. В частности, правительство было озабочено и смущено тем, что снижение арендной платы может привести к росту престижа Конгресса. По старой привычке оно подходило ко всему лишь с меркой престижа, и даже одна мысль о том, что массы могут усмотреть в снижении заслугу Конгресса, приводила его в раздражение, и оно хотело по возможности избежать этого.

Тем временем из Дели и других мест стали поступать сообщения, что английский правительстве в Индии готовится перейти в большое наступление против всего конгрессистского движения. Мизинец начал шевелиться более энергично, и скорпионы готовились наброситься на нас. Мы даже узнали много подроб-

ностей относительно предполагаемых мер. Насколько мне помнится, в ноябре д-р Ансари прислал мне (и отдельно председателю Конгресса Валлабххан Пателю) письмо, подтверждавшее многие из сообщений, полученных нами ранее. В нем, в частности, приводились подробности предполагаемых указов по Пограничной и Соединенным провинциям. Бенгалия как будто уже получила в дар новый указ или он с минуты на минуту должен был появиться. Письмо д-ра Ансари подтвердилось целиком и полностью даже в деталях несколько недель спустя, когда новые указы были изданы якобы в связи с изменившейся ситуацией. Большинство считало, что правительство отложило принятие мер из-за непредвиденной затяжки Конференции круглого стола. Оно хотело избежать массовых репрессий в Индии, пока участники Конференции круглого стола обменивались друг с другом любезными фразами.

Итак, напряженность возрастала, и у всех нас было чувство, что события неумолимо развиваются вопреки нашим жалким стараниям и что ничто не в силах изменить их предначертанный путь. Мы могли лишь подготовиться к тому, чтобы встретить их и сыграть каждый в отдельности и все вместе свои роли в драме — или, вернее, в трагедии — жизни. Но мы все еще надеялись, что Гандиджи вернется раньше, чем занавес поднимется над этим столкновением сил, и возьмет на свои плечи ответственность за мир или войну. В его отсутствие никто из нас не был готов взять на себя это бремя.

В Соединенных провинциях правительство предприняло еще один шаг, вызвавший волнение в сельских районах. Арендаторам были розданы извещения о снижении арендной платы, в которых говорилось о размерах снижения и содержалась угроза, что, если вновь установленная сумма налогов не будет уплачена в течение месяца (иногда указывались и меньшие сроки), снижение будет аннулировано и сумма будет взыскана полностью через суд, что означало сгон с земли, конфискацию имущества и т. п. В нормальные годы арендаторы обычно вносили арендную плату в рассрочку в течение двух-трех месяцев. Таким образом, не был предоставлен даже этот обычный срок. Все крестьянство внезапно оказалось перед лицом кризиса, и арендаторы бросились к нам с повестками в руках, протестуя, жалуясь и прося совета. Правительство или его местные чиновники поступили очень глупо, прибегнув к подобной угрозе, и, как нам сказали впоследствии, эта угроза не была серьезной. Но она очень сильно уменьшила шансы на мирное урегулирование и неизбежно, шаг за шагом вела к конфликту.

Крестьянам и Конгрессу предстояло сделать выбор в самое ближайшее время: мы не могли откладывать свое решение до возвращения Гандиджи. Что нам следовало предпринять? Какой совет следовало дать? Было ли разумным с нашей стороны просить крестьян уплатить требуемую сумму в установленные

короткие сроки, зная заранее, что многие из них не в состоянии этого сделать? А как же быть с недоимками, которые причитались с них? Не грозила ли им опасность лишиться земли, хотя бы они и уплатили значительную часть требуемой суммы или даже всю сумму полностью, которая могла затем пойти на погашение недоимок?

Аллахабадский окружной комитет Конгресса, в составе которого было много крестьян, объявил борьбу. Он решил, что не станет советовать крестьянам платить. Было, однако, сказано, что без официального разрешения исполнительного совета провинции и Рабочего комитета он не сможет предпринять какие-либо энергичные меры. Поэтому весь вопрос был передан на рассмотрение Рабочего комитета. Тасаддук Шервани и Пурушоттам Дас Тандон должны были изложить соображения, которыми руководствовались провинция и округ. Вопрос, стоявший перед нами, относился только к Аллахабадскому округу и носил чисто экономический характер, но мы сознавали, что при тогдашней политической напряженности он мог иметь серьезные последствия. Следовало ли разрешить Аллахабадскому окружному комитету посоветовать крестьянам округа воздержаться на время, впредь до новых переговоров и получения лучших условий, от внесения арендной платы или земельного налога? Это был узкий вопрос, и мы не хотели выходить за его рамки, но было ли это возможным? Рабочий комитет хотел всеми силами предотвратить разрыв с правительством до возвращения в Индию Гандиджи, и, в частности, ему хотелось избежать разрыва, вызванного экономической проблемой, которая могла бы превратиться в классовую проблему. Этот комитет, отличавшийся передовыми политическими взглядами, не был, однако, передовым в социальных вопросах и не хотел поднимать проблему, которая могла бы противопоставить арендаторов заминдарам.

В силу своих склонностей к социализму я считался не слишком надежным советником по экономическим и социальным вопросам. Я лично считал, что Рабочий комитет должен ясно понять, что при сложившемся в то время положении в Соединенных провинциях даже более умеренные и правые члены нашего комитета вынуждены силой событий предпринять какие-то действия, несмотря на все свое отрицательное отношение к ним. Поэтому я был рад, что на заседании нашего комитета будут присутствовать Шервани и другие представители нашей провинции, ибо Шервани (председатель нашего провинциального комитета) отнюдь не принадлежал к числу горячих голов. В Конгрессе он примыкал как в политическом, так и в социальном отношении к правому крылу и в начале года был настроен против аграрной политики комитета Конгресса в Соединенных провинциях. Но когда он сам возглавил этот комитет и ему пришлось взять на себя ответственность, он увидел, что другого

выбора у нас не было. В дальнейшем провинциальный комитет проводил все свои мероприятия в теснейшем сотрудничестве с ним и на деле зачастую через него, поскольку он являлся председателем комитета.

Поэтому выступление Тасадука Шервани перед Рабочим комитетом произвело на его членов большое впечатление — гораздо большее, чем могло бы произвести мое выступление. С большими колебаниями, но понимая, однако, что он не может ответить отказом, Рабочий комитет предоставил комитету Соединенных провинций право разрешать прекращение взносов арендной платы и земельного налога в любом районе. Однако Рабочий комитет одновременно настаивал на том, чтобы деятели Соединенных провинций по возможности воздерживались от этого шага и продолжали переговоры с провинциальным правительством.

Эти переговоры продолжались еще некоторое время, но без существенного успеха. Насколько я помню, нам удалось добиться несколько большего снижения арендной платы по Аллахабадскому округу. В обычных условиях можно было бы прийти к соглашению или, по крайней мере, избежать открытого конфликта. Разногласия постепенно уменьшались. Но условия были совершенно необычными, и обе стороны — и правительство и Конгресс — чувствовали неизбежность приближавшегося конфликта, так что наши переговоры не опирались на сколько-нибудь реальную основу. Казалось, что каждый шаг, предпринятый одной из сторон, свидетельствовал о желании сманеврировать с целью занять более выгодную позицию. Приготовления правительства могли происходить — и действительно происходили — втайне. Наша же сила заключалась исключительно в состоянии духа народа, а его нельзя подготовить или поднять с помощью тайной деятельности. Кое-кто из нас — я также был в числе виновных — часто повторял в своих публичных речах, что борьба за свободу еще далеко не окончена и что в ближайшем будущем нас ждет много испытаний и трудностей. Мы призывали народ быть готовым к ним, и за это нас называли поджигателями войны. В сущности работники Конгресса, принадлежавшие к средним классам, с явной неохотой признавали факты и надеялись, что конфликта как-нибудь удастся избежать. Внимание людей, следивших за газетами, было отвлечено также пребыванием Гандиджи в Лондоне. И все же, несмотря на пассивность интеллигенции, события, особенно в Бенгалии, Пограничной провинции и Соединенных провинциях, продолжали развиваться, и в ноябре многим стало ясно, что кризис приближается.

Опасаясь оказаться в хвосте событий, комитет Конгресса в Соединенных провинциях принял ряд внутренних мер на случай конфликта. Аллахабадский комитет созвал большую крестьянскую конференцию, делегаты которой вынесли довольно

неопределенную резолюцию, гласившую, что в случае, если они не добьются лучших условий, им придется посоветовать крестьянам воздержаться от внесения арендной платы и уплаты земельного налога. Эта резолюция привела в ярость провинциальное правительство, и, рассматривая ее как *casus belli*, оно отказалось иметь с нами дело в дальнейшем. Такая позиция правительства, в свою очередь, вызвала реакцию со стороны провинциальной конгрессистской организации, которая истолковала ее как признак надвигающейся бури и ускорила свои собственные приготовления. В Аллахабаде состоялась еще одна крестьянская конференция, на которой была принята более решительная и определенная резолюция, призывавшая крестьян воздержаться от уплаты впредь до дальнейших переговоров и предоставления лучших условий. И тогда, и в последующем речь шла не о кампании «неуплаты аренды», а о кампании за «справедливую арендную плату», и мы продолжали настаивать на переговорах, хотя противная сторона явно уклонялась от этого. Аллахабадская резолюция относилась в равной степени к заминдарам и арендаторам, но мы знали, что по существу она относится лишь к арендаторам и некоторому числу мелких заминдаров.

Таково было положение в Соединенных провинциях в конце ноября и начале декабря 1931 года. Тем временем события назревали также в Бенгалии и Пограничной провинции; и в Бенгалии действовал, в частности, новый указ, очень широко применявшийся. Это были знаменья не мира, а войны, и вставал вопрос: когда же вернется Гапидиджи? Сумеет ли он приехать в Индию прежде, чем правительство начнет свое большое наступление, к которому оно столь долго готовилось? Или, быть может, когда он вернется, он найдет многих из своих коллег в тюрьме, а борьбу уже развернувшейся? Мы узнали, что он уже находится на обратном пути и прибудет в Бомбей в последнюю неделю этого года. Все мы, то есть все видные работники центрального и провинциальных аппаратов Конгресса, хотели избежать начала этой борьбы до его возвращения. Даже в интересах самой борьбы было желательно, чтобы мы увиделись с ним и обратились к нему за советом и указаниями. В этом состязании мы были беспомощны. Инициатива принадлежала английскому правительству.

КОНЕЦ ПЕРЕМИРИЯ

Несмотря на всю свою занятость в Соединенных провинциях, я давно хотел посетить и два других очага бури — Пограничную провинцию и Бенгалию. Мне хотелось изучить положение на месте и встретиться со старыми товарищами, многих из которых я не видел почти два года. Но больше всего я хотел выразить свое восхищение мужеством и стойкостью населения этих провинций и отдать дань уважения их жертвам в национальной борьбе. Пограничная провинция была в тот момент недосыгаема, так как английское правительство в Индии не одобряло посещения ее кем-либо из видных конгрессистов, и мы поэтому не намеревались отправляться туда и создавать безвыходное положение.

В Бенгалии положение ухудшалось, и, как ни влекла меня к себе эта провинция, я испытывал колебания в связи с этой поездкой. Я понимал, что буду там беспомощен и не смогу принести много пользы. Давний и прискорбный спор между двумя группами членов Конгресса в этой провинции долгое время отпугивал других конгрессистов и держал их на расстоянии, ибо они боялись оказаться втянутыми в спор той или другой стороной. Это была неудачная и страусовая политика, и она не помогала ни умиротворить Бенгалию, ни разрешить ее проблемы. Через некоторое время после отъезда Гандиджи в Лондон два события внезапно привлекли внимание всей Индии к положению в Бенгалии. Одно из них произошло в Хиджли, а другое — в Читтагонге.

Хиджли был специальным тюремным лагерем для задержанных без предъявления обвинений. Было официально объявлено, что в лагере вспыхнул бунт: заключенные напали на администрацию, которая была вынуждена пустить в ход оружие. В результате один заключенный был убит и многие ранены. Официальное расследование, произведенное сразу же местными властями, полностью сняло с администрации лагеря всякую ответственность за стрельбу и ее последствия. Однако во всем этом было много странного, и стал известен ряд фактов, не соответствовавших официальной версии. В этой связи были выдвинуты энергичные требования провести более тщательное

расследование. Вопреки общепринятой в Индии официальной практике правительство Бенгалии назначило комиссию по расследованию, состоявшую из представителей высших судебных властей. Это была чисто официальная комиссия, но она собрала показания и всесторонне рассмотрела вопрос; выводы, к которым она пришла, были не в пользу администрации тюрьмы. Указывалось, что вина лежит главным образом на администрации и что у нее не было никаких оснований открывать огонь. Таким образом, оказалось, что прежние правительственные сообщения по этому вопросу были полностью фальсифицированными.

В событиях в Хиджли не было ничего исключительного. К сожалению, в Индии подобные инциденты или несчастные случаи не редкость, и часто приходится читать о «тюремных бунтах» и о том, как вооруженная охрана храбро расправилась с безоружными и беспомощными заключенными. Но случай в Хиджли был примечателен в том отношении, что он разоблачил, и разоблачил официально, крайнюю предвзятость и даже лживость правительственных сообщений о такого рода событиях. Этим сообщениям и раньше мало верили, а теперь они были полностью дискредитированы.

После событий в Хиджли по всей Индии произошло много тюремных «инцидентов», во время которых тюремный персонал иногда пускал в ход оружие или применял силу в иной форме. Пострадавшими во всех этих «тюремных бунтах» оказывались, как это ни странно, видимо, одни лишь заключенные. Обычно власти выпускали коммюнике, обвиняя заключенных в различного рода проступках и реабилитируя администрацию тюрем. Изредка тюремный персонал подвергался каким-нибудь административным взысканиям. Все требования провести полное расследование категорически отклонялись, поскольку считалось, что в данном случае достаточно ведомственного расследования. Повидимому, правительство хорошо усвоило урок, полученный в Хиджли, уразумев, что проводить надлежащее беспристрастное расследование далеко не безопасно и что лучшим судьей является сам обвинитель. Надо ли после этого удивляться, если народ также извлек урок из событий в Хиджли, поняв, что правительственные сообщения говорят нам не то, что происходит в действительности, а то, в чем нас хочет убедить правительство?

Читтагонгское дело было гораздо серьезнее. Какой-то террорист застрелил полицейского инспектора мусульманина. За этим последовали столкновения между индусами и мусульманами — во всяком случае, так их называли. Было, однако, ясно, что за этим скрывалось нечто гораздо большее, нечто отличное от обычных столкновений между религиозными общинами. Было очевидно, что террористический акт не имел никакого отношения к религиозно-общинной розни: он был направлен против

полицейского офицера независимо от того, был ли тот индусом или мусульманином. Тем не менее после этого действительно начались столкновения между индусами и мусульманами. Как они возникли, что послужило поводом для них, осталось невыясненным, хотя видные общественные деятели выдвинули в этой связи весьма серьезные обвинения. Другой особенностью этих беспорядков было участие в них некоторых других групп — англо-индийцев, главным образом железнодорожных и других государственных служащих, которые, как утверждали, прибегли к репрессивным мерам в широком масштабе. Дж. М. Сен-Гупта и другие известные деятели Бенгалии выступили в связи с событиями в Читтагонге со специальными заявлениями и потребовали проведения расследования или даже возбуждения дела о клевете, но правительство предпочло не предпринимать такого шага.

Эти несколько необычные события в Читтагонге привлекли присторженное внимание к двум опасным возможностям. Терроризм был осужден со многих точек зрения; его не одобряли даже сторонники современных революционных методов. Но меня всегда особенно пугало одно из его возможных последствий, а именно — опасность распространения в Индии спорадически возникающего насилия на почве религиозной розни. Я не настолько «робкий индус», чтобы бояться насилия как такового, хотя мне оно действительно не нравится. Но я считаю, что в Индии подрывные силы все еще очень велики, и насилие, проявляющееся время от времени, несомненно, укрепило бы их позиции и значительно затруднило бы процесс образования сплоченной и дисциплинированной нации. Когда люди убивают по имя религии или для того, чтобы уготовить себе место в раю, опасно приучать их к мысли о террористическом насилии. Политическое убийство — скверная вещь. И все же с политическим террористом можно говорить и его можно склонить к другим методам, ибо предполагается, что он стремится к земной цели, которая носит не личный, а национальный характер. Религиозное убийство хуже, ибо тут речь идет о потустороннем мире, а в этом вопросе нельзя приводить никаких рациональных доводов. Порой линия раздела между тем и другим трудно различима и почти исчезает и политическое убийство приобретает в силу метафизического процесса полурелигиозный характер.

Убийство террористом полицейского офицера в Читтагонге и последствия этого весьма ярко показали, какими опасными возможностями чревата деятельность террористов и какой огромный вред она может причинить делу единения и свободы Индии. Последовавшие затем репрессии также показали нам, что в Индии стали применяться фашистские методы. С тех пор такие репрессии стали частым явлением, особенно в Бенгалии, и среди европейской и англо-индийской колоний, несомненно, появились фашистские настроения. Ими прониклись также

некоторые из индийских приспешников английского империализма.

Любопытно, что сами террористы, или многие из них, также придерживаются этих фашистских воззрений, направленных, однако, в другую сторону. Их националистический фашизм противопоставит империалистическому фашизму европейцев, англоиндийцев и части индийцев высших классов.

В ноябре 1931 года я поехал на несколько дней в Калькутту. У меня была очень насыщенная программа, и, помимо частных встреч с отдельными людьми и группами, я выступал также на ряде массовых митингов. На всех этих митингах я затрагивал вопрос о терроре и старался показать всю его ошибочность, бесплодность и весь его вред для дела свободы Индии. Я не осыпал террористов бранью и не называл их «выродками» и «трусами», как это позволяют себе некоторые наши соотечественники, которые сами редко поддаются — или даже вовсе не поддаются — соблазну совершить какой-нибудь поступок, требующий мужества или риска. Мне всегда казалось чрезвычайно глупым обвинять в трусости мужчин и женщин, постоянно рискующих своей жизнью. В результате такой человек лишь начинает с еще большим презрением относиться к своим робким критикам, которые только кричат издали, но неспособны ничего делать.

В последний вечер моего пребывания в Калькутте, незадолго до моего отъезда на вокзал, меня посетили два молодых человека. Оба были очень молоды, лет по двадцати, с бледными, нервными лицами и горящими глазами. Я не знал, кто они такие, но вскоре угадал, что им нужно. Они были очень злы на меня за мою пропаганду против террористического насилия. Они говорили, что это плохо действует на молодежь и что они не потерпят подобного вмешательства с моей стороны. У нас завязался небольшой спор; он происходил в спешке, так как мне пора было уезжать. Боюсь, что мы спорили очень громко и раздраженно, и я сказал им несколько резких слов; когда же я покидал их, они предупредили меня, что, если я и впредь буду вести себя подобным образом, они расправятся со мной так же, как расправлялись с другими.

Так я покинул Калькутту. Лежа в ту ночь на полке в поезде, я долго не мог забыть возбужденные лица этих двух юношей. Они были полны жизни и нервной энергии; какой прекрасный материал они представляли собой, если бы только их удалось обратить на правильный путь! Я жалел о том, что разговаривал с ними в спешке и, пожалуй, слишком резко, и мне хотелось найти возможность обстоятельно побеседовать с ними. Может быть, мне удалось бы убедить их посвятить свою молодую жизнь другой цели — служению Индии и свободе, ведь и в служении этому делу имелось более чем достаточно возможностей проявить отвагу и самоотверженность. В последую-

шие годы я часто думал о них. Я так и не узнал их имен и никогда больше не слышал о них. И порой я задумываюсь об их судьбе. Погибли ли они или, быть может, находятся в какой-нибудь тюремной камере на Андаманских островах?

Наступил декабрь. В Аллахабаде состоялась вторая крестьянская конференция, и затем я поспешил на юг, в Карнатуку, чтобы выполнить обещание, которое я давным-давно дал своему старому товарищу по Хиндустани Сева Дал, д-ру Н. С. Хардикеру. Сева Дал, добровольческое крыло национального движения, было фактически одним из вспомогательных органов Конгресса, хотя и сохраняло организационную самостоятельность. Однако летом 1931 года Рабочий комитет решил полностью включить его в состав конгрессистской организации и назвать добровольческим отделом Конгресса. Это было сделано, а руководство отрядами было возложено на Хардикера и на меня. Штаб-квартира Сева Дал оставалась в провинции Карнатака в Хубли, и Хардикер уговорил меня посетить этот город для выполнения различных дел, связанных с Сева Дал. Затем он несколько дней возил меня по Карнатаке, и я был удивлен колоссальным энтузиазмом, охватившим повсюду народ. На обратном пути я посетил тот самый Шоланур, который прославился введенным в нем военным положением.

Для меня эта поездка по Карнатаке приобрела характер прощального выступления; мои речи стали лебединой песней, хотя они и были довольно вызывающими и, я думаю, не слишком мелодичными. Известия из Соединенных провинций были совершенно ясны и определены: правительство нанесло удар, и удар тяжелый. По пути из Аллахабада в Карнатуку я отвез Камалу в Бомбей. Она опять была больна, и я позаботился о ее лечении в Бомбее. Именно в Бомбее почти сразу после нашего прибытия из Аллахабада мы узнали, что английское правительство в Индии издало специальный указ по Соединенным провинциям. Оно решило не дожидаться возвращения Гандиджи, хотя он уже находился в пути и должен был вскоре прибыть в Бомбей. Считалось, что этот указ касается только аграрных беспорядков, но он носил такой всеобъемлющий и далеко идущий характер, что сделал невозможной всякую политическую или общественную деятельность. Он даже предусматривал — в противоположность Библии — наказание родителей и опекунов за грехи их детей и воспитанников.

Примерно в это время мы прочли сообщение об интервью, которое Гандиджи якобы дал в Риме газете «Джорнале д'Италия». Это было неожиданностью, так как на него было не похоже, чтобы он стал давать в Риме такого рода интервью. Вчитавшись, мы обнаружили в нем много фраз и выражений, совершенно несвойственных Гандиджи, и нам стало ясно даже до появления опровержения, что интервью не могло быть дано в

том виде, как оно было напечатано. Мы полагали, что здесь имело место серьезное искажение каких-то сказанных им слов. Затем появилось его решительное опровержение и заявление, что он вообще не давал в Риме никаких интервью. Нам было ясно, что кто-то обманул его. Но, к нашему удивлению, английские газеты и общественные деятели не поверили ему и презрительно называли его лжецом. Это задевало и возмущало нас.

Мне очень хотелось вернуться в Аллахабад и отказаться от поездки в Карнатаку. Я чувствовал, что мое место — с моими товарищами в Соединенных провинциях, и было очень тяжело находиться столь далеко от родной провинции, когда там происходили такие события. Однако я все же решил не отказываться от своего намерения. Когда я вернулся в Бомбей, кое-кто из друзей советовал мне подождать прибытия Гандиджи, который должен был приехать ровно через неделю. Это было, однако, невозможно. Из Аллахабада пришли известия об аресте Пурушоттам Даса Тандона и других лиц. Кроме того, на эту неделю в Этаве была назначена наша провинциальная конференция. Итак, я решил поехать в Аллахабад и вернуться в Бомбей через шесть дней — если я еще буду на свободе, — чтобы встретить Гандиджи и присутствовать на заседании Рабочего комитета. Я оставил Камалу прикованной к постели в Бомбее.

Еще до того, как я добрался до Аллахабада, на станции Чхеоки мне вручили предписание о невыезде, основанное на новом указе. На Аллахабадском вокзале была сделана еще одна попытка вручить мне копию предписания, а в доме у меня третий человек предпринял такую же попытку. Очевидно, власти решили действовать наверняка. Мне предписывалось не выезжать за пределы города Аллахабада и запрещалось присутствовать на каких-либо публичных собраниях или торжествах, а также выступать публично или писать что-либо в газете или листовках. Было также много других ограничений. Я узнал, что аналогичное предписание было вручено многим моим коллегам, включая Тасаддука Шервани. На следующее утро я написал окружному судье (который издал это предписание), подтвердив получение приказа и уведомив его, что я не намерен испрашивать у него согласия на все, что я должен или не должен делать. Я намеревался продолжать, как и прежде, свою обычную работу и, в частности, собирался вскоре вернуться в Бомбей, чтобы встретить Ганди и принять участие в заседании Рабочего комитета, в котором я исполнял обязанности секретаря.

Перед нами встала новая проблема. На этой неделе в Этаве должна была собраться конференция нашей организации в Соединенных провинциях. Я приехал из Бомбея с намерением предложить перенести конференцию, поскольку она отчасти совпадала с приездом Гандиджи, а также чтобы избежать конфликта с правительством. Но перед моим возвращением в Аллахабад наш председатель Шервани получил от правитель-



1932 год
ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ И ШЕРВАНИ
направляются встречать Махатму Ганди



ства Соединенных провинций послание, составленное в повелительном тоне и запрашивавшее, будет ли конференция рассматривать аграрный вопрос, ибо в этом случае правительство запретит конференцию. Было ясно, что конференция своей главной целью поставит обсуждение именно аграрного вопроса, волновавшего всю провинцию; собраться и не обсуждать его было бы верхом нелепости, и это поставило бы нас в смешное положение. Во всяком случае, ни паш председатель, ни кто-нибудь другой не имел права в чем-либо связывать конференцию. Совершенно независимо от угрозы правительства у некоторых из нас было намерение отложить конференцию, но эта угроза меняла положение. Многие из нас были довольно упрямы в таких вопросах, а мысль о том, что правительство станет диктовать нам свою волю, была не из приятных. После долгих споров мы решили поступиться своей гордостью и все же отложить конференцию. Это решение объяснялось тем, что мы все еще стремились почти любой ценой избежать углубления уже возникшего конфликта до прибытия Гандиджи. Мы не хотели, чтобы Гандиджи столкнулся с таким положением, при котором он не смог бы осуществлять руководство. Хотя наша провинциальная конференция и была отложена, в Этаве было полно полицейских и военных частей, кое-кто из делегатов был арестован, а помещение выставки свадеши занято войсками.

Мы с Шервани решили выехать из Аллахабада в Бомбей утром 26 декабря. Шервани получил особое приглашение на заседание Рабочего комитета, который хотел проконсультироваться с ним по вопросу о положении в Соединенных провинциях. Нам обоим было запрещено на основании указа покидать пределы города Аллахабада. Было заявлено, что указ направлен против агитации за невзнос арендной платы в сельских районах Аллахабадского и некоторых других округов Соединенных провинций. В связи с этим нетрудно было понять, что правительство постарается помешать нам посетить эти сельские районы. Но также было ясно, что мы не могли вести агитацию среди крестьян в Бомбее; и если этот указ действительно имел в виду лишь положение в деревне, то власти должны были только радоваться нашему отъезду из провинции. Даже после издания указа наша политика была в общем оборонительной, и мы старались не нарушать его, хотя бывали отдельные случаи неповиновения приказам. Что касается конгрессистской организации в Соединенных провинциях, то было ясно, что она хотела избежать конфликта с правительством или хотя бы отсрочить его на некоторое время. Шервани и я выезжали в Бомбей, где Гандиджи и Рабочий комитет должны были рассмотреть эти вопросы, и никто не знал — я, во всяком случае, отнюдь не был уверен, — какие решения они могут принять в конечном счете.

Под влиянием всех этих соображений я думал, что нам разрешат поехать в Бомбей и что правительство, по меньшей мере в тот момент, посмотрит сквозь пальцы на это формальное нарушение предписания о певыезде. И все же в глубине души я чувствовал иное.

Уже сев в поезд, мы прочли в утренних газетах о новом указе по Пограничной провинции и об аресте Абдул Гаффархана, д-ра Хана Сахиба и других. Очень скоро наш поезд, бомбейский почтовый, неожиданно остановился на разъезде Ирадатгандж, где он обычно не останавливается, и в вагон вошли, чтобы арестовать нас, полицейские чиновники. «Черная Мария» ждала возле железнодорожного полотна, и мы с Шервани сели в эту закрытую тюремную карету и были отвезены в Наини. Начальник полиции, англичанин, арестовавший нас в сочельник утром, имел мрачный и недовольный вид. Боюсь, что мы испортили ему рождество.

Итак, в тюрьму!

Отлетело счастье от тебя на время,
Стиснула дыханье ноющая боль...

АРЕСТЫ, УКАЗЫ, ПРОСКРИПЦИИ

Гандиджи прибыл в Бомбей через два дня после нашего ареста и только тогда узнал о последних событиях. Он слышал в Лондоне о бенгальском указе и был очень этим расстроен. Ныне он убедился, что его ждут новые рождественские подарки в виде указов по Соединенным провинциям и Пограничной провинции и что в этих провинциях арестован ряд его ближайших сподвижников. Казалось, что жребий брошен и все надежды на мир рухнули, но он все же сделал попытку найти выход и стал добиваться встречи с вице-королем лордом Уиллингдоном. Из Дели его уведомили, что встреча может состояться лишь на известных условиях, а именно если он не будет касаться последних событий в Бенгалии, Соединенных провинциях и Пограничной провинции, новых указов и арестов, произведенных на основании этих указов. (Я пишу по памяти, и у меня нет перед собой текста ответа вице-короля.) Вряд ли доступно человеческому пониманию, что же именно, если исключить эти запретные темы, волновавшие всю страну, должен был, по мнению властей, обсуждать Гандиджи или любой другой лидер Конгресса с вице-королем. Было совершенно ясно, что английское правительство в Индии решило раздавить Конгресс и не желало иметь с ним никаких дел. Рабочему комитету оставалось лишь прибегнуть к движению гражданского неповиновения. Члены Рабочего комитета ожидали с минуты на минуту ареста и до своего вынужденного ухода хотели определить пути, которыми должна была следовать страна. Однако, несмотря на это, решение о кампании гражданского неповиновения не было принято окончательно, и Гандиджи сделал еще одну попытку увидеться с вице-королем, послав ему вторую телеграмму с просьбой о встрече без всяких условий. В ответ на это правительство арестовало Гандиджи и председателя Конгресса и нажало кнопку, дав сигнал к свирепым репрессиям по всей стране. Было ясно, что, как бы ни относились к борьбе другие, правительство жаждало борьбы и встречало ее во всеоружии.

Мы находились в то время в тюрьме, и к нам проникали лишь разрозненные и неясные вести. Суд над нами был отложен до нового года, и поэтому нам, как подсудимым, разрешалось больше свиданий, чем осужденным. Мы узнали, что идут

жаркие споры о том, следовало или не следовало вице-королю согласиться на встречу, словно это и в самом деле могло иметь какой-то значение. Этот вопрос о встрече отодвинул на задний план все другие вопросы. Говорили, что лорд Ирвин согласился бы на такую встречу и что, если бы он и Гандиджи встретились, все было бы хорошо. Я был удивлен тем, что индийская печать расценивала ситуацию столь поверхностно и не замечала действительного положения дел. Неужели неизбежную борьбу между индийским национализмом и английским империализмом, то есть, в конечном счете, борьбу двух непримиримых сил, можно было свести к прихотям отдельных лиц? Разве улыбки и взаимная вежливость могли устранить конфликт двух исторических сил? Гандиджи вынужден был действовать так, а не иначе, потому что индийский национализм не мог совершить харакири или добровольно подчиниться иностранному диктату в жизненно важных вопросах; английский же вице-король Индии принужден был действовать определенным образом, дабы парировать вызов, брошенный этим национализмом, и попытаться защитить английские интересы, и не имело совершенно никакого значения, кто был в ту пору вице-королем. Лорд Ирвин поступил бы точно так же, как лорд Уиллингдон, ибо и тот и другой были всего лишь орудием английской империалистической политики и могли позволить себе лишь самые незначительные отклонения от намеченной линии. Впоследствии лорд Ирвин стал членом английского правительства и всецело поддерживал все, что оно предпринимало в Индии. На мой взгляд, весьма нелепо хвалить или осуждать отдельных вице-королей за английскую политику в Индии, а нашу привычку предаваться этому занятию можно объяснить лишь незнанием истинных проблем или сознательным стремлением обходить их.

4 января 1932 года было примечательным днем. Он положил конец спорам и дискуссиям. Ранним утром этого дня Гандиджи и председатель Конгресса Валлабххай Патель были арестованы и заключены в тюрьму без суда в качестве государственных преступников. Было издано четыре новых указа, дававших судьям и полицейским офицерам весьма широкие полномочия. Гражданские свободы перестали существовать, и власти могли наложить руку как на человека, так и на его имущество. По всей Индии было объявлено своего рода осадное положение, местные власти получили право использовать его по своему усмотрению¹.

В тот же день, 4 января, нас судили в тюрьме Наиви на основании так называемого указа о чрезвычайных полномочиях в Соединенных провинциях. Шервани был приговорен к ше-

¹ 24 марта 1932 года государственный секретарь по делам Индии сэр Сэмюэль Хор заявил в палате общин: «Я признаю, что одобренные нами указы весьма крутые и суровые. Они охватывают почти все стороны индийской жизни».

сти месяцам строгого тюремного заключения и к штрафу в 150 рупий; меня приговорили к двум годам строгого заключения и к штрафу в 500 рупий (а в случае неуплаты штрафа еще к шести месяцам тюрьмы). Наши преступления были одни и те же; нам были вручены одинаковые предписания не покидать город Аллахабад; мы совершили один и тот же проступок, попытавшись уехать вдвоем в Бомбей; нас арестовали и судили вместе на основании одного и того же параграфа, и все же нам были вынесены совершенно разные приговоры. Впрочем, было одно различие: я написал окружному судье и уведомил его о своем намерении отправиться вопреки предписаниям в Бомбей; Шервани не посылал такого официального уведомления, но о его предполагаемом отъезде также было хорошо известно, о чем упоминалось в печати. Сразу после оглашения приговора Шервани, к удовольствию всех присутствовавших и повергнув в замешательство судью, спросил последнего, не объясняется ли применение к нему более мягкой меры наказания соображениями религиозно-общинного характера.

В тот роковой день 4 января по всей стране произошло много важных событий. Неподдалску от места нашего заключения, в городе Аллахабаде, произошли столкновения полиции и войск с большими толпами народа. Последовали обычные избиения. Несколько человек было убито и ранено. Тюрьмы начали заполняться участниками движения гражданского неповиновения. Вначале арестованные поступали в окружные тюрьмы, а в Наини и другие большие центральные тюрьмы поступала лишь оставшаяся часть арестованных. Все тюрьмы вскоре заполнились, и были созданы огромные временные тюремные лагеря.

В наше маленькое тюремное отделение в Наини поступило очень мало заключенных. К нам присоединился мой старый товарищ Нармада Прасад, а также Ранджит Пандит и мой двоюродный брат Мохаллал Неру. Неожиданным добавлением к нашей маленькой компании в бараке № 6 был Бернард Алуви-харе, мой молодой друг с Цейлона, только что вернувшийся из Англии после зачисления в адвокатуру. Моя сестра предупредила его, чтобы он не принимал участия в наших демонстрациях; но в порыве энтузиазма он примкнул к одному из шествий, организованных Конгрессом,— и «Черная Мария» увезла его в тюрьму.

Конгресс был объявлен нелегальным. Были запрещены Рабочий комитет, провинциальные комитеты и бесчисленные местные комитеты. Наряду с Конгрессом вне закона были поставлены всевозможные примыкающие к нему, сочувствующие или просто прогрессивные организации — किसान сабха и другие крестьянские союзы, молодежные лиги, студенческие общества, прогрессивные политические организации, национальные университеты, школы и больницы, предприятия, связанные с движением свадеши, библиотеки. Список был поистине внушитель-

ный и содержал по каждой крупной провинции много сот названий. По всей Индии число запрещенных организаций, повидимому, достигало в общей сложности нескольких тысяч, и одно это огромное количество запрещенных организаций само по себе было признанием силы и влияния Конгресса и национального движения.

Моя жена лежала в это время больная в Бомбее, тяжело переживая, что она не может принять участие в движении гражданского неповиновения. Моя мать и обе сестры с головой ушли в движение, и вскоре обе сестры были приговорены каждая к году тюрьмы. Кое-какие известия проникали к нам в тюрьму через повичков или через местную еженедельную газету, которую нам разрешалось читать. О многом из происшедшего мы могли лишь догадываться, ибо цензура, которой подвергалась печать, была очень строгая и газеты и телеграфные агентства находились под угрозой сурового наказания. В некоторых провинциях даже упоминание имени арестованного или осужденного расценивалось как преступление.

Так мы сидели в Наини, оторванные от борьбы, которая шла на воле, и все же связанные с ней сотнями путей; чем бы мы ни занимались: прядением, чтением, разговорами на разные темы или еще чем-нибудь,— мысль о событиях за стенами тюрьмы не покидала нас ни на минуту. Мы были вне всех этих событий и в то же время в самой их гуще. Порой ожидание бывало очень напряженным, или же нас охватывал гнев, когда что-либо делалось не так; мы испытывали отвращение к проявлениям слабости или грубости. Временами же мы чувствовали странную отрешенность и могли спокойно и бесстрастно взирать на все, чувствуя, что, когда в борьбу вступают грандиозные силы и приходят в движение исполинские жернова, мелкие личные заблуждения и слабости имеют мало значения. Мы гадали, что принесет нам завтрашний день, какую борьбу, волнение, мужественный энтузиазм, свирепые репрессии и отвратительную трусость, и к чему все это приведет. Куда мы шли? Будущее было неясно, и хорошо, что его скрывали от нас; собственно, от нас лично даже настоящее было отчасти скрыто завесой. Но мы знали, во всяком случае, что и сегодня и завтра нас ждут борьба, страдания и жертвы.

Снова вспыхнет бой с утра в долине,
Замутится Ксант от крови красной пеной,
Гектор и Аякс сойдутся в поединке,
Выйдет на стену взглянуть на них Елена...

Сгинем ли во мраке, или блистать в сражении станем,
Меж безверья и надежд метаться ль будем,
Нам покажется, что жизнь прошла не даром,
Только о душе ни разу не вспомняем.¹

¹ Matthew Arnold.

Глава сорок вторая

ШУМИХА

Первые месяцы 1932 года отличались, помимо всего прочего, невероятной шумихой, поднятой английскими властями. Должностные лица всех рангов громко провозглашали свою добродетель и миролюбие и кричали о том, сколь греховен и непримирим Конгресс. Они заявляли, что стоят за демократию, в то время как Конгресс оказывает предпочтение диктатуре. Разве его председатель не назывался диктатором? В своем энтузиазме эти поборники правого дела забывали о таких пустяках, как указы, подавление всех свобод, о намордниках, надетых на газеты и типографии, о людях, брошенных без суда в тюрьмы, о конфискации имущества и капиталов и о многих других необычных вещах, происходивших изо дня в день. Забывали они и о характере английского владычества в Индии. Министры (наши соотечественники) красноречиво расписывали, как конгрессисты «оттачивают свои топоры» (в тюрьме), в то время как сами они трудятся на благо общества за ничтожное ежемесячное вознаграждение в несколько тысяч рупий. Низшие судебные инстанции не только приговаривали нас к длительному тюремному заключению, но и читали нам попутно нотации, а порой и обрушивались с руганью на Конгресс и связанных с ним лиц. Даже сэр Сэмюэль Хор заявил с невозмутимым спокойствием, приличествующим столь высокопоставленному лицу, как государственный секретарь по делам Индии, что, хотя собаки и лают, караван продолжает идти своим путем. Он забыл на мгновение, что собаки находились в тюрьме и им не так-то легко было лаять, а на тех из них, которые остались на воле, были надеты падежные намордники.

Но самым удивительным из всего было то, что на Конгресс возложили вину за религиозно-общинные погромы в Канпуре. Все ужасы этих поистине страшных погромов были преданы огласке, причем не раз заявлялось, что ответственность за них несет Конгресс. В действительности же Конгресс был единственным, кто сыграл в них достойную роль, а один из благороднейших его сынов пал, оплакиваемый всеми группами и общинами Канпура. Съезд Конгресса в Карачи, узнав о погроме, немедленно назначил следственную комиссию, и эта комис-

сия провела самое исчерпывающее расследование. После долгих месяцев упорного труда она выпустила объемистый доклад, который сразу же был запрещен правительством, а уже отпечатанные экземпляры были конфискованы и, я полагаю, уничтожены. Впрочем, эта попытка замаять результаты расследования не помешала нашим официальным критикам и прессе, принадлежавшей англичанам, повторять время от времени, что проигрыш был делом рук Конгресса.

Нет никакого сомнения в том, что в конечном счете истина восторжествует и в этом и в других вопросах, но ложь порою живет очень долго.

Все черные дела исполнив, ложь умрет,
И правда силою своей восторжествует,
Но наступил ее триумф или нет —
Тогда уж никого не заинтересует.

Мне думается, что эта свойственная военному времени склонность к истерии была совершенно естественной, и в тех условиях не приходилось ожидать правдивости или сдержанности. Но то, что совершалось теперь, повидимому, превосходило все ожидания и было поразительно по своей силе и разнуданности. В частности, все это позволяло судить о состоянии нервов правящей группы в Индии и о том, как ей приходилось себя сдерживать в прошлом. Вероятно, гнев ее распяляли не какие-то наши слова или действия, а сознание своей собственной ранее возникшей боязни потерять свою империю. Правительства, уверенные в своей силе, не ведут себя таким образом. Контраст между их поведением и поведением противной стороны был весьма заметен. Ибо на другой стороне царил молчание, не добровольное молчание, исполненное гордой сдержанности, а молчание, рождаемое тюрьмой, страхом и всеобъемлющей цензурой. Если бы не это вынужденное молчание, то другая сторона, несомненно, также изощрялась бы в истерических вспышках, преувеличениях и ругани. Впрочем, одна отдушина все же существовала — бюллетени, выходившие без разрешения время от времени в ряде городов.

Принадлежащие англичанам англо-индийские газеты с большой готовностью примкнули к этой шумихе и высказывали много мыслей, которые они, вероятно, уже давно втайне вынашивали. Обычно им приходилось соблюдать некоторую осторожность в выборе выражений, ибо у них много читателей индийцев, но кризис в Индии устранил все эти препоны и позволил нам заглянуть в души всех, равно англичан и индийцев. В Индии осталось мало англо-индийских газет: одна за другой они закрывались. Некоторые из оставшихся являются первоклассными газетами как по той информации, которую они помещают, так и по своему общему оформлению. Их передовые

статьи по международным вопросам, хотя они всегда выражают консервативную точку зрения, написаны талантливо, содержательно и со знанием дела. Несомненно, как источники информации, эти газеты лучшие в Индии. Но в отношении индийских политических проблем в них наблюдается неожиданный пробел, и они освещают эти проблемы поразительно однобоко, а в период кризиса эта пристрастность зачастую перерастает в истерию и вульгарность. Они верой и правдой служат английскому правительству в Индии, и надо сказать, что та постоянная пропаганда, которую они ведут в его пользу, отнюдь не страдает отсутствием навязчивости.

В сравнении с этими немногими англо-индийскими изданиями индийские газеты стоят обычно на крайне низком уровне. Средства их ограничены, и владельцы этих газет делают мало попыток улучшить их содержание. Они с трудом перебиваются, и их несчастному редакционному аппарату приходится нелегко. Они плохо оформлены, помещаемые в них объявления часто бывают самого предосудительного вида, а их общий подход к жизни и политике отличается сентиментальностью и истеричностью. Думаю, отчасти это объясняется тем, что мы вообще сентиментальный народ, а отчасти также тем, что газетам, выходящим на английском языке, приходится пользоваться чужим языком, а в таких случаях нелегко писать просто и в то же время убедительно. Но главная причина заключается в том, что все мы страдаем от целого ряда психологических комплексов, порожденных нашим длительным порабощением и угнетением, и склонны вкладывать слишком много чувства в каждое свое излияние.

Лучшей из принадлежащих индийским владельцам газет, выходящих на английском языке, является, повидимому, с точки зрения оформления и информации, мадрасская «Хинду». Она всегда напоминает мне старую деву, очень чопорную и жеманную, которую шокирует всякое неприличное слово, произнесенное в ее присутствии. Это в основном газета буржуа, ведущих обеспеченное существование. Теневая сторона жизни, ее бури и конфликты — не для нее. С этой меркой старой девы подходят к жизни и некоторые другие умеренные газеты. Они в этом преуспевают, но у них нет достоинств «Хинду», и в результате они становятся чрезвычайно скучными во всех отношениях.

Было ясно, что правительство давно готовило свой удар и хотело с самого начала как можно сильнее ошеломить и сокрушить нас. В 1930 году оно все время пыталось исправить все ухудшавшееся положение с помощью новых специальных указов. В тот период инициатива все еще принадлежала Конгрессу. В 1932 году методы изменились, и правительство перешло в наступление по всему фронту. Для всей Индии и ее отдельных провинций было издано множество специальных указов, предо-

ставивших властям неограниченные полномочия; организации были объявлены вне закона; издания, имущество, автомобили, банковские счета конфискованы; публичные собрания и шестидневные запреты, а газеты и типографии поставлены под строжайший надзор. С другой стороны, в отличие от 1930 года Гандиджи явно желал избежать в тот момент движения гражданского неповиновения, и большинство членов Рабочего комитета разделяло его точку зрения. Некоторые из них, в том числе и я, считали, что борьба неизбежна, как бы неодобрительно мы к ней ни отнеслись, и что поэтому нам следует быть готовыми к ней; а рост напряженности в Соединенных провинциях и в Пограничной провинции приводил народ к мысли о приближающемся конфликте. Но в целом средние классы и интеллигенция не думали тогда о борьбе, хотя и не могли полностью игнорировать такую возможность. Они надеялись, что после возвращения Гандиджи этой борьбе удастся избежать. Очевидно, они принимали желаемое за действительное.

Таким образом, в начале 1932 года инициатива явно была в руках правительства, и Конгресс неизменно занимал оборонительную позицию. Во многих местах быстрое развитие событий, приведшее к изданию указов и началу кампании гражданского неповиновения, захватило местных руководителей Конгресса врасплох. Несмотря на это, призыв Конгресса встретил исключительно широкий отклик, и недостатка в участниках кампании гражданского неповиновения не было. На мой взгляд, нет почти никакого сомнения в том, что в 1932 году английскому правительству было оказано гораздо большее сопротивление, чем в 1930 году, хотя в 1930 году, особенно в больших городах, движение было более внушительным и о нем больше говорили. Хотя в 1932 году народ проявил большую выдержку и в подавляющем большинстве случаев сохранял спокойствие, все же с самого начала ощущался гораздо меньший подъем, чем в 1930 году. Все это выглядело так, словно мы вступили в борьбу нехотя. В 1930 году она была окружена ореолом, который два года спустя несколько померк. Правительство пустило в ход против Конгресса все средства, имевшиеся в его распоряжении. В Индии фактически было введено военное положение, и Конгрессу в сущности так и не удалось вновь захватить инициативу или приобрести какую-либо свободу действий. Первые удары произвели ошеломляющее действие на него и на большинство его буржуазных последователей, которые в прошлом были его главной опорой. Удар был нанесен по их карману, и стало очевидно, что те, кто примкнул к движению гражданского неповиновения или как-то помогал ему, рисковали потерять не только свободу, но, может быть, и все свое имущество. В Соединенных провинциях, где Конгресс опирался на беднейшие слои населения, это не имело столь большого значения, но в таких больших городах, как Бомбей, это существенно меняло дело.

Это означало полное разорение класса торговцев и большие потери для лиц интеллигентных профессий. Одна угроза этого (а иногда она приводилась в исполнение) парализовала волю этих обеспеченных классов городского населения. Впоследствии я узнал об одном робком, но преуспевавшем торговце, который, если не считать, быть может, случайных пожертвований с его стороны, был мало причастен к политике; тем не менее полиция угрожала ему не только длительным тюремным заключением, но к тому же и штрафом в 5 миллионов рупий. Такие угрозы были довольно частым явлением и отнюдь не были пустой болтовней, ибо в ту пору полиция была всемогуща и подобные угрозы ежедневно претворялись в жизнь.

Я не думаю, чтобы кто-либо из конгрессистов был вправе возражать против того образа действий, которого придерживалось правительство, хотя с точки зрения норм, любого цивилизованного общества насилие и принуждение, к которым правительство прибегло в борьбе против движения, носившего в основном ненасильственный характер, явно заслуживают осуждения. Если мы решили прибегнуть к революционным, прямым методам, то, какими бы ненасильственными они ни были, нам следует ожидать всемерного сопротивления. Нельзя играть в революцию в гостиной, но многие хотят использовать преимущества и того и другого методов. Если человек прибегает к революционным методам, он должен быть готов к тому, чтобы потерять все свое достояние. Поэтому люди преуспевающие и обеспеченные редко бывают революционерами, хотя отдельные лица и могут, с точки зрения бывалых людей, совершать глупости и изменять своему собственному классу.

Когда же речь шла о массах, у которых не было ни автомашин, ни счета в банке, ни другого настолько ценного имущества, чтобы его стоило конфисковать, и на которых лежала главная тяжесть борьбы, приходилось, конечно, прибегать к совершенно иным методам. Безжалостные действия правительства, затрагивавшие всех и вся, привели к одному любопытному результату: они подхлестнули множество людей, которых можно было бы назвать (заимствуя выражение из одной вышедшей недавно книги) «сторонниками властей предрержащих». Недавно некоторые из них, не зная, что может принести будущее, начали было заигрывать с Конгрессом. Но правительство не могло этого допустить, проявлять по отношению к нему лишь пассивную лояльность было недостаточно. Говоря словами одного из «героев» подавления восстания 1857 года, Фредерика Купера, «властям нужна лишь полная, активная и положительная лояльность. Правительство не может согласиться, чтобы его подданные лишь терпели его». Год назад Ллойд Джордж назвал своих бывших коллег, лидеров английской либеральной партии, которые вошли в состав национального правительства, «разновидностью тех изменчивых пресмыкающихся, которые меняют

окраску в зависимости от окружающей среды». Новая среда в Индии не допускала нейтральной окраски, а потому некоторые наши соотечественники принимали ярчайшую из санкционированных окрасок и с песнями и ликованием провозглашали свою любовь к нашим правителям и свое восхищение ими. Им нечего было бояться специальных указов и многочисленных запретов и ограничений, приказов, регулировавших хождение по городу, и законов, запрещающих появляться на улице после захода солнца; ибо разве не было официально сказано, что все это направлено против неблагонадежных и бунтарских элементов, а благонадежным людям совершенно не о чем тревожиться? Итак, они могли довольно невозмутимо взирать на бушевавшие вокруг них бури и конфликты, не испытывая страха, охватившего многих их соотечественников. Они, пожалуй, могли бы заявить вместе с Хлоей (из «Верной пастушки»):

Одна опасность предо мной бессильна —

Никто не овладеет мной насильно:

Сама того я жажду и хочу.

Правительство почему-то решило, что Конгресс намерен использовать в борьбе женщин, заполнив ими тюрьмы, в надежде, что с женщинами будут хорошо обращаться или что они отделаются легкими приговорами. Это была челепая идея, ибо кому может прийти в голову мысль толкнуть в тюрьму женщин — членов своей семьи. Обычно, если в кампании принимают деятельное участие девушки или женщины, это бывает вопреки желанию их отцов, братьев и мужей и уж, во всяком случае, без их активного содействия. Однако правительство решило запугать женщин тяжелыми приговорами и плохим обращением в тюрьме. Вскоре после того, как мои сестры были арестованы и осуждены, в Аллахабаде собралась группа девушек, преимущественно в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, чтобы обсудить, что они могут сделать. У них не было опыта, но они горели энтузиазмом и хотели посоветоваться. Они были арестованы во время своего собрания в частном доме, и каждая из них была приговорена к двум годам сурового тюремного заключения. Это был мелкий инцидент, один из множества происходивших изо дня в день по всей Индии. Большинству этих осужденных девушек и женщин пришлось в тюрьме очень плохо, даже хуже, чем мужчинам. Я слышал о многих тяжелых случаях, но больше всего поразил меня рассказ Мирабен (Мадлены Слейд), которая описала, что пришлось пережить ей и другим заключенным участникам движения гражданского неповиновения в одной из бомбейских тюрем.

В Соединенных провинциях наша борьба была сосредоточена в сельских районах. Благодаря непрекращавшемуся давлению Конгресса, представлявшего крестьянство, было обещано

довольно значительное снижение, но мы не считали его достаточным. Сразу после нашего ареста было объявлено о дополнительных снижениях. Странно, что это объявление не было сделано раньше, ибо оно могло бы сильно изменить положение. Нам было бы трудно категорически отвергнуть его. Однако правительство боялось, как бы эти снижения не способствовали росту престижа Конгресса, и поэтому оно хотело, с одной стороны, раздавить Конгресс, а с другой — предоставить крестьянам возможно большие снижения, чтобы успокоить их. Можно было заметить, что наибольшее снижение было предоставлено именно там, где влияние Конгресса было наиболее сильным.

Сколь ни значительны были эти снижения, они не разрешили аграрной проблемы, хотя значительно облегчили положение. Они уменьшили сопротивление крестьянства и ослабили нас на некоторое время с точки зрения более широких задач нашей борьбы. В Соединенных провинциях эта борьба принесла страдания десяткам тысяч крестьян, и многие были совершенно разорены. Но в то же время благодаря ей миллионы крестьян получили чуть ли не самые большие снижения, возможные при существующей системе, и были избавлены (если не говорить о последствиях движения гражданского неповиновения и сопутствующих ему событиях) от значительных невзгод. Эти небольшие сезонные выгоды, полученные крестьянами, не так уж велики, но я не сомневаюсь, что и этих выгод удалось добиться в значительной мере благодаря настойчивой борьбе конгрессиистского комитета в Соединенных провинциях, защищавшего интересы крестьянства. В целом крестьяне в Соединенных провинциях получили временные выгоды, но самые мужественные из них пали жертвами этой борьбы.

Специальный указ по Соединенным провинциям, изданный в декабре 1931 года, сопровождался разъяснительным заявлением. Это заявление, как и заявления, которыми сопровождалась другие указы, содержало много полуправдивых и просто лживых утверждений, которые были призваны служить пропагандистским целям. Все это было частью первоначальной шумихи, и мы не имели возможности ответить на них или хотя бы возразить против содержащихся в них грубых искажений. Перед самым своим арестом Шерваши ответил на одну особенно воинствующую попытку оклеветать его. Было любопытно читать все эти заявления и обоснования, приводимые правительством. Они показывали, насколько было испугано правительство и как велика была его нервозность. Читая как-то на днях указ испанского короля Карла III об изгнании из его королевства иезуитов, я невольно вспомнил об этих декретах и указах английского правительства в Индии и о причинах, приводившихся для их обоснования. В этом указе, изданном в феврале 1767 года, король оправдывал свои действия «крайне важными

причинами, связанными с моим долгом поддерживать субординацию, спокойствие и законность среди моих подданных, и другими важными, справедливыми и вескими причинами, которые остаются скрытыми в моей королевской душе».

Подобным же образом истинные причины издания этих специальных указов, хотя они были достаточно ясны, остались скрытыми в вице-королевской душе или в империалистических душах советников вице-короля. Официально приведенные причины помогли нам разобраться в новой пропагандистской тактике, к которой английское правительство прибегало в Индии. Несколько месяцев спустя мы узнали, что во всех сельских районах широко распространяются полуофициальные брошюры и листовки, содержащие колоссальное количество различного рода искажений. В них, в частности, намекалось, что падение цен на сельскохозяйственные продукты, столь тяжело отразившееся на крестьянах, вызвано Конгрессом. Это было весьма характерным признанием могущества Конгресса, который, оказывается, был в состоянии даже вызвать мировую депрессию! И, однако, эту ложь распространяли настойчиво и упорно в надежде, что она может повредить престижу Конгресса.

Несмотря на все это, крестьянство в некоторых главных округах Соединенных провинций горячо откликнулось на призыв к кампании гражданского неповиновения, которая была неизбежно связана с вопросом о справедливой арендной плате и снижении. Движение крестьян носило более широкий и дисциплинированный характер, чем в 1930 году. На первых порах существовало даже благодушное настроение. Мы узнали об одном замечательном событии, связанном с посещением полицейским отрядом деревни Бакулия в округе Рае Барели. Полиция явилась, чтобы наложить арест на имущество за невзнос арендной платы. Деревня была сравнительно зажиточная, и жители ее не были лишены присутствия духа. Они очень вежливо приняли сборщиков налогов и полицейских чиновников и, распахнув все двери, пригласили их заходить куда угодно. На скот и некоторое другое имущество был наложен арест. После этого крестьяне предложили полицейским чиновникам и сборщикам налогов *пан сунари*, так что те ушли притихшие, и вид у них был довольно-таки пристыженный! Но это был исключительный случай, и очень скоро юмора, милосердия и гуманности не стало и в помине. Кстати, юмор не помог бедной Бакулии избежать наказания за свое мужество.

В течение многих месяцев арендаторы этих округов воздерживались от внесения арендной платы, и кое-какие сборы начали поступать, вероятно, лишь в начале лета. Разумеется, было произведено много арестов, но это было сделано чуть ли не вопреки политике правительства. Как правило, арестовывали только некоторых работников и крестьянских лидеров. Других просто избивали. Решили, что избивание куда выгоднее, нежели

тюрьма и расстрелы. Его можно было применять по мере надобности, а так как это происходило в отдаленных сельских районах, то привлекало мало внимания за их пределами. К тому же это не увеличивало и без того огромного числа заключенных. Сгон с земли, наложение ареста на имущество и продажа скота и другой собственности происходили, конечно, часто. С глубоким душевным страданием наблюдали крестьяне, как отбирают у них их скудный скарб и затем продают за бесценок.

Сварадж Бхаван был конфискован правительством наряду с множеством других зданий по всей стране. Конфискации подверглись также все ценное оборудование и имущество, принадлежавшие больнице Конгресса, которая размещалась в Сварадж Бхаване. На несколько дней больница вообще прекратила свою работу, но затем в одном из ближайших парков был организован диспансер на открытом воздухе. Позже больница, или, вернее, диспансер, переехала в небольшой дом рядом со Сварадж Бхаваном и находилась там в течение почти двух с половиной лет.

Поговаривали также, что, поскольку я отказался уплатить большую сумму подоходного налога, правительство конфискует наш жилой дом Ананд Бхаван. Этим налогом были обложены доходы отца в 1930 году, и он не уплатил его тогда в связи с движением гражданского неповиновения. В 1931 году, после заключения Делийского пакта, у меня возник из-за этого спор с налоговым управлением, но в конечном счете я согласился уплатить налог и действительно сделал первый взнос. Затем вышли специальные указы, и я решил больше не платить. Мне казалось, что с моей стороны будет совершенно неправильно и даже безнравственно требовать от крестьян, чтобы они воздержались от взноса арендной платы и налогов, а самому выплачивать подоходный налог. Поэтому я ожидал, что правительство наложит арест на наш дом. Такая перспектива отнюдь не радовала меня. Это означало бы, что моя мать будет выселена; наши книги, документы, все наше имущество, и в том числе много вещей, которые нам были дороги как личные вещи или как реликвии, попадут в чужие руки и, может быть, погибнут; наш национальный флаг будет спущен и заменен английским флагом. В то же время мысль потерять свой дом в какой-то мере и привлекала меня. Я чувствовал, что это приблизит меня к крестьянству, которое тоже лишалось своего имущества, и ободрит его. С точки зрения нашего движения, это, несомненно, представлялось желательным. Но правительство передумало и не тронуло наш дом, быть может, из уважения к моей матери, а может быть, резонно заключив, что это даст новый толчок движению гражданского неповиновения. Много месяцев спустя было обнаружено некоторое количество моих железнодорожных акций, которые и были конфискованы за

неуплату подоходного налога. Ранее были конфискованы и проданы мой автомобиль и автомобиль моего зятя.

В эти первые месяцы меня сильно огорчило одно событие. Это был спуск нашего национального флага некоторыми муниципалитетами и общественными организациями и особенно Калькуттским муниципалитетом, большинство членов которого принадлежало к Конгрессу. Флаг был спущен по настоянию полиции и правительства, которые угрожали суровыми каррами в случае неповиновения. Вероятно, неповиновение повлекло бы за собой роспуск муниципалитета или наказание его членов. Организации, представляющие привилегированные интересы, обычно бывают робкими, и, пожалуй, иначе они и не могли поступить, но, тем не менее, это было тяжело. Этот флаг стал для нас символом многого такого, чем мы очень дорожили, и под его сенью мы не раз клялись защищать его честь. Нам казалось, что спустить его собственными руками или отдать подобное распоряжение значило не только нарушить эту клятву, но и совершить чуть ли не святотатство. Это значило проявить покорность, отказаться от истины и утвердить ложь под давлением превосходящей физической силы. Те, кто проявил такую покорность, наносили ущерб моральному духу нашего народа и подрывали его уважение к себе.

Никто, конечно, не ожидал, что они будут вести себя как герои и бросятся в огонь. Было бы неправильно и нелепо осуждать кого-либо за то, что он не находится в первых рядах и не рискует угодить в тюрьму или испытать какие-либо другие страдания и потери. У каждого было много своих обязанностей и забот, и никто не имел права осуждать его. Но одно дело сидеть сложа руки или работать, держась в стороне; если же человек отрекается от истины или от того, что он понимает под истиной, то дело обстоит уже серьезнее. Когда от членов муниципалитета потребовали чего-то несовместимого с интересами нации, они вполне могли выйти в отставку. Но они, как правило, предпочли остаться на своих местах.

Пчела, усевшись на цветок, перестает жужжать.

Так виг, местечко получив, дает обет молчать¹.

Быть может, и несправедливо критиковать человека за его поведение во время внезапного кризиса, угрожающего захлестнуть его. Иногда выдержка изменяет даже самым храбрым, как это не раз показывала мировая война. Еще раньше, во время огромной катастрофы с «Титаником» в 1912 году, известные люди, которых никак нельзя было заподозрить в трусости, избежали гибели, подкупив экипаж судна и оставив других тонуть. Совсем недавно пожар, вспыхнувший на «Морро Касл», обнаружил постыдное положение дел. Никто не может знать, как он

¹ Thomas Moore.

поведет себя при аналогичном кризисе, когда первобытные инстинкты берут верх над рассудком и выдержкой. Поэтому мы не можем никого винить. Но это не мешает нам обратить внимание на недостойное поведение и позаботиться о том, чтобы впредь кормило государственного корабля не попало в руки, которые дрожат и слабеют в самый тяжелый момент. Еще хуже пытаться оправдывать эту слабость и называть ее правильным поведением. Это, несомненно, большее преступление, нежели сама слабость.

Исход всякой борьбы между соперничающими силами зависит во многом от морального состояния и выдержки. От них зависит исход даже наиболее кровопролитной войны. «В конечном счете,— говорил маршал Фоч,— судьбу сражений решают нервы». В ненасильственной борьбе выдержка и высокий моральный дух нужны еще больше, и всякий, кто своим поведением подрывает этот моральный дух и ослабляет выдержку народа, причиняет серьезный ущерб самому делу.

Шли месяцы, ежедневно принося с собой как хорошие, так и плохие вести, и мы у себя в тюрьмах привыкали к своему скучному и монотонному существованию. Наступила Национальная неделя — с 6 по 13 апреля, — и мы знали, что за эту неделю произойдет много необычных событий. Она действительно изобиловала событиями, но в моих глазах все это отходило на второй план перед одним случаем. В Аллахабаде моя мать приняла участие в шествии, которое было остановлено полицией. Затем последовало избиение демонстрантов. Когда шествие остановили, кто-то прищип материи стула, и она сидела на нем на дороге во главе процессии. Люди, специально оберегавшие ее, включая моего секретаря, были арестованы и увезены, а затем полиция начала избиение. Мою мать сбросили со стула и несколько раз ударили палкой по голове. Из открытой раны хлынула кровь, она потеряла сознание и лежала на краю дороги, которая была к этому моменту очищена от демонстрантов и публики. Через некоторое время какой-то полицейский офицер подобрал ее и доставил на своей машине в Анад Бхаван.

В ту ночь в Аллахабаде распространился ложный слух, будто моя мать умерла. Собрались толпы разгневанных людей, которые, забыв о мире и ненасилии, напали на полицию. Полиция открыла огонь, и несколько человек было убито.

Когда через несколько дней весть об этих событиях дошла до меня (мы получали еженедельную газету), мысль о моей хрупкой матери, лежащей в крови на пыльной дороге, стала неотвязно преследовать меня, и я задавал себе вопрос, как бы повел себя я, находясь там. Насколько далеко завела бы меня вера в ненасилие? Боюсь, что не очень далеко, ибо это зрелище заставило бы меня забыть доктрину, которую я старался усвоить в течение десяти с лишним лет; и я

мало бы думал о последствиях, как о личных, так и о национальных.

Мать поправлялась медленно, и, когда в следующем месяце она навестила меня в тюрьме Барейли, она все еще была забинтована. Но она была исполнена радости и гордости тем, что разделила участь наших юношей и девушек, подвергшихся избиению. Однако улучшение ее здоровья было скорее видимым, чем действительным, и, очевидно, сильное потрясение, пережитое в ее возрасте, тяжело отразилось на всем организме и ускорило скрытые процессы, которые год спустя приняли опасные размеры.

В ТЮРЬМАХ БАРЕЙЛИ И ДЕХРА-ДУН

После шестинедельного пребывания в Наини я был переведен в окружную тюрьму Барейли. Мне снова нездоровилось, и, к моей большой досаде, у меня ежедневно поднималась температура. После четырех месяцев, проведенных в Барейли, когда летний зной достиг почти высшей точки, я был снова переведен, на этот раз в более прохладное место, в тюрьму Дехра-Дун, у подножья Гималаев. Там я пробыл без перерыва четырнадцать с половиной месяцев, почти до истечения двухлетнего срока моего приговора. Известия, конечно, доходили до меня благодаря свиданиям, письмам и кое-каким газетам, но от многого я был совершенно оторван и имел лишь смутное представление о главных событиях.

Выйдя на волю, я занялся личными делами, а также изучал политическое положение, сложившееся к тому времени. После пяти с небольшим месяцев свободы я был вновь заключен в тюрьму и нахожусь там по сей день. Таким образом, последние три года я провел в основном в тюрьме, в отрыве от событий, и имел мало возможности сколько-нибудь подробно ознакомиться со всем, что произошло в течение этого периода. Я все еще имею самое смутное представление о том, что происходило за кулисами второй Конференции круглого стола, на которой присутствовал Гандиджи. До сих пор у меня не было возможности побеседовать с ним по этому вопросу или обсудить с ним или с другими многое из того, что произошло с той поры.

Я недостаточно хорошо знаю события 1932 и 1933 годов, для того чтобы проследить развитие нашей национальной борьбы. Но я хорошо знал арену, где происходили события, обстановку и действующих лиц и интуитивно оценивал многие мелкие факты. Таким образом, я мог составить более или менее верное представление об общем ходе борьбы. В течение примерно первых четырех месяцев движение гражданского неповиновения отличалось активностью и напористостью, после чего начался постепенный спад, нарушавшийся отдельными вспышками. Борьба в форме прямых действий может носить революционный характер лишь очень непродолжительное время. Она не может оставаться статичной: она должна идти либо вверх, либо вниз. После первой вспышки движение гражданского неповиновения

начало медленно затухать, но оно могло долго продолжаться и на более низком уровне. Несмотря на свое нелегальное положение, всеиндийская организация Конгресса продолжала действовать довольно успешно. Она поддерживала связь со своими провинциальными работниками, посылала инструкции, получала доклады, иногда оказывала денежную помощь.

Провинциальные организации также продолжали работать более или менее успешно. Я плохо знаю, что происходило в других провинциях в течение тех лет, пока я находился в тюрьме, но после освобождения я собрал некоторые сведения о деятельности в Соединенных провинциях. Конгрессистская организация в Соединенных провинциях работала регулярно в течение всего 1932 года и до середины 1933 года, когда по совету Гандиджи исполняющий обязанности председателя Конгресса отменил кампанию гражданского неповиновения. В течение этого периода в районы часто посылались директивы, регулярно выходили бюллетени, напечатанные в типографии или на шпирографе, работа в округах время от времени инспектировалась, и работники нашей национальной службы продолжали получать жалованье. Значительная часть этой работы была по необходимости конспиративной, но секретарь провинциального комитета, ведавший канцелярией и другими делами, всегда работал открыто, пока его не арестовывали и не устранили, а на его место приходил другой.

Опыт 1930 и 1932 годов показал нам, что мы легко можем организовать конспиративную информационную сеть по всей Индии. Без большого труда и несмотря на известное сопротивление были достигнуты хорошие результаты. Но многим из нас казалось, что конспиративность не отвечает духу движения гражданского неповиновения и оказывает отрицательное влияние на сознание масс. Она была полезна как составная незначительная часть широкого открытого массового движения, но всегда существовала опасность, особенно когда движение шло на убыль, что массовое движение будет подменено неэффективной конспиративной деятельностью. В июле 1933 года Гандиджи осудил всякую конспиративность.

Помимо Соединенных провинций, аграрное движение за неуплату налогов приняло на некоторое время широкий размах в Гуджарате и Карнатаке. Как в Гуджарате, так и в Карнатаке имелись крестьяне-собственники, которые отказались платить земельный налог правительству и вследствие этого тяжело пострадали. Конгресс сделал кое-какие безусловно недостаточные попытки помочь пострадавшим и облегчить невзгоды, вызванные сгоном с земли и конфискацией имущества. В Соединенных провинциях провинциальная организация Конгресса не делала никаких попыток помочь подобным образом обездоленным арендаторам. Проблема здесь была гораздо сложнее (здесь значительно больше арендаторов, чем крестьян-собственников),

район намного обширнее, а ресурсы, которыми располагала провинция, были весьма ограничены. Мы не имели никакой возможности помочь десяткам тысяч лиц, пострадавших в результате кампании, и нам было столь же трудно провести различие между ними и огромным числом людей, всегда влачивших полуголодное существование. Оказать помощь лишь несколькими тысячами значило бы внести беспокойство и вызвать недовольство. Поэтому мы решили не оказывать денежной помощи; мы с самого начала объявили об этом, и наша позиция была хорошо понята крестьянами. Удивительно, со скольким они мирились почти без жалоб и ропота. Конечно, когда могли, мы старались помогать отдельным людям, особенно женам и детям работников, попавших в тюрьму. Столь велика нищета этой несчастной страны, что даже рупия в месяц была большим счастьем.

На протяжении всего этого периода комитет Конгресса в Соединенных провинциях (который был, разумеется, запрещенной организацией) продолжал выплачивать обычное скудное жалование своим платным работникам, а если они попадали в тюрьму, что случалось поочередно со всеми, — поддерживать их семьи. Это была основная статья расхода его бюджета. Далее шли расходы на печатание и размножение листовок и бюллетеней, что также требовало больших средств. Другую важную статью составляли транспортные расходы, и, кроме того, приходилось давать некоторую дотацию наименее обеспеченным округам. Несмотря на все эти и другие расходы в период интенсивной массовой борьбы против сильного правительства, занимавшего прочные позиции, общая сумма расходов провинциального комитета Соединенных провинций за двадцать месяцев, с января 1932 года по конец августа 1933 года, составила около 63 тысяч рупий, то есть примерно 3140 рупий в месяц. (В эту цифру не входят отдельные расходы некоторых сильных и более обеспеченных окружных комитетов, как, например, комитетов Аллахабада, Агры, Канпура, Лакнау.) В течение 1932 и 1933 годов Соединенные провинции шли в самом авангарде борьбы, и, на мой взгляд, учитывая достигнутые результаты, их расходы были поразительно малы. Было бы интересно сравнить с этой скромной цифрой специальные расходы провинциального правительства на подавление движения гражданского неповиновения. Мне думается (хотя я не располагаю данными), что некоторые другие основные провинциальные организации Конгресса истратили значительно больше. Однако Бихар был, с точки зрения Конгресса, даже еще более бедной провинцией, нежели его сосед — Соединенные провинции, и все же он сыграл в борьбе блестящую роль.

Так движение гражданского неповиновения постепенно шло на убыль, но оно все еще продолжалось и не без успеха. Мало-помалу оно перестало быть массовым движением. Если не касаться суровых правительственных репрессий, то первый тяже-

лый удар был нанесен ему в сентябре 1932 года, когда Ганди объявил свою первую голодовку в связи с проблемой хариджанов¹. Эта голодовка пробудила сознание масс, но направила его по другому руслу. Движение гражданского неповиновения было окончательно прекращено приостановкой его в мае 1933 года. После этого оно продолжалось больше теоретически, нежели на практике. Нет никакого сомнения в том, что оно постепенно захирело бы и без этой приостановки. Насилие и суровые репрессии заставили Индию замолчать. Первая энергия нации в целом была на время истощена и не восстанавливалась. Было еще много отдельных лиц, которые могли продолжать гражданское сопротивление, но они действовали в несколько искусственной атмосфере.

Мы в тюрьме с грустью узнавали об этом медленном затухании большого движения. И все же мало кто из нас ожидал молниеносного успеха. Правда, всегда оставалась возможность каких-то неожиданных событий в том случае, если начнется неодолимое движение масс. Но на это не приходилось рассчитывать, а потому мы ожидали длительной борьбы со всеми ее взлетами и падениями, чередующимися с неоднократными периодами застоя, и постепенного укрепления дисциплины, единства действий и идеологии масс. Порой в те ранние дни 1932 года я почти опасался быстрого и ошеломляющего успеха, ибо это, казалось, неизбежно привело бы к компромиссу, при котором господствующая роль осталась бы за «сторонниками властей предрержащих» и оппортунистами. Опыт 1931 года был поучителен. Успех имеет цену тогда, когда народ в целом достаточно силен и идейно подготовлен к тому, чтобы воспользоваться им. В противном случае массы будут бороться и приносить жертвы, а другие воспользуются удобным случаем и пожнут плоды победы. Такая опасность, несомненно, имела, ибо сами члены Конгресса плохо разбирались во многом, и у них не было ясного представления о том, к какого рода системе управления или обществу мы стремимся. Некоторые конгрессисты, по существу, думали не об изменении существующей системы управления, а просто о замене англичан и чуждых элементов сторонниками свадеши.

Стопроцентные «сторонники властей предрержащих» не имели большого значения, ибо их главным символом веры было прислужничество любой государственной власти. Но даже либералы и респонсивисты почти полностью разделяли идеологию английского правительства, и, таким образом, их критика чисто случайного характера в его адрес была совершенно недейственной и не имела никакого значения. Было хорошо известно, что они старались любой ценой держаться в рамках закона,

¹ Хариджаны («божьи люди») — так в Индии называли «неприкасаемых». Голодовка Ганди была направлена на отмену системы раздельного представительства для низших каст.— *Прим. ред.*

а поэтому не могли с симпатией относиться к движению гражданского неповиновения. Но они шли гораздо дальше и в той или иной степени становились на сторону правительства. Они играли роль почти безмолвных и довольно испуганных зрителей, присутствуя при полном подавлении всех гражданских свобод. Речь шла не только о том, что правительство обрушивало всю силу своего удара на движение гражданского неповиновения и подавляло его, но и о полном прекращении всей политической и общественной деятельности. И почти ни одного голоса протеста не было слышно. Те, кто обычно выступал за эти свободы, были непосредственно вовлечены в борьбу и понесли наказание за отказ подчиниться диктату государства. Другие были настолько запуганы, что проявляли гнусную покорность и редко осмеливались что-либо критиковать. Робкая критика, когда она раздавалась, была по своему тону апологетической и сопровождалась энергичным осуждением Конгресса и тех, кто вел борьбу.

В западных странах общественное мнение решительно настроено в пользу гражданских свобод, и всякое их ограничение вызывает недовольство и оппозицию. (Может быть, сейчас это уже отошло в прошлое.) Там много людей, которые хотя и не склонны принимать личное участие в решительных и прямых действиях, тем не менее достаточно ценят свободу слова, свободу собраний и организаций, личности и печати, чтобы непрерывно выступать за них и тем самым помогать обуздывать тенденцию государства посягать на эти свободы. Индийские либералы претендуют до некоторой степени на роль продолжателей традиций английского либерализма (хотя, кроме названия, у них нет с ним ничего общего), и от них можно было бы ожидать некоторой интеллектуальной оппозиции подавлению этих свобод, ибо они также страдали от этого. Но они не сыграли подобной роли. Они не могли сказать вслед за Вольтером: «Я совершенно не согласен с тем, что вы говорите, но я буду до последнего вздоха отстаивать ваше право говорить это».

Быть может, несправедливо порицать их за это, ибо они никогда не выступали в роли поборников демократии и свободы и им пришлось столкнуться с положением, когда одно неосторожное слово могло бы доставить им много неприятностей. Уместнее отметить, как реагировали на репрессии в Индии такие давнишние друзья свободы, как английские либералы и новоиспеченные социалисты из среды английской лейбористской партии. Они как-то хитрялись сохранять невозмутимость перед лицом событий в Индии, как бы это ни было трудно, а порой, говоря словами корреспондента «Манчестер гардиан», явно бывали удовлетворены успехом «научного применения репрессий». Недавно национальное правительство Англии попыталось провести законопроект о подстрекательстве к мятежу, и он вызвал не мало критики, особенно со стороны либералов и лейбори-

стов, между прочим на том основании, что этот законопроект ограничивает свободу слова и предоставляет судье право выдавать ордера на производство обысков. Читая эту критику, я неизменно сочувствовал ей, и в то же время перед моим взором вставала Индия, где сейчас уже действуют законы, в тысячу раз худшие, нежели то, что предполагается ввести английским законопроектом о подстрекательстве к мятежу. Я удивлялся, как это англичане, которые в Англии морщатся при виде комара, в Индии, не моргнув глазом, проглатывают верблюда. Меня всегда поражала и восхищала удивительная способность англичан приспособливать свои моральные нормы к своим материальным интересам и усматривать добродетель во всем, что содействует осуществлению их имперских замыслов. Они с полной искренностью и справедливым негодованием осуждают Муссолини и Гитлера за их посягательства на свободу и демократию и столь же искренно считают необходимым осуществлять подобные же действия в Индии. При этом они выдвигают высокие моральные принципы, чтобы доказать, что эти меры диктуются исключительно бескорыстными соображениями.

В то время, когда вся Индия была охвачена огнем и души мужчин и женщин подвергались испытанию, в далеком Лондоне собралась группа избранных, чтобы выработать конституцию для Индии. В 1932 году состоялась сессия третьей Конференции круглого стола и многочисленных комитетов, и множество депутатов Законодательного собрания жаждало попасть в члены этих комитетов, чтобы сочетать таким образом общественный долг с личным удовольствием. Множество людей поехало за общественный счет. Несколько позже, в 1938 году, прибыл Объединенный комитет с его индийскими консультантами, и благосклонное правительство вновь предоставило бесплатный проезд тем, кто ехал в качестве наблюдателей. Снова множество людей, горя искренним желанием послужить Индии, пересекло океан за общественный счет, а кое-кто, как говорят, даже выторговал добавочные средства на транспортные расходы.

Не было ничего удивительного в том, что эти представители привилегированных групп, напуганные массовым движением в Индии, собрались в Лондоне под защитой английского империализма. Но наши националистические чувства оскорбляло то, что индеец может вести себя подобным образом в то время, когда его родина вела борьбу не на жизнь, а на смерть. Все же в одном отношении это казалось многим из нас полезным, ибо мы полагали (как сейчас оказывается, ошибочно), что это раз и навсегда отделит реакционные элементы в Индии от прогрессивных. Этот отсев мог помочь политическому воспитанию масс и с еще большей ясностью показать всем заинтересованным, что только независимость даст нам возможность приступить к решению социальных проблем и снять тяготы, лежащие на народных массах.

Вместе с тем вызывало удивление, насколько эти люди отделились от народных масс в Индии не только в повседневной жизни, но также и в нравственном и духовном отношении. Они ничем не были связаны с этими массами, не понимали их и не испытывали того внутреннего побуждения, которое толкает на жертвы и страдания. Сии выдающиеся государственные мужи признавали только одну реальность — власть Британской империи, против которой нельзя было успешно выступать и которую поэтому следовало принимать с большей или меньшей благосклонностью. Им, видимо, не приходило в голову, что без поддержки масс они совершенно не в состоянии разрешить индийскую проблему или выработать реальную, жизнеспособную конституцию. Дж. А. Спендер в изданном им недавно труде «Short History of Our Times» касается, в частности, провала Ирландской объединенной конференции 1910 года, которая пыталась положить конец конституционному кризису. Он заявляет, что политические лидеры, старавшиеся выработать какую-то конституцию в разгар кризиса, напоминали людей, которые пытаются застраховать дом, когда он уже обят огнем. В 1932 и 1933 годах пожар в Индии был гораздо сильнее, чем в 1910 году в Ирландии, и даже если пламя и гаснет, то еще надолго сохранятся раскаленные угли, столь же жгучие и неугасимые, как воля Индии к свободе.

В официальных кругах Индии в огромных размерах усиливалась тяга к применению насилия. Это была старая традиция, и англичане управляли страной преимущественно методами, характерными для полицейского государства. Даже гражданский правитель придерживался в основном военных воззрений; всегда было такое чувство, как будто бы вражеская армия оккупирует чужую, завоеванную территорию. Серьезный вызов, брошенный существующему порядку, усилил подобные настроения. Отдельные террористические акты в Бенгалии и других районах давали повод к усилению этих насилий со стороны властей и служили некоторым оправданием их собственных действий. Различные специальные указы и правительственная политика дали исполнительным органам и полиции такую огромную власть, что фактически Индия оказалась под полицейским владычеством, которое вряд ли чем-либо было ограничено.

Через это горнило свирепых репрессий прошли в большей или меньшей степени все провинции Индии, но сильнее всех пострадали Пограничная провинция и Бенгалия. Пограничная провинция всегда была по преимуществу восной областью, которая управлялась полувоенными методами. Она занимала важное стратегическое положение, а движение «краснорубашечников» повергло правительство в страшное смятение. В «усмирении» провинции и в расправе с «непокорными деревнями» принимали весьма активное участие вооруженные силы. По всей Индии широко применялся метод наложения тяжелых коллек-

тивных штрафов на деревни и иногда (особенно в Бенгалии) на города. В населенных пунктах часто размещались полицейские карательные отряды, а колоссальные полномочия и бесконтрольность неизменно вызывали полицейские эксцессы. Мы сталкивались с типичными примерами беззакония и произвола со стороны тех, кому надлежало охранять закон и порядок.

Особенно поразительное зрелище представляли собой отдельные районы Бенгалии. Правительство считало враждебным все население (или, точнее, все индусское население), и все до одного — мужчины, женщины, юноши и девушки в возрасте от двенадцати до двадцати пяти лет — должны были иметь при себе удостоверение личности. Производились массовые аресты и высылки, одежду разрешалось носить лишь установленного образца, школы строго контролировались или закрывались, запрещалось пользоваться велосипедами, о всяком передвижении необходимо было заявлять в полицию. К этому следует добавить запрещение выходить на улицу после захода солнца, демонстрацию военной силы, карательную полицию, коллективные штрафы и множество других правил и постановлений. Целые районы, казалось, постоянно находились на осадном положении, а жители весьма напоминали досрочно освобожденных преступников, за которыми установлен строжайший надзор. Не мне судить, были ли все эти невероятные постановления и правила необходимы с точки зрения английского правительства. Если они не были необходимы, в таком случае правительство следует считать повинным в тяжком преступлении: угнетении и унижении населения целых районов, причинении ему больших страданий. Если же они все-таки были необходимы, то, несомненно, это само по себе является окончательным приговором английскому владычеству в Индии.

Дух насилия преследовал наш народ даже в тюрьме. Деление заключенных на категории было фарсом и зачастую нравственной пыткой для тех, кого причисляли к высшей категории. К этим высшим категориям относили очень немногих, и немало мужчин и женщин с повышенной чувствительностью были вынуждены находиться в таких условиях, которые обрекали их на непрерывные страдания. Правительство, видимо, умышленно старалось сделать участь политических заключенных хуже участи уголовных преступников. Генеральный инспектор тюрем даже разослал по всем тюрьмам секретный циркуляр, в котором указывалось, что с заключенными — участниками движения гражданского неповиновения надлежит «обращаться сурово»¹. Порка стала частым наказанием в тюрьме. 27 апреля 1933 года

¹ Этот циркуляр датирован 30 июня 1932 года, и в нем говорилось следующее: «Генеральный инспектор обращает внимание смотрителей и служебного персонала тюрем на тот факт, что нет никаких оснований ставить заключенных — участников движения гражданского неповиновения в привилегированное положение. Заключенным этой категории следует указать их место, и с ними надлежит обращаться сурово».

заместитель государственного секретаря по делам Индии заявил в палате общин, «что сэру Сэмюэлю Хору известно, что в течение 1932 года свыше 500 человек в Индии были подвергнуты телесному наказанию за проступки, связанные с движением гражданского неповиновения». Не ясно, включает ли эта цифра множество случаев телесного наказания в тюрьмах за нарушение тюремной дисциплины. Когда известия о частых телесных наказаниях доходили к нам в тюрьму в 1932 году, мне вспоминался наш протест и трехдневная голодовка в декабре 1930 года в знак возмущения одним-двумя случаями порки. Тогда меня потряс зверский характер этого наказания, теперь я также был потрясен и ощущал где-то внутри глухую боль, но мне не приходило в голову, что я должен снова протестовать и объявить голодовку. Я чувствовал себя гораздо более беспомощным. Спустя некоторое время разум перестает реагировать на зверства. Стоит какому-нибудь злу продолжаться достаточно долго, и мир привыкает к нему.

Наших людей в тюрьмах ставили на самую тяжелую работу — к жерновам, прессам для выжимания масла и т. п., — стараясь сделать их участь возможно более тяжелой, чтобы они запросили помилования и были освобождены из тюрьмы, дав правительству соответствующее обязательство. Это считалось большой победой тюремных властей.

Большая часть тюремных наказаний выпадала на долю юношей и молодых людей, которые не могли примириться с теми притеснениями и унижениями, которым их подвергали. Это были чудесные, смелые юноши, полные чувства собственного достоинства, энергии и отваги. В английских закрытых школах или университетах эти качества получили бы всемерное поощрение и заслужили бы похвалу. Здесь же, в Индии, наградой за их юношеский идеализм и гордость служили оковы, одиночное заключение и порка.

Особенно тяжело и мучительно было видеть, в каком положении находятся в тюрьме наши женщины. Это были преимущественно женщины, принадлежавшие к средним классам, привыкшие к затворнической жизни и страдавшие главным образом от тирании и обычаев, порожденных обществом, в котором властвовали мужчины. Свобода всегда имела для женщин двойной смысл; энтузиазм и энергия, с которой они бросались в борьбу, несомненно, имели своим источником неясное и вряд ли осознанное, но, тем не менее, сильное стремление освободиться также от домашнего рабства. Все они, за исключением очень немногих, были отнесены к категории обыкновенных заключенных и содержались вместе с самыми опустившимися людьми, зачастую в жутких условиях. Мне как-то довелось жить в бараке рядом с отделением женской тюрьмы, и нас разделяла только стена. В этом отделении наряду с другими заключенными было несколько женщин — политических заключенных, в том числе

женщина, в доме которой я однажды гостил. нас разделяла высокая стена, но до меня доносились ругань и проклятия, которые нашим друзьям приходилось выслушивать от женщин-заклученных, исполнявших обязанности надзирательниц.

Бросалось в глаза, что в 1932 и 1933 годах с заключенными обращались хуже, чем два года назад, в 1930 году. Это нельзя объяснить исключительно прихотью отдельных чиновников, и остается, видимо, предполагать, что такова была сознательная политика правительства. Даже если не говорить о политических заключенных, то тюремный департамент Соединенных провинций пользовался в те годы репутацией ярого противника всего, что хотя бы отдаленно напоминало гуманность. Из одного весьма достоверного источника мы узнали об интересном факте, подтверждавшем это предположение. Как-то раз нас навестил в тюрьме некий уважаемый титулованный гость, не какой-нибудь там мятежник и смутьян вроде нас, а человек, высоко чтимый правительством. Он рассказал нам, что несколькими месяцами ранее он побывал в другой тюрьме и в докладной записке о результатах своего обследования охарактеризовал тюремного надзирателя как «гуманного стража». Надзиратель просил не упоминать о его гуманности, так как в глазах официальных кругов это было недостатком. Однако титулованный посетитель настоял на своем, ибо он не мог представить себе, что его характеристика может чем-нибудь повредить тюремному надзирателю. В результате вскоре после этого надзиратель был переведен в порядке наказания в какое-то отдаленное и глухое место.

Некоторые тюремные надзиратели, слышвшие особенно жестокими и беззастенчивыми, получили повышение по службе и чины. Взятничество в тюрьмах — явление настолько обычное, что среди тюремных надзирателей вряд ли найдется хоть один чистый на руку. Но по собственному своему опыту и по опыту многих своих друзей я знаю, что больше всего грешат этим те из тюремного персонала, кто напускает на себя особенно строгий вид. Мне лично везло как в тюрьме, так и на воле, и почти все, с кем я сталкивался, относились ко мне вежливо и с уважением, даже когда я, возможно, не заслуживал этого. Однако один инцидент, имевший место в тюрьме, доставил мне и моим близким большое огорчение. Как-то раз моя мать, Камала и моя дочь Индира пришли в Аллахабадскую окружную тюрьму на свидание с моим зятем Ранджитом Пандитом и без всякого повода с их стороны были оскорблены и выгнаны тюремщиком. Я был огорчен, узнав об этом, а реакция провинциального правительства потрясла меня. Чтобы избавить мать от возможных оскорблений со стороны тюремных чиновников, я решил совсем отказаться от свиданий. За время своего пребывания в тюрьме Дехра-Дун я в течение почти семи месяцев не имел ни одного свидания.

ТЮРЕМНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Двое из нас, Говинд Баллабх Пант и я, были переведены из окружной тюрьмы Барейли в тюрьму Дехра-Дун. Во избежание возможной демонстрации нас посадили в поезд не в Барейли, а на полустанке в 50 милях от города. Ночью нас тайно вывезли на машине, и после долгих месяцев заключения эта поездка и ночная прохлада доставили нам особенно большое наслаждение.

Перед нашим отъездом из тюрьмы Барейли произошел небольшой инцидент, который растрогал меня тогда и все еще не изгладился из моей памяти. При нашем отъезде присутствовал начальник полиции Барейли, англичанин, и, когда я садился в машину, он не без робости вручил мне пакет, в котором, как он сказал, находились старые немецкие иллюстрированные журналы. По его словам, он узнал, что я изучаю немецкий язык, и поэтому принес мне эти журналы. Я никогда не встречался с ним до тех пор и после больше его не видел. Я даже не знаю его имени. Этот неожиданный акт вежливости и доброта, которая побудила его поступить так, тронули меня, и я был глубоко ему благодарен.

Во время этой долгой полуночной поездки я раздумывал над отношениями англичан и индийцев, правителей и управляемых, чиновных и нечиновных лиц, тех, кто обладает властью, и тех, кто принужден повиноваться. Какая огромная пропасть разделяла два народа и как велики были их недоверие и неприязнь друг к другу! Но еще сильнее, чем недоверие и неприязнь, было их незнание друг друга, а поэтому каждая сторона немного опасалась другой и неизменно была настороже по отношению к ней. Каждый видел в другом угрюмое, неприветливое существо, и ни тот, ни другой не сознавали, что за этой маской скрываются порядочность и доброта. В качестве правителей страны, располагавших огромными возможностями предоставления должностей, англичане привлекали к себе толпы раболовных карьеристов и оппортунистов и по этим гнусным типам судили о всей Индии. Индийцы видели англичан лишь в роли должностных лиц, которые действовали с бездушным автоматом и со всем пылом, присущим привилегированным сословиям, старались

защитить свои привилегии. Насколько поведение человека в частной жизни, когда он повинуется своим внутренним импульсам, отличается от его же поведения как чиновника или военнослужащего! Солдат в строю забывает о гуманности и, действуя подобно автомату, расстреливает и убивает безобидных и мирных людей, которые не причинили ему никакого зла. Точно так же, думал я, полицейский офицер, который не захочет причинить обиду какому-либо отдельному лицу, способен возглавить избиение бамбуковыми палками ни в чем не повинных людей. При этом он уже не будет думать о себе как о личности и не будет рассматривать как состоящую из отдельных личностей толпу, которую он избивает или расстреливает.

Как только человек начинает думать о противной стороне как о массе или толпе, общечеловеческие узы, видимо, исчезают. Мы забываем, что толпа также состоит из людей, из мужчин, женщин и детей, которые любят, ненавидят и страдают. Средний англичанин, если бы он захотел быть искренним, вероятно, признался бы, что он знает несколько вполне порядочных индийцев, но, по его мнению, они составляют исключение и в целом индийцы — это отвратительный сброд. Средний индеец, в свою очередь, признает, что кое-кто из знакомых ему англичан — замечательные люди, но что за исключением этих немногих лиц англичане надменны, грубы и вконец испорчены. Любопытно, что каждый судит о другом народе не по тем лицам, с которыми ему приходилось соприкасаться, а по другим, о которых он знает очень мало либо вообще ничего не знает.

Мне лично очень везло, и как мои соотечественники, так и англичане почти неизменно были со мной вежливы. Даже мои тюремщики и полицейские, которые арестовывали или сопровождали меня как заключенного с места на место, были добры ко мне, и эта гуманность несколько ослабляла чувство горечи и тяжесть тюремного существования. В том, что так относились ко мне мои соотечественники, не было ничего удивительного, ибо я снискал среди них некоторую известность и популярность. Но даже для англичан я был личностью, а не просто одним из массы, и, как мне думается, меня сближало с ними то, что я получил образование в Англии, и особенно то, что я учился в английской закрытой школе. В силу этого они не могли не считать меня человеком, по их понятиям, более или менее цивилизованным, какой бы извращенной ни казалась им моя общественная деятельность. Это особое отношение часто смущало и унижало меня, когда я сравнивал свою участь с участью большинства моих товарищей.

Несмотря на все эти преимущества, тюрьма оставалась тюрьмой, и гнетущая тюремная атмосфера становилась подчас почти невыносимой. Самый воздух тюрьмы, казалось, был пропитан насилем, низостью, взяточничеством и ложью; люди либо раболепствовали, либо проклинали. Человек, обладавший

хоть малейшей чувствительностью, непрерывно находился в состоянии напряжения. Всякий пустяк выводил его из равновесия. Плохие вести в письме, какая-нибудь заметка в газете вызывали в человеке такое чувство тревоги или гнева, что он на время становился совершенно больным. За стенами тюрьмы всегда можно было найти облегчение в работе, и разнообразные интересы и деятельность рождали чувство душевного и физического равновесия. В тюрьме не было никакой отдушины, и человек чувствовал себя запертым и угнетенным и неизбежно составлял себе одностороннее и несколько превратное представление о событиях. Болезнь в тюрьме действовала особенно удручающе.

И все же мне удалось приучить себя к тюремной рутине, и благодаря физическим упражнениям и довольно усиленной умственной работе я держался хорошо. Сколь бы ценными ни были работа и упражнения на воле, в тюрьме они совершенно необходимы, ибо без них человек долго не протянет. Я придерживался строгого расписания и, чтобы не опуститься, старался сохранить как можно больше нормальных привычек, как, например, ежедневное бритье (мне разрешалось иметь безопасную бритву). Я упоминаю об этой мелочи, потому что, как правило, люди отказывались от этого, а также опускались и в других отношениях. После тяжелой дневной работы я чувствовал к вечеру приятную усталость и был рад заснуть.

Так проходили дни, недели и месяцы. Но иногда какой-нибудь месяц тянулся ужасно долго и был поистине нескончаемым, по крайней мере, мне так казалось. Порой я испытывал усталость и безразличие и злился на всех и вся: на своих товарищей по заключению, на тюремный персонал, на людей на воле за что-то, что они сделали или не сделали, на Британскую империю (впрочем, то было постоянное чувство), а в первую очередь — на самого себя. Я превращался в комок нервов, весьма восприимчивый ко всякого рода настроениям, порождаемым жизнью в тюрьме. К счастью, такое настроение быстро проходило.

Дни свиданий были в тюрьме самыми счастливыми днями. Как жаждали их люди, как ждали и считали дни! А вслед за возбуждением, вызванным свиданием, наступала неизбежная реакция и чувство пустоты и одиночества. Если, как случалось иногда, свидание оказывалось неудачным из-за каких-либо плохих известий, которые расстраивали меня, или по какой-нибудь другой причине, я потом чувствовал себя несчастным. Разумеется, при свиданиях бывал кто-нибудь из тюремных администраторов, но два-три раза в Барейли, кроме них, присутствовал также полицейский агент с бумагой и карандашом, жадно записывавший почти каждое слово. Это крайне раздражало меня, и такие свидания проходили впустую.

Затем я отказался от этих столь ценных для меня свиданий из-за того обращения, которому подверглись моя жена и мать во время одного из свиданий в Аллахабадской тюрьме и позже со стороны правительства. На протяжении почти семи месяцев я не имел ни одного свидания. То было томительное время для меня, и, когда по истечении этого периода я решил возобновить свидания и родные пришли навестить меня, я чуть не опьянел от радости. На свидание со мной пришли также маленькие дети моей сестры, и, когда одна из малюток захотела, как в былое время, взобраться ко мне на плечо, я почувствовал, что не в силах вынести это. Это соприкосновение с семейной жизнью после долгой тоски по людям нарушило мое душевное равновесие.

Когда же свидания прекратились, особую ценность приобрели письма, которые я получал раз в две недели из дому или из какой-нибудь другой тюрьмы, поскольку обе мои сестры тоже находились в тюрьме. С огромным нетерпением я ожидал этих писем. Если письмо запаздывало, я беспокоился. И все же, когда оно приходило, я почти не решался вскрыть его. Я играл с ним, как это делают, когда стараются растянуть удовольствие, а в глубине души жили также опасения, что в письме содер­жатся известия или какое-нибудь упоминание, которые могут расстроить меня. Когда мы писали или получали письма, это всегда нарушало нашу монотонную тюремную жизнь. Они вызывали тревожное возбуждение, и в течение одного-двух дней после этого мысли человека где-то блуждали, и ему было трудно сосредоточиться на повседневной работе.

В тюрьме Наини и Барейли у меня было несколько товарищей. В Дехра-Дуи нас было вначале трое — Говинд Баллабх Пант, Куивар Ананд Сингх из Кашипура и я, — но Пант был освобожден через два месяца по истечении его шестимесячного срока. Еще двое присоединилось к нам позже. К началу января 1933 года все мои товарищи покинули меня и я остался один. На протяжении почти восьми месяцев, до моего освобождения в конце августа, я вел в тюрьме Дехра-Дуи одинокую жизнь, и мне не с кем было перекинуться словом, если не считать пятиминутного разговора в день с кем-либо из тюремного персонала. Формально это не являлось одиночным заключением, но, тем не менее, это было нечто очень близкое к нему, и для меня это было грустное время. К счастью, я возобновил свои свидания, и они приносили некоторое облегчение. В виде, мне думается, особой милости мне разрешили получать с воли свежие цветы и держать у себя несколько фотографий, и они очень меня радовали. Обычно держать цветы и фотографии не разрешается, и несколько раз мне не позволяли брать присланные для меня цветы. Попытки придать камере более уютный вид не поощрялись, и мне помнится, что один начальник тюрьмы возражал однажды даже против того, как один из моих това-

рищей, камера которого примыкала к моей, расставил предметы своего туалета. Ему указали, что он не должен придавать своей камере привлекательный и «роскошный» вид. Этими предметами роскоши были: зубная щетка, зубная паста, чернила для авторучки, бутылка с помадой для волос, щетка, гребень и, может быть, еще одна-две вещицы.

В тюрьме начинаешь ценить мелочи жизни. Пожитки заключенного очень скудны, и их нелегко пополнить или заменить, поэтому ими дорожат и собирают даже такие вещи, которые в другое время были бы отправлены в корзинку для мусора. Собственническое чувство не покидает человека даже тогда, когда у него нет ничего ценного, что стоило бы сохранять.

Порой тебя охватывает физическая тоска по радостям жизни, комфорту, приятной обстановке, обществу друзей, интересной беседе, играм с детьми... Какая-нибудь фотография или заметка в газете живо воскрешают в памяти беспечные дни юности, и тогда тебя охватывает тоска по родному дому и ты весь день находишься в состоянии тревоги.

Обычно я каждый день понемногу прятал, так как находил, что физический труд успевает и позволяет отдохнуть от слишком усиленной умственной работы. Однако главным образом я читал и писал. Я не мог получать всех книг, которые хотел, так как существовали ограничения и цензура и цензоры не всегда отличались достаточной компетентностью. Книга Шпенглера «Decline of the West» была задержана, потому что в главле казалось опасным и мятежным. Но мне не следует жаловаться, ибо в общем я имел довольно большой выбор книг. Видимо, я снова был в привилегированном положении, а многим из моих коллег (заключенным класса А) было очень трудно получать книги на современные темы. Мне говорили, что в бенаресской тюрьме не пропустили даже официальную Белую книгу, содержащую конституционные предложения английского правительства, так как она касалась политических вопросов. Единственными книгами, которые английские должностные лица усиленно рекомендовали, были книги духовного содержания и романы. Поразительно, как дороги сердцу английского правительства вопросы религии и сколь беспристрастно оно поощряет все ее разновидности!

В период, когда в Индии урезаны самые элементарные гражданские свободы, вряд ли уместно говорить о правах заключенного. И все же этот вопрос заслуживает рассмотрения. Если суд приговаривает человека к тюремному заключению, то разве отсюда следует, что под замок должно быть посажено не только его тело, но и дух? Почему умы заключенных не могут быть свободными, хотя бы физически люди и были лишены свободы? Такой вопрос, несомненно, ужаснет тех, в чьем ведении находится тюремная администрация в Индии, ибо их способность к восприятию новых идей и систематическому

мышлению обычно ограничена. Цензура достаточно плоха в любое время, она глупа и пристрастна. В Индии она лишает нас доступа к значительной части современной литературы и передовых журналов и газет. Список запрещенных книг обширен и часто пополняется. Заключенный вдобавок ко всему этому страдает еще от особой вторичной цензуры, и, таким образом, до него может не дойти много книг и газет, которые за стенами тюрьмы разрешается свободно покупать и читать.

Не так давно этот вопрос возник в Соединенных Штатах, в знаменитой нью-йоркской тюрьме Синг-Синг, где были запрещены некоторые коммунистические газеты. Правящие классы Америки настроены резко антикоммунистически, но, несмотря на это, тюремные власти согласились, что обитатели тюрьмы имеют право получать любое издание, какое они хотят, включая коммунистические газеты и журналы. Начальник тюрьмы сделал единственное исключение для карикатур, которые он счел особенно опасными.

Нелепо обсуждать этот вопрос о свободе духа в тюрьмах Индии, когда подавляющему большинству заключенных вообще не разрешено получать какие-либо газеты или письменные принадлежности. Речь идет не о цензуре, а о полном лишении. Только заключенным класса А (а в Бенгалии — первого отделения) разрешается иметь письменные принадлежности, и даже не всем им позволено получать ежедневные газеты. Выбор разрешенной ежедневной газеты зависит от правительства. Заключенным классов В и С, политическим и не политическим, не полагаются письменных принадлежностей. Заключенные класса В могут иногда получать их в виде особой привилегии, которая часто отменяется. Вероятно, число заключенных класса А по отношению к остальным заключенным составляет один на тысячу, и при рассмотрении положения заключенных в Индии их вполне можно не учитывать. Однако следует помнить, что даже эти привилегированные заключенные класса А пользуются гораздо меньшими льготами в части получения книг и газет, нежели обычные заключенные в большинстве цивилизованных стран.

Остальным девятистам девяноста девяти разрешается получать по две-три книги, но условия таковы, что они не всегда могут воспользоваться этим правом. Писать или делать заметки о прочитанных книгах считается опасным занятием, которому не следует предаваться. Такое сознательно неодобрительное отношение к умственному развитию представляется странным, но показательным. Если вы хотите исправить заключенного и превратить его в полезного гражданина, то необходимо обратиться к его разуму и чем-то его занять. Заключенного нужно выучить грамоте и обучить какому-нибудь ремеслу. Но такая мысль, видимо, не приходила в головы тюремных властей в Индии. В Соединенных провинциях отсутствие подобной

установки особенно бросалось в глаза. В последнее время делаются кос-какие попытки научить находящихся в тюрьме юншей и молодых людей читать и писать, но эти попытки совершенно неэффективны, а люди, которым поручено это дело, не обладают нужными знаниями. Иногда заявляют, что заключенные не хотят учиться. Мой собственный опыт говорит совсем иное, я обнаружил, что многие из них, приходившие ко мне именно с этой целью, страстно хотели научиться грамоте. Мы обычно обучали тех заключенных, с которыми нам приходилось сталкиваться, и они упорно занимались; порой, просыпаясь ночью, я с удивлением видел, что один или двое из них сидят у себя в бараке при тусклом свете фонаря, готовя урок к следующему дню.

Итак, я занимался своими книгами, переходя от одного вида литературы к другому, но обычно отдавая предпочтение «серьезным» книгам. Романы расслабляют ум, и я их мало читал. Иногда чрезмерное чтение утомляло меня, и тогда я принимался писать. Серия моих писем по истории к дочери занимала меня на протяжении всего двухгодичного срока моего заключения, и они очень помогли мне сохранить душевное равновесие. Я как бы вновь переживал прошлое, о котором писал, и почти забывал о тюремной обстановке.

Большой интерес вызывали у нас книги о путешествиях: записки путешественников древности — Сюань Цзана, Марко Поло, Иби-Баттуты и других, — а также современных авторов, таких, как Свен Гедин, странствовавший по пустыням Центральной Азии, и Рерих, которому довелось пережить необыкновенные приключения в Тибете. То же нужно сказать и об альбомах, особенно с изображениями гор, ледников и пустынь, ибо в тюрьме душа жаждет простора морей и гор. У меня было несколько прекрасных альбомов с фотографиями Монблана, Альп и Гималаев, и часто, когда температура в моей камере или бараке достигала 115° по Фаренгейту и выше, я перелистывал их и смотрел на ледники. Географический атлас тоже доставлял нам немало волнующих мгновений. Он воскрешал всевозможные воспоминания и мечты о местах, которые когда-то мы посетили, и о тех, которые хотели посетить. И у нас возникало страстное желание вновь навестить эти излюбленные в прошлом места и посетить большие города, обозначенные в атласе соблазнительными значками и точками, пересечь заштрихованные районы, изображавшие горы, и голубые пятна — моря, увидеть красоты мира и наблюдать за борьбой и конфликтами вечно изменяющегося человечества. Тоска по всему этому охватывала нас и сжимала нам горло, и тогда с печальным вздохом мы спешили закрыть атлас и возвращались к окружающим нас знакомым стенам и к тому монотонному существованию, которое вели изо дня в день.

ЖИВОТНЫЕ В ТЮРЬМЕ

Я прожил в своей маленькой камере, или комнате, в тюрьме Дехра-Дун четырнадцать с половиной месяцев и уже начал ощущать себя как бы частью ее. Мне был знаком каждый ее уголок; я знал каждое пятно и каждую царапину на ее оштукатуренных стенах и неровном полу и ее потолке с источенными червем стропилами. В маленьком тюремном дворе я приветствовал взглядом, словно старых друзей, каждый камешек и каждый кустик травы. У себя в камере я не был один, так как там находилось несколько гнезд ос и шершней, а за стропилами ютилось много ящериц, выходявших по вечерам на поиски добычи. Если верно, что наши мысли и чувства кладут свой отпечаток на окружающую обстановку, то в тюремной камере ими должен быть насыщен самый воздух и они должны цепляться за каждый предмет на этом небольшом пространстве.

В других тюрьмах у меня бывали камеры получше, но в тюрьме Дехра-Дун я имел одно преимущество, которым очень дорожил. Сама тюрьма была очень невелика, и нас поместили в старой арестантской камере вне тюремных стен, но на территории тюрьмы. Она была настолько мала, что там негде было прохаживаться, поэтому утром и вечером нам разрешали выходить и гулять перед воротами, на расстоянии примерно ста ярдов. Когда мы гуляли за каменной оградой, оставаясь при этом на территории тюрьмы, перед нами открывался вид на горы, поля и проезжую дорогу, пролежавшую на некотором расстоянии. Это не было моей особой привилегией, она распространялась в равной мере и на всех остальных заключенных классов А и В, содержащихся в тюрьме Дехра-Дун. На территории тюрьмы, но за пределами тюремных стен, находилось еще одно небольшое строение, именовавшееся европейской арестантской камерой. Оно не было обнесено стеной, и находившийся в камере человек мог видеть горы и наблюдать жизнь, протекавшую на воле. Заключенным европейцам и другим содержащимся там узникам также разрешалось гулять каждое утро и вечер перед воротами тюрьмы.

Только узник, пребывавший долгое время за высокими стенами, в состоянии понять необычайную психологическую цен-

ность этих прогулок и широких горизонтов. Я любил эти прогулки и не прекращал их даже в период муссонов, когда целыми днями шел проливной дождь и приходилось шагать по щиколотку в воде. Я был бы рад прогулке в любом месте, но зрелище возвышавшихся неподалеку Гималаев доставляло особое наслаждение, и это помогало стряхнуть с себя тюремную усталость. Мне очень повезло в том отношении, что в течение длительного времени, пока я не имел свиданий, и на протяжении многих месяцев почти полного одиночества я мог смотреть на эти горы, которые я так люблю. Из окна моей камеры горы не были видны, но душа была полна ими и я всегда ощущал их близость, и мне казалось, что между нами установилась некая тайная связь.

Умчались птицы в дальние края,
Гонимые, ушли куда-то тучи.
И мы одни: гора Чжин-цзин и я,—
И никогда друг другу не наскучим.

Боюсь, что я не могу сказать вместе с поэтом Ли Тай-бо, что никогда не уставал от вида гор; но это бывало редко, обычно же их близость приносила мне большое утешение. Громадные и невозмутимые, они взирали на меня со всей своей тысячелетней мудростью, как бы насмехаясь над изменчивостью моих настроений и успокаивая мой лихорадочно возбужденный ум.

Весна в Дехре была очень приятная и продолжалась гораздо дольше, чем внизу, в долинах. Зима сорвала листья почти со всех деревьев, и они стояли голые и обнаженные. Даже четыре великолепных дерева пипал, росших перед воротами тюрьмы, к моему большому удивлению, сбросили почти все свои листья. Они стояли сухие и печальные, пока весенний воздух не согрел их снова и не наполнял животворными соками каждую их клеточку. Внезапная дрожь пробегала по ним и по другим деревьям, и тайна окутывала их, словно где-то происходили некие неведомые процессы, и я с изумлением видел, что отовсюду выглядывают маленькие зеленые почки. Это было веселое и отрадное зрелище. А затем очень быстро появлялись миллионы листьев, сверкавших на солнце и шелестевших на ветру. Как восхитительно это внезапное превращение почки в лист!

Прежде я никогда не замечал, что молодые листья мангового дерева имеют красновато-коричневый, ржавый цвет, поразительно напоминающий осеннюю окраску кашмирских холмов. Но они быстро меняют свою расцветку и становятся зелеными.

Дожди периода муссонов всегда радовали нас, ибо они означали прекращение летней жары. Но хорошее тоже может надоесть. Дехра-Дун — одно из излюбленных обиталищ бога дождей. В течение первых пяти или шести недель периода муссонов у нас выпадало осадков до 50—60 дюймов, и было

не особенно приятно сидеть взаперти в маленьком узком помещении, стараясь укрыться от воды, капавшей с потолка или струившейся с окон.

Осень также была приятным временем года, и то же можно сказать о зиме, если не считать дождливых дней. Когда гремел гром, лил дождь и дули пронизывающие холодные ветры, несколько думалось о приличном жилище и хотелось хоть немного уюта и тепла. Иногда шел град. Градины величиной с игрушечный мраморный шарик стучали по проржавевшим железным крышам и производили страшный шум, напоминающий артиллерийский обстрел.

Особенно запомнился мне один день; это было 24 декабря 1932 года. Весь день бушевала гроза и лил дождь, и было страшно холодно. В общем это был один из самых тяжелых дней, проведенных мною в тюрьме. Но вечером внезапно прояснилось, и все мои беды исчезли при виде соседних гор и холмов, покрытых толстым слоем снега. Следующий день — день рождения — был погожий и ясный, и передо мной открывался красивый вид на покрытые снегом горы.

Лишенные возможности заниматься привычной работой, мы стали более внимательны к явлениям природы. Мы следили за различными попадавшими к нам животными и насекомыми. Став более наблюдательным, я начал замечать всевозможных насекомых, живших в моей камере или во дворике. Я понял, что в то время, когда я сетовал на одиночество, в этом дворе, казавшемся таким пустым и заброшенным, жизнь была ключом. Все эти ползающие, скачущие и летающие насекомые жили своей жизнью, нисколько не мешая мне, и я тоже не видел оснований мешать им. Только с клопами, москитами и, до некоторой степени, с мухами я вел непрерывную войну. Ос и шершней я терпел, и сотни их жили у меня в камере. Лишь раз мы слегка повздорили, когда одна из ос, мне думается — неумышленно, ужалила меня. В гневе я попытался истребить весь рой, но они храбро поднялись на защиту своего временного жилья, где у них, вероятно, были яйца, и я отказался от своего намерения и решил оставить их в покое, если они больше не будут меня трогать. После этого я свыше года жил в этой камере, окруженный осами и шершнями, но они никогда не нападали на меня, и мы уважали друг друга.

Летучих мышей я не любил, но приходилось терпеть и их. Они бесшумно летали в вечерних сумерках, и их можно было видеть на фоне темнеющего неба. Эти призрачные создания внушали мне ужас. Казалось, они пролетают у самого лица, и я всегда боялся, что они вот-вот заденут меня. Высоко в воздухе проносились большие летучие мыши — летучие собаки.

Я часами следил за муравьями, термитами и другими насекомыми. Наблюдал я и за ящерицами, которые выползали по вечерам и подкрадывались к добыче или гонялись друг за

дружкой, комично виляя хвостами. Обычно они сторонились ос, но раза два я видел, как они с величайшей осторожностью подкрадываются к осам и хватают их за головы. Я не знаю, избегали они жала намеренно или случайно.

Затем были белки, множество белок, если поблизости имелись деревья. Они были весьма храбрые и подходили к нам очень близко. В тюрьме в Лаккау я имел обыкновение подолгу читать, сидя неподвижно, и, случалось, какая-нибудь белка взбиралась ко мне на колени, садилась и оглядывалась вокруг. Но как только заглядывала мне в глаза, она внезапно осознавала, что я не дерево или не тот предмет, за который она меня приняла. На миг страх сковывал ее, а затем она пускалась наутек. Маленькие белочки иногда падали с деревьев. Мать бросалась за ними, свертывала их в комочек и уносила в безопасное место. Но иногда детеныш терялся. Один из моих товарищей подобрал трех таких заблудившихся белочек и ухаживал за ними. Они были такие крошечные, что было просто непостижимо, как же их кормить. Задача, однако, была решена довольно остроумно. Баллон от автоматической ручки, зажатый кусочком ваты, оказался прекрасным рожком.

Во всех тюрьмах, где я побывал, за исключением горной Алморской тюрьмы, было множество голубей. Их были тысячи, и вечерами они буквально застилали небо. Иногда тюремные служащие стреляли по ним и употребляли их в пищу. Были, конечно, и скворцы: их можно встретить всюду. Чета скворцов устроила себе гнездо над дверью моей камеры в Дехра-Дуи, и я их кормил. Они стали совсем ручными, и, если их утренняя или вечерняя трапеза запаздывала, они садились совсем близко от меня и громко требовали пищи. Было забавно наблюдать за их движениями и прислушиваться к их нетерпеливым голосам.

В Нанни были тысячи попугаев, и много этих птиц жило в трещинах стен моего барака. Всегда было интересно наблюдать за их ухаживаниями и любовными сценами, а иногда самцы яростно ссорились из-за какой-нибудь самки, которая спокойно ожидала исхода поединка, готовая отдать свою благосклонность победителю.

В Дехра-Дуи имелось много разных птиц, и там непрерывно слышалось пение, оживленное щебетанье и чириканье, а над всем этим гомоном поднимался жалобный зов птицы койл — кукушки. В период муссонов и непосредственно перед ним к нам залетала кукушка, называемая брейн Фивер берд, и вскоре я понял, почему ее так называют. Днем и ночью, в ясную погоду и в проливной дождь она с удивительным постоянством издавала одни и те же звуки. Большую часть этих птиц мы не видели и обычно могли только слышать, так как в нашем двореке не было деревьев. Но я следил за орлами и коршунами, которые грациозно парили высоко в небе, а иногда

бросались вниз и затем отдавались на волю воздушных течений. Часто над нашими головами проносились стаи диких уток.

В тюрьме Барейли было стадо обезьян, и за их проказами всегда было интересно наблюдать. Мне запомнился один эпизод. Маленькая обезьянка ухитрилась спуститься во двор нашего барака и не могла снова взобраться на стену. Сторож и несколько надзирателей вместе с другими заключенными поймали ее и привязали ей на шею кусок веревки. Две взрослые обезьяны (видимо, родители малыша) наблюдали за происходящим с высокой стены, и их гнев все усиливался. Внезапно одна из них, огромная обезьяна, спрыгнула вниз и бросилась в самую гущу толпы, окружавшей детеныша. Это был удивительно мужественный поступок, ибо сторож и надзиратели были вооружены палками и латхи, которыми они размахивали, и к тому же их было очень много. Безрассудное мужество восторжествовало, и испуганные люди разбежались, оставив свои палки на поле боя! Обезьянка была спасена.

Нас часто посещали и нежеланные гости. В камерах мы нередко обнаруживали скорпионов, особенно после грозы. Приходится удивляться, что ни один из них ни разу не ужалил меня, ибо я находил их в самых неподходящих местах: у себя на постели или на книге, которую я только что взял. Некоторое время я держал в бутылке одного особенно черного и ядовитого на вид скорпиона и кормил его мухами, но затем, когда я привязал его питкой к стене, ему удалось убежать. У меня не было никакого желания встретиться с ним вновь, когда он был на свободе, и поэтому я долго чистил свою камеру и пытался его обнаружить, но он исчез.

В моей камере и поблизости от нее нашли также трех или четырех змей. Об одном таком случае стало известно за стенами тюрьмы, и сообщение попало в печать. Собственно говоря, я был даже рад развлечению. Жизнь в тюрьме достаточно скучна, и там ценится все, что нарушает эту монотонность. Нельзя сказать, чтобы я любил змей или был доволен их присутствием, но они не вызывают у меня такого ужаса, как у некоторых других. Я, разумеется, боюсь их укуса и стал бы защищаться, увидев змею. Но при этом я не испытывал бы чувства отвращения или леденящего страха. Гораздо больше пугают меня сороконожки; это не столько страх, сколько инстинктивное отвращение. В Алипурской тюрьме в Калькутте я проснулся однажды ночью и почувствовал, что по моей ноге что-то ползет. Я зажег фонарь и увидел на постели сороконожку. Инстинктивно и с удивительной быстротой я выпрыгнул из кровати, едва не ударившись при этом о стену камеры. Я хорошо понял тогда, что такое условные рефлексы Павлова.

В Дехра-Дун я увидел раз неизвестное животное, или, вернее, животное, которое было не известно мне. Я стоял у ворот

тюрьмы и разговаривал с тюремным надзирателем, как вдруг мы заметили за воротами человека, который нес какое-то странное животное. Надзиратель подозвал его, и я увидел у него в руках нечто среднее между ящерицей и крокодилом — около двух футов длины, с когтями и чешуйчатой шкурой. Это странное животное, еще живое, было как бы завязано узлом, и его владелец просунул сквозь этот узел палку и весело нес его таким образом. Он называл его «бо». На вопрос надзирателя, что он намерен с этим животным делать, он ответил, широко ухмыляясь, что приготовит из него *бху-джи*. Это был лесной житель. Впоследствии из книги Ф. У. Чемпиона «The Jungle in Sunlight and Shadow» я узнал, что это животное — ящер.

Заклученные, особенно отбывающие длительные сроки, больше всего страдают от эмоциональной неудовлетворенности. Часто они стараются найти какое-то эмоциональное удовлетворение, держа при себе животных. Обыкновенному заключенному не разрешают иметь их, но заключенные, выполняющие обязанности надзирателей, пользуются несколько большей свободой, и тюремная администрация обычно не возражает против этого. Чаще всего такими любимцами были белки и, как это ни странно, мангусты. Собак в тюрьмах держать не разрешается, но кошек как будто держать можно. Как-то раз со мной подружился котенок. Но он принадлежал одному тюремному начальнику, и, когда тюремщика перевели в другое место, он забрал котенка с собой. Я скучал по нем. Хотя собак держать не разрешается, в Дехра-Дун мне иногда приходилось иметь дело с собаками. Один тюремный служащий привел собаку, а затем, когда его перевели, он ее оставил. Бедное животное стало бездомным бродягой. Оно ютилось за водосточной трубой, подбирало объедки, остававшиеся от сторожей, и обычно голодало. Так как я помещался не в самой тюрьме, то собака стала приходить ко мне за пищей. И я начал регулярно кормить ее. Потом она родила под трубой щенят. Многих из них забрали, но трое остались, и я их кормил. Один из щенков заболел собачьей чумой и доставил мне много хлопот. Я заботливо выхаживал его и иногда поднимался по десять раз в ночь, чтобы посмотреть на него. Щенок выжил, и я был рад, что мне удалось выводить его.

В тюрьме я соприкасался с животными гораздо больше, чем на воле. Я всегда любил собак и иногда держал их у себя, но я никогда не мог как следует ухаживать за ними, так как другие вопросы требовали моего внимания. В тюрьме я был рад их обществу. Индийцы обычно не любят держать комнатных животных. Удивительно, что, несмотря на их общую философию ненасилия по отношению к животным, они зачастую удивительно невнимательно и неласково относятся к ним. Даже с коровой, этим привилегированным животным, которое

многие индусы почитают и чуть ли не обожествляют и которое часто бывает причиной беспорядков, обращаются без особой заботы. Почитание и заботливость не всегда сопутствуют друг другу.

Разные страны избрали различных животных символами своих притязаний или характера: орел в Соединенных Штатах Америки и Германии, лев и бульдог в Англии, босвой петух во Франции, медведь в старой России. В какой степени эти животные влияют на формирование национального характера? В большинстве это — агрессивные, свирепые животные, хищные звери. Не удивительно, что народ, воспитанный на таких примерах, сознательно подражает им, занимает агрессивную позицию, рычит и бросается на других. Не удивительно и то, что индус должен быть кротким и незлобивым, ибо своим покровителем он избрал такое животное, как корова.

БОРЬБА

За стенами тюрьмы продолжалась борьба, и мужественные люди — мужчины и женщины, — как и прежде, оказывали мирными средствами открытое неповиновение сильному правительству, занимавшему прочное положение, хотя и знали, что им не суждено добиться победы ни в настоящее время, ни в ближайшем будущем. Непрерывавшиеся и все усиливавшиеся репрессии показывали, на чем зиждется английское владычество в Индии. Ныне все делалось открыто, и это, по крайней мере, давало нам некоторое удовлетворение. Штыки торжествовали, но какой-то крупный полководец сказал однажды, что «со штыками можно делать все что угодно, но только не сидеть на них». Лучше уж, думали мы, чтобы нами управляли подобным образом, чем продавать свои души и мириться с духовной проституцией. В тюрьме мы были физически беспомощны, но мы чувствовали, что даже тут служим своему делу и служим ему лучше, чем многие другие за стенами тюрьмы. Неужели из-за своей слабости, ради того, чтобы спасти самих себя, мы должны пожертвовать будущим Индии? Правда, жизнеспособность и силы человека ограничены узкими пределами, и многие стали калеками, умерли или вышли из рядов и даже изменили своему делу. Но дело продолжало жить, несмотря на все временные неудачи; пока идеалы оставались незапятнанными, а дух — неустрашимым, поражение было невозможно. Истинным поражением была бы измена принципу, отречение от своих прав и гнусная покорность злу. Раны, нанесенные собственной рукой, всегда заживают медленнее, чем те, которые нанес противник.

Часто наши недостатки и неблагоприятные события во внешнем мире рождали чувство усталости, и все же оставалась известная гордость нашими достижениями. Ибо наш народ вел себя поистине блестяще, и было радостно чувствовать себя бойцом этой мужественной когорты.

В эти годы движения гражданского неповиновения были сделаны две попытки провести открыто съезды Конгресса — один в Дели и другой в Калькутте. Было ясно, что съезд запрещенной организации не может проходить нормально и спо-

койно и что всякая попытка открыто провести съезд означала столкновение с полицией. Действительно, полиция разогнала оба собрания с помощью своих латхи, и много людей было арестовано. Примечательной чертой этих нелегальных собраний был тот факт, что на них съехалось много тысяч делегатов со всех концов Индии. Я был рад узнать, что на обоих этих собраниях видную роль играли представители Соединенных провинций. Моя мать также настояла на том, чтобы поехать на Калькуттский съезд, состоявшийся в конце марта 1933 года. Однако по пути в Калькутту ее арестовали вместе с пандитом Малавния и другими и продержали несколько дней в тюрьме в Асансоле. Я был удивлен тем, что, несмотря на свою хрупкость и болезненность, она проявила такую энергию и жизнеспособность. Тюрьма не страшила ее; она прошла через более тяжелые испытания. Ее сын, обе ее дочери и другие близкие ей люди проводили в тюрьме долгие годы, и опустевший дом, в котором она жила, стал для нее кошмаром.

По мере того как наша борьба шла на убыль и велась уже на более низком уровне, волнующие события происходили все реже. Поэтому я все чаще обращался мыслью к другим странам и изучал, насколько это представлялось возможным в тюрьме, положение мира, зажатого в тисках великой депрессии. Я прочел все книги по этому вопросу, какие только смог достать, и чем больше я читал, тем сильнее чтение увлекало меня. Индия с ее проблемами и борьбой оказывалась лишь частью той огромной мировой драмы, той великой борьбы политических и экономических сил, которая разворачивалась повсюду в национальном и международном масштабах. В этой борьбе мои личные симпатии все больше склонялись в сторону коммунистов.

Социализм издавна влекли меня к себе, Россия тоже привлекала меня. Многие в Советской России мне не нравятся: безжалостное подавление всех противоположных мнений, полная регламентация, ненужное (как я считал) насилие при проведении различных политических мероприятий. Но и в капиталистическом мире не было недостатка в насилии и подавлении, и я все яснее начинал понимать, что насилие является основой и фундаментом нашего стяжательского общества и собственности. Без насилия оно не могло бы долго продержаться. В самом деле, некоторая политическая свобода мало чего стоила, если страх перед голодом всегда вынуждал подавляющее большинство людей во всем мире подчиняться воле немногих к вящей их славе и выгоде.

Насилие было свойственно обоим мирам, но насилие капиталистического строя казалось внутренне присущим ему, между тем как насилие в России, каким бы плохим оно ни являлось, было направлено на создание нового строя, основанного на мире, сотрудничестве и подлинной свободе для масс. При всех своих ошибках Советская Россия преодолела огромные трудно-

сти и сделала большой шаг к созданию этого нового строя. В то время, когда остальной мир задыхался в тисках депрессии и в некоторых отношениях возвращался вспять, в советской стране на наших глазах созидался новый большой мир. Следуя заветам великого Ленина, Россия заглянула в будущее и думала только о том, что должно быть, тогда как другие страны лежали придавленные мертвой рукой прошлого и тратили свои силы на то, чтобы сохранить бесполезные реликвии минувшей эпохи. На меня, в частности, произвели сильное впечатление сообщения о больших успехах, достигнутых при советской власти в отсталых районах Средней Азии. Поэтому в конечном счете я был всецело на стороне России; существование и пример Советского Союза были светлым и отрадным явлением в темном и мрачном мире.

Но успехи или неудачи Советской России, при всем их колоссальном значении как практического опыта создания коммунистического государства, не решают вопроса о правильности теории коммунизма. Большевики могут ошибаться или даже потерпеть неудачу в силу национальных или международных причин, и все-таки коммунистическая теория может быть правильной. Исходя из этой самой теории, слепо подражать тому, что произошло в России, было бы глупо, ибо применение этой теории зависело от конкретных условий в данной стране и от стадии ее исторического развития. Кроме того, Индия, как и любая другая страна, могла извлечь для себя пользу не только из побед, но и из неизбежных ошибок большевиков. Быть может, большевики пытались двигаться слишком быстро потому, что, находясь во вражеском окружении, они опасались агрессии извне. Более медленные темпы, возможно, позволили бы избежать значительной части тех лишений, которые выпали на долю сельских районов. Но тогда вставал вопрос, можно ли, замедлив темп преобразований, добиться действительно радикальных результатов. Реформизм не мог дать решения ни одной жизненно важной проблемы в критический момент, когда надо было менять основы общественного строя, и, каким бы медленным ни было дальнейшее продвижение, первым шагом должен быть полный разрыв с существующим порядком, который выполнил свое назначение и теперь лишь тормозил дальнейшее развитие.

В Индии только революционный план позволил бы разрешить два взаимосвязанных вопроса — о земле и промышленности, равно как и почти все остальные серьезные проблемы, стоящие перед страной. «Нет более грубой ошибки, — говорит в своих «Военных мемуарах» Ллойд Джордж, — нежели попытаться перепрыгнуть пропасть в два прыжка».

Но и независимо от вопроса о России, теория и философия марксизма осветила много темных углков в моем сознании. История наполнилась для меня новым содержанием. Марксист-

ское толкование пролило на нее поток света, и она предстала передо мной в виде развертывающейся драмы, в которой имелись закономерность и цель, пусть даже и неосознанные. Несмотря на ужасающее расточительство и страдания в прошлом и настоящем, будущее было озарено надеждой, хотя впереди было еще много опасностей. Особенно привлекали меня в марксизме отсутствие в основном догматизма и научный подход. Правда, в официальном коммунизме России и других стран не было недостатка в догмах, и там часто организовывались гонения на ересь. Это казалось весьма прискорбным, но это нетрудно было понять ввиду колоссальных изменений, быстро совершавшихся в советских республиках, когда эффективная оппозиция могла бы вызвать катастрофический провал.

Великий мировой кризис и спад, казалось, подтвердили правильность марксистского анализа. В то время, когда все прочие системы и теории блуждали во тьме, один только марксизм более или менее удовлетворительно объяснил природу этого кризиса и предложил действительное решение.

По мере того как я приходил к этому убеждению, я чувствовал новый прилив энергии, и мое уныние, навеянное неудачей движения гражданского неповиновения, рассеивалось. Разве мир не двигался быстро к желанной цели? Существовали еще серьезные опасности войны и катастроф, но, во всяком случае, мы двигались. Застоя не было. Наша национальная борьба становилась этапом на долгом пути, и можно было считать, что репрессии и страдания закаляют наш народ для грядущих боев и заставляют его прислушиваться к новым идеям, которые волновали мир. Избавившись от слабых элементов, мы станем сильнее, более дисциплинированными и закаленными. Время работало на нас.

Итак, я внимательно изучал то, что происходило в России, Германии, Англии, Америке, Японии, Китае, Франции, Испании, Италии и Центральной Европе, и старался разобраться в сложном лабиринте текущих событий. Я с интересом следил за попытками каждой страны в отдельности и всех вместе выдержать бурю. Неоднократный провал попыток международных конференций найти выход из политических и экономических бедствий и решить проблему разоружения живо напомнил мне о нашей собственной маленькой, но довольно трудной проблеме — проблеме религиозных общин. При всем желании мы не смогли до сих пор разрешить эту проблему, и, несмотря на всеобщее убеждение, что провал приведет к всемирной катастрофе, крупные государственные деятели Европы и Америки не сумели поладить между собой. И в том и в другом случае подход был неверен и причастные к этому лица не осмеливались пойти правильным путем.

Размышляя над мировыми бедствиями и конфликтами, я бывал до некоторой степени о своих личных и национальных

невзгодах. Иногда я даже чувствовал прилив энергии при мысли, что живу в этот великий революционный период мировой истории. Может быть, и мне в моем уголке мира удастся сыграть какую-то небольшую роль в грядущих великих преобразованиях. Но бывали дни, когда эта атмосфера конфликтов и насилия во всем мире действовала на меня крайне угнетающе. Еще более печальное зрелище представляли собой интеллигентные люди, которые столь привыкли к человеческой деградации и рабству и души которых настолько огрубели, что они уже не возмущались страданиями, нищетой и бесчеловечностью. В этой затхлой нравственной атмосфере процветали крикливая пошлость и организованный обман, а хорошие люди хранили молчание. Тяжелым ударом было для меня торжество Гитлера и последовавший за этим коричневый террор, хоть я и утешал себя мыслью, что это не может долго продолжаться. Казалось даже, что все человеческие усилия тщетны. Слепая машина продолжала работать, и что значил в ней какой-то винтик?

Но коммунистическая теория все еще приносила мне утешение и надежду. Как ее следовало применить к Индии? Мы еще не разрешили проблему политической свободы, и националистические воззрения преобладали в наших умах. Следовало ли нам добиваться одновременно и экономической свободы, или же их нужно было осуществлять поочередно, каким бы коротким ни был между ними интервал? Мировые события, как и события в Индии, выдвигали на первый план социальный вопрос, и казалось, что проблему политической свободы уже нельзя отрывать от него.

Политика английского правительства в Индии привела к тому, что классы, реакционные в социальном отношении, оказались противниками также и политической независимости. Это было неизбежно, и я радовался, что теперь более ясно определились позиции различных классов и групп в Индии. Но осознавали ли этот факт другие? Очевидно, не многие. Правда, в некоторых больших городах существовала горстка ортодоксальных коммунистов, и они враждебно относились к национальному движению и резко критиковали его. Организованное рабочее движение, особенно в Бомбее и, в меньшей степени, в Калькутте, также было в общем социалистическим, но оно было раздроблено и страдало от депрессии. Туманные коммунистические и социалистические идеи распространялись и среди интеллигенции, даже среди интеллигентных правительственных служащих. Более молодые члены Конгресса, читавшие обычно работы Брюса о демократии, Морли, Кэйта и Мадзини, теперь читали, когда могли достать, книги о социализме и коммунизме и о России. Мирутский процесс о заговоре способствовал в значительной мере привлечению внимания народа к этим новым идеям, и мировой кризис требовал пристального внимания. Повсюду ощущались новые веяния: пытливость, сомнения и вызов

существующим институтам. Общее направление идейных устремлений было ясным, но пока это были робкие, неуверенные проявления. Кое-кто заигрывал с фашистскими идеями. Не хватало ясной и определенной идеологии. Национализм все еще оставался господствующим воззрением.

Мне казалось ясным, что до тех пор, пока не будет достигнута определенная степень политической свободы, национализм останется главной движущей силой. В силу этого Конгресс был и оставался (если не считать некоторых рабочих организаций) самой передовой организацией в Индии, а так же, безусловно, и самой влиятельной. За минувшие тринадцать лет он под руководством Гандиджи добился замечательного пробуждения масс и, несмотря на свою расплывчатую буржуазную идеологию, служил революционной цели. Он еще не исчерпал своей способности приносить пользу, и это вряд ли могло случиться, пока националистические стремления не уступят место социальным. Поэтому будущий прогресс как в области идеологии, так и в области действия должен быть в значительной мере связан с Конгрессом, хотя можно будет использовать и другие пути.

Таким образом, мне казалось, что бросить Конгресс означало порвать с жизненными стремлениями нации, притупить самое мощное оружие, которым мы обладали, и, быть может, растратить свои силы в бесплодном авантюризме. И все же можно ли было рассчитывать, что Конгресс, в своем нынешнем виде, согласится когда-нибудь на действительно радикальное решение социального вопроса? Если бы перед ним была поставлена такая проблема, это привело бы к его неизбежному расколу на две или более части или, по меньшей мере, от него отошли бы большие группы. Само по себе такое решение не могло бы вызвать возражения, если бы в результате этой проблемы стали яснее и какая-то сплоченная группа, большинство или меньшинство Конгресса, выступила за радикальную социальную программу.

Но в настоящий момент Гандиджи олицетворял Конгресс. Что он предпримет? В идеологическом отношении он бывал иногда поразительно отсталым, и все же в практических действиях он был величайшим в Индии революционером современности. Он был своеобразной личностью, и к нему нельзя было подходить с обычной меркой или применять обычные законы логики. Но поскольку в глубине души он был революционером и посвятил себя борьбе за политическую независимость Индии, то впредь до достижения этой независимости он неизбежно должен был занимать непримиримую позицию. А попутно он высвободил бы колоссальную энергию масс и стал бы сам, как я отчасти надеялся, шаг за шагом продвигаться к социальной цели.

Ортодоксальные коммунисты в Индии и за ее пределами на протяжении многих лет резко критиковали Гандиджи и Кон-

гресс и приписывали лидерам Конгресса всевозможные низменные побуждения. Их критика идеологии Конгресса была в значительной мере умелой и острой, и их правота была отчасти подтверждена последующими событиями. Некоторые более ранние высказывания об общеполитическом положении в Индии, сделанные коммунистами, оказались на редкость правильными. Но едва они отходят от общих принципов и начинают вдаваться в детали и особенно когда они переходят к рассмотрению роли Конгресса, они безнадежно запугиваются. Одна из причин малочисленности и слабого влияния коммунистов в Индии заключается в том, что, вместо того чтобы распространять в Индии научную теорию коммунизма и стараться завоевать умы людей, они главным образом занимаются тем, что ругают других. Такая тактика обратилась против них самих и причинила им большой вред. Большинство из них привыкло работать в рабочих районах, где для того, чтобы привлечь на свою сторону рабочих, обычно бывает достаточно нескольких лозунгов. Но интеллигенту мало одних лозунгов, а коммунисты еще не осознали, что в современной Индии самой революционной силой является интеллигенция, связанная со средними классами. Чуть ли не вопреки воле ортодоксальных коммунистов коммунизм привлек многих интеллигентов, но даже и в этом случае между теми и другими существует пропасть.

По словам коммунистов, лидеры Конгресса поставили своей целью добиться, чтобы под давлением масс правительство пошло в интересах индийских капиталистов и земледельцев на уступки в области промышленности и торговли. Задача Конгресса состоит в том, чтобы «использовать экономическое и политическое недовольство крестьянства, низших слоев средних классов и промышленного рабочего класса в интересах фабрикантов и финансистов Бомбея, Ахмадабада и Калькутты». Предполагается, что индийские капиталисты сидят за кулисами и приказывают Рабочему комитету Конгресса сначала организовать массовое движение, а затем, когда оно станет слишком широким и опасным, прекратить его или совлечь с прямого пути. Далее, оказывается, что лидеры Конгресса в действительности не хотят ухода англичан, ибо англичане нужны, чтобы держать в узде и эксплуатировать голодающее население, а индийский средний класс не чувствует себя способным на это.

Удивительно, что такие способные люди, как коммунисты, верят в правильность этого фантастического анализа, но, поскольку они, повидимому, верят этому, не приходится удивляться, что они терпят в Индии столь большую неудачу. Главная их ошибка состоит, повидимому, в том, что они подходят к индийскому национальному движению с меркой европейского рабочего движения и, помня о том, что рабочие лидеры не раз предавали рабочее движение, переносят это по аналогии на Индию. Индийское национальное движение, безусловно, не

является рабочим или пролетарским движением. Это буржуазное движение, как о том говорит само его название, и до сих пор его целью было не изменение общественного строя, а достижение политической независимости. Можно критиковать эту цель, считая, что она идет недостаточно далеко, да и самый национализм можно осудить как устарелый. Но, приемля основы этого движения, глупо заявлять, что его лидеры предают массы, поскольку не пытаются разрушить систему землевладения или капиталистическую систему. Они никогда и не претендовали на это. Часть конгрессистов — и таких становится все больше — хочет изменить систему землевладения и капиталистическую систему, но эти конгрессисты не могут говорить от имени Конгресса.

Правда, индийские капиталистические классы (не крупные заминдары и талукдары) немало выгадали в результате национального движения, благодаря бойкоту английских и других иностранных фирм и тому толчку, который оно дало свадеши. Это было неизбежно, поскольку всякое национальное движение поощряет отечественную промышленность и проповедует бойкоты. На самом же деле фабричная промышленность Бомбея в целом во время кампании гражданского неповиновения и когда мы проповедовали бойкот английских товаров имела смелость заключить договор с Ланкаширом. С точки зрения Конгресса, такой поступок был тяжкой изменой национальному делу, и так он и был расценен. Кроме того, представитель бомбейских фабрикантов в Законодательном собрании усердно поносил Конгресс и «экстремистов» в то самое время, когда большинство из нас находилось в тюрьме.

Даже с конгрессистской и националистической точек зрения, роль, которую сыграли в Индии за последние годы многие капиталистические элементы, была скандальной. Оттавское соглашение, возможно, принесло временную выгоду некоторым немногочисленным группам, но оно причинило ущерб интересам индийской промышленности в целом и поставило ее в еще большую зависимость от английского капитала и промышленности. Оно было вредно для масс и было заключено в то время, когда наша борьба еще продолжалась и тысячи людей находились в тюрьме. Каждый доминион вырвал у Англии самые тяжелые условия, но на долю Индии выпала честь чуть ли не преподнести ей подарок. Кроме того, в течение последних лет финансовые авантюристы спекулировали золотом и серебром за счет Индии.

Что касается крупных заминдаров и талукдаров, то на Конференции круглого стола они полностью выступили против Конгресса и на протяжении всего движения гражданского неповиновения открыто и вызывающе находились на стороне правительства. Именно с их помощью правительство провело в ряде провинций репрессивные законы, воплощавшие дух специаль-

ных указов. А в законодательном совете Соединенных провинций огромное большинство заминдаров голосовало против освобождения из тюрем участников движения гражданского неповиновения.

Столь же ошибочно и утверждение, будто в 1921 и 1930 годах Гандиджи был вынужден под давлением масс начать наступательное по видимости движение. Разумеется, народные массы были охвачены волнением, но в обоих случаях тон задавал Гандиджи. В 1921 году он почти единолично повел за собой Конгресс и побудил его начать движение несотрудничества. В 1930 году было бы совершенно невозможно организовать сколько-нибудь активное и действенное движение, если бы он хоть в какой-либо степени выступил против этого.

Столь глупая критика личного характера, свидетельствующая о полной неосведомленности,— явление весьма прискорбное, ибо она отвлекает внимание от подлинных проблем. Ставить под сомнение *bona fide* Гандиджи значит вредить самому себе и своему делу, ибо для миллионов индийцев он является олицетворением истины, и всякий, кто сколько-нибудь знает его, понимает, с какой страстной искренностью он всегда стремится поступать справедливо.

Коммунисты в Индии связаны с промышленными рабочими больших городов. Они плохо знакомы и мало соприкасаются с сельскими районами. Промышленные рабочие при всем их значении в настоящее время и, вероятно, еще большем значении в будущем могут играть лишь второстепенную роль по сравнению с крестьянами, ибо сейчас главной проблемой в Индии является проблема крестьянства. С другой стороны, работники Конгресса действуют во всех сельских районах, и, если все пойдет обычным путем, Конгресс должен превратиться в широкую крестьянскую организацию. Крестьяне редко сохраняют революционный дух после того, как достигнута их ближайшая цель, и вполне вероятно, что когда-нибудь в будущем в Индии также возникнет обычная проблема города и деревни, промышленного рабочего и крестьянина.

Мне выпала честь быть очень тесно связанным с большим числом лидеров и работников Конгресса, и я не мог бы и мечтать о лучшем окружении. И все же я расходился с ними во взглядах на жизненно важные вопросы и часто бывал несколько обескуражен, обнаруживая, что они не ценят или не понимают чего-то, что мне казалось совершенно очевидным. Это объяснялось не недостатком ума,— просто мы руководствовались различными идеологическими воззрениями. Я создавал, как трудно сразу перешагнуть эти границы. Они представляют различные мировоззрения, и мы проникаемся ими постепенно и бессознательно. Нет смысла винить противную сторону. Социализм связан с определенным психологическим подходом к жизни и ее проблемам. Это нечто большее, нежели просто логика. Наряду

с этим существуют и другие подходы, основанные на унаследованных взглядах, воспитании, на незримом влиянии прошлого и окружающей среды. Только сама жизнь с ее горькими уроками толкает нас на новые пути и в конечном счете, что намного труднее, изменяет наш образ мыслей. Быть может, мы могли бы сами содействовать этому процессу. А может быть,

Судьбу свою мы часто там встречаем,
Где избежать ее предполагаем.

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?

В сентябре 1932 года одно событие, словно разорвавшаяся бомба, внезапно нарушило наше мирное и монотонное существование в тюрьме. Пришло известие, что Гандиджи «объявил голодовку и решил обречь себя на голодную смерть» в знак своего неодобрительного отношения к решению о представительстве религиозных общин, проведенному Рамсеем Макдональдом, предоставившим угнетенным кастам отдельные избирательные курии. Как он умел потрясать людей! Множество мыслей появилось внезапно у меня в голове, я предвидел самые различные возможности и случайности, и это полностью нарушило мое душевное равновесие. Два дня я блуждал во тьме, не видя ни малейшего просвета; сердце у меня замирало, когда я думал о некоторых возможных результатах поступка Гандиджи. Довольно большую роль здесь играл личный момент, и я с тоской думал, что, может быть, не увижу его больше. Последний раз я видел его более года назад на борту судна, направлявшегося в Англию. Неужели это была последняя встреча?

Кроме того, мне было досадно, что для своей последней жертвы он выбрал какую-то побочную проблему — всего лишь вопрос об избирательных куриях. Как это отразится на нашем освободительном движении? Не отойдут ли более важные вопросы на задний план, во всяком случае на время? А если он достигнет своей непосредственной цели и добьется того, что угнетенные касты будут включены в общую курию, то не вызовет ли это известную реакцию и такое чувство, будто что-то уже достигнуто и некоторое время нет необходимости делать что-либо еще? И не был ли его поступок в какой-то мере признанием решения о представительстве религиозных общин и отчасти согласием с ним и с общими планами правительства? Было ли это совместимо с несотрудничеством и гражданским неповиновением? Неужели после стольких жертв и мужественных усилий нашему движению суждено было пойти на убыль и превратиться в нечто незначительное?

Меня сердил его религиозный и сентиментальный подход к политическому вопросу и его частые ссылки на бога в связи с этим. Он даже как будто намекал, что бог указал ему время голодовки. Какой ужасный пример он подавал!

А если Бапу умрет! Что тогда будет с Индией? Как будет развиваться ее политическая жизнь? Будущее казалось мрачным и упылым, и, когда я думал о нем, сердце мое сжималось от отчаяния.

Так думал я, и в душе у меня царили смятение, и гнев, и безнадежность, и любовь к тому, кто был причиной всей этой сумятицы. Я вряд ли знал, что следует делать, и был раздражителен и недоволен всеми и больше всего самим собой.

А потом со мной произошло нечто странное. Я пережил настоящий душевный кризис, и к концу его я чувствовал себя спокойнее и будущее уже не казалось мне столь мрачным. Бапу обладал удивительным даром поступать правильно в соответствующий психологический момент, и, быть может, его поступок — хотя и совершенно неоправданный с моей точки зрения — приведет к большим результатам не только в той узкой сфере, которой он был ограничен, но и в более широких областях нашей национальной борьбы. И даже если Бапу умрет, наша борьба за свободу будет продолжаться. Поэтому, что бы ни случилось, к этому нужно быть готовым. Решив непоколебимо встретить даже смерть Гандиджи, я почувствовал себя спокойным и хладнокровным и был готов смотреть в лицо миру и всему тому, что он может сулить.

Затем пришли известия о колоссальном брожении по всей стране; чудодейственная волна энтузиазма охватила индусское общество, и неприкасаемость была, казалось, обречена. Каким волшебником, думал я, был этот маленький человек, сидевший в тюрьме Иеравды, и как хорошо он умел затронуть струны человеческого сердца!

Я получил от него телеграмму. Это была первая весточка, дошедшая ко мне от него со времени моего осуждения, и мне было приятно получить от него известие после столь долгого перерыва. В этой телеграмме он писал:

«В течение всех этих дней страданий Вы стоите перед моим мысленным взором. Очень хочу знать Ваше мнение. Вы знаете, как я ценю Ваше мнение. Видел Инду (и) детей Сварупы. У Инды счастливый и более здоровый вид. Чувствую себя очень хорошо. Телеграфируйте ответ. Шлю свою любовь».

Было удивительно и в то же время характерно для него, что, испытывая страдания, вызванные голодовкой, и несмотря на все свои многочисленные заботы, он не забыл о свидании с ним моей дочери и детей моей сестры и даже упомянул о том, что Индира поправилась! (Моя сестра также находилась в это время в тюрьме, и все ее дети находились в школе в Пуне.) Он никогда не забывает о так называемых мелочах жизни, которые в действительности значат столь много.

Одновременно до меня дошли вести, что по вопросу об избирательных куриях достигнута какая-то договоренность. Смотри-

тель тюрьмы был так добр, что позволил мне послать ответ Гандиджи, и я отправил ему следующую телеграмму:

«Ваша телеграмма и краткие известия о том, что достигнуто какое-то урегулирование, доставили мне облегчение и радость. Первые известия о принятом Вами решении объявить голодовку вызвали душевные страдания и смятение, но в конечном счете оптимизм восторжествовал, и я вновь обрел душевный мир. Никакая жертва не является слишком большой, если она принесена ради угнетенных, обездоленных каст. О свободе нужно судить по степени свободы самых низших, но я опасаясь, как бы другие проблемы не отодвинули на задний план единственную цель. Не могу судить об этом с религиозной точки зрения. Опасаюсь, что Ваши методы могут быть использованы другими; но как я могу брать на себя смелость давать советы волшебнику. Шлю свою любовь».

Люди, собравшиеся в Пуне, подписали «пакт», и английский премьер-министр принял его с необычной поспешностью, соответственно изменив свое прежнее решение, и голодовка была прекращена. Такого рода пакты и соглашения были мне очень не по душе, но я приветствовал Пунский пакт независимо от его содержания.

Возбуждение улеглось, и мы вернулись к своему монотонному тюремному существованию. К нам доходили вести о движении в защиту хариджанов и о той деятельности, которую Гандиджи осуществлял, находясь в тюрьме, и меня они не очень радовали. Не было никакого сомнения в том, что не столько пакт, сколько горячий энтузиазм, охвативший всю страну, дал огромный толчок движению за ликвидацию неприкасаемости и за улучшение участи несчастных угнетенных каст. Это следовало приветствовать. Но было столь же очевидно, что движение гражданского неповиновения пострадало. Внимание страны было отвлечено другими проблемами, и многие работники Конгресса занялись вопросом о хариджанах. Вероятно, большинство этих людей искало предлога для того, чтобы вернуться к более безопасной деятельности, которая не грозила тюрьмой или, что еще хуже, ударами латхи и конфискацией имущества.

Это было естественно, и было бы несправедливо требовать, чтобы тысячи наших работников всегда были готовы к тяжелым страданиям, разорению и уничтожению их домашних очагов. Но все же зрелище этого медленного затухания нашего большого движения было мучительным. Однако движение гражданского неповиновения все еще продолжалось и время от времени принимало форму массовых демонстраций, как о том свидетельствовал, например, Калькуттский съезд Конгресса в марте — апреле 1933 года. Гандиджи находился в тюрьме Иеравда, но ему было предоставлено право встречаться с людьми и давать руководящие указания в связи с движением в защиту хариджанов. Это

несколько ослабляло острую боль, вызванную фактом его пребывания в тюрьме. Меня все это угнетало.

Много месяцев спустя, в начале мая 1933 года, Гандиджи начал свою двадцатидневную голодовку. Первые известия об этом снова потрясли меня, но я принял это как неизбежное и приучил себя к этой мысли. Я даже сердился, что некоторые уговаривали его отказаться от своего намерения после того, как он уже принял свое решение и во всеулышание заявил о нем. Для меня голодовка была чем-то непостижимым, и, если бы моего мнения спросили до того, как такое решение было принято, я, несомненно, высказался бы решительно против этого. Но я придавал большой вес слову Гандиджи, и мне казалось, что было бы неправильно убеждать его нарушить это слово в личном вопросе, имевшем для него величайшее значение. Поэтому, несмотря на все свое огорчение, я примирился с этим.

За несколько дней до пачала голодовки он написал мне характерное для него письмо, которое меня очень растрогало. Так как он просил ответить, я послал ему следующую телеграмму:

«Отвечаю на Ваше письмо. Что я могу сказать о вопросах, в которых я не разбираюсь. Я чувствую себя затерянным в чужой стране, где Вы — единственная знакомая вежа, и я пытаюсь нащупать свой путь во тьме, но спотыкаюсь. Что бы ни случилось, моя любовь и мысли будут с Вами».

Я старался побороть в себе крайнее недовольство его поступком и не хотел задеть его. Однако я чувствовал, что направил ему не очень бодрое послание, а ведь теперь, когда он собирался приступить к своему ужасному испытанию, которое могло привести даже к смерти, мне следовало бы, насколько я мог, приободрить его. Мелочи отражаются на душевном состоянии, а ему, чтобы выжить, понадобилось бы напрячь все силы. Я чувствовал также, что мы должны мужественно встретить все, что бы ни случилось, даже его смерть, если, к несчастью, это произойдет. Поэтому я отправил ему вторую телеграмму:

«Ныне, когда Вы приступили к вашему великому предприятию, позвольте мне лишний раз послать Вам выражение любви и привета и заверить Вас в своем убеждении, что в любом случае все будет хорошо, и что бы ни случилось, Вы победите».

Он перенес голодовку. В первый ее день он был выпущен из тюрьмы, и, по его совету, движение гражданского неповиновения было прекращено на шесть недель.

Снова я наблюдал за эмоциональным подъемом, охватившим страну во время голодовки, и я все больше задумывался над тем, является ли это правильным методом в политике. Это, казалось, было чистейшим религиозным экстазом, и логическое мышление не в силах было противостоять ему. Вся Индия или большая ее часть с благоговением взирала на Махатму и ожидала, что он будет совершать чудо за чудом, положит конец неприкасаемости, добьется свараджа и т. п., — а сама делала

весьма мало! Да и Гандиджи не поощрял других думать; он настаивал лишь на чистоте и самопожертвовании. Я чувствовал, что, несмотря на сильную эмоциональную привязанность к нему, я все дальше отхожу от него в духовном отношении. В своей политической деятельности он довольно часто руководствовался своим безошибочным инстинктом. У него было особое чутье на действие, но правильно ли было воспитывать нацию с помощью веры? На протяжении какого-то времени это могло оправдывать себя, но было ли это верно в конечном счете?

Мне было непонятно также, как он может мириться — а он, повидимому, мирился — с нынешним социальным порядком, который был основан на насилии и противоречиях. Во мне также бушевала борьба, и меня раздирали противоречивые привязанности. Я знал, что, как только я лишусь той принудительной защиты, которую давала тюрьма, меня ждет много бед. Я чувствовал себя одиноким и бесприютным, и Индия, которой я отдал свою любовь и ради которой я трудился не покладая рук, казалась мне чужой и непонятной. По своей ли вине я не мог приобщиться к духу и образу мыслей моих соотечественников? Я чувствовал, что даже между мной и моими ближайшими сподвижниками встала незримая преграда, и, огорчаясь своей неспособностью преодолеть ее, я замыкался в себе. Казалось, ими завладел старый мир, мир ушедших в прошлое идеологий, мир надежд и стремлений. Новый же мир был еще очень далек.

Меж двух миров, затерянный, стою:

Один уж мертв, другой же не родился,

И негде преклонить мне голову свою.

Индия считается прежде всего религиозной страной, и индусы, мусульмане, сикхи и другие гордятся своими религиями и доказывают их истинность, проламывая друг другу головы. Зрелище того, что в Индии и других странах зовется религией или, во всяком случае, официальной религией, вселяло в меня ужас, и я часто осуждал ее и не желал иметь с ней ничего общего. Она, видимо, почти всегда олицетворяет слепую веру и реакцию, догму и идолопоклонство, суеверие и эксплуатацию и сохранение привилегированных групп. И все же я хорошо знал, что в ней было что-то еще, нечто такое, что отвечало сокровенным чаяниям человеческих существ. Иначе как она могла быть столь большой силой и приносить мир и утешение бесчисленным страждущим душам? Был ли этот мир лишь тем прибежищем, которое дает слепая вера и отсутствие сомнений, спокойствием людей, находящихся в тихой гавани, укрытой от бурь, бушующих в открытом море, или же то было нечто большее? В некоторых случаях это, несомненно, было чем-то большим.

Но официальная религия наших дней, каково бы ни было ее прошлое, является в значительной мере пустой формой, лишенной реального содержания. Г. К. Честертон сравнил ее (не свою

собственную религию, а другие!) с окаменелостью, которая воссоздает лишь *форму* животного, или с организмом, полностью лишившимся своего органического вещества, но сохранившим его очертания, ибо он был заполнен какой-то совершенно иной субстанцией. И даже в тех случаях, когда в религии сохраняется что-нибудь ценное, оно бывает погребено под иным и притом вредным содержанием.

Это, видимо, и случилось как с западными, так и с нашими восточными религиями. Пожалуй, самым наглядным примером религии, которую нельзя назвать религией в истинном смысле этого слова, является англиканская церковь. Отчасти это приложимо ко всем разновидностям протестантских церквей, но англиканская церковь, вероятно, пошла дальше, потому что она с давних пор стала политическим орудием в руках государства¹.

Многие из ее последователей, несомненно, отличаются благородством, но все же эта церковь удивительно ревностно служила целям английского империализма и дает как капитализму, так и империализму оправдание с моральной и религиозной точек зрения. Прикрываясь высшими этическими нормами, она пыталась оправдать хищническую политику англичан в Азии и Африке и внушила англичанам удивительное и завидное чувство своей неизменной правоты. Церковь ли помогла выра-

¹ В Индии англиканская церковь почти неотличима от правительства. Оплачиваемые государством (из индийских доходов) священники и капелланы являются, подобно высшим правительственным чиновникам, символами имперской власти. Церковь в целом представляет в индийской политике консервативную и реакционную силу и обычно противостоит реформам и прогрессу. Рядовой миссионер, как правило, паразитически невежественен в вопросах истории и культуры Индии и не дает себе ни малейшего труда узнать, что они собой представляли или представляют. Он занимается обличением грехов и проступков язычников. Разумеется, имеется много прекрасных исключений. У Индии нет друга, более преданного, нежели Чарли Эндрюс; горячая любовь, самоотверженность и исключительное дружелюбие завоевали ему в Индии большую любовь. В Пунском христианском обществе Сева Сангх есть несколько благородных англичан, чья вера помогла им принимать и служить, а не только снисходить, и которые отдали все свои дарования бескорыстному служению индийскому народу. Имеется и много других английских священников, о которых в Индии вспоминают с благодарностью.

12 декабря 1934 года в палате лордов выступил архиепископ Кентерберийский. Упомянув о преамбуле к плану конституционных реформ Монтегю — Челмсфорда от 1919 года, он сказал, что, «как ему иногда кажется, великая декларация была сделана несколько поспешно», и высказал предположение, что «это был один из поспешных великодушных жестов, сделанных после войны», но что «от поставленной цели уже нельзя отказаться». Примечательно, что глава англиканской церкви придерживается столь крайне консервативных взглядов на индийскую политику. Мероприятия, которые индийская общественность считала совершенно недостаточными и которые в силу этого привели к движению несотрудничества со всеми его последствиями, архиепископ рассматривает как «поспешные и великодушные». С точки зрения английских правящих классов, это удобная доктрина, и нет никакого сомнения в том, что эта уверенность в собственном великодушии и даже в опрометчивости должна порождать чувство праведного удовлетворения.

ботать эту позицию самодовольной праведности, или же она сама является ее продуктом — я не знаю. Другие, менее удачливые страны европейского континента и Америки часто обвиняют англичан в лицемерии — недаром Англию издавна зовут *коварным Альбионом*, — по это обвинение, вероятно, порождено завистью к успехам англичан, и, несомненно, ни одна империалистическая держава не имеет права бросить камень в Англию, ибо их собственное прошлое также не безупречно. Ни одна нация, которая сознательно лицемерит, не могла бы обладать таким запасом силы, какую неоднократно проявляли англичане, и исповедуемая ими разновидность религии, очевидно, помогла им в этом, притупив их моральную чувствительность в тех случаях, когда затрагиваются их собственные интересы. Другие народы и нации часто вели себя гораздо хуже англичан, но им никогда не удавалось в такой же степени превращать в добродетель то, что служит их выгоде. Все мы удивительно легко замечаем соломинку в чужом глазу и не видим бревна в своем собственном, но, пожалуй, англичане особенно отличаются в этом отношении¹.

Протестантство старалось приспособиться к новым условиям и хотело взять лучшее от обоих миров. В том, что касается этого мира, это ему блестяще удалось, но, с религиозной точки зрения, оно, как официальная религия, оказалось на Западе между двух стульев, и религия постепенно уступила место сентиментальности и крупному бизнесу. Католицизм избежал этой участи, так как он держался за старый стул, и до тех пор, пока этот стул стоит, католическая религия будет процветать. В настоящее время она, видимо, является на Западе единственной живой религией в узком смысле слова. Один мой друг католик прислал мне в тюрьму много книг о католицизме и папские энциклики, и я с интересом прочел их. Изучая их, я понял тайну воздействия, которое он оказывает на столь многих людей. Подобно исламу и распространенной форме индуизма, католицизм предложил надежное прибежище от сомнений и душевного разлада, уверенность в загробной жизни, которая вознаградит за невзгоды этой жизни.

Но поиски тихой гавани не для меня. Я предпочитаю открытое море со всеми его бурями и ураганами. Не очень интересуется

¹ Недавно я познакомился с еще одним примером того, как англиканская церковь косвенно влияет на политику в Индии. На одной конференции индийских христиан в Соединенных провинциях, состоявшейся в Канпуре 7 ноября 1934 года, председатель комиссии по приему Э. В. Дэвид заявил: «Наша религия обязывает нас, как христиан, хранить верность королю, который является защитником нашей веры». Это неизбежно означало поддержку английского империализма в Индии. Далее Дэвид выразил свое сочувствие некоторым взглядам «твердолобых» консервативных элементов в Англии на Индийскую гражданскую службу, полицию и проект конституции в целом, который, по их словам, может поставить под угрозу положение христианских миссий в Индии.

меня и потусторонняя жизнь, то, что происходит после смерти. Я нахожу, что проблемы этой жизни достаточно увлекательны, чтобы полностью занять мой ум. Меня привлекает традиционное китайское воззрение, этическое в своем существе и все же иррелигиозное или окрашенное религиозным скептицизмом, хотя я могу и не соглашаться с его применением к жизни. Меня интересует в данном случае *Дао*, путь, которым нужно следовать и который определяет образ жизни; как нужно понимать жизнь, не отвергать, а принимать ее, приспособливаться к ней и улучшать ее. Но обычное религиозное мировоззрение не интересуется здешним миром. Мне оно кажется врагом ясного мышления, ибо оно основано не только на безропотном принятии неких твердых и неизменных теорий и догм, но также и на чувствах, эмоциях и страстях. Оно очень далеко от всего, что я считаю духовным, и сознательно или бессознательно закрывает глаза на действительность, ибо действительность может и не соответствовать предвзятым представлениям. Оно узко и нетерпимо по отношению к другим мнениям и идеям; оно эгоцентрично и эгоистично, и часто корыстолюбцы и оппортунисты используют его.

Это не означает, что среди религиозных людей не было и не бывает часто людей высоко нравственных и одухотворенных. Но это означает, что религиозное мировоззрение не помогает, а, напротив, препятствует моральному и духовному развитию народа, если судить о морали и духовном развитии по нормам этого мира, а не потустороннего. Обычно религия превращается в идущие вразрез с интересами общества поиски Бога или Абсолюта, и религиозный человек гораздо больше занят собственным спасением, чем благом общества. Мистик старается избавиться от собственного *я*, и в процессе этого обычно становится одержимым этим *я*. Моральные нормы не имеют отношения к социальным запросам, а основаны на весьма метафизической доктрине о грехе. Официальная религия неизменно превращается в организацию, преследующую своекорыстные интересы, и таким образом неизбежно становится реакционной силой, противостоящей изменениям и прогрессу.

Хорошо известно, что христианская церковь в раннюю эпоху не помогла рабам улучшить свое социальное положение. В средневековой Европе рабы стали крепостными в силу экономических условий. Какой позиции придерживалась церковь каких-нибудь двести лет назад (в 1727 году), хорошо видно из письма, написанного лондонским епископом рабовладельцам в южных колониях Америки¹.

«Христианство и исповедание евангелия,— писал епископ,— нисколько не меняют общественного состояния или каких бы

¹ Это письмо цитируется Рейнгольдом Нибуром в «*Moral Man and Immoral Society*» (стр. 78) — книге, весьма интересной и поучительной.

то ни было обязанностей, связанных с отношениями в обществе; во всех этих отношениях оно оставляет людей в том же состоянии, в каком оно их застало. Свобода, даруемая христианством, есть свобода от уз греха и сатаны и от власти человеческих вожделений, страстей и неумеренных желаний; что же касается их внешнего положения, то — кем бы они ни были раньше, рабами или свободными, — крещение и превращение их в христиан несколько не меняет этого».

В наше время ни одна официальная религия не станет высказываться столь откровенно, но ее отношение к собственности и к существующему общественному строю будет в сущности таким же.

Как известно, слова сами по себе являются весьма несовершенным средством общения, и часто их понимают весьма по-разному. Но ни одно слово ни в одном языке не толкуется, вероятно, столь различно разными людьми, как слово «религия» (или соответствующие слова на других языках). По всей вероятности, нельзя найти таких двух лиц, у которых, когда они услышат или прочтут это слово, возникали бы одни и те же мысли и образы. Это могут быть мысли и образы, связанные с обрядами и церемониями, священными книгами, человеческим обществом, определенными догмами, нормами морали, благоговением, любовью, страхом, ненавистью, благотворительностью, самопожертвованием, аскетизмом, постом, пышными трапезами, молитвами, древней историей, бракосочетанием, смертью, потусторонним миром, беспорядками и разбитыми головами и т. п. Помимо того, что это разнообразие образов и толкований порождает колоссальную путаницу, почти неизменно наступает и сильная эмоциональная реакция, которая делает невозможным хладнокровный подход к вещам. Слово «религия» утратило какой-либо определенный смысл (если оно когда-нибудь имело) и лишь вызывает путаницу и порождает нескончаемые дебаты и споры, в ходе которых его довольно часто истолковывают совершенно по-разному. Было бы гораздо лучше, если бы это слово вообще исключили из употребления и использовали взамен другие слова, имеющие более ограниченный смысл, как, например: теология, философия, мораль, этика, духовность, метафизика, долг, обрядность и т. д. Даже и эти слова достаточно расплывчаты, но все же они имеют значительно более ограниченный смысл, нежели слово «религия». Это дало бы большое преимущество, поскольку эти слова еще не вызывают столько страстей и эмоций, как слово «религия».

Итак, что же такое религия (если употреблять это явно неудачное слово)? Вероятно, она выражается во внутреннем развитии личности, эволюции ее сознания в определенном направлении, которое считается хорошим. О том, каково именно это направление, опять-таки можно спорить. Но, насколько я

понимаю, религия делает упор на этом внутреннем изменении и внешние изменения считает лишь отражением внутреннего развития. Нет никакого сомнения, что это внутреннее развитие оказывает сильнейшее влияние на внешнюю среду. Но столь же очевидно, что внешняя среда в свою очередь сильнейшим образом влияет на внутреннее развитие. Они находятся во взаимодействии. Широко известно, что на современном промышленном Западе внешнее развитие далеко обогнало внутреннее, но отсюда вовсе не следует, как, видимо, считают многие на Востоке, что если мы отстали в промышленном отношении и наше внешнее развитие шло медленно, то тем самым гораздо интенсивнее шла наша внутренняя эволюция. Это одна из тех иллюзий, в которых мы пытаемся найти утешение и преодолеть присущее нам чувство неполноценности. Вполне возможно, что отдельные лица в состоянии подняться над обстоятельствами и средой и достичь в своем внутреннем развитии больших высот. Но для внутренней эволюции больших групп и наций необходима известная степень внешнего развития. Человек, который является жертвой экономических обстоятельств и которого ограничивает и связывает борьба за существование, очень редко может достичь сколько-нибудь высоких ступеней внутреннего сознания. Угнетаемый и эксплуатируемый класс не может развиваться внутренне. Нация, падающая в политическом и экономическом подчинении у другой нации и подвергающаяся притеснениям, ограничениям и эксплуатации, не может развиваться внутренне. Таким образом, внешняя свобода и соответствующая среда становятся необходимыми элементами даже для внутреннего развития. При попытке достичь этой внешней свободы и изменить окружающую среду, чтобы устранить тем самым все преграды на пути внутреннего развития, желательно выбирать такие средства, чтобы не нанести ущерб истинной цели. Мне думается, Гандиджи имеет в виду нечто подобное, когда он говорит, что средства важнее цели. Но эти средства должны способствовать достижению цели, ибо в противном случае они представляют собой напрасную трату сил и могут даже вызвать еще больший упадок, как внешний, так и внутренний.

«Человек не может жить без религии,— писал где-то Гандиджи.— Есть люди, которые в гордыле заявляют, что им нет никакого дела до религии. Но это все равно, как если бы человек сказал, что он дышит, но у него нет носа». Далее он заявляет: «Моя любовь к истине привела меня в область политики; и я могу сказать без малейших колебаний и в то же время со всем смиреннием, что люди, утверждающие, будто религия не имеет никакого отношения к политике, не знают, что означает религия». Может быть, было бы правильнее, если бы он сказал, что большинство тех людей, которые хотят исключить религию из жизни и политики, понимают под словом «религия» нечто совсем иное, нежели он. Ясно, что Гандиджи употребляет

это слово в определенном смысле — вероятно, в большей мере этическом и моральном, чем в каком-либо ином, — а не в том, в каком употребляют его критики религии. Это употребление одного и того же слова, в которое вкладывают различный смысл, еще больше затрудняет взаимопонимание.

Одно из самых последних определений религии, с которым не согласятся религиозные люди, принадлежит Джону Дьюи. По его словам, религия — это «все то, что вносит истинную перспективу в разрозненные и изменчивые эпизоды существования»; или, как он говорит далее, «всякая деятельность, проводимая во имя идеальной цели вопреки препятствиям и несмотря на угрозу личных потерь, в силу убежденности в ее общей и непреходящей значимости является в своей сущности религиозной». Если это и есть религия, то тогда, конечно, никто не будет возражать против нее.

Ромен Роллан также подчеркнул такое значение религии, которое, вероятно, приведет в ужас ортодоксальных представителей официальных религий. В своем «Жизнеописании Рамкришны» он заявляет:

«...Многие души, свободные или считающие себя свободными от всяких религиозных верований, в действительности живут погруженными в состояние иррационального сознания, которое они именуют социализмом, коммунизмом, гуманизмом, национализмом и даже рационализмом. Не предмет, а качество мышления определяет его источник и позволяет нам решать, исходит ли оно из религии или нет. Если оно бесстрашно устремляется на поиски истины любой ценой, с целестремленной искренностью и готовностью к любым жертвам, я назову его религиозным, ибо оно предполагает веру в цель человеческих усилий, более высокую, нежели жизнь существующего общества, и даже более высокую, чем жизнь человечества в целом. Сам скептицизм, если он исходит от сильных натур, правдивых до глубины души, если он является выражением не слабости, а силы, присоединяется к шествию Великой армии религиозной души».

Я не дерзаю предположить, что отвечаю условиям, изложенным Роменом Ролланом, но на этих условиях я готов быть смиренным попутчиком Великой армии.

«ДВОЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА» АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Движение в защиту хариджанов, которым руководил Гандиджи сначала из тюрьмы Иеравда, а затем — находясь на воле, продолжало развиваться. Царило большое возбуждение против рогаток, закрывающих доступ в храмы, и в связи с этим в Законодательное собрание был внесен соответствующий законопроект. Затем мы стали свидетелями редкого зрелища: в Дели видный лидер Конгресса ходил из одного дома в другой, посещая членов Собрания и уговаривая их поддержать законопроект о доступе неприкасаемых в храмы. Сам Гандиджи обратился через этого лидера с воззванием к членам Собрания. И в то же время гражданское неповиновение продолжалось, люди шли в тюрьмы, Собрание бойкотировалось Конгрессом, и из него ушли все конгрессисты. Оставшееся охвостье и все те, кто заполнил вакантные места, отличились в период этого кризиса своей оппозицией Конгрессу и поддержкой правительства. Большинство из них помогли правительству провести репрессивные законы, придающие до известной степени постоянный характер чрезвычайным статьям специальных указов. Они примирились с Оттавским пактом, они кормились у стола великих мира сего в Дели, Симле и Лондоне, они присоединили свои голоса к хвалебному гимну английскому владычеству в Индии и молились о ниспослании успеха тому, что именовалось «двойственной политикой» в Индии.

При этих условиях я был удивлен воззванием Гандиджи и в еще большей степени упорными стараниями Раджагопалачари, который еще несколько недель тому назад был временным председателем Конгресса. Эта деятельность, разумеется, вредила гражданскому неповиновению, по меня больше огорчала моральная сторона дела. Поощрение такого рода деятельности со стороны Гандиджи или любого лидера Конгресса казалось мне безразличным и почти вероломным по отношению к огромному числу людей, находившихся в тюрьмах или продолжавших борьбу. Но я знал, что он смотрел на это иначе.

Позиция правительства в отношении законопроекта о доступе неприкасаемых в храмы была как тогда, так и впоследствии весьма показательной. Правительство чинило всяческие

помехи сторонникам законопроекта, откладывало его рассмотрение и поощряло оппозицию ему. В конечном счете оно заявило о собственной оппозиции и провалило законопроект. Примерно такова была оппозиция правительства по отношению ко всем социальным реформам в Индии; под предлогом невмешательства в вопросы религии оно препятствовало социальному прогрессу. Но вряд ли нужно говорить, что это не мешало ему критиковать наши социальные беды и поощрять к этому других. Законопроект об ограничении браков детей был, по счастливой случайности, утвержден, но последующая история этого злополучного закона лучше, чем что-либо другое, показала, как отрицательно относилось правительство к проведению в жизнь подобных мероприятий. Правительство, которое могло в одно мгновение издавать специальные указы, создавая новые статьи наказуемой деятельности и устанавливая строгие наказания, которое могло отправлять в тюрьмы за нарушение этих указов десятки тысяч людей,— это правительство, повидимому, страшила перспектива проведения в жизнь одного из обычных законов, вроде закона об ограничении браков детей. Первым следствием закона было колоссальное увеличение того зла, с которым он был призван бороться, ибо люди спешили воспользоваться шестью льготными месяцами, весьма неразумно предоставленными законом. Затем стало ясно, что этот закон никем не принимается всерьез и его вполне можно игнорировать, не опасаясь каких-либо мер со стороны правительства. Власти не сделали ни малейшей попытки разъяснить его значение, и большинство жителей деревень так и не узнало, в чем его сущность. Он дошел до них в искаженной интерпретации индусских и мусульманских сельских проповедников, которые сами редко были в курсе дела.

Такая необычайная терпимость, проявленная английским правительством по отношению к социальным бедам в Индии, очевидно, объясняется не тем, что оно одобряет эти беды. Но правительство не очень-то заботится об их устранении, ибо эти беды не мешают ему управлять Индией и эксплуатировать ее ресурсы. Кроме того, всегда существует опасность, что предлагаемые социальные реформы могут вызвать недовольство среди различных кругов, а английское правительство, которому и без того приходилось сталкиваться с сильным недовольством и раздражением в политической области, вовсе не желало увеличивать свои неприятности. За последнее время условия для проведения социальных реформ еще более ухудшились, ибо англичане на деле все больше покровительствуют этому злу. Это объясняется их тесной связью с наиболее реакционными элементами в Индии. По мере роста оппозиции их владычеству они вынуждены идти на союз с самыми сомнительными элементами, и в настоящее время наиболее стойкими поборниками английского владычества в Индии являются

экстремистские круги в религиозных общинах, а также реакционеры от религии и обскуранты. Мусульманские общинные организации славятся своей реакционностью со всех точек зрения — политической, экономической, социальной. Хинду Махасабха соперничает с ними, но в этом движении вспять ее оставили далеко позади санатанисты, которые сочетают религиозный обскурантизм крайнего типа с пламенной или, во всяком случае, громогласно провозглашаемой верностью английскому владычеству.

Если английское правительство держалось пассивно и не прилагало усилий к тому, чтобы популяризировать закон об ограничении браков детей и провести его в жизнь, то почему же тогда его не пропагандировал Конгресс или какие-нибудь другие неправительственные организации? Англичане и другие иностранные критики часто задают этот вопрос. Что касается Конгресса, то в последние пятнадцать лет, и особенно после 1930 года, он ведет с английскими правителями жестокую борьбу не на жизнь, а на смерть за национальную свободу. Другие организации не обладают реальной силой или не имеют связей с массами. Мужчины и женщины, имевшие идеалы и силу характера и пользовавшиеся влиянием среди масс, были вовлечены в ряды Конгресса. Значительную часть своего времени они проводили в английских тюрьмах.

Другие организации редко могли пойти дальше принятия резолюций группой избранных лиц, боявшихся соприкосновения с массами. Они действовали, как истые джентльмены или, если говорить о Всеиндийской ассоциации женщин, как истые леди, и активная пропаганда была не в их духе. Кроме того, их парализовало также ужасающее подавление всей общественной деятельности специальными указами и принятыми вслед за этим законами. Чрезвычайные карательные меры могут подавить революционную деятельность, но в то же время они парализуют цивилизацию и большую часть культурной деятельности.

Но действительная причина, в силу которой Конгресс и другие неофициальные организации мало что могут сделать для проведения социальных реформ, коренится глубже. Мы больны национализмом, он поглощает все наше внимание, и так будет до тех пор, пока мы не обречем политическую свободу. Как сказал Бернард Шоу, «порабощенная нация подобна человеку, пораженному раком: он не может думать ни о чем другом... В самом деле, нет большего проклятия для нации, нежели националистическое движение, которое является лишь мучительным симптомом подавления естественной функции. Порабощенные нации теряют свое место в поступательном движении мира, ибо они целиком поглощены стремлением избавиться от своих националистических движений путем завоевания национальной свободы».

Опыт прошлого показывает, что в данных условиях мы мало что можем сделать в области социального прогресса, несмотря на то, что ряд вопросов передан, несомненно, в ведение выборных министров. Исключительная инертность правительства всегда на руку консервативным элементам, а английское правительство на протяжении ряда поколений убивало инициативу и правило деспотическими или, как оно это называет, отеческими методами. Оно не одобряет никаких серьезных организованных усилий неофициальных лиц и во всем подозревает наличие тайных мотивов. Движение в защиту хариджанов, несмотря на все предосторожности, принятые его организаторами, иногда приходило в столкновение с властями. Я уверен, что если бы Конгресс повел по всей стране пропаганду за более широкое применение мыла, то во многих местах он пришел бы в столкновение с правительством.

Я не думаю, чтобы очень трудно было убедить массы в необходимости социальных реформ, если только государство берет это дело в свои руки. Но чужеземным правителям свойственна подозрительность, и они не могут далеко идти в убеждении масс. Если бы инородный элемент был устранен и было отдано предпочтение экономическим изменениям, энергичная власть без труда могла бы провести далеко идущие социальные реформы.

Но ни социальные реформы, ни закон об ограничении браков детей, ни движение в защиту хариджанов не занимали нас в тюрьме, разве что я был несколько недоволен этим движением, потому что оно стояло на пути гражданского неповиновения. В начале мая 1933 года кампания гражданского неповиновения была приостановлена на шесть недель, и мы с тревогой ожидали дальнейших событий. Это нанесло движению решающий удар, ибо в национальной борьбе нельзя быть непоследовательным и включать или выключать ее, когда заблагорассудится. Даже до прекращения кампании руководство движением было удивительно слабым и недейственным. Время от времени проводились небольшие конференции и распространялись всякого рода слухи, отрицательно сказывавшиеся на активной работе. Некоторые из временных председателей Конгресса были весьма уважаемые люди, но было просто нехорошо по отношению к ним возлагать на них руководство активной кампанией. Слишком уж в них чувствовалась усталость, желание уйти от трудностей. Эти колебания и нерешительность в руководстве вызывали некоторое недовольство, но его было трудно выразить организованно, поскольку все конгрессистские организации были объявлены вне закона.

Затем последовали двадцатидневная голодовка Гандиджи, освобождение его из тюрьмы и прекращение кампании гражданского неповиновения на шесть недель. Голодовка окончилась, и Гандиджи очень медленно поправлялся после нее.

В середине июня период, на который была прекращена кампания гражданского неповиновения, был продлен еще на шесть недель. Тем временем правительство несколько не ослабило своих репрессий. На Андаманских островах политические заключенные (туда отправляли тех, кто был осужден в Бенгалии за революционные действия) объявили голодовку в знак протеста против тюремного режима, и один или двое из них погибли — уморили себя голодом. Другие лежали при смерти. Тех, кто выступал на митингах в Индии с протестом против того, что творилось на Андаманских островах, в свою очередь, арестовывали и отдавали под суд. Мы не только должны были страдать, но даже не имели права жаловаться, хотя заключенные и погибали в страшных мучениях в результате голодовки, являвшейся для них единственным способом выражения протеста. Спустя несколько месяцев, в сентябре 1933 года (когда я уже вышел из тюрьмы), ряд деятелей, в том числе Рабиндранат Тагор, Ч. Ф. Эндрюс и многие другие известные лица, в большинстве своем не связанные с Конгрессом, подписали заявление, содержавшее требование более гуманного обращения с заключенными на Андаманских островах и пожелание, чтобы их перевели в индийские тюрьмы. Глава департамента внутренних дел английского правительства в Индии выразил сильное недовольство этим заявлением и резко критиковал тех, кто подписал его, за сочувствие заключенным. Позже, насколько мне помнится, выражение такого сочувствия было признано в Бенгалии наказуемым проступком.

Еще до окончания второго шестинедельного срока приостановления кампании гражданского неповиновения нам в тюрьме Дехра-Дун стало известно, что Гандиджи созвал в Пуне неофициальную конференцию. Там собралось двести или триста человек, и, по совету Гаидиджи, массовое гражданское неповиновение было отменено и разрешалось лишь индивидуальное гражданское неповиновение; одновременно были запрещены все конспиративные методы. Эти решения были не слишком вдохновляющими, но я не особенно возражал против них даже и в этом виде. Отменить массовое гражданское неповиновение значило признать и стабилизировать существующие условия, ибо в действительности в то время не было массового движения. Конспиративная работа была лишь поддерживаемой нами видимостью, и зачастую, учитывая характер нашего движения, она оказывала деморализующее воздействие. Она была нужна до некоторой степени, чтобы посылать инструкции и поддерживать связи, но сама кампания гражданского неповиновения не могла быть конспиративной.

Удивило и огорчило меня то, что в Пуне не было скольконбудь серьезного обсуждения существующего положения и наших целей. Конгрессисты встретились после почти двух лет жестокой борьбы и репрессий, а в это время во всем мире и

в Индии произошло много событий, в том числе опубликование Белой книги, содержащей предложения английского правительства относительно конституционной реформы. В течение этого периода нам приходилось хранить вынужденное молчание, а другая сторона вела в это время непрерывную и лживую пропаганду, стараясь замазать существо проблемы. Не только сторонники правительства, но и либералы и другие часто утверждали, что Конгресс отказался от своей цели достижения независимости. Самое меньшее, что следовало сделать, думал я, — это подчеркнуть нашу политическую цель, снова разъяснить ее и, если возможно, дополнить ее изложением социальных и экономических целей. Вместо этого дело ограничилось, видимо, обсуждением сравнительных достоинств массового и индивидуального гражданского неповиновения и желательности или нежелательности конспиративности. Велись также странные речи о «мире» с правительством. Насколько мне помнится, Гандиджи послал телеграмму вице-королю, прося у него свидания, на что вице-король ответил отказом, после чего Гандиджи отправил вторую телеграмму, в которой что-то говорилось о «почетном мире». Где был этот желанный неуловимый мир в момент, когда правительство торжествовало, подавляя все проявления национальной жизни, а на Андаманских островах люди убивали себя голодом? Но я знал, что в любых условиях Гандиджи старался протянуть оливковую ветвь.

Репрессии были в полном разгаре; действовали все чрезвычайные законы, запрещающие общественную деятельность. В феврале 1933 года полиция запретила даже траурный митинг, посвященный второй годовщине со дня смерти моего отца, хотя это был неконгрессистский митинг и на нем должен был председательствовать столь добропорядочный представитель умеренных, как сэр Тедж Бахадур Сапру. А в знак грядущих милостей нам была преподнесена Белая книга.

Это был замечательный документ, при чтении которого поистине захватывало дух. Индия превращалась в прославленное индийское государство, с преобладающим влиянием в федерации феодальных представителей княжеств. Но какое-либо вмешательство извне в дела самих княжеств не допускалось, и там попрежнему сохранялась полнейшая автократия. Прочные имперские узы в виде долговых цепей навсегда привязывали нас к лондонскому Сити, а контроль над денежной и валютной политикой осуществлялся Английским банком через Резервный банк. Права всех привилегированных групп строго охранялись, и вдобавок создавались новые привилегированные группы. Наши доходы полностью шли на обеспечение благосостояния этих привилегированных групп. Большие имперские службы, к которым мы питаем такую любовь, сохранялись независимыми и неприкосновенными, с тем чтобы готовить нас к последующим этапам самоуправления. Провинции

получали автономию, но губернатору предоставлялась роль благосклонного и всемогущего диктатора, наводящего среди нас порядок. А превыше всех восседал сам всевышний, верховный диктатор, вице-король, облеченный полномочиями делать все, что угодно, и вмешиваться, когда он этого пожелает. Поистине, никогда еще талант английского правящего класса в области колониального управления не проявлялся с такой яркостью, и вполне возможно, что гитлеры и муссолини восхищаются им и с завистью поглядывают на вице-короля Индии.

К этой конституции, которая связывала Индию по рукам и ногам, добавили в качестве дополнительных оков ряд «особых обязанностей» и гарантий, превращавших несчастную страну в узника, неспособного шевельнуться. Как заявил Невилль Чемберлен, «они сделали все, что было в их силах, чтобы сопроводить предложения всеми гарантиями, какие может измыслить человеческий ум».

Далее, нас ставили в известность, что за эти милости нам следовало уплатить дорогую цену — для начала круглую сумму в несколько десятков крор, а затем — ежегодные взносы. Мы не могли получить радостей свараджа, не уплатив за них соответствующую цену. Мы ошибочно полагали, что Индия бедна и что она несет и без того непосильное бремя, и хотели свободы, чтобы облегчить его. Для масс это было стимулом борьбы за свободу. Но теперь оказывалось, что бремя станет еще тяжелее.

Это смехотворное решение индийской проблемы было преподнесено с истинно английской грацией; при этом нам дали понять, сколь великодушны наши правители. Никогда еще метрополия не предлагала по доброй воле порабощенному народу такую власть и такие возможности. В Англии возник даже большой спор между великодушными дарителями и теми, кто, устрешенный подобным великодушием, возражал против этого. Таков был результат многочисленных странствований между Индией и Англией в течение трех лет, результат трех конференций круглого стола и бесчисленных комиссий и консультаций.

Но с визитами в Англию еще не было покончено. Существовала еще Объединенная комиссия английского парламента, которая должна была вынести свое суждение о Белой книге, и индийцы вошли в нее в качестве своего рода консультантов и наблюдателей. В Лондоне заседало также множество других комиссий, и за кулисами шла непристойная возня из-за участия в какой-либо комиссии, что давало право на бесплатный проезд и пребывание в сердце империи. Храбрецы, не устрешенные ошеломляющими положениями Белой книги, подвергли себя опасностям путешествия по морю или по воздуху и еще большим опасностям пребывания в Лондоне,

дабы попытаться, пустив в ход все свое красноречие и силу убеждения, изменить положения Белой книги. Они знали и говорили, что задача эта почти безнадежна, но они были не робкого десятка и решили сказать свое слово, хотя некому было их слушать. Один из них, некий лидер респонсивистов, держался до бесславного конца — когда все прочие уже уехали, — вероятно беседуя и обедая с влиятельными лицами в Лондоне, дабы довести до их сведения, какие политические изменения он находит желательными. Когда же наконец он вернулся в свою родную страну, то уведомил ожидавшую публику, что он с упорством истинного маратха не пожелал отступить от своей цели и оставался в Лондоне до самого конца, чтобы иметь возможность сказать свое слово.

Я вспоминаю, как отец часто жаловался на то, что его друзья респонсивисты лишены чувства юмора. Он нередко попадал с ними в неприятное положение из-за своих шуточных замечаний, которые они не были в состоянии оценить, и ему приходилось давать объяснения и успокаивать, что было весьма утомительным занятием. И я вспоминал о замечательном боевом духе, проявленном маратхами не только в прошлом, но и в настоящем, во время нашей национальной борьбы, и о великом и неукротимом Тилаке, которого можно было сломить, но не согнуть.

Либералам крайне не нравилась Белая книга. Не были им по вкусу и репрессии, свирепствовавшие в Индии изо дня в день, и иногда, правда довольно редко, они даже протестовали против них, неизменно разъясняя при этом, что они осуждают Конгресс и все его деяния. Порой они предлагали правительству выпустить из тюрьмы какого-нибудь видного конгрессиста, всегда имея в виду лишь кого-либо из известных им лиц. Как либералы, так и респонсивисты выдвигали при этом тот довод, что такого-то следует освободить, потому что общественному спокойствию уже ничто не грозит. Притом у правительства всегда остается возможность снова арестовать этого человека, если только он будет плохо себя вести, — и тогда правительство сможет это сделать с большим основанием. В Англии также находились люди, которые по своей доброте ратовали на этих основаниях за освобождение некоторых членов Рабочего комитета или других отдельных лиц. Мы не могли не испытывать благодарности к людям, которые интересовались нами в то время, когда мы находились в тюрьме, но порой нам казалось, что было бы лучше, если бы нас избавили от наших благонамеренных друзей. Мы не сомневались в их благих намерениях, но было ясно, что они полностью усвоили идеологию английского правительства и нас разделяла широкая пропасть.

Многое из того, что происходило в Индии, было не по душе либералам; они были огорчены этим и все же — что они могли поделать? Они не мыслили себе сколько-нибудь активное

выступление против правительства. Чтобы сохранить себя в качестве самостоятельной организации, они должны были держаться подальше от масс и от активных элементов населения и двигаться вправо, пока, наконец, их идеология не стала почти неотличимой от государственной идеологии. Малочисленные, не пользующиеся популярностью в массах, они не могли оказать какое-либо влияние на борьбу масс. Но среди них были выдающиеся и известные лица, которые пользовались личным уважением. И вот эти-то лидеры, так же как либеральные и респонсивистские группы в целом, оказали неоценимую услугу английскому правительству в момент серьезного кризиса, морально поддержав официальную политику. Отсутствие действенной критики, а порой и молчаливое согласие и одобрение либералов помогали правительству даже в его репрессиях и беззакониях. Таким образом, либералы и респонсивисты морально санкционировали царивший в стране произвол в тот момент, когда правительству было очень трудно его оправдать.

Белая книга — плохая книга, очень плохая, — так говорили лидеры либералов. Но что же было делать? Виднейший лидер либералов Сриниваса Састри, выступая в апреле 1933 года в Калькутте на собрании федерации либералов, уверял, что какими бы неудовлетворительными ни были конституционные изменения, их нужно претворять в жизнь. «Сейчас не время, — заявил он, — стоять в стороне и предоставлять событиям идти своим чередом». Очевидно, в его глазах единственной мыслимой линией поведения было взять то, что дают, и попытаться это осуществить. Альтернативой было сидеть сложа руки. Далее он добавил: «Если мы обладаем мудростью, опытом, умеренностью, силой убеждения, влиянием и энергией — если мы обладаем этими достоинствами, то сейчас надо проявить их в полную силу». «Золотые слова», — заметила по поводу этого красноречивого воззвания калькуттская газета «Стейтсмен».

Састри неизменно красноречив и питает истинно ораторскую любовь к красивым словам и их звучанию. Но он склонен увлекаться, и вся эта словесная магия, к которой он прибегает, затемняет для других, а может быть и для него самого, смысл того, что он хочет сказать. Интересно проанализировать воззвание, с которым он выступил в апреле 1933 года в Калькутте, когда движение гражданского неповиновения еще продолжалось. Если не касаться основных принципов и целей, то, на мой взгляд, заслуживают внимания два положения. Первое гласит: что бы ни случилось, как бы английское правительство ни оскорбляло, ни угнетало, ни унижало и ни эксплуатировало нас, мы должны покориться этому. Пределов в этом отношении нет. Червь может не выдержать, но индийский народ, следуя совету Састри, должен сносить все. По его мнению, другого пути нет. Это означает, что для Састри покорность решениям

английского правительства и их принятие равносильны своего рода религии (если мне будет позволено употребить это несчастливое слово). Это рок — *кисмет*, — пред которым все мы должны склониться, хотим мы того или нет.

Следует отметить, что он давал свой совет не в связи с какой-нибудь определенной, известной ситуацией. «Конституционные изменения» находились еще в процессе разработки, хотя уже тогда было достаточно ясно, что они будут очень плохими. Если бы он сказал, что, сколь ни плохи предложения, содержащиеся в Белой книге, но, учитывая все обстоятельства, он высказывается за то, чтобы выполнять их в случае, если они будут утверждены, то его совет мог бы быть хорошим или плохим, но он имел бы отношение к существующему положению. Састри пошел гораздо дальше, он заявил, что, сколь бы неудовлетворительными ни были возможные конституционные изменения, его совет останется в силе. Он был готов выдать английскому правительству карт-бланш в вопросе, имеющем с точки зрения нации жизненно важное значение. Мне несколько трудно понять, как может какое-либо лицо, группа или партия принимать на себя такие обязательства в отношении неясного будущего, если только у них имеются хоть какие-то принципы или моральные и политические устои и если их символом веры и политикой не является неизменная покорность воле правителя.

Второе положение, которое поражает меня, — чисто тактическое. Белая книга была одним из этапов в долгом шествии к осуществлению новых реформ. Это был важный этап с точки зрения правительства, но оставался еще ряд других этапов, и возможно, что при этом Белая книга была бы изменена в лучшую или худшую сторону. Характер изменения, очевидно, зависел от степени давления на английское правительство и парламент со стороны различных групп. Возможно, что в этой «игре в перетягивание» желание привлечь на свою сторону индийских либералов побудило бы английское правительство расширить свои предложения или хотя бы бороться против посягательств на них. Однако решительное заявление Састри, сделанное им задолго до возникновения вопроса о том, принять или не принять, проводить или нет новые реформы, показало правительству, что оно может полностью игнорировать индийских либералов. Вопросы о привлечении их на свою сторону даже не возникало. Было ясно, что они не покинут правительство, даже если их выгонят. Рассматривая этот вопрос с точки зрения либералов, поскольку это в моих силах, я должен сказать, что речь Састри в Калькутте представляется мне весьма неудачной в тактическом отношении и вредной для дела либералов.

Я осмелился распространяться так много о старой речи Састри не потому, что эта речь и собрание федерации либералов сами по себе имели какое-либо значение, а потому, что

мне хотелось понять образ мыслей и психологию лидеров либералов. Это способные и уважаемые люди, и я при всем своем желании совершенно не в состоянии постичь, почему они поступают подобным образом. На меня произвела большое впечатление и другая речь Састри, которую я прочел в тюрьме. Он выступал в Пуне в июне 1933 года на заседании общества «Слуги Индии», председателем которого является. Как сообщалось, он указал в этой речи, что в случае, если Индия внезапно лишится английского влияния, ей грозит опасность возникновения политических движений, сопряженных с взаимной ненавистью, преследованиями и угнетением. С другой стороны, поскольку английская политическая жизнь неизменно характеризовалась терпимостью, то чем больше будущее Индии будет строиться на сотрудничестве с Англией, тем больше вероятность, что в Индии возобладает терпимость. Находясь в тюрьме, я был вынужден полагаться на изложение речи Састри, помещенное в калькуттской газете «Стейтсмен». Газета присовокупила к этому: «Это приятная доктрина, и мы отмечаем, что д-р Мунджи высказывается в том же духе». Далее сообщалось, что Састри упомянул о подавлении свободы в России, Италии и Германии и о бесчеловечных гонениях и зверствах в этих странах.

Читая это, я был поражен необычайным сходством взглядов Састри и «твердолобых» английских консерваторов на Англию и Индию. В отношении деталей были, конечно, кое-какие различия, но в своей основе идеология была одной и той же. Уинстон Черчилль мог бы, нисколько не насилуя своих убеждений, высказаться точно таким же образом. А ведь Састри принадлежит к левому крылу либеральной партии и является способнейшим из ее лидеров!

Боюсь, что я совершенно не в состоянии согласиться с тем, как Састри толкует историю, или с его взглядами на международные дела и, в частности, на Англию и Индию. Вероятно, их не приемлет и ни один иностранец, если только он не англичанин; возможно, что с ним не согласятся и многие англичане, придерживающиеся передовых взглядов. У него счастливый дар видеть мир и собственную страну глазами английского правящего класса. Тем не менее удивительно, что в своей речи он обошел весьма необычные события, происходившие в Индии ежедневно в течение предшествовавших полутора лет и имевшие место в момент произнесения этой речи. Он упомянул о России, Италии и Германии, но забыл о свирепых репрессиях и подавлении всех свобод у себя на родине. Возможно, он не знал о всех тех ужасах, которые творились в Пограничной провинции и Бенгалии — о «насилии над Бенгалией», как выразился недавно в своей речи по случаю вступления на пост председателя Конгресса Раджендра Бабу, — ибо многое было скрыто за тяжелой завесой цензуры. Но неужели он забыл о

страданиях Индии и о той борьбе за жизнь и свободу, которую его народ вел против могущественного противника? Разве он не знал о полицейском режиме, установленном в обширных районах страны, об условиях, близких к военному положению, о специальных указах, о голодовках и других страданиях в тюрьмах? Разве он не сознавал, что те самые терпимость и свобода, за которые он восхвалял Англию, раздавлены в Индии самой же Англией?

Не важно, был ли он согласен с Конгрессом или нет. Он имел полное право критиковать и осуждать политику Конгресса. Но какова была его реакция как индийца, как друга свободы, как отзывчивого человека на замечательное мужество и готовность к самопожертвованию, выказанные его соотечественниками и соотечественницами? Неужели он не испытал боли и тоски, когда наши правители заносили нож над сердцем Индии? Неужели ему было безразлично, что десятки тысяч людей отказывались склониться перед мощью высокомерной империи и предпочитали видеть, как терзают их тела, как разрушают их дома, как мучат их близких, чем сдаться духовно? Мы мужественно держались в тюрьме и за ее стенами, улыбались и смеялись, но это нередко была улыбка сквозь слезы, а смех наш подчас походил на плач.

Мужественный и великодушный англичанин Верьер Элвин рассказывает, какие чувства он испытывал в то время. «Было просто удивительно,— пишет он о 1930 году,— наблюдать, как целая нация сбрасывает с себя путы духовного рабства и выпрямляется с истинным достоинством, рождаемым бесстрашной решимостью». И далее: «Поразительная дисциплинированность была проявлена в период движения сатьяграхи большинством добровольцев Конгресса, дисциплинированность, которую великодушно засвидетельствовал губернатор одной из провинций...»

Сриниваса Састри — способный и чуткий человек, пользующийся уважением многих своих соотечественников, и кажется невероятным, чтобы он не реагировал подобным же образом и не болел душой за своих соотечественников во время такой борьбы. Можно было ожидать, что он поднимет свой голос и осудит подавление правительством всех гражданских свобод и всякой общественной деятельности. Можно было также надеяться, что он и его коллеги лично посетят наиболее пострадавшие районы — Бенгалию и Пограничную провинцию — отнюдь не для того, чтобы помочь Конгрессу или кампании гражданского неповиновения, а затем, чтобы разоблачить эксцессы властей и полиции и тем самым сдержать их. Так обычно поступают друзья свободы и гражданских прав в других странах. Но вместо того, чтобы поступить подобным образом, вместо того, чтобы попытаться обуздать исполнительную власть, которая жестоко расправлялась с населением Индии и уничтожала элементарные свободы, вместо того, чтоб хотя бы выяснить,

что же происходит, он предпочел выдать англичанам свидетельство об их терпимости и уважении к свободе в то время, когда в Индии при английском владычестве обе эти добродетели полностью отсутствовали. Он оказал им моральную поддержку, ободрил их и поощрил продолжать репрессии.

Я совершенно уверен, что он не мог желать этого, что он не отдавал себе отчета в возможных последствиях своего поведения. Но в том, что его речь должна была оказать именно такое воздействие, сомневаться не приходилось. Почему же в таком случае он думает и действует подобным образом?

Я не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос, разве что лидеры либералов полностью отгородились как от всех современных веяний, так и от своих соотечественников. Пожелтевшие от времени книги, которые они читают, заслонили от их глаз индийский народ, и они предались некоему самолюбованию. Мы шли в тюрьмы, мы были заточены в камеры, но разум наш оставался свободным, и мы не падали духом. Они же сами себе соорудили духовную темницу, в которой блуждали, не находя выхода. Они обоготворяли неизбежное положение вещей, и, когда оно менялось, как это бывает в нашем изменчивом мире, они оказывались без руля и компаса, беспомощные духом и телом, без идеалов и моральных устоев. Перед каждым из нас имеется выбор — идти вперед или тащиться в хвосте; мы не можем оставаться неподвижными в этом динамическом мире. Страшась изменений и движения, либералы были напуганы бурями, бушевавшими вокруг них; нетвердо стоя на ногах, они были не в силах идти вперед, поэтому их швыряло из стороны в сторону и они цеплялись за каждую попадавшуюся им на пути соломинку. Они стали галлетами индийской политики, «с печатью бледного раздумья на челе», вечно сомневающимися, колеблющимися и нерешительными.

Век расшатался — и скверней всего,
Что я рожден восстановить его!

В последний период движения гражданского неповиновения либеральный еженедельник «Сервент оф Индия» обвинил конгрессистов в том, что сначала они рвутся в тюрьму, а когда попадают туда, то хотят снова выйти из нее. В этом, заявил он с некоторым раздражением, вся политика Конгресса. Повидимому, взамен этого либералы предпочитали послать в Англию депутацию и прислуживать английским министрам или ждать и молиться о смене правительства в Англии.

В некоторой степени верно, что политика Конгресса в то время заключалась главным образом в неповиновении законам, изданным на основании специальных указов, или репрессивным мерам, что вело прямым путем в тюрьму. Верно также, что после долгой борьбы Конгресс и нация в целом выдохлись и

уже не могли оказывать на правительство сколько-нибудь действительный нажим. Но тем не менее существовали еще и соображения практического и морального свойства.

Грубое насилие, подобное тому, которому подвергалась Индия, дорого обходится правителям. Даже для них оно тяжело и мучительно, и они хорошо знают, что в конечном счете оно подрывает их положение. Оно непрерывно разоблачает в глазах угнетаемого народа и всего мира истинный характер их владычества. Они предпочитают надевать бархатную перчатку, чтобы скрыть железный кулак. Ничто так не раздражает правительство и не приносит ему в конечном счете такого вреда, как необходимость иметь дело с народом, который не подчиняется его воле, невзирая ни на какие последствия. Поэтому даже единичные проявления противодействия репрессивным мероприятиям имели смысл: они укрепляли волю народа и поднимали дух правительства.

Еще важнее были соображения морального порядка. В одной известной фразе Торо говорит: «Когда мужчин и женщин несправедливо бросают в тюрьму, место справедливых мужчин и женщин также в тюрьме». Этот совет, возможно, не импонирует либералам и им подобным, но многие из нас нередко чувствуют, что в этих условиях, когда даже независимо от гражданского неповиновения многие наши коллеги вечно находятся в тюрьме, а государственный аппарат принуждения непрерывно угнетает и унижает нас и помогает эксплуатировать наш народ, благонамеренный образ жизни становится просто невыносимым. У себя же на родине мы вечно находимся на положении подозреваемых лиц, подвергающихся слежке и наблюдению, наши слова фиксируются — как бы в них не содержалось чего-нибудь нарушающего всеобъемлющий закон о подстрекательстве к мятежу, нашу корреспонденцию вскрывают, и нам неизменно приходится считаться с возможностью каких-либо административных запретов или ареста. Перед нами стоит выбор: жалкая покорность силе государства, духовное вырождение, отречение от истины, которая живет в нас, и нравственное падение ради таких целей, которые мы считаем низменными, или же оппозиция со всеми вытекающими из нее последствиями. Никому не нравится идти в тюрьму или навлекать на себя неприятности. Но часто тюрьма предпочтительнее другой альтернативы. «Единственная истинная трагедия в жизни, — писал Бернард Шоу, — это когда своекорыстные люди используют вас в целях, о которых вы знаете, что они низки. Все остальное — это в худшем случае лишь несчастье и смерть; лишь это одно является бедствием, рабством, адом на земле».

КОНЕЦ ДОЛГОГО СРОКА

Приближалось время моего освобождения. Я получил обычную скидку за «хорошее поведение», и это сократило мое двухлетнее заключение на три с половиной месяца. Мой душевный покой, или, вернее, то общее умственное оцепенение, которое порождает тюрьма, был нарушен возбуждением, вызванным перспективой освобождения. Что я должен делать на воле? Этот трудный вопрос и колебания, которые я испытывал в поисках ответа, несколько умаляли радость освобождения. Но даже это было преходящим чувством; моя долго сдерживаемая энергия была ключом, и я рвался на свободу.

Конец июля 1933 года принес горестное и очень тяжелое известие о скоропостижной кончине Дж. М. Сен-Гупты. Мы не только были в течение многих лет близкими товарищами в Рабочем комитете Конгресса, но, кроме того, он был для меня тем звеном, которое связывало меня с днями, проведенными в Кембридже. Мы познакомились в Кембридже — я был тогда на первом курсе, а он только что получил свою степень.

Сен-Гупта умер в заключении. Он был арестован как государственный преступник по возвращении из Европы в начале 1932 года, в Бомбее, еще на борту судна. С тех пор он либо находился в заключении, либо содержался под стражей, и его здоровье все ухудшалось. Правительство предоставило ему ряд льгот, но, очевидно, это не могло приостановить развитие болезни. Его похороны в Калькутте вылились в замечательную массовую демонстрацию; казалось, сама страждущая душа Бенгалии, долго находившаяся в заточении, наконец хоть на время вырвалась наружу.

Итак, Сен-Гупта ушел. Субхас Бос, другой государственный узник, здоровье которого подорвали годы заточения и тюрьмы, получил наконец от правительства разрешение поехать лечиться в Европу. Ветеран Конгресса Витхабххай Патель также лежал больной в Европе. А сколько других подорвало свое здоровье или умерло, не выдержав физических тягот тюремной жизни и неустанной деятельности на свободе. Многие, хотя и не изменились внешне, страдали глубоким душевным расстрой-

ством, и у них развились психологические комплексы из-за той ненормальной жизни, которую их принудили вести!

Смерть Сен-Гупты заставила меня ощутить с особой остротой все эти ужасные молчаливые страдания, терзавшие нашу страну, и я чувствовал себя усталым и подавленным. Во имя чего делалось все это? Во имя чего?

Я лично не мог пожаловаться на здоровье и, несмотря на большую нагрузку и неправильный образ жизни, связанный с конгресси́стской деятельностью, в общем чувствовал себя хорошо. Вероятно, отчасти я обязан этим унаследованной крепкой конституцией, а отчасти уходу за телом. Болезни и слабое здоровье, так же как чрезмерная полнота, всегда казались мне весьма нежелательными явлениями, и благодаря физическим упражнениям, длительному пребыванию на свежем воздухе и простой пище мне удавалось избегать их. Мой собственный опыт говорил мне, что значительная часть болезней, которым подвержены индийские средние классы, вызывается неправильным питанием: они едят слишком прyanую и обильную пищу (это относится, конечно, только к тем, кто может позволить себе дорогостоящие привычки). Закармливая ребенка конфетами и так называемыми лакомствами, любящая мать на всю жизнь награждает его несварением желудка. Кроме того, детей слишком кутают. Англичане в Индии также, повидимому, едят слишком много, хотя пища у них не такая прyanая. Вероятно, сейчас привычки несколько улучшились по сравнению с прежними поколениями, которые поглощали огромные количества острой и сытной пищи.

Я не был прихотлив в еде и лишь избегал обильной и прyanой пищи. Как почти все кашмирские брахманы, наша семья употребляла в пищу мясо, и я с детства всегда ел мясо, хотя никогда особенно не любил его. С началом движения несотрудничества в 1920 году я отказался от мяса и стал вегетарианцем. Я оставался вегетарианцем шесть лет, до своего отъезда в Европу, где я вновь начал есть мясо. По возвращении в Индию я вновь стал вегетарианцем, и с тех пор более или менее остаюсь им. Мясо, видимо, несколько не вредит мне, но я стал испытывать отвращение к нему, и оно кажется мне грубым.

Периоды недомогания, главным образом во время пребывания в тюрьме в 1932 году, когда у меня в течение многих месяцев ежедневно была повышенная температура, раздражали меня, так как уязвляли мое тщеславие по поводу моего хорошего здоровья. Впервые я, вопреки обыкновению, уже не думал о неизменно деятельной и энергичной жизни, и передо мной вставал, смущая меня, призрак постепенного упадка и одряхления. Не думаю, чтобы я особенно боялся смерти. Но медленный упадок сил, физических и умственных, — это нечто совсем другое. Однако мои страхи оказались преувеличенными, и мне

удалось избавиться от недомогания и справиться со своим организмом. Продолжительные солнечные ванны в зимнее время помогли мне вновь обрести чувство физического благополучия. В то время как мои товарищи по тюрьме дрожали в своих пальто и шалах, я бывало сидел обнаженный, с наслаждением греясь на солнце. Это было возможно лишь в Северной Индии зимой, так как в других местах солнце обычно греет слишком жарко.

Среди моих упражнений было одно, которое мне особенно нравилось. То была *ширшасана* — стойка на голове: руки с переплетенными пальцами поддерживают затылок, локти на полу, корпус вертикально поднят вверх. Мне думается, что в физическом отношении это упражнение очень полезно. Но оно еще больше нравилось мне из-за своего психологического действия. Несколько комичная поза приводила меня в хорошее расположение духа и делала более терпимым к превратностям жизни.

Обычно хорошее здоровье и ощущение физического благополучия очень помогали мне преодолевать периоды уныния, которые неизбежны в тюремной жизни. Они помогали мне также принаравливаться к меняющимся условиям в тюрьме и на воле. У меня было много потрясений, которые в свое время, казалось, выводили меня из строя, но, к собственному удивлению, я оправлялся быстрее, чем ожидал. Мне думается, что мерилom моей уравновешенности и здоровья может служить тот факт, что я практически не знаком с сильной головной болью и никогда не страдал бессонницей. Я избежал этих распространенных болезней цивилизации и сохранил хорошее зрение, хотя мне приходилось очень много читать и писать, иногда при плохом освещении в тюрьме. Один окулист выразил как-то удивление по поводу моего хорошего зрения. Восемью годами ранее он предсказал, что через несколько лет мне придется надеть очки. Он глубоко ошибся, и я все еще успешно обхожусь без них. Хотя эти факты, возможно, свидетельствуют о моей уравновешенности и здоровье, я могу добавить, что люди, которые всегда и неизменно уравновешенны и здоровы, внушают мне ужас.

Пока я ожидал освобождения из тюрьмы, за ее стенами возникла новая форма индивидуального гражданского неповиновения. Гандиджи решил показать пример и, поставив в известность власти, выехал 1 августа с намерением проповедовать гуджаратскому крестьянству гражданское сопротивление. Он был немедленно арестован, приговорен к году тюрьмы и отправлен обратно в свою камеру в Иеравде. Я был рад, что он вернулся. Но вскоре возникло новое осложнение. Гандиджи потребовал, чтобы ему предоставили прежние возможности руководить из тюрьмы движением в защиту хариджанов; правительство отказалось пойти на это. Внезапно мы узнали, что в

связи с этим Гандиджи снова начал голодовку. Для такого серьезного шага повод казался весьма незначительным. Я был совершенно не в силах понять его мотивы, хотя бы он и был полностью прав в своем споре с правительством. Мы ничего не могли поделать и озадаченно наблюдали за происходившим.

После недельной голодовки его состояние стало быстро ухудшаться. Его перевели в больницу, но он оставался заключенным, и правительство не хотело пойти на уступки в вопросе об условиях для руководства движением в защиту хариджанов. Он потерял волю к жизни (которую сохранял во время своих прежних голодовок) и упал духом. Конец, казалось, был близок. Он попрощался и даже распорядился немногочисленными личными вещами, лежавшими возле него, отдав некоторые из них сиделкам. Но правительство вовсе не хотело, чтобы Гандиджи умер у него на руках, и в тот же вечер он был внезапно освобожден. Это было сделано как раз во-время, чтобы спасти его. Еще день — и, пожалуй, было бы уже слишком поздно. Вероятно, честь его спасения принадлежит в значительной мере Ч. Ф. Эндрюсу, который вопреки совету Гандиджи поспешил приехать в Индию.

Тем временем 23 августа я был переведен из тюрьмы Дехра-Дун и вновь водворен, после более чем полугодового пребывания в других тюрьмах, в тюрьму Наини. Как раз в это время поступили сообщения о том, что моя мать внезапно заболела и помещена в больницу. 30 августа 1933 года меня освободили из Наини, так как состояние моей матери считали серьезным. В обычных условиях я был бы освобожден самое позднее 12 сентября, когда истекал срок моего заключения. Правительство провинции сократило мое заключение еще на тринадцать дней.

ПОСЕЩЕНИЕ ГАНДИ

Сразу же после своего освобождения я поспешил в Лакнау к постели матери и пробыл у нее несколько дней. Я просидел в тюрьме довольно долго и теперь, по выходе из нее, чувствовал себя оторванным и утратившим связь со своим окружением. С некоторым удивлением я увидел — как это бывает со всеми нами, — что во время моего прозябания в тюрьме мир продолжал двигаться и изменяться. Дети, юноши и девушки выросли; и многое происходило за это время: браки, рождения, смерти, любовь и ненависть, труд и забава, трагедия и комедия. Новые интересы в жизни, новые темы для разговора, — во всем, что я видел и слышал, всегда был элемент неожиданности. Жизнь, казалось, прошла мимо, оставив меня в тихой заводи. Это было не совсем приятное чувство. Я мог бы вскоре приноровиться к своему окружению, но не испытывал такого стремления. Я сознавал, что недолго останусь на воле и что вскоре мне придется вернуться обратно. Зачем же тогда принаравливаться к тому, что я скоро покину?

В политическом отношении Индия была более или менее спокойной; правительство в значительной мере контролировало и подавляло общественную деятельность, и время от времени производились аресты. Но молчание Индии в ту пору было полно значения. Это было зловещее молчание, которое следует за истощением сил после периода жестоких репрессий, молчание, которое бывает зачастую многозначительным, но которое правительство не в силах подавить. Индия была законченным полицейским государством, и полицейский дух пронизывал все области управления. Внешне всякое неподчинение подавлялось, по всей стране сновала многочисленная армия шпииков и тайных агентов. Народ жил в атмосфере деморализации и всепроникающего страха. Всякая политическая деятельность, особенно в сельских районах, немедленно подавлялась, причем некоторые правительства провинций старались изгнать конгрессистов из муниципалитетов и местных органов. Все, кто побывал в тюрьме за участие в движении гражданского сопротивления, не подходили, по мнению правительства, для преподавания в городских школах или иной работы в муниципалитетах.

На муниципалитеты и подобные организации оказывалось сильное давление: им угрожали отменой правительственных субсидий в случае, если неугодные конгрессисты не будут уволены. Самый вопиющий случай такого рода имел место в калкуттском муниципалитете. В конечном счете, я думаю, бенгальское правительство издало закон, запрещающий муниципалитету держать на службе лиц, осужденных за политические преступления.

Сообщения о зверствах нацистов в Германии произвели своеобразное воздействие на английских должностных лиц и их печать в Индии. Они послужили оправданием всего того, что они творили в Индии, и нам с добродетельным видом указывали, насколько хуже была наша участь, если бы мы имели дело с нацистами. Нацисты выработали новые нормы поведения, и с ними, несомненно, было бы нелегко тягаться. Может быть, наша участь была бы и хуже,— мне трудно об этом судить, ибо я не располагаю всеми данными о событиях, которые произошли в различных частях Индии за последние пять лет. Английское правительство в Индии следует принципу благотворительности — его правая рука не должна видеть, что творит левая, и поэтому оно отклоняло все предложения о беспристрастном расследовании, хотя такие расследования всегда склоняются скорее в пользу властей. Мне думается, что средний англичанин действительно ненавидит жестокость, и я не могу себе представить, чтобы англичане открыто почитали и с любовью произносили слово «brutalität»¹ (или его английский эквивалент), как это делают нацисты. Даже когда англичане прибегают к таким действиям, они немного стыдятся этого. Но кем бы мы ни были — немцами, англичанами или индийцами,— я боюсь, что наш налет цивилизованности довольно тонок, и когда пробуждается страсти, он исчезает и являет взору нечто весьма неблагоприятное. Великая война ожесточила человечество, и последствия этого мы видели в той ужасной голодной блокаде, которой подвергали Германию даже после заключения перемирия,— «в одном из самых бессмысленных, жестоких и отвратительных зверств, когда-либо совершенных какой-либо нацией»,—как охарактеризовал ее один английский писатель. Индия не забыла 1857 и 1858 годы. Всякий раз, когда затрагиваются наши интересы, мы забываем о своем хорошем воспитании и светских манерах, и вот ложь становится «пропагандой», зверства — «научными репрессиями» и поддержанием «закона и порядка».

Это не вина отдельных лиц или какого-либо одного народа. Большинство ведет себя подобным образом при аналогичных обстоятельствах. В Индии, как и в любой стране, находящейся под иностранным господством, всегда имеет место скрытый

¹ Brutalität (нем.) — жестокость.— *Прим. ред.*

вызов правящей державе, и время от времени он становится более явным и грозным. Этот вызов всегда развивает в правящих группах добродетели и пороки, свойственные военным. В последние годы мы в Индии были свидетелями проявления этих добродетелей и пороков во всей их полноте, ибо наше сопротивление стало сильным и действенным. Но до некоторой степени нам всегда приходится мириться в Индии с военной психологией (или отсутствием ее). Это одно из последствий существования империи, и оно приводит к деградации обеих сторон. Деградация индийцев достаточно очевидна, деградация другой стороны — более тонкая, но во времена кризиса она становится явной. Затем есть еще третья группа, которая имеет несчастье подвергаться деградации обоих типов.

В тюрьме у меня было вполне достаточно досуга, чтобы читать речи высокопоставленных должностных лиц, их ответы на запросы в Законодательном собрании и законодательных советах и заявления правительства. В последние три года я отметил, что их содержание заметно меняется, и это изменение становится постепенно все более очевидным. Они стали более угрожающими и непримиримыми, все больше напоминая по стилю обращение какого-нибудь сержанта к своим солдатам. Замечательным примером этого была речь, произнесенная, как мне кажется, комиссаром миднапурской административной области в Бенгалии в ноябре или декабре 1933 года. Через все эти высказывания, повидимому, красной нитью проходит девиз «*Vae victis!*» Европейцы, не занимающие официального положения, идут даже дальше должностных лиц, особенно в Бенгалии, и как в своих речах, так и делах проявили весьма сильные фашистские тенденции.

Другим ярким примером ожесточения была недавняя публичная казнь в Синде нескольких осужденных преступников. Ввиду роста преступности в Сиинде власти в назидание другим решили повесить этих преступников публично. Населению предоставили все условия, чтобы оно могло присутствовать и наблюдать за этим ужасным зрелищем, и говорят, что на казнь явилось много тысяч человек.

Итак, по освобождении из тюрьмы я проанализировал политические и экономические условия в Индии, и они не вызвали у меня особого энтузиазма. Многие мои товарищи находились в тюрьме, аресты продолжались. Все чрезвычайные законы оставались в силе, цензура душила печать и нарушала науку переписку. Один из моих коллег, Рафи Ахмад Кидваи, был очень раздражен выходками цензора с его корреспонденцией. Письма задерживались и приходили очень поздно или терялись, и это расстраивало его дела. Он решил потребовать от цензора, чтобы тот добросовестнее относился к своему делу, но не знал, куда писать. Вероятно, этот цензор был каким-нибудь чиновником уголовной тайной полиции, существование и

деятельность которого даже не признавались открыто. Рафи Ахмад разрешил эту трудность, написав цензору и подписав на конверте свой адрес! Письмо, разумеется, дошло по назначению, и с тех пор корреспонденция Рафи Ахмада стала поступать несколько лучше.

Я не имел желания возвращаться в тюрьму. С меня было достаточно. Но я не знал, как избежать этого при существующих обстоятельствах, если только я не приму решения отойти от всякой общественной деятельности. Такого намерения я не имел, и, таким образом, я чувствовал, что неизбежно приду в столкновение с правительством. В любой момент я мог получить распоряжение сделать то-то или воздержаться от того-то, а все мое существо восставало против такого принуждения. Делалась попытка запугать народ Индии и принудить к покорности. Я был беспомощен и не мог ничего предпринять в более широкой области, но, во всяком случае, лично я мог не поддаваться запугиванию и не покоряться.

До возвращения в тюрьму я хотел уделить внимание некоторым делам. Прежде всего моего внимания требовала болезнь матери. Она поправлялась очень медленно; процесс выздоровления был настолько медленным, что в течение года она оставалась прикованной к постели. Я жаждал повидаться с Гандиджи, который поправлялся в Пуне от своей последней голодовки. Я не видел его более двух лет. Я хотел также встретиться с возможно большим числом моих коллег по провинции, чтобы обсудить не только современное политическое положение в Индии, но также международное положение и поделиться мыслями, которые занимали меня. В то время я думал, что мир быстро идет к политической и экономической катастрофе и что при составлении своих национальных программ нам следует иметь это в виду.

Мои семейные дела также требовали внимания. До сих пор я полностью игнорировал их и даже не разобрал после смерти отца его бумаг. Мы сильно урезали свои расходы, но они все еще превышали наши возможности. Тем не менее трудно было сократить их еще больше, пока мы жили в этом нашем доме. У нас не было автомашины, потому что это было нам не по средствам, а также потому, что она могла быть в любой момент конфискована правительством. В условиях этих финансовых затруднений забавно выглядела груда писем с просьбами о помощи (цензор пропускал такие письма). В Индии, особенно в Южной Индии, существовало всеобщее и весьма ошибочное мнение, будто я богатый человек.

Вскоре после моего освобождения состоялась помолвка моей младшей сестры Кришны, и я очень хотел, чтобы свадьбу сыграли поскорее, до моего вынужденного ухода. Кришна вышла из тюрьмы всего несколькими месяцами ранее, отбыв годичное тюремное заключение.

Как только состояние здоровья матери стало лучше, я отправился в Пуну повидаться с Гандиджи. Я был рад снова увидеть его и узнать, что, несмотря на слабость, он быстро поправлялся. Мы много беседовали. Было очевидно, что мы значительно расходились во взглядах на жизнь, политику и экономику, но я был благодарен ему за великодушие, с которым он старался пойти, насколько мог, навстречу моей точке зрения. Наша переписка, впоследствии опубликованная, касалась ряда широких проблем, занимавших меня, и хотя о них говорилось туманным языком, общее направление мысли было ясно. Я был рад услышать от Гандиджи, что, по его мнению, привилегированные группы следует лишить их привилегированного положения, хотя он делал упор на том, что этого следует добиться не принуждением, а убеждением. Поскольку, на мой взгляд, некоторые его способы убеждения были не столь уже далеки от вежливого и деликатного принуждения, разница не казалась мне большой. По отношению к нему у меня, как и прежде, было чувство, что, хотя он, быть может, и не любит заниматься расплывчатыми теориями, логика фактов шаг за шагом подведет его к неизбежности коренных социальных перемен. Он представлял собой любопытное явление: он напоминал средневекового католического святого, как и назвал его Верьер Элвин,— и в то же время он был практичным руководителем, всегда ощущавшим биение пульса индийского крестьянства. Куда он мог свернуть во время кризиса, трудно было сказать, но какой бы путь он ни избрал, ему суждено было играть крупную роль. Он мог встать, с нашей точки зрения, на ложный путь, но это всегда был бы прямой путь. Работать с ним было приятно, но в случае необходимости наши пути должны были разойтись.

Впрочем, в то время такой вопрос перед нами не возникал. Наша национальная борьба была в разгаре, и гражданское неповиновение оставалось теоретически программой Конгресса, хотя и было ограничено индивидуальными действиями. Мы должны были действовать так же и впредь и стараться распространять социалистические идеи среди народа и особенно среди наиболее политически сознательных работников Конгресса, с тем чтобы, когда придет время вновь провозгласить нашу политическую программу, мы были бы готовы сделать заметный шаг вперед. Пока же Конгресс оставался запрещенной организацией, и английское правительство пыталось раздавить его. Мы должны были отразить это наступление.

Главная проблема, стоявшая перед Гандиджи, носила личный характер. Что он должен был сделать сам? Он находился в трудном положении. Если он снова будет заключен в тюрьму, возникнет все тот же вопрос о привилегиях хариджанов, и правительство, вероятно, не уступит; тогда он снова должен будет объявить голодовку. Не повторится ли тот же цикл? Он

отказывался участвовать в подобной игре в кошки-мышки и заявил, что если он станет опять голодать из-за этих привилегий, голодовка будет продолжаться, хотя бы его и освободили. Это означало голодать до смерти.

Второй возможный для него образ действий заключался в том, чтобы не давать повода для заключения в тюрьму, пока не истечет годичный срок его приговора (оставалось еще десять с половиной месяцев), и посвятить себя движению в защиту хариджанов. Но в этом случае он неизбежно стал бы встречаться с работниками Конгресса и давать им по мере необходимости советы.

Третья возможность, на которую он указал мне, заключалась в том, чтобы на время совершенно уйти из Конгресса и оставить его, как он выразился, в руках «молодого поколения».

Первый путь, который, казалось, предвещал ему голодную смерть, был для всех нас неприемлем. Третий путь представлялся нам весьма нежелательным в момент, когда Конгресс был на нелегальном положении. Это могло привести к немедленному прекращению гражданского неповиновения и всех форм прямых действий и возвращению к легальности и конституционной деятельности или к тому, что Конгресс, запрещенный и оторванный даже от Гандиджи, подвергся бы еще более сильным ударам со стороны правительства. Кроме того, не могло быть и речи о том, чтобы какая-нибудь группа взяла в свои руки запрещенную организацию, которая не могла собираться и обсуждать политические вопросы. Методом исключения мы пришли, таким образом, ко второму курсу, предложенному им самим. Большинству из нас он был не по душе, и мы знали, что это нанесет тяжелый удар по остаткам движения гражданского неповиновения. Если сам лидер выйдет из борьбы, то вряд ли много восторженных конгрессистских работников выразит готовность броситься в огонь. Но казалось, что другого выхода из тупика не было, и Гандиджи сделал соответствующее заявление.

Мы, Гандиджи и я, согласились, хотя, возможно, по разным причинам, что время для прекращения гражданского неповиновения еще не настало и мы должны его продолжать хотя бы в меньших масштабах. Кроме того, я хотел привлечь внимание народа к социалистическому учению и международному положению.

На обратном пути я провел несколько дней в Бомбее. Мне повезло застать там Удаи Шанкара и увидеть, как он танцует. Это было неожиданное удовольствие, которое меня очень порадовало. Театры, музыка, немое и звуковое кино, радио — все это в течение многих лет было недосыгаемо для меня, ибо даже в те периоды, когда я находился на свободе, я был слишком поглощен другой деятельностью. До сих пор я

всего один раз был на звуковой кинокартине, и имена кинозвезд остаются для меня пустым звуком. Особенно мне недоставало театра, и я часто с завистью читал о новых постановках в других странах. В Северной Индии, даже находясь вне тюрьмы, я не имел возможности посмотреть хорошие пьесы, так как они шли обычно где-нибудь далеко. Я считаю, что драма на языках бенгали, гуджарати и маратхи добилась кое-каких успехов; однако драма на языке хиндустани была (ибо мне не известно, что произошло за последнее время) страшно грубой и малохудожественной. Мне говорили, что большинство индийских фильмов, как немых, так и звуковых, не отличается высокой художественностью. Обычно это оперетты или мелодрамы на сюжеты, заимствованные из древнеиндийской истории или мифологии.

Вероятно, они отвечают запросам городского населения. Контраст между этими грубыми и скудными зрелищами и все еще сохранившимся искусством народной песни и пляски и даже сельской драмы очень велик. В Бенгалии, Гуджарате и на юге подчас обнаруживаешь с приятным удивлением, каким глубоким и в то же время бессознательным художественным чувством обладают крестьяне. Другое дело — средние классы; они, видимо, утратили свои исторические корни, и у них нет художественных традиций, которых они могли бы придерживаться. Они восторгаются дешевыми отвратительными литографиями, которые во множестве выпускаются в Германии и Австрии, и иногда даже поднимаются до картин Рави Вармы. Фисгармония — их любимый инструмент (я живу надеждой, что одним из первых актов национального правительства будет запрещение этого ужасного инструмента). Но, пожалуй, нигде не увидишь столько отталкивающих нелепостей и такого нарушения всех эстетических норм, как в домах крупных талукдаров в Лакнау и других местах. У них есть деньги и стремление показать себя, и они это делают; и люди, которые посещают их, бывают потрясены, видя, во что выливается это стремление.

За последнее время наблюдается известное художественное пробуждение, возглавляемое блестящей семьей Тагоров, и его влияние чувствуется уже по всей Индии. Но как может какое-либо искусство процветать сколько-нибудь широко, если население страны подвергается на каждом шагу притеснениям, ограничениям и гнету и живет в атмосфере страха?

В Бомбее я встретил много друзей и товарищей, часть которых лишь недавно вышла из тюрьмы. В этом городе были сильны социалистические настроения и ощущалось серьезное недовольство положением, создавшимся за последнее время в руководящих кругах Конгресса. Гандиджи подвергался суровой критике за свои метафизические воззрения, примененные к политике. Со значительной частью этой критики я соглашался, но мне было совершенно ясно, что в нашем положении

мы не имели выбора и вынуждены идти тем же путем. Попытка прекратить кампанию гражданского неповиновения не принесла бы нам облегчения, ибо наступление правительства продолжалось бы и всякая действенная работа неизбежно приводила бы в тюрьму. Наше национальное движение достигло той стадии, когда правительство должно было его подавить, иначе это движение навязало бы свою волю английскому правительству. Это означало, что оно достигло такой стадии, когда в любой момент могло быть объявлено вне закона и, как движение, оно не могло повернуть вспять, даже если бы кампания гражданского неповиновения была отменена. На практике продолжение кампании гражданского неповиновения мало в чем проявлялось, но в данном случае она имела смысл как акт морального осуждения. Новые идеи легче распространять в период борьбы, нежели в условиях, когда борьба свернута и наступила деморализация. Альтернативой борьбы была компромиссная позиция по отношению к английским властям и дозволенная конституцией деятельность в законодательных органах.

Положение было трудное и выбор не из легких. Я понимал, какие противоречивые чувства обуревают моих коллег, ибо мне самому приходилось их испытывать. Но там, как и повсюду в Индии, я встретил людей, которые хотели воспользоваться возвышенным социалистическим учением, для того чтобы оправдать свое бездействие. Было несколько досадно видеть людей, которые сами ничего не сделали, но называют реакционерами тех, кто вынес на себе всю тяжесть борьбы. Эти салонные революционеры особенно яростно нападают на Гандиджи, называя его архиреакционером и выдвигая при этом доводы, довольно непоследовательные с точки зрения логики. Однако нет сомнений в том, что этот «реакционер» знает Индию, понимает Индию, олицетворяет крестьянскую Индию, и он встряхнул Индию с такой силой, какой не найти у этих так называемых революционеров. Даже та деятельность, которую он вел в последнее время в связи с движением в защиту хариджанов, медленно, но верно подрывала ортодоксальный индуизм и потрясла его до самого основания. Целое племя ортодоксальных деятелей ополчилось на него и считает его своим самым опасным врагом, хотя он продолжает относиться к ним со всей мягкостью и вежливостью. Он наделен особым даром высвобождать могучие силы, которые распространяются, подобно кругам на поверхности воды, и воздействуют на массы. Реакционер он или революционер, но он изменил лицо Индии, вселил гордость и упорство в дотоле покорный и деморализованный народ, вдохнул в массы силу и сознание и сделал индийскую проблему проблемой мирового значения. Независимо от поставленных целей и связанных с ними метафизических вопросов, метод ненасильственного несотрудничества, или гражданского сопротивления, является его собственным огромным даром

Индии и всему миру, и не может быть никакого сомнения в том, что этот метод паразитально отвечает индийским условиям.

Я совершенно согласен с тем, что мы должны поощрять честную критику и как можно чаще ставить свои проблемы на обсуждение общественности. К сожалению, господствующее положение Гандиджи до некоторой степени препятствовало такому обсуждению. Всегда существовала тенденция полагаться на него и предоставлять ему принимать решение. Это явно неправильно; страна может идти вперед лишь при условии сознательного одобрения целей и методов; на этом, а не на слепом повиновении должны быть основаны сотрудничество и дисциплина. Ни один человек, сколь бы велик он ни был, не должен стоять вне критики. Но не годится, когда критика становится лишь уловкой, оправдывающей бездействие. Для социалистов прибегать к такого рода методам — значит навлекать на себя осуждение со стороны народа, ибо массы судят по делам.

«Тот, кто отрицает острые задачи сегодняшнего дня,— говорит Ленин,— во имя мечтаний о легких задачах будущего, становится оппортунистом. Теоретически это означает нежелание опираться на ход событий, происходящих в настоящее время в реальной жизни, отмежевание от них во имя мечтаний».

Социалисты и коммунисты в Индии вскормлены в основном на литературе о промышленном пролетариате. В некоторых отдельных районах, вроде Бомбея или района Калькутты, имеется много заводских рабочих, но в остальном Индия остается аграрной страной, и индийскую проблему нельзя эффективно решать или трактовать с позиций промышленного пролетариата. Господствующими соображениями являются национализм и сельская экономика, а европейский социализм редко имеет с ним дело. Довоенные условия в России гораздо ближе напоминали условия в Индии, но там опять-таки имели место самые поразительные и необычайные события, и нелепо ожидать, что они повторятся где-либо еще. Я верю в то, что коммунистическая философия помогает нам понять и проанализировать условия, существующие в любой стране, а также указывает путь к будущему прогрессу. Но применять ее слепо, без должного учета фактов и условий значит совершать насилие и несправедливость по отношению к этой философии.

Жизнь как-никак сложное дело, и конфликты и противоречия жизни подчас повергают нас в отчаяние. Неудивительно, что люди расходятся во взглядах и что даже товарищи, которые подходят к проблемам одинаково, делают разные выводы. Но человек, старающийся прикрыть свою слабость громкими фразами и благородными принципами, невольно вызывает подозрение. Человек, который старается избежать тюрьмы, давая обязательства и заверения правительству или другими сомнительными способами, а затем имеет дерзость критиковать дру-

гих, может нанести ущерб тому делу, которое он поддерживает.

Бомбей, этот огромный город-космополит, населен самым разнообразным людом. Но один из его видных граждан проявил поистине замечательную широту политических, экономических, социальных и религиозных воззрений. Как профсоюзный лидер он был социалистом; в политике он обычно называл себя демократом; он был любимцем «Хинду сабха» и обещал защищать старые религиозные и социальные обычаи и не позволять Законодательному собранию вмешиваться в эту область; во время выборов он стал кандидатом санатанистов, этих верховных жрецов у алтаря древних тайн. Не находя эту разнообразную и разностороннюю деятельность достаточной, он употребил излишек своей энергии на то, чтобы критиковать Конгресс и поносить Гандиджи как реакционера. В сотрудничестве с некоторыми другими лицами он основал конгрессистскую демократическую партию, которая, кстати, не имела никакого отношения к демократии и была связана с Конгрессом лишь постольку, поскольку нападала на этот высокий орган. В поисках новых сфер завоевания он присутствовал затем в качестве делегата на конференции Международного бюро труда в Женеве. Можно было подумать, что он готовит себя на пост премьер-министра какого-нибудь «национального» правительства, созданного по английскому образцу.

Мало кто может похвастаться таким разнообразием воззрений и деятельности. Тем не менее среди критиков Конгресса было много таких, которые экспериментировали в различных областях и хотели всюду поспеть. Некоторые из них называли себя социалистами, и надо сказать, что они оказывали плохую услугу социализму.

Глава пятьдесят первая

ВЗГЛЯДЫ ЛИБЕРАЛОВ

Во время своего пребывания в Пуне, куда я приехал, чтобы повидаться с Гандиджи, я сопровождал его однажды вечером на собрание общества «Слуги Индии». В течение часа или около того некоторые члены общества задавали ему вопросы и он отвечал на них. Председатель общества Сриниваса Састри отсутствовал, не было также и пандита Хридай Натха Кунзру, вероятно, самого способного из остальных деятелей общества, но кое-кто из видных членов общества все же присутствовал на собрании. Те немногие из нас, кто был на этом собрании, прислушивались к происходящему с растущим изумлением, ибо вопросы касались самых незначительных событий. По большей части они вращались вокруг старой просьбы Гандиджи о свидании с вице-королем и отказа вице-короля.

Неужели для них в этом мире, полном проблем, в то время, когда их родина вела тяжелую борьбу за свободу и сотни организаций были запрещены, это был единственно важный вопрос? Существовали аграрный кризис и промышленная депрессия, порождавшие массовую безработицу. В Бенгалии, в Пограничной провинции и других районах Индии происходили ужасные события: подавление свободы мысли и слова, печати и собраний и столько других национальных и международных проблем. Но на собрании вопросы ограничивались маловажными событиями и возможной реакцией вице-короля и правительства Индии на обращение Гандиджи.

У меня было такое чувство, словно я попал в монастырь, обитатели которого давно утратили живую связь с внешним миром. А ведь наши друзья были активными политическими деятелями, способными людьми, которые много лет служили общественному благу и шли ради него на жертвы. Вместе с некоторыми другими они составляли костяк партии либералов. В остальном партия состояла из расплывчатой, аморфной массы людей, которым хотелось иногда ощущать связь с политической деятельностью. Некоторые из них, особенно в Бомбее и Мадрасе, ничем не отличались от правительственных чиновников.

Вопросы, которые ставит перед собой страна, служат мериллом ее политического развития. Зачастую неудачи этой страны объясняются тем, что она не сумела поставить перед собой правильный вопрос. Тот факт, что мы тратим свое время, энергию и нервы на распределение мест между представителями религиозных общин или создаем партии в связи с вопросом о каких-либо избирательных куриях и ведем бесплодные споры, забывая при этом о жизненно важных проблемах, говорит о нашей политической отсталости. Точно так же вопросы, с которыми обращались в тот день к Гандиджи в обществе «Слуги Индии», отражали странное психологическое состояние, в котором пребывали члены этого общества и либеральной партии. Очевидно, у них не было ни политических или экономических принципов, ни широкого кругозора, и их политика, видимо, отослалась к разновидности салонной или придворной политики: их интересовало лишь, что сделают или чего не сделают высокопоставленные должностные лица.

Название «либеральная партия» может ввести в заблуждение. В других странах, и особенно в Англии, это слово означает определенную экономическую политику — свободу торговли, принцип *laissez-faire* и т. п. — и определенную идеологию, воплощенную в принципе свободы личности и гражданских свобод. Английская либеральная традиция опиралась на экономическую основу. Желание добиться свободы торговли и избавиться от королевских монополий и произвольного налогообложения породило стремление к политической свободе. У индийских либералов нет такой традиции. Они не верят в свободу торговли, поскольку почти все они — протекционисты и, как показали недавние события, придают мало значения гражданским свободам. От либералов европейского типа их отличают также тесные связи с полуфеодалными и деспотическими индийскими княжествами и общая поддержка, которую они оказывают этим княжествам, где отсутствуют даже зачатки демократии и свободы личности. Собственно индийские либералы вообще не либеральны ни в каком смысле слова или же, самое большее, либеральны лишь по внешнему виду. Что они точно собой представляют — сказать трудно, ибо у них нет прочной позитивной идейной базы и, при всей своей малочисленности, они разнятся друг от друга. Они сильны только в отрицании. Они повсюду усматривают ошибки, пытаются избежать их, надеясь, что, поступая так, они найдут истину. Собственно, истина для них всегда находится между двумя крайностями. Критикуя все, что они считают крайним, они чувствуют себя добродетельными, умеренными и полезными. Этот метод помогает им избежать мучительного и трудного процесса мышления и необходимости выдвигать конструктивные идеи. Некоторые из них смутно чувствуют, что в Европе капитализм не вполне преуспел и испытывает трудности; с

другой стороны, социализм явно плох, ибо он покушается на интересы привилегированных групп. Вероятно, в будущем будет найдено некое мистическое решение, найден какой-то компромисс, а пока интересы привилегированных групп следует оберегать. Если возник спор о том, плоская земля или круглая, они, вероятно, осудили обе эти крайние точки зрения и высказали бы ориентировочное предположение, что она может иметь форму квадрата или эллипса.

Они приходят в сильное возбуждение из-за ничтожных и маловажных вопросов, и тогда бывает удивительно много суеты и шума. Они сознательно и подсознательно избегают постановки серьезных проблем, ибо такие проблемы требуют решительных мер, мужества в мышлении и действиях. Поэтому поражения и победы либералов имеют мало значения. Они не связаны ни с каким принципом. Таким образом, ведущей особенностью партии и ее отличительной чертой, если можно считать ее таковой, является умеренность во всем — плохом и хорошем. Это определенный взгляд на жизнь, и старое название — «умеренные» — было, пожалуй, наиболее подходящим.

Умеренность! — и в ней одной славы моей история,
Хоть будто «виг» я — торн лгут, а виги — будто «тори» я!¹

Однако умеренность, сколь бы замечательной она ни была, не является яркой и сверкающей добродетелью. Она порождает серость, и, таким образом, индийские либералы стали, к несчастью, «унылой бригадой» — людьми мрачного и серьезного вида, которые скучно лишут, скучно говорят и лишены чувства юмора. Конечно, имеются и исключения, и самым примечательным из них является сэр Тедж Бахадур Сапру, который в личной жизни, несомненно, не скучен и не лишен чувства юмора и который способен оценить даже шутку по своему адресу. Но в целом группа либералов представляет буржуазность *in excelsis* со всей ее скучной солидарностью. Аллахабадский «Лидер», являющийся ведущей либеральной газетой, поместил в прошлом году весьма характерное высказывание. Эта газета утверждала, что великие и необыкновенные люди неизменно свергали мир в беду и что поэтому она предпочитает обыкновенных, заурядных людей. Изящным и откровенным жестом она признала своим идеалом посредственность.

Умеренность, осторожность, консервативность, желание избежать риска и внезапных перемен часто бывают неизбежными спутниками старости. В молодые годы они не кажутся столь уместными, но наша страна — страна древняя, и порой кажется, что дети ее уже рождаются усталыми и измученными, с тусклым взором и всеми признаками старости. Но ныне даже

¹ Alexander Pope.

эта древняя страна содрогается под действием сил преобразования и умеренный подход теряет свой смысл. Старый мир уходит, и тут не поможет вся милая рассудительность либералов, они с таким же успехом могли бы спорить с ураганом, наводнением или землетрясением. Старые понятия уже не пригодны, а искать новые способы мышления и действия они не осмеливаются. Касаясь европейской традиции, д-р Уайтхед писал: «Эта традиция искажена порочной посылкой, будто каждое новое поколение будет жить в основном в тех же условиях, которые определяли уклад жизни его отцов, и передаст эти условия по наследству, с тем чтобы они могли в той же мере определять жизнь его потомков. Мы впервые живем в такой период истории человечества, когда подобная посылка является ложной». Анализ д-ра Уайтхеда грешит умеренностью, ибо, вероятно, эта посылка всегда была ложной. Если европейская традиция была консервативной, то насколько же больше это относится к нашим традициям? Но когда наступает время для изменений, история мало заботится о традициях. Мы становимся беспомощными зрителями и видим других в провале своих планов. А это, как указывает Джералд Херд,— «самая пагубная из иллюзий, расчет, построенный на убеждении, что всякая неудача в чьих-либо планах вызывается не ошибкой в его мышлении, а препятствиями, которые сознательно чинит ему кто-то другой».

Мы все находимся в плену у этой ужасной иллюзии. Иногда мне кажется, что Гандиджи также не свободен от нее. Но мы по крайней мере действуем и стараемся не терять связи с жизнью и, учась на опыте и ошибках, иногда уменьшаем силу воздействия иллюзии и кое-как движемся вперед. Но больше всех страдают либералы. Ибо, боясь ошибиться, они не предпринимают ничего; они не двигаются, боясь упасть, они не поддерживают здоровых связей с массами и сидят, зачарованные и загнипнотизированные сами собой, в своих идеологических кельях. Полтора года назад Сриниваса Састри предостерег своих сподвижников-либералов, чтобы они не «стояли в стороне, предоставляя событиям идти своим чередом». В этом предостережении было больше истины, чем он, вероятно, сам это признавал. Они боялись собственного народа и предпочитали отгораживаться от народных масс, лишь бы не ссориться с нашими правителями. Надо ли удивляться, что они стали чужими у себя на родине и что жизнь прошла мимо них, оставив их позади? Когда их соотечественники вели ожесточенную борьбу за жизнь и свободу, не было никакого сомнения в том, по какую сторону баррикады стояли либералы. С той стороны этой баррикады они давали нам хорошие советы и были преисполнены пошлости, которую изливали густым слоем, подобно липкой краске. Их сотрудничество с английским правительством на конференциях круглого стола и в комиссиях являлось ценным моральным фак-

тором для правительства. Отсутствие такого фактора имело бы определенное значение. От участия в одной из этих конференций воздержалась даже английская лейбористская партия; но наши либералы поехали, несмотря на призыв некоторых англичан не делать этого.

Все мы являемся умеренными или экстремистами в разной степени и по различным причинам. Если мы заинтересованы в чем-либо достаточно сильно, то существует вероятность, что мы проявим энергию и явемся в этом вопросе экстремистами. В противном случае мы можем позволить себе снисходительную терпимость, некую философскую умеренность, которая в действительности скрывает отчасти наше безразличие. Мне приходилось наблюдать, как кротчайшие из умеренных становились весьма агрессивными и непримиримыми, когда вносилось предложение об отмене привилегированного положения некоторых групп. Наши друзья-либералы представляют до некоторой степени людей, преуспевающих и обеспеченных. Они могут позволить себе ждать, когда им будет предоставлен свараж, и им незачем волноваться из-за него. Но любое предложение о коренных социальных изменениях сильно волнует их, и они утрачивают всю свою умеренность и рассудительность. Таким образом, их умеренность ограничивается на деле их позицией по отношению к английскому правительству, и они лелеют надежду, что если они будут достаточно почтительны и уступчивы, то, возможно, в награду за их поведение их могут выслушать. Им неизбежно приходится принимать английскую точку зрения. Сине книги становятся предметом их усиленного изучения. «Parliamentary Practice» Эрскина Мэя и тому подобные произведения являются их настольными книгами, новый доклад правительства — объект для возбужденного обсуждения. Возвращаясь из Англии, лидеры либералов делают таинственные заявления о деяниях великих людей в Уайтхолле, ибо Уайтхолл — это Валгалла для либералов, респонсивистов и других подобных групп. В старое время говорили, что добрые американцы после смерти отправляются в Париж, и, может быть, тени добрых либералов иногда бродят в окрестностях Уайтхолла.

Я пишу о либералах, но то, что я пишу о них, относится также к многим из нас в Конгрессе. Еще в большей мере это относится к респонсивистам, которые своей умеренностью перещеголяли либералов. Между средним либералом и средним конгрессистом большая разница, и все же линия раздела не является четкой и определенной. В идеологическом отношении трудно сделать выбор между передовым либералом и умеренным конгрессистом. Но благодаря Гандиджи каждый конгрессист сохранил какую-то связь с родной землей и с народом и вел хоть какую-нибудь деятельность, избежав благодаря этому некоторых последствий расплывчатой и вредной идеологии. Иначе обстояло дело с либералами: они утратили связь как со

старым, так и с новым. Как группа, они представляют выми-
рающую разновидность.

Большинство из нас, мне думается, утратили былые языче-
ские ощущения и не приобрели нового дара проникновения. Нам
не дано видеть «Протея, поднимающегося из моря» или услы-
шать, «как старый Тритон дует в свой витой рог». Мало кому
из нас выпадает счастье

Мир узреть в одной песчинке,
Небо — в полевом цветке,
Вечность в час вместить единый,
Бесконечность сжать в руке.

К несчастью, нам не дано ощущать таинственную жизнь При-
роды, слышать ее шепот, волноваться и дрожать при ее при-
косновении. Эти дни миновали. Но хотя, может быть, мы и не
видим, как прежде, возвышенного в природе, мы стараемся
найти его в славе и трагедии человечества, в его дерзких меч-
тах и душевных бурях, его мучениях и неудачах, его конфлик-
тах и несчастьях и, главное, в вере в его великое предназна-
чение и в осуществление этих мечтаний. Это в какой-то мере воз-
награждает нас за все страдания, которые сопутствуют таким
поискам, и нам часто удавалось подняться над мелочной суетой
жизни. Но многие не предприняли этих поисков и, сойдя со
старых путей, не знают, какой дорогой им следовать в насто-
ящем. Они не мечтают и не действуют. Они не понимают таких
потрясений, как Великая французская революция или русская
революция. Их пугают сложные, стремительные и жестокие
извержения долго подавляемых человеческих стремлений. Для
них Бастилия еще не пала.

Нам часто говорят с праведным негодованием, что «патри-
отизм не является монополией конгрессистов». Эту фразу повто-
ряют несчетное число раз с таким однообразием, что порой оно
становится угнетающим. Надеюсь, что ни один конгрессист ни-
когда и не претендовал на приоритет такого рода чувства. Разу-
меется, я не считаю патриотизм монополией Конгресса и был бы
рад преподнести его всякому, кто этого желает. Патриотизм
довольно часто бывает прибежищем оппортунистов и карьерис-
тов, и существовало множество разновидностей его в угоду
всем вкусам, всем интересам, всем классам. Живи Иуда в наши
дни, он, несомненно, действовал бы во имя его. Одного патри-
отизма уже недостаточно: мы хотим чего-то более возвышен-
ного, широкого и благородного.

Умеренность также недостаточна сама по себе. Сдержан-
ность хороша и служит мерилom нашей культурности, но за этой
сдержанностью должно быть нечто такое, что требовало бы,
чтобы его сдерживали и обуздывали. На долю человека выпало
управлять стихиями, оседлать молнию, поставить себе на служ-

бу бушующее пламя и стремительные воды, но всего труднее ему сдерживать и обуздывать снедающие его страсти. Пока он не покорит их, он не сможет полностью воспользоваться своим общечеловеческим наследством. Но неужели мы должны сдерживать ноги, которые не двигаются, и руки, которые парализованы?

Не могу не поддаться соблазну и не процитировать четверостишие Роя Кэмпбелла о некоторых южноафриканских романистах. Повидимому, оно столь же приложимо и к различным политическим группам в Индии:

Стяжали вы хвалу, как признанный стилист,
С суровой сдержанностью вашей я согласен,
В руке у вас всегда узда и хлыст,
Но где ж тот конь, что дьявольски опасен?

Наши друзья-либералы говорят нам, что они следуют узким путем золотой середины и лавируют между двумя крайностями: Конгрессом и правительством. Они берутся судить о недостатках обеих сторон и поздравляют себя с тем, что сами свободны от этих недостатков. Они пытаются держать весы, и мне думается, что, подобно статуе Правосудия, они предстают перед нами с закрытыми или завязанными глазами. Только ли моя фантазия уводит меня вглубь веков и заставляет внимать знаменитым словам: «Книжники и фарисеи... Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие»!

СТАТУС ДОМИНИОНА И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Большинство тех, кто в течение последних семнадцати лет определял политику Конгресса, вышло из средних классов. Все они, как либералы, так и конгрессисты, принадлежат к одному и тому же классу и выросли в одинаковом окружении. Они вращались в одном обществе, их связи и знакомства были аналогичными, и вначале между двумя разновидностями провозглашенных ими буржуазных идеалов не было большой разницы. Постепенно различия темперамента и психологии начали разделять их, и они стали смотреть в разных направлениях — одна группа больше в сторону правительства и богатой верхушки средних классов, другая — в сторону низших слоев средних классов. Идеология и цели были все те же, но вторая группа стала испытывать на себе давление со стороны широких слоев торговцев и ремесленников, а также со стороны безработной интеллигенции. Тон изменился: он был уже не почтительным и вежливым, а резким и агрессивным. За недостатком силы для активных действий некоторое облегчение находили в сильных выражениях. Напуганные этим новым положением дел умеренные элементы ударились в бегство и стали искать прибежища в уединении. Тем не менее верхние слои среднего класса занимали прочные позиции в Конгрессе, хотя численно преобладала мелкая буржуазия. Ими двигало не только стремление добиться успеха в национальной борьбе, но и желание найти в ней некое внутреннее удовлетворение. Они стремились вернуть себе таким образом утраченную гордость и самоуважение и восстановить утерянное чувство собственного достоинства. Это были обычные националистические стремления, и хотя они были свойственны всем, но именно здесь сказалась разница в темпераменте умеренных и экстремистов. Постепенно ведущая роль в Конгрессе перешла к низшим слоям среднего класса, а позже дало почувствовать свое влияние и крестьянство.

По мере того как Конгресс все больше представлял массы сельского населения, ширилась пропасть, отделявшая его от либералов, и для либералов стало почти невозможным понять или одобрить конгрессистскую точку зрения. Богатой гостиней нелегко понять скромный крестьянский домик или глинобитную

хижину. И все же, несмотря на эти различия, обе идеологии были националистическими и буржуазными, разница была не в существе, а в степени. В Конгрессе до последнего времени оставалось много людей, которые прекрасно чувствовали бы себя среди либералов.

На протяжении многих поколений англичане рассматривали Индию как своего рода огромную усадьбу (старо-английского образца), принадлежащую им. Сами они были помещиками, владевшими домом и занимавшими лучшие комнаты, тогда как индийцам были отведены помещения для прислуги, кладовая и кухня. Как во всякой порядочной усадьбе, в этих низших сферах существовала установленная иерархия — дворецкий, экономка, повар, камердинер, горничная, лакей и т. д., и среди них строго соблюдался принцип старшинства. Но между низшими и высшими сферами дома стоял непреодолимый социальный и политический барьер. В том, что английское правительство навязало нам подобный порядок, не было ничего удивительного; удивительным кажется то, что мы, или большинство из нас, приняли его в качестве естественного и неизбежного распорядка, регулирующего нашу жизнь и определяющего нашу судьбу. У нас выработалась психология хорошего слуги из помещичьей усадьбы. Иногда мы удостаивались редкой чести — нас угощали чашкой чая в гостиной. Верхом нашего честолюбия было приобрести респектабельность и получить личный доступ в высшие сферы. Этот психологический триумф англичан в Индии был более значителен, нежели любая победа, одержанная силой оружия или с помощью дипломатии. Как говаривали в старину мудрые люди, раб стал мыслить рабски.

Времена изменились, и теперь эту усадебную цивилизацию никто не приемлет добровольно ни в Англии, ни в Индии. Но среди нас все еще есть люди, которые не хотят расстаться с помещением для прислуги и гордятся золотыми галунами и лакейской ливреей. Другие, подобно либералам, приемлют усадьбу в целом, восхищаются ее архитектурой и всем строением, но надеются мало-помалу заменить собой владельцев. Они называют это индианизацией. Им пужно лишь изменить окраску администрации или, самое большее, получить новую администрацию. О новом государстве они и не помышляют.

Для либералов сварадж означает, что все останется по-старому, только оттенок кожи действующих лиц потемнеет. Они могут представлять себе лишь такое будущее, в котором они и им подобные будут играть главную роль и займут место высших английских чиновников; будущее, в котором сохранятся те же типы службы, правительственные ведомства, законодательные собрания, торговля, промышленность. Все останется на своем месте: чиновники Индийской гражданской службы на своих постах; князья, появляющиеся время от времени в маскарадном паряде или карнавальном платье, увешанные свср-

кающими драгоценностями, дабы ослепить своих подданных, у себя во дворцах; помещики, претендующие на особое покровительство и в то же время притесняющие своих арендаторов; ростовщик со своими денежными мешками, обирающий как заминдаров, так и арендаторов; адвокат со своими гонорарами и, наконец, бог у себя на небе.

В сущности в основе этого мировоззрения лежит стремление сохранить статус кво, а изменения, которые они желают, можно назвать изменениями личного характера. При этом они стремятся добиться таких изменений посредством медленного проникновения и с благосклонного одобрения англичан. Основа всех их политических и экономических воззрений построена на сохранении и упрочении Британской империи. Считая, что эта империя незыблема — или, по крайней мере, останется такой в течение долгого времени, — они приспособляются к ней и принимают не только ее политические и экономические идеи, но и в значительной мере и ее моральные нормы, целиком рассчитанные на то, чтобы обеспечить сохранение английского владычества.

Позиция Конгресса является в корне отличной, ибо он добивается не просто смены администрации, а создания нового государства. Возможно, что среднему конгрессисту не вполне ясно, что будет представлять собой это новое государство, и мнения на этот счет могут расходиться. Но все конгрессисты (за исключением, быть может, небольшой группы умеренных) сходятся на том, что нынешние условия и методы не могут и не должны быть сохранены и что необходимы существенные перемены. В этом и состоит разница между статусом доминиона и независимостью. В первом случае сохраняется в целостности старое здание с многочисленными узлами — видимыми и невидимыми, — привязывающими нас к экономической системе Англии; во втором случае мы приобретаем или должны приобрести свободу воздвигнуть новое здание в соответствии с нашими условиями.

Речь идет не о неумолимой и непримиримой вражде к Англии и английскому народу и не о желании во что бы то ни стало порвать с ними. После всего, что случилось, вражда между Индией и Англией была бы довольно естественной. «Неуклюжесть власти, — говорит Тагор, — ломает ключ и орудует ломом»; ключ к нашим сердцам давно уничтожен, а лом, который столь часто пускают в ход против нас, не внушил нам особой любви к англичанам. Но если мы хотим служить делу Индии и всего человечества, мы не можем поддаваться временным страстям. И если бы даже мы имели такую склонность, то нас удержала бы суровая школа, которую мы прошли под руководством Гандиджи. Я пишу это, сидя в английской тюрьме, и в течение многих минувших месяцев тревога наполняла мою душу, и, возможно, во время этого одиночного заключения я страдал больше, чем когда-либо за все свое пребывание в тюрь-

мах. Часто различные события рождали в моей душе гнев и возмущение, и все же, сидя здесь и заглядывая в свою душу, я не нахожу в ней гнева на Англию и английский народ. Я питаю отвращение к английскому империализму, и я протестую против его господства над Индией. Я питаю отвращение к капиталистической системе; я питаю большое отвращение и негодование по поводу того, как правящие классы Англии эксплуатируют Индию. Но я не считаю Англию или английский народ в целом ответственными за это, и даже если бы я так считал, то я не думаю, чтобы это что-либо меняло, ибо довольно глупо гневаться на целый народ или осуждать его. Он такая же жертва обстоятельств, как и мы.

Я лично слишком многим обязан Англии в своем духовном развитии, чтобы когда-либо почувствовать себя совершенно чужим ей. И что бы я ни делал, я не могу избавиться от тех привычных воззрений и общего подхода к другим странам и жизни вообще, которые я приобрел в школе и университете в Англии. Все мои склонности (помимо политической области) влекут меня к Англии и английскому народу, и если я все же стал, как говорится, непримиримым противником английского владычества в Индии, то это чуть ли не вопреки самому себе.

Именно против этого владычества, этого господства мы и возражаем, это с ними мы не хотим идти на компромисс, а не с английским народом. Пусть у нас будут самые тесные связи с английским народом и народами других иностранных государств. Мы хотим в Индии свежего воздуха, свежих и глубоких идей, здорового сотрудничества; с годами мы слишком заплесневели. Но если англичане предстают в облике тигров, они не могут ожидать дружбы или сотрудничества. Империалистический тигр может ждать лишь самого яростного сопротивления, а в настоящее время нашей стране приходится иметь дело именно с этим свирепым зверем. Может быть, и можно укротить тигра и смирить его природную свирепость, но нет никакой возможности укротить капитализм и империализм, когда они сообща кидаются на какую-нибудь несчастную страну.

Когда человек заявляет, что он или его страна не пойдут на компромисс, он делает в известном смысле глупое замечание, ибо жизнь неизменно толкает нас к компромиссам. Примененное же к другой стране или народу такое заявление совсем глупо. Но в этом заявлении есть доля истины, если оно касается определенного строя или определенных обстоятельств, и тогда уже такой компромисс становится неосуществимым. Свобода Индии и английский империализм — это два несовместимых понятия, и никакие военные положения и медоточивые речи не сделают их совместимыми и не сблизят между собой.

Нам говорят, что в мире, который все больше становится взаимозависимым, идея независимости — это узкая идея и что

поэтому, требуя независимости, мы пытаемся отвести стрелки часов назад. Либералы и пацифисты и даже так называемые социалисты в Англии выдвигают этот довод и бранят нас за наш узкий национализм и указывают нам, что путь к более содержательной национальной жизни пролегает через «Британское содружество наций». Как ни странно, в Англии все пути — либерализм, пацифизм, социализм и т. д. — ведут к сохранению империи. «Стремление господствующей нации сохранить статус кво, — говорит Троцкий, — часто рядится в тогу превосходства над национализмом, точно так же как стремление победоносной нации удержать свою добычу легко принимает форму пацифизма. Поэтому по отношению к Ганди Макдональд чувствует себя как бы интернационалистом».

Я не знаю, какой станет Индия или что она будет делать, когда обретет политическую свободу. Но я знаю зато, что те из ее сынов, которые стоят сейчас за национальную независимость, стоят также за широчайший интернационализм. Для социалиста национализм может и не иметь никакого смысла, но даже многие не социалисты, стоящие в первых рядах Конгресса, являются убежденными интернационалистами. Если мы требуем сейчас независимости, то не потому, что мы хотим изоляции. Напротив, мы готовы поступиться, вкупе с другими странами, частью этой независимости ради подлинного международного порядка. Всякая имперская система, каким бы высокопарным именем она ни звалась, является врагом такого порядка, и не через посредство такой системы могут быть достигнуты всемирное сотрудничество или всеобщий мир.

События последнего времени показали, что во всем мире различные империалистические системы все больше и больше изолируют себя с помощью автаркии и экономического империализма. Вместо роста интернационализма мы видим обратный процесс. Причины этого найти нетрудно, и они свидетельствуют о растущей слабости современного экономического порядка. Один из результатов этой политики заключается в том, что, способствуя росту сотрудничества внутри обособленного района, она ведет вместе с тем к изоляции от остального мира. Для Индии, как это показали нам Оттавское соглашение и другие решения, такая политика означала постепенное ослабление общения и связей с другими странами. Мы даже в еще большей мере, чем раньше, стали придатком английской промышленности; и опасности, которыми чревата эта политика, если оставить в стороне тот непосредственный вред, который она причинила в различных областях, — являются очевидными. Таким образом, статус доминиона ведет не к расширению международных связей, а к изоляции.

Однако наши друзья — индийские либералы обладают поразительным даром видеть мир, и в частности собственную страну, всегда только сквозь английские очки. Не делая ни

малейших попыток понять, что говорит Конгресс и почему он это говорит, они повторяют старый довод англичан о том, что независимость уже и менее возвышенна, нежели статус доминиона. Весь интернационализм воплощен для них в Уайтхолле, ибо они отличаются поразительным незнанием других стран, что отчасти объясняется языковыми трудностями, но еще больше тем, что такое незнание вполне устраивает либералов. Разумеется, они против прямых действий или любой активной политики в Индии. Но любопытно, что некоторые из их лидеров не возражают, когда такие методы используются в других странах. Они могут ценить их и восхищаться ими на расстоянии, и некоторые из современных диктаторов в западных странах пользуются их уважением.

Названия часто вводят в заблуждение, однако действительная проблема, стоящая сейчас перед нами в Индии, заключается в следующем. Какова наша цель: новое государство или всего лишь новая администрация? Ответ либералов ясен: они хотят новой администрации — и ничего больше, и даже это представляет собой далекий идеал. Слова «статус доминиона» употребляются ими время от времени, но истинная цель либералов выражена в мистических словах «ответственность в центре». Полнокровные слова «сила, независимость, свобода, воляность» — не для них; эти слова звучат опасно. Им гораздо больше импонирует язык и образ действий законоведа, хотя массу это, возможно, и не приводит в восторг. История знает бесчисленное количество случаев, когда отдельные лица и группы людей шли навстречу опасности и рисковали своей жизнью во имя веры и свободы. Сомнительно, чтобы человек мог лишиться аппетита или сна из-за некоей «ответственности в центре» или любого другого юридического термина.

Такова, стало быть, их цель, и ее надлежит достигнуть не с помощью «прямых действий» или любой другой энергичной деятельности, а, как выразился Сриниваса Састри, лишь проявив «мудрость, опыт, умеренность, силу убеждения, влияние и истинное умение». Нам надо надеяться, что своим хорошим поведением и хорошей работой в конечном счете побудим наших правителей расстаться с властью. Другими словами, сейчас они сопротивляются нам либо потому, что они сердятся на нас за наше вызывающее поведение, либо потому, что они сомневаются в наших способностях, или, наконец, имеет место и то и другое. Это представляется несколько наивным анализом империализма и нынешнего положения. У блестящего английского публициста профессора Р. Тоуни есть в одной из его книг весьма интересный отрывок, который уместно привести здесь. Этот отрывок касается теории достижения власти по этапам и при сотрудничестве правящих классов. Он говорит об английской лейбористской партии, но его слова в еще большей степени приложимы к Индии, ибо в Англии имеются хотя бы демокра-

тические институты, в которых теоретически может давать себя знать воля большинства. Профессор Тоуни пишет:

«Луковицу можно есть, ошипывая ее постепенно, но нельзя сдирать постепенно шкуру с живого тигра; она же именно занимается вивисекцией и начинает с того, что сдирает шкуру...

Если и есть на свете такая страна, где привилегированные классы отлучаются простодушием, то это, конечно, не Англия. Мысль о том, будто, изложив свои взгляды тактично и мило, лейбористская партия тем самым усыпит их и заставит разделить эти взгляды, столь же безнадежна, как попытка обманом вынудить какого-нибудь опытного стряпчего отказаться от недвижимого имущества, когда в руках у него уже находятся документы на право собственности. Плутократия состоит из обходительных, проницательных, сильных, самоуверенных, а когда им приходится туго, то и беззастенчивых людей, которые хорошо знают, от чего зависит их благополучие, и намерены сохранить источник этого благополучия. Если их положению будет грозить серьезная опасность, они используют все средства, политические и экономические, — палату лордов, королевскую власть, прессу, недовольство в армии, финансовый кризис, международные затруднения и даже, как показали нападки газет на курс фунта в 1931 году, будут действовать, подобно роялистам-эмигрантам, — вредить собственной стране, дабы оградить свой карман».

Английская лейбористская партия — влиятельная организация. Она опирается на тред-юнионы, объединяющие миллионы членов, платящих взносы, и на мощную кооперативную организацию, а также на многих членов и сочувствующих из интеллигенции. Англия имеет демократические парламентские институты, основанные на всеобщем избирательном праве, и за плечами у нее долгая традиция гражданских свобод. Несмотря на все это, Тоуни считает — а последние события подтвердили правильность его мнения, — что лейбористская партия не может надеяться завоевать власть с помощью одних улыбок и убеждения, какими бы желательными и полезными ни казались оба эти метода. Тоуни полагает, что если бы даже лейбористская партия получила большинство в палате общин, она все же была бы бессильна осуществить сколько-нибудь коренные изменения из-за оппозиции привилегированных классов, которые удерживают столько политических, социальных, экономических, финансовых и военных позиций. Вряд ли нужно указывать, что в Индии условия совсем иные. Здесь нет демократических институтов или традиций. Взамен этого у нас издавна широко практикуются чрезвычайные указы и диктаторский режим, подавление свободы личности, слова, собраний и печати. Кроме того, у либералов нет за спиной сколько-нибудь сильной организации. Таким образом, им приходится уповать на одни улыбки.

Либералы решительно восстают против всякой «неконституционной» или «незаконной» деятельности. В странах с демократическими конституциями слово «конституционный» имеет широкое значение. Оно применяется при контроле над законодательной деятельностью, для защиты свобод, проверки деятельности исполнительной власти, демократических методов изменения политического и экономического строя. Но в Индии такой конституции нет, и это слово не может иметь такого значения¹. Употреблять его здесь значит лишь вводить понятие, которому нет места в современной Индии. Как это ни странно, слово «конституционный» часто употребляют здесь в подкрепление более или менее произвольных действий исполнительной власти. Или же его употребляют в смысле «законный». Гораздо лучше ограничиться словами «законный» или «незаконный», хотя они достаточно расплывчаты и смысл их меняется изо дня в день.

Новый указ или новый закон устанавливает новые виды правонарушений. Так, преступлением может стать посещение публичного митинга, а также езда на велосипеде, ношение определенной одежды, пребывание вне дома после захода солнца, неявка для ежедневной отметки в полицию — все эти и многие другие акты считаются в настоящее время преступлениями на части территории Индии. Какой-нибудь акт может считаться преступлением в одной части страны и не быть таковым в другой. Если подобные законы могут издаваться в одно мгновение безответственной исполнительной властью, то слово «законный» означает попросту волю этой исполнительной власти и ничего больше. Обычно этой воле повинуются охотно или угрюмо, ибо неповиновение приводит к неприятным последствиям. Но когда человек заявляет, что он всегда будет повиноваться, это уже означает гнусную покорность диктатуре или безответственной власти, сделку с собственной совестью и невозможность когда-либо обрести свободу в той мере, в какой это зависит от его собственной деятельности.

В наши дни во всех демократических странах идет спор, возможно ли осуществлять коренные экономические преобразования обычным путем, с помощью того конституционного механизма, который имеется в распоряжении. Многие считают, что это невозможно и что придется прибегнуть к каким-то необычным и революционным методам. В нашем случае, в Индии, этот спор не имеет существенного значения, ибо у нас

¹ Видный деятель партии либералов главный редактор газеты «Лидер» Чинтамани, критикуя в законодательном совете Соединенных провинций доклад парламентской объединенной комиссии о положении в Индии, подчеркнул отсутствие в Индии какого бы то ни было конституционного правительства: «Лучше подчиняться нынешнему неконституционному правительству, нежели более реакционному и еще более неконституционному правительству будущего».

нет конституционных средств осуществления желаемых преобразований. Если Белая книга или нечто подобное ей будет претворено в жизнь, прогресс, достигаемый легальными методами, во многих областях полностью прекратится. Иного выхода, кроме революции или нелегальных действий, нет. Что же в таком случае делать? Оставить всякую мысль об изменениях и покориться судьбе?

В Индии сейчас сложилось еще более необычайное положение. Исполнительная власть может запретить и запрещает или ограничивает все виды общественной деятельности. Всякая деятельность, которая, по ее мнению, опасна, запрещена. Таким образом может быть приостановлена вся активная общественная деятельность, как это и было в течение последних трех лет. Покориться этому значит согласиться на прекращение всякой общественной деятельности. Такого рода позицию немислимо занять.

Никто не может поручиться, что всегда и во всем будет поступать по закону. Даже в демократическом государстве возможны такие случаи, когда совесть заставит человека действовать вопреки закону. В стране же, в которой правят деспотизм и произвол, такие случаи неизбежно будут возникать более часто; собственно, в такого рода государстве закон вообще утрачивает всякое моральное оправдание.

«Прямые действия,— заявляют либералы,— свойственны демократии, а диктатуре; тем, кто хочет торжества демократии, надлежит избегать ее». Это путаная мысль, выраженная весьма неясно. Иногда прямая акция может быть даже законной, как, например, забастовка рабочих. Но, вероятно, в данном случае имелась в виду политическая прямая акция. Какие действия возможны сейчас в гитлеровской Германии? Либо гнусная покорность, либо нелегальные революционные действия. Каким еще образом можно там служить делу демократии?

Индийские либералы часто упоминают о демократии, но большинство из них не испытывает желания познакомиться с ней поближе. Один из виднейших лидеров либералов, сэр Сивасвами Айер, заявил в мае 1934 года: «Выступая за созыв учредительного собрания, Конгресс слишком доверяется мудрости массы и не отдает должного искренности и способностям людей, принимавших участие в ряде конференций круглого стола. Я весьма сомневаюсь, чтобы учредительному собранию удалось добиться лучших результатов». Таким образом, представление сэра Сивасвами о демократии никак не связано с массой, а скорее имеет отношение к собранию «искренних и способных» людей, назначенных английским правительством. Далее он благословляет Белую книгу, ибо, хотя он и «не вполне удовлетворен ею», «он все же полагает, что страна поступила бы неразумно, отвергнув ее в целом». Повидимому, нет никаких оснований, почему бы между английским прави-

тельством и сэром Сивасвами не могло существовать самое полное сотрудничество.

Либералы, естественно, приветствовали отмену Конгрессом движения гражданского неповиновения. Неудивительно также, что они поздравляли себя с тем, что мудро держались подальше от этого «глупого и неблагоприятного движения». «Разве мы этого не говорили?» — заявляли они нам. Это был странный довод: когда мы встали и дали решительный бой, нас сбили с ног; отсюда следует мораль, что стоять плохо. Гораздо лучше и безопаснее ползать. Ибо с такого горизонтального положения нельзя ни быть сбитым, ни упасть.

СТАРАЯ И НОВАЯ ИНДИЯ

Было вполне естественно и неизбежно, что индийский национализм ополчится против чужеземного владычества. И все же поразительно, как много наших интеллигентов до конца XIX века сознательно или бессознательно принимали английскую идеологию империи. На ней строили они свои доводы и осмеливались критиковать лишь некоторые ее внешние проявления. История, экономика и другие предметы, которые изучались в школах и университетах, были написаны целиком с точки зрения Британской империи, и там делался упор на наши многочисленные слабости в прошлом и настоящем и на добродетели и высокое предназначение англичан. В какой-то мере мы принимали эту искаженную версию, и, даже когда мы восставали против нее инстинктивно, она все же оказывала на нас свое влияние. Вначале от нее не было интеллектуального прибежища, ибо мы не знали других фактов или доводов; поэтому мы искали спасения в религиозном национализме, в мысли о том, что, по крайней мере, в сфере религии и философии мы не уступаем ни одному народу. В своем несчастье и отсталости мы утешали себя мыслью, что хотя у нас нет внешнего блеска и пышности, присущих Западу, зато есть реальное внутреннее содержание, гораздо более ценное и важное. Вивекананда и другие, а также интерес западных ученых к нашей древней философии возвращали нам в какой-то мере самоуважение и пробуждали нашу уснувшую гордость за свое прошлое.

Постепенно мы начали с недоверием относиться к заявлениям англичан о нашем прошлом и настоящем и подвергать эти заявления критическому анализу, но мы все еще думали и действовали в рамках английской идеологии. Если что-либо было плохо, это именовалось «не английским»; если англичанин в Индии плохо вел себя, вина была лично его, а не системы. Но собранные таким образом критические материалы, касавшиеся английского владычества в Индии, послужили, несмотря на умеренные воззрения их авторов, революционной цели и подвели под наш национализм экономическую и политическую основу. Таким образом, труд Дадабхан Наороджи «Poverty and Un-British Rule in India» и книги Ромеша Датта,

Уильяма Дигби и других сыграли революционную роль в развитии нашего националистического мышления. Дальнейшие исследования в области древнеиндийской истории показали, что в нашем далеком прошлом были блестящие периоды, характеризовавшиеся высоким уровнем цивилизации, и мы с большим удовлетворением читали о них. Мы обнаружили также, что англичане вели себя в Индии далеко не так, как мы представляли на основании их исторических трудов.

Мы начинали все больше оспаривать английский взгляд на историю, экономику и административную деятельность в Индии, и все же мы попрежнему вращались в орбите английской идеологии. Такова была позиция индийского национализма в целом на рубеже столетия. Такую же позицию занимают до сих пор группа либералов и другие небольшие группы, а также некоторое число умеренных конгрессистов, которые под влиянием эмоций время от времени делают шаг вперед, но в области мышления все еще пребывают в XIX веке. Либерал не в состоянии постичь индийскую идею свободы, ибо это понятие совершенно несовместимо с английской идеологией. Он воображает, что будет шаг за шагом подниматься ко все более высоким должностям и иметь дело со все более пухлыми и важными папками. Механизм управления будет работать все так же гладко, только у пульты управления будет стоять он сам, а где-то позади, не причиняя особых беспокойств, будет находиться английская армия, с тем чтобы защитить его в случае необходимости. Так он мыслит себе статус доминиона в рамках империи. Это паивная и неосуществимая идея, ибо ценой английской защиты является порабощение Индии. Мы не можем иметь и то и другое — свободу и английский военный контроль, — даже если бы это не было унижением для достоинства великой страны.

Сэр Фредерик Уайт (отнюдь не сторонник индийского национализма) писал в вышедшей недавно книге¹: «Он (индеец) все еще верит в то, что Англия оградит его от несчастий, и, покуда он верит в эту иллюзию, он не сможет даже заложить основы своего собственного идеала самоуправления». Очевидно, он имеет в виду таких индийцев, как либералы, реакционеры и религиозно-общинные деятели, с которыми ему, должно быть, приходилось в основном соприкасаться, когда он был председателем Законодательного собрания Индии. Конгресс и, тем более, другие передовые группы не разделяют этого убеждения. Однако они согласны с сэром Фредериком, что свобода невозможна до тех пор, пока существует это заблуждение и пока Индии не будет предоставлено самой встретить несчастья, если такова ее судьба. Началом индийской свободы будет полная ликвидация английского военного контроля над Индией.

¹ Frederick Whyte, *The Future of East and West*.

В том, что в XIX веке индийская интеллигенция подпадала под влияние английской идеологии, нет ничего удивительного; удивительно то, что некоторые люди до сих пор находятся под этим влиянием, невзирая на волнующие события и перемены, которые имели место в XX веке. В XIX веке английские правящие классы были аристократией мира и были избалованы богатством, успехами и могуществом. Эти давние традиции и привычки порождали у них как некоторые достоинства, так и недостатки, присущие аристократии. Мы в Индии можем утешить себя мыслью о том, что в течение последних 175 лет немало сделали в части предоставления средств и создания условий для обеспечения этого превосходства. Они начали считать себя — как это бывало со столь многими народами и нациями — избранниками бога, а свою империю — царством небесным на земле. Если их особое положение признавалось и их превосходство не оспаривалось, они бывали милостивы и любезны при условии, что это не было им во вред. Но оппозиция по отношению к ним стала как бы оппозицией божественному порядку, а потому была смертным грехом, который следовало искоренить.

У Андре Зигфрида имеется интересный отрывок, касающийся этого аспекта английской психологии¹:

«В силу наследственной привычки к власти, связанной с богатством, у них выработался аристократический подход к жизни, удивительно проникнутый сознанием врожденного божественного права и продолжавший усиливаться, даже когда превосходство Англии стало оспариваться. Молодые поколения конца века... уже бессознательно воспринимали этот успех как нечто должное...

Такой способ толкования жизни интересно отметить, ибо он разъясняет психологические реакции англичан в этой особенно сложной области. Нельзя не заметить, что Англия всегда ищет источник своих затруднений во внешних причинах: вначале это всегда вина кого-то другого, и, если этот другой захочет исправиться, Англия сможет вновь обрести свое процветание... все то же инстинктивное желание изменить других вместо того, чтобы измениться самим!».

Если такова была общая позиция англичан по отношению к остальному миру, то ярче всего она сказывалась в Индии. В подходе англичан к индийской проблеме было нечто завораживающее, хотя вместе с тем он вызывал крайнее раздражение. Спокойная уверенность в своей неизменной правоте и в том, что они с достоинством несут тяжелое бремя, вера в великую судьбу своей нации и в своеобразие английского империализма, презрение и гнев по отношению к неверующим и грешникам, которые не признают основ истинной веры, — во всем

¹ «La Crise Britannique au XX^e Siècle».

этом было нечто от религиозных настроений. Подобно инквизиторам прошлого, они намеревались спасти нас независимо от наших желаний в этом вопросе. Кстати, они наживались на этой торговле добродетелью, доказывая тем самым истинность старой поговорки: «Честность — лучшая политика». Прогресс Индии стал синонимом приспособления страны к имперской схеме и перевоспитания избранных индийцев по английскому образцу. Чем больше мы принимали английские идеалы и цели, тем больше мы проявляли способность к «самоуправлению»! Свобода будет предоставлена нам, как только мы продемонстрируем и дадим гарантии, что используем ее лишь в соответствии с желаниями англичан.

Боюсь, что индийцы и англичане не сойдутся во взглядах на историю английского владычества в Индии. Возможно, это и естественно, но нельзя не поражаться, когда высокопоставленные англичане, включая государственных секретарей по делам Индии, рисуют фантастические картины прошлого и настоящего Индии и делают заявления, лишенные всякого фактического основания. Удивительно, как мало английский народ, если не считать небольшой группы экспертов и некоторых других лиц, знает об Индии. Если от их внимания ускользают даже факты, то насколько же недосыгаем для их понимания дух Индии? Они захватили ее тело и овладели им, но то было обладание, даваемое насилем. Они не знали и не пытались узнать ее. Они никогда не смотрели ей в глаза, ибо их глаза были отвержены, а ее опущены от стыда и унижения. После столетий общения между собой они стоят друг против друга, все еще чужие и исполненные неприязни друг к другу.

И все же при всей своей нищете и отсталости Индия сохранила достаточно благородства и величия, и, хотя она сгибалась под бременем старых традиций и нынешней нищеты и ее веки опускались от усталости, она обладала «красотой, идущей изнутри, и каждая клеточка ее была пронизана необычными думами, фантастическими мечтами и утонченными страстями». В ее измученном теле еще можно было прозреть великую душу. Она странствовала на протяжении долгих веков и накопила по пути много мудрости, общалась с чужестранцами и приобщала их к своей большой семье; она знавала дни славы и дни упадка, она страдала от унижения и ужасного горя и видела много странных зрелищ; но на протяжении всего своего долгого странствия она держалась за свою древнюю культуру, черпала в ней силу и жизнеспособность и делилась ею с другими странами. Подобно маятнику, она то возвышалась, то падала; она дерзала со смелостью своей мысли вознестись к небесам и раскрыть их тайну, и она испытала также ужасы ада. Несмотря на все суеверия и отсталые обычаи, которые обременяли ее и тянули назад, она никогда полностью не забывала о том источнике вдохновения, которым на заре исто-

ри снабдили ее мудрейшие из ее сынов, давшие ей «Упанишады». Их острые пытливые умы, не знавшие покоя и вечю порывавшиеся куда-то, не искали прибежища в слепых догмах и не довольствовались слепым соблюдением мертвых формальностей и религиозных обрядов. Они искали не облегчения своих личных страданий и не места в раю, а света и понимания. «Веди меня от нереального к реальному, веди меня от тьмы к свету, веди меня от смерти к бессмертию»¹. Самая знаменитая из молитв — гайатри мантра, которую даже в наши дни непрестанно повторяют миллионы людей, — содержит просьбу о знании и просветлении.

Хотя политически она часто бывала сломлена, ее дух всегда стоял на страже общего наследия и в ее разнообразии всегда ощущалось поразительное единство². Подобно всем древним странам, она представляла собой любопытное смешение хорошего и плохого, хотя хорошее было скрыто и его нужно было искать, в то время как запах тления был явен, и ее палящее безжалостное солнце ярко освещало все плохое.

Между Италией и Индией существует некоторое сходство. Это древние страны с давними культурными традициями, хотя по сравнению с Индией Италия еще молода и, кроме того, Индия значительно обширнее. Обе страны расколоты политически, и все же идея Италии, как и идея Индии, никогда не умирала, и во всем их разнообразии неизменно сказывалось единство. В Италии это единство было в основном римским единством, ибо великий город занимал в стране господствующее положение и был источником и символом единства. В Индии такого единого центра или господствующего города не было, хотя Бенарес вполне можно назвать Вечным городом Востока, не только для Индии, но и для Восточной Азии. Но в отличие от Рима Бенарес никогда не заигрывал с идеей империи или мыслями о светской власти. Индийская культура была настолько широко распространена по всей стране, что ни одну часть этой страны нельзя назвать сердцем этой культуры. От мыса Коморин до Амаранатха и Бадринатха в Гималаях, от Дварки до Пури распространялись одни и те же идеи, и, если в каком-либо одном месте они сталкивались, шум этого столкновения скоро достигал отдаленных районов страны.

Подобно тому как Италия принесла в дар Западной Европе культуру и религию, Индия преподнесла такой же дар Восточ-

¹ «Брихадараньяк Упанишад», 3, 27.

² «Величайшее из всех противоречий в Индии заключается в том, что это разнообразие сочетается с более широким единством, которое не бросается сразу в глаза, потому что исторически оно не нашло своего выражения в какой-либо политической сплоченности и тем самым не сделало страну единой, но которое настолько реально и настолько сплотно, что даже индийским мусульманам приходится признавать, что, сказавшись в орбите его влияния, они глубоко почувствовали это на себе». Frederick Whyte, *The Future of East and West*.

ной Азии, хотя Китай был столь же древен и почитаем, как Индия. И даже когда политически Италия лежала поверженной, жизнь ее пульсировала в венах Европы.

Меттерних назвал Италию «географическим понятием», и много кандидатов в меттернихи употребляли это выражение по отношению к Индии, и, как это ни странно, даже между географическим положением двух стран существует известное сходство. Еще интереснее сравнить Англию с Австрией, ибо разве Англия XX века не похожа на Австрию XIX века, гордую и высокомерную и все еще властную, хотя корни, которые давали эту силу, сохнут и тление разъедает могучие ткани.

Удивительно, как человек не может противостоять тенденции облекать страну в антропоморфические формы. Такова сила привычки и ранних ассоциаций. Индия принимает образ Бхарат Маты, Матери Индии, красавицы, очень старой, но внешне вечно молодой, одинокой и с грустным взором, жестоко терзаемой иностранцами и пришельцами и призывающей своих детей защитить ее. Некий подобный образ возбуждает чувства сотен тысяч людей и толкает их на действия и жертвы. И все же Индия — это главным образом крестьяне и рабочие, не отличающиеся внешней красотой, ибо нищета некрасива. Представляет ли созданная нашим воображением красавица голых и сгорбленных рабочих на полях и фабриках? Или же малочисленную группу тех, кто веками угнетал и эксплуатировал массы, навязывал им жестокие обычаи и даже сделал многих из них неприкасаемыми? Мы стараемся скрыть истину с помощью плодов своего воображения и пытаемся уйти от действительности в мир мечты.

И все же несмотря на эти различные классы и их взаимные конфликты, в Индии существовали общие узлы, которые связывали их воедино, и устойчивость, прочность и жизнеспособность этих узлов невольно вызывают удивление. Чем объяснялась эта сила? Это не только пассивная сила и бремя инерции и традиции, роль которых всегда велика. Существовал некий активный неизменный принцип, ибо он успешно противостоял мощным внешним влияниям и поглощал внутренние силы, поднимавшиеся на борьбу с ним. И все же при всей своей силе он не мог сохранить политическую свободу или привести к политическому единству. Видимо, считалось, что добиваться их не стоит; значение их ошибочно недооценивалось, и мы страдали от этого пренебрежения.

На протяжении всей истории старый индийский идеал не прославлял политические и военные триумфы и смотрел свысока на деньги и на класс людей, сделавших добывание денег своей профессией. Почет и богатство не сопутствовали друг другу, и почета удостаивались люди, по крайней мере внешне служившие обществу почти без денежного вознаграждения.

Древняя культура пережила много свирепых ураганов и бурь, но, сохранив свою внешнюю форму, она утратила свое реальное содержание. Сейчас она ведет молчаливую, отчаянную борьбу против нового всемогущего противника — цивилизации баниа, которую несет капиталистический Запад. Она уступит этому пришельцу, ибо Запад несет с собой науку, а наука несет пищу для миллионов голодных. Но Запад несет с собой также противоядие против зол этой разбойничьей цивилизации — принципы социализма, сотрудничества и служения обществу во имя общего блага. Это напоминает кое в чем старый брахманский идеал служения, но это означает брахманизацию (конечно, не в религиозном смысле) всех классов и групп и уничтожение классовых различий. Может случиться, что, когда Индия облачится в новые одежды — а она должна это сделать, ибо старые ее одежды порваны и помяты, — ей придется скроить их так, чтобы они соответствовали как нынешним условиям, так и ее старому образу мышления. Идеи, которые она усваивает, должны стать народными.

ПОСЛЕДСТВИЯ АНГЛИЙСКОГО ГОСПОДСТВА

Каковы последствия английского господства в Индии? Сомневаюсь, в состоянии ли какой-либо индеец или англичанин дать объективную и беспристрастную оценку результатов столетнего господства англичан. И даже если бы это было возможно, еще труднее было бы взвесить и оценить психологические и другие нематериальные факторы. Нам говорят, что английское господство «дало Индии то, чего у нее не было на протяжении веков,— правительство, власть которого незыблема в любой части этого субконтинента»¹; что оно установило законность, а также создало справедливый и действенный административный аппарат; что оно принесло Индии западные понятия парламентского правления и личные свободы и что «в результате превращения Британской Индии в единое унитарное государство английское господство породило у индийцев чувство политического единства» и таким образом способствовало появлению первых ростков национализма. Такова английская точка зрения, и в ней немало правды, хотя в течение многих лет в стране не было заметно ни законности, ни личных свобод.

Индийские источники, описывающие этот период, подчеркивают иные многочисленные факторы и тот ущерб, материальный и духовный, который нанесен нам иностранным господством. Различия между этими точками зрения столь велики, что иногда то, что хвалят англичане, осуждают индийцы. Доктор Ананда Кумарасвами пишет: «Одна из наиболее характерных особенностей английского господства в Индии заключается в том, что величайший ущерб, причиненный индийскому народу, внешне выглядит как благодеяние».

По сути дела перемены, происшедшие в Индии за последнее столетие или более,— это те же перемены, которые имели место во всем мире и были свойственны большинству стран Востока и Запада. Развитие промышленности в Западной Европе, а затем и в других частях мира повсюду имело своим следствием возникновение национализма и сильного единого государства.

¹ Цитируется из доклада Объединенной парламентской комиссии по подготовке индийских конституционных реформ (1934 год).

Англичане могут считать своей заслугой то, что они первые открыли в Индии окно на Запад и принесли ей один из аспектов западного индустриализма и науки. Но, сделав это, они тормозили дальнейшее промышленное развитие страны, пока обстоятельства не вынудили их ускорить его. Индия и ранее была центром встречи двух культур — западноазиатской культуры ислама и восточной, ее собственной культуры, распространившейся и на Дальний Восток. И вот теперь Индия подверглась действию третьего и более мощного импульса со стороны далекого Запада и стала местом встречи и полем битвы различных старых и новых идей. Не может быть сомнения, что этот третий импульс одержал бы победу и таким образом разрешил бы многие из старых проблем Индии, но англичане, которые сами помогли появлению третьего импульса, пытались остановить его дальнейшее действие. Они помешали нашему промышленному развитию и таким образом задержали наш политический рост, сохранив все устаревшие феодальные и другие пережитки, которые они застали в стране. Они даже приостановили процесс изменения наших в известной степени прогрессировавших законов и обычаев, задержав их развитие на той стадии, на которой они застали их, и помешали нам освободиться от их оков. Рост буржуазии в Индии происходил не в результате доброй воли или помощи со стороны англичан. Дело в том, что, принеся с собой железные дороги и другие плоды промышленного развития, они не могли остановить колесо прогресса; они могли только затормозить или замедлить его движение, что они и делали явно в своих собственных интересах.

«На этом прочном фундаменте покоится величественная система управления Индией, и можно с уверенностью утверждать, что за период начиная с 1858 года, когда Корона приняла на себя верховную власть над всеми территориями Ост-Индской компании, прогресс в области просвещения и материальной жизни Индии превзошел все то, чего эта страна была в состоянии достичь в какой-либо другой период своей долголетней, полной превратностей исторической судьбы»¹. Это утверждение не является столь самоочевидным, каким оно кажется. Напротив, многие утверждают, что с установлением английского господства грамотность фактически снизилась. Допустим, что вышеприведенное утверждение правильно, но ведь оно, по существу, основано на сравнении между современной индустриальной эрой и прошлой эпохой. Почти во всех странах мира прогресс в области просвещения и материальной жизни был огромным именно в течение прошлого столетия, в результате развития науки и промышленности. О любой такой стране с уверенностью можно сказать, что этот прогресс «превзошел все то, чего эта страна была в состоянии достичь в какой-либо

¹ Из доклада Объединенной парламентской комиссии (1934 год).

другой период своей долголетней, полной превратностей исторической судьбы», хотя история данной страны может быть и не столь долголетней, как история Индии. Разве мы будем так уж несправедливы, если выскажем мысль, что в наш индустриальный век подобный технический прогресс так или иначе осуществился бы у нас и без английского господства? И действительно, если мы сравним свою судьбу с судьбой многих других стран, разве мы не можем осмелиться высказать предположение, что такой прогресс мог бы быть большим, если бы нам не пришлось бороться против удушения этого прогресса самими англичанами? Железные дороги, телеграф, телефон, радио и тому подобное вряд ли могут служить критериями доброты или благоволения английских властей. Они были желательны и необходимы, и, поскольку волею судеб именно англичане ввели их впервые в стране, мы должны быть им благодарны. Но даже и эти вестники промышленного прогресса явились к нам главным образом с целью укрепления английского господства. Они были теми венами и артериями, через которые должно было бы осуществляться кровообращение нации, увеличивая ее торговлю, транспортируя продукты ее труда и неся новую жизнь и богатство миллионам ее жителей. Это верно, что в конечном счете можно было ожидать подобного результата, но они предназначались и использовались для другой цели — для укрепления имперского господства и захвата рынков для английских товаров, чего и удалось достичь. Я полностью стою за промышленный прогресс и за введение новейших средств транспорта, но порой, когда мне приходилось мчаться в поезде по равнинам Индии, железная дорога, этот животворный механизм, казалась мне подобной стальным оковам, связывающим и держащим в плену Индию.

Английское понятие управления Индией вытекало из представления о полицейском государстве. Задача правительства состояла в том, чтобы охранять государственный строй, предоставляя другим заниматься остальными вопросами. Финансовая деятельность правительства охватывала военные расходы, содержание полиции, гражданской администрации, обеспечение процентов по долгам. О материальных нуждах граждан не заботились, они приносились в жертву английским интересам. Культурные и другие потребности народа, за исключением крошечной кучки людей, находились в полном пренебрежении. Новые концепции ведения финансового хозяйства в государстве, которые в других странах означали введение бесплатного всеобщего образования, улучшение народного здравоохранения, попечение о бедных, больных и престарелых, страхование рабочих в случае болезни, а также при безработице и т. д., почти полностью выпадали из поля зрения этого правительства. Оно не могло позволить себе такие расходы, так как его налоговая система была крайне отсталой по той причине, что процент

обложения мелких доходов был значительно выше, чем процент обложения высоких доходов, а затраты на охранные и административные функции были огромными и поглощали почти все поступления.

Отличительной чертой английского господства было то, что оно сосредоточивало свои усилия на всем том, что содействовало усилению политического и экономического подчинения страны. Все остальное делалось между прочим. Если англичане создали мощный центральное правительство и эффективный полицейский аппарат, то это их заслуга, которая делает им честь, но вряд ли индийский народ может поздравить себя с этим. Единство — вещь хорошая, но едва ли можно гордиться единством в неволе. Сама мощь деспотического правительства может стать еще большим бременем для народа, а полицейская сила, несомненно полезная во многих отношениях, может ведь оказаться и часто оказывалась силой, направленной против того народа, для защиты которого она предназначается. Бертран Расселл, сравнивая современную цивилизацию с древнегреческой, недавно писал: «Единственное сколько-нибудь серьезное превосходство греческой цивилизации над нашей заключалось в неэффективности полиции, что позволяло значительной части порядочных людей ускользать от ее преследований».

Господство Англии в Индии принесло нам мир, а Индия, безусловно, нуждалась в мире после несчастий, которые последовали за крушением Могольской империи. Мир является ценным условием, необходимым для любого прогресса, и его воцарение было для нас желательным. Но даже и мир может оказаться купленным слишком дорогой ценой: ведь обретаем же мы полный покой, находясь в могиле, и абсолютную безопасность в клетке или тюрьме! Такой мир может быть также результатом безнадежного отчаяния людей, не способных улучшить себя. Мир, который навязывается чужеземным завоевателем, вряд ли обладает успокаивающим свойством настоящего мира. Война — ужасная вещь, и ее следует избегать, но она способствует развитию некоторых качеств. По мнению психолога Вильяма Джеймса, такими качествами являются следующие: верность, спаянность, упорство, героизм, честь, воспитанность, находчивость, бережливость, а также физическое здоровье и энергия. Ввиду этого Джеймс стремился найти моральный эквивалент войны, который без ее ужасов способствовал бы расцвету этих качеств в человеческом обществе. Если бы он знал о таких методах борьбы, как несотрудничество и гражданское неповиновение, он нашел бы нечто близкое его сердцу, — моральный и мирный эквивалент войны.

Рассмотрение вопроса с учетом «если бы» и возможного хода истории представляет собой тщетную задачу. Я убежден в том, что Индии полезно было войти в соприкосновение с научным и индустриальным миром Запада. Наука была великим

даром со стороны Запада. У Индии ее не было, а без нее страну ждал упадок. Но формы наших связей были несчастливими, и, тем не менее, только ряд сильных встрясок мог вывести нас из состояния пассивности. С этой точки зрения англичане, потомки англо-саксов, воспитанные в протестантских, индивидуалистических традициях, вполне подходили для своей роли, ибо они сильнее отличались от нас, чем большинство других наций Запада, и могли крепче встряхнуть нас.

Они дали нам политическое единство, и это было положительным явлением, но независимо от того, получили бы мы это политическое единство или нет, индийский национализм неизбежно появился бы и потребовал бы этого единства. Арабский мир сегодня расколот на большое число отдельных государств — независимых, находящихся под протекторатом, подмандатных и т. п., — но у всех у них есть стремление к арабскому единству. Не может быть сомнения, что арабский национализм в значительной степени достиг бы этого единства, если бы ему не мешали западные империалистические державы. Но, как и в Индии, цель этих держав состоит в поощрении раскольнических тенденций и в создании проблем национальных меньшинств. Эти проблемы ослабляют националистические стремления, частично противодействуют им и дают империалистическим державам повод к тому, чтобы остаться в стране и играть роль беспристрастного арбитра.

Политическое единство Индии было достигнуто между прочим, как побочный результат укрепления империи. Позже, когда это единство вступило в союз с национализмом и бросило вызов чужеземному господству, мы стали свидетелями нарочитого содействия расколу и сектантским устремлениям, которые являются огромными помехами нашему дальнейшему прогрессу.

Много времени прошло с тех пор, как англичане пришли сюда! Ведь они установили свое господство сто семьдесят пять лет тому назад. Как и все деспотические правительства, они пользовались полной свободой и имели великолепную возможность направлять развитие Индии в соответствии со своими желаниями. В течение этих лет мир изменился до неузнаваемости — Англия, Европа, Америка, Япония. Незначительные американские колонии XVIII века, примыкавшие к берегам Атлантического океана, ныне образуют самую богатую, самую мощную и в техническом отношении наиболее передовую нацию; Япония в течение короткого промежутка времени претерпела удивительные метаморфозы; на обширных пространствах СССР, где еще вчера гнетущая рука царского правительства подавляла и душила всякие ростки нового, теперь бурлит новая жизнь и на наших глазах создается новый мир. В Индии тоже имели место большие изменения, и нынешний облик страны сильно отличается от того, что было в XVIII веке, — появились железные дороги, ирригационные сооружения, за-

воды, школы и колледжи, огромные правительственные здания и т. д.

И все-таки, несмотря на все эти перемены, что же представляет собой нынешняя Индия? Это зависимое государство, ее могучие силы скованы, и она едва осмеливается свободно дышать, ею правят издаലെка чужеземцы; ее народ необычайно беден, продолжительность человеческой жизни в стране невелика, народ не в состоянии сопротивляться болезням и эпидемиям; в стране господствует неграмотность; на огромных территориях нет никакого санитарного или медицинского обслуживания; безработица достигла потрясающих размеров как среди средних классов, так и среди широких народных масс. Свобода, демократия, социализм, коммунизм являются, как нам говорят, лозунгами непрактичных идеалистов, доктринеров или мошенников; критерием должно быть благосостояние народа в целом. Это действительно серьезный критерий, и с точки зрения этого критерия Индия в настоящее время представляет собой крайне плачевную картину. Мы читаем сообщения о больших планах по борьбе с безработицей и нуждой в других странах; а как обстоит дело с десятками миллионов безработных у нас и с массовой постоянной нуждой? Мы читаем также сообщения о планах жилищного строительства в других странах, а есть ли у нас жилища для сотен миллионов наших людей, живущих в глинобитных хижинах или вообще лишенных крова? Разве не вызывает у нас зависти судьба других стран, где просвещение, санитарные условия, медицинская помощь, культурное обслуживание и производство быстро улучшаются, в то время как мы топчемся на одном месте или, подобно усталому человеку, ползем со скоростью черепахи? Россия за какой-нибудь десяток лет в результате замечательных усилий почти полностью покончила с неграмотностью на своей громадной территории и создала великолепную и вполне современную систему образования, тесно связанную с жизнью масс. Отсталая Турция под руководством Мустафы Кемала Ататюрка также достигла огромных успехов в распространении грамотности. Фашистская Италия в самом начале своего пути энергично взялась за ликвидацию неграмотности. Джентиле, министр просвещения, призывал к «фронтальному наступлению на неграмотность». «Эта губительная язва, подтачивающая силы нашего государства,— говорил он,— должна быть выжжена каленым железом». Суровые слова, которые не принято употреблять в салоне, по они свидетельствуют о силе убежденности и энергии, скрытых в этой мысли. Мы у себя в Индии более вежливы и пользуемся более мягкими выражениями. Мы движемся осторожно и тратим свою энергию в комиссиях и комитетах.

Индийцев обвиняли в том, что они слишком много говорят, а мало делают. Но разве мы не можем также выразить наше удивление по поводу неисчерпаемых способностей англичан в

деле создания комитетов и комиссий, каждая из которых после продолжительной работы представляет ученый доклад — «великий государственный документ», который хвалят, как полагаются, и затем кладут под сукно? И таким путем мы получаем ощущение движения вперед, прогресса, сохранения, тем не менее, то преимущество, что остаемся на том же самом месте, где были. Честолюбие удовлетворено, а интересы привилегированных классов остаются нетронутыми и незабываемыми. В других странах идет спор о том, как двигаться вперед, а мы обсуждаем вопрос о тормозах и гарантиях, которые должны обезопасить нас от слишком быстрого продвижения вперед.

«Имперский блеск стал мерилom народной нищеты», — так нам рассказывают об эпохе Великого Могола (я имею в виду Объединенную парламентскую комиссию 1934 года). Это — правильно сделанное наблюдение, но разве не можем мы применить то же самое мерило сегодня? И разве нельзя этого сказать о нынешнем Дели с парадностью и пышностью, окружающими вице-короля, и о губернаторах в провинциях со всей их помпезностью? И все это на фоне ужасающей, беспримерной нищеты. Больно смотреть на эти контрасты и довольно трудно представить себе, как честные люди могут мириться со всем этим. Индия сегодня являет собой ужасное зрелище нищеты и гнета, скрытых за великолепием имперского фасада. Светлые и темные стороны чередуются друг с другом, много внешнего блеска, а за всем этим мы видим несчастную мелкую буржуазию, испытывающую все больший гнет современных условий жизни. Еще хуже обстоит дело с рабочими, живущими в глубочайшей нищете, за ними следуют крестьяне, являющиеся символом Индии. Их удел — появляться на свет и жить «в вечном мраке».

Под бременем веков согбенный, он стоит,
Опершись на мотыгу. Взор опущен.
И пустоту времен лицо его хранит,
А на спину весь мир лег тяжестью гнетущей.

Сквозь страшный лик столетия мук глядят,
Трагедия эпох — в изгибе плеч склоненных,
Чрез этот страшный лик всех сирых, униженных,
Обманутых протесты прозвучат.

Вы, создавшие мир! Их ропот — против вас,
И в ропоте глухом — пророка трубный глас!¹

Нелепо было бы винить за все беды Индии англичан. Ответственность за эти беды должны взять на себя и мы. Мы не смеем уклоняться от нее; неблагоприятно обвинять других за не-

¹ Этот отрывок взят из поэмы американского поэта Е. Markham «The Man with the Hoe».

избежные последствия наших собственных слабостей. Авторитарная система правления, в особенности если она чужеземная, неизбежно должна способствовать появлению психологии подчинения и всячески ограничивать умственный кругозор народа. Она неизбежно стремится подавлять самые лучшие качества молодежи — ее предприимчивость, дух дерзания, оригинальность, энергию — и поощряет низменные инстинкты — трусость, безропотную покорность и стремление заискивать перед хозяевами и ублажать их. Такая система не прививает людям психологии действительного служения делу, преданности общественному долгу или общественным идеалам; она способствует выдвиганию людей, меньше всего проникнутых сознанием общественного долга, людей, единственная цель которых состоит в том, чтобы сделать карьеру в своей жизни. Мы видим, какую категорию людей англичане привлекают к себе в Индии! Некоторые из них обладают острым умом и в состоянии совершать хорошие дела.

Однако эти индийцы идут на государственную или полугосударственную службу из-за отсутствия других возможностей. Постепенно их пыл остывает, и они становятся простыми винтиками огромной машины. Разум же их попадает в плен отупляющей рутинной работы. У них появляются качества, присущие бюрократии, — «совершенное знание канцелярского и дипломатического искусства, необходимое для ведения дел». В лучшем случае им присуща пассивная преданность общественному долгу. Никакого страстного энтузиазма у них нет, да и не может быть. При иностранном правительстве это и невозможно.

Однако за исключением этого рода людей большинство мелких чиновников ничем не примечательно, так как они научились лишь завскакивать перед своими начальниками и терроризировать своих подчиненных. И они в этом не виноваты. Этому их учит система. И если у нас так широко распространены прислужничество и кумовство, то следует ли этому удивляться? У них нет идеалов в области их служебной деятельности. Их преследует неотступно боязнь потери работы и связанного с этим голода. Они главным образом озабочены тем, чтобы удержаться на своих местах и подыскать должности для своих родственников и друзей. Там, где на заднем плане всегда присутствует шпион и доносчик — это самое отвратительное существо, — нелегко привить людям более желаемые качества.

Недавние события сделали еще более трудным для честных, проникшихся сознанием общественного долга людей поступление на государственную службу. Правительство их отвергает, и они также не желают слишком тесно сотрудничать с ним, если их не вынуждают к тому материальные причины.

Но, как известно всему миру, бремя империи несет белый человек, а не темнокожий. Мы располагаем различными имперскими органами, с помощью которых поддерживается

имперская традиция, и достаточным количеством гарантий для защиты особых привилегий — все это, как нам говорят, делается в интересах Индии. Прямо удивительно, насколько тесно благо Индии кажется связанным с очевидными интересами и преуспеванием этих органов. Если ликвидируется какая-либо привилегия или высокооплачиваемый пост Индийской гражданской службы, нам говорят, что это приведет к ослаблению эффективности аппарата и к коррупции. Если производится сокращение должностей в штатах Индийской службы здравоохранения, это ставит под «угрозу здоровье населения Индии». И само собой разумеется, если в армии затронуты должности, занимаемые англичанами, то нам уж, конечно, грозят всякого рода страшные опасности.

Я полагаю, что в этом есть некоторая доля правды: если бы высшее начальство внезапно ушло и оставило департаменты на попечение своих подчиненных, работа аппарата, конечно, ухудшилась бы. Но это происходит оттого, что так построена вся система, а подчиненные никоим образом не являются лучшими людьми, да их никогда и не готовили к принятию на себя ответственности. Я убежден, что хороших людей в Индии более чем достаточно и их можно было бы найти в течение сравнительно короткого срока, если принять должные меры. Но это означает полную перемену в наших взглядах на административные и социальные вопросы. Это означает создание нового государства.

При существующем положении дел нам говорят, что независимо от изменений, которые могут быть произведены в государственном аппарате в наших интересах, жесткая система высоких органов, защищающих нас и дающих нам кров, сохранится и в дальнейшем. Жрецы, допущенные к священным тайнам управления, будут охранять храм и следить за тем, чтобы чернь не вступила в его священные пределы. Постепенно, по мере того, как мы будем показывать себя достойными привилегий, они начнут снимать покровы один за другим, и когда-нибудь в будущем даже святая святых предстанет перед нашим удивленным и почтительным взглядом.

Среди всех этих имперских органов Индийская гражданская служба занимает первое место, и на нее в значительной степени падает ответственность за хорошее или плохое функционирование администрации в Индии. Нам часто говорили о многих достоинствах этой службы, и ее величие в имперской системе стало притчей во языцех. Непререкаемость ее авторитета в Индии и та почти самодержавная власть, которую дает ей это положение, а также оказываемая ей внешняя поддержка и похвалы, непомерно расточаемые по ее адресу, не могут помочь ни отдельному человеку, ни группе сохранить психологическое равновесие. При всем своем восхищении этой службой я должен признаться, что она особенно подвержена, как в отдельных

ее элементах, так и в целом, старой и в известной степени новейшей болезни — паранойе.

Было бы напрасным пытаться отрицать наличие хороших качеств у Индийской гражданской службы, ибо нам не позволяют забывать о них, но о Службе наговорено столько чепухи, что иногда я испытываю желание поговорить о ней в более трезвых тонах. Американский экономист Веблен назвал привилегированные классы «классами, находящимися на содержании». Я думаю, что было бы в такой же степени правильно назвать Индийскую гражданскую службу, равно как и другие имперские органы, «органом, находящимся на содержании». Они являются весьма дорогостоящей роскошью.

Майор Д. Грэхэм Поул, в прошлом депутат английского парламента от лейбористской партии, человек, глубоко интересующийся индийскими делами, в статье, опубликованной некоторое время тому назад в «Модерн ревью», заявил, что «никто никогда не пытался оспаривать тот факт, что Индийская гражданская служба является в высшей степени действенной службой». Поскольку в Англии нередко делаются подобные заявления и поскольку этим заявлениям верят, стоит их проанализировать. Делать такие определенные заявления, которые легко опровергнуть, всегда рискованно, и майор Грэхэм Поул серьезно ошибается, воображая, что этот факт не оспаривался. Напротив, его часто оспаривали, и давным-давно даже Г. К. Гокхале сказал немало суровых слов об Индийской гражданской службе в Индии. Средний индиец, является ли он или нет членом Национального конгресса, наверняка стал бы возражать майору Грэхэму Поулу. И, тем не менее, возможно, что оба частично правы. Может быть, они имеют в виду разные ее стороны. Действенность и способность в отношении чего? Если эти способность и действенность оценивать с точки зрения укрепления позиций Британской империи в Индии и оказания ей помощи в эксплуатации страны, Индийская гражданская служба наверняка может претендовать на признание своих успехов. Однако если критерием будет благосостояние масс индийского народа, то надо признать, что Служба потерпела явный провал. Этот провал становится еще более заметным, когда представишь себе огромное расстояние, которое отделяет чиновников Службы в области доходов и уровня жизни от масс, которым они якобы должны служить и которые в конечном счете обеспечивают им различные доходы.

Совершенно верно, что Служба в целом отвечает некоему определенному уровню, хотя этот уровень неизбежно является уровнем посредственности и лишь изредка из ее рядов выдвигались одаренные люди. Большого вряд ли можно было ожидать от такой Службы. Она воплощала в себе по сути дела дух английских закрытых школ со всеми его хорошими и плохими сторонами (правда, в настоящее время многие из чиновников

Индийской гражданской службы в Индии не являются воспитанниками закрытых школ). Хотя Служба отвечала установленному уровню, она определенно отрицательно относилась к тем, кто не соответствовал принятому стандарту, а отдельным одаренным лицам мешала проявить свои способности притупляющая рутина повседневной работы, а также боязнь показаться не похожими на других. Было немало серьезных чиновников. Многие из них отличались сознанием своего долга, но это был долг служения Империи, а Индия отступала на второй план. Характер полученного ими образования и существующие обстоятельства обусловили то, что они могли действовать только подобным образом. Так как число их было невелико и они находились в окружении чуждого им и нередко недружественного народа, они держались вместе и следовали определенным нормам поведения. Престиж как нации, так и должности требовал этого. И ввиду того, что они в значительной степени располагали автократической властью, то с неудовольствием воспринимали любую критику и считали ее одним из основных грехов, становясь все более нетерпимыми и дидактичными и постепенно приобретая многие из тех недостатков, которые присущи неограниченным правителям. Они стали самодовольными, ограниченными людьми, невосприимчивыми к переменам, происходившим в мире, и совершенно не уживались с прогрессивным окружением. Когда за индийскую проблему брались люди, обладавшие большими способностями и более гибким умом, это вызывало у них недовольство, они называли их оскорбительными именами, всячески притесняли их и чинили им всевозможные препятствия. Когда послевоенные перемены вызвали появление динамических условий, они пришли в замешательство и оказались не в состоянии приспособиться к ним. Ограниченное образование не подготовило их к таким чрезвычайным событиям и новым ситуациям. Длительный период бесконтрольной власти развратил их. Как группа, они пользовались фактически безграничной властью, подчиняясь лишь теоретически контролю со стороны английского парламента. «Власть портит людей,— сказал нам лорд Актон,— а безграничная власть портит людей безгранично».

В целом в ограниченной сфере их деятельности они были надежными чиновниками и выполняли свою повседневную работу в значительной мере со знанием дела, хотя и без блеска. Но полученная ими подготовка была такова, что в неожиданной ситуации они терялись, хотя их уверенность в себе, их методичность и сословный дух помогали им преодолевать трудности в повседневной жизни. Знаменитый месопотамский конфуз воочию показал всю неспособность и неповоротливость английской администрации в Индии, но многие аналогичные конфузы не становятся достоянием гласности. Даже их реакция

на кампанию гражданского неповиновения была неуклюжей. При помощи пули и дубинки можно на время избавиться от противников, но это не дает решения какой-либо проблемы, а, наоборот, подрывает то самое чувство превосходства, для защиты которого эти средства предназначены. Не удивительно, что они прибегали к насилию для борьбы с растущим и наступательным националистическим движением. Это было неизбежно, ибо империи зиждятся на этом и их не обучали никаким иным методам обращения с оппозицией. Но тот факт, что они прибегали к чрезмерному и ненужному насилию, показывал, что они уже не могут справиться с положением и лишились самообладания и сдержанности, которые были им присущи в обычные времена. Нервы часто не выдерживали, и даже в их публичных заявлениях сказывалась истерия. Спокойная уверенность, свойственная им в былые дни, исчезала. Критические периоды в истории безжалостно срывают с нас все маски и выявляют глубоко скрытые в нас слабости. Кампания гражданского неповиновения была именно таким кризисом и испытанием, и лишь очень немногие по ту и другую сторону баррикады — Конгресс или правительство — выдержали это испытание. В критические моменты истории число действительно выдающихся мужчин и женщин оказывается небольшим, говорит Ллойд Джордж, а «остальные в критический момент не имеют значения. Холмики, которые возвышаются на поверхности земли и заметны в обычное время, быстро исчезают под водой при большом наводнении, и над поверхностью воды видимыми остаются лишь самые высокие вершины».

Индийская гражданская служба оказалась интеллектуально и эмоционально неподготовленной к этим событиям. Первоначальное образование, полученное многими ее чиновниками, было классическим, что обеспечивало им известный уровень культуры и известную внешнюю привлекательность. Это было воспитание в духе старого мира, и оно годилось для викторианской эпохи, но было совершенно неуместно в современных условиях. Они жили в узком, ограниченном мире своей собственной англо-индийской среды, которая не была ни чисто английской, ни чисто индийской. Они не понимали тех сил, которые действовали в современном обществе. Несмотря на их нелепые претензии на роль попечителей и защитников масс индийского народа, они мало знали о них и еще меньше о новой воинствующей буржуазии. Они судили об индийцах по тем приспешникам и карьеристам, которые окружали их, и отметали прочь других как бунтовщиков и мошенников. Они имели лишь самое поверхностное представление об изменениях, происшедших во всех странах мира после войны, особенно в области экономики, и были слишком косными, чтобы приспособиться к меняющимся условиям. Они не поняли, что представляемый ими порядок устарел в современных условиях и что как группа они

все более и более приближались к типу, который Т. С. Эллиот описывает в романе «The Hollow Men».

Однако этот порядок будет существовать, пока существует английский империализм, а он еще достаточно силен и располагает способными и инициативными лидерами. Английская администрация в Индии подобна гниющему зубу, который, однако, еще крепко сидит. Он болит, но его нелегко извлечь. Болеть этот зуб, вероятно, будет и дальше и даже, быть может, сильнее, пока его не вытащат или пока он не выпадет сам.

Время чиновника — воспитанника английской закрытой школы — миновало даже в Англии, и он не занимает прежнего места, хотя и играет еще видную роль в государственной жизни. В Индии он еще более неуместен и никогда не сможет ужиться или сотрудничать с участниками наступательного национализма, тем более с деятелями, добивающимися социальных перемен.

В аппарате Индийской гражданской службы имеется, конечно, немало превосходных людей, как англичан, так и индийцев, но, пока господствует нынешняя система, их прекрасные качества направляются на цели, которые не имеют ничего общего с благом индийского народа. Некоторые чиновники Службы, индийцы по происхождению, настолько пропитаны духом английских закрытых школ, что они становятся большими роялистами, чем сам король. Я помню, мне пришлось встретить одного молодого чиновника из Индийской гражданской службы, индеец по происхождению, который был очень высокого мнения о самом себе; к сожалению, я не мог разделить этого мнения. Он указал мне на многочисленные достоинства его службы и заключил неопровержимым доводом в пользу Британской империи: разве она не лучше Римской империи и империй Чингисхана и Тимура?

Чиновники Индийской гражданской службы исходят из того, что они выполняют свои обязанности в высшей степени удовлетворительно и поэтому могут всячески подчеркивать свои претензии, а эти претензии разнообразны и многочисленны. Если Индия бедна, то в этом повинны ее социальные обычаи, ее бани и ростовщики и прежде всего ее огромное население. Но величайший бания, каким является английское правительство в Индии, удобства ради игнорируется. И я не знаю, что они намерены предпринять в отношении населения в Индии, ибо, несмотря на значительное содействие таких факторов, как голод, эпидемии и вообще высокая смертность, население все еще продолжает оставаться огромным. Предлагают ввести контроль над рождаемостью, и я, например, стою за распространение знаний о методах такого контроля. Но пользование этими методами требует значительно более высокого уровня жизни для масс, известного минимума образования и наличия множества клиник по всей стране. В нынешних условиях методы

этого контроля совершенно недоступны для широких масс. Средние классы могут пользоваться ими, что они, как я полагаю, все чаще делают.

Но этот довод о перенаселенности заслуживает дальнейшего рассмотрения. Проблема, перед которой поставлен весь мир, заключается не в недостатке продовольствия или других предметов первой необходимости, а в отсутствии ртов, которые можно было бы кормить, или, говоря иными словами, в низкой покупательной способности тех, кто нуждается в этом продовольствии. Даже в Индии, взятой в отдельности, нет недостатка в продовольствии, и, хотя население ее выросло, производство продуктов увеличилось и может расти в большей пропорции, чем население. Далее, прирост населения Индии, о котором так много говорят, был гораздо ниже (за исключением последнего десятилетия), чем в большинстве западных стран. Верно, что в будущем соотношение может измениться, ибо под воздействием различных факторов прирост населения в западных странах уменьшается или даже прекращается. Но лимитирующие факторы, вероятно, скоро приостановят рост населения также и в Индии.

Когда Индия станет свободной и будет в состоянии строить свою новую жизнь как она хочет, ей для этой цели, несомненно, потребуются лучшие из ее сыновей и дочерей. Хороший человеческий материал всегда редок, а в Индии он встречается еще реже из-за отсутствия благоприятной почвы для него в условиях английского господства. Нам нужна будет помощь многих иностранных специалистов во многих отраслях государственной деятельности, в особенности в тех, которые требуют специальных технических и научных знаний. Новому порядку потребуется множество индийцев или иностранцев из числа тех, кто служил в аппарате Индийской гражданской службы или других имперских служб. Но в одном я совершенно уверен, а именно в том, что новый порядок не может быть создан в Индии, пока наша администрация и наши общественные учреждения проникнуты духом Индийской гражданской службы. Этот дух авторитаризма является союзником империализма, и он не может сосуществовать со свободой. Либо ему удастся сокрушить свободу, либо он сам будет уничтожен. Он может подойти только к одному типу государства, а именно — фашистскому. Поэтому мне представляется совершенно необходимым полностью ликвидировать Индийскую гражданскую службу и подобные ей службы как таковые, прежде чем мы приступим к действительной работе по созданию нового порядка. Отдельные чиновники этих служб, если они изъявят желание заняться новой работой и подойдут для выполнения ее, будут приняты, но только на новых условиях. Совершенно немыслимо, чтобы они получали непомерно большие оклады и пособия, которые им выплачиваются в настоящее время. Новой Индии должны

служить серьезные и способные люди, проникшиеся страстной верой в дело, которому они служат, и исполненные решимости достичь поставленных целей; люди, которые работают не из-за высоких окладов, а потому, что находят удовлетворение в самом труде, считая его делом славы. Денежный стимул следует максимально ограничить. Нужда в помощи иностранных специалистов будет значительной, но я думаю, что меньше всего будет требоваться помощь гражданских администраторов, не обладающих специальными техническими знаниями. В таких людях в Индии недостатка не будет.

Я ранее говорил о том, как индийские либералы и другие подобные им группы приняли английскую идеологию в вопросах управления Индией. Это особенно заметно в отношении органов управления, ибо здесь они требуют лишь «индианизации», а не коренного изменения духа и характера органов и структуры государства. Это важный вопрос, по которому уступки невозможны, ибо свобода Индии связана не только с отводом английских вооруженных сил и ликвидацией органов управления, но и с искоренением авторитарного духа, которым они пронизаны, и уменьшением окладов и привилегий для работников государственного аппарата. В эти дни конституционных планов много говорят о гарантиях. Если эти гарантии предназначены служить интересам Индии, они должны, помимо прочего, устанавливать, что Индийская гражданская служба и другие подобные органы должны прекратить свое существование в их нынешней форме вместе с теми полномочиями и привилегиями, которыми они обладают, и не должны иметь никакого отношения к новой конституции.

Еще более таинственной и громоздкой является так называемая Служба обороны. Мы не смеем критиковать ее, мы не смеем ничего сказать о ней, ибо что мы понимаем в таких делах? Мы должны лишь безмолвно давать и давать деньги на ее содержание. Недавно, в сентябре 1934 года, сэр Филипп Четвод, главнокомандующий в Индии, выступая в Государственном совете в Симле, заявил индийским политическим деятелям языком военной команды, что они должны заниматься своими собственными делами и не вмешиваться в его дела. Говоря об инициаторе поправки к какому-то предложению, он заявил: «Считают ли он и его друзья, что такой закаленный и испытанный в войне народ, как англичане, создавшие свою империю при помощи меча и с тех пор удерживавшие ее при помощи того же меча, откажется от военной мудрости, которую дает нации этот опыт, вняв доводам кабинетных критиков?..» Он сделал немало и других интересных замечаний, и для того, чтобы мы не подумали, что он наговорил это в пылу полемики, нам сообщили, что он тщательно подготовил свою речь и проносил ее по написанному тексту.

Конечно, если профан осмеливается обсуждать с главнокомандующим военные вопросы, он проявляет нескромность, и, тем не менее, даже кабинетному критику можно было бы разрешить сделать несколько замечаний. Вполне мыслимо, что интересы тех, кто удерживает свою империю при помощи меча, и тех, над чьими головами постоянно висит это сверкающее оружие, могут быть различны. Индийскую армию можно заставить служить интересам Индии или имперским интересам, а эти интересы могут отличаться друг от друга или даже вступать в столкновение. Политический деятель и кабинетный критик могут также сомневаться, учитывая опыт мировой войны, обоснованы ли претензии некоторых видных генералов на свободу от вмешательства. Прежде у них было больше свободы действий, и, судя по всем имеющимся данным, они натворили немало ужасных дел в любой армии — английской, французской, немецкой, австрийской, итальянской и русской. Капитан Лидделл Гарт, выдающийся английский военный историк и специалист, пишет в своей «Истории мировой войны», что было время, когда английские солдаты сражались с противником, а их генералы воевали друг с другом. Национальная опасность не привела к единству мысли или усилий. Война, продолжает он, «потрясла нашу веру в идолов, нашу порожденную культом героев веру в то, что великие люди скроены из другого материала, чем обычные люди. Лидеры попрежнему необходимы, и, быть может, более необходимы, но теперь мы поняли, что они такие же люди, как и все, и это гарантирует нас от того, чтобы ожидать от них слишком много или чрезмерно верить им».

Такой искусный политик, как Ллойд Джордж, нарисовал в своих «Военных мемуарах» ужасную картину недостатков и промахов генералов и адмиралов в мировой войне, промахов, которые стоили жизни сотням тысяч солдат. Англия и ее союзники выиграли войну, но они «пришли к победе, истекая кровью»; безрассудное и бестолковое руководство войсками и неправильная оценка военных событий со стороны высших офицеров привели Англию почти на край гибели, и если она и ее союзники были спасены, то в значительной мере благодаря невероятной глупости их противников. Об этом пишет великий военный премьер Англии; он указывает, как ему приходилось предпринимать специальные хирургические операции, чтобы вдолбить лорду Джеллико некоторые мысли, в особенности предложение о введении системы конвоирования судов. Что касается французского маршала Жоффра, то, кажется, главное его достоинство, по мнению Ллойда Джорджа, заключалось в обладании решительным лицом, которое вызвало у людей ощущение силы: «Именно этого инстинктивно ищут люди, когда на них обрушивается бедствие. Они ошибаются, думая, что разум находится в подбородке».

Но свое обвинение Ллойд Джордж направляет главным образом против самого английского верховного командования, против главнокомандующего фельдмаршала Хэйга. Он показывает, как необычайное тщеславие и нежелание прислушаться к голосу политических деятелей и других лиц побудило его скрыть важные факты от английского кабинета и привело английскую армию во Франции к одной из ее величайших катастроф. И даже находясь на грани краха, он упорствовал до конца и продолжал свое злополучное наступление в течение нескольких месяцев по ужасной грязи Паскендэле и Камбрэ до тех пор, пока число убитых и умирающих только среди офицерства не достигло семнадцати тысяч, а число «жертв» среди доблестных английских солдат не составило четырехсот тысяч. То, что «неизвестного солдата» почитают сегодня после его смерти — это хорошо; но, когда он был жив, его жизнь ценилась невысоко и на него мало обращали внимания.

Политические деятели, подобно всем другим людям, часто заблуждаются, но демократические политические деятели должны быть чуткими и обладать способностью быстро откликаться на действия людей, и они обычно осознают свои ошибки и стараются исправить их. Солдат воспитывается в иной атмосфере, где господствует авторитет командира и где критики не терпят. Поэтому он не приемлет советов других и когда заблуждается, то заблуждается основательно и упорствует в своей ошибке. Для него более важен подбородок, чем разум. В Индии наше преимущество состоит в том, что мы создали смешанный тип, ибо гражданская администрация сама выросла и живет в полувоенной атмосфере авторитета и самомнения и поэтому в большой степени обладает как солдатским подбородком, так и другими подобными достоинствами.

Нам говорят, что происходит процесс «индианизации» армии и что лет через тридцать или более на индийской сцене может появиться даже индийский генерал. Возможно, что не более чем через сто лет процесс индианизации мог бы достичь значительных успехов. При таком положении есть все основания удивляться тому, как тогда, в момент кризиса, в течение одного-двух лет Англия сумела создать мощную многомиллионную армию. Если бы у нее были наши наставники, она, возможно, действовала бы более осторожно и предусмотрительно. Возможно, что война кончилась бы задолго до того, как была бы готова к ней эта хорошо обученная армия. На память приходит также пример русских советских армий, которые выросли почти из ничего, бросили вызов целым полчищам врагов и победили их, а в настоящее время эта армия является одной из самых совершенных военных машин в мире. Русские, очевидно, не обладали «закаленными в войне и испытанными» генералами, которые могли бы помочь им своим советом.

В настоящее время мы располагаем военной академией в

Дехра-Дуне, где кадеты готовятся к карьере офицеров. Как нам говорят, они очень красиво маршируют на парадах, и из них, несомненно, выйдут замечательные офицеры. Но я иногда задаю себе вопрос, какой цели служит это обучение, если ему не сопутствует техническое обучение? Пехота и кавалерия сегодня приносят столько же пользы, сколько принесла бы римская фаланга, а винтовка в век воздушной войны, отравляющих газов, танков и мощной артиллерии не намного лучше, чем лук и стрела. Несомненно, их инструкторы и наставники понимают это.

Каковы последствия английского господства в Индии? Кто мы такие, чтобы жаловаться на его недостатки, которые явились лишь последствиями наших собственных недостатков? Если мы потеряем чувство нового и вступим в тихую заводи, сосредоточимся на самих себе и проникнемся самодовольством и, подобно страусу, будем игнорировать то, что происходит в других местах, для нас это будет чревато серьезной опасностью. Англичане явились к нам на гребне волны, вызванной новыми движущими силами в мире, и были представителями могучих исторических сил, о которых они сами едва ли имели представление. Можем ли мы жаловаться на циклон, который сметает нас с насиженного места и бросает из стороны в сторону, или на холодный ветер, который заставляет нас содрогаться? Покончим с прошлым и его раздорами и взглянем в лицо будущему. Англичанам мы должны быть благодарны за один прекрасный подарок, который они нам принесли,— за науку, давшую богатые плоды. Однако трудно забыть или равнодушно отнестись к тому, что английское правительство в Индии поощряло раскольнические, обскурантистские, реакционные, сектантские и оппортунистические элементы в стране. Возможно, это необходимое испытание и вызов для нас, и прежде чем Индия снова возродится, она должна будет снова и снова пройти через огонь, очищающий и закаляющий сильных и сжигающий слабых, нечистых и разложившихся.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК И ВОПРОС О ПИСЬМЕННОСТИ

Проведя около недели в Пуне и Бомбее в середине сентября 1933 года, я возвратился в Лакнау. Моя мать все еще находилась там в больнице, и ее здоровье улучшалось очень медленно. Камала также находилась в Лакнау, стараясь ухаживать за ней, хотя она сама была не совсем здорова. Мои сестры приезжали из Аллахабада на воскресенье. Я пробыл в Лакнау две или три недели, и у меня было больше свободного времени там, чем в Аллахабаде, так как главным моим занятием было посещение больницы два раза в день. Я использовал свои свободные часы для написания статей. Эти статьи широко публиковались по всей стране. Серия статей, озаглавленных «Куда идет Индия», где я давал обзор международных событий, имеющих отношение к Индии, привлекла широкое внимание. Позже мне стало известно, что эти статьи в переводе на персидский публиковались даже в Тегеране и Кабуле. В этих статьях не было ничего нового или оригинального для тех, кто следил за последними событиями и современной мыслью на Западе. Но в Индии наш род был слишком поглощен своими внутренними делами, чтобы уделять много внимания событиям за пределами своей страны. Прием, оказанный моим статьям, а также многочисленные другие факты показали, что кругозор нашего народа расширялся.

Мою мать угнетала больничная обстановка, и мы решили отвезти ее обратно в Аллахабад. Одной из причин этого была помолвка моей сестры Кришны, которая была только что объявлена. Мы хотели, чтобы свадьба состоялась возможно скорее, пока меня снова не отправили в тюрьму. Я не имел никакого представления о том, как долго мне позволят оставаться на свободе, так как проведение кампании гражданского неповиновения все еще было официальной программой Конгресса и как сам Конгресс, так и десятки других организаций были на нелегальном положении.

Мы назначили свадьбу в Аллахабаде на третью неделю октября. Свадьба должна была носить характер гражданской церемонии. Я был рад этому, хотя фактически у нас и не было иного выбора. Это был брак между представителями двух раз-

ных каст, брахманской и не брахманской, и по существующему англо-индийскому закону религиозная церемония для подобного брака была неприемлема. К счастью, нас выручил закон о гражданском браке, принятый незадолго до этого. Таких законов было два, причем второй, согласно которому оформлялся брак моей сестры, распространялся только на индусов и на тех, кто исповедует родственные религии, то есть буддизм, джайнизм и учение сикхов. Но если одна из сторон не принадлежала ни к одному из этих вероисповеданий по рождению или в результате перехода в другую веру, тогда этот второй закон не имел силы и приходилось прибегать к первому закону о гражданском браке. Этот первый закон требует от обеих сторон отречения от всех основных вероисповеданий или, во всяком случае, заявления, что они к ним не принадлежат. Этот совершенно ненужный акт отречения является большим злом. Многие люди, хотя они и не религиозны, возражают против такого заявления и, таким образом, не могут воспользоваться законом. Ортодоксальные представители различных религий выступают против всяких изменений, которые облегчали бы смешанные браки. Поэтому они либо побуждают людей выступать с этим заявлением об отречении, либо толкают их на путь явно формального обращения в какую-либо веру, для того чтобы подпасть под действие закона. Лично я хотел бы поощрять смешанные браки, но, независимо от того, поощряются они или нет, крайне необходимо принять общий закон о гражданском браке, применимый к лицам всех вероисповеданий и разрешающий им вступать в брак, не делая заявлений об отречении и не меняя своего вероисповедания.

Вокруг свадьбы моей сестры не было никакого шума; это было очень скромное событие. Мне вообще не нравится шум, которым сопровождаются индийские свадьбы. Ввиду болезни моей матери и еще более ввиду того, что кампания гражданского неповиновения все еще продолжалась и многие из наших коллег находились в тюрьме, всякого рода пока же церемонии были бы совершенно неуместны. Приглашены были лишь некоторые родственники и местные друзья. Многие старые друзья моего отца были обижены, так как считали, и совершенно неосновательно, что я намеренно игнорировал их.

Текст короткого приглашения, разосланного нами по случаю свадьбы, был составлен на хиндустани и написан латинскими буквами. Это явилось новшеством, так как для написания таких приглашений пользуются обычно либо алфавитом нагари, либо персидскими буквами. Латинским алфавитом для написания текстов на хиндустани почти нигде не пользуются, за исключением армейских и миссионерских кругов. Я воспользовался латинским алфавитом в виде эксперимента, желая узнать, как будут реагировать на это. Мою инициативу встретили по-разному, но в большинстве случаев к ней отнеслись

отрицательно. Приглашения были направлены небольшому числу лиц: если бы круг приглашаемых был шире, реакция была бы еще более неблагоприятной. Гандиджи отнесся к моему поступку неодобрительно.

Я пользовался латинским алфавитом не потому, что стал сторонником его, хотя он давно привлекал меня. Его успех в Турции и Центральной Азии произвел на меня впечатление, и серьезные доводы в его пользу были убедительны. Тем не менее я не был убежден, и, если бы я и был убежден, мне было хорошо известно, что нет ни малейших шансов на распространение его в нынешней Индии. Введение его встретило бы самое ожесточенное сопротивление со стороны всех групп — националистических, религиозных, индусских, мусульманских, старых и новых. И я считаю, что сопротивление будет иметь своим источником не только чувства. Изменение письменности представляет собой очень существенное изменение для любого языка с богатым прошлым, ибо письменность является самым сокровенным элементом его литературы. Измените письменность — и появятся другие образы, другие звуки, другие идеи. Между старой и новой литературой воздвигается почти непреодолимый барьер, и язык первой становится почти иностранным или вымершим языком. Там, где нет литературы, которую стоило бы сохранить, на этот риск следовало бы пойти. В Индии же я едва ли могу думать о таком изменении, ибо наша литература не только богата и ценна, но и связана с нашей историей и мыслью и тесно переплетается с жизнью масс. Произвести такую перемену силой — значило бы резать по живому телу. Кроме того, это препятствовало бы нашим успехам в области просвещения народных масс.

Но в настоящее время в Индии этот вопрос не представляет даже академического интереса. Очередной шаг, который, как мне кажется, мы должны предпринять в деле реформы письменности,— это принятие единой письменности для языков, происшедших от санскрита: хинди, бенгали, маратхи и гуджарати. Так как их письменность имеет общее происхождение и между ними нет больших различий, было бы нетрудно найти что-то общее для них. Это значительно сблизило бы эти четыре родственных и наиболее распространенных языка.

Одна из легенд об Индии, которую наши английские власти упорно распространяли по всему миру, заключается в том, что в Индии существует якобы несколько сот языков,— я не помню точно цифры. В качестве доказательства приводят данные переписи. Из числа этих нескольких сот, как ни странно, очень немногие англичане, несмотря на длительное пребывание в нашей стране, знают сравнительно хорошо лишь один. Они объединяют целый ряд языков в одну группу и называют их Vernacular — языком рабов (от латинского слова «verpa», означающего раба, родившегося и выросшего в доме хозяина), и

многие из наших соотечественников, ничего не подозревая, приняли эту классификацию. Приходится удивляться тому, как англичане, прожившие всю жизнь в Индии, не потрудились хорошо изучить ее язык. Они выработали с помощью своих *кхансама* и *айя* необыкновенный жаргон, своего рода англо-хиндустан, который, как они себе представляют, и является настоящим языком. Так же как сведения о жизни в Индии они черпают из разговоров со своими подчиненными и прислужниками, так и представления о хиндустан они получают от своей домашней прислуги, которая специально говорит со своими господами на этом ломаном языке, опасаясь, что иначе они не поймут их. Они, кажется, даже не подозревают, что хиндустан, как и другие индийские языки, обладает высокими литературными достоинствами и что существует обширная литература на этих языках.

Если данные нашей переписи показывают, что в Индии существуют две или три сотни языков, то на основании данных переписи в Германии можно заключить, что там существует около пятидесяти или шестидесяти языков. Но я не помню, чтобы кто-нибудь приводил этот факт в доказательство отсутствия единства в Германии. Фактически данные переписи включают в себя всякого рода мелкие диалекты, иногда даже такие, на которых говорят всего лишь несколько тысяч человек, причем эти диалекты нередко классифицируются для научных целей как различные языки. В Индии, как мне кажется, принимая во внимание размеры ее территории, количество языков поразительно мало. Если взять для сравнения такую же территорию в Европе, Индия представится гораздо более однородной страной в отношении языка, но из-за неграмотности широких слоев населения общего языка не возникло, а, напротив, укоренились диалекты. Главными языками в Индии (за исключением Бирмы) являются хиндустан (двух разновидностей — хинди и урду), бенгали, гуджарати, маратхи, тамил, телугу, малайал и каннарский. Если прибавить к этому числу ассамский, ория, синдхи, пушту и пенджаби, то этими языками будет охвачена вся страна, за исключением некоторых горных и лесных племен. Из числа этих языков индо-арийские языки, которые охватывают весь север, центральную и западную части Индии, имеют близкое родство, а южные дравидийские языки хотя и отличны по своему характеру, однако испытали на себе сильное влияние санскрита и изобилуют словами санскритского происхождения.

На всех восьми вышеупомянутых основных языках имеется древняя и весьма богатая литература, и каждый из них сегодня применяется на огромной территории, имеющей четкие и определенные границы. Таким образом, с точки зрения численности населения, говорящего на определенном языке, эти языки должны быть отнесены к числу основных языков мира. На языке бенгали говорят пятьдесят миллионов человек. Что касается

хиндустан с его разновидностями, то можно сказать, что на нем говорят, как мне кажется (данных у меня здесь нет), примерно сто сорок миллионов человек и его частично понимает огромное число людей по всей стране¹. Такой язык, очевидно, обладает огромными возможностями. Он по существу основан на санскрите и весьма близок к персидскому. Таким образом, он может обогащаться за счет двух ценных источников, и, конечно, в последние годы он обогащался за счет английского языка. Дравидская территория на юге является единственной частью страны, где хиндустан является почти иностранным языком, но местные жители предпринимают большие усилия к его изучению. Два года тому назад (в 1932 году) я ознакомился с некоторыми данными, собранными частным добровольным обществом, организовавшим изучение хинди на юге. Установлено, что в течение предшествующих четырнадцати лет, истекших со времени создания этого общества, благодаря его усилиям в одной лишь Мадрасской провинции хинди изучили 550 тысяч человек. Это замечательный результат для добровольной организации, не получавшей никакой поддержки от государства, и большинство лиц, изучающих хинди, сами становятся сторонниками распространения этого языка.

У меня нет никакого сомнения, что хиндустан будет общим языком Индии. И в самом деле, в настоящее время он выполняет эту роль в повседневной жизни. Его развитию мешали глупые споры о том, какой алфавит должен быть принят — нагари или персидский, — и неправильные стремления обеих групп использовать такой вариант языка, который является либо слишком санскритизированным, либо слишком персианизированным. Решение этого трудного вопроса с алфавитом, вызывающего большие и горячие споры, может быть найдено лишь в официальном принятии обоих вариантов языка и предоставле-

¹ Сторонники хиндустан приводят следующие цифры. Я не знаю, основаны ли они на последней переписи 1931 года или на предшествовавшей ей переписи 1921 года. Как мне кажется, они относятся к переписи 1921 года, и современные данные показали бы значительное увеличение по каждой группе.

Хиндустан (включая западный хинди, пенджаби и раджасгани)	139,3	миллиона	человек
бенгали	49,3	»	»
телугу	23,6	»	»
маратхи	18,8	»	»
тамил	18,8	»	»
каннарский	10,3	»	»
ория	10,1	»	»
гуджарати	9,6	»	»

Всего 279,8 миллиона человек

Некоторые языки, подобные пушту, ассамскому и, конечно, бирманскому, который по своему характеру совершенно иной и территориально обособлен, в этот список не включены.

нии населению возможности пользоваться любой из этих разновидностей. Но нужно постараться избежать крайностей и выработать унифицированный литературный язык на основе разговорного языка. Это неизбежно будет происходить по мере того, как будет возрастать грамотность широких масс. В настоящее время небольшие группы среднего класса, которые считаются арбитром в вопросах литературного вкуса и стиля, ужасно ограничены и консервативны, каждая по-своему. Они цепляются за устаревшие, безжизненные формы, слабо связаны с массой своего народа и плохо знают мировую литературу.

Развитие и распространение хиндустани не должно и не будет мешать дальнейшему существованию и обогащению других великих языков Индии — бенгали, гуджарати, маратхи, ория и дравидских языков юга. Некоторые из этих языков уже более жизненны и литературно более отточены, чем хиндустани, и они должны оставаться официальными языками для образовательных и других целей в соответственных районах. Только с их помощью просвещение и культура могут быстро распространяться среди масс.

Некоторые думают, что английский язык может стать *lingua franca* Индии. Этот взгляд кажется мне совершенно нереальным. Он может быть верен лишь в отношении кучки интеллигентов из высших кругов общества, что же касается просвещения народных масс и распространения культуры, то английский язык не имеет никакого отношения к этому вопросу. Возможно, что он, как это частично имеет место и сейчас, будет все больше и больше служить тем языком, которым пользуются для технических, научных и деловых связей и в особенности по линии международных связей. Многим из нас необходимо знать иностранные языки для того, чтобы следить за развитием мировой мысли и событий, и я хотел бы, чтобы наши университеты поощряли, помимо английского, изучение других языков — французского, немецкого, русского, испанского, итальянского. Это не означает, что английским языком следует пренебрегать, но, если мы хотим иметь объективное представление о мире, мы не должны ограничиваться лишь английскими очками. Наше мировоззрение и без того уже стало довольно однобоким из-за того, что мы ограничивались одной точкой зрения и одной идеологией, и даже самые ярые из наших националистов едва ли представляют себе, насколько замкнут и сужен их кругозор английскими воззрениями на положение Индии.

Но как бы мы ни поощряли изучение других иностранных языков, английский язык должен остаться основным звеном, связывающим нас с внешним миром. Это так и должно быть. На протяжении многих поколений мы старались изучать английский язык, и мы достигли значительного успеха. Глупо стремиться теперь избавиться от этого и не воспользоваться в полной мере плодами многолетнего изучения этого языка. Кроме

того, английский язык в настоящее время, несомненно, является самым распространенным и наиболее важным среди других языков мира, и роль его быстро возрастает по сравнению с другими языками. По всей вероятности, он все больше будет становиться средством международного общения и использоваться в радиовещании, если его место не займет «американский язык». Поэтому мы должны продолжать изучение английского языка. Желательно по возможности лучше овладеть им, но мне кажется, что нам не стоит затрачивать слишком много времени и энергии на усвоение тонкостей языка, как это делают многие из нас в настоящее время. Отдельные лица могут это делать, но провозглашать это в качестве цели для многих — значило бы возлагать на них ненужное бремя и мешать их успехам в других областях.

В последнее время мое внимание привлек «бэйсик инглиш», и мне кажется, что этот сильно упрощенный английский язык имеет большое будущее. И было бы желательно организовать в широком масштабе изучение «бэйсик инглиш», а не общепринятого английского языка, последний же могут изучать специалисты и студенты некоторых факультетов.

Я лично хотел бы, чтобы язык хиндустанни вобрал в себя ряд слов из английского и других иностранных языков. Это необходимо, так как у нас нет современных терминов, и лучше иметь хорошо известные слова, чем создавать новые и трудные слова на основе санскрита, персидского или арабского языков. Пуристы возражают против использования иностранных слов, но я думаю, что они делают большую ошибку, ибо обогатить наш язык можно, лишь сделав его гибким и способным ассимилировать слова и понятия из других языков.

Вскоре после свадьбы моей сестры мне пришлось поехать в Бенарес, чтобы повидать старого друга и коллегу Шива Прасада Гупту, который пролежал больным свыше года. Он находился в тюрьме Лакнау, когда его внезапно разбил паралич, и процесс выздоровления с тех пор шел очень медленно. Во время моей поездки в Бенарес небольшое общество любителей литературы на языке хинди устроило мне прием, на котором у меня был приятный неофициальный разговор с членами общества. Я сказал им, что не решаюсь беседовать со специалистами по вопросам, в которых мало осведомлен, но все же сделал несколько предложений. Я критиковал сложный и вычурный стиль тех авторов, которые обычно пишут на языке хинди. Они употребляют в большом количестве трудные санскритские слова, стиль их отличается напыщенностью и пристрастием к устаревшим формам. Я осмелился предложить отказаться от этого придворного стиля, предназначенного услаждать вкусы немногих избранных, и рекомендовал авторам, пишущим на хинди, писать специально для широких масс народа языком, который им понятен. Связи с массами волеют новую жизнь в

язык, сделают его более естественным, а сами писатели, позаимствовав у народа эмоциональную энергию, смогут значительно улучшить свои произведения. Далее я высказал мнение, что, если бы писатели, пишущие на хинди, уделяли больше внимания западной мысли и литературе, это принесло бы им большую пользу; было бы желательно перевести некоторые произведения европейских классиков, а также книги, знакомящие читателя с идеями современности. Я упомянул также о том, что, возможно, современный бенгальский язык, гуджарати и маратхи в этом отношении имеют несколько большие достижения, чем современный хинди, и что за последние годы бенгали шире использовался в литературном творчестве, чем хинди.

Мы по-дружески обсудили эти вопросы, и я ушел. Я не предполагал, что мои замечания будут опубликованы в печати, но кто-то из присутствующих послал отчет в газеты, издающиеся на языке хинди.

После этого в прессе, издающейся на хинди, началась шумная кампания против меня и я подвергся нападкам за то, что осмелился критиковать хинди и принижать его значение при сравнении с бенгали, гуджарати и маратхи. Меня называли невеждой, каковым я действительно был в этом частном вопросе, и было сказано много другого, чтобы дискредитировать и заставить меня замолчать. У меня не было времени следить за спором, который, как мне рассказывают, продолжался несколько месяцев, пока я снова не оказался в тюрьме.

Этот инцидент был для меня откровением. Он обнаружил необычайную чувствительность литераторов и журналистов, пишущих на хинди, и показал, что они отвергают даже самую небольшую чистосердечную критику, исходившую от того, кто желает им добра. Здесь явно сказывалось сознание собственной неполноценности. Самокритики здесь совсем не было, а уровень критики был невысок. Нередко автор и его критик ссорились между собой и обвиняли друг друга в личном пристрастии. Взгляды этих кругов в общем отличались узостью, буржуазностью и провинциальностью, причем как журналисты, так и писатели, казалось, писали друг для друга и для небольшого круга, игнорируя широкую публику и ее интересы. Мне казалось, что в условиях, когда поле деятельности столь обширно и благодатно, такого рода творчество журналистов и писателей представляет собой напрасную трату энергии, достойную величайшего сожаления.

Литература на хинди имеет славное прошлое, но она не может вечно жить за счет своего прошлого. Я уверен, что она имеет большое будущее и что журналистика на хинди станет огромной силой в Индии. Но ни литература, ни журналистика не достигнут больших успехов, пока они не освободятся от мелочных условностей и не обратятся смело к массам.

РЕЛИГИОЗНО-ОБЩИННАЯ ПРОБЛЕМА И РЕАКЦИЯ

Примерно в то время, когда состоялась свадьба моей сестры, пришло сообщение о смерти Витхалбхаи Дж. Пателя, находившегося в Европе. Он был давно болен и ввиду плохого состояния здоровья освобожден из тюрьмы в Индии. Его смерть была тяжелой утратой, и нас очень угнетала мысль, что в самый разгар нашей борьбы смерть уносит одного за другим наших старых лидеров. Было сказано немало речей, в которых отмечались заслуги Витхалбхаи, причем в большинстве выступлений о нем говорилось как о талантливом парламентском деятеле и отмечались его успехи на посту председателя Законодательного собрания. Это было совершенно правильно, и, тем не менее, все эти речи раздражали меня. Разве в Индии не хватало хороших парламентских деятелей или людей, которые могли успешно выполнять обязанности спикера? Это был тот вид деятельности, к которой мы были подготовлены благодаря нашему юридическому образованию. А ведь Витхалбхаи обладал не только этими качествами — он был великим и упорным борцом за свободу Индии.

Во время моего пребывания в Бенаресе, в ноябре, меня пригласили выступить перед студентами индусского университета. Я охотно принял приглашение и выступил с речью перед огромным собранием, на котором председательствовал пандит Мадан Мохан Малавия, вице-канцлер. В своей речи мне пришлось много говорить о религиозно-общинной проблеме, и я резко критиковал разжигание религиозно-общинной вражды; в особенности я осуждал деятельность Хинду Махасабхи. Моя критика не была заранее обдуманым нападением. Но дело в том, что меня уже давно возмущала принимавшая все более реакционный характер деятельность лидеров всех религиозных общин. Поэтому по мере того, как я говорил, меня все больше волновал этот вопрос, и в моей речи прорывалось это возмущение. Я намеренно делал ударение на реакционном характере деятельности приверженцев индусской религиозно-общинной идеологии, ибо критиковать мусульман на собрании индусов не было смысла. В тот момент я не подумал, что критиковать Хинду Махасабху на собрании, где председательствовал Малавияджи,

который длительное время был одним из столпов этой организации, было не совсем тактично. Я не подумал об этом, так как в последнее время он едва ли имел дело с ней, и даже казалось, что новые воинственные лидеры Махасабхи изгнали его. Пока он был одним из духовных вождей Махасабхи, эта организация, несмотря на свой религиозно-общинный характер, не была реакционной в политическом отношении. Но в последнее время эта новая тенденция стала весьма явной, и я был уверен, что Малавияджи не мог иметь какого-либо касательства к ней и не одобрял ее. Тем не менее я поступил не совсем правильно, как я позже понял, воспользовавшись приглашением, чтобы высказать замечания, которые поставили его в неловкое положение. Об этом я сожалел.

Я сожалел также об одной глупой ошибке, которую допустил. Кто-то прислал нам по почте копию резолюции, которая, как сообщалось, была недавно принята в Адждмире одной индуcкой молодежной организацией. Эта резолюция была в высшей степени предосудительного характера, и я упомянул о ней в своей речи в Бенаресе. В действительности такой резолюции не принимала ни одна организация, и мы оказались жертвой мистификации.

Моя речь в Бенаресе, кратко изложенная в печати, вызвала большой шум. Хотя я и привык к подобным проявлениям чувств, но был крайне удивлен яростным характером нападков на меня со стороны лидеров Хинду Махасабхи. Эти нападки в значительной степени носили личный характер и почти не касались вопроса, о котором шла речь. Они заходили слишком далеко, и вскоре я стал доволен ими, ибо это давало мне возможность высказаться по данному вопросу. На протяжении ряда месяцев, даже в то время, когда я был в тюрьме, меня томило желание это сделать, но я не знал, как подойти к этому вопросу. Этот вопрос был похож на осиное гнездо, и, хотя я привык к осам, мое вмешательство в споры, перешедшие в перебранку, не сулило мне ничего хорошего. Но теперь у меня не было выбора, и я написал аргументированную, как я считал, статью о взаимоотношениях индуcкой и мусульманской религиозных общин, показав, что в том и в другом случае речь вовсе не шла о религии, а о политической и социальной реакции, прикрывающейся маской религии. У меня случайно оказались под рукой собранные мною в тюрьме газетные вырезки с изложением различных речей и заявлений общинных лидеров. Материала оказалось так много, что мне было нелегко решить задачу, как полностью использовать его в газетной статье.

Индийская пресса уделила большое внимание моей статье. Но, как это ни странно, ни деятели индуcкой, ни деятели мусульманской общин не откликнулись на статью, хотя в ней я уделил много внимания обеим общинам. Лидеры Хинду Махасабхи, яростно ругавшие меня на все лады, теперь хранили пол-

ное молчание. С мусульманской стороны сэр Мохамад Икбал пытался уточнить некоторые из приведенных мною фактов, относившихся ко второй Конференции круглого стола, что же касается остального, он ничего не сказал по поводу моих аргументов. Отвечая ему, я предложил, чтобы Учредительное собрание решало как политический, так и общинный вопросы. Позднее я написал еще одну или две статьи об общинах. Я был очень обрадован не только тем, как были встречены эти статьи, но и тем очевидным воздействием, которое они оказывали на мыслящих людей. Конечно, я не предполагал, что мне удастся успокоить страсти, которые порождали религиозно-общинные разногласия. Моей целью было показать, что лидеры общин являлись союзниками самых реакционных элементов как в Индии, так и в Англии и что они в действительности выступали против политического и еще в большей степени против социального прогресса. Все их требования не имели никакого отношения к интересам масс. Их требования были направлены на то, чтобы улучшить положение небольших верхушечных слоев. Я намеревался продолжить свои аргументированные выступления, но тут меня снова посадили в тюрьму. Я считал, что часто повторявшийся призыв к индусско-мусульманскому единству, хотя он и был полезен, будет в высшей степени бессмысленным до тех пор, пока не будет предпринято какой-либо попытки понять причины разброда. Однако некоторые, кажется, думают, что в результате частого повторения магической формулы в конце концов появится это единство.

Интересно проследить политику англичан в общинном вопросе со времени восстания 1857 года. В основном эта политика неизбежно заключалась в том, чтобы помешать совместным действиям индусов и мусульман и натравливать одну общину на другую. После 1857 года тяжелая рука англичан чаще обрушивалась на мусульман, чем на индусов. Они считали мусульман более агрессивными и воинственными, сохранившими в памяти времена своего господства в Индии и поэтому более опасными. Мусульмане держались также в стороне от новой системы просвещения, и лишь немногие из их числа занимали правительственные посты. Все это вызывало у англичан подозрительность. Индусы более охотно изучали английский язык, охотнее шли на канцелярскую работу и казались более кроткими.

Позже новый национализм стал расти сверху. Он возник в верхних слоях интеллигенции, говорящей на английском языке, и это была, конечно, индусская интеллигенция, так как культурный уровень мусульман был очень низок. сторонники этого национализма пользовались в высшей степени деликатным и работным языком, и, тем не менее, он пришелся не по вкусу правительству, которое решило больше поощрять мусульман, удерживая их в стороне от новых националистических требований.

В то время отсутствие английского образования среди мусульман было само по себе значительным препятствием, но это препятствие должно было постепенно сойти на нет. Англичане предусмотрительно заботились о будущем, и в этой задаче им помогал такой выдающийся деятель, как сэр Саид Ахмад Хан.

Сэр Саид болезненно сознавал отсталость своей общины, особенно в области образования, и его очень огорчало то, что она не пользовалась расположением английского правительства и не имела веса в его глазах. Как и многие из современников, он был большим поклонником англичан, и поездка в Европу, кажется, имела на него очень сильное влияние. Европа, или, вернее, Западная Европа, второй половины XIX века переживала расцвет своей цивилизации, была монопольной властительницей мира, причем отчетливо были видны все ее качества, благодаря которым она достигла своего величия. Высшие классы крепко держали в своих руках то, что ими было унаследовано, и приумножали это наследство, почти не опасаясь, что кому-нибудь удастся поколебать их положение. Это было время расцвета либерализма в Западной Европе и прочной веры в ее великую судьбу. Неудивительно, что индийцы, которые побывали там, были зачарованы этой внушительной картиной. Вначале в Европу ездили главным образом индусы. Они возвращались поклонниками Европы и Англии. Постепенно они привыкали к блеску, и первые впечатления стирались. Однако у сэра Саида это первое восхищение проступает очень отчетливо. Находясь в 1869 году в Англии, он писал оттуда домой письма, излагая свои впечатления. В одном из писем он заявлял: «Результат всего этого заключается в том, что хотя я не снимаю с англичан в Индии обвинения в невежливости и в том, что они смотрят на жителей этой страны сверху вниз, считая их животными, недостойными даже презрения, однако я думаю, что они так поступают потому, что не понимают нас; и, боюсь, я должен признаться в том, что они не так уж сильно ошибаются в своем мнении о нас. Не лъстя англичанам, я могу сказать, что если сравнить жителей Индии, независимо от того, идет ли речь о высших или низших слоях, купцах или мелких лавочниках, об образованных людях или о неграмотных, с англичанами в отношении образования, манер и честности, то окажется, что жители Индии походят на англичан в такой же степени, в какой грязное животное походит на способного и красивого человека. Англичане имеют основания считать, что мы в Индии — это глупые животные... То, что я видел и видел ежедневно, далеко превосходит воображение жителя Индии... Все то хорошее, как духовное, так и мирское, что должно быть присуще человеку, даровано всевышним Европе и особенно Англии»¹.

¹ Эта цитата приводится из книги Hans Kohn, *History of Nationalism in the East*.

Большой похвалы англичанам и Европе не мог бы высказать ни один человек, и ясно, что сэр Саид находился под огромным впечатлением виденного. Возможно также, что он прибегал к нарочито сильным выражениям и усугублял контрасты, чтобы встряхнуть свой собственный народ, вывести его из состояния апатии и побудить его сделать шаг вперед. Этот шаг нужно было сделать, согласно его убеждению, в направлении получения западноевропейского образования, без этого образования его община стала бы в дальнейшем еще более отсталой и бессильной. Получение английского образования означало получение правительственных постов, обеспеченность, влияние, почет. Поэтому всю свою энергию он посвятил распространению этого образования, стараясь убедить всю общину в правильности своих взглядов. Он хотел, чтобы ничто другое не отвлекало народ от этой цели. Работа по преодолению инертности и нерешительности мусульман была и без того достаточно трудной. Ростки нового национализма, поощряемого индусской буржуазией, могли, как ему казалось, отвлечь внимание народа от поставленной им цели, и он выступал против него. Индусы, которые на целое столетие обогнали мусульман в получении западного образования, могли позволить себе критиковать правительство, но сэр Саид рассчитывал на полное содействие этого правительства в своих просветительских начинаниях и не хотел подвергать их риску каким-либо преждевременным шагом. Поэтому он отвернулся от находившегося еще в своем младенческом возрасте Национального конгресса, а английское правительство охотно поощряло эту позицию.

Решение сэра Саида сосредоточить все внимание на западном образовании для мусульман было, несомненно, правильным. Без этого они не могли бы сыграть какой-либо эффективной роли в развитии индийского националистического движения нового типа, и им пришлось бы остаться на вторых ролях, уступив первенство индусам, находившимся на более высоком уровне культуры и обладавшим гораздо более прочными экономическими позициями. В то время мусульмане не были подготовлены ни исторически, ни идеологически к буржуазному националистическому движению, так как они в отличие от индусов не создали собственной буржуазии. Поэтому деятельность сэра Саида, хотя она кажется очень умеренной, имела верное революционное направление. Мусульман все еще опутывала феодальная антидемократическая идеология, в то время как у индусов поднимающийся средний класс начинал мыслить в духе европейских либералов. Но как те, так и другие были до предела умеренны и находились в зависимости от английских властей. Умеренность сэра Саида была умеренностью класса помещиков, к которому принадлежала кучка зажиточных мусульман. Умеренность индусов была умеренностью осторожного интеллигента или бизнесмена, ищущего рынка для промышленности и

возможностей для новых инвестиций. Эти индусские политические деятели обращали свои взоры к сверкающим светилам английского либерализма — Гладстону, Брайту и прочим. Я сомневаюсь, поступали ли подобным же образом мусульмане. Вероятно, они восхищались тори и землевладельческими классами Англии. В действительности Гладстон был их жупелом, так как он неоднократно осуждал Турцию и армянскую резню; и ввиду того, что Дизраэли казался более дружественно расположенным к Турции, они, то есть кучка тех, кто, естественно, был заинтересован в таких делах, в известной степени симпатизировали ему.

Некоторые из речей сэра Саида Ахмад Хана производят сейчас странное впечатление. В речи, произнесенной в Лакнау в декабре 1887 года, он, кажется, критиковал и осудил самые умеренные требования Национального конгресса, который проводил как раз в это время свой ежегодный съезд. Сэр Саид сказал: «Если правительство будет воевать с Афганистаном или покорит Бирму, не наше дело критиковать его политику... Правительство создало совет для разработки законов... Для этого совета оно подбирает из всех провинций чиновников, которые наиболее знакомы с административной работой и условиями жизни народа, и некоторых *раисов*, которые в силу своего высокого социального положения достойны занять места в этой ассамблее. Некоторые могут спросить, почему при их отборе критерием служит социальное положение, а не способности... А я спрашиваю вас, неужели наша аристократия согласится с тем, чтобы человек низшей касты или неблагородного происхождения, будь он даже бакалавром или магистром искусств и обладай необходимыми способностями, по положению стал бы выше аристократии и имел право издавать законы, касающиеся жизни ее представителей и их достояния? Никогда! Только человека высокого происхождения может принять вице-король в число своих коллег, обращаться с ним, как со своим братом, и приглашать его на приемы, где ему придется обедать с герцогами и графами... Можем ли мы сказать, что правительство в своей законодательной практике действует без учета мнения народа? Можем ли мы сказать, что не участвуем в принятии законов? Вполне очевидно, что не можем»¹.

Так говорил лидер и представитель «демократии ислама» в Индии! Сомнительно, решились ли бы в наше время высказываться подобным образом талукдары Ауда или земельные магпаты Агры, Бихара или Бенгалии. Однако сэр Саид в этом отношении отнюдь не был оригинален. Многие из речей конгрессистов выглядят столь же странными сейчас. Но, кажется, вполне ясно, что политический и экономический аспект индусско-мусульманского вопроса заключался тогда в следую-

¹ Hans Kohn, History of Nationalism in the East.

щем: часть землевладельцев-феодалов (мусульман) оказывала сопротивление поднимающемуся и более сильному в экономическом отношении среднему классу (индусов) и задерживала до некоторой степени его развитие. А помещики индусы часто были тесно связаны со своей буржуазией и поэтому оставались нейтральными или даже сочувственно относились к требованиям средних классов, на которые они часто оказывали свое влияние. Англичане, как всегда, становились на сторону феодальных элементов. Массы и более бедные слои средних классов обеих сторон участия в борьбе вообще не принимали.

Властный и сильный характер сэра Саида производил большое впечатление на индийских мусульман, и Алигархский колледж стал явным символом его надежд и желаний. В переходный период прогрессивный импульс может быстро исчерпать себя и начнет играть роль тормоза. Ярким примером этого служат индийские либералы. Они часто напоминают нам, что они являются действительными последователями традиций старого Конгресса, а мы, более молодое поколение, — самозванцы. Это действительно так. Но они забывают, что мир меняется и что старые традиции Конгресса исчезли, как прошлогодний снег, и существуют только, как воспоминания. Также и первоначальная деятельность сэра Саида была уместной и необходимой, но его учение не могло быть конечным идеалом прогрессивного общества. Если бы сэр Саид жил на одно поколение позднее, возможно, что он сам бы дал другое направление своему учению; или же другие лидеры по-новому истолковали бы его прошлую деятельность и приспособили его учение к изменившимся условиям. Но успех, который выпал на долю сэра Саида, и уважение, которым окружена его память, затруднили другим отступление от старых заветов. К несчастью, среди мусульман Индии, как ни странно, было очень мало выдающихся личностей, которые могли бы указать новый путь. Алигархский колледж принес очень большую пользу, из его стен вышло много ученых, он совершенно изменил характер мусульманской интеллигенции, но все же он не мог полностью выйти за рамки, в которых развивался, в нем господствовал феодальный дух, и целью каждого рядового студента была государственная служба. Его студенту не были присущи дух дерзания или высокие порывы — он был счастлив, если получал должность заместителя сборщика налогов. Его честолюбие было вполне удовлетворено, когда ему напоминали, что он является частью великой демократии ислама, и в виде символа этого братства он с веселым видом носил на своей голове красную шапочку, называемую турецкой феской, от которой вскоре совсем отказались сами турки. Гарантировав себе неотъемлемое право на демократию, которое помогало ему питаться и молиться со своими братьями мусульманами, он больше уже не беспокоился о том, существует или нет политическая демократия в Индии.

Эта узость мировоззрения и страстное желание попасть на государственную службу были присущи не только мусульманским студентам Алигарха и других городов. Эта тенденция замечалась и среди тех индусских студентов, которым вовсе не был свойственен дух дерзания. Но обстоятельства вышибли многих из них из этой колеи: студентов было слишком много, а постов для них мало, и поэтому они стали деклассированной интеллигенцией, которая является костяком национальных революционных движений.

Не успели еще индийские мусульмане оправиться от судорог, вызванных политической деятельностью сэра Саида Ахмад Хана, как события первых лет XX века помогли английскому правительству углубить разрыв между мусульманами и националистическим движением, которое ширилось и активизировалось. В 1910 году сэр Валентайн Чирол писал в своей книге «Indian Unrest»: «Можно с уверенностью утверждать, что никогда еще мусульмане Индии как единое целое не отождествляли с такой полнотой свои интересы и чаяния с интересами укрепления и продления английского владычества». Политические пророчества опасны. Через пять лет после того, как были написаны эти строки, мусульманская интеллигенция предприняла серьезную попытку порвать связывающие ее путы, которые не пускали ее вперед, и встать в один ряд с Конгрессом. Через десять лет индийские мусульмане, казалось, обогнали в своем движении Конгресс и фактически вели его за собой. Но эти десять лет были насыщены событиями: пронеслась мировая война, оставившая после себя в качестве наследства обращенный в развалины мир.

Однако на первый взгляд кажется, что у сэра Валентайна были все основания прийти к такому заключению. Лидером мусульман стал Ага Хан — уже один этот факт показывал, что они попрежнему держатся своих феодальных традиций, так как Ага Хан не был буржуазным лидером. Он был исключительно богатым князем и главой религиозной секты и, с точки зрения англичан, был *persona grata* ввиду своей близости к английским правящим кругам. Ага Хан был высококультурным человеком и большую часть времени проводил в Европе, где вел светский образ жизни английского лендлорда, таким образом его личные взгляды по общинным или религиозным вопросам были чужды всякой узости. Тот факт, что он руководил мусульманами, означал, что мусульманские лендлорды и их развивающаяся буржуазия оказывают полную поддержку английскому правительству; общинная проблема фактически играла при этом второстепенную роль, и ей уделялось внимание явно с учетом лишь главной цели. Сэр Валентайн Чирол сообщает нам, что Ага Хан внушил вице-королю лорду Минто «мусульманскую точку зрения на политическую ситуацию, возникшую после раздела Бенгалии, с той целью, чтобы инду-

сам не были сделаны в спешке политические уступки, которые обеспечат господствующее влияние индусскому большинству, что будет одинаково опасно как для стабильности английского господства, так и для интересов мусульманского меньшинства, чья лояльность не вызывает сомнений.

Но за этой поверхностной поддержкой английского правительства скрывалось действие других сил. Новая мусульманская буржуазия неизбежно проявляла все большее недовольство существующими условиями и вовлекалась в националистическое движение. Ага Хан сам вынужден был обратить на это внимание и предупредить англичан довольно оригинальным образом. В январе 1914 года (то есть задолго до начала войны) он опубликовал в журнале «Эдинбург ревью» статью, в которой советовал правительству отказаться от политики разделения индусов и мусульман и объединить умеренные элементы обеих религий в общий лагерь, чтобы таким образом обеспечить противовес радикальным националистическим тенденциям молодой Индии — как индусской, так и мусульманской. Отсюда было совершенно ясно, что Ага Хан был более заинтересован в предупреждении политических изменений в Индии, чем в защите общинных интересов мусульман.

Но ни Ага Хан, ни английское правительство не могли остановить неизбежной тяги мусульманской буржуазии к национализму. Мировая война ускорила этот процесс, и когда появились новые лидеры, Ага Хан, казалось, отошел на задний план. Даже Алигархский колледж изменил свой тон, и среди новых лидеров наиболее энергичными были братья Али — питомцы Алигархского колледжа. В политической жизни мусульман начали играть важную роль доктор М. А. Ансари, маулана Абул Калам Азад и ряд других буржуазных лидеров, в том числе и более умеренный М. А. Джинна. Все эти руководители (кроме Джинны) и вообще мусульмане были вовлечены Гандиджи в движение несотрудничества и сыграли ведущую роль в событиях 1919—1923 годов.

Затем наступили дни реакции и на сцену после вынужденного отступления начали выходить общинные и отсталые элементы как из среды индусов, так и мусульман. Это был медленный, но непрерывный процесс. Впервые некоторое распространение получило движение Хинду Махасабха, главным образом в результате напряженности в отношениях между общинами, но политически оно не могло оказать большого влияния на Конгресс. Мусульманские общинные организации больше преуспели в частичном восстановлении прежней своей популярности среди мусульманских масс. Но даже и при этом довольно большая группа мусульманских лидеров повсюду осталась в одних рядах с конгрессистами. Тем временем английское правительство всеми средствами поощряло мусульманских общинных лидеров, которые в политическом отношении были наибо-

все реакционными. Заметив успех этих реакционеров, Хинду Махасабха начала соревноваться с ними в реакционных устремлениях, надеясь тем самым завоевать благосклонность правительства. Многие прогрессивные элементы Махасабхи были исключены из организации или ушли из нее по своей воле, а сама организация все более скатывалась на позиции зажиточных слоев средних классов и особенно на позиции ростовщиков и банкиров.

Религиозно-общинных деятелей обеих сторон, без конца споривших о распределении мест в законодательных органах, интересовал только вопрос о должностях, которые они надеялись получить, обеспечив себе влияние в правительстве. Это была борьба за должности для интеллигенции среднего класса. Должностей не доставало, и поэтому деятели индусских и мусульманских общин ссорились из-за них, причем первые были в обороне, так как они захватили большинство должностей, а последние требовали все больше и больше. За этой борьбой за должности скрывалась более серьезная борьба, которая носила не вполне религиозный характер, но, однако, оказывала влияние на религиозно-общинные проблемы. Индусы Пенджаба, Синда и Бенгалии были преимущественно горожанами, богачами, кредиторами, — а мусульмане этих провинций были крестьянами, бедняками, должниками. Поэтому конфликт между ними зачастую носил экономический характер, хотя ему и придавалась религиозная окраска. В последние месяцы это особенно ярко проявилось в дебатах по различным законопроектам об облегчении бремени сельскохозяйственной задолженности, имевших место в провинциальных законодательных советах, особенно в Пенджабе. Представители Хинду Махасабхи настойчиво выступали против этих мероприятий и блокировались с банкирами.

Хинду Махасабха всегда подчеркивает свой безупречный национализм, когда дело доходит до критики мусульманской религии. Всем хорошо известно, что кто-кто, а мусульманские организации зарекомендовали себя необычайно горячими сторонниками религиозных общин. Религиозно-общинная идеология Махасабхи была не так очевидна, так как Махасабха рядится в тогу национализма. Действительное положение дел выясняется, когда национальные и демократические решения ущемляют интересы привилегированного класса индусов, и как раз во время подобных испытаний Махасабха неоднократно проваливалась. Так, в экономических интересах меньшинства и против выраженного желания большинства они постоянно выступали против отделения Синда.

Но наиболее ярко антинационализм и реакционность как со стороны индусских, так и мусульманских религиозно-общинных деятелей проявлялись на конференциях круглого стола. Английское правительство настаивало на назначении мусульман с

явно выраженными религиозными взглядами, и эти мусульмане, возглавлявшиеся Ага Ханом, фактически доходили до того, что объединялись с наиболее реакционными и самыми опасными не только с точки зрения Индии, но и с точки зрения всех прогрессивных групп элементами в английской общественной жизни. Было в высшей степени необычно наблюдать тесную связь Ага Хана и его группы с лордом Ллойдом и его партией. Они пошли еще дальше и заключили пакты с представителями Европейской ассоциации и другими организациями на Конференции круглого стола. Это был весьма прискорбный факт, так как эта ассоциация была и остается самым непримиримым и злейшим врагом свободы Индии.

Делегаты Хинду Махасабхи ответили на это, особенно в Пенджабе, требованием всякого рода ограничений свободы — гарантий в интересах англичан. Они хотели перещеголять мусульман в попытках предложить свое сотрудничество английскому правительству, но не извлекли для себя никаких выгод, лишь провалили собственное дело и предали дело свободы. Мусульмане, по крайней мере, говорили с достоинством, а деятели индусских общин не отличались даже этим.

Мне кажется интересным показать, как общинные лидеры обеих сторон представляют небольшую реакционную группу привилегированного класса и как они эксплуатируют религиозные чувства масс и используют их в своих целях. Как те, так и другие делают все возможное для того, чтобы избегать обсуждения экономических вопросов. Скоро настанет время, когда эти вопросы уже нельзя будет замалчивать, и тогда, несомненно, общинные лидеры обеих организаций будут повторять призыв Ага Хана, с которым он двадцать лет тому назад обратился к умеренным, — подать друг другу руку и объединиться в общий лагерь для борьбы против радикальных тенденций. До некоторой степени это сотрудничество уже осуществляется: как бы яростно ни нападали мусульманские и индусские общинные деятели друг на друга в общественных местах — они сотрудничают в Законодательном собрании и в других организациях, помогая правительству протаскивать реакционные законы. Оттава явилась одним из звеньев, которое связало воедино индусских и мусульманских общинных деятелей и английское правительство.

В то же время интересно отметить, что тесная связь Ага Хана с крайне правым крылом консервативной партии продолжается. В октябре 1934 года он был почетным гостем на обеде английской Военно-морской лиги, где председательствовал лорд Ллойд, и горячо поддержал предложения об усилении английского военно-морского флота, внесенные лордом Ллойдом на конференции консервативной партии в Бристоле. Таким образом индийский лидер проявил такую заботу об имперской обороне и безопасности Англии, что в вопросе об увеличении

английских вооружений он хотел тогда перещеголять даже Болдуина или «национальное» правительство. Конечно, это все делалось в интересах мира!

В следующем месяце, в ноябре 1934 года, сообщалось, что в Лондоне при закрытых дверях демонстрировался фильм, темой которого было «объединение мусульманского мира узлами вечной дружбы с Британской короной». Нам стало известно, что почетными гостями на демонстрации фильма были Ага Хан и лорд Ллойд. Казалось, что Ага Хан и лорд Ллойд стали неразлучными друзьями в имперских делах,— два сердца, которые бьются в унисон,— как сэр Тедж Бахадур Сапру и М. Р. Джаякар в нашей национальной политической жизни. Заслуживает внимания тот факт, что в течение этих месяцев, когда они так близко соприкасались друг с другом, лорд Ллойд вел яростные и непрекращающиеся нападки на официальное руководство консервативной партии и на английское правительство якобы за их слабость, проявляющуюся в предоставлении слишком больших уступок Индии¹.

За последнее время в речах и заявлениях некоторых общинных мусульманских лидеров появилось нечто новое. Эти тенденции, по сути дела, не имеют большого значения, и я не думаю, чтобы их поддерживало много людей. Тем не менее эти тенденции знаменательны с точки зрения познания общинной психологии и им уделялось довольно большое внимание. Мусульманские лидеры начинают особо подчеркивать существование «мусульманской нации» в Индии, «мусульманской культуры» и полную несовместимость мусульманской и индусской культур. Из этого следует (хотя это и не говорится открыто) неизбежный вывод о том, что англичане должны остаться в Индии навсегда, чтобы поддержать равновесие и быть посредником между этими двумя «культурами».

Небольшая кучка индусских общинных лидеров думает точно так же, с той, однако, разницей, что они все же надеются, что, поскольку они составляют большинство, их «культура» в конце концов возьмет верх.

Индусская и мусульманская «культуры», «мусульманская нация» — какие чарующие картины прошлого, а также настоящего и будущего открывают эти слова! Мусульманская нация в Индии — нация внутри нации и даже не компактная, а слабая, рассеянная по стране, неопределенная. Политически — идея абсурдна, экономически — фантастична и едва ли заслуживает внимания. Однако она немного помогает нам понять ту психологию, которая скрыта в этой идее. Некоторые из таких разделенных и несоединимых «наций» существовали друг подле друга в средние века и позднее. В Константинополе

¹ Недавно был создан Совет английских пэров и индийских мусульман для укрепления союза между этими крайне реакционными элементами.

в ранние годы османских султанов каждая из таких «наций» жила отдельно и пользовалась известной автономией — римские христиане, православные христиане, евреи и т. д. Это было начало экстерриториальности, которая в более поздние времена превратилась в кошмар для многих восточных стран. Поэтому говорить о «мусульманской нации» — значит подтверждать, что вообще нет никакой нации, а есть только религиозная общность; значит утверждать, что ни одна нация в современном значении слова не должна иметь возможности развиваться; значит, современной цивилизации должен быть положен конец, и мы должны вернуться к средним векам; говорить так — значит допускать либо автократическое правительство, либо иностранное правительство; наконец, эти слова вообще ничего не выражают, кроме эмоций и осознанного или неосознанного желания не смотреть в лицо действительности, особенно экономической действительности. Эмоции могут идти вразрез с логикой, но мы не должны их игнорировать просто потому, что они кажутся нам безрассудными. Но эта идея о «мусульманской нации» является плодом воображения лишь немногих людей, и, если бы не шум, который поднят по этому вопросу прессой, очень мало кто знал бы об этом. И даже если бы многие верили в эту идею, она все равно исчезла бы под воздействием действительности.

Так же обстоит дело с индусской и мусульманской «культурами». Время отдельных национальных культур быстро уходит в прошлое, и мир становится в отношении культуры единым целым. Нации могут сохраниться, и они сохраняют на долгое время наиболее характерные для них особенности — язык, обычаи, мировоззрение и т. д., — но век машин и науки, при наличии быстрого средств передвижения, постоянный обмен в области информации, радио, кино и т. д. будут все более и более цивилизовать их различия. Борьба с этой неизбежной тенденцией невозможно, и ее развитие может приостановить только всемирная катастрофа, которая потрясет основы современной цивилизации. Конечно, между традиционными индусским и мусульманским взглядами на жизнь имеется много различий, но эти различия становятся почти незаметными, если их сравнить с современной научной и производственной точкой зрения на жизнь, так как последнюю от первых двух отделяет огромная пропасть. Действительная борьба в Индии в настоящее время идет не между индусской и мусульманской культурами, а между этими двумя культурами, с одной стороны, и торжествующей научной культурой современной цивилизации — с другой. Тем, кто стремится сохранить «мусульманскую культуру», что бы под ней ни понималось, нечего беспокоиться об опасности влияния индусской культуры; им надо позаботиться о том, чтобы противостоять натиску гиганта, надвигающегося с Запада. Лично я не сомневаюсь в том, что все попытки с индусской или

мусульманской стороны противостоять современной научной и промышленной цивилизации обречены на провал, и я буду смотреть на этот провал без сожаления. Мы бессознательно и непроизвольно сделали свой выбор, когда в Индию пришли железные дороги и подобные технические средства. Сэр Саид Ахмад Хан сделал выбор от имени индийских мусульман, когда он открыл Алигархский колледж. Но ни у кого из нас в действительности не было никакого выбора, кроме выбора утопающего, хватающегося за что-либо ради спасения своей жизни.

Но что же такое «мусульманская культура»? Может быть, это своего рода воспоминания о великих делах близких им арабов, персов, турок и т. д.? Может быть, язык? Искусство и музыка? Или обычаи? Я не помню, чтобы при мне кто-нибудь говорил о современном мусульманском искусстве или музыке. Два языка — арабский и персидский, особенно последний, оказали влияние на развитие мусульманского мышления в Индии. Но влияние персидского языка не содержит элемента религии. Персидский язык и многие персидские обычаи и традиции проникли в Индию в ходе тысячелетнего развития и имели значительное влияние во всей Северной Индии. Персия была Францией Востока, распространяющей свой язык и культуру среди всех своих соседей. Они являются общим и ценным наследством для всех нас в Индии.

Гордость за прошлые достижения народов и стран ислама, пожалуй, является одной из самых прочных уз, связывающих ислам. Разве кто-нибудь отказывает мусульманам в признании этой благородной исторической заслуги различных народов? Никто не отнимает ее у них, пока они сами будут помпировать о ней и беречь ее. В действительности эти прошлые заслуги в основном также являются нашим общим наследием, может быть, потому, что, как азиатский народ, мы чувствуем общие узы, которые связывают нас в борьбе против наступления Европы. Я знаю, что, когда бы я ни читал о войнах арабов в Испании или о крестовых походах, мои симпатии всегда были на стороне арабов. Я пытаюсь быть беспристрастным и субъективным, но азиат берет во мне верх, когда дело идет об азиатском народе.

Я долго старался понять, что это за «мусульманская культура», но, признаюсь, тщетно. Есть небольшая горстка мусульман среднего класса, а также и индусов Северной Индии, которые находятся под влиянием персидского языка и традиций. А в массах наиболее ярким символом этой «мусульманской культуры», очевидно, являются: особый покрой пижам — не слишком длинные и не слишком короткие, особый способ бриться и подстригать усы, отращивание бороды и пользование *лота*, в то время как для индусов характерно ношение *дхоти*, чуба на голове и употребление лота другой формы. Но, как правило, даже эти различия присущи в основном горожанам и имеют тенден-

цию к исчезновению. Мусульманские рабочие и крестьяне почти ничем не отличаются от индусов. Среди мусульманской интеллигенции сейчас редко встретишь человека, который носил бы бороду, однако питомцы Алигархского колледжа все еще носят красную турецкую феску (она называется турецкой, однако турки ее не носят). Мусульманские женщины начинают больше пользоваться *sari* и хотя медленно, но прекращают носить парду. Мне, с моими взглядами, не нравятся многие из этих обычаев, и я не ношу ни бороды, ни усов, ни чуба, но я не хочу навязывать свои вкусы другим, хотя, должен признаться, что я был очень рад, когда в Кабуле Аманулла начал решительно расправляться с бородами.

Должен сказать, что те мусульмане и индусы, которые всегда оглядываются назад и всегда хватаются за то, что ускользает из их рук, являют собой очень жалкую картину. Я не хочу проклинать прошлое или отвергать его, ибо в нашем прошлом очень много необычайно красивого. Это красивое останется, я в этом уверен. Но эти люди хватаются не за красоту, а за то, что почти не заслуживает внимания и зачастую вредно.

За последние годы индийские мусульмане получали один удар за другим и многие из наиболее близких их сердцу понятий были поколеблены. Турция, эта движущая сила ислама, не только отказалась от халифата, за который Индия столь храбро боролась в 1920 году, но и шаг за шагом отходит от религии. В новой турецкой конституции говорится, что Турция — мусульманское государство, но во избежание каких-либо ошибок Кемаль-паша заявил в 1927 году: «Положение конституции о том, что Турция — мусульманское государство, есть по своей сути компромисс, с которым нужно покончить при первой же возможности». И мне кажется, что позднее он проводил это в жизнь. Египет хотя и более осторожно, но идет тем же путем и совершенно не смешивает свою политику с религией. Так же поступают арабские страны, кроме самой Аравии, которая является более отсталой. Персия обращается к временам, предшествовавшим исламу, как к источнику вдохновения для своей культуры. Всюду религия отступает на задний план и появляется национализм, облаченный в воинственный парад. За национализмом идут другие «измы», которые говорят социально-экономическим языком. А как обстоит дело с «мусульманской нацией» и «мусульманской культурой»? Сохранятся ли они в будущем только в Северной Индии, расцветая под милостивым господством англичан?

Если прогресс означает более широкое понимание индивидуумом того, что называется политикой,— наши религиозно-общинные деятели, а также и правительство преднамеренно и настойчиво стремились к противоположной цели,— они добивались сужения этого понимания.

Глава пятьдесят седьмая

В ТУПИКЕ

Мысль о возможности нового ареста и заключения в тюрьму никогда не покидала меня. В стране, которая живет по указам вице-короля и его слуг, где Конгресс является запрещенной организацией, это было нечто большее, чем возможность. Зная характер английского правительства и мой собственный характер, я не сомневался, что гонения неизбежны. Эта мысль не выходила у меня из головы и мешала спокойно работать. Я не мог надолго посвятить себя какому-либо одному определенному делу и спешил сделать как можно больше.

Однако у меня не было никакого желания ускорять свой арест, и я по возможности старался избегать деятельности, которая могла бы привести к нему. Я получал много приглашений из различных пунктов в нашей провинции и за ее пределами посетить их, но отказывался от них, так как мое турне, сопровождающееся выступлениями, вызвало бы только ярость властей, и ему скоро был бы положен конец. В то время половинчатый образ действий для меня был невозможен. Выезжая по другим делам, например на совещание с Гандиджи и с членами Рабочего комитета, я выступал на публичных митингах и свободно выражал свои мысли. Так, в Джаббалпуре я был на большом митинге, а затем принял участие во внушительной демонстрации; в Дели собрание было одним из самых больших, какие мне приходилось когда-либо видеть там. Успех подобных митингов говорил сам за себя — правительство не позволит их частого повторения. В Дели после одного из таких митингов распространялись настойчивые слухи, что власти намерены арестовать меня, однако все обошлось благополучно, и я вернулся в Аллахабад, а по пути выступил с речью перед студентами мусульманского университета в Алигархе.

Мне не хотелось принимать участия в общественной деятельности неполитического характера в то время, когда правительство пыталось пресечь всякую политическую деятельность. Однако среди конгрессистов чувствовалось сильное стремление избегать политики, сосредоточивая все внимание на различных пустяковых делах, которые хотя и были полезны сами по себе, но не имели почти никакого отношения к нашей борьбе. Стрем-

ление было естественно, но я считал, что его не следовало поощрять в тот период.

В середине октября 1933 года в Аллахабаде состоялось совещание деятелей Конгресса в Соединенных провинциях, на котором мы предполагали обсудить сложившуюся обстановку и наметить программу на будущее. Провинциальный комитет Конгресса был на нелегальном положении, и, поскольку наша цель состояла в том, чтобы собраться, а не просто нарушить закон, то мы официально не объявляли о созыве этого комитета. Однако мы пригласили всех членов комитета, которые были на свободе, а также и ряд других руководящих работников Конгресса прибыть на неофициальное совещание. Мы не делали тайны из наших встреч, хотя они и проходили при закрытых дверях, и до последней минуты мы не были уверены, что власти не помешают нам. На совещании мы уделили большое внимание международному положению — вопросам экономического кризиса, нацизму, коммунизму и т. д. Мы хотели, чтобы наши товарищи увидели борьбу Индии в ее связи с событиями, происходящими в других частях мира. Совещание в конце концов приняло социалистическую резолюцию, определив нашу цель, и высказалось против прекращения гражданского неповиновения. Всем было хорошо известно, что шансов на широкую кампанию гражданского неповиновения не было и что даже индивидуальное неповиновение, по всем признакам, в скором времени также прекратится или будет продолжаться в очень ограниченном масштабе. Но снятие лозунга не внесло бы больших перемен, так как правительство и вице-король продолжали наступление. Поэтому скорее просто ради жеста мы решили формально не снимать лозунга о неповиновении, дав, однако, указание конгрессистам не выходить из рамок легальности, чтобы не провоцировать арестов. Они должны были продолжать свою обычную работу, а в случае, если будут арестованы, вести себя с достоинством. Совещание обращало особое внимание конгрессистов на необходимость восстановить контакт с сельскохозяйственными районами и выяснить обстановку в деревне после уменьшения налогов и усиления репрессий правительства. В этот период мы не ставили вопроса о проведении кампании за прекращение взносов арендной платы. После конференции в Пуне эта кампания официально была прекращена, и было совершенно очевидно, что при сложившихся обстоятельствах ее не стоило возобновлять.

Наша программа явилась умеренной, она не имела наступательного характера, в ней не содержалось ничего такого, что можно было бы назвать противозаконным, и, тем не менее, мы знали, что принятие ее вызовет аресты. И действительно, как только наши люди прибыли в сельские районы, они сразу же были схвачены и совершенно несправедливо обвинены в подстрекательстве к невнесению арендной платы (что считалось

в соответствии с приказом вице-короля преступлением), а потом осуждены. Я намеревался съездить в эти сельские районы после ареста многих своих товарищей, однако в то время другие заботы заставили меня отложить поездку, а потом было уже поздно.

В течение этих месяцев члены Рабочего комитета провели два совещания, на которых обсуждалось внутреннее положение в Индии. Комитет как таковой в это время не функционировал, и не столько потому, что был объявлен вне закона, сколько вследствие того, что по инициативе Гандиджи после Пунской конференции все комитеты Конгресса и рабочие учреждения прекратили свою работу. Я сам в этот период занимал несколько особую позицию, так как по выходе из тюрьмы отказался присоединиться к подобному самоотречению и настаивал, чтобы меня попрежнему именовали генеральным секретарем Конгресса. Но мне негде было выполнять свои функции. Не было служебного помещения, не было работников, не было исполняющего обязанности председателя, а Гандиджи, хотя мы могли пользоваться его консультациями, совершал одну из своих длительных поездок по Индии, на этот раз по вопросу о хариджанах. Нам удалось поймать его в Джаббалпуре, а затем в Дели; там мы и провели консультации с членами Рабочего комитета. Эти совещания помогли выяснить разногласия между отдельными членами комитета. Было ясно, что мы в тупике, причем выхода из него, приемлемого для всех, не было. Решающее слово в разрешении разногласий между сторонниками прекращения кампании гражданского неповиновения и противниками этого принадлежало Гандиджи, а поскольку он в то время склонялся на сторону последних, все оставалось попрежнему.

Вопрос об участии Конгресса в выборах в законодательные органы иногда обсуждался конгрессистами, хотя члены Рабочего комитета этим вопросом в то время интересовались мало. Он не возникал, так как было ясно, что говорить о нем сейчас преждевременно. Каких-либо предпосылок к тому, что в ближайшие два-три года «реформы» будут проведены, не было, не было и разговоров о новых выборах в Собрание. Лично я в принципе не имел каких-либо возражений против участия в выборах и в душе был уверен, что, когда наступит их срок, Конгрессу придется выставить своих кандидатов. Но поднимать этот вопрос в тот момент значило бы только распылять свое внимание. Я надеялся, что в ходе нашей борьбы все спорные вопросы, с которыми мы столкнулись, разрешатся и соглашательским элементам не удастся восторжествовать.

А пока я продолжал писать статьи и заявления для газет. Я был вынужден до некоторой степени смягчать тон своих статей, так как они предназначались для опубликования в печати и мне приходилось считаться с цензурой и различными зако-

нами, а у них, как у спрута, были очень длинные щупальца. Даже если бы я пошел на риск, владельцы типографий, издатели и редакторы газет все равно не согласились бы напечатать их. В целом же следует отметить, что газеты относились к моим статьям доброжелательно и многие вопросы старались решить в мою пользу. Однако не всегда. Иногда они выбрасывали наиболее острые места в моих статьях и заявлениях. Был случай, когда одна моя большая статья, над которой я много трудился, так и не увидела света. Позднее, когда я был в Калькутте в январе 1933 года, редактор одной крупной ежедневной газеты посетил меня. От него я узнал, что одну из моих статей он направил на просмотр главному редактору всех газет города, и, поскольку главный редактор ее не одобрил, она не была напечатана. «Главным редактором» был правительственный цензор прессы в Калькутте.

В некоторых из своих интервью для печати и заявлениях я осмеливался остро критиковать некоторые политические круги и ряд лиц. Моя критика вызвала крайнее неудовольствие с их стороны. Это отчасти объяснялось мнением — частично распространению такого мнения способствовал Гандиджи, — что можно позволять себе любые нападки на Конгресс, не опасаясь ответных ударов с его стороны. Гандиджи сам показал пример этому, а влиятельные конгрессисты в той или иной мере шли по его стопам, хотя и не всегда. Обычно мы придерживались туманных и благочестивых фраз, а это давало нашим критикам возможность попрежнему безнаказанно пускать в ход свои лживые доводы и оппортунистическую тактику. Обе стороны старались избегать принципиальных вопросов, и настоящие дискуссии, когда вспыхивают жаркие схватки, как это бывает в странах Запада, за исключением стран, где властвует фашизм, были редки.

Одна из моих знакомых, мнением которой я дорожу, писала мне тогда, что она несколько удивлена острым характером некоторых моих заявлений для печати, и что я, по ее мнению, почти становлюсь «злюкой». Может быть, это был результат «крушения» моих надежд? — спрашивал я себя. Да, отчасти это было действительно так, ибо как нация все мы переживаем крушение надежд. Это справедливо отчасти и в отношении отдельных лиц. Тем не менее я не испытывал слишком сильно это чувство, так как лично у меня не было ощущения, что нас подавили или победили. С тех пор как в своей политической деятельности я встретился с Гандиджи, я усвоил от него, по крайней мере, одну вещь: не подавлять в себе свои мысли из-за боязни последствий. Эта привычка, которой я следовал в политической деятельности (в других сферах жизни это было гораздо опаснее и труднее), часто причиняла мне неприятности, но она также бывала источником большого удовлетворения. Мне кажется, что именно благодаря этой привычке многие из нас

избежали чувства подлинной горечи и ощущения безысходности в их самом худшем виде. Кроме того, живительным бальзамом и могучим средством против настроений пораженчества и безысходности служит сознание, что о тебе с любовью думают широкие массы твоего народа. Самым страшным чувством, по-моему, является чувство одиночества, чувство, что ты предан забвению.

Но даже если и так, куда убежать в этом странном несчастном мире от чувства подавленности? Как часто кажется, что все идет не так, и, хотя ты продолжаешь свой путь, сомнения одолевают тебя, когда познаешь цену людей, тебя окружающих. Боюсь, в моей душе довольно часто вызывают гнев и раздражение различные события и действия и даже отдельные люди и группы людей. За последнее время я все более презираю пустое, салонное отношение к жизни, когда люди закрывают глаза на жизненные проблемы, предпочитая не говорить о них, ибо они могут ударить их по карману или затронуть их мелкие предубеждения. Несмотря на свойственную мне склонность к гневу, подавленности и «злости», я, надеюсь, еще не утратил способности смеяться над своими собственными глупостями и над глупостями других.

Порой меня удивляет способность людей верить в милосердие провидения. Как это вера, несмотря на следующие один за другим удары судьбы, остается все же непоколебленной? Почему сами несчастья и факты, доказывающие отсутствие милосердия у провидения, воспринимаются только как доказательство истинности этой веры? Во многих сердцах находят отклик следующие прекрасные строки Джерарда Хопкинса:

Меж нами в спорах Ты, конечно, прав, Господь;
Но в жалобах моих крупица правды скрыта:
О, почему пути пред грешником открыты,
А мне в трудах любых — преград не побороть?
Будь Ты врагом моим, Божественный мой друг,
Не знаю, смог бы Ты перечить мне упорней
И сокрушать мечты? Пьянчуга подзаборный,
Раб похоти счастливей в свой досуг,
Чем я, Тебе, Господь, отдавший жизнь свою...

Вера в прогресс, в правоту своего дела, в идеалы, в человеческую добродетель и судьбу человека — разве это почти не одно и то же, что и вера в провидение? Если мы попытаемся объяснить эту веру доводами, логикой, мы сразу же встретим затруднения. Но что-то внутри нас самих удерживает эту надежду и веру, ибо без них жизнь была бы для нас пустыней без оазиса.

Результаты моей социалистической пропаганды обескуражили даже некоторых из моих коллег по Рабочему комитету. Они обычно без спора соглашались со мной и поступали так в

течение нескольких лет, пока я вел эту пропаганду. Но сейчас мои действия в известной степени начали пугать привилегированные классы в стране, и моя деятельность уже не могла больше считаться безобидной. Я знал, что некоторые из моих соратников не были социалистами, но я всегда считал, что как член Исполнительного комитета Конгресса я имел полное право вести социалистическую пропаганду, не связывая ею Конгресс. Для меня оказался неожиданным тот факт, что некоторые из членов Рабочего комитета не считали, что я располагаю таким правом. Я ставил их в ложное положение, и им это не нравилось. Но что мне оставалось делать? Я не собирался отказываться от того, что считал самой важной частью своей работы. Я скорее предпочел бы выйти из состава Рабочего комитета, если бы предстояло сделать выбор. Но как я мог выйти из состава комитета, если он находился на нелегальном положении и по сути дела даже не функционировал?

Мне пришлось снова столкнуться с этим вопросом несколько позднее — по-моему, это было в конце декабря, — когда я получил из Мадраса письмо от Гандиджи. Он послал мне вырезку из газеты «Мадрас мейл» с интервью, которое он дал корреспонденту этой газеты. Корреспондент спросил его обо мне, и в ответе Гандиджи звучали как бы нотки извинения за мою деятельность и одновременно выражалась уверенность в моих высоких нравственных качествах: я, дескать, не свяжу Конгресс этими новыми идеями. Я не обратил особого внимания на его высказывание обо мне, однако меня огорчило, что в своем интервью он выступил в защиту системы крупных земледаров. Он, казалось, считал, что подобная система крайне желательна для сельского хозяйства и национальной экономики. Для меня это было большой неожиданностью, так как у крупных земледаров и талукдаров в настоящее время очень мало защитников. С такого типа землевладением уже покончено во всем мире, и даже в Индии большинство людей признает, что это не может долго продолжаться. Даже сами талукдары и земледары приветствовали бы решение об упразднении подобной системы при условии, конечно, чтобы им была обеспечена соответствующая компенсация за это¹. Система эта действительно сама себя разрушает. А Гандиджи, оказывается, выступает в пользу ее и толкует об опеке и тому подобном. Я снова подумал о том, насколько сильно расходятся наши взгляды и в какой степени

¹ П. Н. Тагор, председатель комитета по приему делегатов Всебенгальской конференции землевладельцев, в своем выступлении 23 декабря 1934 года заявил: «Лично я не буду сожалеть о том дне, когда земли земледаров будут национализированы, как это было сделано в Ирландии, с уплатой достаточной компенсации землевладельцу». Следует помнить, что землевладельцы в Бенгалии, где действует система постоянных земледаров, находятся в лучшем положении, чем землевладельцы районов распространения системы временных земледаров. Мысли П. Н. Тагора в отношении национализации, правда, представляются довольно туманными.

смогу я еще сотрудничать с ним в будущем. Следует ли мне оставаться в Рабочем комитете? В то время я не видел выхода, но через несколько недель этот вопрос уже отпал — я снова оказался в тюрьме.

Много времени мне приходилось уделять своим личным делам. Здоровье матери хотя и медленно, но все же улучшалось. Она все еще была прикована к постели, но, по всей видимости, опасность уже миновала. Я занялся своими финансовыми делами, которые были в запущенном состоянии и совершенно разстроились. Мы тратили значительно больше, чем это позволяли наши доходы, и в то же время я не видел возможностей, как и где урезать расходы. Впрочем, я не особенно старался свести концы с концами, а, пожалуй, больше думал о том, что наступит время, когда у меня совсем не будет денег. В нашем мире деньги и имущество очень полезны, но для человека, собирающегося в дальний путь, они часто становятся обузой. Богатым людям очень трудно бывает принимать участие в каких-либо делах, связанных с риском: они всегда боятся потерять свои товары и достояние. Какой смысл быть обладателем денег или собственности, когда в любое время правительство может отобрать или даже конфисковать их у тебя? По этим соображениям я почти хотел избавиться от того малого, что имел. Потребности нашей семьи не были слишком большими, и я был уверен в своей способности заработать нужную сумму. Я больше всего заботился о том, чтобы обеспечить свою мать, о том, чтобы на закате своей жизни она не знала лишений и не страдала от сколько-нибудь заметного ухудшения условий жизни. Кроме того, мне хотелось, чтобы это не помешало моей дочери закончить образование, а для этого, как я считал, ей надо было жить в Европе. Помимо этого, ни у меня, ни у моей жены не было особой потребности в деньгах. Возможно, это только так казалось нам, людям, не испытавшим действительной нужды в деньгах. Но я не сомневаюсь, что, если наступит время, когда у нас не будет денег, мы совсем не будем радоваться по этому поводу. Особенно тяжело мне будет отказаться от одной своей страсти — от приобретения книг.

Чтобы поправить финансовое положение мы решили продать бриллианты жены, серебро и другие подобные вещи, а также много всякой всячины. Камале не хотелось расставаться со своими бриллиантами, хотя она не носила их уже более десяти лет и они лежали в банке. Она намеревалась подарить их дочери.

Наступил январь 1934 года. Продолжающиеся аресты наших работников в деревнях Аллахабадского округа, хотя они и не совершали ничего предосудительного, казалось, требовали того, чтобы мы стали на их место и ехали в деревни. Наш энергичный секретарь конгрессистского комитета в Соединенных провинциях Рафи Ахмад Кидваи был также арестован.

Приближалось 26 января — День независимости, — и мы не могли этого игнорировать, так как с 1930 года, несмотря на приказы и запрещения вице-короля, мы ежегодно по всей Индии отмечали эту дату. Но кто должен руководить празднеством и в чем должно выразиться это руководство? Кроме меня, в тот период не было ни одного человека, который, хотя бы формально, выполнял функции официального представителя Всеиндийского конгресса. Я посоветовался с некоторыми друзьями, и они почти все согласились с тем, что надо что-то предпринять, но что именно — тут общего мнения не было. Мне бросилась в глаза общая тенденция избегать каких-либо действий, которые могли бы повлечь массовые аресты. В результате совещания я выпустил краткое воззвание, в котором призывал достойно отметить День независимости; вопрос о методе проведения Дня независимости предлагалось решать в каждом районе самостоятельно. В Аллахабаде мы решили отметить этот день довольно широко по всему округу.

Мы предполагали, что организаторы проведения Дня независимости будут арестованы в тот же день. Поэтому перед тем, как я снова окажусь в тюрьме, мне хотелось съездить в Бенгалию. Поездка моя отчасти была вызвана желанием встретиться там с товарищами по борьбе, но главная цель ее заключалась в том, чтобы воздать должное народу Бенгалии за те нечеловеческие страдания, которые ему пришлось претерпеть в последние годы. Я очень хорошо знал, что мне нечем помочь ему. Одного выражения симпатии и сочувствия было недостаточно, однако и это было очень нужно там, так как народ Бенгалии особенно страдал от сознания, что он одинок и покинут остальным населением Индии в тяжелый для него час. Для этого чувства не было оснований, однако оно владело сердцами бенгальцев.

Мне также надо было съездить с Камалой в Калькутту для консультации с врачами о ее лечении. Она чувствовала себя не очень хорошо, однако мы оба пытались оттянуть поездку хотя бы на небольшой срок и откладывали ее лечение, которое заставило бы ее остаться на долгое время в Калькутте или в другом месте. Мы хотели побыть подольше вместе, пока я на свободе. Когда я снова окажусь в тюрьме, думал я, у нее будет много времени для докторов и лечения. Но сейчас, когда арест, казалось, уже был недалек, я решил, что, по крайней мере, консультации с врачами в Калькутте должны состояться в моем присутствии. Остальное можно будет сделать уже без меня. Итак, Камала и я решили отправиться в Калькутту 15 января, чтобы успеть вернуться к празднованию Дня независимости.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Был полдень 15 января 1934 года. Я стоял на веранде своего дома в Аллахабаде и беседовал с группой крестьян. Начался ежегодный праздник Магх Мела, и у нас весь день было множество гостей. Вдруг я почувствовал, что почва колеблется у меня под ногами, и едва удержался на ногах, схватившись за стойку веранды. Захлопали двери, послышался грохот со стороны соседнего дома Сварадж Бхавана, с которого начала сыпаться черепица. Мне не приходилось наблюдать землетрясение, и я сначала не мог сообразить, что же происходит, но вскоре догадался, в чем дело. Меня, пожалуй, даже изумило и заинтересовало это новое ощущение, и я продолжал свою беседу с крестьянами и начал рассказывать им о землетрясениях. В это время моя старая тетка, предусмотрительно отошедшая на внушительное расстояние от дома, начала кричать, чтобы я скорее бежал из-под крыши. Ее совет мне показался совершенно абсурдным. Я не воспринял это землетрясение как серьезную опасность и, во всяком случае, не собирался бросить прикованную к постели мать, находившуюся на верхнем этаже, и жену, которая была там же (она, вероятно, укладывала вещи) и не могла думать о спасении своей жизни. Подземные толчки продолжались, как нам казалось, довольно долго, потом все кончилось. О землетрясении немного поговорили и вскоре почти забыли. Никто из нас тогда не знал, да и не мог знать, чего стоили эти две или три минуты миллионам людей в Бихаре и других городах.

В тот же вечер я и Камала выехали в Калькутту и всю ночь ехали через южные районы землетрясения, совершенно не подозревая, что здесь произошло. Еще и на следующий день в Калькутте мы почти ничего не знали о несчастье, постигшем юг, и только на вторые сутки начали поступать отрывочные сообщения. На третий день у нас наконец начало складываться смутное представление о катастрофе.

В Калькутте мы с Камалой были заняты своими делами: нам надо было посетить множество врачей. В конце концов было решено, что Камала приедет на лечение в Калькутту через месяц или два. Нам надо было повидаться с друзьями и моими товарищами по Конгрессу, с которыми мы уже давно

не встречались. В Калькутте я все время испытывал чувство какой-то угнетенности. Люди здесь, казалось, боялись каких-либо действий. А вдруг они навлекут на них беду? Нет, с них уже хватит! Газеты были тоже более осторожны, чем где-либо в других местах Индии. Здесь, в Калькутте, как и во всей Индии, царили сомнения и растерянность по вопросам дальнейшей работы. И именно не столько страх, сколько эти сомнения не давали нам возможности развернуть активную политическую деятельность. Были заметны явные тенденции к фашизму, наблюдались также и социалистические и коммунистические тенденции — все они были довольно расплывчатыми и переплетались одна с другой. Провести какие-то заметные грани между этими течениями было довольно трудно. У меня не было ни времени, ни возможности собрать достаточные сведения о движении террористов. Официальные круги уделяли им большое внимание, поднимая вокруг них много шума. Насколько мне удалось выяснить, это движение не имело никакого политического значения, и старые члены террористических групп уже не верили в него. Их взгляды начали меняться. Возмущение действиями правительства в Бенгалии привело, однако, к тому, что кое-где отдельные лица начали непримиримую борьбу. Идея непримиримой вражды, казалось, овладела как террористами, так и властями. Что касается террористов, то такие их действия были особенно заметны. Правительство также предпочитало продолжать непримиримую борьбу, спорадически прибегая к репрессиям, вместо того, чтобы подавить антиобщественные выступления спокойно и организованно.

Любое правительство, если ему приходится столкнуться с актами террора, должно бороться с ними и стремиться положить им конец. Но правительству более подобает спокойное пользование своей властью, а не проявление излишней нервозности, когда удары обрушиваются без разбора как на виновных, так и на невиновных, и большей частью на последних, так как их безусловно больше. Но оставаться спокойным и сдержанным перед лицом подобной угрозы, конечно, задача не из легких. Террористических актов стало меньше, но возможность их повторения всегда витала в воздухе, и этого было достаточно, чтобы лишить покоя тех, кто должен был бороться с ними. Подобные акты, и это вполне понятно, не являются самой болезнью — они только симптомы болезни. Но устранять симптомы и не лечить самой болезни — дело бесполезное.

Я уверен, что юношей и девушек, которые поддерживают связи с террористами, в действительности чаще привлекает таинственность, которой окутана деятельность террористов. Юных искателей приключений всегда привлекали таинственность и риск; им хотелось быть посвященными в тайны, узнать все то, о чем так много говорят, узнать, что за люди действуют за кулисами! Это же настоящий детективный роман! Эти моло-

дые люди и не помышляют о совершении чего-либо серьезного и, уж конечно, не собираются заняться террором, но простого факта их связей с подозреваемыми в терроре вполне достаточно для полиции, чтобы и их взять под подозрение. И вскоре они могут оказаться за решеткой или в исправительном лагере, если их не ждет еще худшая участь.

Нам говорят, что законность и порядок — одно из достижений англичан в Индии, которым они гордятся. По складу своей природы я целиком и полностью стою за законность и порядок. Я люблю общественный порядок и не терплю анархии, беспорядка и неорганизованности. Но горький опыт заставил меня усомниться в ценности закона и порядка, которые навязываются народу государствами и правительствами. Иногда мы слишком дорогой ценой платим за них, а ведь закон есть не что иное, как воля господствующей группы, а порядок — рефлекс на всеобъемлющий страх. В действительности иногда закон и порядок правильнее было бы назвать беззаконием и беспорядком. Любое достижение, которое основывается на всеобщем страхе, едва ли может быть желанным, а «порядок», который в своей основе имеет машину принуждения в форме государства и не может существовать без нее, более похож на военную оккупацию, а не на гражданскую администрацию. Читая рашмирскую эпическую поэму «Раджатаранджини», написанную тысячу лет тому назад поэтом Калхана, я заметил, что автор неоднократно повторяет в значении слов «закон» и «порядок» (то есть чего-то такого, что должно соблюдаться правителем и государством по долгу) слова «дхарма» и «абхайа» — справедливость и отсутствие страха. Значит, в те времена закон был нечто большее, чем просто закон, а порядок означал отсутствие страха у народа. Эта идея внушения безбоязненности куда как желательнее, чем навязывание «порядка» населению, которое держат в постоянном страхе.

В Калькутте мы пробыли три с половиной дня, и за это время я выступил на трех митингах. Как и в своих прежних выступлениях в Калькутте, я осуждал террористические акты, а также касался вопроса о методах, которыми пользуется правительство в Бенгалии. Я говорил очень взволнованно, так как меня поразили сведения о делах в провинции. Меня больше всего возмущало применение против всего населения повальных репрессий, которыми грубо попиралось человеческое достоинство. Политическая проблема, несмотря на то, что она была неотложной, уступала здесь место проблеме гуманности. Эти три моих выступления были потом включены в список обвинений против меня на суде в Калькутте, и за них я был приговорен к тюремному заключению.

Из Калькутты мы поехали в Сантаникетан навестить поэта Рабиндраната Тагора. Встреча с ним всегда доставляла нам большую радость, и, будучи так близко от него, мы не могли не

повидаться с ним. До этого я был в Сантаникетане дважды, Камала же ехала туда впервые, причем ей особенно хотелось посмотреть город, так как мы намеревались послать сюда нашу дочь. Индире предстояло вскоре поступить в университет, и нас беспокоил вопрос об ее образовании. Я совершенно не хотел, чтобы она поступила в обычный государственный или полугосударственный университет — я не любил их. В них царит атмосфера официальности, гнета и деспотизма. Несомненно, в прошлом они дали стране ряд замечательных людей и могут дать их в будущем. Но это единичные исключения, которые не могут избавить университеты от обвинения в подавлении и умерщвлении прекрасных порывов молодежи. Сантаникетанский университет позволял избежать этой гнетущей мертвечины, и мы остановили свой выбор на нем, хотя он и отставал в некоторых отношениях от современных университетов и был хуже оборудован, чем другие.

На пути из Сантаникетана мы остановились в Патне, чтобы обсудить с Раджендра Бабу вопрос об оказании помощи пострадавшим от землетрясения. Бабу только что вышел из тюрьмы и сразу же взял на себя руководство организацией благотворительной помощи пострадавшим. Наш приезд оказался неожиданностью, так как ни одна из наших телеграмм не была получена.

Дом брата Камалы, в котором мы предполагали остановиться, был разрушен (это было большое двухэтажное кирпичное здание), поэтому, как и многие из пострадавших, мы устроились под открытым небом.

На другой день я поехал в город Музаффарпур. Прошло уже семь дней после землетрясения, а еще не было принято почти никаких мер по расчистке города, за исключением некоторых главных улиц. При расчистке улиц находили трупы погибших; некоторых из них смерть застала в исключительно напряженных позах — они словно пытались удержать падающую на них стену или крышу. Руины представляли собой ужасающее зрелище. Спасшиеся во время землетрясения жители города еще не оправались от потрясения и ходили подавленные пережитым ужасом.

Возвратившись в Аллахабад, я немедленно организовал сбор денег и вещей в фонд помощи пострадавшим. В этой кампании все, как члены, так и не члены Конгресса, приняли самое активное участие. Некоторые из моих коллег считали, что в связи с землетрясением проведение Дня независимости следует отменить, но другие, в том числе и я сам, не видели причины, почему землетрясение может помешать выполнению нашей программы. Итак, 26 января мы провели много митингов в деревнях Аллахабадского округа и один митинг организовали в самом городе, причем вопреки нашим опасениям митинг оказался довольно успешным. Большинство из собравшихся ждало вме-

шательства полиции и арестов, и, действительно, незначительное вмешательство имело место, но, к нашему всеобщему удивлению, нам удалось довести митинги до конца. Несколько арестов было произведено в ряде деревень и городов.

Вскоре после возвращения из Бихара я опубликовал обращение по поводу землетрясения, призывая к сбору средств в фонд пострадавших. В обращении я критиковал бездействие бихарского правительства в первые дни после землетрясения. Я не намеревался критиковать представителей власти в районах, непосредственно затронутых землетрясением, так как им приходилось работать в очень трудной обстановке, которая была серьезным испытанием даже для крепких нервов, и позднее я сожалел, что некоторые мои слова были истолкованы как критика в адрес властей пострадавших районов. Но я был убежден в том, что бихарское правительство не проявило сразу должной оперативности, особенно в расчистке улиц от развалин, — этим было бы спасено немало человеческих жизней. В одном лишь городе Монгхире погибло несколько тысяч людей, и даже спустя три недели я еще видел там большое количество развалин, все еще остававшихся неубранными, хотя в нескольких милях отсюда, в городе Джамалпуре, было несколько тысяч железнодорожных рабочих, которых можно было бы использовать для разборки развалин буквально через несколько часов после катастрофы. Даже спустя двенадцать дней там еще находили живых людей, погребенных под развалинами. Правительство прежде всего поспешило принять меры по защите имущества, но проявило исключительную медлительность в оказании помощи людям, погребенным под развалинами. Муниципальные советы в этих районах также бездействовали.

Думаю, что моя критика была вполне оправдана; я узнал позднее, что подавляющее большинство народа в районах землетрясения было солидарно со мной. Но независимо от того, была ли критика справедлива или нет, она была чистосердечной, у меня не было цели обвинять правительство, но лишь побудить его действовать побыстрее. Никто не обвинял правительство в преднамеренных прегрешениях или ошибках: ситуация была необычна, а катастрофа слишком велика, и поэтому ошибки были неизбежны и простительны. Позже, когда возник вопрос о восстановлении пострадавших районов, бихарское правительство, насколько мне известно (так как я был уже в тюрьме), действовало с большей энергией и пониманием дела.

Но моя критика вызвала неудовольствие, и вскоре после этого в качестве ответа на мое заявление несколько человек выступили в Бихаре с общими свидетельскими показаниями в пользу правительства. Землетрясение и проблема ликвидации его последствий были при этом уже второстепенными вопросами — главное заключалось в том, что правительство подверглось критике, и верноподданные поспешили выступить в его

защиту. Вот интересный пример широко распространенного в Индии явления: нелюбовь к критике в адрес правительства. Между тем в странах Европы критика в адрес правительства — обычное дело. Только военщина не переносит критики. Английское правительство и его высокопоставленные садовники в Индии, подобно английскому королю, не могут поступать неправильно! Намекать на подобную вещь — значит оскорблять его величество.

Интересно то, что обвинение правительства в беспомощности или некомпетентности воспринимается более болезненно, чем обвинение его в жестокости и даже тирании. Последнее действительно могло бы послужить причиной для ареста, но к таким обвинениям правительство привыкло и уже не реагирует на них. Напротив, их можно было воспринять даже как похвалу расе господ. Но обвинение в беспомощности и нервозности бьет по самолюбию и по мессианским иллюзиям английских властей в Индии. Они похожи на английского епископа, который терпеливо сносил обвинения в нехристианском поведении, но вспылывал и разразился бранью, когда кто-то назвал его глупцом и неучем.

У англичан есть общее убеждение, которое нередко выдается за неоспоримую истину, что всякое изменение системы правления в Индии, которое влечет за собой уменьшение или прекращение английского влияния, приведет к еще худшему и более беспомощному правительству. Веря в эту истину, но охотно проявляя свое великодушие, радикалы и англичане, придерживающиеся передовых взглядов, утверждают, что хорошее правительство не может заменить самоуправление, но если индийцы хотят лететь ко всем чертям — нужно дать им эту возможность. Не знаю, что произойдет с Индией, когда будет устранено английское влияние. Многое будет зависеть от того, как уйдут англичане и кто встанет у власти в Индии, а также и от ряда других факторов, национальных и международных. Я могу вполне ясно себе представить, каково будет положение дел, если в устройстве их примет участие Англия: правительство будет еще более беспомощно и хуже во всех отношениях по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, так как у него будут все пороки ныне господствующей системы, но ни одного из ее достоинств. Еще легче представить себе иное положение дел, которое, с точки зрения индийского народа, будет более удовлетворительно и даст лучшие результаты по сравнению со всем тем, что мы имеем сегодня. Возможно, что государственная машина насилия не будет такой эффективной, а административно-управленческий аппарат не будет столь блистательным — зато у нас будет больше успехов в сфере производства, снабжения и общей деятельности, что создаст условия для расцвета физических, духовных и культурных сил широких масс. Я считаю, что самоуправление благотворно для любой страны. Но я не согла-

сен принять даже самоуправление ценой отказа от настоящего, хорошего правительства. Самоуправление, если мы хотим, чтобы оно оправдало себя, должно в конечном счете создать лучшее правительство для широких масс. Я считаю, что Англия, независимо от своих прошлых заслуг, на которые она претендует, не в состоянии дать нам хорошее правительство и обеспечить поднятие жизненного уровня масс сегодня, и именно по этой причине считаю, что время, когда она могла играть полезную роль, давно уже миновало. Требование предоставления свободы имеет оправдание лишь в том случае, если нас оно приведет к созданию лучшего правительства, повышению жизненного уровня масс, обеспечению промышленного и культурного развития нации, ликвидации атмосферы страха и угнетения, которую неизбежно несет с собой иностранное империалистическое господство.

Английское правительство в Индии и Индийская гражданская служба, хотя они, может быть, и достаточно могущественны, чтобы навязать свою волю Индии, беспомощны и недостаточно компетентны, чтобы решать нынешние проблемы Индии, а тем более проблемы будущего, так как их предпосылки и предположения в корне неверны, и к тому же они потеряли чувство реальности. Правительство или правящий класс, неспособные достаточно эффективно выполнять свою роль, не смогут удержаться сколько-нибудь длительное время даже в том случае, если они будут навязывать свою волю.

Аллахабадский комитет по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения поручил мне посетить районы землетрясения и проверить, как организована там помощь. Я выехал один и около десяти дней бродил среди руин пострадавших городов и деревень. Для меня это была очень тяжелая поездка — не хватало времени даже на сон. С пяти часов утра и почти до полуночи мы были на ногах и продолжали свой путь в машине по дорогам с зияющими трещинами и заваленным щебнем; нередко нам приходилось менять машину на лодку, так как все мосты через реки были разрушены, а на некоторых участках дорога оказалась под водой в результате осадки почвы. Нельзя забыть зрелище городов после землетрясения: повсюду огромные разрушения, улицы изрыты и изломаны словно чьей-то могучей рукой; в иных местах мостовая по обеим сторонам улиц высоко вздыблена над цоколями зданий. Из огромных расщелин на улицах во время землетрясения вырывались с огромной силой вода и песок, которые сметали на своем пути все живое — и людей, и скот. Еще больше, чем эти города, пострадали равнины Северного Бихара — житницы Бихара, как их обычно называли. На всем лежала печать разрушения.

На много миль тянулись участки, засыпанные песком, большие пространства были затоплены, повсюду зияли трещины и множество небольших кратеров, которые извергли этот песок

и воду. Некоторые из английских чиновников, совершавшие после землетрясения полет над этим районом, рассказывали потом, что он напоминал поля сражений в Северной Франции в период войны и вскоре после ее окончания.

Людям пришлось пережить подлинный ужас. Землетрясение началось сдвигом земной поверхности такой силы, что людей сбивало с ног. Затем последовали вертикальные толчки и послышалось страшное, все заглушающее грохотанье, похожее на артиллерийскую канонаду или на шум сотен авиамоторов; вода хлынула из бесчисленных огромных расщелин и кратеров и покрыла землю слоем в десять-двенадцать футов. Это продолжалось минуты три или несколько больше, а затем все утихло, но эти три минуты были ужасны. Неудивительно, что многие очевидцы землетрясения вообразили, будто наступил конец света. В городах ко всему этому еще прибавлялся грохот рушащихся зданий, потоки воды и облака пыли, настолько густые, что на расстоянии всего нескольких ярдов уже невозможно было ничего различить. В сельских районах не было таких скоплений пыли и радиус видимости был немного больше, но там некому было наблюдать картину катастрофы: оставшиеся в живых неподвижно лежали ничком или катались по земле, охваченные ужасом.

Кажется, в Музаффарпуре во время раскопок руин был найден двенадцатилетний мальчик; он был еще жив, хотя после землетрясения прошло десять дней. Мальчик был крайне удивлен, увидев людей: когда его сбilo с ног и он оказался заживо погребенным под руинами дома, он решил, что наступил конец света и только ему одному удалось избежать гибели.

В том же городе в минуты землетрясения, когда рушились дома и повсюду гибли сотни людей, на свет появился еще один человек — родилась девочка. Неопытные молодые родители не знали, что им делать, и буквально обезумели: однако, как я узнал впоследствии, и мать и дочь благополучно пережили катастрофу и теперь чувствовали себя хорошо. По случаю землетрясения младенца назвали Кампо Деви.

Конечным пунктом нашего путешествия был город Монгхир. За свою поездку мы покрыли довольно большое расстояние и почти достигли границ Непала; при этом мы видели немало душераздирающих картин и уже стали привыкать к виду этих развалин и разрушений на громадных пространствах. Но когда мы прибыли в Монгхир, мы были потрясены и содрогнулись от ужаса: когда-то красивый город был полностью разрушен. Этой страшной картины мне не забыть никогда.

На всей территории, пострадавшей от землетрясения, к нашему огорчению, мы не обнаружили ни в городе, ни в деревне никаких признаков самодеятельности. Пожалуй, наиболее виноваты в этом средние слои населения. Они ждали, что кто-нибудь со стороны окажет им помощь — либо правительство, либо

благотворительные общества. Те же, кто предлагал свои услуги, считали, что их работа заключается только в том, чтобы командовать людьми. Частично эта беспомощность объяснялась, конечно, нервным потрясением от пережитого ужаса, от которого люди уже постепенно оправляются.

Полной противоположностью этому состоянию апатии были энергия и подъем у большого числа людей, прибывших для оказания помощи из других мест Бихара и из других провинций. Было радостно наблюдать, каким энтузиазмом охвачены были прибывшие юноши и девушки. Несмотря на то, что в районе действовало несколько организаций помощи, между ними было установлено полное взаимодействие.

В Монгхире я попытался личным примером побудить местное население принять участие в очистке города и разборке разрушенных зданий. Я решил на это с некоторым колебанием, но моя инициатива увенчалась полным успехом. Все руководители организаций помощи вышли с лопатами и корзинами, и мы работали весь день. Во время раскопок мы извлекли труп девочки. В тот же день я уехал из Монгхира, но работы по раскопкам продолжались, и к работающим присоединилось много местных жителей. Результаты были хорошие.

Самой важной из благотворительных организаций по оказанию помощи пострадавшим был Центральный комитет помощи, руководителем которого был Раджендра Прасад. Комитет не был чисто конгрессистской организацией. Он стал всеиндийской организацией, в которой были представлены различные группы населения и благотворители. Большим преимуществом комитета перед другими организациями было то обстоятельство, что в сельских районах он имел опору в лице Конгресса. В провинции Бихар, как ни в одной другой провинции (разве только еще в Гуджарате да в некоторых округах Соединенных провинций), члены Конгресса были очень тесно связаны с крестьянством. Фактически большинство членов Конгресса, занятых на работе по оказанию помощи, сами были выходцами из крестьян. Бихар является преимущественно аграрной провинцией Индии, и даже средние слои ее населения тесно связаны с крестьянством. Когда я был секретарем Конгресса, мне приходилось иногда приезжать сюда и проверять работу Бихарского провинциального комитета Конгресса и я довольно резко критиковал работников комитета за неумение работать и за беспорядок, царивший в их помещении. Я заметил, что там предпочитали сидеть в тех случаях, когда нужно было стоять, и лежать, когда лучше было сидеть. В рабочих кабинетах комитета многого не хватало. Хуже оборудованных помещений, чем у них, я не встречал: они пытались обойтись без многих самых обычных канцелярских принадлежностей. Однако, несмотря на то, что я критиковал эту организацию, я хорошо знал, что в глазах руководства Конгресса это одна из самых серьезных и

преданных организаций в стране. Конгресс не афишировал себя в провинции, но он пользовался там полной поддержкой крестьянства. Даже в Исполнительном комитете Конгресса представители от Бихара при решении каких-либо вопросов редко выступали против политики руководства. Создавалось такое впечатление, что бихарские делегаты несколько удивлены тем, что оказались в этом комитете. Но в обеих кампаниях гражданского неповиновения Бихар показал себя великолепно. Даже в проводившейся затем кампании индивидуального гражданского неповиновения Бихар действовал активно.

Комитет по оказанию помощи опирался на поддержку прекрасной бихарской организации Конгресса и через нее нашел путь к крестьянству: никто, кроме этой организации, даже правительство, не мог бы оказать комитету более эффективной помощи. К тому же как комитет по оказанию помощи, так и бихарскую организацию Конгресса возглавлял Раджендра Бабу, общепризнанный лидер Бихара. Раджендра Бабу — типичный сын бихарской земли. Его можно принять за обыкновенного крестьянина, и в первый момент он покажется вам невзрачным, но стоит вам увидеть открытый, серьезный взгляд его глаз — и вы уже никогда не забудете их. Казалось, на вас смотрит сама правда, и вы никогда не усомнитесь в них. В своем мировоззрении он, как и все крестьяне, пожалуй, несколько ограничен, неискусен в политике, если брать это слово в современном понимании, но его выдающиеся способности, замечательная прямота, энергия и преданность делу освобождения Индии — это те черты его характера, которые завоевали ему любовь не только в его провинции, но и во всей Индии.

Ни в одной провинции Индии нет человека, который был бы таким общепризнанным руководителем, каким является Раджендра Бабу в Бихаре. Едва ли в Индии найдется даже несколько человек, о которых можно было бы сказать, что они более глубоко прониклись существом учения Гандиджи, чем Бабу.

Нам очень повезло, что для руководства спасательными работами в Бихаре нашелся такой человек, как Раджендра Бабу. Доверие к этому человеку помогло нам собрать по всей Индии большие суммы денег в фонд помощи. Несмотря на плохое здоровье, Бабу весь отдался организации помощи пострадавшим. Он совершенно забыл об отдыхе, так как возглавил всю эту деятельность и каждый шел к нему за советом.

Во время поездки по районам землетрясения или непосредственно перед этим я прочитал заявление Гандиджи, которое поразило меня. Он писал, что землетрясение послано людям в наказание за грех неприкасаемости. Это действительно было нечто поразительное, и я приветствовал ответ, который дал ему Рабиндранат Тагор, и был полностью согласен с ним. Трудно даже представить себе что-либо более противоречащее научному мировоззрению. Пожалуй, даже наука не будет сейчас

абсолютно догматичной в вопросах о влиянии эмоциональных состояний и психических явлений на материю. Психические потрясения могут привести к несварению желудка или к чему-нибудь худшему. Но высказать мысль, что обычан или несоблюдение их могут привести к движению земной коры,—это нечто достойное изумления. Представления о грехе и наказании господнем, а также о связи между поведением человека и явлениями во вселенной — все это возвращает к временам, отделенным от нас несколькими сотнями лет, когда в Европе свирепствовала инквизиция, которая сожгла Джордано Бруно за его ученую ересь и отправила на костер не одну ведьму! Даже в XVIII веке влиятельные бостонские богослужители в Америке утверждали, что землетрясение в Массачусетсе ниспослано как наказание за оскорбление бога установкой громоотводов.

Но если землетрясение — наказание божие за грехи, то как мы узнаем, за какой грех ниспослано это наказание? Увы, у нас много грехов, за которые мы должны ответить. Каждый человек может по-своему объяснить, за что он наказан: так, может быть, мы наказаны за то, что подчинились иностранному владычеству; или за то, что примирились с несправедливыми социальными порядками. Махараджа Дарбханги, владелец огромных поместий, в материальном отношении оказался одним из наиболее пострадавших от землетрясения. Мы могли бы с тем же основанием сказать, что землетрясение — наказание за систему заминдари. И это было бы ближе к истине, чем утверждение, что невинный народ Бихара страдает за грехи народов Южной Индии, придерживающихся обычаев о неприкасаемости. Почему же землетрясение не произошло на той территории, где проживают неприкасаемые? Английское правительство, например, могло бы объявить постигшее народ бедствие наказанием всевышнего за гражданское неповиновение, так как Северный Бихар, более других пострадавший от землетрясения, играл главную роль в движении за свободу.

Мы могли бы в этом духе продолжать и дальше перечисление грехов. Но, если согласиться с подобным объяснением, возникает вопрос: зачем же нам вмешиваться в деяния провидения и пытаться ослабить эффект его божественных законов своими гуманными стремлениями? Нас удивляет, почему провидению понадобилось сыграть с нами эту жестокую шутку, сделать нас такими несовершенными, окружить нас ловушками и западнями, сотворить мир несчастным и жестоким, сотворить тигра и ягненка и затем наказывать нас.

Когда уронят копьа звезды,
Омыв слезами небосклон,
Дерзнет ли улыбнуться Он?
Дерзнет ли Тот, кем агнец создан,
Создать тебя?

Последний вечер в Патне я до позднего времени сидел со многими своими друзьями и товарищами, которые съехались сюда из различных провинций, чтобы предложить свои услуги по оказанию помощи. Среди них было много представителей Конгресса от Соединенных провинций. Мы обсуждали вопрос, который беспокоил нас: сколько времени мы будем участвовать в деятельности по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения? Было ясно, что на какой-то период мы должны выключиться из политической деятельности. Вопросы организации помощи требовали постоянного внимания, и мы не могли заниматься ими от случая к случаю. Но эта работа могла надолго отвлечь нас от политической деятельности, а это плохо отразилось бы на нашей политической работе в провинции. Хотя в провинции было много конгрессистов, но число настоящих, активных работников было всегда ограничено и их трудно было оторвать от дела. С другой стороны, мы не могли уклониться от участия в ликвидации последствий землетрясения. Лично я не намеревался целиком и полностью посвятить свое время только этому. Я знал, что недостатка в людях для участия в работе по оказанию помощи не будет, охотников же заняться более рискованной работой было немного.

Мы просидели за разговорами до поздней ночи. В беседе был затронут вопрос и о проведении Дня независимости, и об обстоятельствах ареста некоторых товарищей, и о том, как нам удалось избежать их участи. В шутку я сказал, что открыл секрет, как вести активную политическую деятельность, оставаясь в полной безопасности.

11 февраля я вернулся домой в Аллахабад, чувствуя себя совершенно разбитым от усталости. После десяти дней напряженной работы мое лицо приобрело мертвенно бледный оттенок, и мой вид напугал родных. Я попробовал сразу же сесть за отчет о поездке для представления его Аллахабадскому комитету помощи пострадавшим, но сон поборол меня и я проспал около двенадцати часов.

На следующий день к вечеру мы с Камалой, выпив чай, вышли на веранду вместе с Пурушоттам Дасом Гандоном, который зашел навестить нас. Тут мы увидели, как к нашему дому подъехала автомашина и из нее вышел офицер полиции. Я сразу понял, что настал мой час, и, подойдя к офицеру полиции, сказал ему: «Бахут динон се апка интазар тха — я давно уже ждал вас». Офицер слегка извиняющимся тоном ответил, что он ни в чем не виноват: ордер на арест был получен из Калькутты. Пять месяцев и тринадцать дней пробыл я на свободе, а теперь меня снова ждало одиночество. Но главная тяжесть падала не на мои плечи; как и всегда бывает, она падала на плечи женщин — моей большой матери, жены и сестры.



ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ



Глава пятьдесят девятая

АЛИПУРСКАЯ ТЮРЬМА

*Как далека уже минута эта?
Неужто мне судил и дальше рок,
Преград не зная, все блуждать по свету,
Как легким ветром сорванный листок,
И дружеской звезды не ведаю привета?*

Роберт Броунинг

В эту же ночь меня перевезли в Калькутту. С вокзала Хауры большая «Черная Мария» доставила меня в Лал-Базарское полицейское управление. Я много читал об этой знаменитой штаб-квартире калькуттской полиции и теперь с интересом оглядывался вокруг. Среди сержантов и инспекторов было много европейцев, гораздо больше, чем можно видеть в любом полицейском управлении в Северной Индии. Почти все констебли были, повидимому, из Бихара или восточных округов Соединенных провинций. Некоторые из этих констеблей сопровождали меня во время моих многочисленных поездок в большой тюремной машине в суд и обратно или из одной тюрьмы в другую. Они выглядели крайне несчастными, испытывали отвращение к своей работе и явно сочувствовали мне. Иногда в глазах у них блестели слезы.

Сначала я был помещен в тюрьму провинции, откуда меня доставили в здание верховного окружного суда, где должно было слушаться мое дело. Это было совсем новое ощущение. Зал суда и само здание больше походили на осажденную крепость, нежели на открытый суд. За исключением нескольких репортеров и обычно присутствующих на суде юристов, никто из посторонних не был допущен и близко к зданию суда; было довольно много полицейских. Эти меры вряд ли были приняты специально для меня — такова была повседневная практика. После того как меня ввели в зал заседаний, мне предстояло пройти по длинному проходу (внутри комнаты), огороженному сверху и с двух сторон проволочной решеткой. Создавалось впечатление, что проходишь сквозь клетку. Скамья подсудимых находилась далеко от кресла судьи. Зал заполнили полицейские и судебские в черных сюртуках и мантиях.

Я достаточно привык к судам. Много раз мои дела слушались на территории самой тюрьмы. Но поблизости всегда были друзья, родственники, знакомые лица, и вся обстановка казалась менее гнетущей. Полиция обычно держалась сзади, и я никогда не видел никаких специальных сооружений наподобие клетки. Здесь все было совершенно иным, и я смотрел на чужие, незнакомые лица людей, с которыми у меня не было ничего общего. Это было не слишком привлекательное собрание. Боюсь, что скопище судейских в мантиях представляет собой мало приятное зрелище, а юристы полицейского суда приобретают какой-то особенно непривлекательный вид. Наконец мне удалось различить в этой черной массе лицо одного знакомого юриста, но он затерялся в толпе.

Даже сидя спаружи на балконе до начала суда, я чувствовал себя очень одиноким. Пульс мой, должно быть, несколько участился, и внутренне я был не так спокоен, как это обычно бывало со мной на предыдущих процессах. Мне пришла в голову мысль, что если даже я, привыкший к судебным процессам и приговорам, не мог нормально реагировать на эту обстановку, то как напряженно должны были чувствовать себя молодые и неопытные люди?

На самой скамье подсудимых я почувствовал себя гораздо лучше. Как обычно, мне не предложили защитника, и я читал краткое заявление. На следующий день, 16 февраля, я был приговорен к двум годам тюрьмы. Началось мое седьмое по счету заключение.

Я не без удовлетворения оглядывался на те пять с половиной месяцев, которые провел на свободе. Это время было использовано довольно хорошо, и мне удалось сделать несколько полезных дел. В состоянии здоровья моей матери наступил перелом к лучшему, и она была вне опасности. Моя младшая сестра Крипина вышла замуж. Вопрос о будущем образовании моей дочери был решен. Я уладил некоторые запутанные семейные и финансовые дела, а также занялся многими личными вопросами, которыми долгое время пренебрегал. Я знал, что в сфере общественной деятельности в то время никто не мог добиться больших результатов. Но я помог несколько укрепить позицию Конгресса и до некоторой степени обратить его внимание на социальные и экономические вопросы. Моя лунская переписка с Гандиджи, а позже—статьи, опубликованные в печати, сыграли свою роль. Мои выступления в печати по религиозно-общинному вопросу также принесли некоторую пользу. Кроме того, я после двух с лишним лет снова встретился с Гаидиджи, а также со многими другими товарищами и друзьями и накопил нервную и эмоциональную энергию на новый период.

Одно облако продолжало омрачать мою душу — состояние здоровья Камалы. В то время я не имел представления о том, насколько серьезно она больна, ибо она имеет привычку дер-

жаться до тех пор, пока силы ей окончательно не изменят. Однако я сильно волновался. И все же я надеялся, что теперь, когда я находился в тюрьме, она сможет как следует заняться своим лечением. Это было труднее, пока я оставался на свободе, так как она не хотела уезжать от меня надолго.

У меня были и другие огорчения. Я сожалел о том, что не посетил хотя бы раз сельские районы Аллахабадского округа. За последнее время за выполнение наших инструкций там было арестовано много моих молодых коллег, и казалось чуть ли не предательством по отношению к ним не побывать у них в округе.

Снова «Черная Мария» увозила меня в тюрьму. По пути мы проезжали мимо многочисленных движущихся колонн войск с пулеметами, броневиками и т. п. Я смотрел на них сквозь крошечные отверстия в нашей тюремной карете. Как уродливы, думал я, броневик и танк. Они напомнили мне допотопных чудовищ — динозавров и им подобных.

Из окружной тюрьмы перевели в Алипурскую центральную тюрьму, где мне отвели небольшую камеру размером десять на девять футов. Снаружи к камере была пристроена веранда, перед ней был небольшой открытый двор. Стена, которой был обнесен двор, была низкой, около семи футов, и, когда я глядел вверх нее, передо мной открывалась необычайная картина. Вокруг высились, загораживая друг друга, всевозможные странные на вид здания — одноэтажные, двухэтажные, круглые, четырехугольные, с причудливыми кровлями. Казалось, что эти здания сооружались поодиночке, как попало — так, чтобы можно было использовать всю наличную площадь. Они даже напоминали не то какую-то головоломку, не то плод фантазии футуриста. Однако мне сказали, что все эти здания построены строго по плану: они размещены по радиусам, расходящимся от башни (это была церковь для заключенных христиан), расположенной в центре участка. Так как это была городская тюрьма, то отведенная ей площадь была весьма значительной и приходилось использовать каждый клочок земли.

Не успел я прийти в себя после первого впечатления от этих фантастических на вид построек, как мне представилось новое устрашающее зрелище. Прямо против моей камеры и двора две трубы испускали густые клубы черного дыма; порой ветер гнал этот дым в мою сторону, и тогда я едва не задыхался. Это были трубы тюремных кухонь. Впоследствии я как-то сказал смотрителю тюрьмы, что для отражения такой атаки не мешало бы иметь противогазы.

Начало было не из приятных, и будущее не сулило ничего хорошего: мне предстояло наслаждаться неизменным зрелищем кирпичных корпусов Алипурской тюрьмы и вдыхать дым ее кухонных труб. В моем дворе не было ни деревьев, ни зелени. Он был мощный и чистый, если не считать ежедневно отлагав-

шейся на нем сажи, но в то же время голый и мрачный. Я мог видеть лишь верхушки одного-двух деревьев, росших в соседних дворах. Когда я прибыл в тюрьму, на них не было ни листьев, ни цветов. Но мало-помалу с ними свершилось таинственное превращение — ветви покрылись маленькими зелеными почками. Из почек появились листья, они быстро росли и скрыли под своей приятной зеленью наготу ветвей. Это было восхитительное превращение, от которого даже Алипурская тюрьма стала выглядеть веселой и радостной.

На одном из этих деревьев было гнездо коршуна, которое заинтересовало меня, и я часто наблюдал за ним. Птенцы росли и учились повадкам взрослых птиц; иногда они быстро, с паразитической точностью бросались вниз и выхватывали хлеб из рук и чуть ли не изо рта заключенных.

Почти от захода и до восхода солнца мы были заперты у себя в камерах, и длинные зимние вечера тянулись томительно долго. Я уставал непрерывно читать или писать и начинал расхаживать по этой маленькой камере: четыре или пять коротких шагов вперед и затем снова назад. Мне вспомнились медведи в зоологическом саду, метавшиеся взад и вперед по своим клеткам. Порой, чувствуя себя особенно усталым, я прибегал к своему излюбленному лекарству, ширшасане — стоянию на голове.

Первые часы ночи были довольно спокойными, и в камеру проникали звуки города — шум трамваев, звук граммофона или чья-нибудь далекая песня. Было приятно слушать эту еле доносившуюся издалека музыку. Но в общем ночью было мало покоя: часовые непрерывно расхаживали взад и вперед, и каждый час производилась какая-нибудь проверка. Один из начальников обходил с фонарем тюрьму, дабы удостовериться, что никто из нас не сбежал. В 3 часа утра, или, вернее, ночи, раздавался страшный грохот и поднимался невероятный скрежет и лязг. Начинали работать кухни.

В Алипурской тюрьме, так же как и в окружной, было очень много тюремщиков, часовых, чиновников, мелких служащих. Обе эти тюрьмы вмещали примерно столько же заключенных, сколько тюрьма Наини — от 2200 до 2300 человек, — но административного персонала здесь было в два с лишним раза больше. Тюремщиками здесь служили многие европейцы и бывшие офицеры индийской армии. Было очевидно, что в Калькутте власть Британской империи проявлялась более интенсивно и обходилась дороже, чем в Сосдиненных провинциях. Символом могущества империи и вечным напоминанием о нем служили слова, которыми заключенные были обязаны встречать высокопоставленных чиновников. Это был протяжный крик «*саркар салам*», сопровождавшийся определенными движениями тела. Голоса заключенных, выкрикивавших эти слова, много раз доносились ко мне через стену, окружавшую мой двор, особенно во время ежедневного обхода смотрителя тюрьмы. Через эту стену я мог

видеть верхушку огромного парадного зонта, под которым шествовал смотритель.

Являлся ли этот необычный крик «саркар салам» и сопровождавшие его движения, размышляя я, пережитком старого времени, или же это плод вдохновения какого-нибудь английского чиновника? Я этого не знаю, но мне кажется, что это было английское изобретение. Он звучал как-то типично по-английски-индийски. К счастью, этот возглас не распространен в тюрьмах Соединенных провинций, как, вероятно, и ни в одной другой провинции, кроме Бенгалии и Ассама. Форма этого вынужденного приветствия могущественному *саркару* казалась мне весьма унижительной.

В Алипуре я с удовольствием отметил одну перемену к лучшему. Пища рядовых заключенных была гораздо лучше, чем рацион в тюрьмах Соединенных провинций, где заключенных кормят хуже, чем во многих других провинциях Индии.

Короткая зима скоро кончилась, промелькнула весна, и наступило лето. Дни становились все жарче. Я никогда не любил калькуттского климата, и мне достаточно было провести здесь несколько дней, как я уже начинал чувствовать себя вялым и разбитым. В тюрьме условия были, конечно, гораздо хуже, и по мере того, как шло время, я чувствовал все больший упадок сил. Отсутствие места для физических упражнений и долгие часы, проводимые взаперти в этом климате, вероятно, сказались на моем здоровье, и я быстро терял в весе. Как я начал ненавидеть все замки, засовы, ограды и стены!

Через месяц мне разрешили выходить на прогулку за пределы моего двора. Это была приятная перемена, и я мог гулять возле главной стены утром и вечером. Постепенно я привык к Алипурской тюрьме и к калькуттскому климату, и даже кухня с ее дымом и страшным грохотом стала терпимой. Другие вопросы занимали мой ум, и другие заботы одолевали меня. Известия, приходившие с воли, были неблагоприятными.

ДЕМОКРАТИЯ НА ВОСТОКЕ И НА ЗАПАДЕ

В Алипуре я с удивлением узнал, что после вынесения приговора мне не разрешат получать ежедневную газету. Находясь под следствием, я получал ежедневную калькуттскую газету «Стейтсмен», но это прекратилось на следующий же день после окончания суда. В Соединенных провинциях с 1932 года заключенным класса А, или первого отделения, было разрешено получать ежедневную газету (по выбору правительства). Такое же положение существовало и в большинстве других провинций, и я был совершенно уверен, что это правило распространяется и на Бенгалию. Однако взамен ежедневной газеты мне начали доставлять еженедельник «Стейтсмен». Он предназначался, очевидно, для английских чиновников в отставке или для деловых людей, вернувшихся в Англию, и содержал такую информацию об Индии, которая могла, вероятно, их интересовать. Иностранной информации там вообще не было, и мне ее очень недоставало, так как я привык внимательно следить за ней. К счастью, мне разрешили получать еженедельник «Манчестер гардиан уикли», и он держал меня в курсе европейских и международных событий.

Мой арест и суд надо мной в феврале по времени совпали с потрясениями и ожесточенными конфликтами в Европе. Франция была охвачена брожением, которое привело к фашистскому выступлению и образованию «национального» правительства. В Австрии — что было гораздо хуже — канцлер Дольфус расстреливал рабочих и разрушал великое здание социал-демократии в этой стране. Известия о кровопролитии в Австрии повергли меня в уныние. Какие ужасные и кровавые события происходили в этом мире и каким варваром становился человек, когда он хотел оградить свои своекорыстные интересы! Фашизм, казалось, наступал по всей Европе и Америке. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, я полагал, что его режим не сможет долго просуществовать, поскольку он не давал Германии выхода из экономических затруднений. Подобным же образом я, видя, как повсюду распространяется фашизм, утешал себя тем, что он представляет собой последнее убежище реакции. После этого оковы будут разбиты. Однако

я начал задумываться, не являются ли эти мысли всего лишь плодом моих желаний. В самом ли деле фашистская волна отхлынет так легко и так быстро? И даже если обстановка станет совершенно неблагоприятной для фашистских диктатур, не предпочтут ли они свергнуть свои страны в опустошительную войну, чтобы только не уступить? Каков будет результат такого конфликта?

Тем временем фашизм всевозможных мастей и форм продолжал распространяться. Испания, эта новая «Республика честных людей» — *los hombres honrados*, — истинный «Манчестер гардиан» среди правительств, как назвал ее кто-то, пошла вспять, погрязнув в реакции. Никакие красивые фразы ее честных либеральных лидеров не помешали ей катиться под уклон. Либерализм повсюду доказывал свою полную неспособность справиться с современным положением. Он цеплялся за слова и фразы, воображая, что они могут заменить действие. А когда наступал кризис, он просто исчезал, подобно последнему кадру какого-нибудь фильма.

Я с глубоким интересом и сочувствием читал статьи «Манчестер гардиан» об австрийской трагедии. «Какого рода Австрия возникнет в результате этой кровопролитной борьбы? Австрия, управляемая с помощью винтовок и пулеметов реакционной кликой в Европе. Но если Англия стоит за свободу, то почему ее премьер-министр так мало сказал по этому поводу? Мы слышали от него похвалу диктатурам. Мы слышали, как он говорил, что они «оживляют душу нации», «раскрывают перед ней новые горизонты и наполняют ее энергией». Но премьер-министру Англии следовало бы сказать что-нибудь и о тираниях в любой стране, которые часто убивают тело, но еще чаще, и притом худшей смертью, — душу».

А если «Манчестер гардиан» стоит за свободу, то почему он так мало говорит, когда эту свободу уничтожают в Индии? Мы также испытываем не только физические страдания, но и гораздо худшие душевные муки.

«Австрийская демократия уничтожена, но она покрыла себя немеркнущей славой, ибо погибла в борьбе, создав тем самым легенду, которая в грядущие годы еще может воспламенить дух европейской свободы».

«В той части Европы, которая потеряла свободу, перестала дышать, нет ни малейшего дуновения освежающей мысли, началось постепенное удушье, и лишь сильные конвульсии или внутренний пароксизм и резкие движения могут предотвратить приближающееся умственное оцепенение... От Рейна до Урала вся Европа представляет собой одну большую тюрьму».

Волнующие слова, которые нашли отклик в моей душе. Но я размышлял. А как же Индия? Как могут «Манчестер гардиан» или многочисленные друзья свободы, которые, несо-

менно, существуют в Англии, забывать о нашей участи? Как они могут не видеть у нас того, что с таким пылом клеймят в других странах? Двадцать лет назад, накануне великой войны, один известный английский либерал, человек спокойного темперамента, воспитанный в традициях XIX века, весьма сдержанный в своих заявлениях, сказал: «Чем быть молчаливым свидетелем трагического торжества силы над законом, я предпочел бы, чтобы наша страна была вычеркнута со страниц истории». Смелая, красноречиво выраженная мысль, и миллионы мужественных молодых англичан пошли отстаивать ее справедливость. Но какая судьба ждет индеец, если он осмелится сделать заявление, подобное этому заявлению Асквита?

Национальная психология — явление сложное. Большинство из нас мнит себя справедливыми и беспристрастными; неправым всегда оказывается другой человек, другая страна. Где-то в глубине души у нас живет уверенность, что мы не такие, как все прочие; существует разница, которую хорошее воспитание обычно не позволяет нам подчеркивать. А если нам к тому же выпало счастье принадлежать к господствующей нации, вершащей судьбы других стран, то тогда трудно не уверовать в то, что все к лучшему в этом лучшем из миров и что те, кто добивается перемен, являются либо корыстолюбцами, либо обманутыми глупцами, не чувствующими благодарности за все полученные от нас благодеяния.

Англичане — нация, страдающая национальными предрасудками; успех и процветание, которые сопутствовали им в течение длительного времени, приучили их смотреть свысока почти на всех остальных. Для них, как сказал кто-то, «*les nègres commencent à Calais*»¹.

Но это слишком общее заявление. Вероятно, высшие классы английского общества разделили бы весь мир примерно следующим образом: 1) Англия, затем на большом расстоянии от нее 2) Британские доминионы (только белое население) и Америка (только англо-саксы, а не итальянцы, португальцы и т. п.), 3) Западная Европа, 4) остальная Европа, 5) Южная Америка (латинские расы), далее опять на большом расстоянии 6) коричневые, желтые и черные расы Азии и Африки, смешанные в одну кучу.

Как далеки мы, принадлежащие к последней из этих групп, от тех высот, на которых живут наши правители! Надо ли удивляться после этого, что, глядя в нашу сторону, они лишь смутно различают нас и что их раздражают наши разговоры о демократии и свободе? Эти слова предназначены не для нашего употребления. Разве видный либеральный государственный деятель Джон Морли не сказал, что он не представляет себе демократические институты в Индии даже в отдаленном туман-

¹ «Негры начинаются в Кале» (фр.).

ном будущем? Демократия, подобно канадской меховой шубе, не годилась для индийского климата. А позже английские лейбористы, эти знаменосцы социализма и поборники прав угнетенных, осчастливили нас в разгар своего триумфа возрождением в 1924 году специального указа о Бенгалии, а во время их вторичного пребывания у власти наша участь стала еще хуже. Я совершенно уверен, что никто из них не желает нам зла, и когда они обращаются к нам со своим выпрепленным воззванием: «Горячо возлюбленные братья»,— их согревает сознание собственной добродетели. Но в их глазах мы — люди иной породы, и к нам нужно подходить с другими мерками. Англичанину и французу довольно трудно мыслить одинаково в силу языковых и культурных различий; насколько же больше должна быть разница между англичанином и азиатом?

Недавно палата лордов обсуждала вопрос о реформах в Индии, и благородные лорды произнесли много весьма показательных речей. Среди них была речь бывшего губернатора одной индийской провинции лорда Литтона, который одно время являлся вице-королем. О нем часто говорили как о либеральном и отзывчивом губернаторе. Как сообщают, он заявил¹, что «английское правительство в Индии гораздо лучше представляло Индию в целом, нежели конгрессиистские политики. Английское правительство в Индии могло говорить от имени чиновников, армии, полиции, князей, действующих войск, а также от мусульман и индусов, в то время как конгрессиистские политики не были в состоянии выступать даже от имени какой-либо одной из крупных индийских общин». Далее он пояснил свою мысль: «Когда я говорю об индийском общественном мнении, я имею в виду тех, на чье сотрудничество мне приходилось полагаться и на чье сотрудничество придется полагаться будущим губернаторам и вице-королям».

Из этой речи вытекают два весьма интересных обстоятельства: 1) во внимание принимается только та часть населения Индии, которая помогает англичанам; 2) английское правительство в Индии является самым представительным, а потому и самым демократическим органом в стране. Тот факт, что такой довод выдвигается серьезно, свидетельствует о том, что по другую сторону Суэцкого канала английские слова, видимо, меняют свой смысл. Далее, повидимому, следует сделать вывод, что самой представительной и демократической формой правления является автократия, ибо король представляет всех. Мы возвращаемся к божественному праву королей и к «l'état c'est moi!»²

Собственно, даже автократия в ее чистом виде недавно обрела выдающегося защитника. Губернатор Соединенных про-

¹ В палате лордов 17 декабря 1934 года.

² «Государство — это я» (фр.).

винций сэр Малькольм Хейли, сие украшение Индийской гражданской службы, выступая 5 ноября 1934 года в Бенаресе, ратовал за сохранение автократического режима в индийских княжествах. Вряд ли такой совет был нужен, ибо, вероятно, ни одно индийское княжество не расстанется с автократией по доброй воле. Интересным явлением была попытка оградить эту автократию под тем предлогом, что демократия терпит крах в Европе. Диван княжества Майсур сэр Мирза Измаил выразил «удивление по поводу того, что некоторые ратуют за радикальные реформы, в то время как парламентская демократия повсюду приходит в упадок. Я уверен, что совесть княжества чувствует, что наша нынешняя конституция практически достаточно демократична»¹. «Совесть» Майсура представляет собой, вероятно, метафизическую абстракцию, под которой разумеется сам правитель и его диван. Демократия, которая господствует в настоящее время в Майсуре, ничем не отличается от автократии.

Если демократия не годится для Индии, то, видимо, она столь же непригодна и для Египта. Я только что прочел в «Стейтсмен»² (ибо теперь, в этой тюрьме, я получаю эту ежедневную газету) пространное сообщение из Каира. Оказывается, премьер Нассим-паша «вызвал в ответственных кругах немалую тревогу своим заявлением о том, что он надеется добиться сотрудничества политических партий, особенно партии Вафд, и созвать национальную конференцию или провести выборы в учредительное собрание — в том и в другом случае для выработки новой конституции. В конечном счете это может означать лишь... возвращение к режиму народного демократического правительства, установление которого, как показывает история, всегда было гибельным для Египта, ибо в прошлом оно всегда потакало худшим страстям толпы... Ни один человек, сколько-нибудь знакомый с внутренним механизмом египетской политики и с египетским народом, ни на минуту не усомнится в том, что в результате выборов большинство голосов снова получит партия Вафд. Поэтому, если ничего не будет предпринято для предотвращения подобного хода событий, нам в скором времени снова навяжут ультрадемократический революционный режим, враждебный всему иностранному».

Высказывается мнение, что во время выборов «в противовес влиянию партии Вафд» следовало бы применить административный нажим, но, к несчастью, у премьера «слишком юридический ум», чтобы сделать что-либо подобное. Нам говорят, что остается лишь один путь: Уайтхолл должен вмешаться и «дать понять, что он не потерпит возвращения подобного режима».

¹ Майсур, 21 июня 1934 года, см. также примечание на стр. 552.

² От 19 декабря 1934 года.

Я не знаю, какие шаги может или не может предпринять Уайтхолл и что произойдет в Египте¹. Но этот довод, выдвинутый, надо думать, свободолюбивым англичанином, помогает нам понять некоторые сложности ситуации, создавшейся в Египте и в Индии. Как указывает «Стейтсмен» в своей передовой статье, «корень зла заключается в том, что образ жизни и умонастроения рядового египетского избирателя не созвучны тому образу жизни и умонастроениям, из которых вырастает демократия». Это отсутствие созвучия иллюстрируется затем следующим примером: «В Европе демократия часто гибла из-за слишком большого количества партий; в Египте трудность состоит в том, что там имеется лишь одна партия — Вафд».

В Индии нам говорят, что наше деление по религиозно-общинному признаку стоит на пути нашего демократического развития, а потому — в силу поистине железной логики — это деление увековечивается. Кроме того, нам говорят, что мы недостаточно едины. В Египте нет деления на религиозные общины и царит, повидимому, полнейшее политическое единство. Однако это самое единство становится преградой на пути демократии и свободы! Воистину путь демократии прям и узок. Демократия для восточной страны может означать, очевидно, лишь одно: выполнять веления правящей империалистической державы и не затрагивать ни один из ее интересов. Лишь при этом условии демократические свободы могут существовать беспрепятственно.

¹ В ноябре 1935 года в Египте вспыхнули политические волнения, направленные против английской оккупации.

Глава шестьдесят первая

УНЫНИЕ

*Усталый, жажду я коснуться головой
Земли, покрытой нежною травой.
О маты! Не возратить уж грез былых
Дитяти, сникшему в тоске у ног твоих.*

Наступил апрель. В мою камеру в Алипуре проникали слухи о событиях за стенами тюрьмы, это были неприятные и тревожные слухи. Смотритель тюрьмы сообщил мне как-то мимоходом, что Ганди отменил кампанию гражданского неповиновения. Больше я ничего не знал. Известия были неприятные, и я испытывал грусть при мысли о свертывании движения, которое столько значило для меня в течение многих лет. И все же я убеждал самого себя, что конец должен был наступить. В глубине души я знал, что рано или поздно движение гражданского неповиновения придется свернуть, по крайней мере временно. Отдельные лица в состоянии держаться почти бесконечно, независимо от того, каковы будут последствия, но национальные организации не могут поступать подобным образом. Я не сомневался в том, что Гандиджи правильно истолковал настроения страны и огромного большинства конгрессистов, и старался примириться с новым оборотом дел, каким бы неприятным он ни был.

До меня также дошли слухи о новых шагах, предпринятых с целью возродить старую партию свараджистов, чтобы пройти в законодательные органы. Это опять-таки казалось неизбежным, и я давно придерживался того мнения, что Конгресс не мог остаться в стороне от будущих выборов. В течение пяти месяцев, проведенных мною на свободе, я стремился противостоять этой тенденции, ибо считал ее преждевременной и полагал, что это может отвлечь внимание как от прямых действий, так и от развития новых идей о социальном преобразовании, зарождавшихся в рядах Конгресса. Чем затяжнее окажется кризис, думал я, тем шире распространятся эти идеи среди масс нашего народа и интеллигенции и тем скорее будут вскрыты действительные причины нашего экономического и политического положения. Ленин где-то сказал: «Всякий и каж-

дый политический кризис полезен, ибо он раскрывает то, что было скрыто; выявляет действительные силы, вовлеченные в политику; разоблачает ложь, обманчивые фразы и вымысел; всесторонне показывает факты и заставляет народ понять действительное положение вещей». Я надеялся, что этот процесс превратит Конгресс в сплоченную организацию с более ясными взглядами, преследующую определенную цель. Вероятно, при этом из его рядов вышли бы некоторые более слабые элементы, но это не было бы потерей. А когда пришло бы время положить конец даже теоретическим прямым действиям и вернуться к так называемым конституционным и законным методам, передовое и действительно активное крыло Конгресса использовало бы даже эти методы в более широком плане в интересах достижения нашей конечной цели.

Это время, очевидно, наступило. Но я обнаружил, к своему огорчению, что люди, бывшие в Конгрессе главной опорой движения гражданского неповиновения и эффективной деятельности, отступают на задний план, а верх берут другие, которые не играли такой роли.

Спустя несколько дней я получил еженедельник «Стейтсмен» и в нем прочел заявление, сделанное Гандиджи в связи с отменой кампании гражданского неповиновения. Я прочел его с удивлением и унынием. Я перечитывал его снова и снова, и мысли о движении гражданского неповиновения и о многом другом исчезли из моего ума, его заполнили иные сомнения и противоречия. «Это заявление,— писал Гандиджи,— навеяно личной беседой с членами и участниками Сатьяграха-ашрама... Точнее, это результат тех сведений, которые я получил в ходе беседы об одном уважаемом давнишнем коллеге, который не захотел выполнить до конца свою миссию и пойти добровольно в тюрьму, предпочитая порученной ему задаче свои личные дела. Это, несомненно, противоречило правилам сатьяграхи. Это показало мне не столько несовершенство друга, которого я любил, сколько — яснее, чем когда-либо,— мои собственные недостатки. По словам этого друга, он полагал, что я знаю о его слабости. Я был слеп. Слепота лидера непростительна. Я сразу понял, что на время я должен остаться единственным действующим представителем движения гражданского сопротивления».

Несовершенство или вина «друга» — если только это было виной — было делом весьма незначительным. Признаюсь, что я часто бывал повинен в этом и не чувствую ни малейшего раскаяния. Допустим даже, что здесь затрагивался серьезный вопрос, но разве можно было из-за ошибок одного человека приостанавливать широкое национальное движение, охватывающее непосредственно десятки тысяч и косвенно — миллионы людей? Это казалось мне чудовищным и безнравственным. Я не дерзаю говорить о том, что отвечает и что не отвечает

принципам сатьяграхи, но я старался в меру своих сил держаться определенных норм поведения, а заявление Гандиджи потрясло и опрокинуло все эти нормы. Я знал, что Гандиджи обычно действует интуитивно (я предпочитаю называть это интуицией, а не «внутренним голосом» или ответом на молитву) и что очень часто эта интуиция бывает правильной. Он не раз доказывал, что обладает замечательным даром чувствовать настроения масс и действовать в соответствующий психологический момент. Доводы, которые он приводит потом в оправдание своих действий, обычно являются плодом его позднейших размышлений и редко бывают достаточно убедительными. В период кризиса лидер или человек действия почти всегда поступает подсознательно, а затем уже обдумывает причины своих действий. Я чувствовал также, что Гандиджи поступил правильно, приостановив кампанию гражданского сопротивления. Но причина, которую он привел, казалась мне оскорбительной и весьма странной в устах лидера национального движения. Он имел полное право обращаться со своими товарищами по ашраму как ему заблагорассудится; они дали всевозможные клятвы и согласились на определенные условия. Но Конгресс этого не делал, не делал этого и я. Почему же нас нужно было швырять из стороны в сторону по мотивам, характер которых казался мне метафизическим и мистическим и которыми я не интересовался? Мыслимо ли было какое-либо политическое движение на подобной основе? Я добровольно принял моральный аспект движения сатьяграхи в том виде, как я его понимал (признаюсь, что в известных пределах). Этот основной аспект импонировал мне и, казалось, поднимал политику на более высокий и более благородный уровень. Я был готов согласиться с тем, что цель не оправдывает любые средства. Но это новое обстоятельство или толкование было чем-то гораздо более серьезным и тайло в себе некоторые возможности, которые пугали меня.

Все заявление в целом крайне пугало и угнетало меня. К тому же в заключение он советовал конгрессистам «познать искусство и красоту самоотречения и добровольной бедности. Они должны посвятить себя делу созидания нации; распространению кхаддара, лично занимаясь для этого ручным прядением и ткачеством; распространению идеи духовного единства членов всех общин посредством безупречного поведения по отношению друг к другу во всех случаях жизни; изгнанию в самом себе неприкасаемости во всех ее проявлениях и формах; распространению полного воздержания от алкогольных напитков и наркотиков посредством личного общения с отдельными наркоманами и посредством поддержания личной чистоты. Это позволит жить так, как живут бедняки. Те же, для кого такая жизнь невозможна, должны найти себе место на небольших неорганизованных предприятиях национального

значения, которые предоставляют более высокую заработную плату».

Такова была политическая программа, которой нам надлежало следовать. Нас с ним, казалось, разделяла пропасть. Внезапно я ощутил с острой болью, что узы верности, столь долго привязывавшие меня к нему, порвались. В душе моей уже давно шла упорная борьба. Многие из того, что делал Гандиджи, я не понимал или не одобрял. Все угнетало меня: его воздержание от пищи и то внимание, которое он уделял другим проблемам в то время, когда кампания гражданского неповиновения еще продолжалась и его товарищи вели тяжелую борьбу; затруднения, которые он сам себе создавал и из-за которых оказался в столь странном положении, что, будучи на свободе, он все же связал себя словом не принимать участия в политическом движении; его новые связи и обязательства, которые отодвигали на задний план — хотя борьба была еще не окончена — старые связи, обязательства и деятельность, предпринятую им совместно с многими коллегами. Во время своего недолгого пребывания на свободе я острее, чем когда-либо, ощущал эти и другие разногласия. Гандиджи говорил, что у нас разные темпераменты. Пожалуй, дело было не в одном темпераменте; я сознавал, что по многим вопросам у меня имеется ясная и определенная точка зрения, противоположная его взглядам. Однако в прошлом я старался по мере возможности подчинять их тому, что считал более важным, — делу национальной свободы, во имя которой, повидимому, и действовал Конгресс. Я старался быть лояльным и верным по отношению к своему лидеру и своим коллегам, ибо верность делу и товарищам занимает большое место в моем духовном мире. Много раз я вел борьбу с самим собой, чувствуя, что меня тянут в сторону от той точки опоры, на которой покоится моя духовная вера. Каким-то образом мне удавалось приходиться к компромиссу. Возможно, я поступал неправильно, ибо никто не должен терять эту опору. Но при этом столкновении идеалов я хотел сохранить верность своим коллегам и надеялся, что ход событий и развитие нашей борьбы, возможно, устранят смущавшие меня трудности и приблизят моих коллег к моей точке зрения.

А как же теперь? Внезапно я почувствовал себя очень одиноким в этой камере Алипурской тюрьмы. Жизнь казалась мрачной и тоскливой пустыней отчаяния. Я познал в то время самый тяжелый и мучительный из всех усвоенных мною тяжелых уроков: ни в одном жизненно важном вопросе нельзя ни на кого полагаться. Человек должен совершать свое жизненное странствие один; полагаться на других — значит разбивать себе сердце.

Часть накопившегося у меня раздражения обратилась против религии и религиозного мировоззрения. Насколько враж-

добна, думал я, религия ясному мышлению и целеустремленности, ибо разве она не основывается на эмоциях и страстях? Претендуя на духовность, она в то же время очень далека от истинной духовности и всего духовного. Мысля понятиями иного мира, она плохо понимает человеческие и социальные ценности и социальную справедливость. В силу своих предвзятых понятий она умышленно закрывает глаза на действительность из-за страха, что эта действительность может и не отвечать им. Она основывается на истине и столь уверена в том, что открыла эту истину — и притом истину во всей ее полноте, — что не дает себе труда искать ее; она беспокоится лишь о том, чтобы внушать другим эту истину. Желание познать истину — это совсем не то, что желание верить. Религия говорит о мире и одновременно с этим поддерживает системы и организации, которые не могут существовать без насилия. Она осуждает насилие меча, но что можно сказать о насилии, которое подкрадывается тихо, зачастую в мирном обличье и обрекает на голод и убивает или, что еще хуже, не напося никаких телесных повреждений, оскорбляет разум, гнетет дух и разбивает сердце?

Затем я возвращался к мыслям о том, кто был причиной этого смятения в моей душе. Какой удивительный человек Гандиджи с его поразительным и почти неотразимым обаянием и духовной властью над людьми! То, что он писал и говорил, не дает представления о нем как о человеке; как личность он гораздо более велик, чем это можно думать на основании его высказываний. А сколь огромны были его заслуги перед Индией! Он вдохнул мужество и храбрость в ее народ, сделал его дисциплинированным, стойким и способным радостно жертвовать собой во имя общего дела и, при всей его скромности, придал ему гордость. Мужество, говорил он, единственная надежная основа характера. Без мужества нет ни нравственности, ни религии, ни любви. «Человек не может придерживаться истины или любить до тех пор, пока он находится во власти страха». При всем своем отвращении к насилию он говорил нам, что «трусость еще гнуснее насилия». А «дисциплинированность является залогом и гарантией того, что человек относится к делу серьезно. Без самопожертвования, дисциплинированности и самообладания не может быть ни избавления, ни надежды. Одно только самопожертвование без дисциплинированности было бы бесполезным». Быть может, это лишь слова и благочестивые, несколько банальные фразы, но за этими словами скрывается сила, и Индия знает, что этот маленький человек относился к своему делу серьезно.

Он — ярчайший представитель всей Индии и выразитель самого духа этой древней многострадальной страны. Он почти олицетворяет Индию, и даже его недостатки — это недостатки Индии. Неуважение к нему вряд ли касается только его, это

оскорбление всей нации. Вице-короли и другие лица, которые позволяют себе подобные пренебрежительные жесты, плохо понимают, какие опасные семена они сеют. Мне вспоминается, как я был огорчен, узнав, что папа отказался дать аудиенцию Гандиджи, когда тот возвращался в декабре 1931 года с Конференции круглого стола. Этот отказ казался мне оскорблением Индии, и не может быть никакого сомнения в том, что отказ был преднамеренным, хотя, вероятно, при этом не имелось в виду кого-либо оскорбить. Католическая церковь не одобряет святых, или махатм, вне своего пантеона, а поскольку некоторые деятели протестантской церкви называли Гандиджи великим человеком религии и истинным христианином, Рим почувствовал тем большую необходимость отмежеваться от этой ереси.

Примерно в это же время, в апреле 1934 года, я прочел в Алипурской тюрьме новые пьесы Бернарда Шоу. Особенно мне понравилось его предисловие к «On the Rocks», где приводится спор между Христом и Пилатом. Мне кажется, что в нем заключен смысл, не потерявший своего значения и в наше время, когда другая империя противостоит человеку другой религии. «А я говорю вам,— обращается в этом предисловии Христос к Пилату,— изгоните страх. Не говорите мне больше суетных слов о величии Рима. Величие Рима, как вы его называете, это лишь страх — страх перед прошлым и страх перед будущим; страх перед бедными; страх перед богатыми; страх перед верховными жрецами; страх перед иудеями и греками, которые являются учеными; страх перед галлами, готами и гуннами, которые являются варварами; страх перед Карфагеном, который вы уничтожили, чтобы избавиться от страха перед ним, и ныне — худший чем когда-либо страх перед величественным кесарем, этим идолом, которого вы сами себе сотворили, и страх передо мной, нищим скитальцем, мишенью издевок и насмешек; страх перед всем, кроме власти бога; вера только в кровь, железо и золото. Вы, стоящий за Рим, всего страшитесь,— я, стоящий за царство божие, все презрел, все потерял и стяжал вечный венец».

Но речь шла не о величии Гандиджи или его заслугах перед Индией и не о том, что я лично обязан ему очень многим. Несмотря на все это, он мог быть безнадежно неправым во многих вопросах. К чему он в конечном счете стремился? Несмотря на мое теснейшее сотрудничество с ним в течение многих лет, у меня нет ясного представления о его целях. Я сомневаюсь, ясно ли он представляет их сам. Мне достаточно одного шага, говорит он, и он не старается заглянуть в будущее или иметь перед собой ясно сформулированную цель. Позаботьтесь о средствах, а цель сама позаботится о себе — вот что он никогда не устает повторять. Будьте добродетельны в своей личной жизни, а все остальное приложится. Это не политическая

и не научная и, пожалуй, даже не этическая позиция. Ее характер узко моралистический, и она вызывает вопрос о том, что такое добродетель. Является ли добродетель лишь индивидуальной категорией, или же это категория социальная? Гандиджи делает основной упор на характер и придает мало значения воспитанию и развитию интеллекта. Интеллект без характера, вероятно, опасен, но что такое характер без интеллекта? Как, собственно, развивается характер? Гандиджи сравнивают со средневековыми христианскими святыми, и многое из того, что он говорит, видимо, подтверждает обоснованность такого сравнения. Но это совершенно не отвечает опыту и методу современной психологии.

Но как бы то ни было, отсутствие ясной цели представляется мне фактом, достойным сожаления. Действия могут быть эффективными лишь в том случае, если они направлены к ясно осознанным целям. Жизнь не всегда развивается по законам логики, и эти цели придется время от времени менять, чтобы согласовать их с ней, но какую-то ясную цель всегда следует иметь перед собой.

Мне думается, что Гандиджи не столь уж смутно представляет себе цель, как это иногда кажется. Он страстно жаждет идти в определенном направлении, но это направление целиком расходится с современными идеями и условиями, и до сих пор он не мог увязать одно с другим или вычеркнуть все промежуточные стадии, ведущие к этой цели. Отсюда и эта расплывчатость и стремление избежать ясности. Но его общие склонности были достаточно ясны в течение четверти века, с тех самых пор, как он начал формулировать свою философию в Южной Африке. Я не знаю, отражают ли эти ранние произведения его нынешние взгляды. Я сомневаюсь, что это относится ко всем его произведениям, однако они помогают нам понять подоплеку его мышления.

«Спасение Индии,— писал он в 1909 году,— заключается в том, чтобы выкинуть из головы все, чему она научилась за последние пятьдесят лет. Железные дороги, телеграф, больницы, адвокаты, врачи и тому подобное — все это должно исчезнуть, и так называемые высшие классы должны научиться с полным сознанием, религиозным убеждением и твердым намерением жить простой крестьянской жизнью и понять, что это и есть жизнь, дающая истинное счастье». И далее: «Каждый раз, когда я вхожу в железнодорожный вагон или в автобус, я знаю, что насилую себя и делаю то, что считаю неправильным». «Пытаться преобразовать мир средствами крайне искусственного и быстрого передвижения — значит пытаться осуществить невозможное».

Все это представляется мне совершенно неверной и вредной доктриной, которую невозможно претворить в жизнь. За этим кроется любовь Гандиджи к бедности, страданиям и аскетич-

ческой жизни, которые он превозносит. Для него прогресс и цивилизация заключаются не в увеличении потребностей или повышении уровня жизни, а «в сознательном и добровольном ограничении потребностей, которое дает истинное счастье и удовлетворение и увеличивает способность служить обществу». Если только принять эти положения, будет легко проследить за ходом развития остальных мыслей Гандиджи и составить более ясное представление о его деятельности. По большинство из нас не приемлет этих положений, и, тем не менее, мы жалуемся, когда его деятельность приходится нам не по душе.

Мне лично не нравится, когда превозносят бедность и страдания. Я вовсе не считаю их желательными и полагаю, что их следовало бы уничтожить. Не признаю я и аскетической жизни как социального идеала, хотя она может устраивать отдельных лиц. Я понимаю и ценю простоту, равенство, сдержанность, но не умерщвление плоти. Я считаю, что ум и привычки нужно тренировать и держать под контролем точно так же, как, скажем, спортсмену необходимо тренировать свое тело. Было бы нелепо ожидать, что человек, чрезмерно потворствующий своим желаниям, сможет выносить сильные страдания, выказывать необычайное самообладание или вести себя, как герой, в момент кризиса. Хорошее моральное состояние требует, по меньшей мере, такой же тренировки, какая нужна для того, чтобы поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Но это, несомненно, не означает аскетизма или умерщвления плоти.

Я также совсем не понимаю тех, кто идеализирует «простую крестьянскую жизнь». Я питаю к ней чуть ли не отвращение, и вместо того, чтобы терпеть ее самому, хочу вытащить из нее даже крестьянство — не для урбанизации его, а для распространения на сельские районы тех культурных возможностей, которые дает город. Такая жизнь не только не дала бы мне истинного счастья, но была бы для меня едва ли лучше тюремного заключения. Что можно идеализировать в «человеке с мотыгой»? Придавленный и эксплуатируемый на протяжении жизни бесчисленных поколений, он недалеко ушел от животных, в обществе которых он живет.

Кто сотворил его глухим к восторгам и слезам,
Тварью, не знающей надежд, бесчувственной к страстям,
В покорной тупости с быком угрюмым схожим?

Это желание уйти от разума человека к первобытному состоянию, в котором разум не играет никакой роли, кажется мне совершенно непонятным. То, что составляет славу и торжество человека, осуждается и отрицается, а материальные условия, угнетающие разум и прпятствующие его росту, считаются желательными. Современной цивилизации сопутствует много дурного, но в ней также много и положительного; к тому же ей присуща способность избавляться от этого дурного. Уничтожить

ее всю целиком — значит отнять у нее эту способность и вернуться к монотонному, сумрачному и жалкому существованию. Но будь это даже желательным, это совершенно неосуществимо. Мы не можем остановить поток изменений или остаться в стороне от него, а в психологическом отношении мы, вкушившие от райского яблока, не можем забыть его вкуса и вернуться к примитивному существованию.

На этот счет трудно спорить, ибо эти две точки зрения совершенно различны. Гандиджи всегда подходит к вопросу с точки зрения личного спасения и греха, тогда как большинство из нас имеет прежде всего в виду благосостояние общества. Я с трудом улавливаю идею греха и, быть может, именно поэтому не могу принять общие воззрения Гандиджи. Если он стремится изменить общество или общественный строй, он посвящает себя делу искоренения греха у отдельных лиц. «Последователь свадешти,— писал он,— никогда не берется за непосильную задачу преобразования мира, ибо он считает, что миром движут и всегда будут двигать законы, установленные богом». Однако сам Гандиджи достаточно настойчив в своих попытках преобразовать мир; но преобразование, к которому он стремится,— это преобразование индивидуума, победа над чувствами и над желанием потворствовать этим чувствам, ибо последнее является грехом. Вероятно, он согласится с определением свободы, которое дал один католический автор, писавший о фашизме: «Свобода есть не что иное, как свобода от уз греха». Как это перекликается со словами лондонского списка, написанными двести лет назад: «Свобода, которую дает христианство,— это свобода от уз греха и сатаны, свобода от власти вождельний, страстей и необузданных желаний человека».

Если исходить из этой точки зрения, то станет понятным до некоторой степени и отношение Гандиджи к вопросам пола, каким бы странным оно ни казалось в наши дни обыкновенным людям. Для него «всякое совокупление является преступлением, если при этом отсутствует желание произвести потомство», а «применение противозачаточных средств должно привести к слабости и нервной протрации». «Пытаться избежать последствий собственных поступков — неправильно и безнравственно... Плохо потворствовать своему аппетиту, а потом избегать последствий этого, прибегая к укрепляющим средствам и другим лекарствам. Еще хуже предаваться своим животным страстям и избегать последствий своих поступков».

Я лично нахожу эти взгляды противостественными и шокирующими, и если Гандиджи прав, то, значит, я преступник, стоящий на грани слабоумия и нервной протрации. Католики также энергично возражали против противозачаточных средств, но они не доходили в своей аргументации до логических пределов, как это сделал Гандиджи. Они приспособлялись к тому,

что считали человеческой природой, и шли на компромисс с нею¹. Но Гандиджи развил свой довод до крайних пределов и не признает законности или необходимости полового акта когда бы то ни было, если при этом не имеется в виду рождение детей; он отказывается признавать какое-либо естественное половое влечение между мужчиной и женщиной. «Мне говорят,— заявляет он,— что это недостижимый идеал, что я не принимаю во внимание естественное влечение между мужчиной и женщиной. Я отказываюсь верить, что половое влечение, на которое здесь ссылаются, может вообще считаться естественным; в этом случае нам следовало бы ожидать вскоре всемирного потопа. Естественное влечение между мужчиной и женщиной — это влечение между братом и сестрой, матерью и сыном или отцом и дочерью. Именно на этом естественном влечении держится мир». И даже еще более подчеркнуто: «Нет, я должен заявить со всей силой, на какую я способен, что половое влечение, даже между мужем и женой, является противоестественным».

В наше время эдипова комплекса, Фрейда и распространения психоаналитических идей подобное категорическое выражение убеждений кажется странным и непонятным. Его можно либо принять как акт веры, либо отвергнуть. Половинчатого решения быть не может, ибо это вопрос не разума, а веры. Я, со своей стороны, полагаю, что Гандиджи совершенно неправ в этом вопросе. Его совет может быть применим лишь в некоторых случаях, но, будучи принят в качестве общего принципа, он может привести лишь к расстройству, торможению, неврозу и всевозможным физическим и нервным заболеваниям. Половая воздержанность, несомненно, желательна, но я сомневаюсь, чтобы доктрина Гандиджи способствовала распространению этого в сколько-нибудь широком масштабе. У него она доведена до крайности, и большинство людей видят, что им это не под силу, и будут вести себя, как обычно, или же между мужем и женой начнутся трения. Очевидно, Гандиджи считает, что применение противозачаточных средств обязательно влечет за собой половую распущенность и что, если признать допустимость полового влечения между мужчиной и женщиной, каждый мужчина будет бегать за каждой женщиной, и наоборот. Ни то, ни другое мнение не является оправданным, и я не знаю, почему он так одержим проблемой пола, какой бы важной она ни была. В данном вопросе для него существует либо черное, либо белое и нет никаких промежуточных оттенков. В обоих

¹ Папа Пий XI в своей энциклике о «Христианском браке», выпущенной 31 декабря 1931 года, заявляет: «Не следует считать, что люди, состоящие в браке, поступают вопреки естественному порядку, если они пользуются своими правами естественно и разумно, хотя бы при этом в силу обстоятельств времени или какого-то дефекта и не могла возникнуть новая жизнь». Под этими «обстоятельствами времени» имеется, очевидно, в виду так называемый «безопасный период», когда зачатие не является вероятным.

случаях он занимает крайнюю позицию, которая кажется мне в высшей степени абсурдной и противоестественной. Может быть, это реакция на поток литературы по вопросам пола, низвергающийся на нас в настоящее время. Я смею считать себя нормальным человеком, и половой вопрос играл свою роль в моей жизни, хотя я никогда не был им одержим и он никогда не отвлекал меня от моей деятельности. Этот вопрос играл подчиненную роль.

В сущности взгляд Гандиджи — это взгляд аскета, который отвернулся от мира и его обычаев, который огрицает жизнь и считает ее злом. Для аскета это естественно, но кажется искусственным распространять подобную доктрину на обыкновенных мужчин и женщин, приемлющих жизнь и старающихся взять от нее как можно больше. При этом, избегая одного зла, он мирится со многими другими и притом худшими.

Я немного увлекся другими вопросами, но в те печальные дни пребывания в Алипурской тюрьме все эти мысли теснились у меня в голове не в логическом порядке или чередовании, а в дикой сумятице, которая смущала и угнетала меня. А над всем этим превалировало чувство одиночества и уныния, усиливаемое душливой атмосферой тюрьмы и моей маленькой уединенной камеры. Если бы я находился на свободе, потрясение прошло бы быстрее и я скорее приспособился бы к новым условиям и нашел облегчение в выражении своих чувств и в действии. В стенах тюрьмы такого облегчения не было, и я провел несколько тяжелых дней. К счастью для себя, я обладаю гибкой натурой и быстро оправляюсь от приступов пессимизма. Я начал преодолевать свою депрессию, а затем у меня состоялось в тюрьме свидание с Камалой. Это очень ободрило меня, и чувство изолированности исчезло. Что бы ни случилось, я знал, что мы принадлежим друг другу.

Глава шестьдесят вторая

ПАРАДОКСЫ

Люди, не знакомые лично с Гандиджи и лишь читавшие его произведения, склонны думать, что он напоминает собою угрюмого кальвинистского проповедника с вытянутым лицом и крайне пуританскими взглядами, нечто вроде «священника в черной рясе, совершающего свой обход». Однако несправедливо судить о нем по его произведениям. В действительности он более велик, нежели то, что он пишет; и поэтому не совсем честно цитировать то, что он написал, и критиковать это. Он — прямая противоположность кальвинистским проповедникам. У него чудесная улыбка и заразительный смех, его лицо излучает беззаботное веселье. В нем есть что-то детское, исполненное обаяния. Входя в комнату, он как бы вносит с собой дуновение свежего ветерка, которое очищает атмосферу.

Он необычайно парадоксален. Мне думается, что в известной степени таковы все выдающиеся люди. Много лет я ломал себе голову над следующей проблемой: почему при всей своей любви к обездоленным и заботе о них он все же поддерживает систему, которая неизбежно приводит к существованию обездоленных и к их угнетению; почему при всей своей страстной приверженности к ненасилию он защищает политический и социальный строй, целиком основанный на насилии и принуждении? Быть может, неправильно говорить, что он защищает такую систему: в философском отношении он более или менее анархист. Но поскольку до идеального анархистского государства еще слишком далеко и его не так-то легко себе представить, он приемлет нынешний порядок. Мне думается, что когда он по своему обыкновению возражает против применения насилия для осуществления каких-либо изменений, то тут дело совсем не в средствах. Совершенно независимо от методов, к которым следует прибегнуть, чтобы изменить существующий строй, нужно поставить себе какую-то идеальную цель, нечто осуществимое в недалеком будущем.

Иногда он называет себя социалистом, но он вкладывает в это слово особый смысл, почти или совсем не связанный с экономической структурой общества, которая обычно именуется социализмом. Следуя его примеру, некоторые видные конгресси-

сты также стали употреблять это слово, смутно разумея под ним некий пуганый гуманизм. Употребляя столь расплывчатую политическую терминологию, они грешат не один, а в весьма выдающемся обществе, ибо они лишь берут пример с премьер-министра английского национального правительства¹. Я знаю, что Гандиджи знаком с этим предметом, ибо он прочел много книг по экономике, социализму и даже марксизму и обсуждал их с другими. Но я все больше убеждаюсь в том, что в жизненно важных вопросах разум сам по себе мало что может сделать. «Если только этого не хочет ваше сердце,— говорил Уильям Джеймс,— ваша голова ни за что не заставит вас поверить». Эмоции определяют общее мировоззрение и контролируют разум. Наши диспуты, носят ли они религиозный, политический, или экономический характер, в действительности основаны на эмоциях и инстинкте. Как сказал Шопенгауэр, «человек может делать, что он хочет, но не может хотеть так, как он хочет».

В Гандиджи произошла огромная перемена в первый период его пребывания в Южной Африке. Эта перемена сильно потрясла его и изменила все его взгляды на жизнь. С тех пор у него имеется твердая основа для всех его идей, и его ум вряд ли можно назвать непредубежденным. Он с величайшим терпением и вниманием выслушивает людей, которые высказывают ему новые мысли, но при этом создается впечатление, что, несмотря на проявляемый им вежливый интерес, собеседник как бы наталкивается на закрытую дверь. Он настолько твердо держится некоторых убеждений, что все остальное представляется ему неважным. Наставать на других и притом второстепенных вопросах — значит отвлекаться от более широкой схемы и исказить ее. Если мы будем держаться за этот якорь, то это неизбежно приведет к соответствующему урегулированию и остальных вопросов. Если средства правильны, цель непременно будет правильной.

Такова, мне думается, главная подоплека его мышления. Он с подозрением относится также и к социализму и, в частности, к марксизму, поскольку они связаны с применением насилия. Уже сами слова «классовая борьба» дышат конфликтом и насилием и поэтому отталкивают его. Он не стремится и к тому, чтобы поднять жизненный уровень масс выше определенного, весьма скромного предела, ибо высокий уровень жизни и праздность могут привести к потворству своим желаниям и к греху. Уже достаточно плохо то, что горстка богачей потворст-

¹ Рамсей Макдональд заявил в своем послании съезду Федерации консервативных и юнионистских ассоциаций, состоявшемуся в Эдинбурге в январе 1935 года: «Трудности современного периода делают объединение и концентрацию необходимыми для каждого народа. Это и есть истинный социализм, а также и истинный национализм и, если на то пошло, истинный индивидуализм».

вует своим страстям, но было бы гораздо хуже, если бы число богачей увеличилось. Примерно такой вывод можно сделать из письма, написанного им в 1926 году. Это был ответ на письмо, полученное им из Англии во время большого локаута или забастовки на угольных шахтах. Его корреспондент выдвигал довод, что горняки потерпят поражение в борьбе, ибо их слишком много, и поэтому им следует пользоваться противозачаточными средствами и таким образом ограничить свою численность. В своем ответе Гандиджи, в частности, заявил: «Наконец, если шахтовладельцы не правы и все-таки победят, это произойдет не потому, что шахтеры чрезмерно размножаются, а потому, что шахтеры не научились воздержанности во всех отношениях. Не будь у шахтеров детей, у них не было бы стимула к улучшению своего положения и они не имели бы веских оснований требовать увеличения заработной платы. Разве должны они пить, играть в азартные игры, курить? Можно ли считать ответом на этот вопрос, если мы скажем, что шахтовладельцы делают все это и, тем не менее, занимают господствующее положение? Если шахтеры не претендуют на то, что они лучше капиталистов, то имеют ли они право требовать, чтобы мир отнесся к ним сочувственно? Не значит ли это умножать число капиталистов и укреплять капитализм? нас призывают уважать демократию на том основании, что с ее воцарением мир станет лучше. Не будем воспроизводить в огромном масштабе те самые бедствия, которые мы хотим приписать капиталисту и капитализму»¹.

Когда я читал это письмо, передо мной вставали голодные и изможденные лица английских горняков, их жен и детей, какими я видел их летом 1926 года, когда они, беспомощные, достойные сострадания, вели борьбу против угнетавшей их чудовищной системы. Факты, приводимые Гандиджи, не совсем правильны, ибо горняки не требовали повышения заработной платы: они боролись против ее сокращения и были уволены. Но сейчас мы не будем обращать на это внимание. Оставим в стороне и вопрос о применении горняками противозачаточных средств, хотя это, пожалуй, несколько своеобразный способ устранения конфликтов в промышленности. Я процитировал ответ Гандиджи лишь для того, чтобы было легче понять его взгляды на трудовые вопросы и на обычное требование о повышении уровня жизни рабочих. Эти взгляды предельно далеки как от социалистических, так и, в сущности, от капиталистических воззрений. На него не производит особого впечатления тот довод, что современная наука и промышленная техника могут обеспечить каждому пищу, одежду и кров и намного поднять жизненный уровень при условии, если этому не будут

¹ Это письмо цитируется в книге M. K. Handu, *Self-Restraint vs. Self-Indulgence*.

мешать привилегированные группы, ибо он не стремится к достижению таких результатов далее известного предела. Поэтому социализм не привлекает его, а капитализм является терпимым лишь в той мере, в какой он ограничивает это зло. Ему не нравятся ни то, ни другое, но он мирится сейчас с капитализмом как с меньшим злом и как с явлением, которое существует и на которое ему приходится обращать внимание.

Быть может, я не прав, приписывая ему подобные идеи, однако я считаю, что его мысль движется именно в этом направлении и что смущающие нас парадоксы и путаница в его высказываниях в действительности объясняются тем, что он исходит из совершенно иных посылок. Он не хочет, чтобы люди сделали своим идеалом все увеличивающийся комфорт и досуг. Ему хотелось бы, чтобы они думали о нравственной жизни, отказались от дурных привычек, все меньше потворствовали своим желаниям и таким образом развивались в индивидуальном и духовном отношении. Те же, кто хочет служить массам, должны не столько поднимать их материальный уровень, сколько опускаться до их уровня и общаться с ними, как с равными. Попутно они неизбежно помогут несколько поднять уровень масс. Это, по его мнению, и является истинной демократией. «Многие потеряли надежду противостоять мне,— пишет он в заявлении, опубликованном 17 сентября 1934 года.— Для меня, прирожденного демократа, это унижительное откровение. Я называю себя так, если только полное отождествление с беднейшими людьми, стремление жить не лучше их и соответствующие сознательные усилия приблизиться в меру своих сил к этому уровню дают право сделать такое заявление».

С таким доводом и взглядом не согласится, вероятно, ни один современный демократ — будь то капиталист или социалист,— разве лишь в той части, что нам не подобает сторониться масс и выставлять напоказ свою роскошь и гораздо более высокий уровень жизни в то время, когда подавляющее большинство людей нуждается даже в самом необходимом. Но человек, придерживающийся старых религиозных взглядов, возможно, в известной степени согласится с этим, ибо оба они эмоционально связаны с прошлым и всегда подходят ко всему с мерками этого прошлого. Они больше думают о том, что было в прошлом, нежели о том, что есть или будет. Между психологическим тяготением к прошлому и таким же тяготением к будущему лежит целая пропасть. В старом мире было трудно думать о подятии материального уровня масс. Бедняки существовали всегда. В то время горстка богачей являлась существенной частью социальной структуры, они были необходимы в системе производства. Поэтому моралист, реформатор и восприимчивый человек мирились с их существованием, но в то же время старались внушить им понятие о долге по отношению к нуждающимся братьям. Им надлежало быть попечителями бед-

ных. Они должны были быть милосердными. Милосердие стало одной из основных добродетелей, предписываемых религиями. Гандиджи неизменно делает упор на эту идею опеки, осуществляемой феодальным князем, крупным помещиком, капиталистом. Он идет по стопам ряда религиозных деятелей. Папа заявил, что «богатые должны смотреть на себя как на слуг всемогущего, а также как на хранителей и распределителей его богатства, которым сам Иисус Христос вручил судьбу бедных». Народная форма индуизма, а также ислам повторяют эту мысль, всегда призывая богатых быть милосердными, и богатые откликаются на этот призыв, воздвигая храмы, мечети, *дхармашалы* или уделяя беднякам от своего избытка медяки и серебро и чувствуя себя поэтому весьма добродетельными.

В известной энциклике папы Льва XIII «*Retum Novatum*», изданной в мае 1891 года, есть весьма любопытное место, ярко иллюстрирующее эту религиозную точку зрения старого мира. Продолжая развивать свои доводы в связи с новыми, возникшими с ростом промышленности условиями, папа заявляет:

«Поэтому участь человечества — страдать и терпеть; как бы ни бились люди, никакая сила и никакие ухищрения никогда не изгонят из человеческой жизни одолевающие ее беды и заботы. И если находятся такие, которые говорят иное и сулят измученным людям избавление от страданий и забот, невозмутимый покой и постоянное наслаждение, то они обманывают людей, вводят их в заблуждение, а их лживые посулы лишь еще больше усугубят зло. Полезнее всего видеть мир таким, каков он есть в действительности, и в то же время искать в другом месте лекарства от его бедствий».

Далее нам говорят, где находится это «другое место»: «Земное нельзя понять или правильно оценить, не принимая во внимание будущей жизни, той жизни, которая будет длиться вечно... Великая истина, которую мы познаём от самой природы, является также и главной христианской догмой, на которой зиждется религия и которая гласит, что, когда мы окончим свою земную жизнь, мы действительно начнем жить. Бог сотворил нас не для бранных и преходящих земных вещей, а для вещей небесных и вечных, он дал нам мир как место изгнания, а не как нашу истинную родину. Денги и все прочее, что люди считают хорошим и желанным, мы можем иметь в избытке или не иметь вовсе: для вечного блаженства это не имеет никакого значения...»

Подобные религиозные взгляды связаны с давно ушедшим миром, в котором единственно возможным убежищем от невзгод настоящего была надежда на будущий мир. Но хотя условия изменились и рост материального благосостояния человечества превзошел самые смелые мечты прошлого, власть этого прошлого сохранилась, причем ныне упор делается на некие туманные, неизмеримые духовные ценности. Католики огляды-

ваются на XII и XIII века — тот самый период, который другие называют мрачным средневековьем, — как на золотой век христианства, когда святые преуспевали, христианские власти предпринимали крестовые походы и повсюду вырастали готические храмы. По их словам, это была эпоха «истинной христианской демократии, которая осуществлялась в ту пору под контролем средневековых гильдий более полно, чем когда-либо до или после этого». Мусульмане с тоской оглядываются на «демократию ислама» времен первых халифов и на одержанные ими удивительные победы. Индусы думают то же самое о ведическом и эпическом периодах и мечтают о *Рама радже*. Однако вся история говорит нам, что в те минувшие времена широко массы народа жили в крайней нищете, голодали и нуждались в самом необходимом. Небольшая верхушка, располагавшая средствами и свободным временем, возможно, и вела духовную жизнь, но что касается других, то трудно представить себе, чтобы они занимались чем-либо, кроме добывания средств к существованию. Для голодающего человека культурный и духовный рост является чем-то в высшей степени недостижимым, его мысли будут обращены к пище и к тому, как добыть ее.

Промышленная эпоха принесла много бедствий, которые принимают угрожающие размеры, но мы склонны забывать, что если взять весь мир в целом и особенно те его части, которые наиболее развиты в промышленном отношении, то надо признать, что эта эпоха заложила основу материального благосостояния, значительно облегчающего для многих культурный и духовный прогресс. Это не столь очевидно в Индии или других колониальных странах, ибо мы мало что выиграли от индустриализации. Мы лишь подвергались эксплуатации и во многих отношениях стали жить хуже даже материально, а тем более культурно и духовно. Но здесь вина не индустриализации, а иностранного господства. Так называемая европеизация в Индии фактически временно укрепила феодализм и вместо того, чтобы разрешить какие-либо из наших проблем, попросту усугубила их.

Это наше несчастье, и мы не должны позволять, чтобы оно отражалось на наших взглядах на весь современный мир. Ибо в современных условиях богатый человек уже не является необходимым или целесообразным элементом системы производства или общества в целом. Он лишний и всегда будет помехой. А прежняя обязанность духовенства требовать от богатых милосердия, а от бедных покорности, благодарности за свою участь, бережливости и хорошего поведения уже утратила свой смысл. Людские ресурсы колоссально выросли, и теперь люди могут приступить к решению мировых проблем. Многие из богатых стали явно паразитическими элементами, а существование паразитического класса не только является помехой, но и влечет за собой в огромной степени бесплодную трату этих

ресурсов. Данный класс и порождающая его система, по существу, тормозят работу и производство и поощряют беззаботность на обоих концах лестницы — как тех, кто живет за счет труда других, так и тех, кто не имеет работы и голодает. Сам Гандиджи писал не так давно:

«Единственная приемлемая форма, в которой бог рискует являться голодающим и праздным людям,— это работа и пища в качестве вознаграждения за труд. Бог сотворил человека для того, чтобы он трудился ради пищи, и сказал, что те, кто ест, не работая, — воры».

Пытаться понять сложные проблемы современного мира с помощью старых методов и формул, созданных в то время, когда эти проблемы не существовали, и использовать по отношению к ним устаревшие выражения — значит создавать путаницу и обрекать себя на неудачу. Сама идея частной собственности, которая кажется некоторым одним из основных понятий, существующих в мире, непрерывно меняется. Рабы были некогда собственностью, то же самое можно сказать о женщинах и детях, о принадлежавшем сеньору праве первой ночи, о дорогах, храмах, парках, мостах, предприятиях общественного пользования, воздухе и земле. Животные до сих пор являются собственностью, хотя во многих странах закон ограничил права владельцев. Во время войны происходит постоянное нарушение прав собственности. В наши дни собственность становится все более неосязаемой — таковыми являются обладание акциями, некоторой суммой на текущем счете и т. д. По мере того как понятие собственности меняется, государство начинает все больше вмешиваться в эту область, а под давлением общественного мнения проводится законодательное ограничение ничем не контролируемых прав собственников. Всевозможные большие налоги, носящие характер конфискации, урезают права частной собственности в интересах общественного блага. Общественное благо становится основой государственной политики, и человек не имеет права действовать вопреки этому благу даже для того, чтобы защитить свои права на собственность. В конечном счете огромное большинство людей не имело в прошлом прав собственности, они сами были собственностью, принадлежавшей другим. Даже сейчас такие права имеются у очень немногих. Мы много слышим о частных интересах. Ныне появились новые «частные» интересы, с которыми приходится считаться,— стремление каждого мужчины и женщины жить, трудиться и пользоваться плодами труда. Из-за того, что эти концепции меняются, собственность и капитал не исчезают, они расплываются, и власть над другими людьми, которую давала немногим концентрация этих благ, возвращается к обществу в целом.

Гандиджи стремится к внутреннему, нравственному и духовному совершенствованию личности и через это к изменению

внешней среды. Он хочет, чтобы люди отказались от дурных привычек, перестали потворствовать своим желанием и очистились. Он делает упор на половое воздержание, на отказ от алкогольных напитков, курения и т. п. Люди могут расходиться во мнениях насчет того, насколько порочна та или иная из этих привычек, но можно ли сомневаться в том, что даже с индивидуальной точки зрения, а тем более с социальной эти личные недостатки менее вредны, нежели алчность, эгоизм, стяжательство, яростные конфликты между отдельными людьми из-за личных выгод, безжалостная борьба групп и классов, бесчеловечное угнетение и эксплуатация одной группы людей другой, ужасные войны между нациями? Разумеется, Гандиджи ненавидит все это насилие и конфликты. Но разве они не присущи современному обществу, основанному на стяжательстве, обществу, которое возвело в закон положение, гласящее, что сильные должны терзать слабых, и сделало своим девизом старый принцип: «те, у кого есть сила, должны брать, а те, кто может, должны удерживать»? В наши дни стремление к прибыли неизбежно приводит к конфликту. Вся система в целом защищает хищнические инстинкты человека и предоставляет все возможности для их проявления; она поощряет, несомненно, и некоторые более благородные инстинкты, но гораздо больше — низменные инстинкты человека. Добиться успеха — это значит сбить с ног других и взобраться на их поверженные тела. Если эти стремления поощряются обществом и притягивают к себе большую часть нашего народа, то неужели Гандиджи думает, что ему удастся достичь в такой среде осуществления своего идеала — нравственного человека. Он хочет развить дух служения; это ему удастся в отношении некоторых, но до тех пор, пока общество считает образцом тех, кто вышел победителем на поприще стяжательства, а главной движущей силой признает стремление к прибыли, огромное большинство людей будет следовать этим путем.

Но данная проблема уже не является только моральной или этической. Это практическая и насущная проблема современности, ибо мир погряз в безнадежном хаосе, и какой-то выход нужно найти. Мы не можем ждать, подобно Микоберу, пока что-нибудь подвернется. Не можем мы жить и одним отрицанием, критикуя дурные стороны капитализма, социализма, коммунизма и т. д. и смутно надеясь на золотую середину, которая позволит прийти к счастливому компромиссу, сочетающему лучшие черты всех систем, старых и новых. Нужно поставить диагноз болезни, назначить лечение и проводить его в жизнь. Совершенно ясно, что ни в национальном, ни в международном отношении мы не можем оставаться в прежнем положении; мы можем попытаться вернуться назад или двигаться вперед. Вероятно, в этом вопросе нет выбора, ибо возвращение назад представляется немыслимым.

Однако многое из того, что делает Гаидиджи, может навести на мысль, что он хочет вернуться к самой узкой автаркии, не только к самообеспеченной нации, но и чуть ли не к самообеспеченной деревне. В примитивных обществах деревня была более или менее самообеспеченной, она кормила, одевала себя и удовлетворяла другие свои потребности. Это неизбежно означает крайне низкий уровень жизни. Я не думаю, чтобы Гаидиджи постоянно стремился к подобной цели, ибо она недостижима. В некоторых странах колоссальное население не смогло бы в настоящее время даже существовать на такой основе, оно не потерпело бы возврата к лишениям и полуголодной жизни. Мне думается, что в такой аграрной стране, как Индия, развитие крестьянской промышленности, возможно, несколько улучшило бы положение масс, — настолько низок у нас в настоящее время жизненный уровень населения. Но мы, как и любая другая страна, связаны с остальным миром, и мне кажется совершенно невозможным порвать эти связи. Поэтому мы должны мыслить в масштабе всего мира, а в этом случае узкая автаркия полностью исключается. Я лично считаю ее нежелательной со всех точек зрения.

Мы неизбежно приходим к единственно возможному решению — установлению социалистического строя сначала в национальных границах, а в конечном счете во всем мире, с контролируемым производством и распределением богатств в интересах общества. Как этого добиться — вопрос другой, но ясно, что благо нации или человечества не должно страдать оттого, что некоторые люди, которым выгоден существующий порядок, противятся подобному изменению. Если на пути такого изменения стоят политические или социальные институты, их необходимо устранить. Идти на компромисс с ними за счет этого желаемого и осуществимого идеала значило бы совершить тяжкую измену. Такое изменение может отчасти быть навязано или ускорено международными событиями, но оно вряд ли возможно без добровольного или молчаливого согласия огромного большинства заинтересованных людей. Поэтому их необходимо убедить и заручиться их поддержкой. Насилие небольшой группы заговорщиков не поможет делу. Разумеется, нужно постараться привлечь даже тех, кому выгодна существующая система, но кажется почти невероятным, чтобы удалось убедить сколько-нибудь значительный процент этих людей.

Движение за внедрение кхадди, то есть ручного прядения и ручного ткачества, которые пользуются особой любовью Гаидиджи, способствует усилению индивидуализма в производстве и ведет, таким образом, к возврату к доиндустриальной эпохе. Оно не может считаться серьезным решением какой-либо жизненно важной современной проблемы, к тому же оно порождает настроения, которые могут стать препятствием для раз-

вития в правильном направлении. Тем не менее я убежден, что как временная мера оно принесло свою пользу и, вероятно, будет полезным еще в течение некоторого времени, до тех пор пока государство само не найдет правильного решения аграрных и промышленных проблем в масштабе всей страны. В Индии существует огромное число незарегистрированных безработных и даже еще большее число частично безработных в сельских районах страны. Государство не предпринимает никаких попыток бороться с безработицей или как-то помочь безработным. Экономически кхадхи несколько помогло этим полностью и частично безработным, оно подняло их уважение к себе и придало им некоторую уверенность. Наиболее заметным был, собственно, психологический результат. Движение за внедрение кхадхи пыталось, не без некоторого успеха, перебросить мост через пропасть, отделяющую город от деревни. Оно сблизило буржуазную интеллигенцию и крестьянство. Одежда оказывает заметный психологический эффект как на того, кто ее носит, так и на остальную публику, и то, что средние классы стали носить простую дмотканную белую одежду, привело к росту простоты, уменьшению пошлости и показной роскоши и породило чувство единства с массами. Низшие слои средних классов уже не старались подражать в одежде богатым классам и не чувствовали себя униженными из-за того, что носили более дешевое платье. Они испытывали не только чувство собственного достоинства, но и некоторого превосходства над теми, кто все еще шеголял в шелках и атласе. Даже беднейшие слои населения чувствовали в какой-то степени это достоинство и самоуважение. В большом собрании людей, одетых в дмотканную одежду, было трудно отличить богатых от бедных, и это укрепляло дух товарищества. Кхадхи, несомненно, помогло Конгрессу сблизиться с массами. Оно стало мундиром национальной свободы.

Движение за внедрение кхадхи обуздывало также постоянную тенденцию фабрикантов поднимать цены на свои товары. В прошлом в Индии этих фабрикантов сдерживала только иностранная конкуренция, особенно конкуренция Ланкашира. Всякий раз, когда эта конкуренция прекращалась, как, например, во время мировой войны, цены на текстиль в Индии непомерно вздувались, и индийские фирмы наживали огромные деньги. Впоследствии движение свадеши и бойкот иностранных тканей также очень помогли этим фирмам, но развитие кхадхи оказывало сдерживающее влияние, и цены не могли уже подниматься так высоко, как это могло бы случиться в иных условиях. Собственно, фабриканты играли на настроении народа (то же самое делала и Япония), выпуская грубые ткани, которые почти нельзя было отличить от дмотканых. Теперь же в случае войны или других подобных чрезвычайных обстоятельств, которые приводят к прекращению ввоза иностранных тканей, ин-

дийские фабриканты вряд ли смогут эксплуатировать потребителей так, как они это делали после 1914 года. Этому помешает движение кхадхи, и надо сказать, что организациям кхадхи присуща способность к быстрому распространению.

Несмотря на все эти положительные результаты, к которым ведет в настоящее время движение кхадхи в Индии, оно кажется мне все же делом временным. Правда, оно в конечном счете может продолжаться и в будущем в качестве вспомогательного движения, облегчающего переход к более высокой экономике. Но главной тенденцией в будущем должна быть полная перестройка аграрной системы и рост промышленности. Ни паллиативные мероприятия в области земельной реформы, ни множество комиссий, обходящихся в миллионы рупий и предлагающих ничтожные изменения в надстройке, не принесут ни малейшей пользы. Существующая у нас система землевладения рухнет на наших глазах, она является помехой производству, распределению и сколько-нибудь рациональным широким операциям. Только коренная перестройка этой системы, которая положит конец мелкому землевладению и внедрит организованные коллективные и кооперативные способы ведения хозяйства, значительно повысив таким образом производительность при гораздо меньшей затрате труда, будет отвечать современным условиям. Земледелие не поглотит и не может поглотить все население нашей страны, а ведение хозяйства в крупных масштабах уменьшит (как опасается Гандиджи) число рабочих, требующихся для обработки земли. Остальные будут использованы, возможно частично, в мелкой промышленности, но главным образом в крупной социализированной промышленности и на коммунальных предприятиях.

Во многих районах кхадхи, несомненно, принесло некоторую пользу, но сам этот успех чреват некоторой опасностью, ибо кхадхи поддерживает приходящую в упадок систему землевладения и соответственно задерживает переход к лучшей системе. Подобное влияние кхадхи недостаточно сильно, чтобы бросаться в глаза, но такая тенденция существует. Доля продукции, получаемой с земли арендатором или мелким землевладельцем, уже не позволяет ему держаться даже на том очень низком уровне, которого он достиг. Ему приходится пополнять свой скудный доход побочными заработками или же, что он обычно и делает, залезать в новые долги, чтобы выплатить арендную плату или земельный налог. Таким образом, этот дополнительный доход крестьянина помогает помещику или государству реализовать их долю, что в противном случае они, возможно, были бы не в состоянии сделать. Если этот побочный доход достаточно существенен, он будет, вероятно, поглощен в конечном счете возросшей арендной платой. При нынешней системе большая часть дополнительного труда арендатора и его старания быть бережливым в конце концов пойдут на пользу

помещику. Насколько мне помнится, Генри Джордж касался этого вопроса в своей книге «Progress and Poverty» и приводил пример, особенно из жизни крестьян Ирландии.

Попытка Гандиджи возродить крестьянскую промышленность представляет собой расширение его программы движения за распространение кхадн. Это принесет непосредственную пользу, в некоторой своей части более или менее постоянную, но в большинстве случаев временную. Оно несколько облегчит нынешнее бедственное положение крестьянина и возродит некоторые художественные и культурные ценности, грозившие захиреть. Но в качестве бунта против машин и индустриализации данное движение не будет иметь успеха. В статье о крестьянской промышленности, опубликованной недавно в «Хариджане», Гандиджи пишет: «Механизация хороша, когда не хватает рук для той работы, которую намечено выполнить. Она является злом, если рук больше, чем нужно для работы, как это имеет место в Индии... Задача, стоящая перед нами, заключается не в том, чтобы дать многомиллионному населению наших деревень возможность вести праздный образ жизни. Речь идет о том, как использовать их свободные часы, составляющие в переводе на рабочее время шесть месяцев в году». Это возражение применимо в различной степени ко всем странам, страдающим от безработицы. Но беда явно не в том, что нехватает работы, а в том, что при нынешней системе, основанной на извлечении прибыли, эта работа недостаточно выгодна предпринимателям. Имеется непочатый край работы, которую просто требуется выполнить: строительство дорог, оросительных систем, жилых домов, расширение сети санитарных и медицинских учреждений, развитие промышленности, электрификации, социального и культурного обслуживания, просвещения, налаживание производства десятков необходимых предметов, в которых нуждается народ. Все наше многомиллионное население может упорно трудиться в течение ближайших пятидесяти лет и все же не исчерпать этих возможностей. Но это осуществимо лишь в том случае, если побудительным мотивом будет не прибыль, а улучшение социальных условий и если общество направит свои стремления к общему благу. В Советском Союзе, какими бы недостатками он ни обладал в других областях, нет безработицы. Наш народ остается праздным не из-за отсутствия работы, а потому, что ему не обеспечивают условий для работы и культурного роста. Ликвидация детского труда, введение обязательного обучения детей до известного возраста вывели бы мальчиков и девочек из рядов армии труда или безработных и избавили бы рынок труда от десятков миллионов будущих рабочих.

Гандиджи пытался — не без некоторого успеха — усовершенствовать *чаркхи* и *такли* и увеличить их производительность. Это — попытка усовершенствовать орудие труда и машину,

и, если усовершенствование будет продолжаться (ведь вполне мыслима кустарная промышленность, работающая на электричестве), вновь появится стремление к прибыли, которое породит так называемое перепроизводство и безработицу. Если крестьянская промышленность не использует в какой-то мере современную промышленную технику, она никогда не будет в состоянии обеспечить снабжение даже основными материальными и культурными ценностями, в которых мы нуждаемся в настоящее время. К тому же этот вид промышленности не может конкурировать с машинной промышленностью. Является ли прекращение функционирования в нашей стране крупной промышленности желательным или возможным? Гандиджи не раз говорил, что он не возражает вообще против машин; по-видимому, он считает, что в Индии они сейчас неуместны. Но разве мы можем свернуть уже существующие отрасли тяжелой промышленности, например металлургическую или даже легкую?

Ясно, что мы этого не можем сделать. Поскольку у нас имеются железные дороги, мосты, транспорт и т. п., мы должны либо производить их сами, либо завезти от других. Если мы хотим иметь средства обороны, нам нужна не только тяжелая промышленность, но и высоко развитая промышленная система. В наши дни ни одна страна, если у нее нет развитой промышленности, не обладает действительной независимостью или способностью противостоять агрессии. Одни отрасли тяжелой промышленности должны поддерживаться и дополняться другими, и в итоге мы получаем машиностроительную промышленность. Существование всех этих отраслей тяжелой промышленности неизбежно влечет за собой рост легкой промышленности. Этот процесс непрерывен, ибо с ним связан не только наш материальный и культурный прогресс, но и сама наша свобода. А чем больше будет развиваться крупная промышленность, тем меньше сможет конкурировать с ней мелкая крестьянская промышленность. При социалистической системе она еще может иметь какой-то шанс на существование, но при капитализме у нее такой возможности нет, и даже при социализме она может существовать лишь как кустарная промышленность, специализирующаяся на изготовлении определенных товаров, которые не производятся в массовом масштабе.

Некоторые лидеры Конгресса напуганы индустриализацией и воображают, что в нынешних бедах промышленных стран повинно массовое производство. Это странное и неправильное толкование существующего положения¹. Если массы нужда-

¹ Выступая 3 января 1935 года в Ахмадабаде, Сардар Валлабххай Патель заявил: «Истинный социализм заключается в развитии крестьянской промышленности. Мы не хотим воспроизводить в нашей стране хаотические условия, царящие в западных странах и являющиеся следствием массового производства».

ются в каком-либо товаре, то разве плохо производить для них этот товар в достаточном количестве? Неужели им лучше нуждаться попрежнему, чем иметь массовое производство? Беда, очевидно, не в производстве, а в бессмысленной и неудовлетворительной системе распределения.

Другой трудностью, с которой приходится сталкиваться сторонникам развития крестьянской промышленности, является зависимость нашего земледелия от мирового рынка. Крестьянин вынужден выращивать коммерческие культуры и зависеть от цен на мировом рынке. В то время как эти цены меняются, он вынужден вносить свою арендную плату или земельный налог наличными деньгами. Ему приходится как-то доставать деньги, или, во всяком случае, он пытается это сделать, и поэтому он выращивает такие культуры, которые, на его взгляд, гарантируют ему наивысшую цену. Он не может позволить себе выращивать то, в чем он сам нуждается, чтобы обеспечить себя и свою семью хотя бы продовольствием.

За последние годы в связи с падением цен на большинство зерновых и другие продукты сельского хозяйства миллионы крестьян, особенно в Соединенных провинциях и в Бихаре, начали разводить сахарный тростник. Высокие цены на сахар привели к тому, что сахарные заводы начали расти как грибы и сахарный тростник стал пользоваться большим спросом. Однако предложение вскоре значительно превысило спрос, фабриканты стали жестоко эксплуатировать крестьянство, и цены упали.

Эти и многие другие соображения исключают, как мне кажется, возможность или желательность решения наших аграрных и промышленных проблем с помощью узкой автаркии. Собственно, они приложимы ко всем областям национальной жизни. Мы не можем укрываться за туманными и эмоциональными фразами, а должны признать эти факты и приспособиться к ним, с тем чтобы стать творцами истории, а не ее беспомощными жертвами.

Снова я думаю о парадоксальности Гандиджи¹. Почему он при всем своем остром уме и страстном желании улучшить участь угнетенных и обездоленных поддерживает систему — и притом систему явно загнивающую, — которая порождает

¹ В одной из своих речей на Конференции круглого стола в Лондоне в 1931 году Гандиджи заявил: «В сущности Конгресс представляет прежде всего миллионы безгласных, полуголодных людей, рассеянных по всей стране и населяющих 700 тысяч деревень, — независимо от того, являются ли они уроженцами Британской Индии, или так называемой Индийской Индии (индийских княжеств). Все интересы, которые, по мнению Конгресса, стоит защищать, должны быть подчинены интересам этих безгласных миллионов; таким образом, время от времени, видимо, наблюдается столкновение между некоторыми интересами, и я, не колеблясь, заявляю от имени Конгресса, что, если произойдет подлинное реальное столкновение, Конгресс пожертвует любыми интересами ради интересов этих безгласных миллионов».

эту нищету и опустошение? Правда, он ищет выхода, но разве путь к прошлому для нас не закрыт? А пока что он благословляет все пережитки старого порядка, стоящие на пути прогресса: феодальные княжества, крупных земледаров и талукдаров, современную капиталистическую систему. Разумно ли верить в теорию опеки — предоставлять неограниченную власть и богатство отдельному лицу и ожидать, что оно целиком употребит их на благо общества? Настолько ли совершенны лучшие из нас, чтобы им можно было так доверять? Даже платоновские правители-философы вряд ли смогли бы достойно нести это бремя. А хорошо ли для других иметь над собой даже этих добродетельных сверхчеловеков? Но ни сверхчеловеков, ни правителей-философов в природе не существует, имеются лишь слабые человеческие существа, которые не могут не думать, что их личное благо или развитие их собственных идей тождественны общественному благу. Таким образом, увековечивается снобизм, порождаемый происхождением, положением и экономическим могуществом, и последствия этого во многих отношениях губительны.

Повторяю, что я не рассматриваю сейчас вопрос о том, как осуществить подобные изменения или как преодолеть стоящие на пути препятствия — посредством принуждения или убеждения, с помощью насилия или ненасилия. Данной стороной вопроса я займусь ниже. Но необходимость изменения следует признать и открыто об этом заявить. Если руководящие деятели и теоретики не осознают до конца этой необходимости и не заявят о ней, то как они могут надеяться на то, что им удастся склонить кого-либо к своей точке зрения или воспитать народ в нужном духе? События являются, несомненно, лучшими воспитателями, но, чтобы осознать их значение и предпринять затем соответствующие действия, эти события необходимо понять и истолковать.

Друзья и коллеги, которых порой раздражали мои высказывания, часто спрашивали меня: «Разве вы не встречали хороших и благожелательных князей, милосердных помещиков, благонамеренных и дружелюбно настроенных капиталистов?» Действительно, мне приходилось встречаться и с такими. Я сам принадлежу к классу, который общается с этими земельными магнатами и владельцами богатств. Я типичный *буржуа*, воспитанный в *буржуазном* окружении и впитавший в себя все те предрассудки, которые дало мне это воспитание. Коммунисты с полным основанием называли меня мелким *буржуа*. Теперь они, возможно, отнесли бы меня к числу представителей «кающейся *буржуазии*». Но кем бы я ни был, это не имеет отношения к делу. Нелепо подходить к национальным, международным, экономическим и социальным проблемам с точки зрения отдельных личностей. Те самые друзья, которые обращаются ко мне с таким вопросом, беспрестанно повторяют, что мы

враждуем не с грешником, а с грехом. Я бы не сказал этого. Я сказал бы, что враждую не с отдельными лицами, а с системой. Разумеется, всякая система воплощена в значительной степени в личностях и группах, и либо нужно убедить эти личности и группы, либо с ними нужно вести борьбу. Но если система утратила всякую ценность и стала тормозом, она должна уйти, а цепляющиеся за нее классы и группы должны подвергнуться преобразованию. Этот процесс изменения должен произойти по возможности безболезненно, но, к несчастью, страдания и потрясения неизбежны. Нельзя мириться с большим злом из страха перед гораздо меньшим злом, устранить которое, во всяком случае, не в нашей власти.

В основе любых человеческих отношений — политического, социального или экономического характера — всегда лежит какая-то философия. С изменением этих отношений должен измениться и их философский фундамент, с тем чтобы он мог соответствовать им и использовать их наилучшим образом. Обычно философия отстает от событий, и это отставание порождает все трудности. Демократия и капитализм выросли вместе в XIX столетии, но они не были взаимно совместимыми. Между ними существовало серьезное противоречие, ибо демократия делала упор на власть многих, тогда как капитализм давал реальную власть немногим. Эта неудачная пара некоторое время как-то ладила, поскольку политическая парламентская демократия сама была очень ограниченной и не особенно препятствовала росту монополий и концентрации власти.

Несмотря на это, по мере роста духа демократии разрыв стал неизбежен, и сейчас для него пришло время. В наши дни парламентская демократия пользуется плохой репутацией, и в виде реакции на нее появились всевозможные новые лозунги. Поэтому английское правительство в Индии становится еще более реакционным. Используя вышеуказанное обстоятельство в качестве предлога, оно лишает нас даже внешних форм политической свободы. Индийские князья, как ни странно, прибегают к этому доводу для оправдания своей бесконтрольной автократии и решительно заявляют о своем намерении сохранить в своих владениях средневековые порядки, каких нет ни в одной стране мира¹. Но несчастье парламентской демократии заключается не в том, что она зашла слишком далеко, а в том, что она не пошла достаточно далеко. Она не была достаточно демократичной, ибо не обеспечивала экономической демократии, а ее методы были медленными и громоздкими и не соответствовали эпохе быстрых преобразований.

¹ Выступая 22 января 1935 года в палате князей в Дели, канцлер палаты князей махараджа Патналы коснулся мнения индийских политических деятелей, которые стоят за федерацию в надежде, что обстоятельства вынудят князей ввести демократические формы правления. Он заявил далее, что, «хотя князья Индии всегда готовы радеть о благе народа и будут го-

В наши дни индийские княжества представляют собой, вероятно, самый крайний из существующих в мире типов автократии. Разумеется, они подчинены английскому суверенитету, но английское правительство вмешивается лишь для того, чтобы защитить или продвинуть английские интересы. Поистине удивительно, каким образом эти феодальные цитадели старого мира продержались почти без изменений до середины XX столетия. Атмосфера там тяжелая и затхлая, и воды текут лениво, так что свежий человек, привыкший к изменениям и движению и, быть может, несколько уставший от них, чувствует здесь какую-то сонливость и незаметно для себя погружается в сладкие грёзы.

Все это кажется нереальным, похожим на картину, на которой время остановилось и взору представляется застывший ландшафт. Почти бессознательно он движется вспять, к прошлому, и перед ним воскресают мечты и видения его детства — рыцари в доспехах и прекрасные смелые дамы, замки с башнями, рыцарство и донкихотские понятия о чести и гордости, беспримерное мужество и презрение к смерти. Особенно если он попадает в Раджпутану, эту колыбель романтики и бесплодных, неосуществимых подвигов.

Но вскоре эти видения бледнеют и сменяются гнетущим чувством; становится душно и трудно дышать, а под тихими, медленно текущими водами скрываются застой и гниение. Человек чувствует, что он стиснут и сжат со всех сторон и что его разум и тело скованы. Он видит крайнюю отсталость и нищету народа, находящуюся в вопиющем контрасте с кричащей роскошью княжеского дворца. Какая огромная доля богатств княжества течет в этот дворец и идет на удовлетворение личных потребностей князя и на окружающую его роскошь и как мало возвращается народу в форме какого-либо обслуживания! Содержание наших князей обходится невероятно дорого. А что они дают взамен за эти щедрые расходы на них?

товы приспособиться и приспособить свои конституции к духу времени, мы должны откровенно сказать, что если Британская Индия надеется заставить нас носить на здоровом теле нашего государства плащ Несса — плащ дискредитированной политической теории, то, значит, она живет в мире фантастики» (см. также выше, на стр. 524, речь дивана княжества Майсур). Выступая в тот же день в палате князей, махараджа Биканера заявил: «Мы, правители индийских княжеств, не какие-нибудь кондотьеры. Я беру на себя смелость заявить, что мы, кто может благодаря наследственной власти, длившейся столетиями, претендовать на то, что унаследовали административные инстинкты и, мне кажется, известную долю государственной мудрости, должны остерегаться, чтобы нас не толкнули на поспешное или необдуманное решение... Разрешите мне заявить со всей скромностью, что князья не собираются позволить кому-либо уничтожить себя и что, если, к несчастью, придет такое время, когда корона будет не в состоянии предоставить индийским княжествам — во исполнение своих договорных обязательств — необходимую защиту, князья и княжества умрут, сражаясь до последней капли крови».

Покров тайпы окутывает эти княжества. Издание газет в княжествах не поощряют, и в лучшем случае там выходит какой-нибудь литературный или официозный еженедельник. Доступ газет извне часто запрещается. Грамотность очень низкая, если не считать некоторых южных княжеств — Траванкура, Кочина и т. п., где она гораздо выше, нежели в Британской Индии. Главными темами известий, поступающих из княжеств, являются визит вице-короля со всей сопутствующей этому событию пышностью, церемониями и взаимными поздравительными речами, либо пышное празднество по случаю бракосочетания или дня рождения правителя, либо, наконец, крестьянское восстание. Специальные законы защищают князей от критики даже в Британской Индии, а внутри княжеств сурово подавляется самая робкая критика. Публичные собрания почти не известны, и зачастую запрещаются даже собрания светского характера¹. Видные общественные деятели часто не имеют доступа в княжества. В середине двадцатых годов Ч. Р. Дас тяжело заболел и решил поехать на лечение в Кашмир; у него не было никакой политической миссии. Он доехал до самой границы Кашмира, но там был задержан. Даже М. А. Джинне был запрещен доступ в княжество Хайдарабад, а г-же Сароджини Найду, жительнице города Хайдарабада, долгое время не разрешали туда поехать.

При таком положении в княжествах было бы естественно, если бы Конгресс поднялся на защиту элементарных прав населения княжеств и стал критиковать царящий там гнет. Однако Гандиджи подсказал Конгрессу новую политику в отношении княжеств — «политику невмешательства во внутреннее управление княжествами». Он придерживался этой политики замалчивания, несмотря на чрезвычайно тяжелые события в княжествах и на совершенно необоснованные нападки правительств княжеств на Конгресс. Очевидно, существует опасение, что своей критикой Конгресс может обидеть правителей и затруднить их «обращение». В письме Н. Ч. Келкару, председателю Конференции подданных княжеств, в июле 1934 года Гандиджи вновь выразил уверенность в том, что политика невмешатель-

¹ В сообщении печати из Хайдарабада (Декан), датированном 3 октября 1934 года, говорится: «Публичное собрание по случаю дня рождения Ганди, которое должно было состояться вчера в помещении местного театра Вивекардини, пришлось отменить. Собрание было организовано хайдарабадским обществом «Хариджан Севак Сангх» («Общество слуг неприкасаемых»). В письме в газету секретарь общества указал, что за сутки до начала собрания власти заявили, что разрешение на проведение собрания может быть дано лишь при условии внесения залога в две тысячи рупий. Кроме того, власти потребовали обязательства, что на собрании не будут произноситься речи политического характера или критиковаться официальные действия правительственных чиновников. Поскольку у организатора собрания не было времени уладить этот вопрос с властями, собрание пришлось отменить».

ства является разумной и здоровой, и занял в высшей степени странную позицию в отношении юридического и конституционного положения этих княжеств. «Княжества,— писал он,— являются независимыми единицами, находящимися под властью английских законов. Та часть Индии, которая именуется британской, может определять политику княжеств не больше, чем, скажем, политику Афганистана или Цейлона». Не удивительно, что против его взглядов и его совета возражали даже робкая и умеренная Конференция подданных индийских княжеств и либералы.

Но правителей княжеств такая точка зрения вполне устраивала, и они ею воспользовались. Через месяц правительство Траванкура запретило на территории княжества организации Национального конгресса и положило конец всем его собраниям и вербовке членов. Попутно оно заявило, что «ответственные лидеры» сами дали этот совет, явно намекая при этом на заявление Гандиджи. Можно отметить, что это запрещение было издано после отмены движения гражданского неповиновения в Британской Индии (княжества никогда не были вовлечены в это движение), когда английское правительство в Индии вновь объявило Конгресс легальной организацией. Интересно также, что главным политическим советником правительства Траванкура был тогда (как и ныне) сэр Ч. П. Рамасвами Айар, в прошлом генеральный секретарь Конгресса и лиги борьбы за самоуправление, затем либерал, занимавший высокий пост в английском правительстве в Индии и мадрасском правительстве.

В соответствии с политикой Конгресса и по совету Гандиджи ни одного слова не было сказано по поводу этого ничем не вызванного наступления на Конгресс в нормальное время со стороны правительства Траванкура¹. Даже некоторые либералы категорически протестовали против этого. Собственно, Гандиджи занимает в отношении княжеств гораздо более умеренную и сдержанную позицию, нежели либералы. Пожалуй, из числа видных политических деятелей один только ландит Мадан Мохан Малавия, тесно связанный со многими князьями, столь же сдержан и так же боится задеть чувствительность правителей.

Однако Гандиджи не всегда был столь осторожен по отношению к индийским князьям. В феврале 1916 года он выступил на торжественном собрании по случаю открытия в Бенаресе

¹ Сардар Валлабххай Патель сделал упор на эту политику невмешательства в своей речи, произнесенной в Бароде 6 января 1935 года. Как сообщают, он заявил, что «рабочие в индийских княжествах должны выполнять свою работу, подчиняясь всем ограничениям, введенным княжеством, и вместо того, чтобы критиковать администрацию, необходимо приложить усилия к поддержанию сердечных отношений между правителем и управляемыми».

индусского университета, где председательствовал один из князей и присутствовало много других князей. В то время Гандиджи только что вернулся из Южной Африки, и на его плечах еще не лежало бремя общиндийской политики. Он серьезно и с поистине пророческим жаром призвал их исправиться и отказаться от суетного блеска и роскоши: «Князья! Идите и продайте свои драгоценности», — заявил он; и хотя они, возможно, не продали свои драгоценности, они действительно ушли. Они покидали зал по одному и небольшими группами, в сильном смятении, в конце концов ушел даже председатель, оставив оратора в полном одиночестве. Присутствовавшая на торжестве г-жа Энни Безант также была обижена замечаниями Гандиджи и ушла с собрания.

В своем письме к Н. Ч. Келкару Гандиджи заявляет также: «Мне бы хотелось, чтобы княжества предоставили своим подданным автономию и чтобы князья считали себя и в самом деле были опекунами подвластного им народа...» Если идея опеки имеет какой-то смысл, то какие у нас основания возражать против заявления правительства Великобритании, что оно является опекуном английского правительства в Индии? Если не считать того, что оно является иностранным для Индии, я не вижу никакой разницы. Между разными народами Индии существуют почти столь же заметные различия в отношении цвета кожи, расового происхождения и культуры.

В последние годы наблюдается процесс быстрого проникновения английских чиновников в индийские княжества; часто их просто навязывают недовольному, но беспомощному правителю. Правительство Индии всегда осуществляло над княжествами строгий контроль сверху; теперь в дополнение к этому в некоторых важнейших княжествах установлен также внутренний надзор. Поэтому голосами этих княжеств говорит зачастую правительство Индии, всецело использующее феодальные пережитки в княжествах.

Я понимаю, что в княжествах не всегда можно осуществлять ту же деятельность, что и в других районах страны. Собственно, и между отдельными провинциями Британской Индии имеются значительные различия — аграрные, промышленные, религиозно-общинные, административные, — и единая политика не всегда возможна. Но хотя характер действия должен определяться конкретными условиями, наш общий политический курс не должен меняться в зависимости от районов, а то, что плохо для одного района, должно быть плохо и для другого. В противном случае нас могут обвинить и действительно обвиняют в том, что у нас нет последовательной политики или принципов и что мы добиваемся лишь власти для самих себя.

Очень сильную, и притом вполне справедливую, критику вызывает существование отдельных избирательных курий для

религиозных и других меньшинств. Указывается, в частности, что они совершенно несовместимы с демократией. Разумеется, ни о какой демократии или так называемом ответственном правительстве не может быть и речи, если избиратели будут разделены по религиозному признаку на замкнутые ячейки. При всем том самые ревностные и настойчивые из критиков, как, например, пандит Мадан Мохан Малавия и лидеры Хинду Махасабхи, поразительно легко мирятся с положением в княжествах и, повидимому, согласны на федеральный союз между автократией княжеств и демократией (как ее называют) остальной Индии. Более нелепый союз трудно себе представить, но поборники демократии и национализма из Хинду Махасабхи глотают его не поморщившись. Мы говорим о логике и последовательности, но в своих основных побуждениях попрежнему руководствуемся эмоциями.

Итак, я возвращаюсь к парадоксальной позиции Конгресса в отношении княжеств. Мне вспоминается Томас Пен и его слова, сказанные им почти полтора века назад о Берке: «Он оплакивает оперение, но забывает об умирающей птице». Гандиджи, несомненно, никогда не забывает об умирающей птице. Но зачем уделять столько внимания оперению?

Примерно те же соображения относятся и к системе талукдари и крупного заминдарства. Вряд ли приходится доказывать, что эта полуфеодалная система устарела и сильно тормозит производство и общий прогресс. Она противоречит даже развивающемуся капитализму; почти во всем мире крупные поместья постепенно исчезли и уступили место крестьянскому землевладению. Я всегда полагал, что единственным вопросом, который мог бы возникнуть в Индии, является вопрос о компенсации. Но за последний год я с удивлением обнаружил, что Гандиджи одобряет систему талукдари как таковую и хочет ее сохранить. В июле 1934 года он заявил в Канпуре, что «отношения между помещиками и арендаторами могли бы быть улучшены, если бы обе стороны проявили больше доброжелательства. Если бы это произошло, они могли бы жить в мире и гармонии». Он лично никогда не стоял за «уничтожение системы заминдари или талукдари, и те, кто полагал, что ее следует уничтожить, сами не понимали, что говорят» (последнее обвинение несколько нелюбезно).

Далее он, как сообщают, сказал: «Я не приму участия в экспроприации частной собственности имущих классов, если на это не будет справедливых оснований. Моя цель — воззвать к вашему сердцу и убедить вас (он выступал перед делегацией крупных заминдаров), с тем чтобы вы могли удерживать всю вашу частную собственность в качестве доверенных лиц ваших арендаторов и использовать ее в первую очередь для повышения их благосостояния... Но в случае, если будет предпринята попытка несправедливо лишить вас вашей собственности, я

буду бороться на вашей стороне... На Западе социализм и коммунизм базируются на определенных концепциях, существенно отличающихся от наших концепций. Одной из таких концепций является их уверенность в том, что человеческая природа в своем существе эгоистична... Поэтому наш социализм и коммунизм должны основываться на ненасилии и на гармоничном сотрудничестве труда и капитала, помещика и арендатора».

Мне неизвестно, существуют ли подобные различия между основными концепциями Востока и Запада. Возможно, что и существуют. Но еще совсем недавно ясно видимое различие заключалось в том, что индийский капиталист и помещик гораздо больше игнорировали интересы своих рабочих и арендаторов, нежели их западные собратья. Фактически индийские помещики и не пытались проявить интерес к каким-либо социальным мероприятиям в целях повышения благосостояния арендаторов. Западный автор Г. Н. Брейлсфорд заметил, что «индийские ростовщики и помещики представляют собой самых хищных паразитов, каких только можно найти в любой социальной системе»¹. Пожалуй, это не вина индийского помещика. Обстоятельства были сильнее его, и он постепенно опускался и сейчас находится в трудном положении, из которого ему вряд ли удастся выпутаться. Многие помещики были разорены ростовщиками и лишились своих земель, а более мелкие опустились до положения арендаторов, арендуя ту самую землю, которой они некогда владели. Городские ростовщики давали деньги под закладную, а когда эта закладная не выкупалась в срок, прибирали землю к рукам и превращались в заминдаров. Если верить Гандиджи, сейчас они являются опекунами несчастных людей, у которых они сами отняли их землю, и мы должны ждать, что они используют свой доход главным образом на благо своих арендаторов.

Если система талукдари хороша, то почему бы не ввести ее по всей Индии? Значительная часть земли в Индии находится в руках собственников-крестьян. Меня интересует, согласился ли бы Гандиджи на создание крупных заминдарских поместий и талук в Гуджарате? Думаю, что нет. Почему же в таком случае для Соединенных провинций, Бихара или Бенгалии хороша одна система землевладения, а для Гуджарата и Пенджаба — другая? Между населением Северной, Восточной, Западной и Южной Индии нет сколько-нибудь существенных различий, и их основные концепции одни и те же. Стало быть, мы приходим к сохранению любой существующей системы, к поддержанию статус кво. Не должно быть никаких попыток выяснить, какие экономические условия наиболее желательны или

¹ H. N. Brailsford, Property or Peace?

выгодны для народа, никаких попыток изменить существующие условия; все, что нужно,— это переубедить людей. Это чисто религиозный подход к жизни и ее проблемам. Он не имеет никакого отношения к политике, экономике или социологии. Тем не менее в политической, национальной сфере Гандиджи выходит за его рамки.

Таковы некоторые из парадоксов, с которыми сталкивается сейчас Индия. Мы ухитрились завязать себя множеством узлов, и, пока мы их не развяжем, нам будет трудно двигаться вперед. Это освобождение не будет эмоциональным. Что лучше, спрашивал много лет назад Спиноза,— «свобода, достигнутая через знание и понимание, или эмоциональное рабство»? Он предпочитал первое.

УБЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПРИНУЖДЕНИЕ

Шестнадцать лет назад Гандиджи потряс Индию своей доктриной ненасилия. С тех пор она занимала доминирующее положение в нашей стране. Широкие слои народа постоянно говорили об этой доктрине, не вдумываясь в ее содержание, но одобряя ее; некоторые, правда, вели с ней борьбу, а затем принимали ее, полностью или с оговорками; кое-кто открыто освистал ее. Она сыграла важнейшую роль в нашей политической и социальной жизни и привлекла к себе также большое внимание во всем мире. Разумеется, эта доктрина почти столь же стара, как и сама человеческая мысль, но Гандиджи, пожалуй, первый применил ее в массовом масштабе — в политическом и социальном движении. В прошлом это было личным, а потому по своей сущности религиозным вопросом. Это было самообуздание личности, попытка достигнуть полного бесстрастия и тем самым подняться над мирской суетой и обрести своего рода личную свободу и спасение. Во всем этом не было стремления — или же оно было весьма косвенным и отдаленным — решать более широкие, социальные проблемы и изменять социальные условия. Существующий социальный строй со всем присущим ему неравенством и несправедливостью принимался почти полностью. Гандиджи попытался превратить этот идеал отдельных личностей в социальный идеал многих людей. Он стремился изменить как социальные, так и политические условия и сознательно, имея в виду эту цель, применял метод ненасилия в этом более широком и совершенно ином плане. «Те, кто стремится добиться коренных изменений в положении людей и в окружающих их условиях, — писал он, — могут сделать это не иначе, как вызвав брожение в этом обществе. Это можно осуществить лишь двумя методами — насильственным и ненасильственным. Насильственные действия включают и физические действия; они не только подавляют жертву, но и принижают того, кто к ним прибегает, ненасильственные же действия, осуществляемые посредством страданий, на которые человек добровольно обрекает себя, как, например, голодовки, действуют совершенно иначе. Они не затрагивают физиче-

ского существа, а имеют дело лишь с нравственными устоями и укрепляют эти устои у тех, против кого они направлены»¹.

Эта идея была до некоторой степени созвучна индийскому мышлению, и страна приняла ее с энтузиазмом, хотя бы и поверхностным. Мало кто создавал, что она чревата далеко идущими последствиями, а те немногие, кто смутно понимал это, искали прибежища в вере и в действиях. Но когда темп действий замедлился, в умах некоторых возникли бесчисленные вопросы, и на них было крайне трудно найти ответы. Эти вопросы не затрагивали непосредственно курса, которого следовало придерживаться в политике. Они касались скорее всей философии, лежавшей в основе этой идеи ненасильственного сопротивления. В политическом отношении тактика ненасилия пока не увенчалась успехом, ибо Индия все еще зажатая в тисках империализма. В социальном же отношении эта тактика и не предусматривала радикальных изменений. И все же любой человек, наделенный минимальной проницательностью, поймет, что она произвела замечательную перемену в миллионах людей в Индии. Она придавала им твердость характера, силу и уверенность в себе — ценные дары, без которых трудно достичь или сохранить какой-либо прогресс, политический или социальный. Обязаны ли мы этими бесспорными достижениями тактике ненасилия или, напротив, самому факту существования конфликта и в какой степени каждому из них — сказать трудно. Различные народы достигали такого результата во многих случаях при помощи насильственных действий. Все же, мне думается, можно с уверенностью сказать, что метод ненасилия имел для нас в этом отношении неоценимое значение. Он определенно помог вызвать «брожение в обществе», о котором говорит Гандиджи, хотя, несомненно, само это брожение имеет более глубокие корни и порождено соответствующими условиями. Тактика ненасилия стимулировала развитие того процесса в массах, который предшествует революционным изменениям.

Это явно говорит в его пользу, но далеко не все объясняет. Основные вопросы остаются без ответа. К несчастью, Гандиджи не особенно помогает нам разрешить эту проблему. Он много раз говорил и писал на эту тему, но, насколько мне известно, никогда не рассматривал ее публично во всех аспектах с философской или научной точки зрения². Он делает упор на том, что средства важнее цели, что убеждение лучше принуждения, и при этом у него проявляется тенденция отождествлять ненасилие со стремлением к истине и к всеобщему добру. Собственно, он часто употребляет эти термины так, словно они являются

¹ Из заявления, сделанного Гандиджи 4 декабря 1932 года в связи с одной из его голодовок.

² Ричард Б. Грегг в своей работе «The Power of Non-Violence» рассматривает этот вопрос с научной точки зрения. Его книга весьма интересна, и в ней затронута много проблем.

синонимами. Имеется также тенденция считать, что все те, кто не согласен с этим, находятся вне сонма избранных и погрешили против нравственного закона. У некоторых его последователей это неизбежно порождает сознание собственной непогрешимости.

Однако тех из нас, кому не посчастливилось иметь эту веру, обуревают сейчас множество сомнений. Эти сомнения связаны не столько с непосредственными нуждами, сколько с потребностью разума в последовательной философии действия, которая была бы нравственной с индивидуальной точки зрения и в то же время действительной в социальном отношении. Я признаю, что эти сомнения не покидают меня, и я не вижу удовлетворительного решения насущных проблем. Я крайне не люблю насилия, и все же во мне самом нередко проявляется стремление к насильственным действиям, и, сознательно или бессознательно, я часто пытаюсь принудить других. А можно ли мыслить себе большее принуждение, нежели то психологическое принуждение, к которому прибегает Гандиджи и которое превращает многих его близких последователей и сподвижников в некую безликую массу?

Но главный вопрос заключался в том, могут ли национальные и социальные группы в достаточной степени проникнуться этим индивидуальным кредо ненасилия, которое требует, чтобы человечество в массе своей достигло вершин любви и доброты? Правда, в конечном счете, единственный поистине желательный идеал состоит именно в том, чтобы поднять человечество до этого уровня и уничтожить ненависть, уродство и эгоизм. Возможно это или нет, хотя бы в конечном счете,— вопрос спорный; однако без этой надежды жизнь стала бы чем-то вроде «рассказа идиота, который издает множество яростных звуков, лишенных, однако, всякого смысла». Должны ли мы стремиться прямым путем к этому идеалу, проповедуя эти добродетели, несмотря на препятствия, которые затрудняют его достижение и способствуют росту противоположных тенденций? Или, быть может, нам следует сперва устранить эти помехи и создать более подходящие и более благоприятные условия для развития любви, красоты, доброты? Или же мы можем сочетать оба эти процесса?

Кроме того, столь ли очевидна линия, отделяющая насилие от ненасилия, принуждение от убеждения? Довольно часто моральная сила является гораздо более страшным фактором принуждения, нежели физическое насилие. И можно ли считать ненасилие синонимом истины? Весь вопрос о том, что такое истина,— это старый вопрос, на который давали тысячи ответов, и все же он до сих пор остается без ответа. Но чем бы она ни была, ее, несомненно, нельзя всецело отождествлять с ненасилием. Само насилие, хотя оно и является плохим, нельзя считать в своем существе аморальным. Имеются оттенки и сте-

пени его, и часто оно может быть предпочтительнее чего-то худшего. Гандиджи сам как-то сказал, что оно лучше трусости, страха и рабства, и к этому списку можно добавить множество других зол. Правда, насилие обычно ассоциируется с злонамеренностью, но, по крайней мере теоретически, это вовсе не обязательно. Вполне мыслимо насилие, основанное на проявлении доброй воли (например, насилие хирурга), а все, что опирается на такую основу, не может быть в сущности аморальным. В конечном счете, последним критерием этики и морали являются добрая воля и злонамеренность. Таким образом, хотя насилие очень часто бывает морально не оправданным и с этой точки зрения может считаться опасным, оно не всегда является таковым.

Жизнь полна противоречий и насилия, и, повидимому, одно насилие действительно влечет за собой другое и, таким образом, не является способом его преодоления. Однако полный отказ от него приводит к совершенно негативной позиции, оторванной от самой жизни. Насилие — источник силы современного государства и социальной системы. Без государственного аппарата принуждения налоги остались бы несобранными, помещики не получили бы причитающейся им арендной платы и частная собственность исчезла бы. Закон, подкрепляемый силой оружия, ограждает частную собственность. Само национальное государство существует благодаря насилию как наступательного, так и оборонительного характера.

Правда, ненасилие Гандиджи, несомненно, не включает в себе только отрицание. Это не есть непротivление. Это — ненасильственное сопротивление, то есть нечто совсем иное, это — позитивный и действенный метод. Оно не предназначалось для тех, кто кротко приемлет статус кво. Самой его целью было вызвать «брожение в обществе» и таким образом изменить существующие условия. Какие бы стремления убедить людей ни скрывались за ним, на практике оно было также мощным орудием принуждения, хотя это принуждение осуществляется в весьма цивилизованной и наименее неприятной форме. Интересно, что Гандиджи в своих ранних трудах пользовался словом «принуждать». Критикуя в 1920 году речь вице-короля (лорда Челмсфорда) относительно отрицательных последствий военного положения в Пенджабе, он писал:

«...Речь его превосходительства, произнесенная при открытии законодательного совета, свидетельствует, на мой взгляд, о таких умонастроениях, которые делают сотрудничество с ним или с его правительством невозможным для уважающих себя людей.

Замечания о Пенджабе означают категорический отказ исправить положение. Он хотел бы, чтобы мы сосредоточили свое внимание на проблемах ближайшего «будущего»! Ближайшее будущее заключается в том, чтобы принудить правитель-

ство проявить раскаяние в пенджабском вопросе. Признаков раскаяния мы не видим. Напротив, его превосходительство противится соблазну ответить своим критикам, разумея под этим, что он не изменил своего мнения по многим жизненно важным вопросам, затрагивающим честь Индии. Он «довольствуется тем, что оставляет эти вопросы на суд истории». На мой взгляд, такого рода язык рассчитан на то, чтобы разжечь еще больше недовольство индийцев. Какой прок от этого благоприятного суда истории тем людям, которые уже пострадали и которые все еще находятся под пятой чиновников, доказавших свою полную неспособность занимать доверенные посты и нести ответственность? Когда налицо такая решимость отказать в справедливости Пенджабу, призывы к сотрудничеству являются, по меньшей мере, лицемерными».

Правительства, как известно, опираются на насилие, не только на открытое насилие вооруженных сил, но и на гораздо более опасное и более завуалированное насилие, олицетворяемое шпионами, осведомителями, провокаторами, лживой пропагандой, как прямой, так и косвенной — через образование, печать и т. п., — религиозной и другими формами запугивания, экономической нуждой и голодом. В отношениях между двумя правительствами считается правомерной любая ложь или предательство, лишь бы они не выплыли наружу, — так обстоит дело даже в мирное время, а тем более во время войны. Триста лет назад поэт сэр Генри Уоттон, будучи английским послом, сказал, что посол — это «честный человек, которого посылают за границу лгать ради блага своей страны». В наши дни послов поддерживают военные, морские и торговые агенты, главная функция которых заключается в том, чтобы заниматься шпионажем в стране своего пребывания. За их спиной действует широкая сеть секретной службы с ее бесчисленными ответвлениями и сетью интриг и обмана, с ее разведчиками и контрразведчиками, с ее связями с преступным миром, с ее подкупом людей и развращением человеческой природы и тайными убийствами. Как ни отвратительна вся эта деятельность в мирное время, во время войны ей придается еще большее значение, и ее губительное влияние распространяется во всех направлениях. Поразительно читать сейчас о некоторых примерах пропаганды в период мировой войны, о распространении удивительной лжи о вражеских странах, о колоссальных суммах, истраченных на это и на секретные службы. Но в наше время мир — это лишь перерыв между двумя войнами, подготовка к войне и, до некоторой степени, продолжение конфликта в экономической и других сферах. Происходит непрерывная проба сил между победителями и побежденными, между империалистическими державами и странами, находящимися в их подчинении, между привилегированными и эксплуатируемыми классами. Поэтому атмосфера войны с сопутствующими ей насилием и ложью сохра-

няется в известной степени даже в так называемое мирное время, и как военных, так и штатских чиновников учат приспособляться к этой ситуации. В своей книге «Soldier's Pocket-Book for Field Service» лорд Уолсли пишет: «Мы будем и впредь вбивать в голову, что «честность — лучшая политика» и что истина в конечном счете всегда торжествует. Эти великолепные сентенции годятся для какого-нибудь школьного учебника, по человеку, который руководствуется этим принципом во время войны, лучше навсегда вложить меч свой в ножны».

В нынешних условиях, когда нация противостоит нации и класс классу, эта основа — насилие и ложь — представляется почти неизбежной. Привилегированные нации и группы людей, желающие сохранить свою власть и привилегии и лишить возможности роста тех, кого они угнетают, должны полагаться на насилие, принуждение и ложь. Возможно, что с ростом общественного сознания и разоблачением существа этих конфликтов и сопутствующего им угнетения насилие несколько ослабнет. Однако опыт недавнего прошлого свидетельствует об обратном: по мере того, как усиливалось сопротивление существующим институтам, возрастало и насилие. Даже когда насилие внешне несколько ослаблялось, оно принимало завуалированные и более опасные формы. Эту тенденцию к насилию не могли обуздать ни рост благоразумия, ни религиозное мировоззрение, ни мораль. Личность прогрессировала и росла, и, вероятно, сейчас в мире гораздо больше личностей более высокого типа (по отнюдь не высшего типа), чем в какой-либо предыдущий период истории; общество в целом также прогрессировало и начало предпринимать некоторые слабые попытки к обузданию примитивных и варварских инстинктов. Но в целом группы и общества не сделали в этом отношении большого шага вперед. Становясь более цивилизованной, личность передала обществу многие из своих примитивных страстей и пороков, и, поскольку насилие всегда влечет к себе людей невысокого морального уровня, лидерами этих обществ редко бывают лучшие их представители.

Но даже если мы предположим, что государство постепенно избавится от худших форм насилия, нельзя не видеть того, что как управление, так и социальная жизнь требуют некоторого принуждения. Социальная жизнь нуждается в какой-то форме управления, и люди, которым вверена власть, должны обуздывать и сдерживать эгоистичные и вредные для общества стремления как отдельных лиц, так и групп. Обычно эти люди идут гораздо дальше, чем это диктуется необходимостью, ибо власть развращает и принижает людей. Поэтому как бы ни любили эти правители свободу и как бы ни ненавидели принуждение, им придется прибегать к принуждению в отношении непокорных личностей, пока не наступит такое время, когда каждое человеческое существо в этом государстве станет совершенным,

абсолютно бескорыстным и преданным общему благу. Правителям этого государства придется также применять насилие в отношении внешних сил, совершающих грабительские нападения, то есть, проще говоря, им придется защищать себя, отвещая на силу силой. Необходимость этого исчезнет лишь тогда, когда будет существовать единое всемирное государство.

Если, таким образом, сила и принуждение необходимы как для внешней обороны, так и для обеспечения внутренней сплоченности, то где же можно провести границу? Рейнгольд Нибур¹ указывает, что, как только мы делаем эту роковую этическую уступку политике и миримся с принуждением как с необходимым средством обеспечения социальной сплоченности, становится невозможным провести абсолютное различие между ненасильственной и насильственной формами принуждения, или между принуждением, к которому прибегают правительства, и тем, которое используют революционеры.

Я не знаю намеренно, но мне думается, Гандиджи признает, что в нашем несовершенном мире национальному государству придется все же использовать силу, чтобы защищать себя от неспровоцированных нападений извне. Разумеется, государство должно проводить по отношению к своим соседям и другим государствам абсолютно мирную и дружественную политику, но, тем не менее, будет нелепо отрицать возможность нападения. Государству придется также принять некоторые законы, носящие принудительный характер в том смысле, что они несколько ущемят права и привилегии различных классов и групп и ограничат свободу действий. Все законы являются в какой-то степени принудительными. Принятая на съезде в Карачи программа Конгресса устанавливает, что «для того чтобы покончить с эксплуатацией масс, политическая свобода должна включать реальную экономическую свободу миллионов голодающих людей». Чтобы эти похвальные намерения могли быть претворены в жизнь, те, кто пользуется чрезмерными привилегиями, должны будут сделать большие уступки тем, кто почти лишен их. Далее в программе указывается, что рабочим должен быть обеспечен прожиточный минимум и различные другие условия; что на собственность следует ввести специальный налог; что «основные отрасли промышленности, полезные ископаемые, железные дороги, водные пути, судоходство и другие средства общественного транспорта должны принадлежать государству или находиться под его контролем». А также, что «алкогольные напитки и наркотики будут полностью запрещены». Значительное число людей, вероятно, станет возражать против всего этого. Они, возможно, подчинятся воле большинства, но лишь потому, что их будут страшить последствия неповиновения. Собственно, демократия и означает принуждение меньшинства большинством.

¹ В книге «Moral Man and Immoral Society».

Если большинство примет какой-то закон, затрагивающий права собственности или отменяющий их, то следует ли возражать против него на том основании, что он является принуждением? Очевидно, не следует, поскольку той же процедуры придерживаются при принятии всех демократических законов. Поэтому факт принуждения не может служить основанием для возражений против какого-либо установления. Можно было бы сказать, что большинство действовало неправильно или аморально. В этом случае пришлось бы рассматривать вопрос о том, нарушает ли закон, принятый большинством, какой-либо этический принцип. Кто должен это решать? Если разрешить личностям и группам толковать этику в соответствии с их собственными интересами, это будет означать конец демократической процедуры. Я лично считаю, что институт частной собственности (за исключением весьма ограниченной сферы) дает отдельным лицам опасную власть над обществом в целом и поэтому весьма вреден для общества. Я считаю его гораздо более безнравственным, чем пьянство, которое больше вредит личности, нежели обществу.

Лица, называющие себя приверженцами доктрины ненасилия, говорили мне, однако, что попытка национализировать частную собственность, если она предпринимается без согласия самих собственников, была бы принуждением и как таковая противоречила бы ненасилию. Собственно, такую точку зрения пытались внушить мне крупные земледары, которые не стесняются прибегать к помощи государства для насильственного сбора арендной платы, и капиталисты, владельцы многочисленных заводов, которые не допускают в своих владениях даже существования независимых профсоюзов. Тот факт, что изменения желает большинство непосредственно заинтересованных в этом людей, считается недостаточным; нужно, оказывается, убедить тех самых людей, которые понесут потери в результате этих изменений. Таким образом, немногочисленные заинтересованные круги могут помешать явно желательному изменению.

Если есть что-либо поучительное в истории, то оно состоит в том, что политические взгляды групп и классов определяются их экономическими интересами. Ни разум, ни моральные соображения не заслоняют этих интересов. Отдельных лиц можно убедить, они могут отказаться от своих особых привилегий, хотя это бывает довольно редко, но классы и группы так не поступают. Поэтому попытка убедить правящий привилегированный класс отказаться от власти и поступиться своими несправедливыми привилегиями до сих пор всегда терпела неудачу, и, повидимому, нет никаких оснований утверждать, что она удастся в будущем. Рейнгольд Нибур в своей книге¹ выдвигает этот довод против моралистов, «которые воображают,

¹ «Moral Man and Immoral Society».

будто эгоизм отдельных лиц постепенно обуздывается благодаря тому, что люди становятся разумнее или более благожелательными под влиянием религии, и будто для установления социальной гармонии между человеческими обществами и коллективами нужно лишь продолжать этот процесс». Эти моралисты «не учитывают политические потребности в борьбе за справедливость в человеческом обществе и не признают те элементы в поведении человеческого коллектива, которые диктуются самой природой вещей и которые никогда не удастся полностью подчинить разуму или совести. Они не сознают, что, если коллективная власть, в форме ли империализма или классового господства, эксплуатирует слабых, ее не удастся вытеснить с ее позиций, не использовав против нее силу». И далее: «Поскольку в данных социальных условиях разум всегда находится до некоторой степени на службе частных интересов, социальную справедливость нельзя установить с помощью одних только увещаний или рациональных доводов... Конфликт неизбежен, и в этом конфликте силе должна быть противопоставлена сила».

Поэтому рассчитывать только на убеждение класса или нации или на устранение конфликта с помощью рациональных доводов и призывов к справедливости значит обманывать себя. Будет иллюзией воображать, будто господствующая империалистическая держава откажется от своего господства над другой страной или что класс поступится своим особым положением и привилегиями, если на них не будет оказан действительный нажим, равносильный принуждению.

Гандиджи, очевидно, хочет применить такой нажим, хотя он и не называет его принуждением. По его словам, его методом является добровольное страдание. Это несколько затрудняет понимание такого метода, поскольку здесь имеется метафизический элемент, который не поддается измерению или какому-либо другому материальному выражению. В том, что этот метод оказывает значительное действие на оппонента, сомневаться не приходится. Он подрывает его мораль, расслабляет его, взывает к его лучшим чувствам и оставляет дверь открытой для примирения. Нет никакого сомнения в том, что любовь и добровольные страдания оказывают сильное психологическое воздействие как на противников, так и на посторонних наблюдателей. Большинство шикари знает, что, когда имешь дело с диким животным, многое зависит от того, как подойти к нему. Оно, видимо, издалека чувствует агрессивный дух и реагирует на него. Даже слабый палец на страх, едва осознанный самим человеком, как-то передается животному, вызывая у него испуг, который побуждает его напасть. Если выдержка на мгновение изменит укротителю львов, ему угрожает опасность тут же подвергнуться нападению. Абсолютно бесстрашному человеку редко грозит опасность со стороны диких зверей, если только не произойдет какой-либо неблагоприятной случайности.

Поэтому кажется естественным, что человеческие существа должны быть восприимчивы к этому психологическому влиянию. Но если ему подвержены отдельные личности, сомнительно, чтобы оно распространилось на целый класс или группу. Класс как таковой не вступает в тесные личные отношения с противной стороной; даже сведения, которые он о ней получает, являются пристрастными и искаженными. Во всяком случае, непроизвольно возникающий гнев этого класса против всякой группы, которая оспаривает его положение, настолько велик, что он заслоняет все прочее, менее сильные чувства. Привыкнув с давних пор к мысли, что его высокое положение и привилегии необходимы для блага общества, он всякое противное мнение воспринимает как сесь. Закон, порядок и сохранение статус кво становятся главными добродетелями, а попытки восстать против них — главными грехами.

Таким образом, поскольку дело касается противостоящей группы, этот процесс убеждения дает немного. Собственно, иногда сама святая кротость противника только распаляет его гнев, ибо она как бы ставит его в положение неправого, а когда человек начинает подозревать, что он, возможно, неправ, его праведное возмущение возрастает. Тем не менее метод ненасилия все же оказывает влияние на отдельных представителей противной стороны и тем самым ослабляет ее сплоченность. Более того, он завоевывает симпатии нейтральных кругов и является мощным средством влияния на мировое общественное мнение. Но здесь опять-таки имеется вероятность, что правящая группа помешает распространению сведений или исказит их, ибо она контролирует средства распространения информации и может, таким образом, помешать ознакомлению с истинным положением дел. Однако свое самое сильное и глубокое влияние ненасильственный метод оказывает на значительное число в большей или меньшей степени безразличных людей в той стране, в которой эта тактика применяется. Они, несомненно, принадлежат к числу обращенных и часто становятся восторженными последователями этого метода, но ведь их и нетрудно было обратить, поскольку, как правило, они одобряли поставленную цель. Но на тех, кто боится перемен, метод ненасилия не оказывает столь заметного действия. Быстрое распространение в Индии несотрудничества и гражданского неповиновения показало, что ненасильственное движение оказывает сильное влияние на огромное число людей и убеждает многих колеблющихся. Оно не убедило в сколько-нибудь заметной степени тех, кто *ab initio* относился к нему враждебно. Собственно, успех движения усилил их опасения и настроил их еще более враждебно.

Если признать, что государство вправе использовать насилие, чтобы защитить свою свободу, то трудно понять, почему же несправедливо прибегать к насильственным и принудитель-

ным методам в попытке достичь этой свободы. Насильственный метод может быть нежелательным и нецелесообразным, но он не является совершенно неоправданным и запретным. Один лишь факт, что правительство занимает господствующее положение и опирается на вооруженные силы, еще не дает ему большего права прибегнуть к насилию. Если неспасительная революция будет иметь успех и ее сторонники установят свой контроль над государством, приобретают ли они немедленно право применять насилие, которым они ранее не обладали? Если против новой власти будет поднят мятеж, то как она должна реагировать на него? Она, естественно, не будет склонна использовать насильственные методы и испробует все мирные средства, чтобы справиться с положением, но она не может отказаться от своего права прибегнуть к насилию. Среди населения, несомненно, будут недовольные элементы, возражающие против изменений, и они постараются вернуться к прежним условиям. Если они будут думать, что новое государство не использует против их насилия свой аппарат принуждения, то они тем скорее прибегнут к насилию. Поэтому, повидимому, совершенно невозможно провести твердую и четкую линию между насилием и ненасилием, принуждением и убеждением. Эта трудность достаточно реальна, когда речь идет о политических изменениях, но она становится еще большей при рассмотрении вопроса о взаимоотношениях между привилегированными и эксплуатируемыми классами.

Люди, страдающие во имя идеала, всегда внушали восхищение; идти на страдание во имя дела, не смиряясь, но и не боясь ответного удара,— в этом есть некое благородство и величие, которые нельзя не признать. И все же лишь тонкая линия отделяет такое страдание от страдания ради самого страдания, а этот последний вид добровольного страдания имеет тенденцию приобретать патологический и даже несколько принижающий характер. Если насилие часто бывает садистским, то ненасилие, по крайней мере в его негативных формах, грешит, вероятно, в противоположном направлении. Кроме того, всегда имеется возможность, что ненасилием станут прикрывать трусость, бездействие, а также стремление сохранить статус кво.

В Индии за последние несколько лет, с тех самых пор, как идея о радикальных социальных изменениях приобрела известное значение, часто говорилось, что такие изменения обязательно влекут за собой применение насилия и поэтому их нельзя защищать. О классовых конфликтах не следует упоминать (даже если они и существуют), ибо они ослабляют перспективу гармоничного сотрудничества и неспасительного продвижения к любой будущей цели. Вполне возможно, что социальную проблему нельзя будет решить, не прибегая на каком-то этапе к насилию, ибо представляется несомненным,

что привилегированные классы не поколеблются прибегнуть к насилию, чтобы сохранить свое привилегированное положение. Но теоретически, если с помощью ненасильственных методов можно осуществить большие политические преобразования, то почему нельзя добиться этим методом и коренных социальных преобразований? Если ненасилие поможет нам добиться политической свободы и устранить из Индии английский империализм, то почему бы нам не разрешить таким же образом и проблему феодальных князей и помещиков и другие социальные проблемы и не создать социалистическое государство? Вопрос, собственно, не в том, возможно ли добиться всего этого ненасильственными методами. Суть в том, что ненасильственным путем можно достичь либо обеих этих целей, либо ни одной. Разумеется, нельзя сказать, что ненасильственный метод может быть использован только против иностранного правителя. *Prima facie* его, должно быть, гораздо легче использовать внутри страны, против местных своекорыстных интересов и обструкционистов, ибо на них он должен оказать более сильное психологическое воздействие.

Появившаяся в последнее время в Индии тенденция осуждать ту или иную цель и политический курс просто потому, что они якобы противоречат ненасилию, кажется мне извращением правильного подхода к таким проблемам. Пятнадцать лет назад мы прибегли к тактике ненасилия, потому что она сулила привести нас к нашей цели наиболее желательным и действенным способом. В ту пору цель существовала независимо от ненасилия; она не была лишь придатком или результатом его. Никто не мог бы тогда сказать, что к свободе или независимости следует стремиться лишь в том случае, если они достижимы ненасильственными средствами. Но ныне к самой нашей цели подходят с мерками ненасилия, и если кажется, что она не отвечает этим меркам, ее отвергают. Таким образом, идея ненасилия становится застывшей догмой, которую нельзя оспаривать. В качестве таковой она утрачивает свою притягательную силу для разума и занимает свое место среди догматов веры и религии. Она даже становится опорой привилегированных групп, которые используют ее для сохранения статус кво.

Это весьма прискорбно, ибо, как я все же считаю, идеи ненасильственного сопротивления и ненасильственные методы борьбы имеют большую ценность как для Индии, так и для остального мира, и Гандиджи оказал огромную услугу человечеству, заставив его обратить на них внимание. Я думаю, что их ждет большое будущее. Быть может, человечество еще недостаточно продвинулось вперед, чтобы усвоить их во всей полноте. «Вы предлагали свой дар предвидения, эту яркую свечу, слепым,— говорит один из персонажей «Interpreters»,— но что с ней делать слепым, если только ее нельзя использовать в качестве дубинки?» В настоящее время предвидение может

и не осуществиться в достаточной мере, но, как это бывает со всеми великими идеями, его влияние будет расти и оно будет все больше отражаться на наших действиях. Несотрудничество, отказ сотрудничать с государством или обществом, которое считается дурным, является сильной и действенной идеей. Даже если его практикует лишь горстка высоко нравственных лиц, его эффект распространяется и продолжает усиливаться. При участии большого числа лиц внешний эффект становится более заметным, но появляется тенденция, в силу которой моральную проблему заслоняют другие факторы. По видимому, расширение этого движения неблагоприятно отражается на его силе. Человеческий коллектив постепенно отесняет личность.

Однако упор на чистое ненасилие сделал этот метод несколько расплывчатым и оторванным от жизни, и люди либо слепо и благоговейно принимают его, либо отвергают полностью. Интеллектуальный элемент отступил на задний план. В 1920 году ненасилие оказало сильное воздействие на террористов в Индии и отвлекло многих из их рядов; даже тех, кто остался, превалировали сомнения, и они прекратили свою насильственную деятельность. Сейчас оно не оказывает на них такого влияния. Даже многие видные члены Конгресса, игравшие важную роль в движениях несотрудничества и гражданского неповиновения и искренне старавшиеся до конца придерживаться ненасильственного метода, рассматриваются ныне как еретики, которым не место в Конгрессе, ибо они не намерены рассматривать ненасилие как веру и религию или отказываться от единственной цели, к которой, на их взгляд, стоит стремиться, — от социалистического государства, обеспечивающего всем равные права и возможности, от планового общества, которое возможно лишь при условии уничтожения большинства существующих в настоящее время привилегий и прав собственности. Гандиджи, разумеется, остается жизненно важной силой, и его ненасилие носит динамический и действенный характер; никто не знает, когда он может опять гальванизировать страну, придав ей поступательное движение. Его величие, противоречивость и способность двигать массами поднимают его над обычными людьми. К нему нельзя подходить с теми же мерками или судить о нем так, как мы стали бы судить о других. Но многие из тех, кто объявляет себя его последователем, проявляют тенденцию стать пассивными пацифистами, или непротивленцами, подобно толстовцам, или просто членами узкой секты, не соприкасающейся с жизнью и действительностью. Они собирают вокруг себя довольно большое число людей, которые заинтересованы в сохранении существующего порядка и прикрываются с этой целью ненасилием. Так прокрадывается оппортунизм, и попытка обратить противника приводит к тому, что человек сам претерпевает обращение и становится на сторону противника. Когда

энтузиазм спадает и мы слабеем, всегда возникает тенденция несколько вернуться назад, прийти к компромиссу, и бываеи утешительно называть это искусством одержания победы над противником. Подчас мы одерживаем эту победу за счет наших старых товарищей. Мы осуждаем их сумасбродное поведение, их высказывания, которые раздражают наших новых друзей, и обвиняем их в нарушении единства наших рядов. Упор делается не на действительное изменение общественного строя, а на милосердие и благожелательность в рамках существующей системы при сохранении прежнего положения привилегированных групп.

Я убежден, что Гандиджи оказал нам большую помощь, подчеркнув значение этих средств. И все же я уверен, что упор следует делать на конечную и ближайшую цель. Если мы не сумеем ясно представить их себе, мы сможем лишь бесцельно метаться, тратя свою энергию на маловажные побочные вопросы. Однако средства нельзя игнорировать, ибо совершенно независимо от моральной стороны они имеют и практическую сторону. Плохие и безнравственные средства часто губят цель или создают новые огромные проблемы. В конечном счете мы можем правильно судить о человеке не по провозглашаемой им цели, а по тем средствам, которые он применяет. Применение таких средств, которые приводят к ненужному конфликту и к разжиганию ненависти, вероятно, затруднит и отдалит достижение цели. Собственно, цель и средства так тесно связаны между собой, что их вряд ли можно разделить. Поэтому средства должны содействовать ослаблению конфликтов и ненависти или, во всяком случае, давать возможность ограничить их (ибо они представляются неизбежными) и поощрять доброжелательство. Но это уже скорее вопрос мотивов, намерений и темперамента, нежели некоего конкретного метода. На этот основной мотив делает упор Гандиджи, и если ему не удалось изменить сколько-нибудь заметно человеческую природу, то все же он сумел с поразительным успехом внушить этот мотив большому национальному движению, охватывающему миллионы людей. Его настойчивое подчеркивание необходимости строгой моральной дисциплины также было весьма важным, хотя предлагаемые им нормы этой индивидуальной дисциплины являются, пожалуй, спорными. Он придает огромное значение личным прегрешениям и слабостям и очень небольшое — социальным прегрешениям. Необходимость этой дисциплины очевидна, ибо многие конгрессисты поддались соблазну покинуть массы и примкнуть к привилегированным группам, занимающим влиятельное положение. Для видного конгрессиста дверь в эту обетованную землю всегда открыта.

Весь мир бьется сейчас в тисках различных кризисов, но величайшим из них является кризис духа. Особенно это ощущается на Востоке, ибо в последнее время изменения в Азии

совершаются быстрее, чем в других местах, и процесс приспособления является мучительным. Политическая проблема, как будто играющая преобладающую роль в данных условиях, пожалуй, является наименее значительной из всех, хотя для нас это проблема первоочередной важности, и ее необходимо удовлетворительно решить, прежде чем браться за решение насущных проблем. На протяжении минувших веков мы привыкли к почти неизменному социальному порядку, и многие из нас все еще верят, что он является единственно возможной и правильной основой общества, и связывают с ним свои понятия о нравственности. Но наши попытки увязать прошлое с настоящим неизбежно терпят неудачу. «В конечном счете,— писал американский экономист Веблен,— экономические потребности порождают экономическую мораль». Нужды сегодняшнего дня заставят нас выработать новую мораль, соответствующую этим нуждам. Если мы хотим найти выход из этого кризиса духа и осознать, что именно следует считать в наши дни истинными моральными ценностями, нам придется открыто и смело взяться за решение проблем, а не укрываться за догматы какой бы то ни было религии. То, что говорит религия, может быть хорошим или плохим, но то, как она это говорит, желая, чтобы мы уверовали в ее догматы, несомненно, не побуждает к рационалистическому изучению какой-либо проблемы. Как указывал Фрейд, религиозные догматы «заслуживают того, чтобы в них верили: во-первых, потому, что в них уже верили наши далекие предки, во-вторых, потому, что мы располагаем доказательствами, которые мы унаследовали от этого самого периода древности, и, в-третьих, потому, что в их истинности вообще запрещено сомневаться».

Если мы рассматриваем ненасилие и все, что оно влечет за собой, с религиозной, догматической точки зрения, то здесь нет места спорам. Оно превращается в узкое кредо некоей секты, которое люди могут либо принимать, либо не принимать. Оно утрачивает жизнеспособность и становится неприменимым к проблемам современности. Но если мы готовы обсуждать его в связи с существующими условиями, то оно может оказать нам большую помощь в наших попытках перестроить этот мир. При этом следует принимать во внимание природу и слабости человеческого коллектива. На любую деятельность, проводимую в массовом масштабе, и особенно на деятельность, ставящую своей целью радикальные и революционные изменения, оказывает влияние не только то, что думают о ней лидеры, но также и существующие условия и в еще большей мере то, что думают о ней те массы, с которыми этим лидерам приходится работать.

Насилие играло большую роль в мировой истории. Сейчас оно играет столь же важную роль и, вероятно, будет ее играть еще в течение значительного времени. В прошлом большинство изменений вызывалось насилием и принуждением. В. Ю. Глад-

стон некогда сказал: «К сожалению, я вынужден заявить, что, если бы в периоды политических кризисов народу нашей страны проповедовали только ненависть к насилию, любовь к порядку и терпение, наша страна никогда не обрела бы своих свобод».

Игнорировать значение насилия в прошлом и настоящем невозможно. Это значило бы игнорировать жизнь. Однако насилие, несомненно, вещь плохая и влечет за собой нескончаемую цепь отрицательных последствий. А еще хуже насилия — те мотивы ненависти, жестокости, мести и наказания, которые очень часто сопутствуют насилию. Собственно, насилие плохо не само по себе, а в силу этих мотивов. Может существовать насилие и не диктуемое этими побуждениями; насилие возможно как в плохих, так и в хороших целях. Но отделить насилие от этих мотивов крайне трудно, и поэтому желательно по возможности избегать насилия. Тем не менее, избегая его, нельзя занимать негативную позицию, покоряясь другому, гораздо большему злу. Покорность насилию или принятие несправедливого режима, основанного на насилие, как раз и является отрицанием духа ненасилия. Ненасильственный метод оправдан лишь в том случае, если он является динамичным и способен изменить такого рода режим или общественный строй.

Можно это сделать или нет — я не знаю. Мне думается, что ненасилие может далеко продвинуть нас, но я сомневаюсь, чтобы оно могло привести нас к конечной цели. Во всяком случае, какая-то форма принуждения кажется неизбежной, ибо люди, удерживающие власть и привилегии, не откажутся от них, пока их не заставят это сделать или пока не будут созданы такие условия, когда для них будет безопаснее отдать эти привилегии, нежели сохранять их. Нынешние противоречия в обществе, как национальные, так и классовые, могут быть устранены лишь с помощью принуждения. Разумеется, необходимо широко применять и метод убеждения, ибо, пока не будет убеждено значительное число людей, движение за социальные преобразования не может иметь реальной основы. Но по отношению к некоторым будет применено принуждение. Будет также несправедливо, если мы станем прикрывать эти основные противоречия и доказывать, что они не существуют. Это не только искажает истину, но и непосредственно способствует укреплению существующего порядка, поскольку вводит народ в заблуждение в отношении истинного положения вещей и дает правящим классам моральные основания, которых они всегда ищут, дабы оправдать свои особые привилегии. Чтобы бороться с несправедливой системой, нужно разоблачать лживые послышки, на которых она зиждется, и вскрывать действительное положение. Одно из достоинств несотрудничества заключается в том, что оно разоблачает эти лживые послышки и ложь, поскольку мы отказываемся покориться им или способствовать их распространению.

Нашей конечной целью может быть лишь бесклассовое общество, обеспечивающее всем равную экономическую справедливость и возможности, общество, организованное на плановой основе, стремящееся поднять человечество на более высокий материальный и культурный уровень, дабы оно могло посвятить себя развитию духовных ценностей, способствовать выработке таких черт, как сотрудничество, бескорыстие, чувство долга, стремление поступать справедливо, доброжелательство и любовь, то есть в конце концов могло бы прийти к мировому порядку. Все, что препятствует этому, придется устранить — если возможно, мягкостью, а в случае необходимости и насильственными средствами. Повидимому, почти не приходится сомневаться, что придется часто прибегать к принуждению. Но сила не должна использоваться в духе ненависти или жестокости, и ей должно сопутствовать страстное желание устранить противодействие. Это нелегкая задача; легкого пути нет, и впереди ждет множество ловушек. Трудности не исчезнут оттого, что мы станем их игнорировать; напротив, мы должны осознать их истинный характер и смело взглянуть им в лицо. Все это звучит фантастично и утопично, и в высшей степени невероятно, чтобы этими благородными побуждениями могли руководствоваться многие. Но мы должны иметь их в виду и подчеркивать их, и, возможно, мало-помалу они ослабят ненависть и страсти, терзающие большинство из нас.

Наши методы должны вести к этой цели и основываться на этих мотивах. Но мы должны также осознать, учитывая человеческую природу, что люди в своей массе не всегда будут откликаться на наши призывы и убеждения или действовать в соответствии с высокими моральными принципами. В дополнение к убеждению придется часто прибегать к принуждению, и лучшее, что мы можем сделать, — это ограничить принуждение и использовать его таким образом, чтобы зло было наименьшим.

Глава шестьдесят четвертая

СНОВА В ТЮРЬМЕ ДЕХРА-ДУН

Я неважно себя чувствовал в Алипурской тюрьме. Я очень похудел, калькуттский климат и усиливавшаяся жара угнетали меня. Ходили слухи, что меня собираются перевести в другое место, с лучшим климатом. 7 мая мне предложили собрать вещи и выйти из тюрьмы. Меня направляли в тюрьму Дехра-Дун. После нескольких месяцев одиночного заключения поездка по Калькутте в прохладном вечернем воздухе была очень приятной, а толпы на большом вокзале Хауры пленяли мой взор.

Я радовался, что меня переводят, предвкушал снова увидеть Дехра-Дун и прилегающие горы. Прибыв на место, я обнаружил, что кое-что изменилось с того времени, когда я девять месяцев назад уехал отсюда в Нанни. Мне отвели новое помещение, бывший хлев, очищенный и приспособленный под камеру.

Как тюремная камера помещение было неплохое; к нему примыкала маленькая веранда. Имелся там и небольшой двор, достигавший в длину около 50 футов. Камера была лучше той, которую я занимал раньше в Дехре, но вскоре я убедился, что другие перемены были к худшему. Стена вокруг тюрьмы, достигавшая прежде десяти футов, была незадолго перед тем надстроена — специально для меня — еще на четыре-пять футов. Холмы, о которых я так мечтал, были полностью скрыты, и я мог видеть лишь верхушки нескольких деревьев. Я пробыл в этой тюрьме свыше трех месяцев и за все это время ни разу не видел гор, хотя бы на мгновение. Мне не разрешали гулять за воротами тюрьмы, как это бывало раньше, и считалось, что для прогулок вполне достаточно моего маленького двора.

Эти и другие новые ограничения обманули мои надежды, и я испытывал раздражение. Меня охватила апатия и не хотелось даже гулять по двору. Вряд ли когда-либо еще я чувствовал себя таким одиноким и оторванным от мира. Одиночное заключение начало сказываться на моих нервах, и я чувствовал упадок как физических, так и духовных сил. Я знал, что за стеной, всего в нескольких футах от меня, были прохлада и аромат, свежий запах трав, влажной земли и широкие гори-

зонты. Но все это было недостижимым, и в моем взоре сквозили усталость и тоска от вида одних и тех же стен. Там не было даже обычного движения, свойственного жизни в тюрьме, так как меня содержали одного, отдельно от всех заключенных.

Через шесть недель начался период муссонов и полили сильные дожди, за первую же неделю выпало двенадцать дюймов осадков. В воздухе совершилась какая-то перемена и ощущалось дыхание новой жизни; жара спала, и тело чувствовало облегчение и отдых. Но ни для глаз, ни для души отдыха не было. Порой железные ворота моего двора приоткрывались, чтобы впустить или выпустить кого-либо из тюремщиков, и на несколько секунд я видел внешний мир — зеленые поля и деревья, усыпанные яркими цветами, на которых сверкали жемчужные дождевые капли, — но лишь на мгновение, а затем все это исчезало, подобно вспышке молнии. Вряд ли эти ворота когда-либо распахивались настежь. Очевидно, тюремщики получили приказ не открывать их, если я находился где-либо поблизости, или, в случае необходимости, лишь немного приоткрывать их. Эти короткие мгновения, когда я мог бросить взгляд на свежую зелень, вряд ли приносили мне облегчение. Этот вид вызывал у меня тоску по дому, острую боль в сердце, и я даже избегал выглядывать, когда ворота открывались.

Но во всех этих горестях была, собственно, повинна не тюрьма, хотя она и усугубляла их. Это была реакция на внешние события — болезнь Камалы и беспокойство о политических делах. Я начинал сознавать, что Камала вновь находится во власти своей старой болезни, и я чувствовал себя беспомощным и неспособным что-либо сделать для нее. Я знал, что будь я с ней, положение было бы иным.

В отличие от Алипурской тюрьмы, в тюрьме Дехра-Дун мне доставляли ежедневную газету, которая держала меня в курсе политических и других событий. В Патне после почти трехлетнего перерыва собрался Исполнительный комитет Конгресса (большую часть этого времени он был вне закона), и его работа оставляла гнетущее впечатление. Меня удивило, что после всех событий, которые произошли в Индии и во всем мире, на первом заседании не было сделано ни малейшей попытки дать оценку положения, всесторонне обсудить события и попытаться выбраться из старой колена. Как казалось со стороны, Гаидиджи сохранил свои прежние диктаторские замашки: «Если вы решили следовать за мной, вы должны принять мои условия», — заявил он. Его требование было вполне естественным, ибо нельзя же было заставить или просить его действовать вопреки его твердым убеждениям. Но все же, повидимому слишком много навязывалось сверху и слишком мало решалось путем обсуждения и совместной разработки политического

курса. Странно, что Гандиджи подавляет инициативу, а потом жалуется на беспомощность людей. Мне думается, что мало к кому проявлялась такая преданность и повиновение в массовом масштабе, как к нему, и, повидимому, вряд ли справедливо упрекать массы за то, что они не отвечают тем высоким требованиям, которые он предъявляет к ним. Он даже не остался до конца совещания в Патпе, так как ему цужно было продолжать поездку, предпринятую им в связи с проведением движения в защиту хариджанов. Он предложил Исполнительному комитету Конгресса не терять зря времени и быстро одобрить резолюции, внесенные Рабочим комитетом, и затем уехал.

По всей вероятности, продолжительное обсуждение не улучшило бы положение дел. У членов комитета не было абсолютно никакой ясности, среди них явно царило смятение, и, хотя многие были готовы критиковать, почти никаких конструктивных предложений не было внесено. В тех условиях это было естественно, ибо тяжесть борьбы ложилась главным образом на плечи лидеров из различных провинций, и они несколько устали и пали духом. Они смутно ощущали, что нужно крикнуть «стой», что гражданское неповиновение следует прекратить. Но что дальше? В связи с этим наметились две группы: одна высказывалась за чисто конституционную деятельность в законодательных органах, другая придерживалась несколько расплывчатых социалистических тенденций. Большинство членов комитета не примыкало ни к той, ни к другой из этих групп. Им был не по душе возврат к конституционализму, и в то же время социализм несколько пугал их; им казалось, что это может привести к расколу в их рядах. У них не было конструктивных идей, и их единственной надеждой и якорем спасения был Гандиджи. Как и в прежнее время, они обращались к нему и следовали его указаниям, даже если многие из них и не вполне одобряли то, что он говорил. А поскольку Гандиджи поддерживал умеренные, конституционные элементы, последние главенствовали в комитете и в Конгрессе.

Всего этого следовало ожидать. Но реакция отбросила Конгресс дальше, чем я думал. Никогда еще за последние пятнадцать лет со времени зарождения движения несотрудничества лидеры Конгресса не высказывались в столь ультраконституционном духе. Даже сварджистская партия середины 20-х годов, которая сама явилась продуктом реакции, была значительно более передовой, нежели новое руководство. Кроме того, теперь не было таких влиятельных личностей, какие имела сварджистская партия. Многие лица, упорно державшиеся в стороне от этого движения, пока участие в нем было рискованным, теперь влились в его ряды и приобрели вес.

Правительство отменило указ о запрещении Конгресса, и он стал легальной организацией. Однако многие из входивших в него или примыкавших к нему организаций оставались неле-

гальными, как, например, организация конгрессиетских добровольцев Сева Дал, а также многочисленные организации Кисан сабха, которые представляли собой полунезависимые крестьянские союзы, и ряд просветительных учреждений и молодежных союзов, включая одну детскую организацию. В частности, вне закона все еще находились «Худай Хидматгар», или, как их называют, пограничные «краснорубашечники». Эта организация волилась в Конгресс в 1931 году и представляла его в Пограничной провинции. Таким образом, хотя Конгресс полностью отказался от такой формы борьбы, как прямые действия, и вернулся к конституционным методам, правительство сохранило все специальные законы, направленные против гражданского неповиновения, и даже оставило в силе запрещение деятельности важных конгрессиетских организаций. Особое внимание уделялось также подавлению крестьянских организаций и рабочих союзов. Интересно, что в то же время высокопоставленные правительственные чиновники призывали земиндаров и помещиков создавать свои организации. Этим помещичьим организациям предоставлялись все необходимые условия. В Соединенных провинциях членские взносы двух крупнейших помещичьих организаций собирали официально агентство одновременно со сбором земельного и других налогов.

Боюсь, что индусские и мусульманские общинные организации никогда не пользовались моим особым расположением, но один эпизод особенно настроил меня против Хинду Махасабхи. Один из ее секретарей поспешил одобрить сохранение в силе указа о запрещении «краснорубашечников», похвалив правительство за это. Это одобрение ликвидации самых элементарных гражданских прав в момент, когда никакого активного движения не было, поразило меня. Если отвлечься от принципиальной стороны этого вопроса, то следует учесть хотя бы тот хорошо известный факт, что жители Пограничной провинции замечательно вели себя в эти годы борьбы, а их лидер Абдул Гаффар-хан, один из самых мужественных и честных людей в Индии, все еще находился в тюрьме в качестве государственного преступника, которого содержали в заключении без всякого суда. Мне казалось, что едва ли можно было зайти дальше в своем религиозно-общинном предубеждении, и я ожидал, что более видные лидеры Хинду Махасабхи поспешат отмежеваться в этом вопросе от своего коллеги. Но, насколько я смог выяснить, ни один из них и словом не обмолвился об этом.

Я был очень расстроен заявлением секретаря Хинду Махасабхи. Оно было само по себе уже достаточно плохим, но мне оно казалось к тому же отражением нового положения дел в стране. Мне вспоминается, как, утомленный послеполуденным летним зноем, я задремал и мне приснился странный сон. На Абдул Гаффар-хана нападали со всех сторон, и я защищал его.

Я проснулся измученный и очень несчастный, моя подушка была влажной от слез. Это удивило меня, ибо в нормальном состоянии я не был подвержен подобным эмоциональным вспышкам.

Очевидно, в те дни мои нервы были сильно расшатаны. Сон мой стал беспокойным и тревожным, что было совершенно необычно для меня; меня посещали всевозможные кошмары. Иногда я кричал во сне. Однажды крик был, очевидно, более сильным, чем обычно, и когда я внезапно проснулся, то увидел у своей постели двух тюремщиков, несколько обеспокоенных поднятым мною шумом. Мне снилось, что меня душат.

Примерно в это же время на меня произвела очень тяжелое впечатление одна резолюция Рабочего комитета. Было заявлено, что эта резолюция принята «в связи с безответственными разговорами о конфискации частной собственности и необходимости классовой войны». В ней содержалось напоминание конгрессистам, что резолюция, принятая в Карачи, «не предусматривает конфискации частной собственности без веских оснований или без компенсации и не стремится к классовой войне. Рабочий комитет считает далее, что конфискация и классовая война противоречат конгрессистскому кредо ненасилия». Резолюция была составлена неряшливо и свидетельствовала о некотором непонимании ее авторами того, что такое классовая война. Она явно была направлена против недавно созданной конгрессистской социалистической партии. В сущности ни один из ответственных членов этой группы не говорил о конфискации; однако ссылки на существование классовой войны в нынешних условиях были частыми. Резолюция Рабочего комитета, казалось, подразумевала, что всякий верящий в существование этого классового конфликта, не может быть даже рядовым членом Конгресса. Никто никогда не обвинял Конгресс в том, что он становится на социалистический путь или выступает против частной собственности. Некоторые его члены придерживались этих мнений, но ныне оказывалось, что им не место даже среди рядовых членов этой всеобъемлющей национальной организации.

Часто говорилось, что Конгресс представляет нацию, включая все группы и интересы, от князя до нищего. Национальные движения нередко претендуют на такое представительство, вероятно подразумевая под этим, что они представляют огромное большинство нации и что их политика идет на благо всем группам. Но на первый взгляд это утверждение кажется несостоятельным, ибо ни одна политическая организация не может представлять противоречивые интересы, не превращаясь при этом в слабую, аморфную массу, лишенную ясных и характерных черт. Конгресс — это либо политическая партия, преследующая определенную (или не совсем ясную) цель и стремящаяся к достижению политической власти, чтобы использовать

ее на благо нации, либо всего лишь благотворительная гуманистическая организация, не имеющая собственных взглядов, желающая лишь добра всем. Он может представлять только тех, кто согласен с такой целью и стремлениями, а те, кто противится этому, будут, вероятно, рассматриваться им как антинациональные или же антисоциальные и реакционные элементы, влияние которых следует ослабить или устранить, дабы он мог претворить в жизнь свои стремления. Правда, национальное антиимпериалистическое движение предлагает широкую основу для соглашения, поскольку оно не затрагивает социальных конфликтов. Таким образом, Конгресс действительно представлял в различной степени огромное большинство населения Индии и вовлекал в свою орбиту всевозможные группы с разными воззрениями, объединенные лишь общей ненавистью к империализму, но даже и в этом вопросе существовали большие различия. Те, кто иначе смотрел на этот основной вопрос об антиимпериализме, оставались вне Конгресса и держались — также в различной степени — на стороне английского правительства. Таким образом, Конгресс стал своего рода постоянным конгрессом всех партий, состоящим из большого числа разных групп, примыкающих одна к другой и сплавляемых одной общей верой и доминирующей личностью Гандиджи.

Рабочий комитет пытался впоследствии разъяснить свою резолюцию о классовой войне. Значение этой резолюции заключается не столько в ее формулировках и в установленных ею принципах, сколько в том факте, что она первый раз доказала, каким путем идет Конгресс. Очевидно, резолюция была инспирирована новым парламентским крылом Конгресса, стремившимся заручиться поддержкой имущих слоев населения на предстоящих выборах в Законодательное собрание. Под их давлением Конгресс все больше отходил вправо и старался привлечь к себе умеренные и консервативные элементы населения. Со словами примирения обращались даже к тем, кто в прошлом враждебно относился к конгрессистскому движению, а во время кампании гражданского неповиновения стоял на стороне правительства. Считалось, что шумное и критически настроенное левое крыло мешает этому процессу примирения и «обращения», и резолюция Рабочего комитета, как и многие индивидуальные высказывания, ясно показывала, что Исполнительный комитет Конгресса не позволит, чтобы эта критика слова совлекла его с нового пути. Если левые не будут вести себя как подобает, их одернут и удалят из рядов Конгресса. Манифест, выпущенный парламентским комитетом Конгресса, содержал программу, которая была гораздо более осторожной и умеренной, нежели любая программа, принятая Конгрессом в течение последних пятнадцати лет.

В руководстве Конгресса, даже если не считать Гандиджи, было много известных лиц, активно участвовавших в нацио-

нальной борьбе за свободу, людей, уважаемых по всей стране за их честность и бесстрашие. Но новая политическая ориентация выдвинула во второй и даже в первый ряд Конгресса много таких людей, которых вряд ли можно было назвать идеалистами. Разумеется, в рядах Конгресса было немало и идеалистов, но теперь для карьеристов и оппортунистов дверь была открыта шире, чем когда-либо раньше. Если не касаться неопостижимой и загадочной личности Гандиджи, которая доминировала над всем, то у Конгресса было как бы два лица: в чисто политическом отношении он начинал походить на некий парламентский партийный комитет, а с другой стороны, он напоминал молитвенное собрание, исполненное набожности и сентиментальности.

Правительственные круги не пытались скрыть своего торжества по поводу того, что они считали успехом своей политики подавления гражданского неповиновения и связанных с ним движений. Операция прошла успешно, и в данный момент было не так уж важно, выживет больной или умрет. Они намеревались продолжать ту же политику с незначительными вариациями, несмотря на то, что им удалось в то время до некоторой степени усмирить Конгресс. Они знали, что до тех пор, пока основная проблема остается нерешенной, такие изменения в национальной политике могут быть лишь временными, и всякое послабление с их стороны могло бы привести только к его более быстрому росту. Быть может, они также думали, что, продолжая подавлять наиболее передовые элементы в Конгрессе или в рядах рабочих и крестьян, они не слишком обидят более осторожных лидеров Конгресса.

Мои мысли в тюрьме Дехра-Дун развивались в известной мере в этом направлении. Я, собственно, не мог составить определенного мнения относительно хода событий, ибо я был не в курсе их. В Алипуре я почти полностью был оторван от всего, в Дехре газета, разрешенная правительством, давала неполные и иногда односторонние сведения. Вполне возможно, что общение с коллегами, находившимися на свободе, и более внимательное изучение положения заставили бы меня несколько пересмотреть свое мнение.

Так как настоящее угнетало меня, я обратился мыслями к прошлому, к тем политическим событиям в Индии, которые произошли с того времени, как я начал принимать некоторое участие в общественной деятельности. Насколько мы были правы в своей деятельности? В чем мы ошибались? Мне пришло в голову, что было бы правильнее и полезнее, если бы я изложил свои мысли на бумаге. Кроме того, мой ум был бы занят определенной работой, и я отвлекся бы от тревог и уныния. В такой обстановке в июне 1934 года я приступил в тюрьме Дехра-Дун к этому «автобиографическому повествованию» и в течение последних восьми месяцев продолжал писать, когда у меня по-

являлось настроение это делать. Часто бывали перерывы, когда я не испытывал желания писать; три таких перерыва длились почти по месяцу каждый. Но я все же ухитрялся продолжать, и сейчас я приближаюсь к концу этого личного страдания. Большая часть этой книги была написана в весьма гнетущих условиях, когда я находился в подавленном и напряженном состоянии. Быть может, это отчасти отразилось на том, что я написал, но сама работа очень помогла мне отвлечься от настоящего со всеми его тревогами. Когда я писал, я вряд ли думал о читателях; я обращался к себе самому, ставя вопросы и отвечая на них для себя лично, иногда даже находя в этом некоторое удовольствие. Я хотел по возможности говорить чисто-сердечно и полагал, что такой обзор прошлого может помочь мне в этом.

К концу июля состояние здоровья Камалы резко ухудшилось и через несколько дней стало критическим. 11 августа мне неожиданно предложили покинуть тюрьму Дехра-Дун, и в ту же ночь меня отправили в сопровождении полиции в Аллахабад. Вечером следующего дня мы прибыли на Прайягский вокзал в Аллахабаде, и там магистрат округа сообщил мне, что меня временно освобождают, чтобы я мог посетить больную жену. С момента моего ареста прошло ровно шесть месяцев.

Глава шестьдесят пятая

ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ

*Ибо меч перетирает ножны,
А душа терзает болью грудь.*

Байрон.

Мое освобождение было временным. Мне дали понять, что меня освобождают всего на один-два дня или на несколько более продолжительный срок, если врачи сочтут это абсолютно необходимым. Это было страшное, неопределенное положение, и я не мог ничем заняться. Если бы был установлен какой-то определенный срок, я знал бы, на что могу рассчитывать, и постарался бы приспособиться к своему положению. Теперь же меня могли в любой день и в любой момент вернуть обратно в тюрьму.

Перемена была внезапна, и я был совершенно не подготовлен к ней. Из одиночного заключения — в дом, где было полно врачей, сиделок и родственников. Из Сантиникетана приехала моя дочь Индира. Меня непрерывно навещали многие друзья, приходившие повидаться со мной и справиться о здоровье Камалы. Мой образ жизни тоже резко переменялся: здесь были домашний уют, хорошее питание. Но все было омрачено тревогой за Камалу, положение которой было серьезно.

Она лежала такая хрупкая и слабая, что напоминала собственную тень. Она слабо сопротивлялась болезни, и мысль о том, что я могу потерять ее, стала неотвязным кошмаром. Со дня нашего брака прошло восемнадцать лет, и я возвращался мысленно к этому дню и ко всему, что принесли нам последующие годы. Мне было в то время двадцать шесть лет, а ей — около семнадцати, это была девочка, совершенно неискушенная в житейских делах. Разница в нашем возрасте была значительной, но еще большей была разница в нашем духовном развитии, ибо я был много взрослее ее. Однако при всей моей видимой житейской мудрости во мне было много мальчишеского, и я вряд ли сознавал, что ее тонкий, чувствительный девичий ум развевывался медленно, подобно цветку, и нуждался в любовном и заботливом уходе. Мы испытывали

взаимное влечение, и у нас были неплохие отношения, но мы выросли в разном окружении и поэтому не всегда умели понять друг друга. Эти различия приводили иной раз к трениям, и между нами бывало много мелких раздоров по пустякам, детских ссор, которые продолжались недолго и завершались быстрым примирением. Мы оба отличались вспыльчивостью, чувствительностью и имели детские понятия о поддержании собственного достоинства. Несмотря на это, наша взаимная привязанность росла, хотя мы лишь медленно осваивались друг с другом. Через двадцать один месяц после свадьбы родилась наша единственная дочь Индира.

Наш брак почти совпал с новыми политическими событиями, и я стал уделять политике все больше времени. Это было время борьбы за самоуправление, а вскоре за этим последовало введение военного положения в Пенджабе и движение несотрудничества, и меня все больше затягивала суэта общественной деятельности. Я настолько увлекся ею, что, сам не сознавая того, почти совсем забросил Камалу, предоставив ее самой себе как раз в то время, когда ей особенно требовалась моя поддержка. Моя привязанность к ней сохранилась и даже возросла, и для меня было большим утешением знать, что она находится поблизости и может помочь мне своим умиротворяющим влиянием. Она придавала мне силы, но сама, должно быть, страдала и чувствовала себя немного заброшенной. Пожалуй, ей было бы легче сносить отсутствие доброты, чем это невнимание и небрежность.

Затем началась ее часто обострявшаяся болезнь и долгие периоды моего пребывания в заключении, когда мы могли видеться лишь во время свиданий в тюрьме. Движение гражданского неповиновения выдвинуло ее в первые ряды наших борцов, и она радовалась, когда тоже попала в тюрьму. Мы становились все ближе друг другу. Наши редкие встречи стали драгоценными, и мы предвкушали их и считали оставшиеся дни. Мы не могли ни надоест друг другу, ни охладеть, ибо нашим встречам и кратковременным периодам совместной жизни всегда были присущи свежесть и новизна. Каждый из нас постоянно открывал в другом что-то новое, хотя, быть может, по временам эти новые открытия и бывали нам не по вкусу. Даже в наших теперешних разногласиях было что-то детское.

После восемнадцати лет супружеской жизни Камала все еще сохраняла свой девичий облик; в ней не было никакой солидности. Она легко могла сойти за ту невесту, которая столько лет назад вступила в наш дом. Однако я сильно изменился, и хотя для своего возраста был достаточно крепок, подвижен и активен и, как мне говорили, у меня еще сохранились некоторые юношеские черты, но моя внешность выдавала мой возраст. Я начал лысеть, волосы мои поседели, а лицо избороздили морщины, под глазами были темные круги. Последние



КАМАЛА ДЕВИ

четыре года с их горестями и заботами наложили на меня свой отпечаток. В последние годы, когда мы с Камалой появлялись среди незнакомых, ее, к моему смущению, часто принимали за мою дочь. Они с Индирой казались сестрами.

18 лет супружеской жизни! Но сколько из них я провел в тюремной камере, а Камала в больницах и санаториях! А теперь я вновь отбывал тюремное заключение и был выпущен всего на несколько дней, а она лежала больная, борясь за жизнь. Я был немного сердит на нее за беззаботное отношение к своему здоровью. И все же как я мог порицать ее, если ее беспокойный дух терзался вынужденным бездействием и неспособностью принять полное участие в национальной борьбе. И так как состояния здоровья не позволяло ей сделать это, она не могла отдаться как следует ни работе, ни лечению, и внутренний огонь сжигал ее.

Неужели она покинет меня теперь, когда я особенно нуждался в ней? Ведь мы только начали по-настоящему узнавать и понимать друг друга; наша совместная жизнь, собственно, только начиналась. Мы так полагались друг на друга, и нам столько нужно было сделать сообща.

Так думал я и следил за ней день за днем, час за часом.

Меня навещали коллеги и друзья. Они рассказывали мне о многом таком, чего я раньше не знал. Они обсуждали текущие политические проблемы и задавали мне вопросы. Я с трудом мог отвечать на них. Мне нелегко было отвлечься от мыслей о болезни Камалы, а после той изолированной и уединенной жизни, которую я вел в тюрьме, я не был в состоянии сразу ответить на конкретные вопросы. Долгий опыт научил меня, что положение нельзя оценивать на основании той ограниченной информации, которую получаешь в тюрьме. Чтобы правильно реагировать на события, нужно было лично соприкасаться с ними, в противном случае всякое мнение было бы, вероятно, чисто академическим и оторванным от действительности. Кроме того, справедливость по отношению к Гандиджи и к моим бывшим коллегам по Рабочему комитету Конгресса требовала, чтобы я не высказывал определенного мнения относительно политики Конгресса, пока не получу возможности обсудить с ними все вопросы. Я критически относился ко многому из того, что было сделано, но я не был готов сделать какие-либо позитивные предложения. Не ожидая, что меня выпустят из тюрьмы именно в это время, я не подготовился к этому.

У меня было также чувство, что, поскольку правительство проявило по отношению ко мне всежливость, разрешив мне навещать жену, мне не подобало использовать это в политических целях. Я не давал никаких обязательств или заверений, что стану избегать подобной деятельности, но, тем не менее, эта мысль все время удерживала меня.

Я избегал выступать с публичными заявлениями, за исключением случаев, когда нужно было опровергнуть лживые слухи, стараясь даже в частных беседах не занимать никакой определенной политической позиции. Но я довольно свободно критиковал минувшие события. Незадолго перед тем в Конгрессе образовалась социалистическая партия, и многие мои близкие товарищи были связаны с ней. Насколько я мог судить, ее общий политический курс отвечал моим воззрениям, но она казалась странным и пестрым сборищем, и, даже если бы я был совершенно свободен, я бы не примкнул к ней сразу. Часть моего времени отнимала местная политическая деятельность, так как в Аллахабаде, как и в некоторых других местах, развернулась крайне ожесточенная борьба во время выборов в местные конгрессистские комитеты. Речь шла не о принципах, а лишь о лицах, и меня просили помочь уладить кое-какие личные ссоры.

У меня не было ни желания, ни времени заниматься этими вопросами. Несмотря на это, мне стали известны некоторые факты, которые очень огорчили меня. Я был удивлен тем, что можно приходиться в такое возбуждение из-за выборов в местные органы Конгресса. Особенно отличались люди, которые некогда прекратили борьбу по различным частным причинам. С отменой гражданского неповиновения эти причины утратили свое значение, и эти люди внезапно выплыли на поверхность; они вели теперь друг против друга яростную и зачастую пошлую кампанию. Удивительно, как под влиянием страстного желания нанести поражение противной стороне забывались самые элементарные правила приличия. Особенно огорчил меня тот факт, что в интересах местных выборов использовалось имя Камалы и даже ее болезнь.

К числу более широких вопросов, подвергавшихся обсуждению, относилось решение Конгресса принять участие в предстоящих выборах в Законодательное собрание. Многие более молодые группы возражали против такого решения, ибо считали это возвратом к парламентским и компромиссным методам, но они не предлагали взамен ничего действительного. Любопытно, что некоторые из этих высоко принципиальных противников не возражали против участия в выборах других организаций. Казалось, что их целью было расчистить поле деятельности для религиозно-общинных организаций.

Вся эта местная возня и тот род политической деятельности, который начал быстро развиваться, внушали мне отвращение. Я был чужд всему этому и казался себе чужим в своем родном городе Аллахабаде. Что я буду делать, думал я, в этой обстановке, когда смогу заняться такими вопросами?

Я написал Гандиджи о состоянии Камалы. Так как я полагал, что мне придется вскоре вернуться в тюрьму и что другой такой случай, возможно, не представится, я также поделился

с ним отчасти своими настроениями. Последние события очень ожесточили и огорчили меня, и это нашло некоторое отражение в моем письме. Я не пытался высказывать предположения, что именно следовало или чего не следовало делать; я лишь объяснил, как я реагировал на некоторые события. В этом письме чувствовалось плохо скрытое волнение, и впоследствии я узнал, что оно очень огорчило Гандиджи.

Дни шли за днями, и я ждал, что меня отправят в тюрьму или что правительство как-то иначе даст знать о своих намерениях. Время от времени меня извещали, что дальнейшие указания будут даны на следующий день или через день. Тем временем врачи просили посылать правительству ежедневные бюллетени о состоянии здоровья моей жены. С момента моего приезда Камала чувствовала себя несколько лучше.

Многие, в том числе и те, кто обычно пользуется доверием правительства, считали, что меня освободили бы совсем, если бы не два предстоящих события — съезд Конгресса, который должен был состояться в октябре в Бомбее, и выборы в Законодательное собрание в ноябре. Если бы я находился на свободе, я мог бы доставить много хлопот, и поэтому казалось вероятным, что меня отправят еще на три месяца в тюрьму, а потом выпустят. Была также возможность, что меня вообще не отправят в тюрьму, и, по мере того как шли дни, эта возможность, казалось, возрастала. Я почти решил окончательно обосноваться.

Это было 23 августа, на одиннадцатый день с момента моего освобождения. К нашему дому подъехала полицейская машина; полицейский офицер вошел ко мне и сказал, что мое время истекло и что я должен следовать за ним в тюрьму Нани. Я простился с родными. Когда я садился в полицейскую машину, моя больная мать подбежала ко мне с протянутыми руками. Лицо ее еще долго преследовало меня.

Глава шестьдесят шестая

СНОВА В ТЮРЬМУ

Тень сама по себе не имеет преград на своем пути, тогда как солнечный свет, в силу самой своей природы, имеет тысячу оттенков. Так и скорбь отделена от счастья; однако пределы счастья ограничены болью и горестями нескончаемой скорби.

Раджатарангини ¹.

Я снова вернулся в тюрьму Наини, и мне казалось, будто начинается новый срок моего заключения. Из тюрьмы на волю, а затем снова в тюрьму — как челнок! Эта вечная необходимость переключаться отражалась на моей нервной системе, и было нелегко приспособливаться к неоднократным переменам. Я ожидал, что в Наини меня поместят в мою старую камеру, к которой я успел привыкнуть за свое долгое пребывание там. Там были цветы, посаженные когда-то моим зятем Ранджитом Пандитом, и хорошая веранда. Но старый барак № 6 был занят каким-то государственным преступником, которого держали в заключении без суда и приговора. Помещать меня с ним считалось нежелательным, и поэтому меня заключили в камеру в другой части тюрьмы, которая была более закрытой и где не было ни цветов, ни зелени.

Впрочем, место, где я проводил свои дни и ночи, имело мало значения, ибо мои мысли витали в другом месте. Я опасался, что после небольшого улучшения здоровье Камалы снова ухудшится в результате моего нового ареста. Так оно и случилось. В течение нескольких дней мне разрешали получать в тюрьме очень краткие ежедневные бюллетени врача. Но они проходили весьма сложный путь. Врач должен был передавать их по телефону в полицейское управление, а оттуда их пересылали в тюрьму. Непосредственный контакт между врачом и тюремной администрацией считался нежелательным. Я получал эти бюллетени в течение двух недель, иногда несколько нерегулярно, а затем они перестали поступать, хотя состояние Камалы постепенно ухудшалось.

¹ «River of Kings», Taranga, VIII verse, 1913.

Из-за плохих вестей и тревожного ожидания дни тянулись нестерпимо долго, а ночи бывали иногда еще хуже. Казалось, что время почти совсем остановилось или движется невыносимо медленно, и каждый час был тягостным и ужасным. Никогда еще я не ощущал этого столь остро. Я полагаю тогда, что меня, вероятно, освободят месяца через два — после Бомбейского съезда Конгресса, но эти два месяца казались вечностью.

Ровно через месяц после моего нового ареста полицейский офицер повез меня повидаться ненадолго с моей женой. Мне сказали, что разрешат посещать ее два раза в неделю, и даже было установлено точное время. Я ждал на четвертый день — однако никто не пришел за мной; на пятый, шестой, седьмой — снова никого. Я устал ждать. До меня доходили известия, что ее состояние вновь становится критическим. Какой жестокой шуткой, думал я, было сказать мне, что меня будут водить к ней дважды в неделю.

Наконец сентябрь окончился. Это были самые долгие и самые ужасные тридцать дней, какие мне когда-либо доводилось пережить.

Через различных посредников мне дали понять, что, если я дам обязательство, хотя бы неофициальное, не заниматься политической деятельностью в течение оставшегося срока моего заключения, меня освободят, чтобы я мог ухаживать за Камалой. В тот момент мои мысли были достаточно далеки от политики, а та политика, которую я наблюдал в течение одиннадцати дней, проведенных за стенами тюрьмы, внушала мне отвращение. Но дать обязательство! Изменить своим клятвам, своему делу, своим товарищам, самому себе! Это было невыполнимое условие, что бы ни случилось. Поступить так означало нанести смертельный удар самому себе, всему, что было для меня святого. Мне говорили, что состояние Камалы все ухудшается и что мое присутствие возле нее, быть может, спасет ее от смерти. Неужели мое личное тщеславие и гордость были сильнее моего желания предоставить ей такую возможность? Это могло бы поставить меня в ужасное положение, но, к счастью, подобная дилемма не стояла передо мной, во всяком случае в такой форме. Я знал, что сама Камала ни за что не одобрила бы такого рода обязательства с моей стороны и, если бы я сделал что-либо подобное, это явилось бы для нее ударом и повредило бы ей.

В начале октября мне снова разрешили навестить ее. Она лежала почти без сил, с высокой температурой. Ей страстно хотелось, чтобы я был возле нее, но, когда я покидал ее, чтобы вернуться в тюрьму, она мужественно улыбнулась мне и сделала знак нагнуть. Когда я наклонился к ней, она прошептала: «Что это за разговоры насчет твоего обязательства правительству? Не давай его!»

В течение тех одиннадцати дней, что я находился вне

тюрьмы, было решено послать Камалу, как только ей станет немного лучше, в более подходящее место для лечения. С тех пор мы постоянно ожидали, когда ее состояние улучшится, но ей становилось все хуже, и теперь, спустя шесть недель, перемена к худшему была очень заметна. Было бесполезно ждать дальше и наблюдать за ухудшением ее здоровья, поэтому решили послать ее в Бховали, в горы, даже в ее теперешнем состоянии.

За день до ее отъезда в Бховали меня повезли проститься с ней. Когда я увижу ее снова? — думал я. И увижу ли я ее вообще? Но в этот день она выглядела веселой и бодрой, и я чувствовал себя счастливее, чем весь этот длительный период времени.

Спустя почти три недели меня перевели из тюрьмы Наини в Алморскую окружную тюрьму, чтобы я мог быть поближе к Камале. Бховали находится на пути туда, и я провел там несколько часов вместе с полицейским конвоем. Я был очень рад убедиться, что в состоянии Камалы наступило улучшение, и с легким сердцем оставил ее, чтобы продолжать свой путь в Алмору. Еще по пути к Камале вид гор уже наполнил меня радостью.

Я рад был вернуться в горы, и, в то время как наша машина мчалась по извилистой дороге, холодный утренний воздух и развертывавшаяся панорама воскрешали во мне бодрость духа. Мы взбирались все выше и выше; горные вершины терялись в облаках, ущелья становились глубже, растительность менялась, и наконец появились ели и сосны, покрывавшие горные склоны. На поворотах нашему взору неожиданно открывались новые горы и долины и какая-нибудь маленькая речка, журчащая далеко внизу. Я не мог насмотреться и жадно глядел вокруг, запоминая виденное, чтобы потом, когда я буду лишен всего этого, воскресить это зрелище в своей памяти.

На склонах гор лепились маленькие горные хижины, их окужали крошечные поля, возделанные чудодейственным трудом на каждом доступном клочке земли. Издали они походили на ступени огромной лестницы, начинавшейся внизу, в долине, и поднимавшейся иногда почти до самой вершины горы. Сколько труда пришлось положить малочисленным жителям здешних мест, чтобы вырвать у природы немного пищи! Как неустанно должны были трудиться люди, чтобы как-то удовлетворять свои нужды! Эти возделанные террасы придавали горным склонам обжитый вид, и они составляли страшный контраст с суровыми лесистыми склонами соседних гор.

Днем было очень приятно ехать. По мере того как солнце поднималось все выше, горы оживали под действием тепла; они, казалось, утрачивали свою суровость и становились дружелюбными и общительными. Но как они меняют свой вид к концу дня! Какими холодными и мрачными становятся они, когда «ночь нисходит на мир гигантскими шагами» и все жи-

вое замирает и прячется, предоставляя дикой природе вступать в свои права. В бледном свете луны и звезд горы становятся таинственными, они угрожают, гнетут, и вместе с тем они почти нереальны, а из долины доносится завывание ветра. Бедный странник дрожит, одиноко идя своим путем, и во всем чувствует враждебность. В голосе ветра слышатся ему злорадство и вызов. А если ветра нет, в горах царит такое молчание, что отсутствие звуков сжимает и давит душу. Лишь слабо гудят, быть может, телеграфные провода да звезды кажутся ярче и ближе, чем всегда. Сумрачно смотрят горы, и человеку чудится, что он остался один на один со страшной тайной. И вместе с Паскалем может он сказать: «La silence éternel de ces espaces infinis m'effraie»¹. Ночи на равнинах никогда не бывают такими безмолвными; там все-таки чувствуется жизнь. Тишину ночи нарушают приглушенный рев животных и жужжание насекомых.

Впрочем, когда мы ехали в Алмору, холодная и негостеприимная ночь была еще далеко. Наше путешествие уже подходило к концу, как вдруг за поворотом рассеявшиеся облака открыли нашим глазам новое зрелище, на которое я смотрел с изумлением и восторгом. Вдали сверкали снежные вершины Гималаев, высоко вздымавшиеся над окрестными горами, поросшими лесом. Холодные и непостижимые, впитавшие в себя всю мудрость минувших веков, они казались могучими часовыми, стоящими на страже над обширной индийской равниной. Один их вид охлаждает лихорадочно горящий мозг. Все конфликты и интриги, страсти и обман равнин и городов кажутся ничтожными перед вечным величием этих гор.

Маленькая Алморская тюрьма примостилась на горном хребте. Мне отвели великолепный барак. Он состоял из одного большого помещения, площадью 51 на 17 футов, с земляным, очень неровным полом и источенным червями осыпающимся потолком. Там имелось пятнадцать окон и дверь, или, вернее, шестнадцать заколоченных отверстий в стенах. Таким образом, недостатка в свежем воздухе не ощущалось. Когда стало холоднее, некоторые из этих оконных отверстий закрыли циновками из волокна кокосовой пальмы. На этой огромной площади (которая была гораздо больше, нежели любой двор в Дехра-Дун) я жил в величественном одиночестве. Впрочем, я был не совсем один, так как под ветхой крышей поселилось десятка два воробьев. Иногда меня навещало какое-нибудь странствующее облако, оно проникало сквозь множество отверстий, наполняя помещение влажным туманом.

Здесь меня запирали каждый день около пяти часов вечера, после того как мне последний раз приносили еду, нечто вроде вечернего чая с закуской, что бывало в половине пятого;

¹ «Вечное молчание этих бесконечных пространств пугает меня» (франц.).

а в семь утра засов с моей двери снова снимали. Днем я сидел либо у себя в бараке, либо снаружи во дворе, греясь на солнце. Стены, которыми был обнесен двор, позволяли все же видеть вершину горы, находившейся примерно в миле отсюда, а над мной широко простиралось голубое небо, на котором кое-где виднелись облака. Эти облака принимали причудливые очертания, и я никогда не уставал наблюдать за ними. Мне чудилось, что они принимают форму различных животных, а иногда они сливались и напоминали могучий океан; или же походили на морскую отмель, и тогда шуршание ветра в ветвях гималайских кедров звучало словно голос далекого приюта. Порой к нам отважно спускалось какое-нибудь облако. Издали оно казалось прочным и плотным, но, подходя ближе, рассеивалось, обволакивая нас туманом.

Просторы моего барака нравились мне больше, чем тесная камера, хотя маленькое помещение выглядело бы не таким пустынным. Если не было дождя, я мог даже прохаживаться внутри. Но по мере того как холод усиливался, мой барак становился все более безрадостным, а когда температура упала до нуля, моя любовь к свежему воздуху и открытым пространствам тоже несколько поостыла. Под Новый год, к моей большой радости, выпало много снега, и даже унылый ландшафт вокруг тюрьмы стал красивым. Особенно красивыми, прямо сказочными, казались в своем снежном уборе кедры, росшие у самых стен тюрьмы.

Меня тревожили постоянные колебания в состоянии здоровья Камалы, и, когда приходили плохие известия, они расстраивали меня. Но горный воздух действовал на меня благотворно, и ко мне вернулся здоровый сон. Засыпая, я часто готмал о том, какая чудесная и таинственная вещь сон. Зачем нужно просыпаться? Что если не просыпаться совсем?

Однако я сильнее, чем когда-либо, жаждал вырваться из тюрьмы. Бомбейский съезд Конгресса закончился, наступил и прошел ноябрь, улеглось возбуждение, вызванное выборами в Законодательное собрание. Я был почти уверен, что теперь меня скоро освободят.

Но затем пришли поразительные известия об аресте и осуждении Абдул Гаффар-хана и об удивительных предписаниях, врученных Субхасу Босу во время его недолгого пребывания в Индии. Сами по себе эти предписания свидетельствовали о полном отсутствии гуманности и уважения; они были применены к человеку, который пользовался любовью и уважением огромного числа своих соотечественников и который, несмотря на свою болезнь, поспешил на родину к смертному ложу своего отца и не застал его в живых. Если правительство занимало такую позицию, то рассчитывать на досрочное освобождение мне не приходилось. Позднейшие официальные заявления не оставили в этом никакого сомнения.

После месячного пребывания в Алморской тюрьме меня повезли в Бховали навестить Камалу. С тех пор я навещал ее примерно раз в три недели. Государственный секретарь по делам Индии сэр Сэмюэль Хор неоднократно заявлял, что мне разрешено навещать жену один или два раза в неделю. Он был бы ближе к истине, сказав — раз или два в месяц. За последние три с половиной месяца моего пребывания в Алморе я был у нее пять раз. Я говорю об этом не с обидой, ибо в этом вопросе правительство отнеслось ко мне очень внимательно и предоставило мне совершенно необычную возможность навещать Камалу. Я благодарен ему за это. Эти короткие посещения были очень дороги мне и, вероятно, также и ей. В день моего посещения врачи несколько ослабляли режим, и мне разрешалось вести с ней довольно продолжительные беседы. Мы еще больше сблизились, и для меня было мучением покидать ее. Мы встречались лишь для того, чтобы снова расстаться. Иногда я думал с болью, что может наступить день, когда мы расстанемся навсегда.

Моя мать поехала лечиться в Бомбей, ибо она еще не оправилась от своей болезни. Казалось, дело идет на поправку. Но однажды утром, в середине января, телеграф принес совершенно неожиданную весть — ее разбил паралич. Меня собирались перевести в одну из бомбейских тюрем, чтобы я мог навещать ее, но, так как вскоре в ее состоянии наступило некоторое улучшение, я был оставлен на прежнем месте.

Январь сменился февралем, и в воздухе чувствуется дыхание весны. Снова можно видеть соловья и других птиц и слышать их пение, из-под земли таинственно появляются крошечные побеги, удивленно вззирающие на незнакомый мир. Рододендроны кроваво-красными пятнами выделяются на склонах гор, зацвели персиковые и сливовые деревья. Дни идут, и я отсчитываю их по мере того, как они уходят, думая о своем следующем визите в Бховали. Я размышляю о том, насколько верна поговорка, что богатые дары жизни следуют за разочарованием, жестокостью и разлукой. В противном случае мы, возможно, не ценили бы эти дары. Быть может, страдание необходимо для правильного мышления, но чрезмерное страдание может помутить ум. Тюрьма побуждает к самоанализу, и долгие годы, проведенные мною в тюрьме, заставили меня все чаще заглядывать себе в душу. По своей натуре я не был склонен замыкаться в себе, но тюремная жизнь, подобно крепкому кофе или стрихнину, побуждает к этому. Иногда, чтобы занять себя чем-нибудь, я чертил куб профессора Макдугала для измерения иппроспекции и экстроспекции и смотрел на него, чтобы выяснить, насколько частыми являются переходы от одного толкования к другому. Они кажутся быстрыми.

Глава шестьдесят седьмая

НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

*Уходит ночь, и на смену ей розовеет заря,
но нет возврата дням нашей жизни.
Широкий горизонт открывается взору,
но глубоко в сердце скрыта рана весны.*

Ли Тай-бо.

Я следил за работой Бомбейского съезда Конгресса по газетам, которые мне доставлялись. Его политический курс, а также его виднейшие деятели, естественно, вызывали у меня интерес. Тесная связь с Конгрессом на протяжении двадцати лет настолько сблизила меня с ним, что мое я почти растворилось в нем, и ни мой официальный пост, ни ответственность не имели надо мной такой силы, как те незримые узы, что связывали меня с этой великой организацией и с тысячами моих старых товарищей. И все же работа съезда не вызывала у меня волнения; несмотря на некоторые важные решения, принятые им, он казался мне каким-то скучным и серым. Вопросы, интересовавшие меня, почти не затрагивались на съезде. Я спрашивал себя, как бы я поступил, если бы присутствовал на нем. Я сам этого толком не знал и не мог решить, как бы я действовал в новой обстановке и новом окружении. Да я и не видел никакого смысла в том, чтобы ломать себе голову над поисками этого трудного решения в тюрьме, когда в нем не было никакой необходимости. Наступит время, когда мне лицом к лицу придется столкнуться с актуальными проблемами и решать, какой курс следует избрать. Предвосхищать это решение, хотя бы в глубине сознания, было бессмысленной затеей, ибо обстоятельства могли измениться раньше, чем придет время сделать выбор.

Двумя характерными особенностями этого съезда, насколько я мог судить из своего далекого и уединенного обиталища в горах, были: господствующее влияние личности Гандиджи и исключительное убожество религиозно-общинной оппозиции, возглавляемой пандитом Мадан Моханом Малавия и Ани. Для всякого, кто знаком с психологией индийских масс, а также с психологией среднего класса, не было ничего удивительного в том, что Гандиджи попрежнему остается главной фигурой в Индии. Правительственные чиновники и некоторые политики, оторван-

ные от жизни, часто воображают, принимая желаемое за действительное, что роль Гандиджи на политической арене уже сыграна или, по меньшей мере, что влияние его значительно упало. И когда он вновь появляется на сцене попрежнему сильный и влиятельный, они удивляются и ищут новых объяснений этой кажущейся перемены. Он пользуется господствующим влиянием в Конгрессе и в стране не столько благодаря тем или иным воззрениям, которых он придерживается и которые разделяются всеми, сколько благодаря своим совершенно исключительным личным качествам. Личные качества имеют огромное значение повсюду, в Индии же значение их больше, чем где бы то ни было.

Его выход из Конгресса явился крупнейшим событием съезда. Внешне он означал собой окончание важного этапа в истории Конгресса и Индии. По существу, однако, значение этого факта было невелико, ибо Гандиджи не может, даже если бы он этого захотел, освободиться от своего господствующего положения. Он обязан этим положением не какому-либо официальному посту или иным материальным факторам. Конгресс отражает его взгляды сегодня почти в такой же мере, как и в прошлом, и, даже если Конгресс сойдет с указанного им пути, Гандиджи, даже сам того не сознавая, попрежнему будет в очень большой степени оказывать влияние на него и на всю страну. Он не может избавиться от этого бремени и от этой ответственности. Рассматривая объективные условия, существующие в Индии, невозможно игнорировать эту личность, не обратить на нее внимания.

В настоящее время он вышел из Конгресса, повидимому, для того, чтобы не ставить Конгресс в затруднительное положение. Возможно, он намеревается прибегнуть к какому-нибудь индивидуальному прямому действию, которое неизбежно приведет к конфликту с правительством, и не желает, чтобы это затронуло Конгресс.

Я был рад, что Конгресс одобрил идею созыва учредительного собрания для принятия конституции страны. Мне казалось, что никаким иным путем разрешить эту проблему невозможно, и я уверен, что рано или поздно придется созвать нечто вроде такого собрания. Ясно, что это нельзя будет сделать без согласия английского правительства, если только в стране не произойдет успешная революция. Столь же очевидно, что на это согласие вряд ли можно рассчитывать при существующих условиях. Таким образом, подлинное учредительное собрание не может быть создано до тех пор, пока в стране не будет накоплено достаточно сил, чтобы ускорить ход событий. Из этого неизбежно следует, что даже политические проблемы останутся до тех пор нерешенными. Некоторые из лидеров Конгресса, соглашаясь с идеей учредительного собрания, пытались выхолостить ее содержание. Учредительное собрание они представляли

себе в виде большой межпартийной конференции по известному, старому образцу. Это было бы совершенно бесполезное дело. Снова все прежние лица, большинство из которых никем не были избраны, собралось бы только для того, чтобы ни о чем не договориться. Суть идеи учредительного собрания заключается именно в том, что оно должно быть избрано на очень широкой массовой основе и должно черпать свою силу и вдохновение в массах. Такое собрание сразу же занялось бы рассмотрением жизненно важных проблем, а не увязло бы в бесконечных словопрениях по религиозно-общинным и другим подобным вопросам, как это часто бывало в прошлом.

Интересно было наблюдать за тем, как восприняли эту идею в Симле и в Лондоне. Правительство в полуофициальном порядке дало понять, что с его стороны возражений не будет. Оно снисходительно одобрило идею учредительного собрания, очевидно, видя в нем нечто подобное прежней межпартийной конференции, заранее обреченной на провал. Такой исход только укрепил бы позицию правительства. Впоследствии оно, повидимому, оценило опасности и возможности, таящиеся в этой идее, и начало энергично возражать против нее.

Вскоре после окончания Бомбейского съезда Конгресса состоялись выборы в Законодательное собрание. Хотя я относился к парламентской программе Конгресса без всякого восторга, я проявлял большой интерес к выборам и желал успеха кандидатам Конгресса, или, вернее, надеялся, что их противники потерпят поражение. Эти противники представляли собой любопытное сборище карьеристов, сторонников религиозно-общинной розни, ренегатов и лиц, ревностно поддерживавших правительство в его политике репрессий. Не было почти никаких сомнений, что большинство этих людей провалится на выборах, но, к несчастью, общинный закон затемнил суть дела, и многим из них удалось укрыться под защиту широкой сети религиозно-общинных организаций. Однако, несмотря на это, Конгресс добился замечательного успеха, и я был рад тому, что значительное число нежелательных лиц провалилось на выборах.

Особенно огорчала меня позиция так называемой конгрессистской националистической партии. Можно было понять ее крайне враждебное отношение к решению о представительстве религиозных общин. Но ради того, чтобы укрепить свои позиции, эта партия пошла на союз с самыми реакционными общинными организациями, даже с санатанистами, наиболее реакционной как в политическом, так и в социальном отношении группой в Индии, а также со многими наиболее одиозными политическими реакционерами. Если не считать Бенгалии, где в силу особых причин их поддерживала влиятельная конгрессистская группа, многие из них всячески проявляли свое враждебное отношение к Конгрессу. Можно даже сказать, что они были основными противниками Конгресса. Но, несмотря на столь

пестрое сочетание сил, выступавших против Конгресса, к числу которых относились также помещики, либералы и, разумеется, чиновники, конгрессистские кандидаты добились замечательного успеха.

Позиция Конгресса в отношении общинного закона была весьма своеобразной. Впрочем, при существующих условиях она вряд ли могла быть иной. Она явилась неизбежным следствием его прошлой нейтральной и довольно вялой политики. Если бы на более ранней стадии Конгресс проводил решительную политическую линию и придерживался ее, не считаясь с последствиями, к которым это могло привести, такая позиция была бы более достойной и правильной. Но поскольку Конгресс не пожелал поступить таким образом, перед ним не осталось иного пути, кроме того, на который он вступил. Решение о представительстве религиозных общин было явной бессмыслицей, и нельзя было с ним согласиться, ибо, пока оно оставалось в силе, невозможно было достичь какой бы то ни было свободы. Дело было не в том, что по этому решению мусульмане получали слишком много. Вероятно, можно было каким-то иным способом удовлетворить почти все их требования. Теперь же английское правительство разделило Индию на произвольное число изолированных друг от друга частей, взаимно уравновешивающих и нейтрализующих друг друга, с тем чтобы чужеземный, английский элемент мог оставаться преобладающим. Это делало зависимость от английского правительства неизбежной.

Индусы поставлены в исключительно неблагоприятное положение, особенно в Бенгалии, где небольшой прослойке европейцев обеспечено преимущественное влияние. Такой общинный закон, или решение, или как бы там его ни называли (возражали против того, чтобы именовать его общинным законом), неизбежно должен был вызвать острое недовольство, и, хотя он может быть навязан силой или с ним могут временно примириться по политическим соображениям, он, вероятно, станет постоянным источником трений. Я лично считаю, что самая негодность этого решения говорит в его пользу, ибо при подобных качествах он не может служить постоянной основой для чего бы то ни было.

Националистическая партия и в еще большей мере Хинду Махасабха и другие религиозно-общинные организации, разумеется, были возмущены этим решением, но их критика, так же как и высказывания сторонников общинного закона, в действительности основывалась на принятии идеологии английского правительства. В результате они избрали страшный курс, который должен очень нравиться правительству, и все дальше движутся по этому пути. Поглощенные общинным законом, они в других жизненно важных вопросах смягчают свою оппозицию в надежде, что им удастся подкупить или уговорить пра-

вительство изменить решение о представительстве религиозных общин в их пользу. Особенно далеко зашла в этом отношении Хинду Махасабха. Им и в голову не приходит, что подобная позиция не только унижительна, но что она может лишь затруднить любое изменение общинного закона, ибо она только раздражает мусульман и все больше отталкивает их. Английское правительство не в состоянии завоевать на свою сторону националистические элементы, слишком многое разделяет их, и интересы их слишком явно сталкиваются. В более узкой общинной сфере оно также не может удовлетворить в равной степени индусских и мусульманских религиозно-общинных деятелей. Ему пришлось выбирать, и, со своей точки зрения, оно сделало правильный выбор в пользу мусульманского религиозно-общинного движения. Можно ли ожидать, что оно изменит этот тщательно продуманный и выгодный политический курс и нанесет обиду мусульманам ради того, чтобы завоевать на свою сторону горстку индусских религиозно-общинных деятелей?

Уже один тот факт, что индусы как группа являются более передовыми в политическом отношении и более настойчивыми в своих требованиях национальной свободы, говорит против них. Ибо мелкие уступки в религиозно-общинном вопросе (а они могут быть только мелкими) не ослабят в сколько-нибудь значительной степени их политическую враждебность, между тем как позицию мусульман уступки такого рода временно изменяют.

Выборы в Законодательное собрание ясно показали, кто стоит за спиной Хинду Махасабхи и Мусульманской конференции — двух наиболее реакционных религиозно-общинных организаций. Их кандидаты и сторонники были выходцами из рядов крупных землевладельцев или принадлежали к классу богатых банкиров. Махасабха также продемонстрировала заботу о классе банкиров своей яростной борьбой против внесенных недавно законопроектов об освобождении от задолженности. Эта незначительная часть верхушки индусского общественного слоя и составляет Хинду Махасабху, а небольшая ее прослойка и некоторые лица свободных профессий образуют группу либералов. Они не пользуются большим влиянием среди индусов, ибо низшие слои среднего класса отличаются политической сознательностью. Лидеры промышленных кругов также стоят в стороне от них, так как между интересами растущей промышленности и полуфеодальными элементами существуют известные противоречия. Не решаясь прибегать к прямому действию или к каким-либо иным рискованным методам, промышленники пытаются поддерживать хорошие отношения и с националистами и с правительством. Они не обращают особого внимания на либеральную или религиозно-общинные группировки. Промышленный прогресс и прибыли — вот что является их руководящим принципом.

Пробуждение низших слоев среднего класса у мусульман еще не наступило. В промышленном отношении они также отстают. Вот почему самые отъявленные реакционные феодальные элементы и бывшие чиновники не только контролируют их религиозно-общинные организации, но и оказывают значительное влияние на общину. Мусульманская конференция представляет собой целую плеяду титулованных лиц, бывших министров и крупных помещиков. И все же я думаю, что рядовые мусульмане — быть может благодаря некоторой свободе общественных отношений в их среде — обладают большими потенциальными возможностями, нежели индусские массы, и, если дать им толчок, они, вероятно, быстрее пойдут по социалистическому пути. В настоящий момент мусульманская интеллигенция кажется парализованной как духовно, так и физически, лишенной всякой энергии. Она не осмеливается ставить под сомнение действия своей старой гвардии.

Даже руководители Конгресса, наиболее передовой в политическом отношении крупной группировки, проявляют гораздо большую осторожность, чем этого требуют настроения масс. Они обращаются к массам за поддержкой, но редко интересуются их мнением или пытаются выяснить, что их беспокоит. До выборов в Законодательное собрание они прилагали все усилия, чтобы смягчить свою программу, пытались завоевать на свою сторону различные умеренные неконгрессистские элементы. Их позиция даже в отношении таких законопроектов, как законопроект о допуске в храмы, менялась, и они пытались всеми возможными заверениями успокоить более ортодоксальные круги в Мадрасе. Четкая наступательная предвыборная программа вызвала бы большой энтузиазм и в большой мере содействовала бы воспитанию масс. Теперь, когда Конгресс выдвинул программу парламентской деятельности, будут сделаны еще большие уступки реакционным в политическом и социальном отношении группам с целью обеспечить себе несколько лишних голосов, и между руководством Конгресса и массами образуется еще большая пропасть. Ораторы будут упражняться в красноречии, будут соблюдаться утонченный парламентский этикет, и время от времени правительству будет терпеть поражения — поражения, которые оно будет спокойно игнорировать, как оно это делало и прежде.

На протяжении последних нескольких лет, когда Конгресс бойкотировал законодательные органы, официальные представители правительства часто заявляли нам, что Законодательное собрание и провинциальные законодательные советы являются подлинными представителями народа и выразителями общественного мнения. Интересно, что теперь, когда в Законодательном собрании преобладают более прогрессивные элементы, официальная точка зрения изменилась. Всякий раз, когда речь заходит об успехе Конгресса на выборах, нам

говорят, что контингент избирателей очень мал — всего лишь три миллиона при общей численности населения в триста миллионов человек. Согласно официальной точке зрения, миллионы людей, лишенных избирательного права, очевидно, твердо поддерживают английское правительство. Способ разрешения этого сомнения очень прост. Предоставьте право голоса всем совершеннолетним, и тогда мы узнаем, по крайней мере, что эти люди думают.

Вскоре после выборов в Законодательное собрание был опубликован доклад Объединенной парламентской комиссии об индийской конституционной реформе. Он вызвал множество самых различных критических откликов, в которых часто подчеркивалось, что он свидетельствует о «недоверии» и «подозрительном» отношении к индийскому народу. Подобный подход к нашим национальным и социальным проблемам казался мне очень странным. Разве между интересами английской имперской политики и нашими национальными интересами не было коренного противоречия? Вопрос заключался в том, какие из этих интересов восторжествуют. Разве свобода была нам нужна только для того, чтобы продолжать ту же самую имперскую политику? Очевидно, английское правительство думало именно так, ибо нас поставили в известность, что «гарантии» не будут пущены в ход, пока мы будем хорошо себя вести, а также если докажем свою способность к самоуправлению тем, что станем делать именно то, чего требует английская политика. Но, если в Индии попрежнему будет проводиться английская политика, к чему весь этот крик о том, что бразды правления передаются в наши руки?

Общеизвестно, что Оттавские соглашения оказались не слишком выгодными для Англии в экономическом отношении, если не считать ее торговли с Индией¹. Английская торговля с Индией, несомненно, выиграла, что, по мнению индийских политических и торговых кругов, произошло за счет более широких интересов Индии. Совсем иначе дело обстоит в отношении доминионов, особенно Канады и Австралии². Эти страны вели

¹ «Касаясь торговли с Индией, сэр Уильям Кэрри заявил, что Оттавские соглашения принесли явную пользу Англии». Сэр Уильям председательствовал на собрании Пиренейско-Восточной паровой компании в Лондоне 5 декабря 1934 года.

² Лондонский «Экономист» (июнь 1934 года) указывает, что Оттавская конференция «могла бы быть оправдана лишь при условии, если бы она привела к увеличению объема внутримперской торговли, не уменьшая в то же самое время объем имперской торговли с остальным миром. На деле она привела лишь к очень незначительному увеличению доли внутримперской торговли в общем непрерывно сокращающемся объеме торговли империи. При этом доминионы выиграли от этого изменения гораздо больше, нежели Великобритания. Наш импорт из стран империи увеличился с 247 миллионов фунтов стерлингов в 1931 году до 249 миллионов в 1933 году, тогда как наш экспорт сократился со 170 600 тысяч фунтов стерлингов до 163,5 миллиона. Остается также фактом, что в период между 1929 и 1933 го-

упорный торг с Англией и значительные преимущества получили за ее счет. И все же, несмотря на это, они непрестанно пытаются освободиться от пут Оттавы, чтобы развить свою собственную промышленность, а также свою торговлю с другими странами¹. В Канаде либеральная партия, ведущая политическая партия, которая, по всей вероятности, в скором времени придет к власти, недвусмысленно обязалась ликвидировать Оттавское соглашение². В Австралии в результате выгодного для себя толкования Оттавского соглашения были повышены тарифы на некоторые сорта тканей и пряжи, что вызвало сильнейшее негодование владельцев текстильных фабрик Ланкашира, охарактеризовавших этот акт как нарушение Оттавского соглашения. В знак протеста и в виде ответной меры в Ланкашире было начато движение за бойкот австралийских товаров. Однако эта угроза не произвела большого впечатления на Австралию, которая заняла весьма решительную позицию³.

Совершенно ясно, что экономические конфликты порождены не каким-либо недоброжелательством населения Канады и Австралии по отношению к Англии, хотя в Ирландии такое недоброжелательство, несомненно, существует. Конфликты вызываются столкновением интересов, и цель «гарантий» в Индии состоит в том, чтобы обеспечить защиту английских интересов во всех тех случаях, когда могут произойти такие столкновения. Недавнее англо-индийское торговое соглашение, заключенное в секретном порядке, через головы и вопреки протестам индийских деловых и промышленных кругов (хотя английских про-

дами наш экспорт в страны империи сократился на 50,9 процента, в то время как наш импорт из этих стран уменьшился лишь на 32,9 процента. Наш экспорт в иностранные государства сократился не столь резко, тогда как сокращение нашего импорта из этих стран было куда более значительным».

¹ Мельбурнский «Эйдж» недоволен Оттавским соглашением. По его мнению, Оттава «все время вызывает чувство раздражения и ее все чаще признают грубейшей ошибкой». (Цитируется по «Манчестер гардиан уикли» от 19 октября 1934 года.)

² Даже нынешний консервативный премьер-министр Канады Беннетт в вопросах торговли оказался у английского правительства бельмом на глазу. Он поговаривает ныне о «новом курсе», показывая тем самым удивительный пример обращения в новую веру. Поддав под опасное влияние Литвинова, сэра Стаффорда Крипса и Джона Стрэчи, он стал коллективистом. Это должно послужить предостережением для всех консерваторов, либералов, чиновников Индийской гражданской службы и прочих, дабы они избегали мыслить или общаться с теми, кто это делает, иначе они сами могут обратиться в последователей опасных доктрин. (С тех пор как это было написано, либеральная партия Канады, возглавляемая Кингом, одержала победу на выборах и пришла к власти.)

³ Мельбурнский «Эйдж» заявил, что, если планируемый Ланкаширом бойкот не будет отменен, Австралия должна нанести еще более сильный удар по торговле с Ланкаширом, которая еще поддерживается. Ланкаширу необходимо ответить «непоколебимым утверждением пашей позиции». (Цитируется по «Манчестер гардиан уикли» от 9 ноября 1934 года.)

мышленников держали в курсе переговоров), отклоненное Законодательным собранием, но, тем не менее, упорно отстаиваемое правительством, дает известное представление о том, к чему приведут «гарантии». Подобные «гарантии», повидимому, настоятельно необходимы в Канаде, Австралии и Южной Африке, чтобы не дать народам этих доминионов сбиться с пути не только в торговых вопросах, но и в вопросах, имеющих большее значение для безопасности и единства империи¹.

Говорят, что империя — это долг, и «гарантии» были изобретены с той целью, чтобы имперский ростовщик мог сохранить власть над своим несчастным должником, а также сохранить в целости все свои особые интересы и влияния. Существует странная версия, не раз повторявшаяся официально, будто бы Гандиджи и Конгресс согласились с идеей таких гарантий на том основании, что «гарантии в интересах Индии» были предусмотрены в Делийском пакте 1931 года.

Оттава и гарантии, касающиеся торговли и коммерции,— все это, в конце концов, вопросы не столь уж существенные². Что гораздо важнее — это ряд условий, рассчитанных на увечковечение всех основных средств политического и экономического контроля над индийским народом, которые как в прошлом, так и в настоящем облегчали эксплуатацию страны. Пока существуют эти условия и «гарантии», немислим подлинный прогресс в каком бы то ни было направлении и невозможны попытки добиться каких-либо перемен конституционным путем. Любая такая попытка натолкнется на глухую стену «гарантий», и в результате будет становиться все яснее, что единственно возможный путь — это путь неконституционный. С точки зрения политических изменений, предполагаемая конституция с ее чудовищной федерацией — бессмыслица, с социальной и экономической точек зрения, она представляет собой нечто гораздо худшее. Путь к социализму умышленно преграждается. Значительная доля ответственности, очевидно, передается (правда, главным образом «надежным» классам),

¹ О. Пироу, министр обороны Южно-Африканского Союза, заявил, что Союз не станет участвовать ни в какой общей программе имперской обороны и не примет участия в заморской войне, хотя бы Англия и находилась в состоянии войны. «Если бы правительство попыталось опрометчиво связать Южную Африку обязательством участвовать еще в одной заморской войне, это вызвало бы крупные беспорядки и, быть может, даже гражданскую войну. Поэтому правительство не станет участвовать в какой бы то ни было общей программе имперской обороны». (Сообщение агентства Рейтер из Кейптауна от 5 февраля 1935 года.) Премьер-министр генерал Хертцог подтвердил эту декларацию и заявил, что она отражает точку зрения правительства Южно-Африканского Союза.

² Лондонский «Экономист» (октябрь 1934 года) указывал: «Что касается будущего, то, повидимому, среди прочих благ, которые несет с собой английское владычество, во многих уголках земного шара «туземцам» будет навязана сомнительная привилегия покупать по дорогой цене товары Ланкашира». Цейлон — наиболее яркий пример этого за последнее время.

но власть или средства, необходимые для осуществления чего-либо стоящего, не передаются. Англия сохраняет за собой власть, не связавшую с ответственностью. Авторитарное правление предстает во всей своей наготы, не прикрытое даже фиговым листком. Всякий знает, что в наше время от конституций настоятельно требуется исключительная гибкость, способность применяться к быстро изменяющейся обстановке. Необходимы быстрые решения и власть для проведения их в жизнь. Даже и при этих условиях сомнительно, чтобы парламентарная демократия в том виде, в каком она существует ныне в некоторых западных странах, оказалась способной осуществить перемены, необходимые для нормальной жизнедеятельности современного мира. Однако здесь этот вопрос даже и не возникает, ибо всякое движение сознательно сковано цепями и путами; перед нами дверь, запертая на множество задвижек и засовов. В наше распоряжение предоставляется автомобиль со всеми тормозами, но без мотора. Эта конституция разработана людьми, которые неизменно исходят из норм военного положения. Человеку, привыкшему опираться на силу, кажется, что возможен лишь один реальный выбор — военное положение или крушение.

О том, какую свободу сулит Индии этот предполагаемый дар Англии, можно судить по тому, что даже наиболее умеренные и политически отсталые группы в Индии осудили эту конституцию, как реакционную. Традиционные и последовательные сторонники правительства вынуждены были сочетать свои обычные расшаркивания с критическими замечаниями. Другие же высказывались гораздо резче.

Ввиду этих предложений либералам трудно было сохранить в полной мере свою неизменную веру в неисповедимую мудрость провидения, поставившего Индию под английское владычество. Они выступили с резкой критикой, но в своем пренебрежении к действительности и любви к фразам и эффектным «жестам» они делали главный упор на отсутствие в докладе и в проекте конституции слов «статус доминиона». По этому поводу был поднят большой шум, и теперь, когда сэр Сэмюэль Хор сделал какое-то заявление на этот счет, честь будет в основном соблюдена. Пусть статус доминиона не более как бесплотная тень, маячащая где-то в неведомом будущем, сказочная страна, которой мы, возможно, никогда не достигнем, но мы можем, по крайней мере, мечтать о ней и красноречиво расписывать ее многочисленные красоты. Сэр Тедж Бахадур Сапру, вероятно, терзаемый сомнениями относительно английского парламента и английского народа, решил искать убежища под сенью короны. Этот выдающийся юрист изложил новую конституционную доктрину: «Что бы ни сделали для Индии английский парламент и народ, за ними и над ними всегда стоит король, который печется об интересах индийских подданных и о мире и процве-

тании Индии»¹. Это весьма удобная точка зрения, избавляющая нас от беспокойства по поводу конституций, законов и политических и социальных перемен.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что либералы ослабили свою оппозицию в отношении предполагаемой конституции. Большинство из них совершенно ясно дало понять, что они предпочитают нынешние условия, сколь бы плохи они ни были, этому непрошенному дару, который навязывается Индии. Их принципы запрещают им делать что-либо, кроме подчеркивания этого обстоятельства, и надо полагать, что они и впредь будут только подчеркивать. Они могли бы избрать своим девизом современную версию старинного изречения: «Если тебе что-нибудь не удастся сразу, кричи еще!»²

Лидеры либералов и, вероятно, многие другие, в том числе и некоторые конгрессисты, возлагают известные надежды на победу лейбористской партии в Англии и создание лейбористского правительства. Нет абсолютно никаких причин, по которым Индии не следовало бы стремиться двигаться вперед в сотрудничестве с передовыми группами в Англии или извлечь для себя пользу из прихода к власти лейбористского правительства. Но слепо уповать на перемены в Англии вряд ли достойно и совместимо с понятием национальной чести. Впрочем, даже если не считаться с достоинством, это попросту противоречит здравому смыслу. На каком основании можем мы многого ожидать от английской лейбористской партии? Мы уже имели дело с двумя лейбористскими правительствами и едва ли забудем подарки, которые они преподнесли Индии. Пусть Рамсей Макдональд покинул ряды лейбористов, но его прежние коллеги, видимо, не слишком переменялись. На конференции лейбористской партии в Саутпорте, в октябре 1934 года, В. К. Кришна Менон внес резолюцию, «выражающую убеждение в необходимости немедленно претворить в жизнь принцип самоопределения с целью предоставить Индии полное самоуправление». Артур Гендерсон потребовал снятия этой резолюции и весьма откровенно отказался дать от имени Исполкома обязательство осуществлять провозглашенную им политику предоставления Индии права на самоопределение. Он сказал: «Мы очень ясно заявили, что намерены консультироваться по возможности со всеми слоями индийского народа. Это должно было бы удовлетворить всех». Однако чувство удовлетворения, пожалуй, несколько уменьшится, если вспомнить, что точно такая же политика была провозглашена последним лейбористским правительством и национальным правительством; результатом же этой политики явились Конференция круглого стола, Белая

¹ Выступление на митинге в Лакнау 29 января 1935 года.

² Игра слов: *try again* — «кричи еще» вместо *try again* — «попытайся еще». — *Прим. перев.*

книга, доклад Объединенной комиссии и Закон об управлении Индией.

Совершенно ясно, что в вопросах имперской политики разница между тори и лейбористами в Англии невелика. Правда, рядовые лейбористы отличаются более передовыми взглядами, но они не имеют большого влияния на своих весьма консервативных руководителей. Возможно, что позиции левого крыла лейбористов усиливаются, ибо в наши дни условия быстро меняются, но разве могут национальные или социальные движения свернуть свою деятельность и предаваться безмятежному отдыху в ожидании проблематичных перемен, которые должны произойти где-то в другом месте?

В связи с этими надеждами наших либералов на английскую лейбористскую партию обращает на себя внимание один любопытный вопрос. Если бы эта партия, паче чаяния, полевела и осуществила в Англии свою социалистическую программу, какую реакцию это вызвало бы в Индии и, в частности, у наших либералов и других умеренных групп? Большинство из них в социальных вопросах самые отъявленные консерваторы. Им не понравятся социальные и экономические реформы лейбористов, и они будут бояться, как бы эти реформы не были осуществлены и в Индии. Может даже случиться, что их благосклонное отношение к связи с Англией резко изменится, когда эта связь станет символом социальных потрясений. Может случиться также, что люди вроде меня, которые хотят национальной независимости и разрыва этой связи, изменят свои взгляды и предпочтут тесное содружество с социалистической Англией. Ни у кого из нас, разумеется, нет никаких возражений против сотрудничества с английским народом, мы возражаем лишь против империализма, и, как только парод отрешится от него, путь к сотрудничеству будет открыт. А как будут себя вести в этом случае умеренные? Они, вероятно, примут этот новый порядок как новое свидетельство непостижимой мудрости провидения.

Одним из наиболее значительных результатов Конференции круглого стола и предложения о создании федерации является усиленное выдвижение на передний план индийских князей. Забота твердолобых тори о князьях и об их «независимости» вдохнула в них новую жизнь. С ними никогда раньше так не носились. В прошлом они даже в мелочах не осмеливались возражать английскому резиденту, и английское правительство в Индии относилось к многочисленным их высочествам с откровенным презрением. Оно постоянно вмешивалось в их внутренние дела, и это часто было вполне оправдано. Даже в настоящее время большое число княжеств прямо или косвенно управляется английскими чиновниками, предоставленными княжествам «напрокат». Однако кампания, проведенная Черчиллем и лордом Ротермиром, повидимому, несколько обескуражила английское правительство в Индии, и оно с осторожностью

подходит теперь к отмене решений князей. Князья также теперь говорят гораздо более высокомерным тоном.

Я пытался проследить эти поверхностные явления в политической жизни Индии, но я не могу освободиться от ощущения, что все они какие-то нереальные; внутренняя обстановка в Индии угнетает меня. Эта обстановка характеризуется постоянным подавлением всякой свободы, невероятными страданиями и разочарованием, надругательством над доброй волей и поощрением всевозможных вредных тенденций. Множество людей томится в тюрьме, проводя свою молодость год за годом в жестокой тоске¹. Их семьи, друзья, родные и тысячи других людей ожесточаются, и ими овладевает отвратительное чувство унижения и беспомощности перед грубой силой. Множество организаций запрещено законом даже в обычное время: «чрезвычайные полномочия» и «законы о поддержании порядка» стали почти постоянным оружием в арсенале правительства. Ограничения свободы, которые должны были бы являться исключением, быстро становятся общим правилом. Большое количество книг и периодических изданий запрещено или же их ввозу чинятся всяческие препятствия на основании «закона о морских таможнях», и обнаружение «опасной» литературы может повлечь за собой длительное тюремное заключение. Откровенные высказывания по жгучим политическим и экономическим проблемам или благоприятный отзыв о социальных и культурных условиях в России вызывают у цензора решительное неодобрение. «Модерн ревью» получил предостережение от правительства Бенгалии за публикацию статьи Рабиндраната Тагора о России — статьи, написанной им после посещения этой страны. Как сообщил в парламенте заместитель государственного секретаря по делам Индии, «эта статья давала искаженное представление о достижениях английского правления в Индии», и поэтому против нее и были предприняты указанные меры². Об этих достижениях может судить лишь цензор, мы же не имеем права иметь иное мнение и высказывать его. Правительство возражало также против опубликования коротенького послания Рабиндраната Тагора к Дублинскому обществу друзей. Если подобные репрессии применяются в отношении такого человека, как

¹ Сэр Гарри Хэйг, глава департамента внутренних дел, заявил в Законодательном собрании 23 июля 1934 года, что общее число лиц, содержащихся без суда в тюрьмах и специальных лагерях, составляет: в Бенгалии от 1500 до 1600 человек, в лагере Деоли — 500, или всего 2000—2100 человек. Таково число лиц, заключенных в тюрьму без суда и без вынесения приговоров. Сюда не включаются политические заключенные, приговоренные по суду. Им обычно выносятся очень суровые приговоры. По сообщению агентства Ассошиэтед Пресс (от 17 декабря 1934 года), во время одного недавнего процесса в Калькутте Верховный суд приговорил обвиняемого к девяти годам строгого тюремного заключения за преступление, состоявшее в хранении оружия и боеприпасов без надлежащего разрешения. У обвиняемого при аресте был найден револьвер и шесть патронов.

² 12 ноября 1934 года.

Тагор, — мудрого старца, который интересуется вопросами культуры и сознательно держится в стороне от политики, человека, почитаемого в Индии и пользующегося всемирной известностью, то что же говорить о маленьких людях? Но еще хуже самих репрессий та атмосфера страха, которую они порождают. При этих условиях не может быть честной журналистики, правильного преподавания истории, экономики или должного подхода к проблемам политики и текущей жизни¹. Это весьма неподходящая обстановка для осуществления реформ, создания ответственного правительства и тому подобного.

Всякий разумный человек знает, что мир находится сегодня в состоянии умственного брожения и повсюду наблюдается смутное или ясно осознанное, но, во всяком случае, очень сильное недовольство существующими условиями. На наших глазах совершаются глубокие перемены, и будущее, какую бы форму оно ни приняло, не есть что-то далекое, возбуждающее чисто академический интерес у отрешенных от окружающей действительности философов, социологов и экономистов. Это вопрос, затрагивающий так или иначе каждого человека, и, несомненно, долг каждого гражданина попытаться понять действующие при этом силы и определить свой образ действий. Приходит конец старому миру, и вырисовываются очертания нового мира. Чтобы разрешить ту или иную проблему, необходимо знать, в чем она заключается. Собственно говоря, понимание сути проблемы столь же важно, как и поиски ее решения.

К сожалению, среди наших политиков наблюдается поразительное невежество или равнодушие к тому, что происходит в мире. По всей вероятности, это невежество присуще также подавляющему большинству чиновников в Индии, ибо Гражданская служба живет в своем собственном узком мире, в полном благодущии и довольстве. С этими проблемами приходится сталкиваться только верхушке нашего чиновничьего класса. Английскому правительству, конечно, приходится следить за мировыми событиями и сообразовать с ними свою политику. Общеизвестно, что владение Индией и необходимость защиты ее оказывают значительное влияние на внешнюю политику Англии. Многие ли индийские политики отдадут себе

¹ 4 сентября 1935 года в Законодательном собрании было сделано официальное заявление относительно действия законов о печати в Индии. Как указывалось в этом заявлении, начиная с 1930 года 514 газет пострадало в связи с конфискациями и требованиями правительства о внесении залогов. Из них 348 газет прекратили выход, так как не могли внести новых залогов; 166 газет внесли залог, составивший в общей сложности 252 852 рупии.

За последнее время (во второй половине 1935 года) снова введен на длительный срок ряд законов, ущемляющих гражданские свободы. Главный из них — закон о поправках к уголовному кодексу — распространяется на всю Индию. Он был отвергнут Законодательным собранием, но впоследствии утвержден генерал-губернатором. Во многих провинциях также введены аналогичные законы.

отчет в том, что японский империализм, или растущая мощь Советского Союза, или англо-русско-японские интриги в Синьцзяне, или события в Центральной Азии, Афганистане или Персии имеют непосредственное отношение к политике Индии? Обстановка в Центральной Азии, очевидно, сказывается на положении Кашмира, превращая его в главный стержень английской политики и обороны.

Еще большее значение имеют экономические перемены, быстро совершающиеся во всем мире. Мы должны понять, что система XIX столетия отжила свой век и не отвечает потребностям современности. Столь распространенный в Индии юридический подход к явлениям, заключающийся в том, чтобы двигаться от прецедента к прецеденту, теряет смысл, когда прецеденты отсутствуют. Мы не можем поставить на рельсы телегу и назвать ее железнодорожным составом. Телега должна сойти со сцены, пойти на слом, как нечто устаревшее. Даже независимо от России, ведутся разговоры о новом курсе и о больших переменах. Президент Рузвельт, который всецело стоит за сохранение и укрепление капиталистической системы, с огромным мужеством предпринял грандиозные начинания, которые могут совершенно изменить жизнь Америки. Он говорит о необходимости «покончить с существованием сверхпривилегированных групп и существенно улучшить положение обездоленных». Удастся это ему или нет, но мужество этого человека и желание совлечь свою страну со старого пути не подлежат сомнению. Он не боится менять свою политику или признавать ошибки. В Англии Ллойд Джордж выступил со своим собственным «новым курсом». Мы в Индии также нуждаемся во многих новых курсах. Старое представление, будто бы «все то, что стоит знать, уже известно, а то, что стоит делать, уже сделано», — это опасный вздор.

Нам необходимо решить ряд вопросов, и мы должны при этом проявить смелость. Имеет ли нынешняя социальная или экономическая система право на существование, если она неспособна в сколько-нибудь значительной степени облегчить положение масс? Существует ли какая-либо другая система, сулящая такое улучшение? Можно ли одними лишь политическими реформами коренным образом улучшить положение? Если привилегированные группы препятствуют осуществлению пакушо необходимых реформ, разумно и нравственно ли стараться сохранить их ценой страданий и нищеты масс? Разумеется, цель состоит не в том, чтобы причинить вред привилегированным группам, а в том, чтобы помешать им причинять вред другим. Если бы было возможно прийти к какому-либо соглашению с этими привилегированными группами, это было бы весьма желательно. Можно расходиться во взглядах на то, справедливо это или несправедливо, но едва ли кто-либо усомнится в целесообразности такого решения. Совершенно оче-

видно, что оно не может свестись к ликвидации одной привилегированной группы и созданию вместо нее другой. Во всех тех случаях, когда это будет возможно и желательно, может быть выплачена разумная компенсация, ибо конфликт может обойтись гораздо дороже. К несчастью, однако, опыт истории свидетельствует о том, что привилегированные группы не соглашаются на такого рода компромиссы. Классы, переставшие играть жизненно важную роль в обществе, отличаются удивительным отсутствием мудрости. Им нужно все или ничего, и в результате они постепенно сходят со сцены.

Часто приходится слышать «праздную болтовню» (как называл это Рабочий комитет Конгресса) относительно конфискации и тому подобных мер. Конфискация, постоянная и непрекращающаяся, составляет основу существующей системы, и предлагаемые социальные реформы как раз и имеют целью положить ей конец. Ежедневно совершается конфискация части продукта труда рабочего; земельный участок крестьянина в конце концов конфискуется в результате повышения арендной платы и налога до такой степени, что он оказывается не в состоянии вносить их. Земли, составлявшие в прошлом общественную собственность, были конфискованы отдельными личностями и превращены в крупные поместья; крестьяне-собственники были ликвидированы подобным же образом. Конфискация составляет основу и сущность нынешней системы.

Чтобы хоть частично выправить положение, общество прибегает к различным средствам, которые по природе своей также сродни конфискации, — большим налогам, налогу на наследство, законам о снижении задолженности, инфляции и т. д. За последнее время мы были свидетелями отказа государств от уплаты гигантских долгов. Так поступил не только Советский Союз, но и ведущие капиталистические страны. Наиболее знаменательным явилось аннулирование Англией ее задолженности Соединенным Штатам, чем она показала опасный пример Индии! Но все эти конфискации и отказы от уплаты помогают в очень слабой степени и не уничтожают главной причины. Для того чтобы можно было строить заново, необходимо устранить эту основную причину.

Рассматривая способ изменения существующего порядка, мы должны взвесить, во что это обойдется в материальном и духовном отношении. Мы не можем быть слишком близорукими. Мы должны учесть, насколько это может в конечном итоге содействовать человеческому счастью и человеческому прогрессу, как материальному, так и духовному. Но при этом мы должны всегда иметь в виду чудовищную цену, которую придется уплатить, если существующий порядок останется без изменений и мы попрежнему будем жить так, как живем сегодня, неся на себе огромное бремя искалеченных и изломанных жизней, голода и нищеты, духовной и моральной деградации.

Подобно наводнению, вечно повторяющемуся, нынешняя экономическая система постоянно захватывает и уносит множество человеческих существ, обрекая их на гибель. Мы не можем остановить наводнение или спасти этих людей тем, что некоторые из нас будут вычерпывать воду ведрами. Необходимо построить дамбы и каналы, а разрушительную силу воды обратить и использовать для улучшения условий человеческого существования.

Совершенно очевидно, что огромные перемены, которые предусматривает социализм, не могут быть осуществлены путем внезапного введения нескольких законов. Но основные законы и власть необходимы, чтобы дать направление движению и заложить фундамент здания. Для того чтобы великое строительство социализированного общества было успешным, его нельзя отдать на волю случая, так же как нельзя вести его рывками, допуская перерывы, во время которых уничтожается уже построенное. Основные препятствия должны быть, таким образом, устранены. Цель состоит не в том, чтобы лишать, а в том, чтобы давать, чтобы заменить нынешнюю скудость будущим изобилием. Но для этого необходимо устранить с пути всевозможные препятствия и своекорыстные группы, стремящиеся сдерживать движение общества. Вопрос о том, какой путь нам избрать, не сводится попросту к тому, что нам нравится и не нравится или даже к абстрактной справедливости. Мы должны исходить из того, что является экономически оправданным, способным к прогрессу, что может применяться к изменяющимся условиям и пойдет на пользу наибольшему числу людей.

Столкновение интересов кажется неизбежным. Никакого среднего пути нет. Каждому из нас придется выбрать, на какую сторону встать. Но для того, чтобы мы могли сделать этот выбор, мы должны прежде всего знать и понимать. Одной только эмоциональной притягательности социализма недостаточно. Помимо того, он должен взывать к интеллекту, разуму, опираясь на факты, доводы и детально обоснованную критику. На Западе существует обширная литература по этому вопросу, тогда как в Индии ощущается сильнейшая нехватка в ней, и для многих хороших книг доступ в нашу страну закрыт. Однако читать иностранные книги — это еще не все. Если мы хотим построить в Индии социализм, он должен вырасти на почве индийских условий, а потому тщательное изучение этих условий совершенно необходимо. Нам нужны специалисты, которые могли бы заняться научными исследованиями и разработкой подробных планов. К сожалению, большинство наших специалистов состоит на государственной службе или работает в полугосударственных университетах, и они не решаются особенно далеко заходить в этом направлении.

Для построения социализма недостаточно одного научного обоснования. Здесь должны действовать и другие силы. Но я считаю, что без такого обоснования мы не сможем справиться

с вопросом и развернуть мощное движение. В настоящий момент аграрная проблема является для Индии наиболее важной, и, по всей вероятности, такой она и останется. Однако проблема промышленности немногим уступает ей по значению, и к тому же она развивается. Что является нашей целью — крестьянское государство или индустриальное? Конечно, нам суждено остаться по преимуществу сельскохозяйственной страной, но при этом можно и, я полагаю, необходимо развивать промышленность.

Наши промышленные магнаты отличаются совершенно невероятной идейной отсталостью, их нельзя даже назвать современными капиталистами. Массы настолько бедны, что эти магнаты не смотрят на них как на потенциальных потребителей своих товаров и с ожесточением сопротивляются всякому предложению о повышении заработной платы или сокращении рабочего дня. За последнее время на текстильных фабриках продолжительность рабочего дня была сокращена с десяти до девяти часов. Это побудило ахмадабадских фабрикантов снизить заработную плату, причем это снижение коснулось даже тех, кто работал сдельно. Таким образом, сокращение рабочего дня означало для бедного рабочего уменьшение дохода и дальнейшее снижение его жизненного уровня. Между тем рационализация осуществляется весьма быстрыми темпами, взваливая на рабочего все более тяжелое бремя и все более изматывая его без соответствующего увеличения заработной платы. Промышленники руководствуются идеями начала XIX века. Когда для этого представляется случай, они наживают громадные прибыли, положение же рабочего ничуть не меняется; когда происходит спад, предприниматели жалуются, что они не могут продолжать дело без понижения заработной платы. При этом они не только опираются на помощь государства, но обычно пользуются также сочувствием наших политических деятелей, принадлежащих к среднему классу. И все же рабочий текстильной фабрики Ахмадабада находится в лучших условиях, чем такой же рабочий в Бомбей или где-либо еще. Положение рабочих текстильных фабрик в целом лучше, чем положение рабочих джутовых фабрик Бенгалии и горняков. В наихудших условиях находятся рабочие мелких, распыленных промышленных предприятий. Весьма поучительно сравнить великолепные дворцы джутовых королей и текстильных магнатов с их показной пышностью и роскошью и жалкие лачуги, в которых ютятся их полуголые рабочие. Но мы относимся к этим контрастам как к чему-то само собой разумеющемуся и совершенно снокойно и невозмутимо проходим мимо них.

И все же, как бы ни была тяжела участь индийского промышленного рабочего, в материальном отношении она намного лучше участи крестьянина. У крестьянина есть одно преимущество: он дышит чистым воздухом и не испытывает унижений

жизни в трущобах. Но он настолько опустился, что часто превращает свою деревню, по выражению Гандиджи, в «навозную кучу». Ему чужды дух сотрудничества, стремление объединить усилия для блага общества. Легко осуждать его за это, но что остается делать этому несчастному созданию, когда жизнь предстает перед ним как жестокая неустанная борьба в одиночку против всех. Просто чудо, что он вообще ухитряется как-то существовать. Установлено, что средний дневной доход обычного крестьянина в Пенджабе составлял в 1928—1929 годах около 9 анна (примерно 9 пенсов) на душу. В 1930—1931 годах он сократился до 9 пай ($\frac{3}{4}$ пенса) на душу! Пенджабский крестьянин считается гораздо более преуспевающим, чем крестьяне Соединенных провинций, Бихара и Бенгалии. В некоторых восточных округах Соединенных провинций (Горакхпур и другие) в период процветания, предшествовавший кризису, дневная заработная плата сельскохозяйственного рабочего равнялась 2 анна (2 пенсам). Говорить об улучшении этих чудовищных условий средствами филантропии или с помощью местных усилий по подъему сельского хозяйства — значит издеваться над крестьянином и его страданиями.

Каким образом можем мы выбраться из этой трясины? Какие-то способы для этого, несомненно, можно изыскать, хотя поднять массы людей, опустившихся столь низко, — задача весьма трудная. Самым большим препятствием являются привилегированные группы, сопротивляющиеся переменам, и при империалистическом господстве эти перемены, повидимому, исключены. Куда обратит свои взоры Индия в грядущие годы? Повидимому, основными течениями века являются коммунизм и фашизм; промежуточные течения и колеблющиеся группы постепенно исчезают. Сэр Малькольм Хейли предсказал, что Индия пойдет по пути национал-социализма, представляющего собой одну из разновидностей фашизма. Возможно, он и прав, поскольку дело касается ближайшего будущего. Среди индийских юношей и девушек уже проявляются ясно выраженные фашистские настроения — особенно в Бенгалии, но в известной мере также и во всех остальных провинциях, — и в Конгрессе эти настроения уже находят свое отражение. Поскольку фашизм тесно связан с крайними формами насилия, старейшие деятели Конгресса, преданные идее ненасилия, естественно, испытывают к нему отвращение. Но так называемая философская основа фашизма — корпоративное государство, в котором сохраняется частная собственность, а привилегированные группы ограничиваются, но не ликвидируются, — по всей вероятности, будет им импонировать. На первый взгляд может показаться, что это и есть редкая возможность сохранить старое и в то же время получить новое. Но насколько возможно и сохранить пирог, и съесть его — это уже другой вопрос.

Но подлинно энергичного движения в сторону фашизма следует, разумеется, ожидать со стороны молодых представителей среднего класса. В настоящее время революционными настроениями в Индии отличаются не столько рабочие или крестьяне, сколько именно часть среднего класса, хотя промышленные рабочие потенциально являются, без сомнения, более революционными. Этот националистически настроенный средний класс представляет собой благодатную почву для распространения фашистских идей. Однако фашизм в европейском смысле этого слова не может получить у нас распространения до тех пор, пока в нашей стране существует чужеземное правление. Индийский фашизм неизбежно должен выступать за независимость Индии, а потому он не может заключить союз с английским империализмом. Ему придется искать поддержки в массах. В случае полного устранения английского контроля фашизм, вероятно, стал бы быстро развиваться и, безусловно, пользовался бы поддержкой верхушки среднего класса и привилегированных групп.

Однако английский контроль едва ли будет скоро ликвидирован, а между тем в стране также распространяются социалистические и коммунистические идеи, несмотря на суровые репрессии английского правительства. Коммунистическая партия в Индии объявлена вне закона, причем этот термин употребляется в самом широком смысле и к коммунистам причисляются даже сочувствующие, а также профсоюзы, имеющие переломные программы.

Если говорить о выборе между фашизмом и коммунизмом, то мои симпатии находятся целиком на стороне коммунизма. Как показывают эти страницы, я очень далек от того, чтобы быть коммунистом. Истоки моего мировоззрения, вероятно, все еще частично восходят к XIX столетию, либеральные гуманистические традиции оказали на меня слишком большое влияние, чтобы я мог совсем от них освободиться. Это буржуазное воспитание неотделимо от меня и, естественно, вызывает раздражение у многих коммунистов. Мне не нравится догматизм, отношение к трудам Карла Маркса или к каким-либо другим книгам, как к непогрешимому священному писанию, регламентация жизни и травля инакомыслящих, составляющие, видимо, характерную черту современного коммунизма. Мне не нравится также многое из того, что произошло в России, и особенно чрезмерное применение насилия в обычной обстановке, и все же я все больше склоняюсь к коммунистической философии.

Возможно, Маркс и допустил ошибки в некоторых своих утверждениях или в своей теории стоимости — судить об этом я не компетентен. Но мне кажется, что он обладал необычайной способностью проникать в сущность социальных явлений, и эта его прозорливость являлась, очевидно, результатом избранного им научного метода. Этот метод, примененный к истории,

а также к текущим событиям, помогает нам понять их гораздо лучше, нежели любой другой метод, и именно этим объясняется то, что наиболее пронизательный и острый анализ изменений, происходящих в настоящее время в мире, дают марксистские авторы. Легко говорить о том, что Маркс игнорировал или недооценивал некоторые проявившиеся впоследствии тенденции, как, например, усиление революционного элемента в рядах среднего класса, столь заметное ныне. Но вся ценность марксизма, как мне кажется, заключается в отсутствии догматизма, его определенном взгляде на вещи, определенном подходе к явлениям и в его отношении к практическому действию. Этот подход помогает нам понять социальные явления нашего времени и указывает путь к действию, к спасению.

Но и этот метод действий не был чем-то постоянным и неизменным, а должен был меняться сообразно обстоятельствам. Такова была, по крайней мере, точка зрения Ленина, и он блестяще доказал ее справедливость, сообразуя свою деятельность с изменяющимися условиями. Он говорит нам, что «пытаться решать вопрос о конкретных средствах борьбы, не рассмотрев во всех деталях конкретную ситуацию в данный момент, на данной стадии ее развития, значит полностью отойти от марксизма». Он говорит также: «Ничто не является окончательным; мы должны всегда учитывать конкретные обстоятельства».

Благодаря этому широкому, всеобъемлющему подходу настоящей, мыслящий коммунист вырабатывает в себе до известной степени способность воспринимать общественную жизнь в ее взаимосвязи. Для него политика перестает быть попросту летописью оппортунизма или блужданием в потемках. Идеалы и цели, к которым он стремится, придают смысл борьбе и тем жертвам, на которые он с готовностью идет. Он ощущает себя частицей движущейся вперед великой армии, вершительницы судеб человечества, и он чувствует, что «идет в ногу с историей».

Вероятно, большинство коммунистов ничего этого вовсе не ощущает. Быть может, только такой человек, как Ленин, во всей полноте обладал этим ощущением жизни в ее взаимосвязи, благодаря чему его деятельность и была столь эффективной. Но в некоторой степени это свойственно всякому коммунисту, постигшему философию этого движения.

Многие коммунисты часто выводят из терпения, они обладают какой-то удивительной способностью раздражать окружающих. Но этим людям довелось очень много испытать, и повсюду, кроме Советского Союза, им приходится действовать в невероятно трудных условиях. Я всегда восхищался их огромным мужеством и самоотверженностью. Они тяжело страдают, как страдают, к несчастью, бесчисленные миллионы людей, но не склоняются слепо перед злой и всемогущей судьбой. Как

человеческие существа, они страдают, и в этом страдании есть какое-то трагическое благородство.

Успех или провал социальных экспериментов в России не имеет прямого отношения к вопросу об истинности теории Маркса. Возможно, хотя и весьма мало вероятно, что стечение неблагоприятных обстоятельств или какое-нибудь сочетание сил сорвет эти эксперименты. Но эти великие социальные сдвиги не утратят своего значения. При всем моем инстинктивном отвращении ко многому из того, что произошло там, я считаю, что именно они сулят наибольшую надежду миру. Я слишком мало знаю и не могу судить об их действиях. Больше всего я опасаясь, что чрезмерное применение насилия и мер подавления может иметь плохие последствия, от которых трудно будет избавиться. Но в пользу нынешних вершителей судеб России больше всего говорит тот факт, что они не боятся учиться на своих ошибках. Они способны вернуться назад и приняться строить заново. И при этом они никогда не упускают из виду свой идеал. Их деятельность в других странах, проводимая через Коммунистический Интернационал, была чрезвычайно малоуспешной, но в настоящее время эта деятельность, видимо, сведена к минимуму.

Если говорить об Индии, то коммунизм и социализм, повидимому, являются здесь делом далекого будущего, если только влияние внешних событий не ускорит темп нашей жизни. Нам приходится иметь дело не с коммунизмом, а с коммунализмом (на один слог больше!), то есть с религиозно-общинной рознью. Во всем, что касается религиозных общин, Индия не вышла из периода средневековья. Люди действия растрачивают свою энергию на всевозможные мелочи, интриги и маневры, стараются обмануть друг друга. Очень немногие из них заинтересованы в том, чтобы попытаться сделать мир лучше и совершеннее. Возможно, это только временное явление, которое скоро пройдет.

Во всяком случае, Конгресс большей частью держится в стороне от этих религиозно-общинных раздоров, но его взгляды являются мелкобуржуазными, и к разрешению этой проблемы, как и других проблем, он подходит с мелкобуржуазных позиций. Вряд ли он сможет добиться успеха на этом пути. Сегодня он выражает интересы низших слоев среднего класса, ибо именно они отличаются в настоящее время наибольшей активностью и революционностью. Но, тем не менее, он вовсе не является таким жизнеспособным, каким кажется. С обеих сторон на него давят две силы, из которых одна располагает прочными позициями, а другая еще слаба, но быстро растет. В настоящее время он переживает кризис, и что ожидает его в будущем, трудно сказать. Он не может перейти на сторону сил, прочно закрепившихся на своих позициях, пока не выполнит свою историческую миссию — достижение национальной свободы. Но

прежде чем он достигнет этой цели, другие силы могут приобрести влияние и увлечь его за собой или же постепенно занять его место. Надо думать, однако, что до тех пор, пока не будет в значительной степени достигнута национальная свобода, Конгресс будет играть в Индии ведущую роль.

Всякая насильственная деятельность, повидимому, исключена как вредная и напрасная трата сил. Это как будто признано в Индии всеми, несмотря на отдельные редкие случаи бесплодного спорадического насилия. Этот путь может привести к такому безвыходному положению, когда в ответ на насилие будут прибегать к насилию, и из этого положения трудно будет выбраться.

Нам часто говорят, что мы должны объединиться и выступать «единым фронтом». Сароджини Найду призывает к этому со всем свойственным ей красноречием и поэтическим пафосом. Как поэтесса, она вправе подчеркивать красоту гармонии и согласия. Само собой разумеется, что «единый фронт» всегда желателен, если только это действительно фронт. Но если проанализировать эту формулу, приходишь к выводу, что цель, которая при этом ставится, это заключение верхушечного пакта или компромисса. Подобное объединение неизбежно приведет к тому, что самые осторожные и умеренные будут намечать цель и определять темпы. Поскольку же общеизвестно, что некоторые из них питают отвращение ко всякому движению, результатом будет единый застой. Вместо единого фронта мы продемонстрируем единый и обширный тыл.

Было бы, конечно, абсурдом заявлять, что мы не станем сотрудничать или не пойдём на компромисс с другими. Жизнь и политика слишком сложны, чтобы мы всегда могли мыслить прямолинейно. Даже непримиримый Ленин говорил, что «идти вперед, не прибегая к компромиссам и не сворачивая с прямого пути» — это «ребячество, а не серьезная тактика революционного класса». Компромиссы неизбежны, и мы не должны из-за этого особенно волноваться. Но соглашаемся ли мы на компромисс или нет, важно одно: чтобы вопросы, имеющие первостепенное значение, всегда были на первом плане и чтобы они никогда не оттеснялись чем-то второстепенным. Если у нас будет полная ясность в отношении наших принципов и целей, временные компромиссы никакого вреда не причинят. Опасность заключается в том, как бы мы не смазали эти принципы и цели из-за боязни обидеть наших меньших братьев. Повести по неправильному пути гораздо хуже, чем обидеть.

Я пишу о текущих событиях расплывчато и несколько академично и пытаюсь разыгрывать роль объективного наблюдателя. Меня обычно не считают сторонним наблюдателем, когда в перспективе предвидится возможность действия. Мой грех, как мне часто указывают, состоит в том, что я безрассудно кидаюсь вперед без достаточного к тому повода. Как бы я

поступил сейчас? Что бы я посоветовал своим соотечественникам? Возможно, инстинктивная осторожность человека, занятого общественной деятельностью, не позволяет мне раньше времени связывать себя какими-либо определенными высказываниями на этот счет. Но, честно говоря, я и сам этого не знаю и не пытаюсь узнать. Зачем мне беспокоиться, если я все равно не могу действовать? Мне и так приходится немало беспокоиться, но это неизбежно. И, пока я нахожусь в тюрьме, я стараюсь, по крайней мере, не думать над проблемой ближайшего действия.

В тюрьме всякая деятельность кажется далекой. Человек становится объектом событий, а не субъектом действия. И вы вечно ждете, не случится ли что-нибудь. Я пишу о политических и социальных проблемах Индии и мира, но что они значат для маленького замкнутого тюремного мирка, в котором я так давно пребываю? Для заключенных только одно представляет интерес — дата их освобождения.

В тюрьме Наини и здесь, в Алморе, ко мне приходили многие заключенные и озабоченно осведомлялись относительно «джугли». Сначала я не мог понять, о чем идет речь, но впоследствии выяснилось, что они коверкали слово «юбилей». Они имели в виду слухи относительно предстоящего празднования двадцатипятилетнего юбилея короля Георга, но сами этого не знали. По ассоциации с прошлым для них это слово имело только одно значение: оно означало частичную амнистию или значительное смягчение приговоров. Все заключенные, в особенности те, кто приговорен к длительным срокам, интересуются поэтому предстоящим «джугли». Для них «джугли» имеет гораздо большее значение, чем конституционные реформы, парламентские акты, социализм и коммунизм.

Э П И Л О Г

*Нам велено трудиться, но завершить
труды наши нам не дано.*

Талмуд.

Я подошел к завершению своего рассказа. Это субъективное повествование о моих жизненных переживаниях, какими они были, доведено до сегодняшнего дня, 14 февраля 1935 года, который я встречаю в стенах тюрьмы в Алморе. Ровно три месяца назад я отпраздновал в этой тюрьме свое 45-летие и думаю, что впереди у меня еще много лет жизни. Иногда возраст дает себя чувствовать и меня охватывает усталость, в иные моменты я чувствую себя полным энергии и жизненных сил. У меня довольно крепкий организм, а моя психика обладает способностью оправляться от потрясений, и я полагаю, что проживу еще долго, если со мной не случится что-либо непредвиденное. Но раньше, чем писать о будущем, надо его пережить.

Мои жизненные приключения, возможно, не были особенно увлекательными,— едва ли можно назвать приключением долгие годы, проведенные в тюрьме. В них не было также ничего исключительного, ибо в эти годы с их взлетами и падениями судьба моя была подобна судьбе десятков тысяч моих соотечественников и соотечественниц, и эта летопись сменявшихся настроений, порывов восторга и депрессии, интенсивной деятельности и вынужденного одиночества является нашей общей летописью. Я был частицей массы, движущейся вместе с ней, временами направляющей ее, а временами испытывающей на себе ее влияние, но в то же время, как и другие составные ее частицы, оставался самостоятельным и жил своей собственной жизнью в самой гуще народа. Мы часто рисовались и принимали эффектные позы, но во многом из того, что мы делали, было что-то вполне реальное и глубоко искреннее, и это поднимало нас над нашими мелкими я, делало нас более жизнеспособными и придавало нам значение, которого при иных обстоятельствах мы не имели бы. Иногда на нашу долю выпадало счастье ощутить ту полноту жизни, которая приходит, когда пытаешься связать свои идеалы с практической деятельностью. И мы понимали, что всякая иная жизнь, основанная на отказе

от этих идеалов и на покорном подчинении превосходящей силе, была бы никчемным существованием, полным неудовлетворенности и внутренней скорби.

Среди многих других даров эти годы принесли мне один щедрый дар. Я все более стал смотреть на жизнь, как на приключение, полное захватывающего интереса, которое может многому научить и открывает такое широкое поле деятельности. Я постоянно чувствовал себя растущим, и это чувство сохранилось у меня до сих пор; оно придает особый интерес моей деятельности, а также чтению книг, и вообще делает жизнь стоящей.

В этом повествовании я пытался рассказать о тех настроениях и мыслях, которые вызывало у меня каждое событие, и по возможности описать чувства, волновавшие меня в тот момент. Восстановить исчезнувшее настроение трудно, как нелегко забыть и последующие события. Таким образом, позднейшие идеи неизбежно должны были отразиться на моем рассказе о более ранних днях, но цель моя состояла в том, чтобы проследить, главным образом для себя самого, мой собственный духовный рост. Возможно, то, что я написал, представляет собой не столько повествование о том, кем я был, сколько о том, кем мне порою хотелось быть или каким я себя видел.

Несколько месяцев назад сэр К. П. Рамасвами Айар публично заявил, что я не выражаю настроений масс, но что я тем более опасен ввиду моей самоотверженности, идеализма и страстности убеждений, которую он назвал «самогипнозом». Человек, подверженный самовнушению, вряд ли может быть судьей самому себе, и, во всяком случае, я не собираюсь вступать в спор с Рамасвами Айаром по этому личному поводу. Мы не делились уже много лет, но в далеком прошлом было время, когда мы оба были секретарями лиги борьбы за самоуправление. С тех пор произошло много событий, и Рамасвами Айар поднялся до головокружительных высот, тогда как я остался простым смертным. Теперь между нами очень мало общего, кроме нашей общей национальности. Он стал ярым апологетом английского господства в Индии, особенно за последние несколько лет, поклонником диктатуры в Индии и других странах и ныне сам является великолепным украшением авторитарного правления в одном из индийских княжеств. Я полагаю, что мы с ним расходимся во взглядах по большинству вопросов, но мы единодушны в одном довольно незначительном вопросе. Он совершенно прав, когда говорит, что я не выражаю настроений масс. Я не питаю никаких иллюзий на этот счет.

Я даже часто спрашиваю себя, представляю ли я вообще кого-либо, и я склонен думать, что не представляю никого, хотя многие питают ко мне добрые дружеские чувства. Я стал воплощением какого-то странного смешения Востока и Запада, всюду чужой, нигде не чувствующий себя дома. Мой образ мыслей и

подход к жизни, пожалуй, более сродни тому, что называют западным подходом, но Индия всячески цепляется за меня, как и за всех своих сыновей, и в глубинах моего подсознания живет расовая память о сотне — или сколько их было? — поколений брахманов. Я не могу освободиться ни от этого наследия прошлого, ни от приобретений, сделанных мною за последнее время. И то и другое составляют частицу моего я и, хотя они помогают мне как на Востоке, так и на Западе, в то же время порождают ощущение духовного одиночества не только в моей общественной деятельности, но и в самой жизни. На Западе я чужой, посторонний. Я не могу принадлежать к нему. Но и в своей собственной стране я иной раз чувствую себя изгнанником.

Когда смотришь на далекие горы, кажется так легко взойти, взобраться на них, вершина так и манит к себе, но стоит приблизиться к ним, как возникают препятствия, и чем выше поднимаешься, тем труднее становится путь, а вершина отступает куда-то в облака. И все же восхождение стоит тех усилий, которые на него затрачиваются, оно имеет свою прелесть и само по себе дает чувство удовлетворения. Пожалуй, смысл жизни придает не столько копейный результат, сколько борьба. Часто трудно бывает решить, какой путь правильный, иной раз легче определить, какой путь неправилен, и суметь избежать его — это уже кое-что значит. Я позволю себе почтительно процитировать последние слова великого Сократа: «Я не знаю, что такое смерть,— быть может, это что-то хорошее, и я не боюсь ее. Но я знаю, что отказываться от своего прошлого — скверное дело, и этому заведомо плохому я предпочитаю то, что может оказаться хорошим».

Сколько лет я провел в тюрьме! Сколько времен года сменило друг друга и кануло в небытие, пока я сидел в одиночестве, погруженный в свои мысли! Сколько раз прибывали и убывали луны, сколько раз я наблюдал пышное зрелище неумолимого и величественного движения звезд! Сколько здесь погребено вчерашних дней моей юности, и иногда мне чудится, как поднимаются призраки этих вчерашних дней, воскрешая мучительные воспоминания, и шептают мне: «А был ли во всем этом смысл?» Я отвечаю без колебаний. Если бы я мог начать свою жизнь сначала, располагая своими нынешними знаниями и опытом, я, без сомнения, попытался бы многое изменить в своей жизни и постарался бы во многих отношениях улучшить сделанное мной раньше, но мои основные решения, касающиеся общественной деятельности, остались бы неизменными. Собственно говоря, я бы и не мог их изменить, ибо они были сильнее меня и меня привела к ним сила, находящаяся вне моей власти.

Исполнился почти год с момента моего осуждения; один год из двухлетнего срока, к которому я приговорен, уже истек.

Остается еще целый год, ибо на этот раз никаких послаблений не будет — при обычном заключении сокращений срока не бывает. Даже одиннадцать дней, проведенных вне тюрьмы в августе прошлого года, добавили к сроку моего заключения. Но и этот год пройдет, и я выйду на свободу. И что тогда? Я не знаю, но чувствую, что одна глава моей жизни кончилась и начнется другая. Мне трудно составить себе ясное представление о том, какова она будет. Лежащая передо мной книга жизни закрыта.

Постскриптум

Баденвейлер, Шварцвальд,
25 октября 1935 года.

В мае моя жена покинула Бховали и отправилась в Европу для продолжения лечения. После ее отъезда мне уже незачем было посещать Бховали, выходить раз в две недели из тюрьмы и мчаться по горным дорогам. Мне не хватало этого, и пребывание в тюрьме Алморе стало для меня еще более тоскливым, чем раньше.

Мы узнали о землетрясении в Кветте, и на какое-то время все остальное было забыто. Но не надолго, ибо правительство Индии не позволяет нам забывать о нем и о его своеобразных методах. Вскоре мы узнали, что Раджендре Прасаду, председателю Конгресса, человеку, лучше, чем кто бы то ни было в Индии, знающему, как организовать помощь пострадавшим от землетрясения, не разрешили поехать в Кветту и помочь организовать эту помощь. Не разрешили этого и Гандиджи или какому-либо другому видному общественному деятелю. У многих индийских газет был конфискован внесенный ими залог за то, что они помещали статьи о Кветте.

Повсюду — в Законодательном собрании, в деятельности гражданской администрации, в бомбардировке Пограничной провинции — проявляется военный дух, какой-то полицейский подход ко всему. Создается такое впечатление, что английское правительство в Индии ведет непрерывную войну с большими группами индийского народа.

Полиция — полезное и необходимое учреждение, но жить в мире, полном полицейских и их дубинок, пожалуй, не так уж приятно. Не раз говорилось, что неумеренное применение силы унижает того, кто ее применяет, точно так же, как оно оскорбляет и унижает того, против кого она применяется. Ничто в Индии так не бросается сегодня в глаза, как непрерывное падение (моральное и интеллектуальное) высших административных учреждений, особенно Индийской гражданской службы. Это наиболее заметно среди высших чиновников, но в той или иной мере свойственно всему административному аппарату. Всякий

раз, когда представляется случай назначить новое лицо на какой-либо высокий пост, неизменно избирается человек, наилучшим образом выражающий этот новый дух.

4 сентября меня неожиданно освободили из Алморской тюрьмы, так как поступило сообщение, что состояние здоровья моей жены угрожающее. Она находилась на излечении в Баденвейлере, в Шварцвальде (Германия). Мне сказали, что мой приговор «приостановлен», и я был освобожден на пять с половиной месяцев раньше срока. Я вылетел в Европу самолетом.

Европа, охваченная смятением, страхом войны, волнениями и вечно находящаяся под угрозой экономического кризиса; вторжение в Абиссинию, на жителей которой сбрасывают бомбы; различные империалистические системы, пришедшие в столкновение и грозящие друг другу, и Англия, эта крупнейшая из империалистических держав, выступающая за мир и отстаивающая устав Лиги наций в то самое время, когда сама она бомбардирует и жестоко угнетает поработанные ею народы. А здесь, в Шварцвальде, царят мир и покой и даже свастика не слишком бросается в глаза. Я слежу за тем, как туман окутывает долину, как он скрывает далекую границу Франции и одевает пеленой ландшафт. И я спрашиваю себя, что же там, за этим туманом?

ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Пять с половиной лет тому назад в Алморской тюрьме написал я последние строки автобиографии, а через восемь месяцев, находясь в Германии, в Баденвейлере, дополнил ее постскриптумом. Автобиография, изданная в Англии, была благожелательно встречена самыми различными людьми в разных странах, и я был рад, что написанное мною сделало Индию более близкой для многих наших друзей за границей и, до некоторой степени, дало возможность понять внутреннее значение нашей борьбы за свободу.

Не так давно издатель моей книги обратился ко мне с просьбой написать еще одну главу к автобиографии, чтобы отразить в ней события последних лет. Просьба его была вполне обоснована, и я не мог отказаться. Тем не менее мне было нелегко выполнить эту просьбу. Мы живем в необычные времена, когда нормальный ход жизни полностью нарушен. Но меня, однако, смущало другое, более серьезное затруднение. Свою автобиографию я написал в тюрьме, совершенно отрезанный от событий внешнего мира. Там, в тюрьме, я, как и каждый заключенный, страдал от разных душевных переживаний, и только со временем мне удалось выработать способность к самоанализу и обрести некоторое душевное спокойствие. Сумею ли я вновь проникнуться этим настроением, смогу ли продолжить свою книгу? Когда я просматриваю свою книгу сейчас, мне кажется, что кто-то другой, а не я написал эти строки о прошлом. Пять лет, прошедших со времени написания книги, изменили лицо мира и оставили свои следы на мне. Конечно, я постарел физически, но главное то, что за эти годы тяжелые удары и переживания, обрушивавшиеся на меня один за другим, закалили мой разум или, возможно, помогли ему созреть. Со смертью жены в Швейцарии закончился один из этапов моего бытия, ее смерть унесла часть моей жизни, часть моего я. Мне трудно было осознать, что ее уже нет, и я не мог смириться с этой мыслью. Я ушел с головой в работу, пытаюсь найти в ней забвение, и разъезжал по Индии, нигде надолго не задерживаясь. Теперь в моей жизни еще больше, чем раньше, наблюдалась смена окружения: то я встречался с огромными массами на-

рода, то был поглощен лихорадочной работой, то испытывал одиночество. Позднее смерть моей матери оборвала последнее звено, связывавшее меня с прошлым. Дочь моя в это время училась в Оксфордском университете, а потом уехала лечиться в санаторий. Неохотно возвращался я в свой дом после скитаний и в одиночестве коротал время в опустевших комнатах, стараясь ни с кем там не встречаться. После бурливших вокруг меня толп народа я хотел покоя.

Но в своей работе и в своих мыслях я не находил покоя. Меня очень сильно угнетала ответственность, которую я должен был нести на своих плечах. Я не мог найти общего языка с различными партиями и группами; я расходился во мнениях даже со своими ближайшими коллегами. Я не мог действовать по своему усмотрению и в то же время не давал возможности другим поступать так, как они того хотели. Во мне поднималось и росло чувство подавленности и разочарования, я стал одинок в общественной жизни, хотя толпы народа попрежнему собирались послушать мои выступления и встречали меня с энтузиазмом.

На меня больше, чем на других, повлияло развитие событий в Европе и на Дальнем Востоке. Мюнхен явился для меня тяжелым ударом, а трагедию Испании я переживал как свою личную горе. По мере того как один ужасный год сменялся другим, мной все больше овладевало предчувствие надвигающейся катастрофы, и моя вера в светлое будущее мира стала слабеть.

И вот катастрофа разразилась. Вулканы Европы извергают огонь и несут людям гибель. И здесь, в Индии, я тоже сижу у кратера вулкана, не зная, когда начнется извержение. Трудно отрешиться от проблем текущего момента и настроить свой ум на размышления о прошлом, проанализировать события прошедших пяти лет и спокойно писать о них. И даже если бы я мог это сделать, мне пришлось бы написать еще одну большую книгу, так как пришлось бы рассказать о многом. Поэтому я попытаюсь по возможности кратко остановиться только на тех событиях, в которых я играл какую-то роль или которые непосредственно касались меня.

Я находился подле своей жены, когда она умерла в Лозанне 28 февраля 1936 года. Незадолго до ее смерти я узнал, что меня вторично избрали председателем Индийского национального конгресса. Вскоре я вылетел самолетом в Индию, и по пути, в Риме, со мной произошло довольно любопытное происшествие. За несколько дней до вылета из Швейцарии мне было передано сообщение, что Муссолини хотел бы встретиться со мной на моем пути через Рим. Несмотря на то, что я крайне отрицательно относился к фашистскому режиму, в обычных условиях я не возражал бы против встречи с Муссолини, чтобы самому составить мнение о человеке, который играет такую важную роль в международной жизни. Но в тот момент мне не

хотелось ни с кем встречаться. Кроме того, от встречи с Муссолини меня удерживала продолжающаяся война в Абиссинии и опасение, что моя встреча с ним будет неизбежно использована в целях фашистской пропаганды. Никакие мои опровержения ни к чему бы не привели. Я вспомнил, что в 1931 году, когда Гандиджи был проездом в Риме, газета «Джорнале д'Италия» приписала ему интервью, которого он на самом деле не давал. Вспомнился мне и еще ряд случаев, когда индийцев, посещавших Италию, против их воли использовали в целях фашистской пропаганды. Хотя меня и уверяли, что ничего подобного со мной не произойдет и что наша встреча будет сугубо конфиденциальной, я, тем не менее, предпочел избежать встречи и передал Муссолини свои извинения.

Однако я не мог миновать Рима, так как пассажирский самолет голландской авиакомпании, на котором я летел, делал там остановку на ночь. Сразу по прибытии в Рим меня посетил высокопоставленный чиновник и передал приглашение встретиться с Муссолини в тот же вечер. Он мне сообщил, что все уже подготовлено для встречи. Подобное заявление удивило меня, и я ответил, что уже просил передать свои извинения. Наш спор длился около часа, подошло время, назначенное для встречи, и я настоял на своем. Встреча не состоялась.

Возвратившись в Индию, я сразу же погрузился в работу. Через несколько дней мне пришлось открывать ежегодный съезд Национального конгресса. Последние годы, проведенные в основном в тюрьме, я был оторван от событий в Индии. Я увидел, что многое изменилось, что произошла перегруппировка сил и обострилась внутривластная борьба в Конгрессе. Создалась атмосфера подозрительности, ожесточения и конфликта. Уверенный в своей способности справиться с создавшимся положением, я не считал все это серьезным. Некоторое время мне казалось, что Конгресс поддается моему влиянию и следует по намеченному мною пути. Но вскоре я понял, что конфликт носит глубокий характер, что не так легко рассеять подозрительность, которая пронизывала отношения людей друг к другу, чувство ожесточения, которое появилось в наших рядах. Я начал серьезно подумывать об уходе с поста председателя Конгресса, но, осознав, что этот шаг еще более ухудшит положение, остался.

В течение последующих нескольких месяцев я не раз возвращался к мысли об уходе. Мне было трудно сработаться с членами руководящего органа Конгресса, и я понял, что они смотрят на мою деятельность с опаской. Дело было не столько в том, что они выступали против каких-либо конкретных моих действий, а в том, что им не нравился общий курс и направление моей деятельности. Подобное отношение с их стороны было вполне оправдано, так как мы расходились во взглядах. Я полностью выполнял решения Конгресса, но старался

подчеркнуть одни стороны этих решений, в то время как мои коллеги делали упор на другие стороны. В конце концов я все же решил отказаться от поста председателя и сообщил о своем решении Гандиджи. В письме на его имя я писал, что «после моего возвращения из Европы стал замечать, что чрезвычайно утомляюсь на заседаниях Рабочего комитета; они пагубно отражаются на моем здоровье, и после каждого заседания у меня появляется ощущение, что я старею на несколько лет. Я не удивился бы, если бы узнал, что такое же ощущение испытывают и другие члены комитета. Это оставляет неприятный осадок и мешает успешной работе».

Вскоре произошло событие, которое хотя и не коснулось Индии, но произвело большое впечатление на меня и заставило изменить свое решение. Это было сообщение о мятеже генерала Франко в Испании. Я представил себе, как этот мятеж при поддержке со стороны Германии и Италии разрастется в общеевропейский или даже мировой конфликт. Я понимал, что Индия будет обязательно втянута в этот конфликт, и не мог решиться ослабить нашу организацию и своим уходом создать внутренний кризис в такой час, когда мы должны сплотить свои ряды. Я не совсем ошибался в своей оценке международной обстановки, хотя я поспешил несколько со своими выводами, ибо события, которые я предвидел, произошли не сразу, а через несколько лет.

Мое отношение к войне в Испании свидетельствует о том, насколько тесно проблема Индии переплеталась в моем понимании с другими международными проблемами. Я все более убеждался в том, что отдельные политические или экономические проблемы в Китае, Абиссинии, Испании, Центральной Европе, Индии или в других странах были частицами одной общей мировой проблемы. Ни одна из этих частных проблем не могла быть окончательно разрешена до разрешения общей проблемы. Но прежде чем будет найдено окончательное решение этой проблемы, по всей вероятности, произойдут потрясения и бедствия. Говорят, что в наше время мир неделим. Также неделима и свобода, и мир не может долгое время оставаться свободным в одной части и поработанным в другой. Вызов, брошенный фашизмом и нацизмом, был по существу вызовом империализма. Они были близнецами, с той только разницей, что империализм господствовал в колониальных и зависимых странах, а фашизм и нацизм, используя те же методы и средства, господствовали также и в своих собственных странах. Для торжества свободы во всем мире не достаточно уничтожить фашизм и нацизм, надо полностью ликвидировать империализм.

Подобное отношение к событиям, происходившим за границей, наблюдалось не только у меня. В Индии было немало людей, которые до некоторой степени начали склоняться к такому

же мнению, и даже широкая общественность страны начала проявлять интерес к событиям. Этот интерес находил свое выражение в тысячах митингов и демонстраций, организованных Конгрессом по всей стране в поддержку народов Китая, Абиссинии, Палестины и Испании. Мы пытались оказать народам этих стран также и материальную помощь — с этой целью мы отправляли медикаменты и продовольствие в Китай и Испанию. Этот повышенный интерес народа к международным событиям помог нам усилить национальную борьбу в стране и несколько ослабить ограниченность, всегда присущую национализму.

Но международные события, естественно, не затрагивали непосредственно жизни среднего человека, поглощенного своими собственными заботами. Индийский крестьянин должен был думать о том, как справиться с растущими трудностями, с ужасной нищетой и многими другими невзгодами, обрушившимися на него. В конечном итоге аграрный вопрос был главной проблемой Индии, и Конгресс постепенно разработал аграрную программу, которая хотя и предусматривала значительные реформы, тем не менее оставляла существующую систему нетронутой. Промышленный рабочий жил немногим лучше, чем крестьянин. В стране часто вспыхивали забастовки. Люди, интересующиеся политикой, обсуждали новую конституцию, навязанную Индии английским парламентом. Хотя эта конституция и давала некоторую самостоятельность провинциям, тем не менее она оставляла всю полноту власти в стране в руках английского правительства и его представителей. Предполагалось создать федерацию, которая объединяла бы феодальные и автократические княжества с полудемократическими провинциями и назначением которой было сохранить под управлением центрального правительства на долгие времена английскую империалистическую систему. Это был фантастический, неосуществимый план, но в нем были предусмотрены все мыслимые гарантии, обеспечивающие английские интересы в Индии. Эта конституция с возмущением была отвергнута Конгрессом, и вряд ли в Индии нашелся бы человек, помянувший ее добрым словом.

Сначала была проведена в жизнь та часть конституции, которая касалась провинций. Несмотря на то, что конституция была нами отвергнута, мы решили принять участие в выборах, так как это должно было дать нам возможность войти в тесный контакт не только с миллионами избирателей, но также и с другими слоями населения. Эти всеобщие выборы ярко запечатлелись в моей памяти. Сам я не был кандидатом, однако, разъезжая по всей стране и выступая от имени кандидатов Конгресса, я, мне кажется, установил своеобразный рекорд в проведении предвыборных кампаний. Примерно за четыре месяца избирательной кампании я покрыл расстояние в 50 тысяч

милль, причем мне приходилось пользоваться самыми различными видами транспорта, забираться в самые отдаленные уголки страны, где не было нормальных средств передвижения. Мне пришлось путешествовать самолетом, по железной дороге, в легковых и грузовых автомашинах, в различных повозках, арбах, на велосипеде, всрхом на слонах, верблюдах, лошадях, пароходом, в челне, рыбацких лодках и пешком.

Во время моих поездок у меня всегда были микрофоны и громкоговорители, и каждый день я выступал в среднем на двенадцати митингах, не считая импровизированных выступлений перед избирателями по пути. На некоторых больших митингах число собравшихся доходило до сотни тысяч, в среднем на митинг обычно собиралось до двадцати тысяч человек. Общее число участников митингов часто доходило до ста тысяч в день, а иногда и больше. По приблизительным подсчетам, я выступал в общем примерно перед десятью миллионами человек, не считая еще нескольких миллионов людей, с которыми я так или иначе общался в пути.

Я развезжал по всей территории Индии, от ее северных границ до южных берегов, нигде не задерживаясь, почти не отдыхая. Мне придавали силы внутренний нервный подъем и тот огромный энтузиазм, с которым меня встречали. Я проявил исключительную выносливость, которая удивляла меня самого. Избирательная кампания, в которой приняло участие большое количество наших сторонников, всколыхнула всю страну, везде появились признаки новой жизни. Для нас это было нечто большее, чем избирательная кампания. Нас интересовали не только тридцать миллионов избирателей, но также и сотни миллионов людей, не имевших права голоса.

В моих разъездах по стране была еще одна сторона, которая захватила меня. Для меня эта поездка означала открытие Индии и ее народа. Я увидел жизнь своей страны во всем ее богатом разнообразии, но на всем этом, тем не менее, всегда лежала печать единой Индии. Я всматривался в миллионы устремленных на меня дружеских глаз и пытался понять, что за ними скрыто. Чем больше я знакомился с Индией, тем сильнее чувствовал, как мало я знаю о ее исключительной красоте и разнообразии и как много мне надо еще узнать. Мне часто казалось, что она улыбается мне, а иногда — что она смеется надо мной и ускользает от меня.

Иногда, хотя и редко, мне удавалось выкроить свободный день, и я посвящал его осмотру некоторых расположенных поблизости достопримечательностей. Так, в долине Инда я посетил пещеры в Аджанте и Мохенджо-Даро. На короткое время я отвлекался от действительности и уносился мыслями в седую старину, любуясь статуями Бодисаттвы и красотой женщин на фресках в Аджанте. И уже позднее, глядя на какую-нибудь женщину, работающую в поле или набирающую воду в деревен-

ском колодце, я вдруг констатировал с изумлением, что она напоминала мне красавиц Аджанты.

Конгресс одержал полную победу на общих выборах, и возникли серьезные споры относительно того, принимать ли конгрессистам министерские посты в правительствах провинций. Наконец было решено, что нам следует поступить именно так, однако при условии, что ни вице-король, ни губернаторы не будут вмешиваться в деятельность министров.

Летом 1937 года я посетил Бирму и Малайю. Эта поездка вряд ли была похожа на отдых, так как меня всюду осаждали толпы народа и со всех сторон сыпались приглашения. Однако перемена обстановки была мне приятна, меня приводил в восхищение цветущий молодой народ Бирмы, так во многом отличающийся от народа Индии, на котором лежит печать ее многовековой истории.

Новые проблемы вставали перед нами в Индии. В большинстве провинций правительства были сформированы из членов Конгресса. Многие министры до избрания их в состав правительства несколько лет отсидели в тюрьме. Моя сестра Виджайя Лакшми Пандит получила министерский портфель в правительстве Соединенных провинций — она была первой женщиной-министром в истории Индии. Назначение на министерские посты членов Конгресса тотчас же вызвало в стране чувство облегчения, словно какое-то тяжелое бремя сняли с плеч народа. По всей стране чувствовалось биение новой жизни, а рабочие и крестьяне ждали, что сразу же произойдут важные изменения. Были освобождены политические заключенные и установлены еще невиданные в Индии гражданские свободы. Министры — члены Конгресса отдавали работе все свои силы и заставляли работать и других. Однако им приходилось работать со старым государственным аппаратом, который был совершенно чужд им, а часто и прямо враждебен. Они не могли распоряжаться даже органами государственного управления. Дважды у нас возникал конфликт с губернаторами, и наши министры подавали в отставку. Но оба раза губернаторы уступали, и кризис благополучно разрешался. Однако сила и влияние старых органов государственного управления — гражданской службы, полиции и других, пользовавшихся поддержкой губернатора и охранявшихся самой конституцией, были велики и проявлялись сотнями различных способов. Результаты нашей деятельности сказывались медленно, и чувство недовольства росло.

Это недовольство нашло свое отражение и в рядах самого Конгресса, и более прогрессивные конгрессисты начали проявлять беспокойство. Я и сам был крайне недоволен развитием событий, так как заметил, что наша отличная боевая организация начинает постепенно превращаться просто в организацию для избирательных кампаний. Борьба за независимость была

неизбежна, а этот этап автономии провинций был только переходной фазой. В апреле 1938 года я написал письмо Гандиджи, в котором выразил свое недовольство деятельностью министров — членов Конгресса. «Они слишком горячо пытаются приспособиться к старому порядку и оправдать его. Все это, хотя и плохо, было бы терпимо; гораздо хуже то, что мы теряем высокое доверие, которое с таким трудом завоевали в сердцах народа. Мы превращаемся в заурядных политиканов».

Может быть, я был слишком суров в своем суждении о министрах провинций — главную вину следует искать в обстановке и обстоятельствах. Министерства действительно проделали огромную работу во многих областях жизни страны. Но они должны были удерживаться в определенных границах, а стоявшие перед нами задачи требовали выхода за пределы этих границ. Из многих полезных дел, которые им удалось совершить, следует упомянуть аграрное законодательство, которое значительно улучшало положение крестьян, а также введение начального обучения, предусматривающего обязательное бесплатное семилетнее обучение всех детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. Новая программа основана на современной методике обучения посредством овладения каким-либо ремеслом и разработана с расчетом значительного сокращения капитальных и текущих затрат без малейшего ущерба для учебного процесса. Для такой бедной страны, как Индия, где в то же время насчитываются десятки миллионов детей школьного возраста, вопрос стоимости обучения имеет важное значение. Новая система уже революционизировала образование и обещает дать еще большие результаты.

Конгрессистские правительства серьезно занимались вопросами высшего образования и здравоохранения, но к тому времени, когда они вышли в отставку, в этой области не было достигнуто значительных успехов. Однако ликвидация неграмотности среди взрослого населения проводилась энергично и здесь были достигнуты хорошие результаты. Вопросу о реконструкции сельского хозяйства также уделялось большое внимание.

Правительствами была проделана довольно большая работа, однако, несмотря на это, они не могли разрешить основных проблем Индии. Для разрешения этих проблем требовались более глубокие и основательные изменения и ликвидация империалистической системы, стоявшей на страже всякого рода интересов привилегированных групп.

Итак, в рядах Конгресса назревал конфликт между более умеренными и более прогрессивными группировками. Этот конфликт впервые в открытой форме проявился на пленуме Исполнительного комитета Конгресса в октябре 1937 года. Это событие чрезвычайно огорчило Гандиджи, и он высказывался об этом весьма резко в частных беседах. Позднее он написал

статью, в которой выступил с осуждением некоторых действий, предпринятых мною как председателем Конгресса.

Я понимал, что больше уже не могу выполнять функции ответственного члена Исполнительного комитета, однако решил не предпринимать никаких шагов, чтобы не ускорять кризис. Срок моей деятельности на посту председателя Конгресса подходил к концу, и тогда я мог бы без шума сойти со сцены. Я избирался председателем дважды подряд, а всего — три раза. Правда, поговаривали о переизбрании меня еще на один срок, но я определенно решил, что не выставлю своей кандидатуры. Примерно в это время я пустился на небольшую хитрость, очень меня позабавившую. Я написал статью, в которой выступил против своего переизбрания. Статья была напечатана без подписи в «Модерн ревью» в Калькутте. Никто, даже редактор газеты, не знал автора статьи, и я с огромным интересом наблюдал, какую реакцию она вызовет у моих коллег и у других людей. Высказывались самые фантастические предположения об авторе статьи, но очень немногие знали истину, пока Джон Гантер не упомянул об этом случае в своей книге «Inside Asia».

На съезде Конгресса, происходившем в Харипуре, председателем был избран Субхас Бос. Вскоре после съезда я решил уехать в Европу. Я хотел повидать свою дочь, но главной причиной отъезда было желание освежить свой усталый и смятенный ум.

Но Европа вряд ли была подходящим местом для мирных размышлений или для разрешения мучивших меня вопросов. Там царил мрак и обманчивое затишье, как перед бурей. Это была Европа 1938 года, где в полном разгаре была начатая по инициативе Невилля Чемберлена политика умиротворения, которая ознаменовалась предательством и удушением целых народов и завершилась драматической развязкой в Мюнхене. Я попал в эту раздираемую противоречиями Европу, прибыв на самолете прямо в Барселону. Там я пробыл пять дней, наблюдая, как каждую ночь на город падают с воздуха бомбы. Там я видел и многое другое, оставившее у меня незабываемое впечатление; и там, среди нищеты, руин и нависшей над всеми опасности, я испытывал такое душевное равновесие, как ни в одной другой стране Европы. Там был свет, там все было пронизано духом отваги и решимости и сознанием, что борьба ведется во имя достойной цели.

Я поехал в Англию и провел там месяц, встречаясь с людьми всех слоев общества, придерживавшихся самых различных убеждений. Я чувствовал перемену во взглядах среднего англичанина, перемену в нужном направлении. Но в верхах, где безраздельно господствовал чемберленизм, все было по-старому. Затем я поехал в Чехословакию и там на месте наблюдал за тем, как в трудной и хитрой игре предают друга

и дело, которое надлежит защищать, как того требуют самые высокие моральные принципы. Я следил за этой игрой во время мюнхенского кризиса из Лондона, Парижа и Женевы и пришел ко многим странным выводам. Больше всего меня поразило полное моральное падение в момент сговора в Мюнхене всех так называемых передовых людей и групп. Женева произвела на меня впечатление места археологических раскопок: там и сям можно было обнаружить останки сотен международных организаций, центры которых находились в этом городе. Лондон вздохнул с облегчением в связи с тем, что войну удалось предотвратить, и больше его ничто не волновало. За это расплачивались другие, а это мало его трогало. Но не пройдет и года, как все это даст себя почувствовать. Сейчас же Чемберлен был в зените своей славы, хотя и раздавались слабые голоса протеста. Меня чрезвычайно огорчил Париж, особенно средние слои парижан — они почти не протестовали. И это был Париж Революции, символ свободы во всем мире!

Я возвратился из Европы глубоко опечаленный, многие мои иллюзии потеряли крах. На обратном пути в Индию я остановился в Египте, где был тепло встречен лидерами партии Вафд. Мне было приятно снова встретиться с ними и обсудить наши общие проблемы в свете быстро развивающихся мировых событий. Несколько месяцев спустя в качестве наших гостей Индию посетила делегация партии Вафд и присутствовала на нашем ежегодном съезде.

В Индии меня ждали старые проблемы и конфликты, и я столкнулся все с тем же вопросом — как найти общий язык со своими коллегами по партии. Меня очень огорчало, что накануне всемирных потрясений многие члены Конгресса были поглощены мелкими распрями. Тем не менее некоторым конгрессистам из руководящих кругов было присуще известное чувство меры и понимание обстановки. Вне Конгресса разброд был еще заметнее. Между религиозными общинами усилились распри, и отношения их стали более натянутыми. Мусульманская лига, возглавляемая М. А. Джинной, заняла резко антинационалистическую и недальновидную позицию и продолжала вести удивительно странную политику. Со стороны религиозных общин не было выдвинуто каких-либо конструктивных предложений и не делалось попыток хотя бы сколько-нибудь сблизиться; они не отвечали на вопросы, чего же конкретно они хотят. Их программа была негативной программой ненависти и насилия, напоминавшей методы нацистов. Особенно неприятной была растущая разнузданность религиозно-общинных организаций, что отражалось на политической жизни страны. Конечно, имелось немало мусульманских организаций и отдельных мусульман, которые осуждали деятельность Мусульманской лиги и поддерживали Конгресс.

Следуя такому курсу, Мусульманская лига неизбежно отда-

лялась все больше и больше и наконец начала открыто выступать против демократических порядков в Индии и даже требовать раздела страны. Это фантастическое требование Мусульманской лиги поощрялось английскими должностными лицами, которые хотели использовать Лигу, как и все другие подрывные силы, чтобы ослабить влияние Национального конгресса. Удивительно, что именно в тот момент, когда стало ясно, что малые нации могут существовать только в составе федерации, было выдвинуто требование о разделе Индии. Вероятно, это требование не носило серьезного характера, однако оно было логическим следствием теории двух наций, выдвинутой Джинпой. Новые явления в религиозно-общинных расприх мало были связаны с религиозными разногласиями. Последние, как это признавалось, можно было урегулировать. Здесь речь шла о политической борьбе между теми, кто выступал за свободную, единую и демократическую Индию, и определенными реакционными и феодальными элементами, стремившимися под прикрытием религии сохранить за собой особые привилегии. Религия в той форме, в какой ее исповедовали и использовали подобным образом ее приверженцы, принадлежавшие к различным вероисповеданиям, казалась мне проклятием и препятствием для прогресса как общества, так и личности. Религия, которая была призвана поощрять духовную чистоту и братские чувства к ближнему, стала источником ненависти, ограниченности, низости и самого низменного корыстолюбия.

Во время выборов председателя, в начале 1939 года, положение в Конгрессе крайне обострилось. Маулана Абул Калам Азад, к сожалению, отказался выставить свою кандидатуру, и борьба закончилась избранием Субхаса Чандра Боса. Это вызвало всякого рода осуждения и привело к тупику в решении ряда вопросов. Такое положение длилось несколько месяцев. На съезде в Трипури дело дошло до скандалов. У меня в то время было очень подавленное настроение, и я чувствовал, что если я и дальше буду продолжать работу, то это может кончиться нервным потрясением. Политические события, международное и внутреннее положение, конечно, влияли на мое настроение, но мое душевное состояние не было непосредственно связано с событиями политической жизни. Я презирал себя и в одной из статей писал: «Боюсь, что я принесу мало удовлетворения им [моим коллегам], и это неудивительно, так как я сам еще менее удовлетворен собой. Руководитель должен быть скроен из другого материала, и чем раньше мои коллеги поймут это, тем лучше будет для них и для меня. Мой ум работает достаточно хорошо, он привык быть в действии, но источники, которые питают его деятельность, кажется, начинают иссякать».

Субхас Бос ушел с поста председателя и создал организацию Форвард блок, которая, по замыслу ее организаторов,

должна была противопоставить себя Конгрессу. Блок, как и следовало ожидать, вскоре распался, однако он усилил раскольнические тенденции и привел к еще большему ухудшению общего положения. Прикрываясь красивыми словами, авантюристические и оппортунистические элементы начали выдвигать свои платформы, и это невольно напомнило мне те методы, с помощью которых нацистская партия пришла к власти в Германии. Сначала они добились массовой поддержки выдвинутой ими программы, а затем использовали эту поддержку для достижения совершенно другой цели.

Я намеренно держался в стороне от нового Исполнительного комитета Конгресса. Я чувствовал, что не смогу с ним сработаться, и многое из того, что было сделано, мне не нравилось. Голодовка, объявленная Гандиджи в связи с событиями в Раджкоте¹, и последующие события огорчали меня. Я писал тогда, что «чувство беспомощности усиливается после событий в Раджкоте. Я не могу работать, если я чего-то не понимаю, а я совершенно не понимаю логику происходящих событий». И я добавлял: «Многим из нас становится все труднее сделать выбор, и дело здесь не в правом или левом течениях и даже не в политических решениях. Выбирать приходится между пассивным согласием с решениями, которые иногда противоречат одно другому и не имеют логической последовательности, и оппозицией или бездействием. Ни один из упомянутых образов действия не может быть одобрен с легким сердцем. Принятие без рассуждений того, что ты не можешь понять или с чем ты не можешь сознательно согласиться, ведет к расслаблению и параличу умственных способностей. Любое великое движение обречено на провал, если оно зиждется на подобной основе, тем более демократическое движение. Оппозиция опасна, если она ослабляет нас и помогает нашим политическим противникам. Бездействие порождает разочарование и всякого рода комплексы как раз в то время, когда отовсюду раздаются призывы к действию».

В конце 1938 года, вскоре после возвращения из Европы, мне пришлось заняться еще двумя видами деятельности. На Всеиндийской конференции народов княжеств в Лудиане я был избран председателем конференции и, таким образом, еще теснее связался с прогрессивными движениями в полуфеодальных княжествах Индии. Во многих из этих княжеств усиливались народные волнения, иногда приводившие к столкновениям между различными народными организациями и властями, которым часто оказывали помощь английские войска. Трудно писать об этих княжествах в сдержанном тоне; так же трудно спокойно писать и о роли, которую играло английское

¹ В княжестве Раджкот в 1933—1939 годах развернулось под руководством Ганди движение за введение конституционного правления.— *Прим. ред.*

правительство в сохранении этих пережитков средневековья. Один из авторов недавно правильно назвал княжества пятой колонной Англии в Индии. Имеется ряд просвещенных князей, которые хотят встать на сторону своего народа и провести реформы, но им мешает верховная власть. Демократическое княжество не будет играть роль пятой колонны.

Вполне понятно, что эти пятьсот пятьдесят с лишним княжеств не могут существовать отдельно как политические или экономические единицы. Они не могут сохраниться на положении феодальных островков в демократической Индии. Лишь несколько крупных княжеств могут войти как демократические образования в состав федерации. Остальные же княжества должны быть полностью поглощены. Какие-либо незначительные реформы не смогут разрешить этой проблемы. С системой княжеств должно быть покончено, и это будет сделано, когда уйдет английский империализм.

Мне пришлось, кроме того, быть председателем Национального комитета по планированию, созданного по инициативе Конгресса в сотрудничестве с правительствами провинций. По мере выполнения нами этой работы она все расширялась, пока не охватила почти все сферы национальной жизни. Мы создали двадцать девять подкомитетов для изучения различных вопросов: сельскохозяйственный, промышленный, социальный, экономический, финансовый — и пытались координировать их деятельность для составления проекта плановой экономики Индии. Естественно, этот проект разрабатывался лишь в общих чертах, детали же подлежали уточнению в дальнейшем. Плановый комитет еще и сейчас продолжает свою работу и не сможет, очевидно, закончить ее в ближайшие месяцы. Меня эта работа увлекла, и, выполняя ее, я очень многому научился. Безусловно, любой план, какой бы мы ни наметили, может быть претворен в жизнь только в свободной Индии. Понятно также и то, что любое эффективное планирование должно основываться на социализации экономического строя.

Летом 1939 года я совершил непродолжительную поездку на Цейлон — там усилились трения между индийскими гражданами и правительством Цейлона. Я был очень рад, что мне повезло снова побывать на этом замечательном по красоте острове, и мое посещение, полагаю я, заложило основы для более тесных отношений между Индией и Цейлоном. Мне был оказан там всеми, включая членов правительства, самый радушный прием. Я убежден, что в будущем независимо от того, каково будет государственное устройство наших стран, Цейлон и Индия должны быть вместе. Будущее в моем представлении рисуется в форме федерации, которая включает Китай и Индию, Бирму и Цейлон, Афганистан и, возможно, другие страны. Если же будет создана всемирная федерация, я приветствовал бы ее.

В августе 1939 года обстановка в Европе была угрожающая, и я не хотел уезжать из Индии в момент кризиса. Однако желание посетить Китай, хотя бы ненадолго, не давало мне покоя. Я вылетел в Китай и через два дня был в Чунцине. Но мне очень скоро пришлось возвратиться в Индию — в Европе в конце концов вспыхнула война. Я пробыл в свободной части Китая меньше двух недель, но дни, проведенные там, оставили след в моей памяти и оказались знаменательными для будущих отношений между Индией и Китаем. К своему полному удовлетворению, я убедился, что мое желание более тесного сближения между Индией и Китаем нашло полный отклик у китайских лидеров и особенно у того великого человека, который стал символом единства Китая и его решимости отстаивать свою свободу. Я много раз встречался с маршалом Чан Кай-ши и г-жой Чан, и мы обсуждали настоящее и будущее наших стран. Я вернулся в Индию еще большим поклонником Китая и китайского народа, чем был раньше, и в полной уверенности, что никакие невзгоды не сломят дух этого древнего, но снова столь помолодевшего народа.

Война в Индии. Как нам следовало поступить? В течение многих лет мы думали об этом и заявляли о своей политике. Тем не менее, несмотря на все это, английское правительство объявило Индию воюющей страной, не спросив мнения нашего народа, Законодательного собрания или правительств провинций. С этим оскорблением было тяжело примириться, так как такое отношение к нам означало, что империализм господствует, как и раньше. В середине сентября 1939 года Рабочий комитет Конгресса выступил с большим заявлением, в котором был дан анализ политики Конгресса в прошлом и настоящем. Английскому правительству предлагалось разъяснить нам цели войны, особенно в том, что касается английского империализма. Мы часто осуждали фашизм и нацизм, но нас больше всего интересовал империализм, который господствовал над нами. Сохранится ли господство империализма? Признают ли империалисты независимость Индии и ее право создать свою собственную конституцию путем созыва учредительного собрания? Какие шаги в ближайшем будущем будут предприняты для установления народного контроля над центральным правительством? Позднее, учитывая возможные возражения со стороны групп меньшинства, был более подробно освещен вопрос о деятельности учредительного собрания. При этом подчеркивалось, что требования меньшинства будут приниматься собранием с согласия представителей этого меньшинства, а не большинством голосов. В случае, если собрание не сможет прийти к согласованному решению, вопрос будет передан беспристрастному суду для окончательного решения. С точки зрения демократии это было небезопасное предложение, но Конгресс был

готов почти на любые уступки, лишь бы устранить подозрительность меньшинств.

Ответ английского правительства был ясен. Он не оставлял сомнений в том, что правительство не намерено разъяснить цели войны или согласиться на установление контроля представителей народа над правительством. Старый порядок остается и будет оставаться в силе, английские интересы в Индии не могут оставаться без защиты. В связи с таким ответом министры-конгрессисты вышли из состава правительств провинций, ибо они не могли сотрудничать на таких условиях в деле ведения войны. Действие конституции было приостановлено, и восстановлен автократический режим. Старый конституционный конфликт между избранным парламентом и прерогативами короля, известный из истории западных стран, конфликт, который в свое время стоил жизни двум королям, в Англии и Франции, возник и в Индии. Но здесь было нечто значительно большее, чем просто конституционный конфликт. Вулкан еще не действовал, но он существовал, и уже был слышен его глухой гул.

Мы еще находились в тупике, а в это время особыми декретами были введены новые законы и постановления, и начались аресты конгрессистов и других деятелей. Число арестов все возрастало. Недовольство росло, от нас все настойчивее требовали действий. Но ход войны и опасность, в какой оказалась сама Англия, заставили нас колебаться, так как мы не могли полностью забыть старых уроков Гандиджи, а именно, что мы не должны ставить своей целью создать трудности противнику в тяжелый для него час.

В ходе войны возникали новые проблемы, старые проблемы меняли свою форму. Казалось, что изменилась прежняя расстановка сил и исчезли старые критерии. Произошло много неожиданных событий, и трудно было приспособиться к ним. Русско-германский пакт, советское вторжение в Финляндию, дружественные жесты России по отношению к Японии. Существовали ли какие-либо принципы и нормы поведения в этом мире или это был полнейший оппортунизм?

Пришел апрель — и пала Норвегия. Май принес с собой трагедию Голландии и Бельгии. В июне неожиданно пала Франция, и Париж, этот гордый и прекрасный город — колыбель свободы, лежал поверженный у ног победителя. Францию постигло не только военное поражение, но, что значительно хуже, она была обречена на духовное подчинение и деградацию. Как все это могло случиться? — задумывался я. Причина могла таиться только в какой-то внутренней гнилости. Может быть, Англия и Франция были наиболее типичными представителями старой системы, которая должна уйти в прошлое, и поэтому они не могут выстоять? Может быть, империализм, внешне придававший им силу, в действительности ослаблял

их в этой борьбе? Они не могли сражаться за свободу, если отвергали ее сами, и их империализм переродится в откровенный фашизм, что уже случилось во Франции. Дух Невилля Чемберлена и его прежней политики все еще витал над Англией. Ради умиротворения Японии была закрыта дорога Бирма — Китай. А здесь, в Индии, не было даже намека на изменения, и соблюдаемая нами по нашей доброй воле сдержанность воспринималась как неспособность к каким-либо эффективным действиям. Отсутствие всякой дальновидности у английского правительства, непонимание знамения времени и неспособность разобираться в происходящих событиях и приспособиться к ним удивляли меня. Может быть, это некий естественный закон, согласно которому в международных событиях, как и в других областях, за причиной должно неизбежно идти следствие, и система, которая уже сыграла свою полезную роль, не может даже разумно защитить себя?

Если правительство Англии туго соображало и неспособно было учиться даже на опыте, то что можно сказать об английском правительстве в Индии? Деятельность этого правительства представляла трагикомическое зрелище. Ни логика, ни доводы, ни опасность, ни бедствие — ничто, кажется, не может вывести его из состояния благодушия, в котором оно пребывает уже очень давно. Подобно Рипу Ван Уинклю¹, правительство спит на холме Симлы, хотя и кажется бодрствующим.

Изменения в военной обстановке поставили перед Рабочим комитетом Конгресса новые проблемы. Гандиджи хотел, чтобы комитет распространил принцип ненасилия, которого мы придерживались в своей борьбе за свободу, на деятельность свободного государства. Свободная Индия должна опираться на этот принцип, чтобы оградить себя от агрессии извне или внутренних беспорядков. В то время этот вопрос вставал перед нами, однако Гандиджи задумывался над ним и считал, что пришло время для открытого провозглашения этого принципа. Каждый из нас был убежден, что в своей борьбе мы должны придерживаться политики ненасилия, как мы и поступали до сих пор. Война в Европе укрепила это убеждение. Однако иным, более трудным вопросом был вопрос о том, чтобы уже сейчас предписать будущему государству определенный образ действий, и нелегко было понять, как люди, занимающиеся политикой, смогут это сделать.

Гандиджи считал — и, вероятно, справедливо, — что он не может отказаться от своего учения, которое он проповедовал миру, или как-либо ослабить это учение. Он имел право про-

¹ Персонаж из одноименной новеллы известного американского писателя Вашингтона Ирвинга. Выпив волшебное питье, Рип Ван Уинкль, поданный английского короля Георга III, проспал двадцать лет и проснулся только тогда, когда в Америке уже закончилась война за независимость, превратившая его в гражданина Соединенных Штатов. — *Прим. ред.*

поведовать его в той форме, которая ему нравилась, и политические соображения не должны были его удерживать от этого. Таким образом, впервые пути Гандиджи и Рабочего комитета разошлись. Между нами не было разрыва, ибо узы, связывавшие нас, были слишком крепки, и в дальнейшем он, безусловно, будет помогать нам во многом советом и нередко будет руководить нами. Тем не менее с его частичным отходом от Конгресса закончился определенный период в истории нашего национального движения. В последние годы я заметил, что у него появилась известная косность и ослабла способность приспособляться к обстоятельствам. Но магическая сила его слова осталась, старые чары действуют, его яркая индивидуальность и величие возвышают его над всеми. Пусть никто не думает, что его влияние на миллионы индийского народа стало меньшим. Он был творцом судьбы Индии, более двадцати лет посвятил он этому, и его работа еще не закончена.

За последние несколько недель Конгресс, по настоянию Раджагопалачари, сделал еще одно предложение Англии. Говорят, что Раджагопалачари принадлежит к правому крылу Конгресса. Его блестящие способности, самоотверженность и удивительный аналитический ум с большой пользой служили нашему делу. Когда в Мадрасе у власти было правительство конгрессистов, он был премьер-министром. Стремясь избежать конфликта, он выдвинул предложение, которое с колебанием было принято некоторыми его коллегами. Это предложение сводилось к признанию Англией независимости Индии и к немедленному созданию в центре временного национального правительства, которое было бы подотчетно существующему Законодательному собранию. Если бы это было осуществлено, временное правительство Индии занялось бы вопросами обороны и таким образом внесло бы свой вклад в военные усилия.

Это предложение Конгресса было очень легко осуществимо и могло быть немедленно проведено в жизнь без какой-либо коренной ломки. Национальное правительство неизбежно должно было быть коалиционным с полным представительством групп меньшинств. Предложение носило явно умеренный характер. Что же касается обороны и военных усилий, то давно известно, что любое серьезное усилие должно опираться на доверие и поддержку народа. Только национальное правительство имеет возможность получить это доверие и поддержку. Империализм этого не сумеет добиться.

Но империализм думает иначе и полагает, что он может продолжать действовать и заставлять народ подчиниться своей воле. Даже перед лицом опасности он не соглашается принять эту существенную помощь, если она влечет за собой отказ от политического и экономического контроля над Индией. Империализм и не думает о том огромном моральном выигрыше,

который он получил бы, если бы сделал справедливый шаг по отношению к Индии и другим странам империи.

Сегодня, 8 августа 1940 года, когда я пишу эти строки, вице-король передал нам ответ английского правительства. Этот ответ показал, что с нами разговаривают на прежнем языке империализма. Ответ не содержал ничего нового. Развязка приближается как здесь, в Индии, так и в Европе и во всем мире.

Многие из моих коллег опять в тюрьме, и я им отчасти завидую. Пожалуй, в тюремном одиночестве легче выработать у себя цельный взгляд на жизнь, чем в этом обезумевшем мире войны и политики, фашизма и империализма.

Но иногда мне удается уйти, хотя бы на некоторое время, из этого мира. В прошлом месяце после двадцатитрехлетнего перерыва мне удалось побывать в Кашмире. Я пробыл там только двенадцать дней, но эти дни были наполнены для меня красотой, и я упивался величием чарующей природы этой страны. Я бродил по долине, взбирался на высокие вершины гор и поднимался на ледник — там я снова ощутил ценность жизни.

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ.

*Аллахабад,
8 августа 1940 года.*

КЛЯТВА В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

26 января 1930 года

Мы считаем неотъемлемым правом индийского народа, как и любого другого народа, право на свободу, право пользоваться плодами своего труда и право на необходимые средства к жизни. Эти права нужны народу для того, чтобы он имел все возможности для своего развития. Мы также считаем, что, если какое-либо правительство лишает народ этих прав и угнетает его, народ имеет право сменить такое правительство или упразднить его. Английское правительство в Индии не только лишило индийский народ свободы, но основывает свою политику на эксплуатации масс, подорвало экономическую, политическую, культурную и духовную жизнь Индии. Мы считаем поэтому, что Индия должна порвать узы, связывающие ее с Англией, и добиться Пурна Свараджа, то есть полной независимости.

Индия разорена экономически. Налоги, взимаемые с нашего народа, совершенно не соответствуют нашим доходам. В среднем на человека доход составляет семь пайсов (менее чем два пенса) в день. 20 процентов выплачиваемых налогов падает на земельные налоги, взимаемые с крестьянства, 3 процента составляет налог на соль; эти налоги особенно тяжелым бременем ложатся на бедных.

Отрасли крестьянской промышленности, такие, как ручное ткачество, полностью разорены, и в результате крестьяне, по меньшей мере, четыре месяца в году не имеют работы. Отсутствие возможности заняться ремеслом притупляет их разум. Уничтоженные отрасли кустарной промышленности не заменены чем-либо, как это делалось в других странах.

Пошлины и денежная система разработаны с таким расчетом, чтобы взвалить на плечи крестьянства еще большие тяготы. В нашем импорте преобладают английские товары. Ввозные тарифы дают явное предпочтение английским промышленникам, и пошлины, взимаемые с них, расходуются не на облегчение участи масс, а для содержания крайне раздутого административного аппарата. Еще больший произвол царит в вопросе установления обменного курса валюты; это привело к тому, что из страны выкачиваются миллионы.

Политически Индия никогда еще не была низведена до такого бесправия, как при английском владычестве. Ни одна из реформ не дала народу действительных политических прав. Самые достойные среди нас должны склоняться перед чужеземной властью. Мы лишены свободы слова, свободы организаций, и многие из наших соотечественников вынуждены жить в изгнании за границей и не могут вернуться домой. Людям, обладающим

административным талантом, не дают хода, и люди из народа должны довольствоваться ничтожными постами в деревнях и канцелярскими должностями.

В культурном отношении система образования оторвала нас от наших традиций, и нас учат тому, как с любовью относиться к цепям, которые сковывают нас.

В духовном отношении принудительное разоружение лишает нас мужества, а присутствие чужеземной оккупационной армии, используемой для жестокого подавления у нас духа сопротивления, заставляет нас поверить, что мы неспособны позаботиться о себе, или защитить себя от иностранной агрессии, или даже защитить свои дома и семьи от воров, грабителей и злодеев.

Мы считаем преступлением против человека и бога дальше терпеть господство, принесшее эти четыре бедствия нашей стране. Мы признаем, однако, что наиболее эффективный путь к нашей свободе лежит не через насилие. Поэтому мы должны готовиться к борьбе путем прекращения, насколько это возможно, всех видов добровольного сотрудничества с английским правительством, а также должны готовиться к движению гражданского неповиновения, включая неуплату налогов. Мы убеждены, что стоит нам только прекратить добровольную помощь и выплату налогов, не прибегая к насилию даже в случаях провокации, как этот нечеловеческий режим будет обречен. Поэтому в нашей клятве мы торжественно подтверждаем нашу решимость проводить в жизнь указания Конгресса, которые время от времени будут даваться для достижения Пурна Свараджа.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПИСЬМО от 15 августа 1930 года, ПОСЛАННОЕ ЛИДЕРАМИ КОНГРЕССА ИЗ ТЮРЬМЫ В ИЕРАВДЕ СЭРУ ТЕДЖ БАХАДУРУ САПРУ И М. Р. ДЖАЯКАРУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УСЛОВИЙ МИРА

Иеравда, Центральная тюрьма,
15 августа 1930 года.

Дорогие друзья!

Мы глубоко благодарны вам за то, что вы взяли на себя миссию попытаться достичь мирного регулирования между английским правительством и Конгрессом. Еще раз перечитав вашу переписку с его превосходительством вице-королем, обдумав наши длительные беседы с вами и обсудив между собой все вопросы, мы пришли к выводу, что еще не настало время для такого разрешения вопроса, которое было бы достойно нашей страны. Хотя пробуждение масс за последние пять месяцев было действительно знаменательным, хотя страдания всех слоев и классов народа, представляющих различные вероисповедания, были велики, тем не менее мы считаем, что страдания не были ни достаточно длительными, ни достаточно большими для немедленного достижения цели. Нет необходимости говорить

что мы ни в коей мере не разделяем вашего мнения и мнения вице-короля о том, что движение гражданского неповиновения причинило вред стране или что оно несвоевременно и антиконституционно. История Англии дает немало примеров кровавых восстаний, англичане безмерно восхваляли их и учили нас следовать их примеру. Поэтому вице-королю или любому здравомыслящему англичанину не пристало осуждать восстания, которые были задуманы и в значительной степени проведены нами как мирные действия. Но мы не хотим вступать в спор по поводу правомерности осуждения, официального или неофициального, нынешней кампании гражданского неповиновения. Мы считаем, что замечательный отклик масс на наше движение является уже достаточным его оправданием. Однако здесь мы хотим подчеркнуть тот факт, что мы с радостью присоединимся к вашему стремлению прекратить или временно приостановить, если это только возможно, движение гражданского неповиновения. Мы не хотим без необходимости обрекать мужчин, женщин и детей нашей страны на тюремное заключение, избиения и более тяжелые наказания. Поэтому можете нам верить, когда мы заверяем вас, а через вас и вице-короля, что мы сделали бы все возможное, чтобы использовать любые пути и средства для достижения почетного мира. Но мы должны откровенно вам сказать, что еще не видим на горизонте благоприятных признаков, мы не видим симптомов того, что во взглядах английских официальных кругов произошли изменения и они поняли, что именно индийские мужчины и женщины должны решать, что лучше для Индии. Мы не верим благочестивым декларациям, хотя они часто были продиктованы хорошими побуждениями, о добрых намерениях властей. Вековая эксплуатация англичанами народа нашей древней страны почти совершенно лишила их способности видеть ту моральную, экономическую и политическую разруху, которую принесла эта эксплуатация. Они не хотят понять, что им необходимо сделать одно — слезть с нашей спины и хотя бы как-нибудь компенсировать нас за ранее причиненные страдания и помочь нам освободиться от пут, сковывавших наше развитие в течение столетия их владычества.

Но мы знаем, что вы и некоторые наши образованные соотечественники думаете иначе. Вы считаете, что уже произошли преобразования, достаточные во всяком случае для того, чтобы оправдать наше участие в предложенной конференции. Поэтому, несмотря на ограничения, в условиях которых мы действуем, мы с радостью согласились бы сотрудничать с вами в пределах наших возможностей.

Нижеследующее является максимумом того, что мы можем вам предложить при данных стесненных условиях в ответ на вашу дружественную инициативу:

(1) Нам кажется, что формулировки, к которым прибегает вице-король в своем ответе на ваше письмо о предлагаемой конференции, слишком туманны, чтобы дать нам возможность оценить его с позиций декларации о национальных требованиях, принятой в Лахоре в прошлом году. Мы также не можем сделать авторитетного заявления без консультации с пленумом Рабочего комитета Конгресса, созданным в установленном порядке, и, если будет необходимо, с Исполнительным комитетом Конгресса; но мы

можем заявить, что лично для нас вопрос не может быть разрешен положительно без выполнения следующих условий:

(а) Индия должна получить право выхода из состава Британской империи, если она этого пожелает;

(б) Индия должна иметь свое полностью национальное правительство, ответственное перед своим народом, в компетенцию которого будет входить контроль над вооруженными силами и над экономикой страны. Должны быть удовлетворены все одиннадцать пунктов, перечисленные в письме Гандиджи вице-королю;

(в) Индия должна получить право передавать в случае необходимости на рассмотрение независимого суда вопросы о тех английских претензиях, концессиях и так далее, в том числе и вопросы относительно так называемой национальной задолженности Индии, которые национальное правительство будет считать несправедливыми или противоречащими интересам народа Индии.

Примечание. Решение вопросов, вызванных необходимостью защиты интересов Индии, в период передачи власти будет поручено избранным представителям Индии.

(2) Если вышеперечисленные условия окажутся приемлемыми для английского правительства и если по этому вопросу будет сделано удовлетворительное заявление, мы будем рекомендовать Рабочему комитету прекращение кампании гражданского неповиновения, то есть, иными словами, неподчинения некоторым законам ради неподчинения. Но мирный бойкот иностранных тканей и спиртных напитков будет продолжаться, пока само правительство не объявит об их запрещении. Народу должно быть разрешено продолжать добычу соли; статья соляного закона, касающиеся наказаний, не должны применяться. Налеты на правительственные или частные склады с солью будут прекращены.

(3) Одновременно с прекращением движения гражданского неповиновения:

(а) все заключенные в тюрьму участники сатьяграхи и другие политические заключенные, отбывающие срок наказания или находящиеся под судом, невиновные в насилии или подстрекательстве к насилию, должны быть освобождены;

(б) имущество, конфискованное по соляному закону, закону о печати, закону о налогах и т. п., должно быть возвращено владельцам;

(в) штрафы, взысканные с заключенных в тюрьму участников сатьяграхи или по закону о печати, а также отобранные у них ценные бумаги должны быть возвращены;

(г) всем чиновникам, включая сельских старост, ушедшим с работы или уволенным во время движения гражданского неповиновения и желающим снова поступить на государственную службу, не должно чиниться препятствий.

Примечание. Перечисленные подпункты также относятся и к периоду несотрудничества.

(д) Все чрезвычайные приказы, изданные вице-королем, должны быть отменены.

(4) Вопрос о составе предполагаемой конференции и представительстве на ней от Конгресса может быть решен только после того, как будут удовлетворительно разрешены вышеперечисленные предварительные условия.

Искренне ваши

*Мотилал Неру,
М. К. Ганди,
Сароджини Найдю,
Валлабхбаи Патель,
Джаирамдас Дулатрам,
Саид Махмуд,
Джавахарлал Неру.*

ПРИЛОЖЕНИЕ В

РЕЗОЛЮЦИЯ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ БОРЬБЫ от 26 января 1931 года

Мы, граждане... выражаем свою исполненную гордости благодарность сынам и дочерям Индии, принимавшим участие в великой борьбе за независимость, тем, кто страдал и пожертвовал своей жизнью ради освобождения своей родины; нашему великому и любимому вождю Махатме Ганди, который постоянно вдохновлял нас, всегда указывая нам путь к высокой цели и благородному делу; сотням наших мужественных юношей и девушек, принесших свою жизнь на алтарь свободы; мученикам Пешавара и всей Пограничной провинции, Шолапура, Миднапурского округа и Бомбея; десяткам тысяч героев, грудью встречавших варварские атаки вооруженных дубинками солдат врага; солдатам Гархвалийского полка и всем другим индийцам, служившим в армии и полиции правительства, которые под угрозой смерти отказались стрелять в своих соотечественников или предпринять какие-либо действия против них; несгибаемым крестьянам Гуджарата, которые бесстрашно и стойко перенесли все ужасы террора; мужественным и многострадальным крестьянам других районов Индии, которые приняли участие в борьбе, несмотря на все попытки подавить их; купцам и другим членам кулеческой общины, которые, невзирая на повесенный большой ущерб, оказали помощь национальной борьбе, особенно бойкотом иностранных тканей и английских товаров; сотням мужчин и женщин, томившихся в тюрьмах и перенесших все лишения и даже побои в стенах тюрьмы; особенно — рядовым добровольцам, которые, как настоящие солдаты Индии, не заботясь о славе или награде, думали только о том великом деле, которому они служили неустанно и не прибегая к насилию, несмотря на страдания и трудности.

Мы выражаем свое преклонение и восхищение женщинами Индии, которые в час, когда родина была в опасности, оставили свои домашние очаги и с непоколебимым мужеством и стойкостью боролись плечом к

плечу с мужчинами в первых рядах национальной армии Индии, разделяя с ними жертвы и славу побед; мы также гордимся молодежью страны, в том числе и юношами Ванар Сена, которых даже их юный возраст не мог удержать от участия в борьбе и от жертв во имя общего дела.

Мы также выражаем глубокую благодарность всем большим и малым общинам и классам Индии, объединившим свои усилия в великой борьбе и отдавшим ей своих лучших сынов и дочерей, и особенно общинам меньшинств — мусульман, сикхов, парсов, христиан и других, которые своей доблестью и преданностью делу нашей общей родины оказывают помощь в создании единой и неделимой нации, уверенной в своей победе и полной решимости добиться независимости Индии и оберегать ее и использовать эту вновь обретенную свободу для того, чтобы раскрепостить все классы страны, ликвидировать неравенство среди них и таким образом внести свой вклад в дело всего человечества. Имея перед собой этот блестящий и вдохновляющий пример самопожертвования и страданий во имя дела Индии, мы повторяем свою клятву независимости и заявляем о своей решимости продолжать борьбу до полного освобождения страны.

СЛОВАРЬ ИНДИЙСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

Айя — нянька.

Акали — «бессмертные» (здесь). Наиболее распространенная секта сикхов, созданная в XVII веке под руководством Говинда Сингха. В 1917—1918 годах подобные организации возглавляли борьбу сикхов за возвращение храмов сикхской религиозной общине — хальса.

Алам — флаг (с такими флагами мусульмане выступают в религиозных процессиях).

«Аман сабха» — «Общество спокойствия»; подобные общества создавались английским правительством в Индии с целью отвлечь население от участия в кампании гражданского неповиновения.

Арья Самадж — религиозное движение XIX века, стремившееся приспособить индуизм к современной жизни. Организатором ее был Свами Дайананд.

Ашрам — скит, обитель. Сатьяграха-ашрам — под этим названием Ганди учредил около г. Ахмадабада общество из бывших участников движения индийцев за свое равноправие в Южной Африке.

Бабу — по-бенгальски «господин».

Бакр-ид — мусульманский праздник жертвоприношения Исаака Авраамом. В этот день мусульмане Индии приносят в жертву коров или других домашних животных.

Баня — название касты, члены которой занимаются по преимуществу торговлей и ростовщичеством.

Бо — ящер-панголин.

«Бхагавадгита» — философско-религиозный трактат, составляющий часть индийского эпоса «Махабхарата» и рассказывающий о деятельности Кришны.

Бхикку — нищенствующий буддийский монах.

Бхуджи — мясное блюдо.

Вакил — адвокат.

Гаеквар — титул князя княжества Барода.

Гурдвара — сикхский храм.

Гуру — духовный руководитель, наставник, учитель.

Гхат — набережная, пристань (здесь).

Дангал — вид борьбы (спорт).

Дешбандху — «Друг страны» — персональный титул, данный Конгрессом Ч. Р. Дасу.

Джагир — имение, пожалованное за несение службы в феодальной Индии.
Джаллианвала Баг — пустырь в Амритсаре, на котором 13 апреля 1919 года генерал Дайер расстрелял безоружную демонстрацию.

Джанмаштали — праздник дня рождения Кришны, земного воплощения бога Вишну.

Джатха — отряд.

Диван — главный министр в индийском княжестве.

Дхармашала — святилище, убежище для паломников.

Дхоти — кусок материи, опоясывающий бедра, нечто вроде короткой юбочки или трусиков (носится мужчинами).

Заминдар — землевладелец.

Карма — доктрина, гласящая о том, что за все свои поступки человек либо вознаграждается, либо наказывается в будущей жизни.

Кисан — крестьянин.

Котвал — начальник полиции.

Кхаддар — одежда из домотканной ткани.

Кхади — домотканная хлопчатобумажная ткань.

Кхансама — слуга индиец.

Латхи — бамбуковая палка с металлическим наконечником.

Локаманья — «Почитающий народ». Титул, данный Тилаку его последователями.

Лота — медный сосуд.

Мантрам — заклинание.

Маратхи — одна из крупнейших народностей Западной Индии (свыше 20 миллионов).

Маргширш Бади — название месяца (примерно ноябрь).

Маулана — «наш господин». Титул почетных мусульман.

Мела — большое скопление людей, особенно в религиозные праздники.

Моулви — «мой господин». Присоединяется к личному имени в качестве титула.

Мохаррам — праздник, особо чтимый мусульманами-шиитами, в память убийства детей Али — Гасана и Гусейна.

Муниши — секретарь, писарь.

Невар — вид ткани.

Пандит — человек, получивший индусское богословское образование. Присоединяется к личным именам кашмирских брахманов в качестве своего рода титула.

Пан супари — ароматная смесь для жевания.

Панч — пять.

Панчаяты — пятерки, управлявшие сельскими общинами.

Патаны — афганские племена, живущие в пределах Индии и Пакистана.

Пипал — дерево, вид смоковницы.

Прага — старое название Аллахабада.

Пуджа — поклонение богу, религиозная церемония, молитва.

Раис — крупный заминдар мусульманин.

Рамачандра — образ идеального царя из эпоса «Рамаяна», одно из воплощений бога Вишну.

Риши — пророки, религиозные учителя индусов.

Савар — верховой.

Самватский календарь — одна из индийских эр.

Санатанисты — наиболее ортодоксальная часть индусов.

Саньяси — аскет.

Сари — женская одежда, состоящая из большого куска материи, обернутого в виде юбки вокруг бедер и покрывающего голову.

Саркар — правительство.

Сатьяграха — «упорство в истине». Термин, введенный Ганди для обозначения используемого им метода политической борьбы, сводящегося к пассивному сопротивлению путем массового гражданского неповиновения, отказа от выполнения отдельных распоряжений органов власти, от сотрудничества с ними, от уплаты налогов и т. д. при полном устранении каких-либо насильственных действий.

Свадеша — движение за развитие национальной промышленности.

Свами — индусский почетный титул.

Сварадж — «независимость», «самоуправление».

Талук — административная единица, меньше округа (район), на юге и востоке Индии. На северо-западе Индии соответствующая единица называется «тахсил».

Талукдар — крупный помещик провинции Ауд.

Улемы — высшее духовенство мусульман.

«Упанишады» — религиозно-философские трактаты.

Чаркха — прялка.

Шикар — охота.

Хан бахадур — хан-богатырь. Титул, официально присваиваемый английскими властями индийским чиновникам, помещикам и т. д.

Хариджансы — «божьи люди». Так называли конгрессисты «неприкасаемых», то есть низшие кастовые подразделения индусского общества, с членами которых представители высших каст считали грехом общаться.

Харгал — забастовка.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к русскому изданию	5
Предисловие	7
<i>Глава первая.</i> Выходцы из Кашмира	9
<i>Глава вторая.</i> Детство	14
<i>Глава третья.</i> Теософия	20
<i>Глава четвертая.</i> Харроу и Кембридж	26
<i>Глава пятая.</i> Снова дома. Политическая жизнь в Индии во время войны	37
<i>Глава шестая.</i> Моя женитьба и приключение в Гималаях	48
<i>Глава седьмая.</i> Приход Ганди. Сатьяграха и Амритсар	51
<i>Глава восьмая.</i> Моя высылка и ее последствия	60
<i>Глава девятая.</i> Странствия среди крестьян	68
<i>Глава десятая.</i> Несотрудничество	75
<i>Глава одиннадцатая.</i> 1921 год и мой первый арест	87
<i>Глава двенадцатая.</i> Ненасилие и доктрина меча	95
<i>Глава тринадцатая.</i> Окружная тюрьма в Лакнау	104
<i>Глава четырнадцатая.</i> Снова на свободе	113
<i>Глава пятнадцатая.</i> Сомнения и конфликты	120
<i>Глава шестнадцатая.</i> Инцидент в княжестве Набха	125
<i>Глава семнадцатая.</i> Коконата и Мухаммед Али	133
<i>Глава восемнадцатая.</i> Мой отец и Ганди	140
<i>Глава девятнадцатая.</i> Религиозно-общинные распри	150
<i>Глава двадцатая.</i> Работа в муниципалитете	159
<i>Глава двадцать первая.</i> В Европе	166
<i>Глава двадцать вторая.</i> Споры в Индии	174
<i>Глава двадцать третья.</i> Конгресс угнетенных народов в Брюсселе	180
<i>Глава двадцать четвертая.</i> Я возвращаюсь в Индию и вновь погружаюсь в политику	185
<i>Глава двадцать пятая.</i> Я испытываю на себе полицейские дубинки	197
<i>Глава двадцать шестая.</i> Конгресс профсоюзов	202
<i>Глава двадцать седьмая.</i> Грозовые раскаты	211
<i>Глава двадцать восьмая.</i> Резолюция о независимости и последующие события	222

<i>Глава двадцать девятая.</i> Начало кампании гражданского неповиновения	230
<i>Глава тридцатая.</i> В тюрьме Наини	239
<i>Глава тридцать первая.</i> Переговоры в Иеравде	248
<i>Глава тридцать вторая.</i> Кампания неуплаты налогов в Соединенных провинциях	257
<i>Глава тридцать третья.</i> Смерть отца	267
<i>Глава тридцать четвертая.</i> Делийский пакт	271
<i>Глава тридцать пятая.</i> Съезд Конгресса в Карачи	281
<i>Глава тридцать шестая.</i> Отдых на юге	292
<i>Глава тридцать седьмая.</i> Трения в период перемирия	296
<i>Глава тридцать восьмая.</i> Конференция круглого стола	307
<i>Глава тридцать девятая.</i> Аграрные беспорядки в Соединенных провинциях	317
<i>Глава сороковая.</i> Конец перемирия	333
<i>Глава сорок первая.</i> Аресты, указы, проскрипции	341
<i>Глава сорок вторая.</i> Шумиха	345
<i>Глава сорок третья.</i> В тюрьмах Барейли и Дехра-Дун	357
<i>Глава сорок четвертая.</i> Тюремные настроения	367
<i>Глава сорок пятая.</i> Животные в тюрьме	374
<i>Глава сорок шестая.</i> Борьба	381
<i>Глава сорок седьмая.</i> Что такое религия?	391
<i>Глава сорок восьмая.</i> „Двойственная политика“ английского правительства	402
<i>Глава сорок девятая.</i> Конец долгого срока	416
<i>Глава пятидесятая.</i> Посещение Ганди	420
<i>Глава пятьдесят первая.</i> Взгляды либералов	430
<i>Глава пятьдесят вторая.</i> Статус доминиона и независимость	437
<i>Глава пятьдесят третья.</i> Старая и новая Индия	447
<i>Глава пятьдесят четвертая.</i> Последствия английского господства	454
<i>Глава пятьдесят пятая.</i> Гражданский брак и вопрос о письменности	472
<i>Глава пятьдесят шестая.</i> Религиозно-общинная проблема и реакция	480
<i>Глава пятьдесят седьмая.</i> В тушке	495
<i>Глава пятьдесят восьмая.</i> Землетрясение	503
<i>Глава пятьдесят девятая.</i> Алипурская тюрьма	515
<i>Глава шестидесятая.</i> Демократия на Востоке и на Западе	520
<i>Глава шестидесят первая.</i> Упыние	526
<i>Глава шестидесят вторая.</i> Парадоксы	537
<i>Глава шестидесят третья.</i> Убеждение или принуждение	560
<i>Глава шестидесят четвертая.</i> Снова в тюрьме Дехра-Дун	577

<i>Глава шестьдесят пятая. Одиннадцать дней</i>	585
<i>Глава шестьдесят шестая. Снова в тюрьму</i>	590
<i>Глава шестьдесят седьмая. Некоторые события последнего времени</i>	596
Эпилог	620
Постскриптум	623
Пять лет спустя	625
Приложения	643
Словарь индийских выражений	649

В подготовке к изданию книги
Д. Неру „Автобиография“
принимали участие:

Переводчики:

Исакович В. В., Кунина Д. Э., Павлов В. И.

Консультанты:

доктор исторических наук Дьяков А. М.,
кандидат исторических наук Балабушевич В. В.

Редакторы перевода:

Мачавариани В. Н., Пospelов Б. В.,
Шульговский А. Ф.

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

Автобиография

Художник *Г. И. Мануйлов*

Технический редактор *Б. И. Корнилов*

Сдано в производство 2/XI 1955 г.

Подписано к печати 17/XI 1955 г.

А06547. Бумага 60×92¹/₁₆—21,0 бум. л.

42,0 печ. л., в т/ч 8 вкл. Уч.-издат. л. 41,5

Изд. № 7/2893. Цена 20 р. Заказ № 1049.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва, Ново-Алексеевская, 52

Министерство культуры СССР

Главное управление полиграфической про-

мышленности, Первая Образцовая типография

имени А. А. Жданова, Москва, Ж-51,

Валовая, 28.